



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

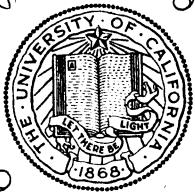
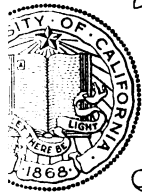
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



LIBRARY OF THE UNIVERSITY

RY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

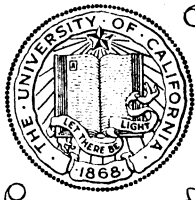
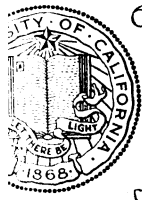
LIBRARY OF THE UNERSIT



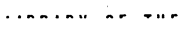
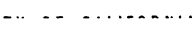
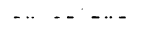
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

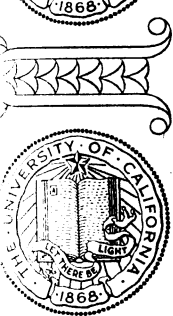
RY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNERSITY



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA





LIBRARY OF THE UNIVERSITY



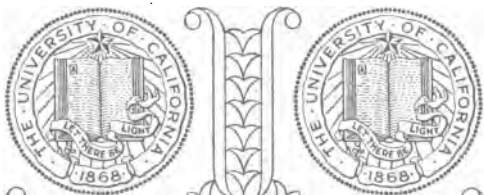
Y OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



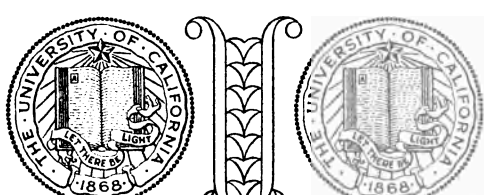
OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF



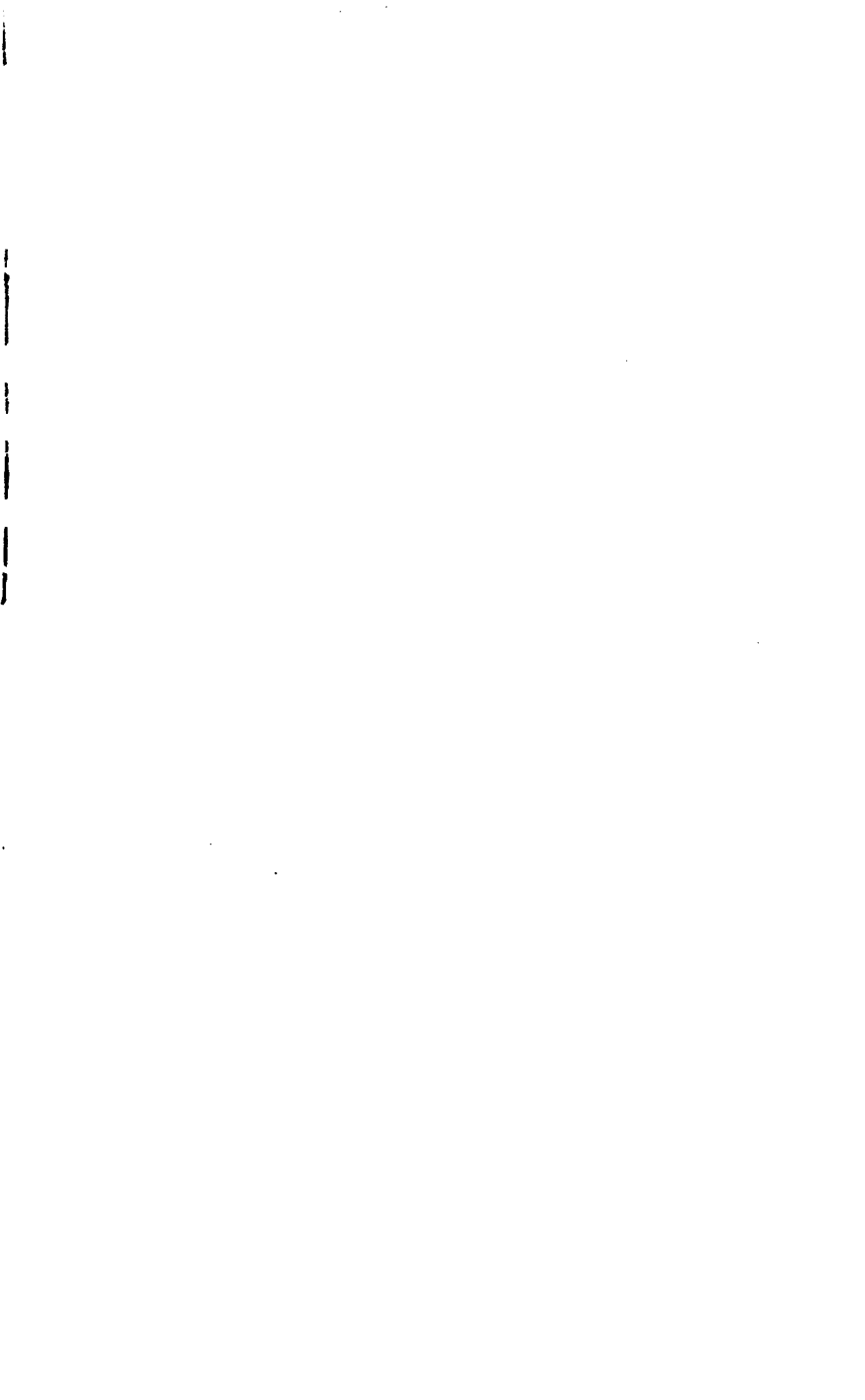
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

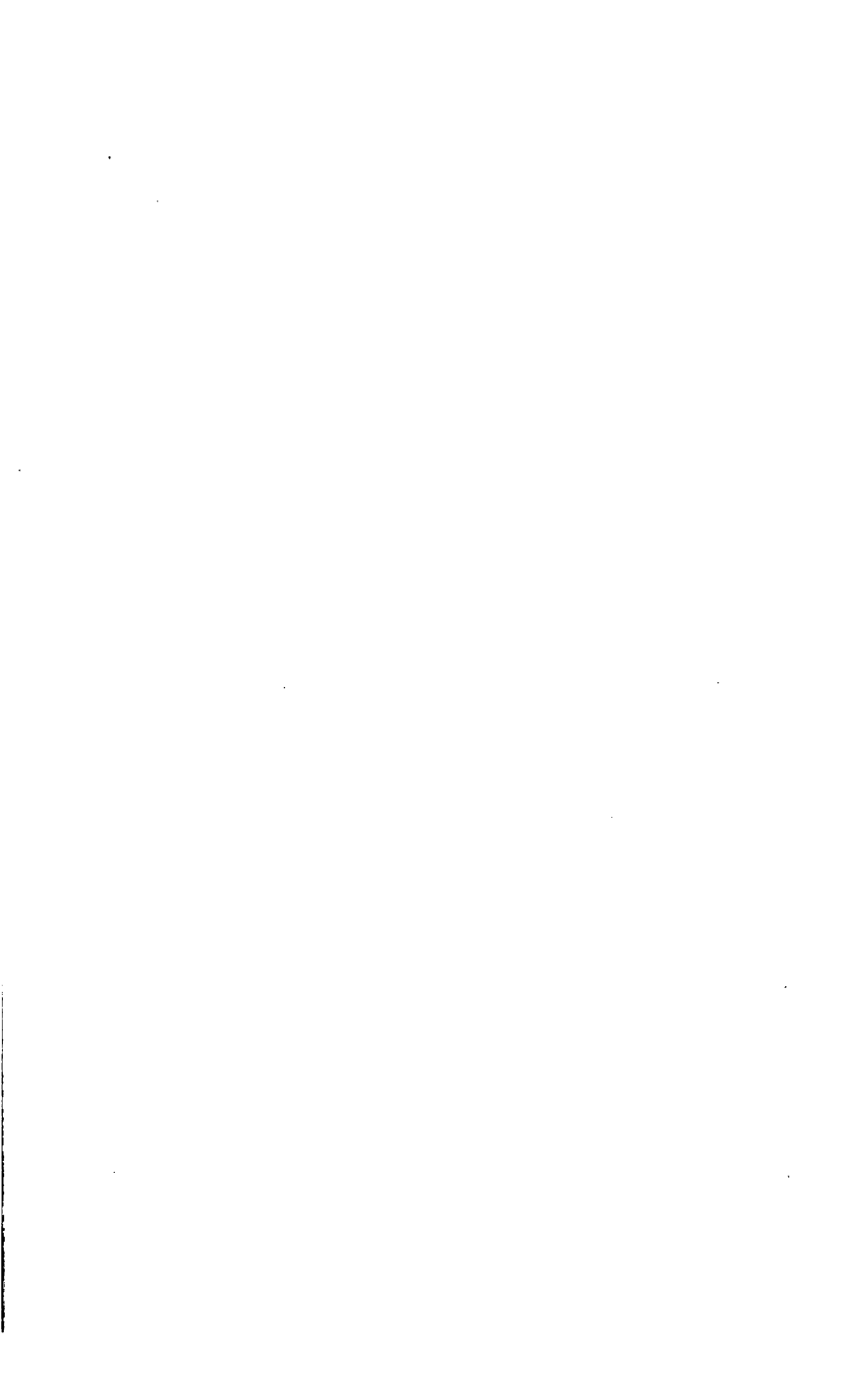


OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF





полное собр.
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ *Ф. М. Достоевский*

Ф. М. Достоевскаго.

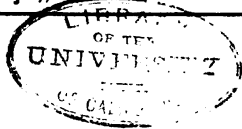
ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Униженные и оскорбленные
Униженные и оскорбленные.

Романъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ.

Безплатное приложение къ журналу „НИВА“ на 1894 г.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание А. Ф. МАРКСА.

1894.

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

JAN 26 1994

Доволено цензурою. СПб. 18 мая 1894 г.

71778

Gift of
M. A. Sammett
June 1898

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъяческая, д. № 1.

PG 3305

836
DL24
uU5
1894
MAIN

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ *).

РОМАНЪ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТЯХЪ СЪ ЭПИЛОГОМЪ.

Часть первая.

ГЛАВА I.

Прошлаго года, двадцать второго марта, вечеромъ, со мной случилось престранное происшествіе. Весь этотъ день я ходилъ по городу и искалъ себѣ квартиру. Старая была очень сыра, а я тогда уже начиналъ дурно кашлять. Еще съ осени хотѣлъ переѣхать, а дотянулъ до весны. Въ цѣлый день я ничего не могъ найти порядочнаго. Во-первыхъ, хотѣлось квартиру особенную, не отъ жильцовъ, а во-вторыхъ, хотъ одну комнату, но непременно большую, разумѣется, вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ можно дешевую. Я замѣтилъ, что въ тѣсной квартирѣ даже и мыслямъ тѣсно. Я же, когда обдумывалъ свои будущія повѣсти, всегда любилъ ходить взадъ и впередъ по комнатамъ. Кстати, мнѣ всегда пріятнѣе было обдумывать мои сочиненія и мечтать, какъ они у меня напишутся, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ писать ихъ и, право, это было не отъ лѣности. Отъ чего же?

Еще съ утра я чувствовалъ себя нездоровымъ, а къ закату солнца мнѣ стало даже и очень не хорошо; начи-

*) Въ первый разъ напечатанъ въ журналѣ „Время“ 1861 г.

налось что-то въ родѣ лихорадки. Къ тому же, я цѣлы день былъ на ногахъ и усталъ. Къ вечеру, предъ самымъ сумерками, проходилъ я по Вознесенскому проспекту. Я люблю мартовское солнце въ Петербургѣ, особенно закатъ разумѣется, въ ясный, морозный вечеръ. Вся улица вдругъ блеснетъ, облитая яркимъ свѣтомъ. Всѣ дома какъ будто вдругъ засверкають. Сѣрые, желтые и грязно-зеленые цвѣта ихъ потеряють на мигъ всю свою угрюмость; какъ будто на душѣ проясняетъ, какъ будто вздрогнешь или кто-то подтолкнетъ тебя локтемъ. Новый взглядъ, новыя мысли... Удивительно, что можетъ сдѣлать одинъ лучъ солнца съ душой человѣка!

Но солнечный лучъ потухъ; морозъ вѣпчалъ и начиналъ пощипывать за носъ; сумерки густѣли; газъ блеснулъ изъ магазиновъ и лавокъ. Поровнявшись съ кондитерской Миллера, я вдругъ остановился какъ вкопанный и сталъ смотрѣть на ту сторону улицы, какъ будто предчувствуя, что вотъ сейчасъ со мной случится что-то необыкновенное; и въ это-то самое мгновеніе, на противоположной сторонѣ, я увидаль старика и его собаку. Я очень хорошо помню, что сердце мое сжалось отъ какого-то неприятнѣйшаго ощущенія, и я самъ не могъ рѣшить, какого рода было это ощущеніе.

Я не мистикъ; въ предчувствія и гаданья почти не вѣрю; однако, со мною, какъ, можетъ-быть, и со всѣми, случилось въ жизни нѣсколько происшествій, довольно необъяснимыхъ. Напримѣръ, хотъ этотъ старикъ: почему при тогдашней моей встрѣчѣ съ нимъ я тотчасъ почувствовалъ, что въ тотъ же вечеръ со мной случится что-то не совсѣмъ обыденное? Впрочемъ, я былъ боленъ, а болѣзненные ощущенія почти всегда бываютъ обманчивы.

Старикъ своимъ медленнымъ, слабымъ шагомъ, переставляя ноги, какъ будто палки, какъ будто не сгибая ихъ, егорбившись и слегка ударяя тростью о плиты тротуара, приближался къ кондитерской. Въ жизнь мою не встрѣчалъ я такой странной, нелѣпой фигуры. И прежде, до этой встрѣчи, когда мы сходились съ нимъ у Миллера, онъ всегда болѣзненно поражалъ меня. Его высокій ростъ, сгорбленная спина, мертвенное восьмидесятилѣтнее лицо, старое пальто, разорванное по швамъ, изломанная круглая двадцатилѣтняя шляпа, прикрывавшая его обнаженную голову, на которой вцѣлѣлъ, на самомъ затылкѣ, ключокъ уже не сѣдыхъ, а бѣло-желтыхъ волосъ; всѣ

движенія его, дѣлавшіяся какъ-то безсмысленно, какъ будто по заведенной пружинѣ, — все это невольно пора- жало всякаго, встрѣчавшаго его въ первый разъ. Дѣй- ствительно, какъ-то странно было видѣть такого отжив- шаго свой вѣкъ старика, одного, безъ присмотра, тѣмъ болѣе, что онъ былъ похожъ на сумасшедшаго, убѣжав- шаго отъ своихъ надзирателей. Поражала меня тоже его необыкновенная худоба: тѣла на немъ уже почти не было и какъ будто на кости его была наклеена только одна кожа. Большіе, но тусклые глаза его, вставленные въ какіе-то синіе круги, всегда глядѣли прямо передъ собою, никогда въ сторону и никогда ничего не видя, — я въ этомъ увѣренъ. Онъ хотъ и смотрѣлъ на васъ, но шелъ прямо на васъ же, какъ будто передъ нимъ пустое про- странство. Я это нѣсколько разъ замѣчалъ. У Миллера онъ началъ являться недавно, неизвѣстно откуда и всегда вмѣстѣ съ своей собакой. Никто никогда не рѣшался съ нимъ говорить изъ посѣтителей кондитерской, и онъ самъ ни съ кѣмъ изъ нихъ не заговаривалъ.

„И зачѣмъ онъ таскается къ Миллеру, и чтѣ ему тамъ дѣлать?“ думалъ я, стоя по другую сторону улицы и не- преодолимо къ нему приглядываясь. Какая-то досада, — слѣдствіе болѣзни и усталости, — закипала во мнѣ. „О чемъ онъ думаетъ?“ продолжалъ я про себя, „чтѣ у него въ головѣ? Да и думаетъ-ли еще онъ о чемъ-нибудь? Лицо его до того умерло, что ужъ рѣшительно ничего не вы- ражаетъ. И откуда онъ взялъ эту гадкую собаку, которая не отходитъ отъ него, какъ будто составляетъ съ нимъ что-то цѣлое, неразъединимое, и которая такъ на него похожа?“

Этой несчастной собакѣ, кажется, тоже было лѣтъ во- семьдесятъ; да, это непременно должно было быть. Во- первыхъ, съ виду она была такъ стара, какъ не бываютъ никакія собаки, а во-вторыхъ, отчего же мнѣ, съ перваго раза, какъ я ее увидаль, тотчасъ же пришло въ голову, что эта собака не можетъ быть такая, какъ всѣ собаки; что она—собака необыкновенная; что въ ней непременно должно быть что-то фантастическое, заколдованное; что это, можетъ-быть, какой-нибудь Мефистофель въ собачьемъ видѣ, и что судьба ея какими-то таинственными, невѣдо- мыми путами соединена съ судьбою ея хозяина. Глядя на нее, вы бы тотчасъ же согласились, что навѣрно про- шло уже лѣтъ двадцать, какъ она въ послѣдній разъ ѣла.

Худа она была какъ скелетъ, или (чего же лучше?) какъ ея господинъ. Шерсть на ней почти вся вылъзла, тоже и на хвостъ, который висѣлъ какъ палка, всегда крѣпко поджатый. Длинноухая голова угрюмо свѣшивалась внизъ. Въ жизнь мою я не встрѣчалъ такой противной собаки. Когда оба они шли по улицѣ, господинъ впереди, а собака за нимъ слѣдомъ, то ея носъ прямо касался полы его платья, какъ будто къ ней приклеенный. И походка ихъ, и весь ихъ видъ чуть не проговаривали тогда съ каждымъ шагомъ:

„Стары-то мы стары, Господи, какъ мы стары!“

Помню, мнѣ еще пришло однажды въ голову, что старикъ и собака какъ-нибудь выкарабкались изъ какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливаютъ по бѣлому свѣту въ видѣ ходячихъ афишекъ къ изданію.

Я перешелъ черезъ улицу и вошелъ вслѣдъ за старикомъ въ кондитерскую.

Въ кондитерской старикъ аттестовалъ себя престранно, и Миллеръ, стоя за своимъ прилавкомъ, началъ уже, въ послѣднее время, дѣлать недовольную гримасу при входѣ незваного посѣтителя. Во-первыхъ, странный гость никогда ничего не спрашивалъ. Каждый разъ онъ прямо проходилъ въ уголь къ печкѣ и тамъ садился на стулъ. Если же его мѣсто у печки бывало занято, то онъ, постоявъ нѣсколько времени въ бессмысленномъ недоумѣніи противъ господина, занявшаго его мѣсто, уходилъ, какъ будто озадаченный, въ другой уголь къ окну. Тамъ выбиралъ какой-нибудь стулъ, медленно усаживался на немъ, снималъ шляпу, ставилъ ее подлѣ себя на полъ, трость клалъ возлѣ шляпы и затѣмъ, откинувшись на спинку стула, оставался неподвиженъ въ продолженіе трехъ или четырехъ часовъ. Никогда онъ не взялъ въ руки ни одной газеты, не произнесъ ни одного слова, ни одного звука; а только сидѣлъ, смотря передъ собою во всѣ глаза, но такимъ тупымъ, безжизненнымъ взглядомъ, что можно было побиться объ закладъ, что онъ ничего не видитъ изъ всего окружающаго и ничего не слышитъ. Собака же, покругившись раза два или три на одномъ мѣстѣ, угрюмо укладывалась у ногъ его, втыкала свою морду между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвижною на весь вечеръ, точно умирала на это время. Казалось, эти два су-

щества пѣлый день лежать гдѣ-нибудь мертвые и, какъ зайдетъ солнце, вдругъ оживаютъ единственно для того, чтобъ дойти до кондитерской Миллера и тѣмъ исполнить какую-то таинственную, никому неизвѣстную обязанность. Насидѣвшись часа три-четыре, старикъ, наконецъ; вставалъ, бралъ свою шляпу и отправлялся куда-то домой. Поднималась и собака и, опять поджавъ хвостъ и свѣсивъ голову, медленнымъ, прежнимъ шагомъ, машинально слѣдовала за нимъ. Посѣтители кондитерской, наконецъ, начали всячески обходить старика и даже не сажались съ нимъ рядомъ, какъ будто онъ внушалъ имъ омерзѣніе. Онъ же ничего этого не замѣчалъ.

Посѣтители этой кондитерской большею частью нѣмцы. Они собираются сюда со всего Вознесенскаго проспекта; все хозяева различныхъ заведеній: слесаря, булочники, красильщики, шляпные мастера, сѣдельники, — все люди патриархальные въ нѣмецкомъ смыслѣ слова. У Миллера вообще наблюдалась патриархальность. Часто хозяинъ подходилъ къ знакомымъ гостямъ и садился вмѣстѣ съ ними за столъ, при чемъ осушалось извѣстное количество пунша. Собаки и маленькія дѣти хозяина тоже выходили иногда къ посѣтителямъ, и посѣтители ласкали и дѣтей, и собакъ. Всѣ были между собою знакомы и всѣ взаимно уважали другъ друга. И когда гости углублялись въ чтеніе нѣмецкихъ газетъ, за дверью, въ квартиру хозяина, трещалъ августинъ, наигрываемый на дребезжащихъ фортепианахъ старшей хозяйской дочкой, бѣлокуренькой нѣмочкой въ локонахъ, очень похожей на бѣлую мышку. Вальсъ принимался съ удовольствіемъ. Я ходилъ къ Миллеру въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца читать русскіе журналы, которые у него получались.

Войдя въ кондитерскую, я увидѣлъ, что старикъ уже сидитъ у окна, а собака лежитъ, какъ и прежде, растянувшись у ногъ его. Молча сѣлъ я въ уголь и мысленно задалъ себѣ вопросъ: „зачѣмъ я вошелъ сюда, когда мнѣ тутъ рѣшительно нечего дѣлать, когда я боленъ и нужно было бы спѣшить домой, выпить чаю и лечь въ постель? Неужели въ самомъ дѣлѣ я здѣсь только для того, чтобъ разглядывать этого старика?“ Досада взяла меня. „Что мнѣ за дѣло до него“, думалъ я, припоминая то странное, болѣзненное ощущеніе, съ которымъ я глядѣлъ на него еще на улицѣ. И что мнѣ за дѣло до всѣхъ этихъ скучныхъ нѣмцевъ? Къ чему это фантастическое

настроение духа? Къ чему эта дешевая тревога изъ пу-
стяковъ, которую я замѣчаю въ себѣ въ послѣднее время
и которая мѣшаетъ жить и глядѣть ясно на жизнь, о
чемъ уже замѣтилъ мнѣ одинъ глубокомысленный кри-
тикъ, съ негодованіемъ разбирая мою послѣднюю повѣсть?
Но раздумывая и сѣтуя, я все-таки оставался на мѣстѣ,
а между тѣмъ болѣзнь одолевала меня все болѣе и бо-
лѣе, и мнѣ, наконецъ, стало жаль оставить теплую ком-
нату. Я взялъ франкфуртскую газету, прочелъ двѣ строки
и задремалъ. Нѣмцы мнѣ не мѣшали. Они читали, ку-
рили и только изрѣдка, въ полчаса разъ, сообщали другъ
другу, отрывочно и вполголоса, какую-нибудь новость изъ
Франкфурта, да еще какой-нибудь вицъ или шарфзинъ
знаменитаго нѣмецкаго остроумца Сафира; послѣ чего, съ
удвоенною національною гордостью, вновь погружались
въ чтеніе.

Я дремалъ съ полчаса и очнулся отъ сильнаго озноба.
Рѣшительно надо было идти домой. Но въ ту минуту
одна нѣмая сцена, происходившая въ комнатѣ, еще разъ
остановила меня. Я сказала уже, что старикъ, какъ только
усаживался на своемъ стулѣ, тотчасъ же упирался куда-
нибудь своимъ, взглядомъ и уже не сводилъ его на дру-
гой предметъ во весь вечеръ. Случалось и мнѣ попа-
даться подъ этотъ взглядъ, бессмысленно упорный и ни-
чего не различающій: ощущеніе было пренепріятное, даже
невыносимое, и я обыкновенно, какъ можно скорѣе, пере-
мѣнялъ мѣсто. Въ эту минуту жертвой старика былъ одинъ
маленькій, кругленькій и чрезвычайно опрятный нѣмецъ,
со стоячими, туго накрахмаленными воротничками и съ
необыкновенно краснымъ лицомъ, пріѣзжій гость, купецъ
изъ Риги, Адамъ Иванычъ Шульцъ, какъ узналъ я послѣ,
короткій пріятель Миллеру, но не знавшій еще старика
и многихъ изъ посѣтителей. Съ наслажденіемъ почиты-
вая „Dorfbarbier“ и попивая свой пуншъ, онъ вдругъ,
поднявъ голову, замѣтилъ надъ собой неподвижный взглядъ
старика. Это его озадачило. Адамъ Иванычъ былъ чело-
вѣкъ очень обидчивый и щекотливый, какъ и вообще всѣ
„благородные“ нѣмцы. Ему показалось страннымъ и обид-
нымъ, что его такъ пристально и безцеремонно разма-
триваютъ. Съ подавленнымъ негодованіемъ отвелъ онъ
глаза отъ неделикатнаго гостя, пробормоталъ себѣ что-то
подъ носъ и молча закрылся газетой. Однако, не вытер-
пѣлъ и минуты черезъ двѣ подозрительно взглянулъ изъ-

за газеты: тотъ же упорный взглядъ, то же бессмысленное разсматриваніе. Смолчалъ Адамъ Иванычъ и въ этотъ разъ. Но когда то же обстоятельство повторилось и въ третій, онъ вспыхнулъ и почелъ своею обязанностію защитить свое благородство и не уронить передъ благородной публикой прекрасный городъ Ригу, котораго, вѣроятно, считалъ себя представителемъ. Съ нетерпѣливымъ жестомъ бросилъ онъ газету на столъ, энергически стукнувъ палочкой, къ которой она была прикрѣплена, и, пылая собственнымъ достоинствомъ, весь красный отъ пунша и отъ амбиціи, въ свою очередь, уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досаднаго старика. Казалось, оба они, и нѣмецъ, и его противникъ, хотѣли пересилить другъ друга магнетическою силою своихъ взглядовъ и выжидали, кто раньше сконфузится и опуститъ глаза. Стукъ палочки и эксцентрическая позиція Адама Иваныча обратили на себя вниманіе всѣхъ посѣтителей. Всѣ тотчасъ же отложили свои занятія и съ важнымъ, безмолвнымъ любопытствомъ наблюдали обоихъ противниковъ. Сцена становилась очень комическою. Но магнетизмъ вызывающихъ глазокъ красненькаго Адама Иваныча совершенно пропалъ даромъ. Старикъ, не заботясь ни о чемъ, продолжалъ прямо смотрѣть на взбѣсившагося г. Шульца и рѣшительно не замѣчалъ, что сдѣлался предметомъ всеобщаго любопытства, какъ будто голова его была на луиѣ, а не на землѣ. Терпѣніе Адама Иваныча, наконецъ, лопнуло, и онъ разразился.

— Зачѣмъ вы на меня такъ внимательно смотрите? прокричалъ онъ по-нѣмецки, рѣзкимъ, пронзительнымъ голосомъ и съ угрожающимъ видомъ.

Но противникъ его продолжалъ молчать, какъ будто не понималъ и даже не слышалъ вопроса. Адамъ Иванычъ рѣшился заговорить по-русски.

— Я васъ спросить, зачѣмъ вы на мнѣ такъ прилежно взирайте? прокричалъ онъ съ удвоенною яростью. — Я ко двору извѣстенъ, и вы неизвѣстенъ ко двору! прибавилъ онъ, вскочивъ со стула.

Но старикъ даже и не пошевелился. Между нѣмцами раздался ропотъ негодованія. Самъ Миллеръ, привлеченный шумомъ, вошелъ въ комнату. Вникнувъ въ дѣло, онъ подумалъ, что старикъ глухъ, и нагнулся къ самому его уху.

— Каспадинъ Шульцъ васъ просилъ прилежно не

взирайтъ на него, проговорилъ онъ какъ можно громче, пристально всматриваясь въ непонятнаго посѣтителя.

Старикъ машинально взглянулъ на Миллера, и вдругъ, въ лицѣ его, доселѣ неподвижномъ, обнаружились признаки какой-то тревожной мысли, какого-то безпокойнаго волненія. Онъ засуетился, нагнулся кряхтя къ своей шляпѣ, торопливо схватилъ ее вмѣстѣ съ палкой, поднялся со стула и съ какой-то жалкой улыбкой,—униженной улыбкой бѣдняка, котораго гонять съ занятаго имъ по ошибкѣ мѣста, приготовился выйти изъ комнаты. Въ этой смиренной, покорной торопливости бѣднаго, дряхлаго старика было столько вызывающаго на жалость, столько такого, отъ чего иногда сердце точно перевертывается въ груди, что вся публика, начиная съ Адама Иваныча, тотчасъ же перемѣнила свой взглядъ на дѣло. Было ясно, что старикъ не только не могъ кого-нибудь обидѣть, но самъ каждую минуту понималъ, что его могутъ отовсюду выгнать, какъ нищаго.

Миллеръ былъ человекъ добрый и сострадательный.

— Нѣтъ, нѣтъ, заговорилъ онъ, ободрительно трепля старика по плечу, — сидитъ! Авер геръ Шульцъ очень просилъ васъ прилежно не взирайтъ на него. Онъ у двора извѣстенъ.

Но бѣднякъ и тутъ не понялъ; онъ засуетился еще больше прежняго, нагнулся поднять свой платокъ, старый, дырявый, синій платокъ, выпавшій изъ шляпы, и сталъ кликать свою собаку, которая лежала не шевелясь на полу и, повидимому, крѣпко спала, заслонивъ свою морду обѣими лапами.

— Азорка, Азорка! прошамкалъ онъ дрожащимъ, старческимъ голосомъ, — Азорка!

Азорка не пошевелинулся.

— Азорка, Азорка! тоскливо повторилъ старикъ и пошевелилъ собаку палкой, но та осталась въ прежнемъ положеніи.

Палка выпала изъ рукъ его. Онъ нагнулся, сталъ на оба колѣна и обѣими руками приподнял морду Азорки. Бѣдный Азорка! Онъ былъ мертвъ. Онъ умеръ неслышно, у ногъ своего господина, можетъ-быть, отъ старости, а, можетъ-быть, и отъ голода. Старикъ съ минуту глядѣлъ на него, какъ пораженный, какъ будто не понимая, что Азорка уже умеръ; потомъ тихо склонился къ бывшему слугѣ и другу и прижалъ свое блѣдное лицо къ его мерт-

вой мордѣ. Прошла минута молчанья. Всѣ мы были тронуты... Наконецъ, бѣднякъ приподнялся. Онъ былъ очень блѣденъ и дрожалъ, какъ въ лихорадочномъ ознобѣ.

— Можно шушель сдѣлать, заговорилъ сострадательный Миллеръ, желая хоть чѣмъ-нибудь утѣшить старика. (Шушель означало чучелу).—Можно кароши сдѣлать шушель; Ѳедоръ Карловичъ Кригеръ отлично сдѣлаетъ шушель; Ѳедоръ Карловичъ Кригеръ велики мастеръ сдѣлать шушель, твердилъ Миллеръ, поднявъ съ земли палку и подавая ее старику.

— Да, я отлично сдѣлаетъ шушель, скромно подхватилъ самъ геръ Кригеръ, выступая на первый планъ.

Это былъ длинный, худощавый и добродѣтельный нѣмецъ, съ рыжими, клочковатыми волосами и очками на горбатомъ носу.

— Ѳедоръ Карловичъ Кригеръ имѣетъ велики талантъ, чтобъ сдѣлать всяки превосходны шушель, прибавилъ Миллеръ, начиная приходить въ восторгъ отъ своей идеи.

— Да, я имѣю велики талантъ, чтобы сдѣлать всяки превосходны шушель, снова подтвердилъ геръ Кригеръ,— и я вамъ даромъ сдѣлайтъ изъ ваша собачка шушель, прибавилъ онъ въ припадкѣ великодушнаго самоотверженія.

— Нѣтъ, я вамъ заплатитъ за то, что ви сдѣлайтъ шушель! неистово вскричалъ Адамъ Ивановичъ Шульцъ, вдвое раскраснѣвшійся, въ свою очередь сторая великодушіемъ и невинно считая себя причиною всѣхъ несчастій.

Старикъ слушалъ все это, видимо не понимая, и по-прежнему дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Погодиттъ! Выпейте одну рюмку кароши коньякъ! вскричалъ Миллеръ, видя, что загадочный гость порывается уйти.

Подали коньякъ. Старикъ машинально взялъ рюмку, но руки его тряслись и, прежде чѣмъ онъ донесъ ее къ губамъ, онъ расплескалъ половину и, не выпивъ ни капли, поставилъ ее обратно на подносъ. Затѣмъ, улыбувшись какой-то странной, совершенно не подходящей къ дѣлу улыбкой, ускореннымъ, неровнымъ шагомъ вышелъ изъ кондитерской, оставивъ на мѣстѣ Аворку. Всѣ стояли въ изумленіи; послышались восклицанія.

— Швернотъ! Васъ-фюръ-эйне-гешихте? говорили нѣмцы, выпуча глаза другъ на друга.

А я бросился вслѣдъ за старикомъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ кондитерской, поворота отъ нея направо, есть переулочекъ, узкій и темный, обставленный огромными домами. Что-то подтолкнуло меня, что старикъ непременно повернулъ сюда. Тутъ второй домъ направо строился и весь былъ обставленъ лѣсами. Заборъ, окружавшій домъ, выходилъ чуть не на средину переулка; къ забору была прилажена деревянная настилка для проходящихъ. Въ темномъ углу, составленномъ заборомъ и домомъ, я нашелъ старика. Онъ сидѣлъ на приступкѣ деревяннаго тротуара и обѣими руками, опершись локтями на колѣна, поддерживалъ свою голову. Я сѣлъ подлѣ него.

— Послушайте, сказала я, почти не зная съ чего и начать,—не горюйте объ Азорѣ. Пойдемте, я васъ отвезу домой. Успокойтесь. Я сейчасъ схожу за извозчикомъ. Гдѣ вы живете?

Старикъ не отвѣчалъ. Я не зналъ, на что рѣшиться. Прохожихъ не было. Вдругъ онъ началъ хватать меня за руку.

— Душно! проговорилъ онъ хриплымъ, едва слышнымъ голосомъ,—душно!

— Пойдемте къ вамъ домой! вскричалъ я, приподымаясь и насильно приподымая его,—вы выпьете чаю и ляжете въ постель... Я сейчасъ приведу извозчика. Я позову доктора... мнѣ знакомъ одинъ докторъ...

Я не помню, что я еще говорилъ ему. Онъ было хотѣлъ приподняться, но, поднявшись немного, опять упалъ на землю и опять началъ что-то бормотать тѣмъ же хриплымъ, удушливымъ голосомъ. Я нагнулся къ нему еще ближе и слушалъ.

— На Васильевскомъ островѣ, хрипѣлъ старикъ,—въ шестой линіи... въ ше-стой ли-ниіи...

Онъ замолчалъ.

— Вы живете на Васильевскомъ? Но вы не туда пошли; это будетъ налѣво, а не направо. Я васъ сейчасъ доведу...

Старикъ не двигался. Я взялъ его за руку; рука упала, какъ мертвая. Я взглянулъ ему въ лицо, дотронулся до него,—онъ былъ уже мертвый. Мнѣ казалось, что все это происходитъ со мною во снѣ.

Это приключеніе стоило мнѣ большихъ хлопотъ, въ продолженіе которыхъ прошла сама собою моя лихорадка. Квартиру старика отыскали. Онъ, однакоже, жилъ не на

Васильевскомъ островѣ, а въ двухъ шагахъ отъ того мѣста, гдѣ умеръ, въ домѣ Клугена, подъ самою кровлею, въ пятомъ этажѣ, въ отдѣльной квартирѣ, состоящей изъ одной маленькой прихожей и одной большой, очень низкой комнаты, съ тремя щелями наподобіе оконъ. Жилъ онъ ужасно бѣдно. Мебели было всего столъ, два стула и старѣйшій диванъ, твердый какъ камень и изъ котораго со всѣхъ сторонъ высывалась мочала; да и то оказалось хозяйское. Печь, повидимому, уже давно не топилась; свѣчей тоже не отыскалось. Я серьезно теперь думаю, что старикъ выдумалъ ходить къ Миллеру единственно для того, чтобы посидѣть при свѣчахъ и погрѣться. На столѣ стояла пустая глиняная кружка и лежала старая, черствая корка хлѣба. Денегъ не нашлось ни копейки. Даже не было другой перемѣны бѣлья, чтобы похоронить его; кто-то далъ ужъ свою рубашку. Ясно, что онъ не могъ жить такимъ образомъ, совершенно одинъ, и вѣрно кто-нибудь, хоть изрѣдка, навѣщалъ его. Въ столѣ отыскался его паспортъ. Покойный былъ изъ иностранцевъ, но русскій подданный, Іеремія Смитъ, машинистъ, семидесяти восьми лѣтъ отъ роду. На столѣ лежали двѣ книги: краткая географія и Новый Заветъ въ русскомъ переводѣ, исчерченный карандашомъ на поляхъ и съ отмѣтками ногтемъ. Книги эти я приобрѣлъ себѣ. Спрашивали жильцовъ, хозяина дома, — никто о немъ почти ничего не зналъ. Жильцовъ въ этомъ домѣ множество, почти все мастеровые и нѣмки, содержательницы квартиръ со столомъ и прислугою. Управляющій домомъ, изъ благородныхъ, тоже немного могъ сказать о бывшемъ своемъ постояльцѣ, кромѣ развѣ того, что квартира ходила по шести рублей въ мѣсяцъ, что покойный жилъ въ ней четыре мѣсяца, но за два послѣднихъ мѣсяца не заплатилъ ни копейки, такъ что приходилось его сгонять съ квартиры. Спрашивали: не ходилъ-ли къ нему кто-нибудь? Но никто не могъ дать объ этомъ удовлетворительнаго отвѣта. Домъ большой: мало-ли людей ходитъ въ такой Ноевъ ковчегъ? Всѣхъ не запомнишь. Дворникъ, служившій въ этомъ домѣ лѣтъ пять и, вѣроятно, могшій хоть что-нибудь разъяснить, ушелъ, двѣ недѣли передъ этимъ, къ себѣ на родину, на побывку, оставивъ вмѣсто себя своего племянника, молодого парня, еще не узнашаго лично и половины жильцовъ. Не знаю навѣрно, чѣмъ именно кончились тогда всѣ эти справки, но, наконецъ,

старика похоронили. Въ эти дни, между другими хлопотами, я ходилъ на Васильевскій островъ, въ шестую линію, и только, придя туда, усмѣхнулся самъ надъ собою: что могъ я увидать въ шестой линіи, кромѣ ряда обыкновенныхъ домовъ? Но зачѣмъ же, думалъ я, старикъ, умирая, говорилъ про шестую линію и про Васильевскій островъ? Не въ бреду-ли?

Я осмотрѣлъ опустѣвшую квартиру Смита и мнѣ она понравилась. Я оставилъ ее за собою. Главное, была большая комната, хоть и очень низкая, такъ что мнѣ въ первое время все казалось, что я задѣну потолокъ головою. Впрочемъ, я скоро привыкъ. За шесть рублей въ мѣсяцъ и нельзя было достать лучше. Особнякъ соблазнялъ меня; оставалось только похлопотать насчетъ прислуги, такъ какъ совершенно безъ прислуги нельзя было жить. Дворникъ на первое время обѣщался приходить хоть по разу въ день, прислужить мнѣ въ какомъ-нибудь крайнемъ случаѣ. А кто знаетъ, думалъ я, можетъ-быть, кто-нибудь и навѣдается о старикѣ! Впрочемъ, прошло уже пять дней, какъ онъ умеръ, а еще никто не приходилъ.

ГЛАВА II.

Въ то время, именно годъ назадъ, я еще сотрудничалъ по журналамъ, писалъ статейки и твердо вѣрилъ, что мнѣ удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидѣлъ тогда за большимъ романомъ; но дѣло все-таки кончилось тѣмъ, что я—вотъ засѣлъ теперь въ больницѣ и, кажется, скоро умру. А коли скоро умру, то къ чему бы, кажется, и писать записки?

Вспоминается мнѣ невольно и непрерывно весь этотъ тяжелый, послѣдній годъ моей жизни. Хочу теперь все записать и, если бъ я не изобрѣлъ себѣ этого занятія, мнѣ кажется, я бы умеръ съ тоски. Всѣ эти прошедшія впечатлѣнія волнуютъ иногда меня до боли, до мѣки. Подъ перомъ они примутъ характеръ болѣе успокоительный, болѣе стройный; менѣе будутъ походить на бредъ, на кошмаръ. Такъ мнѣ кажется. Одинъ механизмъ письма чего стоитъ: онъ успокоитъ, расхолодитъ, расшевелитъ во мнѣ прежнія авторскія привычки, обратитъ мои воспоминанія и больныя мечты въ дѣло, въ занятіе... Да, я хорошо выдумалъ. Къ тому-жъ и наслѣдство фельдшеру; хоть окна облѣпитъ моими записками, когда будетъ зимнія рамы вставлять.

Но, впрочемъ, я началъ мой разсказъ, неизвѣстно почему, изъ середины. Коли ужъ все записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнемъ сначала. Впрочемъ, не велика будетъ моя автобіографія.

Родился я не здѣсь, а далеко отсюда, въ —ской губерніи. Должно полагать, что родители мои были хорошіе люди, но оставили меня сиротой еще въ дѣтствѣ, и выросъ я въ домѣ Николая Сергѣича Ихменева, мелкопомѣстнаго помѣщика, который принялъ меня изъ жалости. Дѣтей у него была одна только дочь, Наташа, ребенокъ тремя годами моложе меня. Мы росли съ ней какъ братъ съ сестрой. О, мое милое дѣтство! Какъ глупо тосковать и жалѣть о тебѣ на двадцать пятомъ году жизни и, умирая, вспомнить только объ одномъ тебѣ съ восторгомъ и благодарностью! Тогда на небѣ было такое ясное, такое непетербургское солнце и такъ рѣзко, весело бились наши маленькія сердца. Тогда кругомъ были поля и лѣса, а не гряда мертвыхъ камней, какъ теперь. Чтò за чудный былъ садъ и паркъ въ Васильевскомъ, гдѣ Николай Сергѣичъ былъ управляющимъ; въ этотъ садъ мы съ Наташей ходили гулять, а за садомъ былъ большой, сырой лѣсъ, гдѣ мы, дѣти, оба разъ заблудились... Золотое, прекрасное время! Жизнь сказывалась впервые, таинственно и заманчиво, и такъ сладко было знакомиться съ нею. Тогда за каждымъ кустомъ, за каждымъ деревомъ какъ будто еще кто-то жилъ, для насъ таинственный и невѣдомый; сказочный міръ сливался съ дѣйствительнымъ; и когда, бывало, въ глубокихъ долинахъ густѣлъ вечерній паръ и сѣдыми, извилистыми космами цѣплялся за кустарникъ, лѣпившійся по каменистымъ ребрамъ нашего большого оврага, мы съ Наташей, на берегу, держась за руки, съ боязливымъ любопытствомъ заглядывали въ глубь и ждали; что вотъ-вотъ выйдетъ кто-нибудь къ намъ или откликнется изъ тумана, съ овражьяго дна, и нянины сказки окажутся настоящей, законной правдой. Разъ, потомъ уже, долго спустя, я какъ-то напомнилъ Наташѣ, какъ достали намъ тогда однажды „Дѣтское Чтеніе“, какъ мы тотчасъ же убѣжали въ садъ, къ пруду, гдѣ стояла подъ старымъ густымъ кленомъ наша любимая зеленая скамейка, усѣлись тамъ и начали читать „Альфонса и Далинду“—волшебную повѣсть. Еще и теперь я не могу вспомнить эту повѣсть безъ какого-то страннаго сердечнаго движенія, и когда я, годъ тому назадъ, припомнилъ Наташѣ двѣ пер-

вья строчки: „Альфонсъ, герой моей повѣсти, родился въ Португаліи; Донъ-Рамиръ, его отецъ“ и т. д., я чуть не заплакалъ. Должно-быть, это вышло ужасно глупо, и потому-то, вѣроятно, Наташа такъ странно улыбнулась тогда моему восторгу. Впрочемъ, тотчасъ же спохватилась (я помню это), и для моего утѣшенія сама принялась вспоминать про старое. Слово за словомъ, и сама расчувствовалась. Славный былъ этотъ вечеръ; мы все перебрали, — и то, когда меня отсылали въ губернской городъ въ пансіонъ—Господи, какъ она тогда плакала!—и нашу послѣднюю разлуку, когда я уже навсегда разставался съ Васильевскимъ. Я уже кончилъ тогда съ моимъ пансіономъ и отправлялся въ Петербургъ готовиться въ университетъ. Мнѣ было тогда семнадцать лѣтъ, ей пятнадцатый. Наташа говоритъ, что я былъ тогда таковой нескладный, таковой долговязый и что на меня безъ смѣху смотрѣть нельзя было. Въ минуту прощанья я отвелъ ее въ сторону, чтобъ сказать ей что-то ужасно важное; но языкъ мой какъ-то вдругъ онемѣлъ и завязъ. Она припоминаетъ, что я былъ въ большомъ волненіи. Разумѣется, нашъ разговоръ не клеился. Я не зналъ, что сказать, а она, пожалуй, и не поняла бы меня. Я только горько заплакалъ, да такъ и уѣхалъ, ничего не сказавши. Мы свидѣлись уже долго спустя, въ Петербургѣ. Это было года два тому назадъ. Старикъ Ихменевъ пріѣхалъ сюда хлопотать по своей тяжбѣ, а я только-что выскочилъ тогда въ литераторы.

ГЛАВА III.

Николай Сергѣичъ Ихменевъ происходилъ изъ хорошей фамиліи, но давно уже обѣднѣвшей. Впрочемъ, послѣ родителей ему досталось полтора ста душъ хорошаго имѣнія. Лѣтъ двадцати отъ роду онъ распорядился поступить въ гусары. Все шло хорошо; но на шестомъ году его службы случилось ему, въ одинъ несчастный вечеръ, проиграть все свое состояніе. Онъ не спалъ всю ночь. На слѣдующій вечеръ онъ снова явился къ карточному столу и поставилъ на карту свою лошадь,—послѣднее, что у него осталось. Карта взяла, за ней другая, третья и черезъ полчаса онъ отыгралъ одну изъ деревень своихъ, село Ихменевку, въ которомъ числились пятьдесятъ душъ по послѣдней ревизіи. Онъ забастовалъ и на другой же день подалъ въ отставку. Сто душъ погибли без-

возвратно. Черезъ два мѣсяца онъ былъ уволенъ поручикомъ и отправился въ свое сельцо. Никогда въ жизни онъ не говорилъ потомъ о своемъ проигрышѣ и, несмотря на извѣстное свое добродушіе, непременно бы разсорился съ тѣмъ, кто бы рѣшился ему объ этомъ напомнить. Въ деревнѣ онъ прилежно занялся хозяйствомъ и, тридцати-пяти лѣтъ отъ роду, женился на бѣдной дворяночкѣ, Аннѣ Андреевнѣ Шумиловой, совершенной безприданницѣ, но получившей образованіе въ губернскомъ благородномъ пансіонѣ, у эмигрантки Монъ-Ревешъ, чѣмъ Анна Андреевна гордилась всю свою жизнь, хотя никто никогда не могъ догадаться: въ чемъ именно состояло это образованіе. Хозяиномъ сдѣлался Николай Сергѣичъ превосходнымъ. У него учились хозяйству сосѣди-помѣщики. Прошло нѣсколько лѣтъ, какъ вдругъ въ сосѣднее имѣніе, село Васильевское, въ которомъ считалось девятьсотъ душъ, пріѣхалъ изъ Петербурга помѣщикъ, князь Петръ Александровичъ Валковскій. Его пріѣздъ произвелъ во всемъ околотеѣ довольно сильное впечатлѣніе. Князь былъ еще молодой человекъ, хотя и не первой молодости, имѣлъ не малый чинъ, значительныя связи, былъ красивъ собою, имѣлъ состояніе и, наконецъ, былъ вдовецъ, что особенно было интересно для дамъ и дѣвицъ всего уѣзда. Рассказывали о блестящемъ приемѣ, сдѣланномъ ему въ губернскомъ городѣ губернаторомъ, которому онъ приходился какъ-то сродни; о томъ, какъ всѣ губернскія дамы „сошли съ ума отъ его любезностей“ и проч. и проч. Однимъ словомъ, это былъ одинъ изъ блестящихъ представителей высшаго петербургскаго общества, которые рѣдко появляются въ губерніяхъ, и, появляясь, производятъ чрезвычайный эффектъ. Князь, однакоже, былъ не изъ любезныхъ, особенно съ тѣми, въ комъ не нуждался и кого считалъ хоть немного ниже себя. Съ своими сосѣдами по имѣнію онъ не заблагоразсудилъ познакомиться, чѣмъ тотчасъ же нашилъ себѣ много враговъ. И потому всѣ чрезвычайно удивились, когда вдругъ ему вздумалось сдѣлать визитъ къ Николаю Сергѣичу. Правда, что Николай Сергѣичъ былъ однимъ изъ самыхъ ближайшихъ его сосѣдей. Въ домѣ Ихменевыхъ князь произвелъ сильное впечатлѣніе. Онъ тотчасъ же очаровалъ ихъ обоихъ; особенно въ восторгѣ отъ него была Анна Андреевна. Немного спустя, онъ былъ уже у нихъ совершенно запросто, ѣздилъ каждый день, приглашалъ ихъ къ себѣ, острилъ, расска-

зывать анекдоты, игралъ на скверномъ ихъ фортепіанномъ пѣль. Ихменевы не могли надивиться, какъ можно было про такого дорогого, милѣйшаго человѣка говорить, что онъ гордый, спѣсивый, сухой эгоистъ, о чемъ въ одинъ голосъ кричали всѣ сосѣди? Надобно думать, что князь действительно понравился Николай Сергѣичъ, человѣкъ простой, прямой, безкорыстный, благородный. Впрочемъ вскорѣ все объяснилось. Князь пріѣхалъ въ Васильевское, чтобъ прогнать своего управляющаго, одного блуднаго нѣмца, человѣка амбиціоннаго, агронома, одареннаго почетной сѣдиной, очками и горбатымъ носомъ, но, при всѣхъ этихъ преимуществахъ, крившаго безъ стыда и цензуры и сверхъ того замучившаго нѣсколькихъ мужиковъ. Иванъ Карловичъ былъ, наконецъ, пойманъ и уличенъ на дѣлѣ, очень обидѣлся, много говорилъ про нѣмецкую честность, но, несмотря на все это, былъ прогнанъ и даже съ нѣкоторымъ безславіемъ. Князю нуженъ былъ управитель, и выборъ его палъ на Николая Сергѣича, отличнѣйшаго хозяина и честнѣйшаго человѣка, въ чемъ, конечно, не могло быть и малѣйшаго сомнѣнія. Кажется, князю очень хотѣлось, чтобъ Николай Сергѣичъ самъ предложилъ себя въ управляющіе; но этого не случилось, и князь въ одно прекрасное утро сдѣлалъ предложеніе самъ, въ формѣ самой дружеской и покорнѣйшей просьбы. Ихменевъ сначала отказывался; но значительное жалованье соблазнило Анну Андреевну, а удвоенныя любезности просителя разсѣяли и всѣ остальные недоумѣнія. Князь достигъ своей цѣли. Надо думать, что онъ былъ большимъ знатокомъ людей. Въ короткое время своего знакомства съ Ихменевымъ, онъ совершенно узналъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло и понялъ, что Ихменева надобно очаровать дружескимъ, сердечнымъ образомъ, надобно привлечь къ себѣ его сердце и что безъ этого деньги немного сдѣлаютъ. Ему же нуженъ былъ такой управляющій, которому онъ могъ бы слѣпо и навсегда довѣриться, чтобъ ужъ и не заѣзжать никогда въ Васильевское, какъ и действительно онъ рассчитывалъ. Очарованіе, которое онъ произвелъ въ Ихменевѣ, было такъ сильно, что тотъ искренно повѣрилъ въ его дружбу. Николай Сергѣичъ былъ одинъ изъ тѣхъ добрѣйшихъ и наивно-романтическихъ людей, которые такъ хороши у насъ на Руси, что бы ни говорили о нихъ, и которые, если ужъ полюбятъ кого (иногда Богъ знаетъ за что), то отдаются ему всей ду-

шой, простирая иногда свою привязанность до комического.

Прошло много лѣтъ. Имѣніе князя процвѣтало. Сношенія между владѣтелемъ Васильевскаго и его управляющимъ совершались безъ малѣйшихъ непріятностей съ обѣихъ сторонъ и ограничивались сухой дѣловой перепиской. Князь, не вмѣшиваясь нисколько въ распоряженія Николая Сергѣича, давалъ ему иногда такіе совѣты, которые удивляли Ихменева своею необыкновенною практичностью и дѣловитостью. Видно было, что онъ не только не любилъ тратить лишняго, но даже умѣлъ наживать. Лѣтъ пять послѣ посѣщенія Васильевскаго, онъ прислалъ Николаю Сергѣичу довѣренность на покупку другого, превосходнѣйшаго имѣнія въ чтыреста душъ, въ той же губерніи. Николай Сергѣичъ былъ въ восторгѣ; успѣхи князя, слухи объ его удачахъ, объ его возвышеніи онъ принималъ къ сердцу, какъ будто дѣло шло о родномъ его братѣ. Но восторгъ его дошелъ до послѣдней степени, когда князь дѣйствительно показалъ ему въ одномъ случаѣ свою чрезвычайную довѣренность. Вотъ какъ это произошло... Впрочемъ, здѣсь я нахожу необходимымъ упомянуть о нѣкоторыхъ особенныхъ подробностяхъ изъ жизни этого князя Валковскаго, отчасти одного изъ главнѣйшихъ лицъ моего разсказа.

ГЛАВА IV.

Я упомянулъ уже прежде, что онъ былъ вдовъ. Женатъ былъ онъ еще въ первой молодости и женился на деньгахъ. Отъ родителей своихъ, окончательно разорившихся въ Москвѣ, онъ не получилъ почти ничего. Васильевское было заложено и перезаложено; долги на немъ лежали огромные. У двадцатидвухлѣтняго князя, принужденнаго тогда служить въ Москвѣ въ какой-то канцеляріи, не оставалось ни копейки, и онъ вступалъ въ жизнь какъ „голякъ-потомокъ отрасли старинной“. Бракъ на перерѣлой дочери какого-то купца-откупщика спасъ его. Откупщикъ, конечно, обманулъ его на приданомъ, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое имѣніе и подняться на ноги. Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умѣла писать, не могла склеить двухъ словъ, была дурна лицомъ и имѣла только одно важное достоинство: была добра и безотвѣтна. Князь воспользовался этимъ достоинствомъ вполнѣ; послѣ перваго года брака, онъ

оставилъ жену свою, родившую ему въ это время сына, на рукахъ ея отца-откупщика въ Москвѣ, а самъ уѣхалъ служить въ —ю губернію, гдѣ выхлопоталъ, черезъ покровительство одного знатнаго петербургскаго родственника, довольно видное мѣсто. Душа его жаждала отличій, возвышеній, карьеры, и, рассчитавъ, что съ своею женою онъ не можетъ жить ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, онъ рѣшился, въ ожиданіи лучшаго, начать свою карьеру съ провинціи. Говорятъ, что еще въ первый годъ своего сожителства съ женою, онъ чуть не замучилъ ее своимъ грубымъ съ ней обхожденіемъ. Этотъ слухъ всегда возмущалъ Николая Сергѣича и онъ съ жаромъ стоялъ за князя, утверждая, что князь неспособенъ къ неблагородному поступку. Но лѣтъ черезъ семь умерла, наконецъ, княгиня, и овдовѣвшій супругъ ея немедленно переѣхалъ въ Петербургъ. Въ Петербургѣ онъ произвелъ даже нѣкоторое впечатлѣніе. Еще молодой, красавецъ собою, съ состояніемъ, одаренный многими блестящими качествами, несомнѣннымъ остроуміемъ, вкусомъ, неистощимою веселостью, онъ явился не какъ искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что въ немъ дѣйствительно было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. Онъ чрезвычайно правился женщинамъ, и связь съ одной изъ свѣтскихъ красавицъ доставила ему скандальную славу. Онъ сыпалъ деньгами, не жалѣя ихъ, несмотря на врожденную расчетливость, доходившую до скупости, проигрывалъ кому нужно въ карты и не морщился даже отъ огромныхъ проигрышей. Но не развлеченій онъ пріѣхалъ искать въ Петербургѣ: ему надо было окончательно стать на дорогу и упрочить свою карьеру. Онъ достигъ этого. Графъ Наинскій, его знатный родственникъ, который не обратилъ бы и вниманія на него, если бъ онъ явился обыкновеннымъ просителемъ, пораженный его успѣхами въ обществѣ, нашелъ возможнымъ и приличнымъ обратить на него свое особенное вниманіе, и даже удостоилъ взять въ свой домъ, на воспитаніе, его семилѣтняго сына. Къ этому-то времени относится и поѣздка князя въ Васильевское и знакомство его съ Ихменевыми. Наконецъ, получивъ чрезъ посредство графа значительное мѣсто при одномъ изъ важнѣйшихъ посольствъ, онъ отправился за границу. Далѣе слухи о немъ становились нѣсколько темными: говорили о какомъ-то неприятномъ происше-

ствіи, случившемся съ нимъ за границей, но никто не могъ объяснить, въ чемъ оно состояло. Извѣстно было только, что онъ успѣлъ прикупить четыреста душъ, о чемъ уже я упоминалъ. Воротился онъ изъ-за границы уже много лѣтъ спустя, въ важномъ чинѣ, и немедленно занялъ въ Петербургѣ весьма значительное мѣсто. Въ Ихменевкѣ носились слухи, что онъ вступаетъ во второй бракъ и роднится съ какимъ-то знатнымъ, богатымъ и сильнымъ домомъ. „Смотрить въ вельможи!“ говорилъ Николай Сергѣичъ, потирая руки отъ удовольствія. Я былъ тогда въ Петербургѣ, въ университетѣ, и помню, что Ихменевъ нарочно писалъ ко мнѣ и просилъ меня справиться: справедливы-ли слухи о бракѣ? Онъ писалъ тоже князю, прося у него для меня покровительства, но князь оставилъ письмо его безъ отвѣта. Я зналъ только, что сынъ его, воспитывавшійся сначала у графа, а потомъ въ лицей, окончилъ тогда курсъ наукъ, девятнадцати лѣтъ отъ роду. Я писалъ объ этомъ къ Ихменевымъ, а также и о томъ, что князь очень любитъ своего сына, балуетъ его, разсчитываетъ уже и теперь его будущность. Все это я узналъ отъ товарищей-студентовъ, знакомыхъ молодому князю. Въ это-то время Николай Сергѣичъ, въ одно прекрасное утро, получилъ отъ князя письмо, чрезвычайнаго его удивившее...

Князь, который до сихъ поръ, какъ уже упомянулъ я, ограничивался въ сношеніяхъ съ Николаемъ Сергѣичемъ одной сухой, дѣловой перепиской, писалъ къ нему теперь самымъ подробнымъ, откровеннымъ и дружескимъ образомъ о своихъ семейныхъ обстоятельствахъ: онъ жаловался на своего сына; писалъ, что сынъ огорчаетъ его дурнымъ своимъ поведеніемъ; что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотрѣть слишкомъ серьезно (онъ, видимо, старался оправдать его), но что онъ рѣшился наказать сына, поугатъ его, а именно: сослать его на нѣкоторое время въ деревню, подъ присмотръ Ихменева. Князь писалъ, что вполне полагается на „своего добрѣйшаго, благороднѣйшаго Николая Сергѣевича и въ особенности на Анну Андреевну“, просилъ ихъ обоихъ принять его вътрогона въ ихъ семейство, поучить въ уединеніи уму-разуму, полюбить его, если возможно, а, главное, исправить его легкомысленный характеръ и „внушить спасительныя и строгія правила, столь необходимыя въ человѣческой жизни“. Разумѣется, старикъ Ихменевъ

съ восторгомъ принялся за дѣло. Явился и молодой князи они приняли его какъ родного сына. Вскорѣ Николая Сергѣичъ горячо полюбилъ его, не менѣе, чѣмъ свою Наташу; даже потомъ, уже послѣ окончательнаго разрыва между княземъ-отцомъ и Ихменевымъ, старикъ съ веселымъ духомъ вспоминалъ иногда о своемъ Алешѣ,—такъ привыкъ онъ называть князя Алексѣя Петровича. Въ самомъ дѣлѣ, это былъ премилѣйшій мальчикъ: красавчикъ собою, слабый и нервный, какъ женщина, но вмѣстѣ съ тѣмъ веселый и простодушный, съ душою отверстою и способною къ благороднѣйшимъ ощущеніямъ, съ сердцемъ любящимъ, правдивымъ и признательнымъ, онъ сдѣлался идоломъ въ домѣ Ихменевыхъ. Несмотря на свои девятнадцать лѣтъ, онъ былъ еще совершенный ребенокъ. Трудно было представить, за что его могъ сослать отецъ, который, какъ говорили, очень любилъ его? Говорили, что молодой человекъ въ Петербургѣ жилъ праздно и вѣтрено, служить не хотѣлъ и огорчалъ этимъ отца. Николай Сергѣичъ не спрашивалъ Алешу, потому что князь Петръ Александровичъ видимо умалчивалъ въ своемъ письмѣ о настоящей причинѣ изгнанія сына. Впрочемъ, носились слухи про какую-то непростительную вѣтрость Алеши: про какую-то связь съ одной дамой, про какой-то вызовъ на дуэль, про какой-то невѣроятный проигрышъ въ карты; доходили даже до какихъ-то чужихъ денегъ, имъ будто бы растраченныхъ. Былъ тоже слухъ, что князь рѣшился удалить сына вовсе не за вину, а вслѣдствіе какихъ-то особенныхъ эгоистическихъ соображеній. Николай Сергѣичъ съ негодованіемъ отвергалъ этотъ слухъ, тѣмъ болѣе, что Алеша чрезвычайно любилъ своего отца, котораго не зналъ въ продолженіе всего своего дѣтства и отрочества; онъ говорилъ о немъ съ восторгомъ, съ увлеченіемъ; видно было, что онъ вполне подчинился его вліянію. Алеша болталъ тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и онъ, и отецъ вмѣстѣ, но что онъ, Алеша, одержалъ верхъ, а отецъ на него за это ужасно разсердился. Онъ всегда рассказывалъ эту исторію съ восторгомъ, съ дѣтскимъ простодушіемъ, съ звонкимъ веселымъ смѣхомъ; но Николай Сергѣичъ тотчасъ же его останавливалъ. Алеша подтверждалъ тоже слухъ, что отецъ его хочетъ жениться.

Онъ выжилъ уже почти годъ въ изгнаніи, въ извѣстные сроки писалъ къ отцу почтительныя и благоразумныя

письма, и, наконецъ, до того сжился съ Васильевскимъ, что когда князь на лѣто самъ прїѣхалъ въ деревню (о чемъ заранѣе увѣдомилъ Ихменевыхъ), то изгнанникъ самъ сталъ просить отца позволить ему какъ можно долѣе остаться въ Васильевскомъ, увѣряя, что сельская жизнь— настоящее его назначеніе. Всѣ рѣшенія и увлеченія Алеши происходили отъ его чрезвычайной, слабонервной воспримчивости, отъ горячаго сердца, отъ легкомыслія, доходившаго иногда до безмыслицы, отъ чрезвычайной способности подчиняться всякому внѣшнему вліянію и отъ совершеннаго отсутствія воли. Но князь какъ-то подозрительно выслушалъ его просьбу... Вообще Николай Сергѣичъ съ трудомъ узнавалъ своего прежняго „друзя“: князь Петръ Александровичъ чрезвычайно измѣнился. Онъ сдѣлался вдругъ особенно придирчивъ къ Николаю Сергѣичу; въ повѣркѣ счетовъ по имѣнію выказалъ какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно огорчило добрѣйшаго Ихменева; онъ долго старался не вѣрить самому себѣ. Въ этотъ разъ все дѣлалось обратно въ сравненіи съ первымъ посѣщеніемъ Васильевскаго, четырнадцать лѣтъ тому назадъ: въ этотъ разъ князь перезнакомился со всѣми сосѣдами, разумѣется, изъ важнѣйшихъ; къ Николаю же Сергѣичу онъ никогда не ѣздилъ и обращался съ нимъ какъ будто съ своимъ подчиненнымъ. Вдругъ случилось непонятное происшествіе: безъ всякой видимой причины послѣдовалъ ожесточенный разрывъ между княземъ и Николаемъ Сергѣичемъ. Подслушаны были горячія, обидныя слова, сказанныя съ обѣихъ сторонъ. Съ негодованіемъ удалился Ихменевъ изъ Васильевскаго, но исторія еще этимъ не кончилась. По всему околотку вдругъ распространилась отвратительная сплетня. Увѣряли, что Николай Сергѣичъ, разгадавъ характеръ молодого князя, имѣлъ намѣреніе употребить всѣ недостатки его въ свою пользу; что дочь его Наташа (которой уже было тогда семнадцать лѣтъ) сумѣла влюбить въ себя двадцатилѣтняго юношу; что и отецъ, и мать этой любви покровительствовали, хотя и дѣлали видъ, что ничего не замѣчаютъ; что хитрая и „безнравственная“ Наташа околдовала, наконецъ, совершенно молодого человѣка, не выдавашаго въ цѣлый годъ, ея стараніями, почти ни одной настоящей благородной дѣвицы, которыхъ такъ много зрѣеть въ почтенныхъ домахъ сосѣднихъ помѣщиковъ. Увѣряли, наконецъ, что между

любовниками уже было условлено обвѣчаться, въ пятнадцать верстахъ отъ Васильевскаго, въ селѣ Григорьевѣ повидимому, тихонько отъ родителей Наташи, но которые однакоже знали все до малѣйшей подробности и руководили дочь гнусными своими совѣтами. Однимъ словомъ, въ цѣлой книгѣ не умѣстить всего, что увѣдныя кумушки обоюго пола успѣли насплетничать по поводу этой исторіи. Но удивительнѣе всего, что князь повѣрилъ всему этому совершенно и даже пріѣхалъ въ Васильевское единственно по этой причинѣ, вслѣдствіе какого-то анонимнаго доноса, присланнаго къ нему въ Петербургъ изъ провинціи. Конечно, всякій, кто зналъ хоть сколько-нибудь Николая Сергѣича, не могъ бы, кажется, и одному слову повѣрить изъ всѣхъ взводимыхъ на него обвиненій; а между тѣмъ, какъ водится, всѣ суетились, всѣ говорили, всѣ оговаривались, всѣ покачивали головами и... осуждали безвозвратно. Ихменевъ же былъ слишкомъ гордъ, чтобъ оправдывать дочь свою предъ кумушками, и на строго запретилъ своей Аннѣ Андреевнѣ вступать въ какія бы то ни было объясненія съ сосѣдями. Сама же Наташа, такъ оклеветанная, даже еще цѣлый годъ спустя, не знала почти ни одного слова изъ всѣхъ этихъ наговоровъ и сплетней: отъ нея тщательно скрывали всю исторію и она была весела и невинна какъ двѣнадцатилѣтній ребенокъ.

Тѣмъ временемъ ссора шла все дальше и дальше. Услужливые люди не дремали. Явились доносчики и свидѣтели и князя успѣли, наконецъ, увѣрить, что долголѣтнее управленіе Николая Сергѣича Васильевскимъ далеко не отличалось образцовою честностью. Мало того: что три года тому назадъ, при продажѣ рощи, Николай Сергѣичъ утаилъ въ свою пользу двѣнадцать тысячъ серебромъ, что на это можно представить самыя ясныя, законныя доказательства передъ судомъ, тѣмъ болѣе, что на продажу рощи онъ не имѣлъ отъ князя никакой законной довѣренности, а дѣйствовалъ по собственному соображенію, убѣдивъ уже потомъ князя въ необходимости продажи и предъявивъ за рощу сумму несравненно меньше дѣйствительно полученной. Разумѣется, все это были однѣ клеветы, какъ и оказалось впоследствии, но князь повѣрилъ всему и при свидѣтеляхъ назвалъ Николая Сергѣича воромъ. Ихменевъ не стерпѣлъ и отвѣчалъ равносильнымъ оскорбленіемъ; произошла ужасная сцена. Немедленно начался

процессъ. Николай Сергѣвичъ, за неимѣніемъ кой-какихъ бумагъ, а, главное, не имѣя ни покровителей, ни опытности въ хожденіи по такимъ дѣламъ, тотчасъ же сталъ проигрывать въ своей тяжбѣ. На имѣніе его было наложено запрещеніе. Раздраженный старикъ бросилъ все и рѣшился, наконецъ, переѣхать въ Петербургъ, чтобы лично хлопотать о своемъ дѣлѣ, а въ губерніи оставилъ за себя опытнаго повѣреннаго. Кажется, князь скоро сталъ понимать, что онъ напрасно оскорбилъ Ихменева. Но оскорбленіе съ обѣихъ сторонъ было такъ сильно, что не оставалось и слова на миръ, и раздраженный князь употреблялъ всѣ усилія, чтобы повернуть дѣло въ свою пользу, то-есть въ сущности отнять у бывшаго своего управляющаго послѣдній кусокъ хлѣба.

ГЛАВА V.

Итакъ, Ихменевы переѣхали въ Петербургъ. Не стану описывать мою встрѣчу съ Наташей послѣ такой долгой разлуки. Во всѣ эти четыре года я не забывалъ ее никогда. Конечно, я самъ не понималъ вполнѣ того чувства, съ которымъ вспоминалъ о ней; но когда мы вновь свидѣлись, я скоро догадался, что она суждена мнѣ судьбою. Сначала, въ первые дни послѣ ихъ пріѣзда, мнѣ все казалось, что она какъ-то мало развилась въ эти годы, совсѣмъ какъ будто не перемѣнилась и осталась такой же дѣвочкой, какъ и была до нашей разлуки. Но потомъ каждый день я угадывалъ въ ней что-нибудь новое, до тѣхъ поръ мнѣ совсѣмъ незнакомое, какъ будто нарочно скрытое отъ меня, какъ будто дѣвушка нарочно отъ меня пряталась, — и что за наслажденіе было это отгадываніе. Старикъ, переѣхавъ въ Петербургъ, первое время былъ раздраженъ и желченъ. Дѣла его шли худо: онъ негодовалъ, выходилъ изъ себя, возился съ дѣловыми бумагами, и ему было не до насъ. Анна же Андреевна ходила какъ потерянная и сначала ничего сообразить не могла. Петербургъ ее пугалъ. Она вздыхала и трусилась, плакала о прежнемъ житьѣ-бытьѣ, объ Ихменевѣ, о томъ, что Наташа на возрастѣ, а о ней и подумать некому, и пускалась со мной въ пристрастныя откровенности, за неимѣніемъ кого другого, болѣе способнаго къ дружеской довѣренности.

Вотъ въ это-то время, незадолго до ихъ пріѣзда, я кончилъ мой первый романъ, тотъ самый, съ котораго нача-

лась моя первая карьера, и, какъ новичокъ, сначала не зналъ, куда его сунуть. У Ихменевыхъ я объ этомъ ничего не говорилъ; они же чуть со мной не поссорились за то, что я живу праздно, то-есть не служу и не стараюсь прискаты себѣ мѣста. Старикъ горько и даже желчно укорялъ меня, разумѣется, изъ отеческаго ко мнѣ участія. Я же просто стыдился сказать имъ, чѣмъ занимаюсь. Ну какъ, въ самомъ дѣлѣ, объявить прямо, что не хочу служить, а хочу сочинять романы, а потому до времени ихъ обманывалъ, говорилъ, что мѣста мнѣ не даютъ, а что я ищу изъ всѣхъ силъ. Ему некогда было повѣрять меня. Помню, какъ однажды Наташа, наслушавшись нашихъ разговоровъ, таинственно отвела меня въ сторону и со слезами умоляла подумать о моей судьбѣ, допрашивала меня, выпытывала: что я именно дѣлаю, и когда я и передъ ней не открылся, взяла съ меня клятву, что я не сгублю себя, какъ лѣнтяй и праздношатайка. Правда, я хоть не признался и ей, чѣмъ занимаюсь, но помню, что за одно одобрительное слово ея о трудѣ моемъ, о моемъ первомъ романѣ, я бы отдалъ всѣ самые лестные для меня отзывы критиковъ и цѣнителей, которые потомъ о себѣ слышалъ. И вотъ вышелъ, наконецъ, мой романъ. Еще задолго до появленія его поднялся шумъ и гамъ въ литературномъ мірѣ. Б. обрадовался, какъ ребенокъ, прочитавъ мою рукопись. Нѣтъ! Если я былъ счастливъ когда-нибудь, то это даже и не во время первыхъ упоительныхъ минутъ моего успѣха, а тогда, когда еще я не читалъ и не показывалъ никому моей рукописи: въ тѣ долгія ночи среди восторженныхъ надеждъ и мечтаній и страстной любви къ труду, когда я сжился съ моей фантазіей, съ лицами, которыхъ самъ создалъ, какъ съ родными, какъ будто съ дѣйствительно существующими; любилъ ихъ, радовался и печалился съ ними, а подчасъ даже и плакалъ самыми искренними слезами надъ незабываемымъ героемъ моимъ. И описать не могу, какъ обрадовались старики моему успѣху, хотя сперва ужасно удивились: такъ странно ихъ это поразило! Анна Андреевна, напримѣръ, никакъ не хотѣла повѣрить, что новый, прославляемый всѣми писатель—тотъ самый Ваня, который и т. д., и т. д., и все качала головою. Старикъ долго не сдавался и сначала, при первыхъ слухахъ, даже испугался; сталъ говорить о потерянной служебной карьерѣ, о безпорядочномъ поведеніи всѣхъ вообще сочинителей. Но непре-

рывные новые слухи, объявленія въ журналахъ и, наконецъ, нѣсколько похвальныхъ словъ, услышанныхъ имъ обо мнѣ отъ такихъ лицъ, которымъ онъ съ благоговѣніемъ вѣрилъ, заставили его измѣнить свой взглядъ на дѣло. Когда же онъ увидѣлъ, что я вдругъ очутился съ деньгами, и узналъ, какую плату можно получить за литературный трудъ, то и послѣднія сомнѣнія его разсѣялись. Быстрый въ переходахъ отъ сомнѣнія къ полной восторженной вѣрѣ, радуясь, какъ ребенокъ, моему счастью, онъ вдругъ ударился въ самыя необузданныя надежды, въ самыя ослѣпительныя мечты о моей будущности. Каждый день создавалъ онъ для меня новыя карьеры и планы и чего-чего не было въ этихъ планахъ! Онъ даже началъ выказывать мнѣ какое-то особенное, до тѣхъ поръ небывалое ко мнѣ уваженіе. Но, все-таки, помню, случалось, сомнѣнія вдругъ опять осаждали его, часто среди самаго восторженнаго фантазирования, и снова сбивали его съ толку.

„Сочинитель, поэтъ. Какъ-то странно... Когда же поэты выходили въ люди, въ чины? Народъ-то все такой щелкоперъ, ненадежный!“

Я замѣтилъ, что подобныя сомнѣнія и всѣ эти щекотливые вопросы приходили къ нему все чаще въ сумерки (такъ памятенъ мнѣ всѣ подробности и все то золотое время!). Въ сумерки нашъ старикъ всегда становился какъ-то особенно нервентъ, впечатлителенъ и мнителенъ. Мы съ Наташей ужъ знали это и заранѣе посмѣивались. Помню, я ободрялъ его анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, какъ Державину прислали табакерку съ червонцами, какъ сама императрица посѣтила Ломоносова; рассказывалъ про Пушкина, про Гоголя.

— Знаю, братецъ, все знаю, возражалъ старикъ, можетъ-быть, слышавшій въ первый разъ въ жизни всѣ эти исторіи. — Гм! Послушай, Ваня, а вѣдь я все-таки радъ, что твоя стражня не стихами писана. Стихи, братецъ, вздоръ; ужъ ты не спорь, а мнѣ повѣрь старику; я добра желаю тебѣ; чистый вздоръ, праздное употребленіе времени! Стихи гимназистамъ писать; стихи до сумасшедшаго дома вашу братію, молодежь, доводить... Положимъ, что Пушкинъ великъ, кто объ этомъ! А все-таки стишки, и ничего больше; такъ, эфемерное что-то... Я, впрочемъ, его и читалъ-то мало... Проза—другое дѣло! Тутъ сочинитель даже поучать можетъ, — ну, тамъ, о любви къ оте-

честву упомянуть, или такъ, вообще, про добродѣтели... да! Я, братъ, только не умѣю выразиться, но ты меня понимаешь; любя говорю. А ну-ка, ну-ка прочти! заключилъ онъ съ нѣкоторымъ видомъ повровительства, когда я, наконецъ, принесъ книгу и всѣ мы, послѣ чаю, усѣлись за круглый столъ,—прочти-ка, чтò ты тамъ настроилъ; много кричать о тебѣ! Посмотримъ, посмотримъ!

Я развернулъ книгу и приготовился читать. Въ тотъ вечеръ только-что вышелъ мой романъ изъ печати, и я, доставъ, наконецъ, экземпляръ, прибѣжалъ къ Ихменевымъ читать свое сочиненіе.

Какъ я горевалъ и досадовалъ, что не могъ имъ прочесть его ранѣе, по рукописи, которая была въ рукахъ у издателя! Наташа даже плакала съ досады, ссорилась со мной, попрекала меня, что чужіе прочтутъ мой романъ раньше, чѣмъ она... Но вотъ, наконецъ, мы сидимъ за столомъ. Старикъ соорилъ физиономію необыкновенно серьезную и критическую. Онъ хотѣлъ строго-строго судить, „самъ увѣриться“. Старушка тоже смотрѣла необыкновенно торжественно; чуть-ли она не надѣла къ чтенію новаго чепчика. Она давно уже примѣтила, что я смотрю съ безконечной любовью на ея безцѣнную Наташу; что у меня духъ занимается и темнѣетъ въ глазахъ, когда я съ ней заговариваю, и что и Наташа тоже какъ-то яснѣе, чѣмъ прежде, на меня поглядываетъ. Да! Пришло, наконецъ, это время, пришло въ минуту удачъ, золотыхъ надеждъ и самаго полного счастья, все вмѣстѣ, все разомъ пришло! Примѣтила тоже старушка, что и старикъ ея какъ-то ужъ слишкомъ началъ хвалить меня и какъ-то особенно взглядываетъ на меня и на дочь... и вдругъ испугалась: все же я былъ не графъ, не князь, не владѣтельный принцъ, или, по крайней мѣрѣ, коллежскій совѣтникъ изъ правовѣдовъ, молодой, въ орденахъ и красивый собою! Анна Андреевна не любила желать вполонину.

„Хвалить человѣка“, думала она обо мнѣ, „а за чтò— неизвѣстно. Сочинитель, поэтъ... Да, вѣдь, чтò-жъ такое сочинитель?“

ГЛАВА VI.

Я прочелъ имъ мой романъ въ одинъ присѣсть. Мы начали сейчасъ послѣ чаю, а просидѣли до двухъ часовъ пополудни. Старикъ сначала нахмурился. Онъ ожидалъ чего-то непостижимо-высокаго, такого, чего бы онъ, по-

жалуй, и самъ не могъ понять, но только непременно высокаго; а вмѣсто того, вдругъ такія будни и все такое извѣстное,—вотъ, точь-въ-точь, какъ то самое, что обыкновенно кругомъ совершается. И добро бы большой или интересный человѣкъ былъ герой, или изъ историческаго что-нибудь, въ родѣ Рославлева или Юрія Милославскаго; а то выставленъ какой-то маленькій, забитый и даже глуповатый чиновникъ, у котораго и пуговицы на вицмундирѣ обсыпались; и все это такимъ простымъ слогомъ описано, ни дать ни взять, какъ мы сами говоримъ... Странно! Старушка вопросительно взглядывала на Николая Сергѣевича и даже немного надулась, точно чѣмъ-то обидѣлась: „Ну, стойтъ, право, такой вздоръ печатать и слушать, да еще и деньги за это даютъ“, написано было на лицѣ ея. Наташа была вся вниманіе, съ жадностью слушала, не сводила съ меня глазъ, всматривалась въ мои губы, какъ я произношу каждое слово, и сама, шевелила за мною своими хорошенькими губками. И что-жъ? Прежде чѣмъ я дочелъ до половины, у всѣхъ моихъ слушателей текли изъ глазъ слезы. Анна Андреевна искренно плакала, отъ всей души сожалѣя моего героя и пренаивно желая хоть чѣмъ-нибудь помочь ему въ его несчастіяхъ, что понималъ я изъ ея восклицаній. Старикъ уже отбросилъ всѣ мечты о высокомъ. „Съ перваго шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; такъ себѣ, просто рассказець; зато сердце захватываетъ, говорилъ онъ: — зато становится понятно и памятно, что кругомъ происходитъ; зато познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ, есть тоже человѣкъ и называется братъ мой“.

Наташа слушала, плакала и подъ столомъ, украдкой, вѣрѣно пожимала мою руку. Кончилось чтеніе. Она встала; щечки ея горѣли, слезинки стояли въ глазахъ; вдругъ она схватила мою руку, поцѣловала ее и выбѣжала вонъ изъ комнаты. Отецъ и мать переглянулись между собою.

— Гм! Вотъ она какая восторженная, проговорилъ старикъ, пораженный поступкомъ дочери,—это ничего, впрочемъ, это хорошо, хорошо, благородный порывъ! Она добрая дѣвушка... бормоталъ онъ, смотря вскользь на жену, какъ будто желая оправдать Наташу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, почему-то желая оправдать и меня.

Но Анна Андреевна, несмотря на то, что во время чтенія сама была въ нѣкоторомъ волненіи и тронута, смотрѣла теперь такъ, какъ будто хотѣла выговорить: „Оно,

конечно, Александръ Македонскій герой, но зачѣмъ же ступля ломать?“ и т. д.

Наташа воротилась скоро, веселая и счастливая, и, проходя мимо, потихоньку ущипнула меня. Старикъ принялся было опять „серьезно“ оцѣнивать мою повѣсть, но отъ радости не выдержалъ характера и увлекся:

— Ну, братъ, Ваня, хорошо, хорошо! Утѣшилъ! Такъ утѣшилъ, что я даже и не ожидалъ. Не высокое, не великое, это видно... Вонъ у меня тамъ „Освобожденіе Москвы“ лежитъ, въ Москвѣ же и сочинили,—ну, такъ оно съ первой строки, братецъ, видно, что, такъ сказать, орломъ воспарилъ человѣкъ... Но знаешь-ли, Ваня, у тебя оно какъ-то проще, понятнѣе. Вотъ именно за то и люблю, что понятнѣе! Роднѣе какъ-то оно; какъ будто со мной самимъ все это случилось. А то что высокое-то? И самъ бы не понималъ. Слогъ бы я исправилъ; я вѣдь хвалю, а что ни говори, все-таки мало возвышеннаго... Ну, да ужъ теперь поздно: напечатано. Развѣ во второмъ изданіи? А что, братъ, вѣдь и второе изданіе чай будетъ? Тогда опять деньги... Гм!

— И неужели вы столько денегъ получили, Иванъ Петровичъ? замѣтила Анна Андреевна. — Гляжу на васъ и все какъ-то не вѣрится. Ахъ ты, Господи, вотъ вѣдь за что теперь деньги стали давать!

— Знаешь, Ваня, продолжалъ старикъ, увлекаясь все болѣе и болѣе,—это хоть не служба, зато все-таки карьера. Прочтутъ и высокія лица. Вотъ, ты говорилъ, Гоголь вспоможеніе ежегодное получаетъ и за границу посланъ. А что, если-бъ и ты? А? Или еще рано? Надо еще что-нибудь сочинить? Такъ сочиняй, братъ, сочиняй поскорѣе! Не засыпай на лаврахъ. Чего глядѣть-то!

И онъ говорилъ это съ такимъ убѣжденнымъ видомъ, съ такимъ добродушіемъ, что недоставало рѣшимости остановить и расхолодить его фантазію.

— Или вотъ, напимѣрь, табакерку дадутъ... Что-жъ? На милость вѣдь нѣтъ' образца. Поощрить захотятъ. А кто знаетъ, можетъ и ко двору попадешь; прибавилъ онъ полушопотомъ и съ значительнымъ видомъ, прищуривъ свой лѣвый глазъ,—или нѣтъ? Или еще рано ко двору-то?

— Ну, ужъ и ко двору! сказала Анна Андреевна, какъ будто обидѣвшись.

— Еще немного, и вы произведете меня въ генералы, отвѣчалъ я, смѣясь отъ души.

Старикъ тоже засмѣялся. Онъ былъ чрезвычайно доволенъ.

— Ваше превосходительство, не хотите-ли кушать? закричала рѣзвая Наташа, которая тѣмъ временемъ собрала намъ поужинать.

Она захохотала, подбѣжала къ отцу и крѣпко обняла его своими горячими ручками.

— Добрый, добрый папаша!

Старикъ расчувствовался.

— Ну, ну, хорошо, хорошо! Я вѣдь такъ, просто говорю. Генераль не генераль, а пойдѣте-ка ужинать. Ахъ, ты, чувствительная! прибавилъ онъ, потрепавъ свою Наташу по раскраснѣвшей щечкѣ, что любилъ дѣлать при всякомъ удобномъ случаѣ, — я, вотъ видишь-ли, Ваня, любя говорилъ. Ну, хоть и не генераль (далеко до генерала!), а все-таки извѣстное лицо, сочинитель.

— Нынче, папаша, говорятъ: писатель.

— А не сочинитель? Не зналъ я. Ну, положимъ, хоть и писатель, а я вотъ что хотѣлъ сказать: камергеромъ, конечно, не сдѣлаютъ за то, что романъ сочинилъ; объ этомъ и думать нечего; а все-таки можно въ люди пройти; ну, сдѣлаться какимъ-нибудь тамъ аташе. За границу могутъ послать, въ Италію, для поправленія здоровья, или тамъ для усовершенствованія въ наукахъ, что-ли; деньгами помогутъ. Разумѣется, надо, чтобъ все это и съ твоей стороны было благородно; чтобъ за дѣло, за настоящее дѣло деньги и почести брать, а не такъ чтобъ какъ-нибудь тамъ, по протекціи...

— Да ты не загордись тогда, Иванъ Петровичъ, прибавила, смѣясь, Анна Андреевна.

— Да ужъ поскорѣй ему звѣзду, папаша, а то что, въ самомъ дѣлѣ, аташе да аташе?

И она опять ущипнула меня за руку.

— А эта все надо мной подсмѣивается! вскричалъ старикъ, съ восторгомъ смотря на Наташу, у которой разгорѣлись щечки, а глазки весело сіяли, какъ звѣзочки — и, дѣтки, кажется, и вправду далеко звѣзды... м... сьары записался; и всегда-то я былъ тѣмъ, а ты только знаешь, Ваня, смотрю я на тебя: какой-то ты ужасъ со смѣмъ простой...

— Ахъ, Боже мой! Да какому же ему быть, папочка?

— Ну, нѣтъ, я не то. А только все-таки, Ваня, у тебя какое-то этакъ лицо... то-есть совсѣмъ какъ будто не

поэтическое... Этакъ, знаешь, блѣдныя они, говорятъ, бывають поэты-то, ну, и съ волосами такими, и въ глазахъ этакъ что-то... Знаешь, тамъ Гёте какой-нибудь или проч... я это въ Аббадонѣ читаль... а что? Опять совралъ что-нибудь? Ишь, шалунья, такъ и заливаешься надо мной! Я, друзья мои, не ученый, только чувствовать могу. Ну, лицо не лицо, — это вѣдь еще не велика бѣда, лицо-то; для меня и твое хорошо, и очень нравится... Я вѣдь не къ тому говорилъ... А только будь честенъ, Ваня, будь честенъ, это главное; живи честно, не возмечтай! Передъ тобой дорога широкая. Служи честно своему дѣлу; вотъ что я хотѣлъ сказать, вотъ именно это-то я и хотѣлъ сказать!

Чудное было время! Всѣ свободныя часы, всѣ вечера проводилъ я у нихъ. Старику приносилъ вѣсти о литературномъ мѣрѣ, о литераторахъ, которыми онъ вдругъ, неизвѣстно почему, началъ чрезвычайно интересоваться; даже началъ читать критическія статьи Б., про котораго я много наговорилъ ему и котораго онъ почти не понималъ, но хвалилъ до восторга и горько жаловался на враговъ его, писавшихъ въ „Сѣверномъ Трутнѣ“. Старушка зорко слѣдила за мной и Наташей; но не услѣдила она за нами! Между нами уже было сказано одно словечко, и я услышалъ, наконецъ, какъ Наташа, потупивъ головку и полураскрывъ свои губки, почти шопотомъ сказала мнѣ: да. Но узнали и старики; погадали, подумали; Анна Андреевна долго качала головою. Странно и жутко ей было. Не вѣрила она мнѣ.

— Вѣдь вотъ хорошо удача, Иванъ Петровичъ, говорила она,—а вдругъ не будетъ удачи, или тамъ что-нибудь; что тогда? Хоть бы служили вы гдѣ!

— А вотъ что я скажу тебѣ, Ваня, рѣшилъ старикъ, надумавшись, —я и самъ это видѣлъ, замѣтилъ и, признаюсь, даже обрадовался, что ты и Наташа... ну, да чего тутъ! Видишь, Ваня: оба вы еще очень молоды и моя Анна Андреевна права. Подождемъ. Ты, положимъ, талантъ, даже замѣчательный талантъ... ну, не геній, какъ о тебѣ тамъ сперва прокричали, а такъ, просто талантъ (я еще вотъ сегодня читаль на тебя эту критику въ „Трутнѣ“; слишкомъ ужъ тамъ тебя худо третируютъ; ну, да вѣдь это что-жъ за газета). Да! Такъ видишь: вѣдь это еще не деньги въ ломбардѣ, талантъ-то; а вы оба бѣдныя. Подождемъ годика этакъ полтора или хотъ

годъ: пойдешь хорошо, утвердишься вѣрнѣе на своей дорогѣ, — твоя Наташа; не удастся тебѣ, — самъ разсуди!.. Ты человѣкъ честный; подумай!..

На этомъ и остановились. А черезъ годъ вотъ что было:

Да, это было почти ровно черезъ годъ! Въ ясный сентябрьскій день, передъ вечеромъ, вошелъ я къ моимъ старикамъ больной, съ замираніемъ въ душѣ, и упалъ на стулъ чуть не въ обморокъ, такъ что даже они перепугались на меня глядя. Но не оттого закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце такъ, что я десять разъ подходилъ къ ихъ дверямъ и десять разъ возвращался назадъ, прежде чѣмъ вошелъ, — не оттого, что не удалась мнѣ моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денегъ; не оттого, что я еще не какой-нибудь „аташе“ и далеко было до того, чтобъ меня послали для поправленія здоровья въ Италію; а оттого, что можно прожить десять лѣтъ въ одинъ годъ, и прожила въ этотъ годъ десять лѣтъ и моя Наташа. Безконечность легла между нами... И вотъ, помню, сидѣлъ я тогда передъ старикомъ, молчалъ и доламывалъ разсѣянной рукой и безъ того уже обломанныя поля моей шляпы; сидѣлъ и ждалъ, неизвѣстно зачѣмъ, когда выйдетъ Наташа. Костюмъ мой былъ жалокъ и худо на мнѣ сидѣлъ; лицомъ я осунулся, похудѣлъ, пожелтѣлъ, — а все-таки далеко не похожъ былъ я на поэта, и въ глазахъ моихъ все-таки не было ничего великаго, о чемъ такъ хлопоталъ когда-то добрый Николай Сергѣичъ. Старушка смотрѣла на меня съ непритворнымъ и ужъ слишкомъ торопливымъ сожалѣніемъ, а сама про себя думала:

„Вѣдь вотъ этакой-то чуть не сталъ женихомъ Наташи, Господи помилуй и сохрани!“

— Что, Иванъ Петровичъ, не хотите-ли чаю? (самоваръ кипѣлъ на столѣ). — Да каково, батюшка, поживаете? Больные вы какіе-то вовсе, спросила она меня жалобнымъ голосомъ, какъ теперь ее слышу.

И какъ теперь вижу: говорить она мнѣ, а въ глазахъ ея видна и другая забота, та же самая забота, отъ которой затуманился и ея старикъ и съ которой онъ сидѣлъ теперь надъ простывающей чашкой и думалъ свою думу. Я зналъ, что ихъ очень озабочиваетъ въ эту минуту процессъ съ княземъ Балковскимъ, повернувшійся для нихъ совсѣмъ хорошо, и что у нихъ случились еще новыя непріятности, разстроившія Николая Сергѣича до болѣзни.

Молодой князь, изъ-за котораго началась вся исторія этого процесса, мѣсяцевъ пять тому назадъ, нашелъ случай побывать у Ихменевыхъ. Старикъ, любившій своего милого Алешу, какъ родного сына, почти каждый день вспоминавшій о немъ, принялъ его съ радостію. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша сталъ ходить къ нимъ чаще и чаще, потихоньку отъ отца; Николай Сергѣичъ, честный, открытый, прямодушный, съ негодованіемъ отвергъ всѣ предосторожности. Изъ благородной гордости онъ не хотѣлъ и думать: чтò скажетъ князь, если узнаетъ, что его сынъ опять принять въ домѣ Ихменевыхъ, и мысленно презиралъ всѣ его недѣльныя подозрѣнія. Но старикъ не зналъ, достанетъ-ли у него силъ вынести новыя оскорбленія. Молодой князь началъ бывать у нихъ почти каждый день. Весело было съ нимъ старикамъ. Цѣлые вечера и далеко за полночь просиживалъ онъ у нихъ. Разумѣется, отецъ узналъ, наконецъ, обо всемъ. Вышла гнуснѣйшая сплетня. Онъ оскорбилъ Николая Сергѣича ужаснымъ письмомъ, все на ту же тему, какъ и прежде, а сыну положительно запретилъ посѣщать Ихменевыхъ. Это случилось за двѣ недѣли до моего къ нимъ прихода. Старикъ загрустилъ ужасно. Какъ! Его Наташу, невинную, благородную, замѣшивать опять въ эту грязную клевету, въ эту низость! Ея имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидѣвшимъ его челоуѣкомъ... И оставить все это безъ удовлетворенія! Въ первые дни онъ слегъ въ постель отъ отчаянія. Все это я зналъ. Вся исторія дошла до меня въ подробности, хотя я, больной и убитый, все это послѣднее время, недѣли три, у нихъ не показывался и лежалъ у себя на квартирѣ. Но я зналъ еще... нѣтъ! Я тогда еще только предчувствовалъ, зналъ да не вѣрилъ,—что, кромѣ этой исторіи, есть у нихъ теперь что-то, что должно беспокоить ихъ больше всего на свѣтѣ, и съ мучительной тоской къ нимъ приглядывался. Да, я мучился; я боялся угадать, боялся вѣрить и всѣми силами желалъ удалить роковую минуту. А между тѣмъ я и пришелъ для нея. Меня точно тянуло къ нимъ въ этотъ вечеръ!

— Да, Ваня, спросилъ вдругъ старикъ, какъ будто опомнившись,—ужь не былъ-ли боленъ? Что долго не ходилъ? Я виноватъ передъ тобой: давно хотѣлъ тебя навѣстить, да все какъ-то того...

И онъ опять задумался.

— Я былъ нездоровъ, отвѣчалъ я.

— Гм! Нездоровъ, повторилъ онъ пять минутъ спустя.—
То-то нездоровъ! Говорилъ я тогда, предостерегалъ — не
послушался! Гм! Нѣтъ, братъ, Ваня: муза видно испоконъ
вѣку сидѣла на чердакѣ голодная, да и будетъ сидѣть.
Такъ-то!

Да, не въ духѣ былъ старикъ. Не было-бъ у него своей
раны на сердцѣ, не заговорилъ бы онъ со мной о голод-
ной музѣ. Я всматривался въ его лицо: оно пожелтѣло,
въ глазахъ его выражалось какое-то недоумѣнiе, какая-то
мысль въ формѣ вопроса, котораго онъ не въ силахъ былъ
разрѣшить. Былъ онъ какъ-то порывистъ и непривычно
жѣлченъ. Жена взглядывала на него съ безпокойствомъ
и покачивала головою. Когда онъ разъ отвернулся, она
вивнула мнѣ на него украдкой.

— Какъ здоровье Натальи Николаевны? Она дома?
спросилъ я озабоченную Анну Андреевну.

— Дома, батюшка, дома, отвѣчала она, какъ будто за-
трудняясь моимъ вопросомъ. — Сейчасъ сама выйдетъ на
васъ поглядѣть. Шутка-ли! Три недѣли не видать! Да
чтой-то она у насъ какая-то стала такая—не сообразишь
съ ней никакъ: здоровая-ли, больная-ли, Богъ съ ней!

И она робко посмотрѣла на мужа.

— А что? Ничего съ ней, отозвался Николай Сергѣичъ
неохотно и отрывисто, — здорова. Такъ, въ лѣта входитъ
дѣвица, перестала младенцемъ быть, вотъ и все. Кто ихъ
разберетъ, эти дѣвичьи печали да капризы!

— Ну, ужъ и капризы! подхватила Анна Андреевна
обидчивымъ голосомъ.

Старикъ смолчалъ и забарабанилъ пальцами по столу.
„Боже, неужели ужъ было что-нибудь между ними?“ по-
думалъ я въ страхѣ.

— Ну, а что, какъ тамъ у васъ? началъ онъ снова.—
Что Б. все еще критику пишетъ?

— Да, пишетъ, отвѣчалъ я.

— Эхъ, Ваня, Ваня! заключилъ онъ, махнувъ рукой.—
Что ужъ тутъ критика!

Дверь открылась и вошла Наташа.

ГЛАВА VII.

Она несла въ рукахъ свою шляпку и, войдя, положила
ее на фортепiано; потомъ подошла ко мнѣ и молча про-
тянула мнѣ руку. Губы ея слегка пошевелились; она какъ

будто хотѣла мнѣ что-то сказать, какое-то привѣтствіе, но ничего не сказала.

Три недѣли какъ мы не видались. Я глядѣлъ на нее съ недоумѣніемъ и страхомъ. Какъ перемѣнилась она въ эти три недѣли! Сердце мое защемило тоской, когда я разглядѣлъ эти впалыя, блѣдныя щеки, губы, запекшіяся какъ въ лихорадкѣ, и глаза, сверкавшіе изъ-подъ длинныхъ, темныхъ рѣсницъ горячечнымъ огнемъ и какой-то страстной рѣшимостью.

Но, Боже, какъ она была прекрасна! Никогда, ни прежде, ни послѣ, не видалъ я ее такою, какъ въ этотъ роковой день. Та-ли, та-ли это Наташа, та-ли это дѣвочка, которая, еще только годъ тому назадъ, не спуская съ меня глазъ и шевеля за мною губками, слушала мой романъ, и которая такъ весело, такъ безопасно хохотала и шутила въ тотъ вечеръ съ отцомъ и со мною за ужиномъ? Та-ли это Наташа, которая тамъ, въ той комнатѣ, наклонивъ головку и вся загорѣвшись румянцемъ, сказала мнѣ: да.

Раздался густой звукъ колокола, призывавшаго къ вечернѣ. Она вздрогнула; старушка перекрестилась.

— Ты къ вечернѣ собиралась, Наташа, а вотъ ужъ и благовѣстятъ, сказала она. — Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! Да и прошлась бы заодно. Что взаперти-то сидѣть! Смотри, какая ты блѣдная; ровно слгазили.

— Я... можетъ-быть... не пойду сегодня, проговорила Наташа медленно и тихо, почти шопотомъ. — Я... нездорова, прибавила она и поблѣднѣла какъ полотно.

— Лучше бы пойти, Наташа; вѣдь ты же хотѣла давеча, и шляпку вотъ принесла. Помолись, Наташенька, помолись, чтобъ тебѣ Богъ здоровья послалъ, уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, какъ будто боялась ея.

— Ну, да, сходи; а къ тому-жъ и пройдешься, прибавилъ старикъ, тоже съ безпокойствомъ всматривался въ лицо дочери. — Мать правду говоритъ. Вотъ Ваня тебя и проводить.

Мнѣ показалось, что горькая усмѣшка промелькнула на губахъ Наташи. Она подошла къ фортепіано, взяла шляпку и надѣла ее; руки ея дрожали. Всѣ движенія ея были какъ будто безсознательны, — точно она не понимала, что дѣлала. Отецъ и мать пристально въ нее всматривались.

— Прощайте! чуть слышно проговорила она.

— И, ангель мой, что прощаться, далекий-ли путь! На тебя хоть вѣтеръ подуетъ; смотри, какая ты блѣдненькая. Ахъ! Да вѣдь я и забыла (все-то я забываю!), ладонку я тебѣ кончила; молитву зашила въ нее, ангель мой; монашенка изъ Кіева научила прошлаго года; пригодная молитва; еще давеча зашила. Надѣнь, Наташа. Авось, Господь Богъ тебѣ здоровья пошлетъ. Одна ты у насъ.

И старушка вынула изъ рабочаго ящика натѣльный золотой крестикъ Наташи; на той же ленточкѣ была привѣшена только-что сшитая ладонка.

— Носи на здоровье! прибавила она, надѣвая крестъ и крестя дочь.—Когда-то я тебя каждую ночь такъ крестила, на сонъ грядущій, молитву читала, а ты за мной причитывала. А теперь ты не та стала, и не даетъ тебѣ Господь спокойнаго духа. Ахъ, Наташа, Наташа! Не помогаютъ тебѣ и молитвы мои материнскія!

И старушка заплакала.

Наташа молча поцѣловала ея руку и ступила шагъ къ дверямъ; но вдругъ быстро воротилась назадъ и подошла къ отцу. Грудь ея глубоко волновалась.

— Папенька, перекрестите и вы... свою дочь! проговорила она задыхающимся голосомъ и опустила передъ нимъ на колѣни.

Мы всѣ стояли въ смущеніи отъ неожиданнаго, слишкомъ торжественнаго ея поступка. Нѣсколько мгновений отецъ смотрѣлъ на нее совсѣмъ потерявшись.

— Наташенька, дѣточка моя, дочка моя, милочка, что съ тобою? вскричалъ онъ, наконецъ, и слезы градомъ хлынули изъ глазъ его. — Отчего ты тоскуешь? Отчего плачешь и день, и ночь? Вѣдь я все вижу; я ночей не сплю, встаю и слушаю у твоей комнаты!.. Скажи мнѣ все, Наташа, откройся мнѣ во всемъ, старику, и мнѣ...

Онъ не договорилъ, поднялъ ее и крѣпко обнялъ. Она судорожно прижалась къ его груди и скрыла на его плечѣ свою голову.

— Ничего, ничего, это такъ... я нездорова... твердила она, задыхаясь отъ внутреннихъ, подавленныхъ слезъ.

— Да благословить же тебя Богъ, какъ я благословляю тебя, дитя мое милое, безцѣнное дитя! сказалъ отецъ. — Да пошлетъ Онъ тебѣ навсегда миръ души и оградить тебя отъ всякаго горя. Помолись Богу, другъ мой, чтобъ грѣшная молитва моя дошла до Него.

— И мое, и мое благословеніе надъ тобою! прибавила старушка, заливаясь слезами.

— Прощайте! прошептала Наташа.

У дверей она остановилась, еще разъ взглянула на нихъ; хотѣла было еще что-то сказать, но не могла и быстро вышла изъ комнаты. Я бросился вслѣдъ за нею, предчувствуя недоброе.

ГЛАВА VIII.

Она шла молча, скоро, потупивъ голову и не смотря на меня. Но пройдя улицу и ступивъ на набережную, вдругъ остановилась и схватила меня за руку.

— Душно! прошептала она.—Сердце тѣснить... душно!

— Воротись, Наташа! вскричалъ я въ испугѣ.

— Неужели-жъ ты не видишь, Ваня, что я вышла *со-вѣстью*, ушла отъ нихъ и никогда не возвращусь назадъ? сказала она, съ невыразимой тоской смотря на меня.

Сердце упало во мнѣ. Все это я предчувствовалъ еще идя къ нимъ; все это уже представлялось мнѣ, какъ въ туманѣ, еще, можетъ-быть, задолго до этого дня, но теперь слова ея поразили меня какъ громомъ.

Мы печально шли по набережной. Я не могъ говорить; я соображалъ, размышлялъ и потерялся совершенно. Голова у меня закружилась. Мнѣ казалось это такъ безобразно, такъ невозможно!

— Ты вишишь меня, Ваня? сказала она, наконецъ.

— Нѣтъ, но... но я не вѣрю; этого быть не можетъ!.. отвѣчалъ я, не помня, что говорю.

— Нѣтъ, Ваня, это ужъ есть! Я ушла отъ нихъ и не знаю, что съ ними будетъ... не знаю, что будетъ и со мною!

— Ты къ *нему*, Наташа? Да?

— Да! отвѣчала она.

— Но это невозможно! вскричалъ я въ изступленіи.— Знаешь-ли, что это невозможно, Наташа, бѣдная ты моя! Вѣдь это безуміе. Вѣдь ты ихъ убьешь и себя погубишь! Знаешь-ли ты это, Наташа?

— Знаю; но что же мнѣ дѣлать, не моя воля! сказала она, и въ словахъ ея слышалось столько отчаянія, какъ будто она шла на смертную казнь.

— Воротись, воротись, пока не поздно, умолялъ я ее, и тѣмъ горячѣе, тѣмъ настойчивѣе умолялъ, чѣмъ больше самъ сознавалъ всю бесполезность моихъ увѣщаній и всю

нелѣпность ихъ въ настоящую минуту. — Понимаешь-ль ты, Наташа, что ты сдѣлаешь съ отцомъ? Обдумала-ли ты это? Вѣдь *его* отецъ врагъ твоему; вѣдь князь оскорбилъ твоего отца, заподозрилъ его въ грабежъ денегъ; вѣдь онъ его воромъ назвалъ. Вѣдь они тягаются... Да что! Это еще послѣднее дѣло, а знаешь-ли ты, Наташа... (о, Боже, да вѣдь ты все это знаешь!)... знаешь-ли, что князь заподозрилъ твоего отца и мать, что они сами, нарочно, сводили тебя съ Алешей, когда Алеша гостилъ у васъ въ деревнѣ? Подумай, представь себѣ только, каково страдалъ тогда твой отецъ отъ этой клеветы. Вѣдь онъ весь посѣдѣлъ въ эти два года—взгляни на него! А главное: ты вѣдь это все знаешь, Наташа, Господи Боже мой! Вѣдь ужъ я не говорю, чего стоить имъ обоимъ тебя потерять навѣки! Вѣдь ты ихъ сокровище, все, что у нихъ осталось на старости. Я ужъ и говорить объ этомъ не хочу: сама должна знать; припомни, что отецъ считаетъ тебя напрасно оклеветанною, обиженною этими гордецами, неотомщенной! Теперь же, именно теперь, все это вновь разгорѣлось, усилилась вся эта старая, наблѣвшая вражда изъ-за того, что вы принимали къ себѣ Алешу. Князь опять оскорбилъ твоего отца, въ старикѣ еще злоба кипить отъ этой новой обиды, и вдругъ, все, все это, всѣ эти обвиненія окажутся теперь справедливыми! Всѣ, кому дѣло извѣстно, оправдаютъ теперь князя и обвинять тебя и твоего отца. Ну, что теперь будетъ съ нимъ? Вѣдь это убьетъ его сразу! Стыдъ, позоръ, и отъ кого же? Черезъ тебя, его дочь, его единственное, безцѣнное дитя! А мать? Да вѣдь она не переживетъ старика... Наташа, Наташа! Что ты дѣлаешь? Воротись! Опомнись!

Она молчала; наконецъ, взглянула на меня, какъ будто съ упрекомъ, и столько пронзительной боли, столько страданія было въ ея взглядѣ, что я понялъ, какую кровью и безъ моихъ словъ обливается теперь ея раненое сердце. Я понялъ, чего стоило ей ея рѣшеніе и какъ я мучилъ, рѣзалъ ее моими бесполезными, поздними словами; я все это понималъ и все-таки не могъ удержать себя и продолжалъ говорить:

— Да вѣдь ты же сама говорила сейчасъ Аннѣ Андреевнѣ, что, *можетъ-быть*, не пойдешь изъ дому... ко всемогущей. Стало-быть, ты хотѣла и остаться; стало-быть, не рѣшилась еще совершенно?

Она только горько улыбнулась въ отвѣтъ. И къ чему я это спросилъ? Вѣдь я могъ понять, что все уже было рѣшено невозвратно. Но я тоже былъ внѣ себя.

— Неужели-жь ты такъ его полюбила! вскричалъ я, съ замираніемъ сердца смотря на нее и почти самъ не понимая, что спрашиваю.

— Что мнѣ отвѣчать тебѣ, Ваня? Ты видишь: онъ велѣлъ мнѣ придти, и я здѣсь, жду его, проговорила она съ той же горькой улыбкой.

— Но послушай, послушай только, началъ я опять умолять ее, хватаясь за соломинку, — все это еще можно поправить, еще можно обдѣлать другимъ образомъ, совершенно другимъ какимъ-нибудь образомъ! Можно и не уходить изъ дому. Я тебя научу какъ сдѣлать, Наташечка. Я берусь вамъ все устроить, все, и свиданія, и все... Только изъ дому - то не уходи! Я буду переносить ваши письма; отчего же не переносить? Это лучше, чѣмъ теперешнее. Я сумѣю это сдѣлать; я вамъ угрожу обоимъ; вотъ увидите, что угрожу... И ты не погубишь себя, Наташенька, какъ теперь... А то вѣдь ты совсѣмъ себя теперь губишь, совсѣмъ! Согласись, Наташа: все пойдетъ и прекрасно, и счастливо, и любить вы будете другъ друга сколько захотите... А когда отцы перестанутъ ссориться (потому что они непременно перестанутъ ссориться) — тогда...

— Полно, Ваня, оставь, прервала онъ, крѣпко сжавъ мою руку и улыбнувшись сквозь слезы.—Добрый, добрый Ваня! Добрый, честный ты человѣкъ! И ни слова - то о себѣ! Я же тебя оставила первая, а ты все простишь, только о моемъ счастьѣ и думаешь. Письма намъ переносить хочешь...

Она заплакала.

— Я вѣдь знаю, Ваня, какъ ты любилъ меня, какъ до сихъ поръ еще любишь, и ни однимъ - то упрекомъ, ни однимъ горькимъ словомъ ты не упрекнулъ меня во все это время! А я, я!.. Боже мой, какъ я передъ тобой виновата! Помнишь, Ваня, помнишь и наше время съ тобою? Охъ, лучше-бъ я не знала, не встрѣчала-бъ ея никогда!.. Жила-бъ я съ тобой, Ваня, съ тобой, добренькій ты мой, голубчикъ ты мой!.. Нѣтъ, я тебя не стѣю! Видишь, я какая: въ такую минуту, тебѣ же напоминаю о нашемъ прошломъ счастіи, а ты и безъ того страдаешь! Вотъ ты три недѣли не приходилъ: влянусь же тебѣ,

Ваня, ни одного разу не приходила мнѣ въ голову мысль, что ты меня прокляла и ненавидишь. Я знала, отчего ты ушла! Ты не хотѣла намъ мѣшать и быть намъ живымъ укоромъ. А самому тебѣ развѣ не было тяжело на насъ смотрѣть? А какъ я ждала тебя, Ваня, ужъ какъ ждала! Ваня, послушай, если я и люблю Алешу какъ безумная, какъ сумасшедшая, то тебя, можетъ-быть, еще больше, какъ друга моего, люблю. Я ужъ слышу, знаю, что безъ тебя я не проживу; ты мнѣ надобенъ, мнѣ твое сердце надобно, твоя душа золотая... Охъ, Ваня! Какое горькое, какое тяжелое время наступаетъ!

Она залилась слезами. Да, тяжело ей было!

— Ахъ, какъ мнѣ хотѣлось тебя видѣть! продолжала она, подавивъ свои слезы.— Какъ ты похудѣлъ, какой ты больной, блѣдный; ты въ самомъ дѣлѣ былъ нездоровъ, Ваня? Что-жъ я, и не спрошу! Все о себѣ говорю; ну, какъ же теперь твои дѣла съ журналистами? Чтò твой новый романъ, подвигается-ли?

— До романовъ-ли, до меня-ли теперь, Наташа! Да и чтò мои дѣла! Ничего; такъ себѣ, да и Богъ съ ними! А вотъ чтò, Наташа: это онъ самъ потребовалъ, чтобъ ты шла къ нему?

— Нѣтъ, не онъ одинъ, больше я. Онъ, правда, говорилъ, да я и сама... Видишь, голубчикъ, я тебѣ все расскажу: ему сватаютъ невѣсту, богатую и очень знатную, очень знатнымъ людямъ родня. Отецъ непременно хочетъ, чтобъ онъ женился на ней, а отецъ, вѣдь ты знаешь,—ужасный интриганъ; онъ всѣ пружины въ ходъ пустилъ; и въ десять лѣтъ такого случая не найти. Связи, деньги... А она, говорятъ, очень хороша собою; да и образованіемъ, и сердцемъ,—всѣмъ хороша; ужъ Алеша увлекается ею. Да къ тому же отецъ и самъ его хочетъ поскорѣй съ плечъ долой сбить, чтобъ самому жениться, а потому, непременно и во что бы то ни стало, положилъ расторгнуть нашу связь. Онъ боится меня и моего вліянія на Алешу...

— Да развѣ князь, прервалъ я ее съ удивленіемъ, — про вашу любовь знаетъ? Вѣдь онъ только подозрѣвалъ, да и то не навѣрно.

— Знаетъ, все знаетъ.

— Да ему кто сказалъ?

— Алеша же все и рассказалъ, недавно. Онъ мнѣ самъ говорилъ, что все это рассказалъ отцу.

— Господи! Что-жь это у васъ происходитъ! Самъ же все и разсказаль, да еще въ такое время?..

— Не вини егс, Ваня, перебила Наташа, — не смѣйся надъ нимъ! Его судить нельзя, какъ всѣхъ другихъ. Будь справедливъ. Вѣдь онъ не таковъ, какъ вотъ мы съ тобой. Онъ ребенокъ; его и воспитали не такъ. Развѣ онъ понимаетъ, что дѣлаетъ? Первое впечатлѣніе, первое чужое вліяніе способно его отвлечь отъ всего, чему онъ за минуту передъ тѣмъ отдавался съ клятвою. У него нѣтъ характера. Онъ вотъ поклянется тебѣ, да въ тотъ же день, такъ же правдиво и искренно, другому отдастся; да еще самъ первый къ тебѣ придетъ разсказать объ этомъ. Онъ и дурной поступокъ, пожалуй, сдѣлаетъ; да обвинить — то его за этотъ дурной поступокъ, пожалуй, нельзя будетъ, а развѣ что пожалѣть. Онъ и на самопожертвованіе способенъ и даже, знаешь, на какое! Да только до какого-нибудь новаго впечатлѣнія: тутъ ужъ онъ опять все забудетъ. *Такъ и меня забудетъ, если я не буду постоянно при немъ.* Вотъ онъ какой!

— Ахъ, Наташа, да, можетъ — быть, это все неправда, только слухи одни. Ну, гдѣ ему, такому еще мальчику, жениться!

— Соображенія какія-то у отца особенныя, говорю тебѣ.

— А почему-жь ты знаешь, что невѣста его такъ хороша и что онъ ея ужъ увлекается?

— Да вѣдь онъ мнѣ самъ говорилъ.

— Какъ! Самъ же и сказаль тебѣ, что можетъ другую любить, а отъ тебя потребоваль теперь такой жертвы?

— Нѣтъ, Ваня, нѣтъ! Ты не знаешь его, ты мало съ нимъ былъ; его надо короче узнать и ужъ потомъ судить. Нѣтъ сердца на свѣтѣ правдивѣе и чище его сердца! Что-жь? Лучше что-ль, если-бъ онъ лгалъ? А что онъ увлекся, такъ вѣдь стѣитъ только мнѣ недѣлю съ нимъ не видаться, онъ и забудетъ меня и полюбитъ другую, а потомъ, какъ увидить меня, то и опять у ногъ моихъ будетъ. Нѣтъ! Это еще и хорошо, что я знаю, что не скрыто отъ меня это; а то бы я умерла отъ подозрѣній. Да, Ваня! Я ужъ рѣшилась: *если я не буду при немъ всегда, постоянно, каждое миновеніе, онъ разлюбитъ меня, забудетъ и броситъ.* Ужъ онъ такой; его всякая другая за собой увлечь можетъ. А что же я тогда буду дѣлать? Я тогда умру... да что умереть! Я бы рада и теперь умереть! А вотъ каково жить-то мнѣ безъ него? Вотъ что хуже самой

смерти, хуже всѣхъ мукъ! О, Ваня, Ваня! Вѣдь есть же что-нибудь, что я вотъ бросила теперь для него и мать, и отца! Не уговаривай меня: всѣ рѣшено! Онъ долженъ быть подлѣ меня каждый часъ, каждое мгновеніе; я не могу воротиться. Я знаю, что погибла и другихъ погубила... Ахъ, Ваня! вскричала она вдругъ и вся задрожала, — что если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ужъ не любитъ меня! Что если ты правду про него сейчасъ говорилъ (я никогда этого не говорилъ), что онъ только обманываетъ меня и только кажется такимъ правдивымъ и искреннимъ, а самъ злой и тщеславный! Я вотъ теперь защищаю его передъ тобой; а онъ, можетъ-быть, въ эту же минуту съ другою, и смѣется про себя... а я, я, низкая, бросила все и хожу по улицамъ, ищу его... Охъ, Ваня!

Этотъ стонъ съ такою болью вырвался изъ ея сердца, что вся душа моя заняла въ тоскѣ. Я понялъ, что Наташа уже потеряла всякую власть надъ собой. Только слѣпая, безумная ревность въ послѣдней степени могла довести ее до такого сумасброднаго рѣшенія. Но во мнѣ самомъ разгорѣлась ревность и прорвалась изъ сердца. Я не выдержалъ: гадкое чувство увлекло меня.

— Наташа, сказалъ я, — одного только я не понимаю: какъ ты можешь любить его послѣ того, что сама про него сейчасъ говорила? Не уважаешь его, не вѣришь даже въ любовь его, и идешь къ нему безъ возврата, и всѣхъ для него губишь? Что-жъ это такое? Измучаетъ онъ тебя на всю жизнь, да и ты его тоже. Слишкомъ ужъ любишь ты его, Наташа, слишкомъ! Не понимаю я такой любви.

— Да, люблю, какъ сумасшедшая, отвѣчала она, поблѣднѣвъ какъ будто отъ боли.—Я тебя никогда такъ не любила, Ваня. Я вѣдь и сама знаю, что съ ума сошла и не такъ люблю, какъ надо. Нехорошо я люблю его... Слушай, Ваня: я вѣдь и прежде знала и даже въ самыя счастливыя минуты наши предчувствовала, что онъ дастъ мнѣ однѣ только муки. Но что же дѣлать, если мнѣ теперь даже муки отъ него — счастье? Я развѣ на радость иду къ нему? Развѣ я не знаю впередъ, что меня у него ожидаетъ и что я перенесу отъ него? Вѣдь вотъ онъ клялся мнѣ любить меня, всѣ обѣщанія давалъ; а вѣдь я ничему не вѣрю изъ его обѣщаній, ни во что ихъ не ставлю и прежде не ставила, хоть и знала, что онъ мнѣ не лгалъ, да и солгать не можетъ. Я сама ему сказала, сама, что не хочу его ничѣмъ связывать. Съ нимъ это

лучше: привязи никто не любить, я первая. А все-таки я рада быть его рабой, добровольной рабой; переносить отъ него все, все, только бы онъ былъ со мной, только-бъ я глядѣла на него! Кажется, пусть бы онъ и другую любилъ, только бы при мнѣ это было, чтобъ и я тутъ подлѣ была... Экая низость, Ваня? спросила она вдругъ, смотря на меня какимъ-то горячечнымъ, воспаленнымъ взглядомъ. Одно мгновеніе мнѣ казалось, будто она въ бреду, — вѣдь это низость, такія желанія? Что-жъ? Сама говорю, что низость, а если онъ бросить меня, я побѣгу за нимъ на край свѣта, хоть и отталкивать, хоть и прогнать меня будетъ. Вотъ ты уговариваешь теперь меня воротиться; — а что будетъ изъ этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду, прикажеть и уйду; свистнеть, кликнеть меня, какъ собачку, я и побѣгу за нимъ... Мѣки! Не боюсь я отъ него никакихъ мукъ! Я буду знать, что *отъ него* страдаю... Охъ, да вѣдь этого не расскажешь, Ваня!

„А отецъ, а мать?“ подумалъ я. Она какъ будто ужъ и забыла про нихъ.

— Такъ онъ и не женится на тебѣ, Наташа?

— Обѣщаль, все обѣщаль. Онъ вѣдь для того меня и зоветъ теперь, чтобъ завтра же обвѣнчаться потихоньку, за городомъ; да вѣдь онъ не знаетъ, что дѣлаетъ. Онъ, можетъ-быть, какъ и вѣнчаются-то не знаетъ. И какой онъ мужъ! Смѣшно, право. А женится, такъ несчастливъ будетъ, попрекать начнетъ... Не хочу я, чтобъ онъ когда-нибудь въ чемъ-нибудь попрекнулъ меня. Все ему отдамъ, а онъ мнѣ пускай ничего. Что-жъ коль онъ несчастливъ будетъ отъ женитьбы, зачѣмъ же его несчастнымъ дѣлать?

— Нѣтъ, это какой-то чадъ, Наташа, сказалъ я. — Что-жъ, ты теперь прямо къ нему?

— Нѣтъ, онъ обѣщался сюда придти, взять меня; мы условились...

И она жадно посмотрѣла вдаль, но никого еще не было.

— И его еще нѣтъ! И ты *первая* пришла! вскричалъ я съ негодованіемъ.

Наташа какъ будто пошатнулась отъ удара. Лицо ея болѣзненно исказилось.

— Онъ, можетъ-быть, и совсѣмъ не придетъ, проговорила она съ горькой усмѣшкой. — Третьяго дня онъ писалъ, что если я не дамъ ему слова придти, то онъ поневолѣ долженъ отложить свое рѣшеніе—ѣхать и обвѣнчаться со мною; а отецъ увезетъ его къ невѣстѣ. И такъ

просто, такъ натурально написалъ, какъ будто это и со-
всѣмъ ничего... Что, если онъ и вправду поѣхалъ къ ней,
Ваня?

Я не отвѣчалъ. Она крѣпко стиснула мнѣ руку—и глаза
ей засверкали.

— Онъ у ней, проговорила она чуть слышно. — Онъ
надѣялся, что я не приду сюда, чтобъ поѣхать къ ней,
а потомъ сказать, что онъ правъ, что онъ заранѣе увѣ-
домлялъ, а я сама не пришла. Я ему надоѣла, вотъ онъ
и отстаетъ... Охъ, Боже! Сумасшедшая я! Да вѣдь онъ
мнѣ самъ въ послѣдній разъ сказалъ, что я ему надоѣла...
Чего-жъ я жду!

— Вотъ онъ! закричалъ я, вдругъ завидѣвъ его вдали
на набережной.

Наташа вздрогнула, вскрикнула, взглядлась въ при-
ближавшагося Алешу, и вдругъ, бросивъ мою руку, пу-
стилась къ нему. Онъ тоже ускорилъ шаги и черезъ ми-
нуту она была уже въ его объятіяхъ. На улицѣ, кромѣ
насъ, никого почти не было. Они цѣловались, смѣялись;
Наташа смѣялась и плакала, все вмѣстѣ, точно они встрѣ-
тились послѣ безконечной разлуки. Краска залила ей блѣд-
ныя щеки; она была какъ изступленная... Алеша замѣ-
тилъ меня и тотчасъ же ко мнѣ подошелъ.

ГЛАВА IX.

Я жадно въ него всматривался, хоть и видѣлъ его
много разъ до этой минуты; я смотрѣлъ въ его глаза,
какъ будто его взглядъ могъ разрѣшить всѣ мои недо-
умѣнія, могъ разъяснить мнѣ: чѣмъ, какъ этотъ ребенокъ
могъ очаровать ее, могъ зародить въ ней такую безум-
ную любовь, — любовь до забвенія самаго перваго долга,
до безразсудной жертвы всѣмъ, что было для Наташи до
сихъ поръ самой полной святыней. Князь взялъ меня за
обѣ руки, крѣпко пожалъ ихъ, и его взглядъ, вроткій и
ясный, проникъ въ мое сердце.

Я почувствовалъ, что могъ ошибаться въ заключеніяхъ
моихъ на его счетъ ужъ по тому одному, что онъ былъ
врагъ мой. Да, я не любилъ его и, каюсь, я никогда не
могъ его полюбить, — только одинъ я, можетъ-быть, изъ
всѣхъ его знавшихъ. Многое въ немъ мнѣ упорно не пра-
вилось, даже изящная его наружность и, можетъ-быть,
именно потому, что она была какъ-то ужъ слишкомъ
изящна. Впослѣдствіи я понялъ, что и въ этомъ судилъ

пристрастно. Онъ былъ высокъ, строень, тоновъ; лицо его было продолговатое, всегда блѣдное; бѣлокурые волосы, большіе голубые глаза, кроткіе и задумчивые, въ которыхъ вдругъ, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая дѣтская веселость. Полныя небольшія пунцовыя губы его, превосходно обрисованныя, почти всегда имѣли какую-то серьезную складку; тѣмъ неожиданнѣе и тѣмъ очаровательнѣе была вдругъ появлявшаяся на нихъ улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслѣдъ за нимъ, въ какомъ бы вы ни были настроеніи духа, ощущали немедленную потребность, въ отвѣтъ ему, точно такъ же какъ и онъ улыбнуться. Одѣвался онъ не изысканно, но всегда изящно; видно было, что ему не стоило ни малѣйшаго труда это изящество во всемъ, что оно ему прирожденно.

Правда, и въ немъ было нѣсколько нехорошихъ замашекъ, нѣсколько дурныхъ привычекъ хорошаго тона: легкомысліе, самодовольство, вѣжливая дерзость. Но онъ былъ слишкомъ ясенъ и простъ душою, и самъ, первый, обличалъ въ себѣ эти привычки, каялся въ нихъ и смѣялся надъ ними. Мнѣ кажется, этотъ ребенокъ никогда, даже и въ шутку, не могъ бы солгать, а если бъ и солгалъ, то, право, не подозрѣвая въ этомъ дурного. Даже самый эгоизмъ былъ въ немъ какъ-то привлекателенъ, именно потому, можетъ-быть, что былъ откровененъ, а не скрытъ. Въ немъ ничего не было скрытнаго. Онъ былъ слабъ, довѣрчивъ и робокъ сердцемъ; воли у него не было никакой. Обидѣтъ, обмануть его было бы и грѣшно, и жалко, такъ же, какъ грѣшно обмануть и обидѣтъ ребенка. Онъ былъ не что лѣтамъ наивенъ и почти ничего не понималъ въ дѣйствительной жизни; впрочемъ, и въ сорокъ лѣтъ ничего бы, кажется, въ ней не узналъ. Такіе люди какъ бы осуждены на вѣчное несовершеннолѣтіе. Мнѣ кажется, не было человѣка, который бы могъ не полюбить его; онъ заласкался бы къ вамъ, какъ дитя. Наташа сказала правду; онъ могъ бы сдѣлать и дурной поступокъ, принужденный къ тому чѣмъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ; но, сознавъ послѣдствія такого поступка, я думаю, онъ бы умеръ отъ раскаянія. Наташа инстинктивно чувствовала, что будетъ его госпожой, владычицей; что онъ будетъ даже жертвой ея. Она предвкушала наслажденіе любить безъ памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то,

можетъ-быть, и пощѣшила отдаться ему въ жертву первая. Но и въ его глазахъ сіяла любовь, и онъ съ восторгомъ смотрѣлъ на нее. Она съ торжествомъ взглянула на меня. Она забыла въ это мгновеніе все — и родителей, и прощанье, и подозрѣнія... Она была счастлива.

— Ваня! вскричала она, — я виновата передъ нимъ и не стою его! Я думала, что ты ужъ и не придешь, Алеша. Забудь мои дурныя мысли, Ваня. Я заглажу это! прибавила она, съ безконечной любовью смотря на него.

Онъ улыбнулся, поцѣловаль у ней руку и, не выпуская ея руки, сказалъ, обращаясь ко мнѣ:

— Не вините и меня. Какъ давно хотѣлъ я васъ обнять, какъ родного брата; какъ много она мнѣ про васъ говорила! Мы съ вами и до сихъ поръ едва познакомились и какъ-то не сошлись. Будемъ друзьями и... простите насъ, прибавилъ онъ вполголоса и немного покраснѣвъ, но съ такой прекрасной улыбкой, что я не могъ не отозваться всѣмъ моимъ сердцемъ на его привѣтствіе.

— Да, да, Алеша, подхватила Наташа, — онъ нашъ, онъ нашъ братъ, онъ уже простилъ насъ и безъ него мы не будемъ счастливы. Я уже тебѣ говорила... Охъ, жестокія мы дѣти, Алеша! Но мы будемъ жить втроемъ... Ваня! продолжала она, и губы ея задрожали, — вотъ ты воротись теперь къ нимъ, домой; у тебя такое золотое сердце, что хоть они и не простятъ меня, но, видя, что и ты простилъ, можетъ-быть, хоть немного смягчатся надо мной. Расскажи имъ все, все, своими словами изъ сердца; найди такія слова... Защити меня, спаси; передай имъ всѣ причины, все какъ самъ понялъ. Знаешь-ли, Ваня, что я бы, можетъ-быть, и не рѣшилась на *это*, если бъ тебя не случилось сегодня со мною! Ты спасеніе мое: я тотчасъ же на тебя понадѣялась, что ты сумѣешь имъ такъ передать, что, по крайней мѣрѣ, этотъ первый-то ужасъ смягчишь для нихъ. О, Боже мой, Боже!.. Скажи имъ отъ меня, Ваня, что я знаю, что простить меня ужъ нельзя теперь: они простятъ, Богъ не проститъ; но что если они и проклянутъ меня, то я все-таки буду благословлять ихъ и молиться за нихъ всю мою жизнь. Все мое сердце у нихъ! Ахъ, зачѣмъ мы не всѣ счастливы! Зачѣмъ, зачѣмъ!.. Боже! Чтò это я такое сдѣлала! вскричала она вдругъ, точно опомнившись, и, вся задрожавъ отъ ужаса, закрыла лицо руками.

Алепа обнялъ ее и молча крѣпко прижалъ къ себѣ. Прошло нѣсколько минутъ молчанія.

— И вы могли потребовать такой жертвы! сказалъ я, съ упрекомъ смотря на него.

— Не вините меня! повторилъ онъ,—увѣряю васъ, что теперь всѣ эти несчастья, хоть они и очень сильны,—только на одну минуту. Я въ этомъ совершенно увѣренъ. Нужна только твердость, чтобъ перенести эту минуту; то же самое и она мнѣ говорила. Вы знаете: всему причиною эта семейная гордость, эти совершенно ненужныя ссоры, какія-то тамъ еще тѣжбы!.. Но... (я объ этомъ долго размышлялъ, увѣряю васъ)... все это должно прекратиться. Мы всѣ соединимся опять и тогда уже будемъ совершенно счастливы, такъ что даже и старики помирятся, на насъ глядя. Почему знать, можетъ-быть, именно нашъ бракъ послужитъ началомъ къ ихъ примиренію. Я думаю, что даже и не можетъ быть иначе. Какъ вы думаете?

— Вы говорите: бракъ. Когда же вы обвиняетесь? спросилъ я, взглянувъ на Наташу.

— Завтра или послѣзавтра; по крайней мѣрѣ, послѣзавтра—навѣрно. Вотъ видите, я и самъ еще хорошо не знаю и, по правдѣ, ничего еще тамъ не устроилъ. Я думалъ, что Наташа, можетъ-быть, еще и не придетъ сегодня. Къ тому же отецъ непремѣнно хотѣлъ меня вести сегодня къ невѣстѣ (вѣдь мнѣ сватаютъ невѣсту; Наташа вамъ сказывала? Да я не хочу). Ну, такъ я еще и не могъ рассчитать всего навѣрное. Но все-таки мы навѣрное обвиняемся послѣзавтра. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, такъ кажется, потому что вѣдь нельзя же иначе. Завтра же мы выѣзжаемъ по псковской дорогѣ. Тутъ у меня недалеко, въ деревнѣ, есть товарищъ, лицейскій, очень хорошей человѣкъ; я васъ, можетъ-быть, познакомлю. Тамъ въ селѣ есть и священникъ, а впрочемъ, навѣрно не знаю, есть или нѣтъ. Надо было заранѣе справиться, да я не успѣлъ... А впрочемъ, по-настоящему, все это мелочи. Было бы главное-то въ виду. Можно вѣдь изъ сосѣдняго какого-нибудь села пригласить священника; какъ вы думаете?—Вѣдь есть же тамъ сосѣднія села! Одно жаль, что я до сихъ поръ не успѣлъ ни строчки написать туда; предупредить бы надо. Пожалуй, моего пріятеля нѣтъ теперь и дома... Но—это послѣдняя вещь! Была-бъ рѣшимость, а тамъ все само собою устроится, не правда-ли? А пока-

мѣсть, до завтра или хоть до послѣзавтра, она пробудетъ здѣсь у меня. Я нанялъ особую квартиру, въ которой мы и воротаясь будемъ жить. Я ужъ не пойду жить къ отцу,—не правда-ли? Вы къ намъ придете? Я премило устроился. Ко мнѣ будутъ ходить наши лицейскіе; я заведу вечера...

Я съ недоумѣніемъ и тоскою смотрѣлъ на него. Наташа умоляла меня взглядомъ не судить его строго и быть снисходительнѣе. Она слушала его рассказы съ какою-то грустною улыбкой, а вмѣстѣ съ тѣмъ какъ будто и любовалась имъ, такъ же, какъ любятъся милымъ, веселымъ ребенкомъ, слушая его неразумную, но милую болтовню. Я съ упрекомъ поглядѣлъ на нее. Мнѣ стало невыносимо тяжело.

— Но вашъ отецъ? спросилъ я.—Твердо-ли вы увѣрены, что онъ васъ проститъ?

— Непремѣнно; что-жъ ему останется дѣлать? То-есть онъ, разумѣется, проклянетъ меня сначала; я даже въ этомъ увѣренъ. Онъ ужъ такой; и такой со мной строгій. Пожалуй, еще будетъ кому-нибудь жаловаться; употребитъ, однимъ словомъ, отцовскую власть... Но вѣдь все это не серьезно. Онъ меня любитъ безъ памяти; посердится и проститъ. Тогда всѣ помирятся, и всѣ мы будемъ счастливы. Ея отецъ тоже.

— А если не проститъ? Подумали-ль вы объ этомъ?

— Непремѣнно проститъ, только, можетъ-быть, не такъ скоро. Ну, что-жъ? Я докажу ему, что и у меня есть характеръ. Онъ все бранитъ меня, что у меня нѣтъ характера, что я легкомысленный. Вотъ и увидитъ теперь, легкомысленъ-ли я или нѣтъ? Вѣдь сдѣлаться семейнымъ человѣкомъ не шутка; тогда ужъ я буду не мальчикъ... то-есть я хотѣлъ сказать, что я буду такой же, какъ и другіе... ну, тамъ семейные люди. Я буду жить своими трудами. Наташа говоритъ, что это гораздо лучше, чѣмъ жить на чужой счетъ, какъ мы всѣ живемъ. Если-бъ вы только знали, сколько она мнѣ говоритъ хорошаго! Я бы самъ этого никогда не выдумалъ,—не такъ я росъ, не такъ меня воспитали. Правда, я и самъ знаю, что я легкомысленъ и почти ни къ чему не способенъ; но, знаете-ли, у меня третьяго дня явилась удивительная мысль. Теперь хотя и не время, но я вамъ расскажу, потому что надо же и Наташѣ услышать, а вы намъ дадите совѣтъ. Вотъ видите: я хочу писать повѣсти и продавать въ жур-

налы, такъ же какъ и вы. Вы мнѣ поможете съ журналистами, не правда-ли? Я рассчитывалъ на васъ и вчера всю ночь обдумывалъ одинъ романъ, такъ, для пробы, и знаете-ли: могла бы выйти премиленькая вещица. Сюжетъ я взялъ изъ одной комедіи Скриба... Но я вамъ потомъ расскажу. Главное, за него дадутъ денегъ... вѣдь вамъ же платятъ!

Я не могъ не усмѣхнуться.

— Вы смѣетесь, сказалъ онъ, улыбаясь вслѣдъ за мною.— Нѣтъ, послушайте, прибавилъ онъ съ непостижимымъ простодушіемъ,—вы не смотрите на меня, что я такой кажусь; право, у меня чрезвычайно много наблюдательности; вотъ вы увидите сами. Почему-жъ не попробовать? Можетъ и выйдеть что-нибудь... А впрочемъ, вы, кажется, и правы: я вѣдь ничего не знаю въ дѣйствительной жизни; такъ мнѣ и Наташа говоритъ; это, впрочемъ, мнѣ и всѣ говорятъ; какой же я буду писатель? Смѣйтесь, смѣйтесь, поправляйте меня; вѣдь это для нея же вы сдѣлаете, а вы ее любите. Я вамъ правду скажу: я не стою ея; я это чувствую; мнѣ это очень тяжело, и я не знаю, за что это она меня такъ полюбила? А я бы, кажется, всю жизнь за нее отдалъ! Право, я до этой минуты ничего не боялся, а теперь боюсь: что это мы затѣваемъ! Господи! Неужели-жъ въ человѣкѣ, когда онъ вполне преданъ своему долгу, какъ нарочно неостанетъ умѣнья и твердости исполнить свой долгъ? Помогайте намъ хоть вы, другъ нашъ! Вы одинъ только другъ у насъ и остались. А вѣдь я что понимаю одинъ-то! Простите, что я на васъ такъ рассчитываю; я васъ считаю слишкомъ благороднымъ человѣкомъ и гораздо лучше меня. Но я исправлюсь, будьте увѣрены, и буду достоинъ васъ обоихъ.

Тутъ онъ опять пожалъ мнѣ руку и въ прекрасныхъ глазахъ его просіяло доброе, прекрасное чувство. Онъ такъ довѣрчиво протягивалъ мнѣ руку, такъ вѣрилъ, что я ему другъ.

— Она мнѣ поможетъ исправиться, продолжалъ онъ.— Вы, впрочемъ, не думайте чего-нибудь очень худого, не сокрушайтесь слишкомъ о насъ. У меня все-таки много надеждъ, а въ матеріальномъ отношеніи мы будемъ совершенно обезпечены. Я, на примѣръ, если не удастся романъ (я, по правдѣ, еще и давеча подумалъ, что романъ глупость, а теперь только такъ про него рассказалъ, чтобъ

выслушать ваше рѣшеніе),—если не удастся романъ, то я вѣдь въ крайнемъ случаѣ могу давать уроки музыки. Вы не знали, что я знаю музыку? Я не стыжусь жить и такимъ трудомъ. Я совершенно новыхъ идей въ этомъ случаѣ. Да кромѣ того у меня есть много дорогихъ бездѣлушекъ, туалетныхъ вещицъ; къ чему онѣ? Я продамъ ихъ, и мы, знаете, сколько времени проживемъ на это! Наконецъ, въ самомъ крайнемъ случаѣ, я, можетъ-быть, дѣйствительно займусь службой. Отецъ даже будетъ радъ; онъ все гонитъ меня служить, а я все отговариваюсь нездоровьемъ. (Я, впрочемъ, куда-то ужъ записанъ). А вотъ какъ онъ увидитъ, что женитьба принесла мнѣ пользу, остепенила меня, и что я дѣйствительно началъ служить,—обрадуется и проститъ меня...

— Но, Алексѣй Петровичъ, подумали-ль вы, какая исторія выйдетъ теперь между вашимъ и ея отцомъ? Какъ вы думаете, что сегодня будетъ вечеромъ у нихъ въ домѣ?

И я указалъ ему на помертвѣвшую отъ моихъ словъ Наташу. Я былъ безжалостенъ.

— Да, да, вы правы, это ужасно! отвѣчалъ онъ,—я уже думалъ объ этомъ и душевно страдалъ... Но что же дѣлать? Вы правы: хоть только бы ея-то родители насъ простили? А какъ я ихъ люблю обоихъ, если-бъ вы знали! Вѣдь они мнѣ все равно что родные, и вотъ чѣмъ я имъ плачѣ! Охъ, ужъ эти ссоры, эти процессы! Вы не повѣрите, какъ это намъ теперь непріятно! И за что они ссорятся! Всѣ мы такъ другъ друга любимъ, а ссоримся! Помирились бы, да и дѣло съ концомъ! Право, я бы такъ поступилъ на ихъ мѣстѣ... Страшно мнѣ отъ вашихъ словъ. Наташа, это ужасъ что мы съ тобой затѣваемъ! Я это и прежде говорилъ... Ты сама настаиваешь... Но, послушайте, Иванъ Петровичъ, можетъ-быть, все это уладится къ лучшему; какъ вы думаете? Вѣдь помирятся же они, наконецъ! Мы ихъ помиримъ. Это такъ, это непременно; они не устоятъ противъ нашей любви... Пусть они насъ проклинаютъ, а мы ихъ все-таки будемъ любить; они и не устоятъ. Вы не повѣрите, какое иногда бываетъ доброе сердце у моего старика! Онъ вѣдь это такъ только смотреть исподлобья, а вѣдь въ другихъ случаяхъ онъ прерасудительный. Если-бъ вы знали, какъ онъ мягко со мной говорилъ сегодня, убѣждалъ меня! А я вотъ сегодня же противъ него иду; это мнѣ очень грустно. А

все изъ-за этихъ негодныхъ предразсудковъ! Просто— сумасшествіе! Ну что, если-бъ онъ на нее посмотрѣлъ хорошенько и побылъ съ нею хоть полчаса? Вѣдь онъ тотчасъ же все бы намъ позволилъ.

Говоря это, Алеша нѣжно и страстно взглянулъ на Наташу.

— Я тысячу разъ съ наслажденіемъ воображалъ себѣ, продолжалъ онъ свою болтовню,—какъ онъ полюбитъ ее, когда узнаетъ, и какъ она ихъ всѣхъ изумитъ. Вѣдь они всѣ и не видывали никогда такой дѣвушки! Отецъ убѣжденъ, что она просто какая-то интриганка. Моя обязанность возстановить ея честь, и я это сдѣлаю! Ахъ, Наташа! Тебя всѣ любятъ, всѣ, нѣтъ такого человѣка, который бы могъ тебя не любить, прибавилъ онъ въ восторгѣ.—Хоть я не стою тебя совсѣмъ, но ты люби меня, Наташа, а ужъ я... ты вѣдь знаешь меня! Да и много-ль нужно намъ для нашего счастья! Нѣтъ, я вѣрю, вѣрю, что этотъ вечеръ долженъ принести намъ всѣмъ и счастье, и миръ, и согласіе! Будь благословенъ этотъ вечеръ! Такъ-ли, Наташа? Но что съ тобой? Боже мой, что съ тобой?

Она была блѣдна, какъ мертвая. Все время, какъ разглагольствовалъ Алеша, она пристально смотрѣла на него; но взглядъ ея становился все мутнѣе и неподвижнѣе, лицо все блѣднѣе и блѣднѣе. Мнѣ казалось, что она, наконецъ, ужъ и не слушала, а была въ какомъ-то забытій. Восклицаніе Алеши какъ будто вдругъ разбудило ее. Она очнулась, осмотрѣлась и вдругъ бросилась ко мнѣ. Наскоро, точно торопясь и какъ будто прячась отъ Алеши, она вынула изъ кармана письмо и подала его мнѣ. Письмо было къ старикамъ и еще наканунѣ писано. Отдавая мнѣ его, она пристально смотрѣла на меня, точно приковалась ко мнѣ своимъ взглядомъ. Во взглядѣ этомъ было отчаяніе; я никогда не забуду этого страшнаго взгляда. Страхъ охватилъ и меня; я видѣлъ, что она теперь только вполнѣ почувствовала весь ужасъ своего поступка. Она силилась мнѣ что-то сказать, даже начала говорить и вдругъ упала въ обморокъ. Я успѣлъ поддержать ее. Алеша поблѣднѣлъ отъ испуга; онъ теръ ей виски, цѣловалъ руки, губы. Минуты черезъ двѣ она очнулась. Невдалекѣ стояла извозчичья карета, въ которой пріѣхалъ Алеша; онъ позвалъ ее. Садясь въ карету, Наташа, какъ безумная, схватила мою руку, и горячая слезинка обожгла мои

пальцы. Карета тронулась. Я еще долго стоялъ на мѣстѣ, провожая ее глазами. Все мое счастье погибло въ эту минуту и жизнь переломилась на-двое. Я больно это почувствовалъ... Медленно пошелъ я назадъ, прежней дорогой, къ старикамъ. Я не зналъ, что скажу имъ, какъ войду къ нимъ? Мысли мои мертвѣли, ноги подкашивались...

И вотъ вся исторія моего счастья; такъ кончилась и разрѣшилась моя любовь. Буду теперь продолжать прерванный рассказъ.

ГЛАВА X.

Дней черезъ пять послѣ смерти Смита, я переѣхалъ на его квартиру. Весь тотъ день мнѣ было невыносимо грустно. Погода была ненастная и холодная: шелъ мокрый снѣгъ, пополамъ съ дождемъ. Только къ вечеру, на одно мгновение, проглянуло солнце и какой-то заблудшій лучъ, вѣрно изъ любопытства, заглянулъ и въ мою комнату. Я сталъ раскаиваться, что переѣхалъ сюда. Комната, впрочемъ, была большая, но такая низкая, закопченная, затхлая, и такъ неприятно пустая, несмотря на кой-какую мебель. Тогда же подумалъ я, что непременно сгублю въ этой квартирѣ и послѣднее здоровье свое. Такъ оно и случилось.

Все это утро я возился со своими бумагами, разбирая ихъ и приводя въ порядокъ. За неимѣниемъ портфеля, я перевезъ ихъ въ подушечной наволочкѣ; все это скомкалось и перемѣшалось. Потомъ я засѣлъ писать. Я все еще писалъ тогда мой большой романъ; но дѣло опять повалилось изъ рукъ; не тѣмъ была полна голова...

Я бросилъ перо и сѣлъ у окна. Смеркалось, а мнѣ становилось все грустнѣе и грустнѣе. Разныя тяжелыя мысли осаждали меня. Все казалось мнѣ, что въ Петербургѣ я, наконецъ, погибну. Приближалась весна; такъ бы и ожилъ, кажется, думалъ я, вырвавшись изъ этой скорлупы на свѣтъ Божій, дохнувъ запахомъ свѣжихъ полей и лѣсовъ, а я такъ давно не видалъ ихъ!.. Помню, пришло мнѣ тоже на мысль: какъ бы хорошо было, если-бъ какимъ-нибудь волшебствомъ или чудомъ совершенно забыть все, что было, что прожилося въ послѣдніе годы; все забыть, освѣжить голову и опять начать съ новыми силами. Тогда еще я мечталъ объ этомъ и надѣялся на воскресеніе.— „Хоть бы въ сумасшедшій домъ поступить, что-ли“, рѣшилъ я, наконецъ, „чтобъ перевернулся какъ-нибудь весь

мозгъ въ головѣ и расположился по-новому, а потомъ опять вылѣчиться“. Была же жажда жизни и вѣра въ нее!.. Но, помню, я тогда же засмѣялся. „Что же бы дѣлать пришлось послѣ сумасшедшаго-то дома? Неужели опять романы писать?..“

Такъ я мечталъ и горевалъ, а между тѣмъ время уходило. Наступала ночь. Въ этотъ вечеръ у меня было условлено свиданіе съ Наташей; она убѣдительно звала меня къ себѣ запиской еще наканунѣ. Я вскочилъ и сталъ собираться. Мнѣ и безъ того хотѣлось вырваться поскорѣй изъ квартиры хоть куда-нибудь, хоть на дождь, на слякоть.

По мѣрѣ того, какъ наступала темнота, комната моя становилась какъ будто просторнѣе, какъ будто она все болѣе и болѣе расширялась. Мнѣ вообразилось, что я каждую ночь, въ каждомъ углу, буду видѣть Смита: онъ будетъ сидѣть и неподвижно глядѣть на меня, какъ въ кондитерской на Адама Ивановича, а у ногъ его будетъ Азорка. И вотъ въ это-то мгновеніе случилось со мной происшествіе, которое сильно поразило меня.

Впрочемъ, надо сознаться во всемъ откровенно: отъ разстройства-ли нервовъ, отъ новыхъ-ли впечатлѣній въ новой квартирѣ, отъ недавней-ли хандры, но я мало-по-малу и постепенно, съ самаго наступленія сумерокъ, сталъ впадать въ то состояніе души, которое такъ часто приходитъ ко мнѣ теперь, въ моей болѣзни, по ночамъ, и которое я называю *мистическимъ ужасомъ*. Это—самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я самъ опредѣлить не могу, чего-то непостигаемаго и несуществующаго въ порядкѣ вещей, но что непремѣнно, можетъ-быть, сію же минуту, осуществится, какъ бы въ насмѣшку всѣмъ доводамъ разума, придетъ ко мнѣ и станетъ передо мною, какъ неотразимый фактъ, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастаетъ обыкновенно все сильнѣе и сильнѣе, несмотря ни на какіе доводы разсудка, такъ что, наконецъ, умъ, несмотря на то, что пріобрѣтаетъ въ эти минуты, можетъ-быть, еще болѣшую ясность, тѣмъ не менѣе, лишается всякой возможности противодѣйствовать ощущеніямъ. Его не слушаются, онъ становится бесполезенъ, и это раздвоеніе еще больше усиливаетъ пугливую тоску ожиданія. Мнѣ кажется, такова отчасти тоска людей, боящихся мертвецовъ. Но въ моей тоскѣ неопредѣленность опасности еще болѣе усиливаетъ мученія.

Помню, я стоялъ спиной къ дверямъ и бралъ со стола шляпу, и вдругъ, въ это самое мгновеніе, мнѣ пришло на мысль, что когда я обернусь назадъ, то непременно увижу Смита: сначала онъ тихо растворитъ дверь, станетъ на порогъ и оглядитъ комнату, потомъ тихо, склонивъ голову, войдетъ, станетъ передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдругъ засмѣется мнѣ прямо въ глаза дѣлгимъ, беззубымъ и неслышнымъ смѣхомъ, и все тѣло его заколышется и долго будетъ колыхаться отъ этого смѣха. Все это привидѣніе чрезвычайно ярко и отчетливо нарисовалось внезапно въ моемъ воображеніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ вдругъ установилась во мнѣ самая полная, самая неотразимая увѣренность, что все это непременно, неминуемо случится, что это ужъ и случилось, но только я не вижу, потому что стою задомъ къ двери, и что именно въ это самое мгновеніе, можетъ-быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, и что же?— дверь дѣйствительно отворялась, тихо, неслышно, точно такъ, какъ мнѣ представлялось минуту назадъ. Я вскрикнулъ. Долго никто не показывался, какъ будто дверь отворялась сама собой; вдругъ на порогъ явилось какое-то странное существо: чьи-то глаза, сколько я могъ различить въ темнотѣ, разглядывали меня пристально и упорно. Холодъ пробѣжалъ по всѣмъ моимъ членамъ. Къ величайшему моему ужасу, я увидѣлъ, что это ребенокъ, дѣвочка, и если-бъ это былъ даже самъ Смитъ, то и онъ бы, можетъ-быть, не такъ испугалъ меня, какъ это странное, неожиданное появленіе незнакомаго ребенка въ моей комнатѣ въ такой часъ и въ такое время.

Я уже сказалъ, что дверь она отворяла такъ неслышно и медленно, какъ будто боялась войти. Появившись, она стала на порогъ и долго смотрѣла на меня съ изумленіемъ, доходившимъ до столбняка; наконецъ, тихо, медленно ступила два шага впередъ и остановилась передо мною, все еще не говоря ни слова. Я разглядѣлъ ее ближе. Это была дѣвочка лѣтъ двѣнадцати или тринадцати, маленькаго роста, худая, блѣдная, какъ будто только что встала отъ жестокой болѣзни. Тѣмъ ярче сверкали ей большіе, черные глаза. Лѣвой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платокъ, которымъ прикрывала свою, еще дрожавшую отъ вечерняго холода грудь. Одежду на ней можно было вполнѣ назвать рубищемъ; густые черные волосы были неприглажены и включены.

Мы простояли такъ минуты двѣ, упорно разсматривая другъ друга.

— Гдѣ дѣдушка? спросила она, наконецъ, едва слышнымъ и хриплымъ голосомъ, какъ будто у ней болѣла грудь или горло.

Весь мой мистическій ужасъ соскочилъ съ меня при этомъ вопросѣ. Спрашивали Смита; неожиданно проявлялись слѣды его.

— Твой дѣдушка? Да вѣдь онъ уже умеръ! сказалъ я вдругъ, совершенно не приготовившись отвѣчать на ея вопросъ, и тотчасъ раскаялся. Съ минуту стояла она въ прежнемъ положеніи и вдругъ вся задрожала, но такъ сильно, какъ будто въ ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервическій припадокъ. Я схватился было поддержать ее, чтобъ она не упала. Черезъ нѣсколько минутъ ей стало лучше, и я ясно видѣлъ, что она употребляетъ надъ собой неестественныя усилія, скрывая передо мною свое волненіе.

— Прости, прости меня, дѣвочка! Прости, дитя мое! говорилъ я. — Я такъ вдругъ объявилъ тебѣ, а, можетъ-быть, это еще и не то... бѣдненькая!.. Бого ты ищешь? Старика, который тутъ жилъ?

— Да, прошептала она съ усиленіемъ и съ безпокойствомъ смотря на меня.

— Его фамилія была Смитъ? Да?

— Д-да!

— Такъ онъ... ну, да, такъ это онъ и умеръ... Только ты не печалься, голубчикъ мой. Что-жъ ты не приходила? Ты теперь откуда?.. Его похоронили вчера; онъ умеръ вдругъ, скоропостижно... Такъ ты его внучка?

Дѣвочка не отвѣчала на мои скорые и безпорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла изъ комнаты. Я былъ такъ пораженъ, что ужъ и не удерживалъ и не спрашивалъ ее болѣе. Она остановилась еще разъ на порогѣ и, полуоборотившись ко мнѣ, спросила:

— Азорка тоже умеръ?

— Да, и Азорка тоже умеръ, отвѣчала я, и мнѣ показался страннымъ ея вопросъ: точно и она была увѣрена, что Азорка непременно долженъ былъ умереть вмѣстѣ со старикомъ.

Вслушавъ мой отвѣтъ, дѣвочка неслышно вышла изъ комнаты, осторожно притворивъ за собою дверь.

Черезъ минуту я выбѣжалъ за ней въ погоню, ужасно

досадуя, что даль ей уйти. Она такъ тихо вышла, что я и не слыхаль, какъ отворила она другую дверь на лѣстницу. „Съ лѣстницы она еще не успѣла сойти“, думаль я и остановился прислушаться. Но все было тихо и не слышно было ничьихъ шаговъ. Только хлопнула гдѣ-то дверь въ нижнемъ этажѣ и опять все стало тихо.

Я сталъ поспѣшно сходить внизъ. Лѣстница прямо отъ моей квартиры, съ пятаго этажа до четвертаго, шла винтомъ; съ четвертаго же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лѣстница, изъ тѣхъ, какія обыкновенно бывають въ капитальныхъ домахъ съ мелкими квартирами. Въ ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью сойдя въ четвертый этажъ, я остановился, и вдругъ меня какъ будто подтолкнуло, что здѣсь, въ сѣняхъ, кто-то былъ и прятался отъ меня. Я сталъ ощупывать руками; дѣвочка была тутъ въ самомъ углу и, оборотившись въ стѣнѣ лицомъ, тихо и неслышно плакала.

— Послушай, чего-жъ ты боишься? началъ я.—Я такъ испугаль тебя; я виновать. Дѣдушка, когда умираль, говорилъ о тебѣ; это были послѣднія его слова... У меня и книги остались; вѣрно, твои. Какъ тебя зовуть? Гдѣ ты живешь? Онъ говорилъ, что въ шестой линіи...

Но я не докончилъ. Она вскрикнула въ испугѣ, какъ будто оттого, что я знаю, гдѣ она живетъ, оттолкнула меня своей худенькой, костлявой рукой и бросилась внизъ по лѣстницѣ. Я за ней; ея шаги еще слышались мнѣ внизу. Вдругъ они прекратились... Когда я выскочилъ на улицу, ея уже не было. Пробѣжавъ вплоть до Вознесенскаго проспекта, я увидѣль, что всѣ мои поиски тщетны: она исчезла. „Вѣроятно, гдѣ-нибудь спряталась отъ меня“, подумаль я, „когда еще сходила съ лѣстницы“.

ГЛАВА XI.

Но только что я ступилъ на грязный, мокрый тротуаръ проспекта, какъ вдругъ столкнулся съ однимъ прохожимъ, который шель, повидимому, въ глубокой задумчивости, наклонивъ голову, скоро и куда-то торопясь. Къ величайшему моему изумленію, я узналь старика Ихменева. Это былъ для меня вечеръ неожиданныхъ встрѣчъ. Я зналь, что старикъ, дня три тому назадъ, крѣпко прихворнулъ, и вдругъ я встрѣчаю его въ такую сырость на улицѣ. Къ тому же, онъ и прежде почти никогда не гл-

ходилъ въ вечернее время, а съ тѣхъ поръ, какъ ушла Наташа, то-есть почти уже съ полгода, сдѣлался настоящимъ домосѣдомъ. Онъ какъ-то не по-обыкновенному мнѣ обрадовался, какъ человѣкъ, нашедшій, наконецъ, друга, съ которымъ онъ можетъ раздѣлить свои мысли, схватилъ меня за руку, крѣпко сжалъ ее и, не спросивъ, куда я иду, потащилъ меня за собою. Былъ онъ чѣмъ-то встревоженъ, торопливъ, порывистъ. „Куда же это онъ ходилъ?“ подумалъ я про себя. Спрашивать его было излишне: онъ сдѣлался страшно мнителенъ и иногда въ самомъ простомъ вопросѣ или замѣчаніи видѣлъ обидный намекъ, оскорбленіе.

Я оглядѣлъ его искося: лицо у него было больное; въ послѣднее время онъ очень похудѣлъ; борода его была съ недѣлю небритая. Волосы, совсѣмъ посѣдѣвшіе, въ беспорядкѣ выбивались изъ-подъ скомканной шляпы и длинными космами лежали на воротникѣ его стараго, изношеннаго пальто. Я еще прежде замѣтилъ, что въ инныя минуты онъ какъ будто забывался; забывалъ, напримѣръ, что онъ не одинъ въ комнатѣ, разговаривалъ самъ съ собою, жестикулировалъ руками. Тяжело было смотрѣть на него.

— Ну, чтò, Ваня, чтò? заговорилъ онъ.—Куда шель? А я вотъ, братъ, вышелъ; дѣла. Здоровъ-ли?

— Вы-то здоровы-ли? отвѣчалъ я.—Такъ еще недавно были больны, а выходите.

Старикъ не отвѣчалъ, какъ будто не разслушалъ меня.

— Какъ здоровье Анны Андреевны?

— Здорова, здорова... Немножко, впрочемъ, и она хвораешь. Загрустила она у меня что-то... о тебѣ поминала, зачѣмъ не приходишь. Да ты вѣдь теперь-то къ намъ, Ваня, аль нѣтъ? Я, можетъ, тебѣ помѣшалъ, отвлекаю тебя отъ чего-нибудь? спросилъ онъ вдругъ, какъ-то недовѣрчиво и подозрительно въ меня всматриваясь.

Мнительный старикъ сталъ до того чутокъ и раздражителенъ, что отвѣчай я ему теперь, что шель не къ нимъ, онъ бы непременно обидѣлся и холодно разстался со мной. Я поспѣшилъ отвѣчать утвердительно, что я именно шель провѣдать Анну Андреевну, хоть и зналъ, что опоздаю, а можетъ и совсѣмъ не успѣю попасть къ Наташѣ.

— Ну, вотъ и хорошо, сказалъ старикъ, совершенно успокоенный моимъ отвѣтомъ.—Это хорошо...

И вдруг замолчалъ и задумался, какъ будто чего-то не договаривая.

— Да, это хорошо! машинально повторилъ онъ минутъ черезъ пять, какъ бы очнувшись послѣ глубокой задумчивости.— Гм!.. Видишь, Ваня, ты для насъ былъ всегда какъ бы роднымъ сыномъ; Богъ не благословилъ насъ съ Анной Андреевной... сыномъ... и послалъ намъ тебя; я такъ всегда думалъ. Старуха тоже... да! И ты всегда велъ себя съ нами почтительно, нѣжно, какъ родной, благодарный сынъ. Да благословить тебя Богъ за это, Ваня, какъ и мы оба, старики, благословляемъ и любимъ тебя... да!

Голосъ его задрожалъ, онъ переждалъ съ минуту.

— Да... ну, а что? Не хворалъ-ли? Чтò же долго у насъ не былъ?

Я рассказалъ ему всю исторію съ Смитомъ, извиняясь, что смитовское дѣло меня задержало, что кромѣ того я чуть не заболѣлъ, и что за всѣми этими хлопотами къ нимъ, на Васильевскій (они жили тогда на Васильевскомъ), было далеко идти. Я чуть было не проговорился, что все-таки нашелъ случай быть у Наташи и въ это время, но въ-время замолчалъ.

Исторія Смита очень заинтересовала старика. Онъ сдѣлался внимательнѣе. Узнавъ, что новая моя квартира сыра и, можетъ-быть, еще хуже прежней, а стоитъ шесть рублей въ мѣсяцъ, онъ даже разгорячился. Вообще онъ сдѣлался чрезвычайно порывистъ и нетерпѣливъ. Только Анна Андреевна умѣла еще ладить съ нимъ въ такія минуты, да и то не всегда.

— Гм!.. это все твоя литература, Ваня! вскричалъ онъ почти со злобою.— Довела до чердака, доведетъ и до кладбища! Говорилъ я тебѣ тогда, предрекалъ!.. А что Б. все еще критику пишетъ?

— Да вѣдь онъ ужъ умеръ, въ чахоткѣ. Я вамъ, кажется, ужъ и говорилъ объ этомъ.

— Умеръ, гм!.. умеръ! Да такъ и слѣдовало. Что-жь, оставилъ что-нибудь женѣ и дѣтямъ? Вѣдь ты говорилъ, что у него тамъ жена, что-ль, была... И на чтò эти люди женятся?

— Нѣтъ, ничего не оставилъ, отвѣчалъ я.

— Ну, такъ и есть! вскричалъ онъ съ такимъ увлеченіемъ, какъ будто это дѣло близко, родственно до него касалось, и какъ будто умершій Б. былъ его братъ род-

ной.—Ничего! То-то ничего! А знаешь, Ваня, я вѣдь это заранѣе предчувствовалъ, что такъ съ нимъ кончится, еще тогда, когда, помнишь, ты мнѣ его все расхваливалъ. Легко сказать: ничего не оставилъ! Гм!.. славу заслужилъ. Положимъ, можетъ-быть, и бессмертную славу, но вѣдь слава не накормитъ. Я, братъ, и о тебѣ тогда же все предугадалъ, Ваня; хвалилъ тебя, а про себя все предугадалъ. Такъ умеръ Б.? Да и какъ не умереть! И житье хорошо и... мѣсто хорошее, смотри!

И онъ быстрымъ, невольнымъ жестомъ руки указалъ мнѣ на туманную перспективу улицы, освѣщенную слабо мерцающими въ сырой мглѣ фонарями, на грязные дома, на сверкающія отъ сырости плиты тротуаровъ, на угрюмыхъ, сердитыхъ и промокшихъ прохожихъ, на всю эту картину, которую обхватывалъ черный, какъ будто залитый тушью куполь петербургскаго неба. Мы выходили ужъ на площадь; передъ нами во мракѣ вставалъ памятникъ, освѣщенный снизу газовыми рожками, и еще далѣе подымалась темная, огромная масса Исаакія, неясно отдѣлявшаяся отъ мрачнаго колорита неба.

— Ты вѣдь говорилъ, Ваня, что онъ былъ человѣкъ хорошей, великодушный, симпатичный, съ чувствомъ, съ сердцемъ. Ну, такъ вотъ они всѣ таковы, люди-то съ сердцемъ, симпатичные-то твои! Только и умѣютъ, что сиротъ размножать! Гм!.. да и умирать-то, я думаю, ему было весело! Э-э-эхъ! Уѣхалъ бы куда-нибудь отсюда, хоть въ Сибирь!.. Чтò ты, дѣвочка? спросилъ онъ вдругъ, увидѣвъ на тротуарѣ ребенка, просившаго милостыню.

Это была маленькая, худенькая дѣвочка, лѣтъ семи-восьми, не больше, одѣтая въ грязныя отрепья; маленькія ножки ея были обуты, на босу ногу, въ дырявыя башмаки. Она силилась прикрыть свое дрожавшее отъ холоду тѣлце какимъ-то ветхимъ подобіемъ крошечнаго капота, изъ котораго она давно уже успѣла вырасти. Тощее, блѣдное и больное ея личико было обращено къ намъ; она робко и безмолвно смотрѣла на насъ и съ какимъ-то покорнымъ страхомъ отказа протягивала намъ свою дрожавшую ручонку. Старикъ такъ и задрожалъ весь, увидя ее, и такъ быстро къ ней оборотился, что даже ее испугалъ. Она вздрогнула и отшатнулась отъ него.

— Чтò, чтò тебѣ, дѣвочка? вскричалъ онъ.—Чтò? Присиди? Да? Вотъ, вотъ тебѣ... возьми, вотъ!

И онъ, суетясь и дрожа отъ волненія, сталъ искать у себя въ карманѣ и вынулъ двѣ или три серебряныя монетки. Но ему показалось мало; онъ досталъ портмоне и, вынувъ изъ него рублевую бумажку, — все, что тамъ было, — положилъ деньги въ руку маленькой нищей.

— Христось тебя да сохранить, маленькая... дитя ты мое! Ангель Божій да будетъ съ тобою!

И онъ нѣсколько разъ дрожавшею рукою перекрестилъ бѣдняжку; но вдругъ, увидавъ, что и я тутъ и смотрю на него, нахмурился и скорыми шагами пошелъ далѣе.

— Это я, видишь, Ваня, смотрѣть не могу, началъ онъ послѣ довольно продолжительнаго сердитаго молчанія, — какъ эти маленькія, невинныя созданія дрогнуть отъ холоду на улицѣ... изъ-за проклятыхъ матерей и отцовъ. А, впрочемъ, какая же мать и вышлетъ такого ребенка на такой ужасъ, если ужъ не самая несчастная!.. Должно-быть, тамъ въ углу у ней еще сидятъ сироты, а это старшая; сама больна, старуха-то; и... гм! Не княжескія дѣти! Много, Ваня, на свѣтѣ... не княжескихъ дѣтей! Гм!

Онъ помолчалъ съ минуту, какъ бы затрудняясь чѣмъ-то.

— Я, видишь, Ваня, обѣщаль Аннѣ Андреевнѣ, началъ онъ, немного путаясь и сбиваясь, — обѣщаль ей... то-есть мы согласились вмѣстѣ съ Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспитаніе взять... такъ, какую-нибудь, бѣдную, то-есть и маленькую, въ домъ, совсѣмъ; понимаешь? А то скучно намъ, старикамъ, однимъ-то, гм!.. только видишь, Анна Андреевна что-то противъ этого возставать стала. Такъ ты поговори съ ней, этакъ, знаешь, не отъ меня, а какъ бы съ своей стороны... урезонь ее... понимаешь? Я давно тебя собирался объ этомъ просить... чтобъ ты уговорилъ ее согласиться, а мнѣ какъ-то неловко очень-то просить самому... ну, да что о пустякахъ толковать! Мнѣ что дѣвочка? И не нужна; такъ, для утѣхи... чтобъ голосъ чей-нибудь дѣтскій слышать... а, впрочемъ, по правдѣ, я вѣдь для старухи это дѣлаю; ей же веселѣе будетъ, чѣмъ съ однимъ со мной. Но все это вздоръ! Знаешь, Ваня, этакъ мы долго не дойдемъ; возьмемъ-ка извозчика; идти далеко, а Анна Андреевна насъ заждалась...

Было половина восьмого, когда мы пріѣхали къ Аннѣ Андреевнѣ.

ГЛАВА XII.

Старики очень любили другъ друга. И любовь, и до-
говременная свѣчка связали ихъ неразрывно. Но Нико-
лай Сергѣичъ, не только теперь, но даже и прежде, въ
самыя счастливыя времена, былъ какъ-то не сообщите-
ленъ съ своей Анной Андреевной, даже иногда суровъ,
особливо при людяхъ. Въ иныхъ натурахъ, нѣжно и
тонко чувствующихъ, бываетъ иногда какое-то упорство,
какое-то цѣломудренное нежеланіе высказываться и вы-
казывать даже милому себѣ существу свою нѣжность, не
только при людяхъ, но даже и наединѣ; наединѣ еще
больше; только изрѣдка прорывается въ нихъ ласка, и
прорывается тѣмъ горячѣе, тѣмъ порывистѣе, чѣмъ дольше
она была сдержана. Таковъ отчасти былъ и старикъ
Ихменевъ со своей Анной Андреевной, даже смолоду.
Онъ уважалъ ее и любилъ безпредѣльно, несмотря на
то, что это была женщина только добрая и ничего
больше не умѣвшая, какъ только любить его, и ужасно
досадовалъ на то, что она, въ свою очередь, была съ
нимъ, по простотѣ своей, даже иногда слишкомъ и неосто-
рожно наружу. Но послѣ ухода Наташи, они какъ-то нѣж-
нѣе стали другъ къ другу; они болѣзненно почувствовали,
что остались одни на свѣтѣ. И хотя Николай Сергѣичъ
становился иногда чрезвычайно угрюмъ, тѣмъ не менѣе,
оба они, даже на два часа, не могли разстаться другъ
съ другомъ безъ тоски и безъ боли. О Наташѣ они
какъ-то безмолвно условились не говорить ни слова, какъ
будто ея и на свѣтѣ не было. Анна Андреевна не осмѣ-
ливалась даже намекать о ней ясно при мужѣ, хотя это
было для нея очень тяжело. Она давно уже простила
Наташу въ сердцѣ своемъ. Между нами какъ-то устано-
вилось, чтобъ съ каждымъ приходомъ моимъ я прино-
силъ ей извѣстія объ ея миломъ, незабвенномъ дитяти.

Старушка становилась больна, если долго не получала
извѣстій, а когда я приходилъ съ ними, интересовалась
самою малѣйшею подробностію, разспрашивала съ судорож-
нымъ любопытствомъ, „отводила душу“ на моихъ раз-
сказахъ и чуть не умерла отъ страха, когда Наташа
однажды заболѣла, даже чуть было не пошла къ ней
сама. Но это былъ крайній случай. Сначала она даже и
при мнѣ не рѣшалась выражать желаніе увидѣться съ

дочерью и почти всегда послѣ нашихъ разговоровъ, когда, бывало, уже все у меня выспросить, считала необходимою какъ-то сжаться передо мною и непременно подтвердить, что хоть она и интересуется судьбою дочери, но все-таки Наташа такая преступница, которую и простить нельзя. — Но все это было напусеное. Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможенія, плакала, называла при мнѣ Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергѣича, а при немъ начинала *намекать*, хоть и съ большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердіе, на то, что мы не умѣемъ прощать обидъ и что и Богъ не проститъ непрощающихъ; но дальше этого при немъ не высказывалась. Въ такія минуты старикъ тотчасъ же черствѣлъ и угрюмѣлъ, молчалъ нахмурившись, или вдругъ, обыкновенно чрезвычайно неловко и громко, заговаривалъ о другомъ, или, наконецъ, уходилъ *къ себѣ*, оставляя насъ однихъ и давая такимъ образомъ Аннѣ Андреевнѣ возможность вполне излить передо мной свое горе въ слезахъ и сѣтованіяхъ. Точно такъ же онъ уходилъ къ себѣ всегда при моихъ посѣщеніяхъ, бывало, только-что успѣеть со мною поздороваться, чтобъ дать мнѣ время сообщить Аннѣ Андреевнѣ всѣ послѣднія новости о Наташѣ. Такъ сдѣлалъ онъ и теперь.

— Я промокъ, сказалъ онъ ей, только-что ступивъ въ комнату, — пойду-ка къ себѣ, а ты, Ваня, тутъ посиди. Вотъ съ нимъ исторія случилась, съ квартирой; расскажи-ка ей. А я сейчасъ и ворочусь...

И онъ успѣшилъ уйти, стараясь даже и не глядѣть на насъ, какъ будто совѣстясь, что самъ же насъ сводилъ вмѣстѣ. Въ такихъ случаяхъ, и особенно когда возвращался къ намъ, онъ становился всегда суровъ и желченъ и со мной, и съ Анной Андреевнѣй, даже придирчивъ, точно самъ на себя злился и досадовалъ за свою мягкость и уступчивость.

— Вотъ онъ какой, сказала старушка, оставившая со мною въ послѣднее время всю чопорность и всѣ свои заднія мысли, — всегда-то онъ такой со мной; а вѣдь знаетъ, что мы всѣ его хитрости понимаемъ. Чего-жъ бы передо мной виды-то на себя напускать! Чужая я ему, что-ли? Такъ онъ и съ дочерью. Вѣдь простить-то могъ бы, даже, можетъ-быть, и желаетъ простить, Господь его знаетъ. По ночамъ плачетъ, сама слышала! А наружу

крѣпится. Гордость его обуяла... Батюшка, Иванъ Петровичъ, рассказывай поскорѣе: куда онъ ходилъ?

— Николай Сергѣичъ? Не знаю: я у васъ хотѣлъ спросить.

— А я такъ и обмерла, какъ онъ вышелъ. Больной вѣдь онъ, въ такую погоду, на ночь глядя, ну, думаю, вѣрно за чѣмъ-нибудь важнымъ; а чему-жъ и быть-то важнѣе извѣстнаго вамъ дѣла? Думаю я это про себя, а спросить-то и не смѣю. Вѣдь я теперь его ни о чемъ не смѣю спрашивать. Господи Боже, вѣдь такъ и обомлѣла и за него, и за нее. Ну, какъ, думаю, къ ней пошелъ; ужъ не простить-ли рѣшился? Вѣдь онъ все узналъ, всѣ послѣднія извѣстия о ней знаетъ; я навѣрное полагаю, что знаетъ, а откуда ему вѣсти приходятъ—не придумаю. Больно ужъ тосковалъ онъ вчера, да и сегодня тоже. Да что же вы молчите! Говорите, батюшка, что тамъ еще случилось? Какъ ангела Божія ждала васъ, всѣ глаза высмотрѣла. — Ну, что же, оставляетъ злодѣй-то Наташу?

Я тотчасъ же рассказалъ Аннѣ Андреевнѣ все, что самъ зналъ. Съ ней я былъ всегда и вполнѣ откровененъ. Я сообщилъ ей, что у Наташи съ Алешей дѣйствительно какъ будто идетъ на разрывъ и что это серьезнѣе, чѣмъ прежнія ихъ несогласія; что Наташа прислала мнѣ вчера записку, въ которой умоляла меня придти къ ней сегодня вечеромъ, въ девять часовъ, а потому я даже и не предполагалъ сегодня заходить къ нимъ; завелъ же меня самъ Николай Сергѣичъ. Рассказалъ и объяснилъ ей подробно, что положеніе теперь вообще критическое; что отецъ Алеши, который недѣли двѣ какъ воротился изъ отбѣзда, и слышать ничего не хочетъ, строго взялся за Алешу; но важнѣе всего, что Алеша, кажется, и самъ не прочь отъ невѣсты и, слышно, что даже влюбился въ нее. Прибавилъ я еще, что записка Наташи, сколько можно угадывать, написана ею въ большомъ волненіи; пишетъ она, что сегодня вечеромъ все рѣшится, а что?—неизвѣстно; странно тоже, что пишетъ отъ вчерашняго дня, а назначаетъ придти сегодня, и часъ опредѣлила: девять часовъ. А потому я непременно долженъ идти, да и поскорѣе.

— Иди, иди, батюшка, непременно иди, захлопотала старушка, — вотъ только онъ выйдетъ, ты чайку выпей... Ахъ, самоваръ-то не несуть! Матрена! Что-жъ ты само-

варь! Разбойница, а не дѣвка!.. Ну, такъ чайку-то выпьешь, найди предлогъ благовидный, да и ступай. А завтра непременно ко мнѣ, и все расскажи; да пораньше забѣги. Господи! Ужъ не вышло-ли еще какой бѣды! Ужъ чего бы, кажется, хуже теперешняго! Вѣдь Николай-то Сергѣичъ все ужъ узналъ, сердце мнѣ говорить, что узналъ. Я-то вотъ черезъ Матрену много узнаю, а та черезъ Агашу, а Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у князя въ домѣ проживаетъ... ну, да вѣдь ты самъ знаешь. Сердце было сегодня ужасно мое, Николай-то. Я было то да сѣ, а онъ чуть было не закричалъ на меня, а потомъ словно жалко ему стало, говорить: денегъ мало. Точно бы онъ изъ-за денегъ кричалъ. Ну, да вѣдь ты наши обстоятельства знаешь. Послѣ обѣда пошелъ было спать. Я заглянула къ нему въ щелочку (щелочка такая есть въ дверяхъ; онъ и не знаетъ про нее), а онъ-то, голубчикъ, на колѣняхъ передъ кѣлетомъ Богу молится. Какъ увидѣла я это, у меня и ноги подкосились. И чаю не пилъ, и не спалъ, взялъ шапку и пошелъ. Въ пятомъ вышелъ. Я и спросить не посмѣла: закричалъ бы онъ на меня. Часто онъ кричать началъ, все больше на Матрену, а то и на меня; а какъ закричить, у меня тотчасъ ноги мертвѣютъ и отъ сердца отрывается. Вѣдь только блажить, знаю, что блажить, а все страшно. Богу цѣлый часъ молилась, какъ онъ ушелъ, чтобъ на благую мысль его навелъ.—Гдѣ же записка-то ея, покажи-ка!

Я показала. Я зналъ, что у Анны Андреевны была одна любимая, завѣтная мысль, что Алеша, котораго она звала то злодѣемъ, то безчувственнымъ, глупымъ мальчишкой, женится, наконецъ, на Наташѣ и что отецъ его, князь Петръ Александровичъ, ему это позволить. Она даже и проговорила передо мной, хотя въ другіе разы раскаивалась и отпиралась отъ словъ своихъ. Но ни за что не посмѣла бы она высказать свои надежды при Николаѣ Сергѣичѣ, хотя и знала, что старикъ ихъ подозреваетъ въ ней и даже не разъ попрекалъ ее косвеннымъ образомъ. Я думаю, онъ окончательно бы проклялъ Наташу и вырвалъ ее изъ своего сердца навѣки, если-бъ узналъ про возможность этого брака.

Всѣ мы такъ тогда думали. Онъ ждалъ дочь всѣми желаніями своего сердца, но онъ ждалъ ее одну, раскаившуюся, вырвавшую изъ своего сердца даже воспоминаніе о своемъ Алешѣ. Это было единственнымъ условіемъ про-

щенія, хоть не высказаннымъ, но, глядя на него, понятнымъ и несомнѣннымъ.

— Безхарактерный онъ, безхарактерный мальчишка, безхарактерный и жестокосердый, я всегда это говорила, начала опять Анна Андреевна. — И воспитывать его не умѣли, такъ, вѣтрогонъ какой-то вышелъ; бросаетъ ее за такую любовь, Господи Боже мой! Чтò съ ней будетъ, съ бѣдняжкой? И чтò онъ въ новой-то напелъ; удивляюсь!

— Я слышала, Анна Андреевна, возразилъ я, — что эта невѣста очаровательная дѣвушка, да и Наталья Николаевна про нее то же говорила...

— А ты не вѣрь! перебила старушка. — Чтò за очаровательная? Для васъ, шелкоперовъ, всякая очаровательная, только бы юбка болталась. А что Наташа ее хвалить, такъ это она по благородству души дѣлаетъ. Не умѣетъ она удержать его; все ему прощаетъ, а сама страдаетъ. Сколько ужъ разъ онъ ей измѣнял! Злодѣи жестокосердые! А на меня, Иванъ Петровичъ, просто ужасъ находить. Гордость всѣхъ обуяла. Смирилъ бы хоть мой-то себя, простилъ бы ее, мою голубку, да и привелъ бы сюда. Обняла-бъ ее, посмотрѣла-бъ на нее! Похудѣла она?

— Похудѣла, Анна Андреевна.

— Голубчикъ мой! А у меня, Иванъ Петровичъ, бѣда! Всю ночь, да весь день сегодня проплакала... да чтò! послѣ расскажу! Сколько разъ я заикалась говорить ему издалека, чтобъ простилъ-то: прямо-то не смѣю, такъ издалека, ловкимъ такимъ манеромъ заговаривала. А у самой сердце такъ и замираетъ: разсердится, думаю, да и проклянетъ ее совсѣмъ! Проклятiя-то я еще отъ него не слыхала... такъ вотъ и боюсь, чтобъ проклятiя не наложили. Тогда вѣдь чтò будетъ? Отецъ проклялъ, и Богъ покараетъ. Такъ и живу, каждый день дрожу отъ ужаса. Да и тебѣ, Иванъ Петровичъ, стыдно; кажется, въ нашемъ домѣ взросъ и отеческія ласки отъ всѣхъ у насъ видѣлъ: тоже выдумалъ, очаровательная! Да тебѣ-то чтò? Какая очаровательная? А вотъ Марья Васильевна ихняя лучше говоритъ. (Я вѣдь согрѣшила, да ее разъ на кофей и позвала, когда мой на все утро по дѣламъ уѣзжалъ). Она мнѣ всю подноготную объяснила. Князь - то, отецъ - то Алешинъ, съ графиней-то въ непозволительной связи находился. Графиня давно, говорятъ, попрекала его, что онъ на ней не женится, а тотъ все отлынивалъ. А графиня - то эта, когда еще мужъ ея былъ живъ, зазор-

нымъ поведеніемъ отличалась. Умеръ мужъ - то — она за границу: все итальянцы, да французы пошли, бароновъ какихъ-то у себя завела; тамъ и князя Петра Александровича подцѣпила. А падчерица ея, перваго ея мужа, откупщика, дочь, межъ тѣмъ росла да росла. Графиня-то, мачиха-то, все прожила, а Катерина Ѳедоровна межъ тѣмъ подросла, да и два милліона, что ей отецъ-откупщикъ въ ломбардѣ оставилъ, подросли. Теперь, говорятъ, у ней три милліона; князь-то и смекнулъ: вотъ бы Алешу женить! (Не промахъ! Своего не пропуститъ). Графъ-то, придворный-то, знатный-то, помнишь, родственникъ-то ихній, тоже согласенъ; три милліона не шутка. Хорошо, говорить, поговорите съ этой графиней. Князь и сообщаетъ графинѣ свое желаніе. Та и руками и ногами: безъ правиль, говорятъ, женщина, буянка такая! Ее ужъ здѣсь не всѣ, говорятъ, принимаютъ, не то что за границей. Нѣтъ, говорить, ты, князь, самъ на мнѣ женись, а не бывать моей падчерицѣ за Алешей. А дѣвица-то, падчерица-то, души, говорятъ, въ своей мачихѣ не слышитъ; чуть на нее не молится и во всемъ ей послушна. Кроткая, говорятъ, такая, ангельская душа! Князь-то видитъ въ чемъ дѣло, да и говоритъ: ты, графиня, не безпокойся. Ииѣнье-то свое прожила и долги на тебѣ неоплатные. А какъ твоя падчерица выйдетъ за Алешу, такъ ихъ будетъ пара: и твоя невинная, и Алеша мой дурачокъ; мы ихъ и возьмемъ подъ начало, и будемъ сообща опекать; тогда и у тебя деньги будутъ. А то что, говорить, за меня замужъ тебѣ идти? Хитрый человекъ! Масонъ! Такъ полгода тому назадъ было, графиня не рѣшалась, а теперь, говорятъ, въ Варшаву ѣздили, тамъ и согласились. Вотъ какъ я слышала. Все это Марья Васильевна мнѣ рассказала, всю подноготную, отъ вѣрнаго человека сама она слышала. Ну, такъ вотъ что тутъ: денежки, милліоны, а то что—очаровательная!

Разсказъ Анны Андреевны меня поразилъ. Онъ совершенно согласовался со всѣмъ тѣмъ, что я самъ недавно слышалъ отъ самого Алеши. Рассказывая, онъ храбрился, что ни за что не женится на деньгахъ. Но Катерина Ѳедоровна поразила и увлекла его. Я слышалъ тоже отъ Алеши, что отецъ его самъ, можетъ-быть, женится, хоть и отвергаетъ эти слухи, чтобъ не раздражить до времени графини. Я сказалъ уже, что Алеша очень любилъ отца, любовался и хвалился имъ и вѣрилъ въ него, какъ въ оракула.

— Вѣдь не графскаго же рода и она, твоя очаровательная-то! продолжала Анна Андреевна, крайне раздраженная моею похвалою будущей невѣстѣ молодого князя.— А Наташа ему еще лучше-бъ была партія. Та откупщица, а Наташа-то изъ стариннаго дворянскаго дома, высоко-благородная дѣвица. Старикъ-то мой вчера (я забыла вамъ рассказать), сундучокъ свой отперъ, кованный,—знаете? да цѣлый вечеръ противъ меня сидѣлъ, да старыя грамоты наши разбиралъ. Да серьезный такой сидитъ. Я чулокъ вяжу, да и не гляжу на него, боюсь. Такъ онъ видитъ, что я молчу, разсердился, да самъ и окликнулъ меня и цѣлый-то вечеръ мнѣ нашу родословную толковалъ. Такъ вотъ и выходитъ, что мы-то, Ихменевы-то, еще при Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ дворянами были, а что мой родъ, Шумиловыхъ, еще при Алексѣѣ Михайловичѣ извѣстенъ былъ, и документы есть у насъ, и въ исторіи Карамзина упомянуто. Такъ вотъ какъ, батюшка, мы видно тоже не хуже другихъ съ этой черты. Какъ началъ мнѣ старикъ толковать, я и поняла, что у него на умѣ. Знать и ему обидно, что Наташей пренебрегаютъ. Богатствомъ только и взяли передъ нами. Ну, да пусть тотъ, разбойникъ-то, Петръ-то Александровичъ, о богатствѣ хлопочетъ: всѣмъ извѣстно: жестокосердая, жадная душа. Въ іезуиты, говорятъ, тайно въ Варшавѣ записался? Правда-ли это?

— Глупый слухъ, отвѣчалъ я, невольно заинтересованный устойчивостью этого слуха.

Но извѣстіе о Николаѣ Сергѣевичѣ, разбивавшемъ свои грамоты, было любопытно. Прежде онъ никогда не хвалился своею родословною.

— Все злодѣи жестокосердые! продолжала Анна Андреевна.—Ну, что же она, мой голубчикъ, горюетъ, плачетъ? Ахъ, пора тебѣ идти къ ней! Матрена, Матрена! Разбойникъ, а не дѣвка! Не оскорбляли ее? Говори же, Ваня.

Что было ей отвѣчать? Старушка заплакала. Я спросилъ, какая у ней еще случилась бѣда, про которую она мнѣ давеча собиралась рассказать.

— Ахъ, батюшка, мало было однѣхъ бѣдъ, такъ видно, еще не вся чаша выпита! Помнишь, голубчикъ, или не помнишь, былъ у меня медальончикъ, въ золото оправленный, такъ, для сувенира сдѣлано, а въ немъ портретъ Наташечки, въ дѣтскихъ лѣтахъ; восьми лѣтъ она

тогда была, ангельчикъ мой. Еще тогда мы съ Николаемъ Сергѣевичемъ его проѣзжему живописцу заказывали, да ты забылъ, видно, батюшка! Хорошій былъ живописецъ, купидономъ ее изобразилъ: волосики свѣтленькіе такіе у ней тогда были, взбитые: въ рубашечкѣ кисейной представилъ ее, такъ что и тѣлице просвѣчиваетъ, и такая она вышла хорошенькая, что и наглядѣться нельзя. Присла я живописца, чтобъ крылышки ей подрисовалъ, да не согласился живописецъ. Такъ вотъ, батюшка, я, послѣ ужасовъ-то нашихъ тогдашнихъ, медальончикъ изъ шкапулки и вынула, да на грудь себѣ и повѣсила на шнуркѣ, такъ и носила возлѣ креста, а сама-то боюсь, чтобъ мой не увидалъ. Вѣдь онъ тогда же всѣ ея вещи приказалъ изъ дому выкинуть или сжечь, чтобъ ничто и не напоминало про нее у насъ. А мнѣ-то хоть бы на портретъ ея поглядѣть; иной разъ поплачу на него глядя, — все легче станеть, а въ другой разъ, когда одна остаюсь, не нацѣлюсь, какъ будто ее самоѣ цѣлю; имена нѣжныя ей прибираю, да и на ночь-то каждый разъ перекрещу. Говорю съ ней вслухъ, когда одна остаюсь, спрошу что-нибудь и представляю, какъ будто она мнѣ отвѣтила, и еще спрошу. Охъ, голубчикъ Ваня, тяжело и рассказывать-то! Ну, вотъ я и рада, что хоть про медальонъ-то онъ не знаетъ и не замѣтилъ; только хватъ вчера утромъ, а медальона и нѣтъ, только шнурочекъ болтается, перетерся, должно-быть, а я и обронила. Такъ-и замерла. Искать; искала-искала, искала-искала, — нѣтъ! Сгинулъ да пропалъ! И куда ему сгинуть? Навѣрно, думаю, въ постели обронила; все перерыла, — нѣтъ! Коли сорвался, да упалъ куда-нибудь, такъ, можетъ, кто и нашелъ его, а кому найти кромѣ него али Матрены? Ну, на Матрену и думать нельзя, она мнѣ всей душой предана... (Матрена, да ты скоро-ли самоваръ-то?) Ну, думаю, если онъ найдетъ, что тогда будетъ? Сижу себѣ, грущу, да и плачу-плачу, слезъ удержать не могу. А Николай Сергѣевичъ все ласковѣй, да ласковѣй со мной; на меня глядя груститъ, какъ будто и онъ знаетъ, о чемъ я плачу, и жалѣетъ меня. Вотъ и думаю про себя: почему онъ можетъ знать? Не сыскалъ-ли онъ и въ самомъ дѣлѣ медальонъ, да и выбросилъ въ форточку. Вѣдь въ-сердцахъ онъ на это способенъ; выбросилъ, а самъ теперь и груститъ, — жалѣетъ, что выбросилъ. Ужъ я и подъ окошко, подъ форточкой искать ходила съ Матреной, — ничего не нашла.

Какъ въ воду кануло. Всю ночь проплакала. Первый разъ и ее на ночь не перекрестила. Охъ, къ худу это, къ худу, Иванъ Петровичъ, не предвѣщаетъ добра; другой день, глазъ не осушая, плачу. Васъ-то ждала, голубчика, какъ ангела Божия, хоть душу отвести...

И старушка горько заплакала.

— Ахъ, да, и забыла вамъ сообщить! заговорила она вдругъ, обрадовавшись, что вспомнила,—слышали вы отъ него что-нибудь про сиротку?

— Слышалъ, Анна Андреевна, говорилъ онъ мнѣ, что будто вы оба надумались и согласились взять бѣдную дѣвушку, сиротку, на воспитаніе. Правда-ли это?

— И не думала, батюшка, и не думала! И никакой сиротки не хочу! Напоминать она мнѣ будетъ горькую долю нашу, наше несчастье. Кромѣ Наташи никого не хочу. Одна была дочь, одна и останется. А только что-жъ это значить, батюшка, что онъ сиротку-то выдумалъ? Какъ ты думаешь, Иванъ Петровичъ? Мнѣ въ утѣшеніе, что-ль, на мои слезы глядя, аль чтобъ родную дочь даже совсѣмъ изъ воспоминанія изгнать, да къ другому дѣтищу привязаться? Чтó онъ обо мнѣ дорогою говорилъ съ вами? Какое онъ вамъ показался, — суровый, сердитый? Те! Идетъ! Послѣ, батюшка, доскажете, послѣ!.. Завтра-то придти не забудь...

ГЛАВА XIII.

Вошелъ старикъ. Онъ съ любопытствомъ и какъ будто чего-то стыдась оглядѣлъ насъ, нахмурился и подошелъ къ столу.

— Что-жъ, самоваръ, спросилъ онъ,—неужели до сихъ поръ не могли подать?

— Несутъ, батюшка, несутъ; ну, вотъ и принесли, захлопотала Анна Андреевна.

Матрена, тотчасъ же какъ увидала Николая Сергѣича, и явилась съ самоваромъ, точно ждала его выхода, чтобъ подать. Это была старая, испытанная и преданная служанка, но самая своеправная ворчунья изъ всѣхъ служанокъ въ мірѣ, съ настѣйчивымъ и упрямымъ характеромъ. Николая Сергѣича она боялась и при немъ всегда прикусывала языкъ. Зато вполнѣ вознаграждала себя передъ Анной Андреевной, грубила ей на каждомъ шагу и показывала явную претензію господствовать надъ своей госпожой, хотя въ то же время душевно и искренно любила

ее и Наташу. Эту Матрену я зналъ еще въ Ихменевкѣ.

— Гм!.. вѣдь неприятно, когда промокнешь, а тутъ тебѣ и чаю *не хотять* приготовить, ворчалъ вполголоса старикъ.

Анна Андреевна тотчасъ же подмигнула мнѣ на него. Онъ терпѣть не могъ этихъ таинственныхъ подмигиваній и хотъ въ эту минуту и старался не смотрѣть на насъ, но по лицу его можно было замѣтить, что Анна Андреевна именно теперь мнѣ на него подмигнула и что онъ вполнѣ это знаетъ.

— По дѣламъ ходилъ, Ваня, заговорилъ онъ вдругъ.— Дрянъ такая завелась. Говорилъ я тебѣ? Меня совсѣмъ осуждаютъ. Доказательствъ, вишь, нѣтъ; бумагъ нужныхъ нѣтъ; справки невѣрны выходятъ... Гм!..

Онъ говорилъ про свой процессъ съ княземъ; этотъ процессъ все еще тянулся, но принималъ самое худое направление для Николая Сергѣича. Я молчалъ, не зная, что ему отвѣчать. Онъ подозрительно взглянулъ на меня.

— А что-жъ! подхватилъ онъ вдругъ, какъ будто раздраженный нашимъ молчаніемъ, — чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Подлецомъ меня не сдѣлають, хотъ и рѣшать, что я долженъ заплатить. Со мной моя совѣсть, и пусть рѣшаютъ. По крайней мѣрѣ, дѣло кончено; развяжутъ, разорять... Брошу все и уѣду въ Сибирь.

— Господи, куда ѣхать! Да зачѣмъ бы это въ такую даль! не утерпѣла не сказать Анна Андреевна.

— А здѣсь отъ чего близко? грубо спросилъ онъ, какъ бы обрадовавшись возраженію.

— Ну, все-таки... отъ людей... проговорила было Анна Андреевна, и съ тоскою взглянула на меня.

— Отъ какихъ людей! вскричалъ онъ, перевода горячій взглядъ отъ меня на нее и обратно,—отъ какихъ людей? Отъ грабителей, отъ клеветниковъ, отъ предателей? Такихъ вездѣ много; не безпокойся, и въ Сибири найдемъ. А не хочешь со мной ѣхать, такъ, пожалуй, и оставайся; я не насилую.

— Батюшка, Николай Сергѣичъ! Да на кого-жъ я безъ тебя останусь! закричала бѣдная Анна Андреевна.—Вѣдь у меня, кромѣ тебя, въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ ник...

Она заикнулась, замолчала и обратила ко мнѣ испуганный взглядъ, какъ бы прося заступленія и помощи. Старикъ былъ раздраженъ, ко всему придирался; противорѣчить ему было нельзя.

— Полноте, Анна Андреевна, сказала я,—въ Сибири совсѣмъ не такъ дурно, какъ кажется. Если случится несчастье, и вамъ надо будетъ продать Ихменевку, то намѣреніе Николая Сергѣича даже и очень хорошо. Въ Сибири можно найти порядочное частное мѣсто, и тогда...

— Ну, вотъ, по крайней мѣрѣ, хоть ты, Иванъ, дѣло говоришь. Я такъ и думала. Брошу все и уѣду.

— Ну, вотъ ужъ и не ожидала! вскрикнула Анна Андреевна, всплеснувъ руками.—И ты, Ваня, туда же! Ужъ отъ тебя-то, Иванъ Петровичъ, не ожидала... Кажется, кромѣ ласки, вы отъ насъ ничего не видали, а теперь...

— Ха-ха-ха! А ты чего ожидала? Да чѣмъ же мы жить будемъ, подумай! Деньги прожиты, послѣднюю копейку добиваемъ! Ужъ не прикажешь-ли къ князю Петру Александровичу пойти, да прощенія просить?

Услышавъ про князя, старушка такъ и задрожала отъ страха. Чайная ложечка въ ея рукѣ звонко задребезжала о блюдечко.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, подхватилъ Ихменевъ, разгорячая самъ себя съ злобною, упорною радостію,—какъ ты думаешь, Ваня, вѣдь, право, пойти! На что въ Сибирь ѣхать? А лучше я вотъ завтра разодѣнусь, причешусь, да приглажусь; Анна Андреевна манишку новую приготовить (къ такому лицу ужъ нельзя иначе!), перчатки для полного бонтона купить, да и пойти къ его сіятельству: батюшка, ваше сіятельство, кормилецъ, отецъ родной! Прости и помилуй, дай кусокъ хлѣба,—жена, дѣти маленькія!.. Такъ-ли, Анна Андреевна? Этого-ли хочешь?

— Батюшка... я ничего не хочу! Такъ, сдуру сказала; прости коли въ чемъ досадила, да только не кричи, проговорила она, все больше и больше дрожа отъ страха.

Я увѣренъ, что въ душѣ его все ныло и перевертывалось въ эту минуту, глядя на слезы и страхъ своей бѣдной подруги; я увѣренъ, что ему было гораздо больнѣе, чѣмъ ей; но онъ не могъ удержаться. Такъ бываетъ иногда съ добрѣйшими, но слабонервными людьми, которые, не смотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслажденія собственнымъ горемъ и гнѣвомъ, ища высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому, невинному и преимущественно всегда самому ближнему къ себѣ человѣку. У женщины, на примѣръ, бываетъ иногда потребность чувствовать себя несчастною, обиженною, хотя бы не было ни обидъ, ни несчастій. Есть много мужчинъ,

похожихъ въ этомъ случаѣ на женщинъ, и даже мужчинъ не слабыхъ, въ которыхъ вовсе не такъ много женственнаго. Старикъ чувствовалъ потребность ссоры, хотя самъ страдалъ отъ этой потребности.

Помню, у меня тутъ же мелькнула мысль: ужъ и въ самомъ дѣлѣ не сдѣлалъ-ли онъ передъ этимъ какой-нибудь выходки, въ родѣ предположеній Анны Андреевны! Чего добраго, не надумилъ-ли его Господь и не ходилъ-ли онъ въ самомъ дѣлѣ къ Наташѣ, да одумался дорогою, или что-нибудь не удалось, сорвалось въ его намѣреніи,—какъ и должно было случиться,—и вотъ онъ воротился домой, разсерженный и униженный, стыдяся своихъ недавнихъ желаній и чувствъ, ища на комъ сорвать сердце за свою же *слабость* и выбирая именно тѣхъ, кого наиболѣе подозрѣвалъ въ такихъ же желаніяхъ и чувствахъ. Можетъ-быть, желая простить дочь, онъ именно воображалъ себѣ восторгъ и радость своей бѣдной Анны Андреевны, и при неудачѣ, *разумѣется*, ей же первой и досталось за это.

Но убитый видъ ея, дрожавшей передъ нимъ отъ страха, тронулъ его. Онъ какъ будто устыдился своего гнѣва и на минуту сдержалъ себя. Мы всѣ молчали; я старался не глядѣть на него. Но добрая минута тянулась не долго. Во что бы ни стало надо было высказаться, хотя бы взрывомъ, хотя бы проклятіемъ.

— Видишь, Ваня, сказалъ онъ вдругъ,—мнѣ жаль, мнѣ не хотѣлось бы говорить, но пришло такое время, и я долженъ объясниться откровенно, безъ закорючекъ, какъ слѣдуетъ всякому прямому чедовѣку... понимаешь, Ваня? Я радъ, что ты пришелъ, и потому хочу громко сказать при тебѣ же, такъ, чтобъ и *другіе* слышали, что весь этотъ вздоръ, всѣ эти слезы, вздохи, несчастья мнѣ, наконецъ, надоѣли. То, что я вырвалъ изъ сердца моего, можетъ-быть, съ кровью и болью, никогда опять не воротится въ мое сердце. Да! Я сказалъ и сдѣлаю. Я говорю про то, что было полгода назадъ, понимаешь, Ваня!—и говорю про это такъ откровенно, такъ прямо именно для того, чтобъ ты никакъ не могъ ошибиться въ словахъ моихъ, прибавилъ онъ, воспаленными глазами смотря на меня и видимо избѣгая испуганныхъ взглядовъ жены.—Повторяю: это вздоръ; я не желаю!.. Меня именно бѣсить, что меня, какъ дурака, какъ самаго низкаго подлеца *всѣ* считаютъ способнымъ имѣть такія низкія, такія слабыя чувства...

думаютъ, что я съ ума схожу отъ горя... Вздоръ! Я отбросилъ, я забылъ старыя чувства! Для меня нѣтъ воспоминаній... да! да! да! и да!..

Онъ вскочилъ со стула и ударилъ кулакомъ по столу такъ, что чашки зазвенѣли.

— Николай Сергѣичъ! Неужели вамъ не жаль Анну Андреевну! Посмотрите, что вы съ ней дѣлаете, сказалъ я, не въ силахъ удержаться и почти съ негодованіемъ смотря на него. Но я только къ огню подлилъ масла.

— Не жаль! закричалъ онъ, задрожавъ и поблѣднѣвъ, — не жаль, потому что и меня не жалѣютъ! Не жаль, потому что въ моемъ же домѣ составляются заговоры противъ поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятія и всѣхъ наказаній!..

— Батюшка! Николай Сергѣичъ, не проклинай!.. Все, что хочешь, только дочь не проклинай! вскричала Анна Андреевна.

— Проклянута! кричалъ старикъ вдвое громче, чѣмъ прежде, — потому что отъ меня же, обиженнаго, поруганнаго, требуютъ, чтобы я шелъ къ этой проклятой и у ней же просилъ прощенія! Да, да, это такъ. Этимъ мучать меня каждодневно, денно и ночью у меня же въ домѣ, слезами, вздохами, глупыми намеками! Хотятъ меня разжалобить... Смотри, смотри, Ваня, прибавилъ онъ, поспѣшно вынимая дрожащими руками изъ своего бокового кармана бумаги, — вотъ тутъ выписки изъ нашего дѣла! По этому дѣлу выходитъ теперь, что я воръ, что я обманщикъ, что я обокралъ моего благодѣтеля!.. Я ошельмованъ, опозоренъ изъ-за нея! Вотъ, вотъ, смотри, смотри!..

И онъ началъ выбрасывать изъ бокового кармана своего сюртука разныя бумаги, одну за другою, на столъ, нетерпѣливо отыскивая между ними ту, которую хотѣлъ мнѣ показать; но нужная бумага какъ нарочно не отыскивалась. Въ нетерпѣннн онъ рванулъ изъ кармана все, что захватилъ въ немъ рукой, и вдругъ — что-то звонко и тяжело упало на столъ... Анна Андреевна вскрикнула. Это былъ потерянный медальонъ.

Я едва вѣрилъ глазамъ своимъ. Кровь бросилась въ голову старика и задила его щеки; онъ вздрогнулъ. Анна Андреевна стояла, сложивъ руки, и съ мольбою смотрѣла на него. Лицо ея просіяло свѣтлою, радостною надеждою. Эта краска въ лицѣ, это смущеніе старика передъ нами...

да, она не ошиблась, она понимала теперь, какъ пропалъ ея медальонъ!

Она поняла, что онъ нашелъ его, обрадовался своей находкѣ и, можетъ-быть, дрожа отъ восторга, ревниво спряталъ его у себя отъ всѣхъ глазъ; что гдѣ-нибудь одинъ, тихонько отъ всѣхъ, онъ съ безпредѣльною любовью смотрѣлъ на личико своего возлюбленнаго дитяти, — смотрѣлъ и не могъ насмотрѣться; что, можетъ-быть, онъ такъ же, какъ и бѣдная мать, запирался одинъ отъ всѣхъ разговаривать съ своей безцѣнной Наташей, выдумывать ея отвѣты, отвѣчать на нихъ самому; а ночью, въ мучительной тоскѣ, съ подавленными въ груди рыданіями, ласкалъ и цѣловалъ милый образъ и, вмѣсто проклятій, призывалъ прощеніе и благословеніе на ту, которую не хотѣлъ видѣть и проклиналъ передъ всѣми.

— Голубчикъ мой, такъ ты ее еще любишь! вскричала Анна Андреевна, не удерживаясь болѣе передъ суровымъ отцомъ, за минуту проклинавшимъ ея Наташу.

Но лишь только онъ услышалъ ея крикъ, безумная ярость сверкнула въ глазахъ его. Онъ схватилъ медальонъ, съ силою бросилъ его на полъ и съ бѣшенствомъ началъ топтать ногою.

— Навѣки, навѣки будь проклята мною! хрипѣлъ онъ, задыхаясь.—Навѣки, навѣки!

— Господи! закричала старушка,—ее, ее! Мою Наташу! Ея личико... топчетъ ногами! ногами! Тиранъ! Безчувственный, жестокосердый гордецъ!

Услышавъ вопль жены, безумный старикъ остановился въ ужасѣ отъ того, что сдѣлалось. Вдругъ онъ схватилъ съ полу медальонъ и бросился вонъ изъ комнаты, но, сдѣлавъ два шага, упалъ на колѣни, уперся руками на стоявшій передъ нимъ диванъ и въ изнеможеніи склонилъ свою голову.

Онъ рыдалъ какъ дитя, какъ женщина. Рыданія тѣснили грудь его, какъ будто хотѣли ее разорвать. Грозный старикъ въ одну минуту сталъ слабѣе ребенка. О, теперь ужъ онъ не могъ проклинать; онъ уже не стыдился никого изъ насъ и, въ судорожномъ порывѣ любви, опять покрывалъ, при насъ, безчисленными поцѣлуями портретъ, который за минуту назадъ топталъ ногами. Казалось, вся нѣжность, вся любовь его къ дочери, такъ долго въ немъ сдержанная, стремилась теперь вырваться

наружу съ неудержимою силою, и силою порыва разбивала все существо его.

— Прости; прости ее! восклицала, рыдая, Анна Андреевна, склонившись надъ нимъ и обнимая его. — Воротн ея въ родительскій домъ, голубчикъ, и самъ Богъ на страшномъ судѣ Своемъ зачтетъ тебѣ твое смиреніе и милосердіе!..

— Нѣтъ, нѣтъ! Ни за что, никогда! восклицалъ онъ хриплымъ, задушаемымъ голосомъ.—Никогда! Никогда!

ГЛАВА XIV.

Я пришелъ къ Наташѣ уже поздно, въ десять часовъ. Она жила тогда на Фонтанкѣ, у Семеновскаго моста, въ грязномъ „капитальномъ“ домѣ вупца Колотушкина, въ четвертомъ этажѣ. Въ первое время послѣ ухода изъ дому, она и Алеша жили въ прекрасной квартирѣ, небольшой, но красивой и удобной, въ третьемъ этажѣ, на Литейной. Но скоро ресурсы молодого князя истощились. Учителемъ музыки онъ не сдѣлался, но началъ занимать и вошелъ въ огромные для него долги. Деньги онъ употреблялъ на украшеніе квартиры, на подарки Наташѣ, которая возставала противъ его мотовства, журила его, иногда даже плакала. Чувствительный и проникательный сердцемъ Алеша, иногда цѣлую недѣлю обдумывавшій съ наслажденіемъ какъ бы ей что подарить и какъ-то она приметъ подарокъ, дѣлавшій изъ этого для себя настоящіе праздники, съ восторгомъ сообщавшій мнѣ заранѣе свои ожиданія и мечты, впадалъ въ уныніе отъ ея журьбы и слезъ, такъ что его становилось жалко, а впоследствии между ними бывали изъ-за подарковъ упреки, огорченія и ссоры. Кромѣ того, Алеша много проживалъ денегъ тихонько отъ Наташи; увлекался за товарищами, измѣнялъ ей; ѣздилъ къ разнымъ Жозефинамъ и Минамъ; а между тѣмъ, онъ все-таки очень любилъ ее. Онъ любилъ ее какъ-то съ мученіемъ; часто онъ приходилъ ко мнѣ разстроенный и грустный, говоря, что не стоить мизинчика своей Наташи, что онъ грубъ и золъ, не въ состояніи понимать ее и недостойнъ ея любви. Онъ былъ отчасти правъ: между ними было совершенное неравенство; онъ чувствовалъ себя передъ нею ребенкомъ, да и она всегда считала его за ребенка. Со слезами каялся онъ мнѣ въ знакомствѣ съ Жозефиной, въ то же время умолая не говорить объ этомъ Наташѣ; и когда, робкій

и трепещущій, онъ отправлялся, бывало, послѣ всѣхъ этихъ откровенностей, со мною къ ней (непремѣнно со мною, увѣряя, что боится взглянуть на нее послѣ своего преступленія, и что я одинъ могу поддержать его), то Наташа съ перваго же взгляда на него уже знала, въ чемъ дѣло. Она была очень ревнива и, не понимаю, какимъ образомъ, всегда прощала ему всѣ его вѣтрености. Обыкновенно такъ случалось: Алеша войдетъ со мною, робко заговоритъ съ ней, съ робкою нѣжностью смотритъ ей въ глаза. Она тотчасъ же угадаетъ, что онъ виноватъ, но не покажетъ и вида, никогда не заговоритъ объ этомъ первая, ничего не выпытываетъ, напротивъ, тотчасъ же удвоитъ къ нему свои ласки, станетъ нѣжнѣе, веселѣе,—и это не была какая-нибудь игра или обдуманная хитрость съ ея стороны. Нѣтъ; для этого прекраснаго созданія было какое-то безконечное наслажденіе прощать и миловать; какъ будто въ самомъ процессѣ прощенія Алеши она находила какую-то особенную, утонченную прелесть. Правда, тогда еще дѣло касалось однѣхъ Жозефинъ. Видя ее кроткую и прощающую, Алеша уже не могъ утерпѣть и тотчасъ же самъ во всемъ каялся, безъ всякаго спроса,—чтобъ облегчить сердце и „быть по-прежнему“, говорилъ онъ. Получивъ прощеніе, онъ приходилъ въ восторгъ, иногда даже плакалъ отъ радости и умиленія, цѣловалъ, обнималъ ее. Потомъ тотчасъ же развеселялся и начиналъ съ ребяческою откровенностью рассказывать всѣ подробности своихъ походовъ съ Жозефиной, смѣялся, хохоталъ, благословлялъ и восхвалялъ Наташу, и вечеръ кончался счастливо и весело: Когда прекратились у него всѣ деньги, онъ началъ продавать вещи. По настоянію Наташи, отыскана была маленькая, но дешевая квартира на Фонтанкѣ. Вещи продолжали продаваться; Наташа продала даже свои платья и стала искать работы; когда Алеша узналъ объ этомъ, отчаянію его не было предѣловъ; онъ проклиналъ себя, кричалъ, что самъ себя презираетъ, а между тѣмъ ничѣмъ не поправилъ дѣла. Въ настоящее время прекратились даже и эти послѣдніе ресурсы; оставалась только одна работа, но плата за нее была самая ничтожная.

Съ самаго начала, когда они еще жили вмѣстѣ, Алеша сильно поссорился за это съ отцомъ. Тогдашнія намѣренія князя женить сына на Катеринѣ Федоровнѣ Филимоновой, падчерицѣ графини, были еще только въ проектѣ,

но онъ сильно настаивалъ на этомъ проектѣ; онъ возилъ Алешу къ будущей невѣстѣ, уговаривалъ его стараться ей понравиться, убѣждалъ его и строгостями, и резонами, но дѣло разстроилось изъ-за графини. Тогда и отецъ сталъ смотрѣть на связь сына съ Наташей съвозъ пальцы, предоставляя все времени, и надѣялся, зная вѣтреность и легкомысліе Алеши, что любовь его скоро пройдетъ. О томъ же, что онъ можетъ жениться на Наташѣ, князь, до самаго послѣдняго времени, почти пересталъ заботиться. Что же касается до любовниковъ, то у нихъ дѣло отлагалось до формальнаго примиренія съ отцомъ и вообще до переменъ обстоятельствъ. Впрочемъ, Наташа видимо не хотѣла заводить объ этомъ разговоръ. Алеша проговорился мнѣ тайкомъ, что отецъ какъ будто немножко и радъ былъ всей этой исторіи: ему нравилось во всемъ этомъ дѣлѣ униженіе Ихменева. Для формы же онъ продолжалъ изъяснять свое неудовольствіе сыну: уменьшилъ и безъ того небогатое содержаніе его (онъ былъ чрезвычайно съ нимъ скупъ), грозилъ отнять все; но вскорѣ уѣхалъ въ Польшу, за графиней, у которой были тамъ дѣла, все еще безъ устали преслѣдуя свой проектъ сватовства. Правда, Алеша былъ еще слишкомъ молодъ для женитьбы; но невѣста была слишкомъ богата, и упустить такой случай было невозможно. Князь добился, наконецъ, цѣли. До насъ дошли слухи, что дѣло о сватовствѣ пошло, наконецъ, на ладъ. Въ то время, которое я описываю, князь только-что воротился въ Петербургъ. Сына онъ встрѣтилъ ласково, но упорность его связи съ Наташей неприятно изумила его. Онъ сталъ сомнѣваться, трусить. Строго и настоятельно потребовалъ онъ разрыва, но скоро догадался употребить гораздо лучшее средство и повезъ Алешу къ графинѣ. Ея падчерица была почти красавица, почти еще дѣвочка, но съ рѣдкимъ сердцемъ, съ ясной, непорочной душой, весела, умна, нѣжна. Князь рассчиталъ, что все-таки полгода должны были взять свое, что Наташа уже не имѣла для его сына прелести новизны и что теперь онъ уже не такими глазами будетъ смотрѣть на будущую свою невѣсту, какъ полгода назадъ. Онъ угадалъ только отчасти... Алеша дѣйствительно увлекся. Прибавлю еще, что отецъ вдругъ сталъ необыкновенно ласковъ къ сыну (хотя все-таки не давалъ ему денегъ). Алеша чувствовалъ, что подъ этой лаской скрывается непреклонное, неизмѣнное рѣшеніе, и тосковалъ,—не такъ,

впрочемъ, какъ бы онъ тосковалъ, если бъ не видалъ ежедневно Катерины Федоровны. Я зналъ, что онъ уже пятый день не показывался къ Наташѣ. Идя къ ней отъ Ихменевыхъ, я тревожно угадывалъ, что бы такое она хотѣла сказать мнѣ? Еще издали я различилъ свѣтъ въ ея окнѣ. Между нами уже давно было условлено, чтобъ она ставила свѣчку на окно, если ей очень и непременно надо меня видѣть, такъ что если мнѣ случалось проходить близко (а это случалось почти каждый вечеръ), то я все-таки, по необыкновенному свѣту въ окнѣ, могъ догадаться, что меня ждутъ и что я ей нуженъ. Въ послѣднее время она часто выставляла свѣчу...

ГЛАВА XV.

Я засталъ Наташу одну. Она тихо ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, сложа руки на груди, въ глубокой задумчивости. Потухающій самоваръ стоялъ на столѣ и уже давно ожидалъ меня. Молча и съ улыбкою протянула она мнѣ руку. Лицо ея было блѣдно, съ болѣзненнымъ выраженіемъ. Въ улыбкѣ ея было что-то страдальческое, нѣжное, терпѣливое. Голубые, ясные глаза ея стали какъ будто больше, чѣмъ прежде, волосы какъ будто гуще, — все это такъ казалось отъ худобы и болѣзни.

— А я думала, ты ужъ не придешь, сказала она, подавая мнѣ руку, — хотѣла даже Мавру послать къ тебѣ узнать; думала, не заболѣлъ-ли опять?

— Нѣтъ, не заболѣлъ, меня задержали, сейчасъ разскажу. Но что съ тобой, Наташа? Что случилось?

— Ничего не случилось! отвѣчала она, какъ бы удивленная. — А что?

— Да ты писала... вчера написала, чтобъ пришелъ, да еще назначила часъ, чтобъ не раньше, не позже; это какъ-то не по-обыкновенному.

— Ахъ, да! Это я *его* вчера ждала.

— Что-жъ онъ, все еще не былъ?

— Нѣтъ. Я и думала: если не придетъ, такъ съ тобой надо будетъ переговорить, прибавила она, помолчавъ.

— А сегодня вечеромъ ожидала его?

— Нѣтъ, не ждала: онъ вечеромъ *тамъ*.

— Что же ты думаешь, Наташа, онъ ужъ совсѣмъ никогда не придетъ?

— Разумѣется, придетъ, отвѣчала она, какъ-то особенно серьезно взглянувъ на меня.

Ей не нравилась скорость моихъ вопросовъ. Мы замолчали, продолжая ходить по комнатѣ.

— Я все тебя ждала, Ваня, начала она вновь съ улыбкой, — и знаешь, что дѣлала? Ходила здѣсь взадъ и впередъ и стихи наизусть читала. Помнишь: колокольчикъ, зимняя дорога: „Самоваръ мой кипить на дубовомъ столѣ“... мы еще вмѣстѣ читали:

Улеглася метелица; путь озаренъ,
Ночь глядитъ милліонами тусклыхъ очей...

.

— И потомъ:

То вдругъ слышится мнѣ—страстный голосъ поеть,
Съ колокольчикомъ дружно звеня:
„Ахъ, когда-то, когда-то мой милый придетъ,
Отдохнуть на груди у меня!
У меня-ли не жизнь! Чуть заря на стеклѣ
Начинаетъ лучами съ морозомъ играть,
Самоваръ мой кипить на дубовомъ столѣ,
И трещить моя печь, озаряя въ углѣ
За цвѣтной занавѣской кровать...“

— Какъ это хорошо! Какіе это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая, раздающаяся картина! Канва одна и только намѣченъ узоръ—вышивай, что хочешь! Два ощущенія: прежнее и послѣднее. Этотъ самоваръ, этотъ ситцевый занавѣсъ — такъ это все родное... Это какъ въ мѣщанскихъ домикахъ въ уѣздномъ нашемъ городкѣ; я и домъ этотъ какъ будто вижу: новый, изъ бревень, еще досками не обшитый... А потомъ другая картина:

То вдругъ слышится мнѣ—тотъ же голосъ поеть,
Съ колокольчикомъ грустно звеня:
„Гдѣ-то старый мой другъ? Я боюсь, онъ войдетъ
И, ласкаясь, обвинитъ меня!
Что за жизнь у меня! И тѣсна, и темна,
И скучна моя горница; дуетъ въ окно...
За окошкомъ растеть только вишня одна,
Да и та за промерзлымъ стекломъ не видна,
И, быть-можетъ, погибла давно.
Что за жизнь! Полиная пестрый пологъ цвѣтъ;
Я больная брожу и не ѣду къ роднымъ,
Побранить меня некому—много вѣтъ..
Лишь старуха ворчить...“

— „Я больная брожу...“—эта „больная“ какъ тутъ хорошо поставлено! „Побранить меня некому“—сколько нѣжности, нѣги въ этомъ стихѣ и мученій отъ воспоминаній,

да еще мученій, которыя самъ вызвалъ, да и лѣбуешься ими... Господи, какъ это хорошо! Какъ это бываетъ!

Она замолчала, какъ будто подавляя начинавшуюся горловую спазму.

— Голубчикъ мой, Ваня! сказала она мнѣ черезъ минуту, и вдругъ опять замолчала, какъ будто сама забыла, что хотѣла сказать, или сказала такъ, безъ мысли, отъ какого-то внезапнаго ощущенія.

Между тѣмъ мы все прохаживались по комнатѣ. Передъ образомъ горѣла лампадка. Въ послѣднее время Наташа становилась все набожнѣе и набожнѣе и не любила, когда объ этомъ съ ней заговаривали.

— Что, завтра праздникъ? спросилъ я. — У тебя лампадка горитъ.

— Нѣтъ, не праздникъ... да что-жъ, Ваня, садись, должно-быть, усталъ. Хочешь чаю? Вѣдь ты еще не пилъ?

— Сядемъ, Наташа. Чай я пилъ.

— Да ты откуда теперь?

— Отъ нихъ.

Мы съ ней всегда такъ называли родной домъ.

— Отъ нихъ? Какъ ты успѣлъ? Самъ зашелъ? Звали?..

Она засыпала меня вопросами. Лицо ея сдѣлалось еще блѣднѣе отъ волненія. Я рассказалъ ей подробно мою встрѣчу со старикомъ, разговоръ съ матерью, сцену съ медальономъ, — рассказалъ подробно и со всѣми отгѣнками. Я никогда ничего не скрывалъ отъ нея. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ея глазахъ. Сцена съ медальономъ сильно ее взволновала.

— Постой, постой, Ваня, говори подробнѣе, все, все, какъ можно подробнѣе; ты не такъ подробно рассказываешь!..

Я повторилъ второй и третій разъ, поминутно отвѣчая на ея непрерывные вопросы о подробностяхъ.

— И ты въ самомъ дѣлѣ думаешь, что онъ ходилъ ко мнѣ?

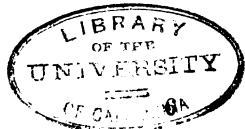
— Не знаю, Наташа, и мнѣнія даже составить не могу. Что онъ груститъ о тебѣ и любить тебя—это ясно; но, что онъ ходилъ къ тебѣ, это... это...

— И онъ цѣловалъ медальонъ? перебила она. — Что онъ говорилъ, когда цѣловалъ?

— Безсвязно, одни восклицанія; называлъ тебя самыми вѣжными именами, звалъ тебя...

— Звалъ?

— Да.



Она тихо заплакала.

— Бѣдныя! сказала она.—А если онъ все знаетъ, прибавила она послѣ нѣкотораго молчанія,—такъ это не мудрено. Онъ и объ отцѣ Алеши имѣетъ большія извѣстія.

— Наташа, сказалъ я робко,—пойдемъ къ нимъ!..

— Когда? спросила она, поблѣднѣвъ и чуть-чуть вставъ съ кресель.

Она думала, что я зову ее сейчасъ.

— Нѣтъ, Ваня, прибавила она, положивъ мнѣ обѣ руки на плечи и грустно улыбаясь,—нѣтъ, голубчикъ; это всегдашній твой разговоръ, но... не говори лучше объ этомъ.

— Такъ неужели-жъ никогда, никогда не кончится этотъ ужасный раздоръ? вскричала я грустно.—Неужели-жъ ты до того горда, что не хочешь сдѣлать первый шагъ. Онъ за тобою; ты должна его первая сдѣлать. Можетъ-быть, отецъ только того и ждетъ, чтобъ простить тебя... Онъ отецъ; онъ обиженъ тобою! Уважь его гордость; она законна, она естественна! Ты должна это сдѣлать. Попробуй, и онъ проститъ тебя безъ всякихъ условій.

— Безъ условій! Это невозможно; и не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я объ этомъ дни и ночи думала и думаю. Послѣ того, какъ я ихъ покинула, можетъ-быть, не было дня, чтобъ я объ этомъ не думала. Да и сколько разъ мы съ тобой же объ этомъ говорили! Вѣдь ты знаешь самъ, что это невозможно!

— Попробуй!

— Нѣтъ, другъ мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его противъ себя. Безвозвратнаго не воротишь, и, знаешь, чего именно тутъ воротить нельзя? Не воротишь этихъ дѣтскихъ, счастливыхъ дней, которые я прожила вмѣстѣ съ ними. Если-бъ отецъ и простилъ, то все-таки онъ бы не узналъ меня теперь. Онъ любилъ еще дѣвочку, большого ребенка. Онъ любовался моимъ дѣтскимъ простодушіемъ; лаская, онъ еще гладилъ меня по головкѣ, такъ же, какъ когда я была еще семилѣтней дѣвочкой и, сидя у него на колѣняхъ, пѣла ему мои дѣтскія пѣсенки. Съ перваго дѣтства моего до самаго послѣдняго дня, онъ приходилъ къ моей кровати и вѣстилъ меня на ночь. За мѣсяцъ до нашего несчастья онъ купилъ мнѣ серьги, тихонько отъ меня (а я все узнала), и радовался, какъ ребенокъ, воображая, какъ я буду рада подарку, и ужасно разсердился на всѣхъ и на меня первую, когда узналъ отъ меня же, что мнѣ давно уже из-

вѣстно о покупкѣ серегъ. За три дня до моего ухода, онъ примѣтилъ, что я грустна, тотчасъ же и самъ загрустилъ до болѣзни и, — какъ ты думаешь? — чтобъ развеселить меня, онъ придумалъ взять билетъ въ театръ!.. Ей-Богу, онъ хотѣлъ этимъ излѣчить меня! Повторяю тебѣ, онъ зналъ и любилъ дѣвочку и не хотѣлъ и думать о томъ, что я когда-нибудь тоже стану женщиной... Ему это и въ голову не приходило. Теперь же, если-бъ я воротилась домой, онъ бы меня и не узналъ. Если онъ и простить, то кого же встрѣтитъ теперь? Я ужъ не та, ужъ не ребенокъ, я много прожила. Если я и угрожу ему — онъ все-таки будетъ вздыхать о прошедшемъ счастья, тосковать, что я совсѣмъ не та, какъ прежде, когда еще онъ любилъ меня ребенкомъ; а старое всегда лучше кажется! Съ мученіями вспоминается! О, какъ хорошо прошедшее, Ваня! вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этимъ восклицаніемъ, съ болью вырвавшимся изъ ея сердца.

— Это все правда, сказалъ я, — что ты говоришь, Наташа. Значить, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное — узнать. Что-жъ! Онъ и полюбить тебя. Неужели-жъ ты думаешь, что онъ не въ состояніи узнать и понять тебя, онъ, онъ, такое сердце!

— Охъ, Ваня, не будь несправедливъ! И что особеннаго во мнѣ понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще: отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что безъ него все это началось и разрѣшилось съ Алешей, а онъ не зналъ, проглядѣлъ. Онъ знаетъ, что и не предчувствовалъ этого, и несчастныя послѣдствія нашей любви, мой побѣгъ приписываетъ именно моей „неблагодарной“ скрытности. Я не пришла къ нему съ самаго начала, я не каялась потомъ передъ нимъ въ каждомъ движеніи моего сердца, съ самаго начала моей любви; напротивъ, я затаила все въ себѣ, я пряталась отъ него и, увѣряя тебя, Ваня, втайнѣ ему это еще обиднѣе, оскорбительнѣе, чѣмъ самыя послѣдствія любви, — то, что я ушла отъ нихъ и вся отдалась моему любовнику. Положимъ, онъ встрѣтилъ бы меня теперь какъ отецъ, горячо и ласково, но сѣмя вражды останется. На второй, на третій день начнутся огорченія, недоумѣнія, попреки. Къ тому же, онъ не проститъ безъ условій. Я, положимъ, скажу, и скажу правду изъ глубины сердца, что понимаю, какъ его оскорбила, до какой степени передъ нимъ виновата. И хоть мнѣ и больно будетъ, если онъ не захочетъ

понять, чего мнѣ самой стѣло все это счастье съ Алешей, какія я сама страданія перенесла, но я подавлю свою боль, все перенесу, — но ему и этого будетъ мало. Онъ потребуеть отъ меня невозможнаго вознагражденія: онъ потребуеть, чтобъ я прокляла мое прошедшее, прокляла Алешу и раскаялась въ моей любви къ нему. Онъ захочетъ невозможнаго — воротить прошедшее и вычеркнуть изъ нашей жизни послѣдніе полгода. Но я не проклянута никого, я не могу раскаяться... Ужъ такъ оно пришлось, такъ случилось... Нѣтъ, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло.

— Когда же придетъ время?

— Не знаю... Надо какъ-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье; купить его какими-нибудь новыми муками. Страданіемъ все очищается... Охъ, Ваня, сколько въ жизни боли!

Я замолчалъ и задумчиво смотрѣлъ на нее.

— Чтò ты такъ смотришь на меня, Алеша, то бишь — Ваня? проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибкѣ.

— Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Гдѣ ты взяла ее? У тебя прежде не было такой.

— А чтò же въ моей улыбкѣ?

— Препрежнее дѣтское простодушіе, правда, въ ней еще есть... Но когда ты улыбаешься, точно въ то же время у тебя какъ-нибудь сильно заболитъ на сердцѣ. Вотъ ты похудѣла, Наташа, а волосы твои стали какъ будто гуще... Чтò это у тебя за платье? Это еще у нихъ было сдѣлано?

— Какъ ты меня любишь, Ваня, отвѣчала она, ласково взглянувъ на меня. — Ну, а ты, чтò ты теперь дѣлаешь? Какъ твои-то дѣла?

— Не измѣнились, все романъ пишу; да тяжело, не дается. Вдохновеніе выдохлось. Съ плеча-то и можно бы написать, пожалуй, и занимательно бы вышло, да хорошую идею жаль портить. Эта изъ любимыхъ. А къ сроку непременно надо въ журналъ. Я даже думаю бросить романъ и придумать повѣсть поскорѣе, такъ, что-нибудь легонькое и граціозное и отнюдь безъ мрачнаго направленія... Это ужъ отнюдь... Всѣ должны веселиться и радоваться!..

— Бѣдный ты труженикъ! А чтò Смитъ?

— Да Смитъ умеръ.

— Не приходилъ къ тебѣ? Я серьезно говорю тебѣ, Ваня, ты боленъ, у тебя нервы разстроены, такія все мечты. Когда ты мнѣ рассказывалъ про наемъ этой квар-

тиры, я все это въ тебѣ замѣтила. Чтò, квартира сыра, не хороша?

— Да! У меня еще случилась исторія, сегодня вечеромъ... Впрочемъ, я потомъ расскажу.

Она меня уже не слушала и сидѣла въ глубокой задумчивости.

— Не понимаю, какъ я могла уйти тогда отъ *нихъ*; я въ горячкѣ была, проговорила она, наконецъ, смотря на меня такимъ взглядомъ, которымъ не ждала отвѣта.

Заговори я съ ней въ эту минуту, она бы не слыхала меня.

— Ваня, сказала она чуть слышнымъ голосомъ,—я просила тебя къ себѣ за дѣломъ.

— Чтò такое?

— Я расстаюсь съ нимъ.

— Разсталась или расстаешься?

— Надо кончить съ этою жизнью. Я и звала тебя, чтобъ выразить все, все, чтò накопилось теперь и чтò я скрывала отъ тебя до сихъ поръ.

Она всегда такъ начинала со мной, повѣряя мнѣ свои тайныя намѣренія, и всегда почти выходило, что всѣ эти тайны я давно уже зналъ отъ нея же.

— Ахъ, Наташа, я тысячу разъ это отъ тебя слышалъ! Конечно, вамъ жить вмѣстѣ нельзя, ваша связь какая-то странная, между вами нѣтъ ничего общаго. Но... достанетъ-ли силъ у тебя?

— Прежде были только намѣренія, Ваня, теперь же я рѣшилась совсѣмъ. Я люблю его безконечно, а, между тѣмъ, выходитъ, что я ему первый врагъ; я люблю его будущность. Надо освободить его. Жениться онъ на мнѣ не можетъ; онъ не въ силахъ пойти противъ отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что онъ влюбился въ невѣсту, которую ему сватаютъ. Ему легче будетъ разстаться со мной. Я это должна! Это долгъ... Если я люблю его, то должна всѣмъ для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долгъ! Не правда-ли?

— Но вѣдь ты не уговоришь его.

— Я и не буду уговаривать. Я буду съ нимъ попрежнему, войди онъ хоть сейчасъ. Но я должна пріискать средство, чтобъ ему было легко оставить меня безъ угрызений совѣсти. Вотъ чтò меня мучить, Ваня. Помоги. Не присовѣтуешь-ли чего-нибудь?

— Такое средство одно, сказалъ я,—разлюбить его со-

всѣмъ и полюбить другого. Но врядъ-ли это будетъ средствомъ. Вѣдь ты знаешь его характеръ? Вотъ онъ къ тебѣ пять дней не ѣздитъ. Предположи, что онъ совсѣмъ оставилъ тебя; тебѣ стѣитъ только написать ему, что ты сама его оставляешь, и онъ тотчасъ же прибѣжитъ къ тебѣ.

— За что ты его не любишь, Ваня?

— Я?

— Да, ты, ты! Ты ему врагъ, тайный и явный! Ты не можешь говорить о немъ безъ мщенія. Я тысячу разъ замѣчала, что тебѣ первое удовольствіе унижать и чернить его! Именно чернить, я правду говорю!

— И тысячу разъ уже говорила мнѣ это. Довольно, Наташа, оставимъ этотъ разговоръ.

— Я бы хотѣла переѣхать на другую квартиру, заговорила она опять послѣ нѣкотораго молчанія.— Да ты не сердись, Ваня...

— Что-жъ, онъ придетъ и на другую квартиру, а я ей-Богу не сержусь.

— Любовь сильна, новая любовь можетъ удержать его. Если и воротится ко мнѣ, такъ только развѣ на минуту, какъ ты думаешь?

— Не знаю, Наташа, въ немъ все въ высшей степени ни съ чѣмъ несообразно, онъ хочетъ и на той жениться, и тебя любить. Онъ какъ-то можетъ все это вмѣстѣ дѣлать.

— Если бъ я знала навѣрно, что онъ любитъ ее, я бы рѣшилась... Ваня! Не таи отъ меня ничего! Знаешь ты что-нибудь, чего мнѣ не хочешь сказать, или нѣтъ?

Она смотрѣла на меня безпокойнымъ, выштывающимъ взглядомъ.

— Ничего не знаю, другъ мой, даю тебѣ честное слово: съ тобой я былъ всегда откровененъ. Впрочемъ, я вотъ что еще думаю: можетъ-быть, онъ вовсе не влюбленъ въ падчерицу графини такъ сильно, какъ мы думаемъ. Такъ, увлеченіе...

— Ты думаешь, Ваня? Боже, если бъ я это знала навѣрное! О, какъ бы я желала его видѣть въ эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала! И нѣтъ его! Нѣтъ его!

— Да развѣ ты ждешь его, Наташа?

— Нѣтъ, онъ у ней; я знаю; я послала узнавать. Какъ бы я желала взглянуть и на нее... Послушай, Ваня, я скажу вздоръ, но неужели-жъ мнѣ никакъ нельзя ее увидѣть, нигдѣ нельзя съ нею встрѣтиться? Какъ ты думаешь?

Она съ безпокойствомъ ожидала, что̀ я скажу.

— Увидать еще можно. Но вѣдь только увидать—мало.

— Довольно бы того хоть увидать, а тамъ я бы и сама угадала. Послушай: я вѣдь такъ глупа стала; хожу-хожу здѣсь, все одна, все одна, — все думаю; мысли какъ какой-то вихрь, такъ тяжело! Я и выдумала, Ваня: нельзя-ли тебѣ съ ней познакомиться? Вѣдь графиня (тогда ты самъ рассказывалъ) хвалила твой романъ; ты вѣдь ходишь иногда на вечера къ князю Р***; она тамъ бываетъ. Сдѣлай, чтобъ тебя ей тамъ представили. А то, пожалуй, и Алеша могъ бы тебя съ ней познакомить. Вотъ ты бы мнѣ все и рассказалъ про нее.

— Наташа, другъ мой, объ этомъ послѣ. А вотъ что: неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанетъ силъ на разлуку? Посмотри теперь на себя, неужели ты покойна?

— До-ста-нетъ! отвѣчала она чуть слышно. — Все для него. Вся жизнь моя для него. Но, знаешь, Ваня, не могу я перенести, что онъ теперь у нея, обо мнѣ позабылъ, сидитъ возлѣ нея, рассказываетъ, смѣется, помнишь, какъ здѣсь, бывало, сидѣлъ... Смотритъ ей прямо въ глаза; онъ всегда такъ смотритъ, — и въ мысль ему не приходитъ теперь, что я вотъ здѣсь.. съ тобой.

Она не докончила и съ отчаяніемъ взглянула на меня.

— Какъ же ты, Наташа, еще сейчасъ, только сейчасъ говорила...

— Пусть мы вмѣстѣ, всѣ вмѣстѣ разстанемся! перебила она со сверкающимъ взглядомъ.—Я сама его благословлю на это... Но тяжело, Ваня, когда онъ самъ, первый, забудетъ меня! Ахъ, Ваня, какая это мѣка! Я сама не понимаю себя: умомъ выходитъ такъ, а на дѣлѣ не такъ. Что со мною будетъ!

— Полно, полно, Наташа, успокойся!..

— И вотъ уже пять дней, каждый часъ, каждую минуту... Во снѣ-ли, сплю-ли,—все о немъ, о немъ! Знаешь, Ваня, пойдѣмъ туда, проводи меня!

— Полно, Наташа.

— Нѣтъ, пойдѣмъ! Я тебя только и ждала, Ваня! Я уже три дня объ этомъ думаю. Объ этомъ-то дѣлѣ я и писала къ тебѣ... Ты меня долженъ проводить; ты не долженъ отказать мнѣ въ этомъ... Я тебя ждала... три дня... Тамъ сегодня вечеръ... онъ тамъ... пойдѣмъ!

Она была какъ въ бреду. Въ прихожей раздался шумъ; Мавра какъ будто спорила съ кѣмъ-то.

— Стой, Наташа, кто это? спросилъ я. — Слушай!

Она прислушалась съ недовѣрчивою улыбкою и вдругъ страшно поблѣднѣла.

— Боже мой! Кто тамъ? проговорила она чуть слышнымъ голосомъ.

Она хотѣла было удержать меня, но я вышелъ въ прихожую къ Маврѣ. Такъ и есть! Это былъ Алеша. Онъ о чемъ-то спрашивалъ Мавру, та сначала не пускала его.

— Откудова такой явился? говорила она, какъ власть имѣющая. — Что? Гдѣ рыскалъ? Ну, ужъ иди, иди! А меня тебѣ не подмаслить! Ступай-ка; что-то отвѣтишь!

— Я никого не боюсь! Я войду! говорилъ Алеша, немного, впрочемъ, сконфузившись.

— Ну, ступай! Пряткокъ ты больно!

— И пойду! А! И вы здѣсь! сказалъ онъ, увидѣвъ меня, — какъ это хорошо, что и вы здѣсь! Ну, вотъ и я; видите; какъ же мнѣ теперь...

— Да просто войдите, отвѣчалъ я, — чего вы боитесь?

— Я ничего не боюсь, увѣряю васъ, потому что я ей-Богу не виноватъ. Вы думаете, я виноватъ? Вотъ увидите, я сейчасъ оправдаюсь. Наташа, можно къ тебѣ? вскрикнулъ онъ съ какою-то выдѣланною смѣлостью, оставаясь передъ затворенною дверью.

Никто не отвѣчалъ.

— Что-жъ это? спросилъ онъ съ безпокойствомъ.

— Ничего, она сейчасъ тамъ была, отвѣчалъ я, — развѣ что-нибудь...

Алеша осторожно открылъ дверь и робко обинулъ глазами комнату. Никого не было.

Вдругъ онъ увидалъ ее въ углу, между шкапомъ и окномъ. Она стояла тамъ, какъ будто спрятавшись, ни жива, ни мертва. Какъ вспомню объ этомъ, до сихъ поръ не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошелъ къ ней.

— Наташа, чтò ты? Здравствуй, Наташа, робко проговорилъ онъ, съ какимъ-то испугомъ смотря на нее.

— Ну, что-жъ, ну... ничего!.. отвѣчала она въ ужасномъ смущеніи, какъ будто она же и была виновата. — Ты... хочешь чаю?

— Наташа, послушай... говорилъ Алеша, совершенно потерявшись. — Ты, можетъ-быть, увѣрена, что я виноватъ... Но я не виноватъ, я нисколько не виноватъ! Вотъ видишь-ли, я тебѣ сейчасъ расскажу.

— Да зачѣмъ же это? прошептала Наташа.— Нѣтъ, нѣтъ, не надо... лучше дай руку и... кончено... какъ всегда...

И она вышла изъ угла; румянецъ сталъ показываться на щекахъ ея. Она смотрѣла внизъ, какъ будто боясь взглянуть на Алешу.

— О, Боже мой! вскрикнулъ онъ въ восторгѣ,—если бы только былъ виноватъ, я бы не смѣлъ, кажется, и взглянуть на нее послѣ этого! Посмотрите, посмотрите! кричалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,—вотъ: она считаетъ меня виноватымъ; все противъ меня, всё видимости противъ меня! Я пять дней не ѣзжу! Есть слухи, что я у невѣсты — и что-жъ? Она ужъ прощаетъ меня! Она ужъ говоритъ: „дай руку и кончено!“ Наташа, голубчикъ мой, ангелъ мой! Я не виноватъ, и ты знай это! Я не виноватъ ни на столечко! Напротивъ! Напротивъ!

— Но... Но вѣдь ты теперь тамъ... Тебя теперь туда звали... Какъ же ты здѣсь? Ко... который часъ?

— Половина одиннадцатаго! Я и былъ тамъ... Но я сказался больнымъ и уѣхалъ и—это первый, первый разъ въ эти пять дней, что я свободенъ, что я былъ въ состояніи урваться отъ нихъ и пріѣхать къ тебѣ, Наташа. То-есть я могъ и прежде пріѣхать, но я нарочно не ѣхалъ! А почему? Ты сейчасъ узнаешь, объясню: я затѣмъ и пріѣхалъ, чтобъ объяснить; только ей-Богу въ этотъ разъ я ни въ чемъ передъ тобой не виноватъ, ни въ чемъ! Ни въ чемъ!

Наташа подняла голову и взглянула на него... Но отвѣтныи взглядъ его сіялъ такою правдивостью, лицо его было такъ радостно, такъ честно, такъ весело, что не было возможности ему не повѣрить. Я думалъ, они вскрикнутъ и бросятся другъ другу въ объятія, какъ это уже нѣсколько разъ прежде бывало при подобныхъ же примиреніяхъ. Но Наташа, какъ будто подавленная счастьемъ, опустила на грудь голову и вдругъ... тихо заплакала... Тутъ ужъ Алеша не могъ выдержать. Онъ бросился къ ногамъ ея. Онъ цѣловалъ ея руки, ноги; онъ былъ какъ въ изступленіи. Я придвинулъ ей кресла. Она сѣла. Ноги ея подвешивались.

Часть вторая.

ГЛАВА I.

Черезъ минуту мы всѣ смѣялись, какъ полоумные.

— Да дайте же, дайте же мнѣ разсказать, покрываль насъ всѣхъ Алеша своимъ звонкимъ голосомъ.— Они думаютъ, что все это какъ и прежде... что я съ пустяками пріѣхалъ... Я вамъ говорю, что у меня самое интересное дѣло. Да замолчите-ли вы когда-нибудь!

Ему чрезвычайно хотѣлось разсказать. По виду его можно было судить, что у него важныя новости. Но его приготовленная важность отъ наивной гордости владѣть такими новостями тотчасъ же размѣшила Наташу. Я невольно засмѣялся вслѣдъ за ней. И чѣмъ больше онъ сердился на насъ, тѣмъ больше мы смѣялись. Досада и потомъ дѣтское отчаяніе Алеша довели, наконецъ, насъ до той степени, когда стѣить только показать пальчикъ, какъ гоголевскому мичману, чтобъ тотчасъ же и покаяться со смѣху. Мавра, вышедшая изъ кухни, стояла въ дверяхъ и съ серьезнымъ негодованіемъ смотрѣла на насъ, досадуя, что не досталось Алешѣ хорошей головной мышки отъ Наташи, какъ ожидала она съ наслажденіемъ всѣ эти пять дней, и что вмѣсто того всѣ такъ веселы.

Наконецъ, Наташа, видя, что нашъ смѣхъ обижаетъ Алешу, перестала смѣяться.

— Чтò же ты хочешь разсказывать? спросила она.

— А что, наставить что-ль самоваръ? спросила Мавра, безъ малѣйшаго уваженія перебивая Алешу.

— Ступай, Мавра, ступай, отвѣчалъ онъ, махая на нее

руками и торопясь прогнать ее.—Я буду рассказывать все что было, все что есть и все что будетъ, потому что я все это знаю. Вижу, друзья мои, вы хотите знать, гдѣ я былъ эти пять дней, — это-то я и хочу рассказать, а вы мнѣ не даете. Ну, и во-первыхъ, я тебя все время обманывалъ, Наташа, все это время, давнымъ-давно ужъ обманывалъ и это-то и есть самое главное.

— Обманывалъ?

— Да, обманывалъ, уже цѣлый мѣсяцъ; еще до пріѣзда отца началъ; теперь пришло время полной откровенности. Мѣсяцъ тому назадъ, когда еще отецъ не пріѣхалъ, я вдругъ получилъ отъ него огромнѣйшее письмо и скрылъ это отъ васъ обоихъ. Въ письмѣ онъ прямо и просто, — и, замѣтите себѣ, такимъ серьезнымъ тономъ, что я даже испугался, — объявлялъ мнѣ, что дѣло о моемъ сватовствѣ уже кончилось, что невѣста моя совершенство; что я, разумѣется, ея не стою, но что все-таки непременно долженъ на ней жениться. И потому, чтобъ приготовлялся, чтобъ выбить изъ головы всѣ мои вздоры и такъ далѣе, и такъ далѣе, — ну, ужъ извѣстно, какіе это вздоры. Вотъ это-то письмо я отъ васъ и утаилъ.

— Совсѣмъ не утаилъ! перебила Наташа, — вотъ чѣмъ хвалится! А выходитъ, что все тотчасъ же намъ рассказать. Я еще помню, какъ ты вдругъ сдѣлался такой послушный, такой нѣжный и не отходилъ отъ меня, точно провинился въ чемъ-нибудь, и все письмо намъ по отрывкамъ и рассказать.

— Не можетъ быть, главнаго навѣрно не рассказать. Можетъ-быть, вы оба угадали что-нибудь, это уже ваше дѣло, а я не рассказывалъ. Я скрылъ и ужасно страдалъ.

— Я помню, Алеша, вы со мной тогда поминутно совѣтовались и все мнѣ рассказали, отрывками, разумѣется, въ видѣ предположеній, прибавилъ я, смотря на Наташу.

— Все рассказалъ! Ужъ не хвастайся, пожалуйста, подхватила она. — Ну, что ты можешь скрыть? Ну, тебѣ-ли быть обманщикомъ? Даже Мавра все узнала. Знала ты, Мавра?

— Ну, какъ не знать! отозвалась Мавра, просунувъ къ намъ свою голову. — Все въ три же первые дня рассказать. Не тебѣ бы хитрить!

— Фу, какая досада съ вами разговаривать! Ты все это изъ злости дѣлаешь, Наташа! А ты, Мавра, тоже ошибаешься. Я, помню, былъ тогда какъ сумасшедшій; помнишь, Мавра?

— Какъ не помнить. Ты и теперь какъ сумасшедшій.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не про то говорю. Помнишь! Тогда еще у насъ денегъ не было и ты ходила мою сигарочницу серебряную закладывать; а, главное, позволь тебѣ замѣтить, Мавра, ты ужасно передо мной забываешься. Это все тебя Наташа приучила. Ну, положимъ, я дѣйствительно все вамъ рассказалъ тогда же, отрывками (я это теперь припоминаю). Но тона, тона письма вы не знаете, а вѣдь въ письмѣ главное тонъ. Про это я и говорю.

— Ну, а какой же тонъ? спросила Наташа.

— Послушай, Наташа, ты спрашиваешь — точно шутишь. Не шути. Увѣряю тебя, это очень важно. Такой тонъ, что я и руки опустилъ. Никогда отецъ такъ со мной не говорилъ. То-есть скорѣе Лиссабонъ провалится, чѣмъ не сбудется по его желанію; вотъ какой тонъ!

— Ну, ну, рассказывай; зачѣмъ же тебѣ надо было скрывать отъ меня?

— Ахъ, Боже мой! Да чтобъ тебя не испугать. Я надѣялся все самъ уладить. Ну, такъ вотъ, послѣ этого письма, какъ только отецъ пріѣхалъ, пошли мои мѣки. Я приготовился ему отвѣчать твердо, ясно, серьезно, да все какъ-то не удавалось. А онъ даже и не спрашивалъ; хитрецъ! Напротивъ, показывалъ такой видъ, какъ будто уже все дѣло рѣшено и между нами уже не можетъ быть никакого спора и недоумѣнія. Слышишь, *не можетъ быть* даже; такая самонадѣянность! Со мной же сталъ такой ласковый, такой милый. Я просто удивлялся. Какъ онъ уменъ, Иванъ Петровичъ, если бъ вы знали! Онъ все читалъ, все знаетъ, вы на него только одинъ разъ посмотрите, а ужъ онъ всѣ ваши мысли какъ свои знаетъ. Вотъ за это-то вѣрно и прозвали его иезуитомъ. Наташа не любитъ, когда я его хвалю. Ты не сердись, Наташа. Ну, такъ вотъ..., а кстати! Онъ мнѣ денегъ сначала не давалъ, а теперь далъ, вчера. Наташа! Ангель мой! Кончилась теперь наша бѣдность! Вотъ, смотри! Все, что уменьшилъ мнѣ въ наказаніе за всѣ эти полгода, все вчера добавилъ; смотрите сколько; я еще не сосчиталъ. Мавра, смотри, сколько денегъ! Теперь ужъ не будемъ ложки да запонки закладывать!

Онъ вынулъ изъ кармана довольно толстую пачку денегъ, тысячи полторы серебромъ, и положилъ на столъ. Мавра съ удивленіемъ на нее посмотрѣла и похвалила Алешу. Наташа сильно торопила его.

— Ну, такъ вотъ — что мнѣ дѣлать, думаю? продолжалъ Алеша.—Ну, какъ противъ него пойти? То-есть, клянусь вамъ обоимъ, будь онъ золь со мной, а не такой добрый, я бы и не думалъ ни о чемъ. Я прямо бы сказалъ ему, что не хочу, что я ужъ самъ выросъ и сталъ человѣкомъ и теперь—кончено! И повѣрьте, настоялъ бы на своемъ. А тутъ — что я ему скажу? Но не вините и меня. Я вижу, ты какъ будто недовольна, Наташа. Чего вы оба переглядываетесь? Навѣрно думаете: вотъ ужъ его сейчасъ и оплели и ни капли въ немъ твердости нѣтъ. Есть твердость, есть, и еще больше, чѣмъ вы думаете! А доказательство, что, несмотря на мое положеніе, я тотчасъ же сказалъ себѣ: это мой долгъ; я долженъ все, все высказать отцу, и сталъ говорить, и высказалъ, и онъ меня выслушалъ.

— Да что же, что именно ты высказалъ? съ безпокойствомъ спросила Наташа.

— А то, что я не хочу никакой другой невѣсты, а что у меня есть своя, — это ты. То-есть, я прямо этого еще до сихъ поръ не высказалъ, но я его приготовилъ къ этому, а завтра скажу; такъ ужъ я рѣшилъ. Сначала я сталъ говорить о томъ, что жениться на деньгахъ стыдно и неблагородно, и что намъ считать себя какими-то аристократами — просто глупо (я вѣдь съ нимъ совершенно откровенно, какъ братъ съ братомъ). Потомъ объяснилъ ему тутъ же, что я tiers-état и что tiers-état c'est l'essentiel; что я горжусь тѣмъ, что похожъ на всѣхъ, и не хочу ни отъ кого отличаться... однимъ словомъ, изложилъ ему всѣ эти здравыя идеи... Я говорилъ горячо, увлекательно. Я самъ себѣ удивлялся. Я доказалъ ему, наконецъ, и съ его точки зрѣнія... я прямо сказалъ: какіе мы князья? Только по роду; а въ сущности, что въ насъ княжескаго? Особеннаго богатства, во-первыхъ, нѣтъ, а богатство — главное. Нынче самый главный князь — Ротшильдъ. Во-вторыхъ, въ настоящемъ-то большомъ свѣтѣ о насъ ужъ давно не слыхивали. Послѣдній былъ дядя, Семенъ Валковскій, да и тотъ только въ Москвѣ былъ извѣстенъ; да и то тѣмъ, что послѣднія триста душъ прожилъ, и если бъ отецъ не нажилъ самъ денегъ, то его внуки, можетъ-быть, сами бы землю пахали, какъ и есть такіе князья. Такъ нечего и намъ заноситься. Однимъ словомъ, я все высказалъ, что у меня накипѣло, — все, горячо и откровенно, даже еще прибавилъ кой-что. Онъ

даже и не возражалъ, а просто началъ меня упрекать, что я бросилъ домъ графа Наинскаго, а потомъ сказалъ, что надо подмазаться къ княгинѣ К., моей крестной матери, и что если княгиня К. меня хорошо приметъ, такъ значить и вездѣ примутъ, и карьера сдѣлана, и пошелъ, и пошелъ расписывать! Это все намеки на то, что я, какъ сошелся съ тобой, Наташа, то всѣхъ ихъ бросилъ; что это, стало-быть, твое вліяніе. Но прямо онъ до сихъ поръ не говорилъ про тебя, даже видимо избѣгаетъ. Мы оба хитримъ, выжидаемъ, ловимъ другъ друга, и будь увѣрена, что и на нашей улицѣ будетъ праздникъ.

— Да хорошо ужъ; чѣмъ же кончилось, какъ онъ-то рѣшилъ? Вотъ чтó главное. И какой ты болтунъ, Алеша...

— А Господь его знаетъ, совсѣмъ и не разберешь, какъ онъ рѣшилъ; а я вовсе не болтунъ, я дѣло говорю: онъ даже и не рѣшалъ, а только на всѣ мои разсужденія улыбался, но такой улыбкой, какъ будто ему жалко меня. Я вѣдь понимаю, что это унижительно, да я не стыжусь. Я, говоритъ, совершенно съ тобой согласенъ, а вотъ поѣдемъ-ка къ графу Наинскому, да смотри, тамъ этого ничего не говори. Я-то тебя понимаю, да они-то тебя не поймутъ. Кажется, и его самого они всѣ не совсѣмъ хорошо принимаютъ; за что-то сердятся. Вообще въ свѣтѣ отца теперь что-то не любятъ. Графъ сначала принялъ меня чрезвычайно величаво, совсѣмъ свысока, даже совсѣмъ какъ будто забылъ, что я выросъ въ его домѣ, припоминать началъ, ей-Богу! Онъ просто сердится на меня за неблагодарность, а право, тутъ не было никакой отъ меня неблагодарности; въ его домѣ ужасно скучно,—ну, я и не ѣздилъ. Онъ и отца принялъ ужасно небрежно; такъ небрежно, такъ небрежно, что я даже не понимаю, какъ онъ туда ѣздитъ. Все это меня возмутило. Бѣдный отецъ долженъ передъ нимъ чуть не спину гнуть; я понимаю, что все это для меня, да мнѣ-то ничего не нужно. Я было хотѣлъ потомъ высказать отцу всѣ мои чувства, да удержался. Да и зачѣмъ! Убѣжденій его я не перемѣню, а только его раздосаую, а ему и безъ того тяжело. Ну, думаю, пушусь на хитрости, перехитрю ихъ всѣхъ, поставлю графа уважать себя,—и что-жь? Тотчасъ же всего достигъ, въ какой-нибудь одинъ день все перемѣнилось! Графъ Наинскій не знаетъ теперь, куда меня посадить. И все это я сдѣлалъ, одинъ я, черезъ свою собственную хитрость, такъ что отецъ только руки разставилъ!..

— Послушай, Алеша, ты бы лучше рассказывалъ о дѣлѣ! вскричала нетерпѣливая Наташа.— Я думала, ты что-нибудь про наше расскажешь, а тебѣ только хочется рассказать, какъ ты тамъ отличился у графа Наинскаго. Какое мнѣ дѣло до твоего графа! ✕

— Какое дѣло! Слышите, Иванъ Петровичъ, какое дѣло? Да въ этомъ-то и самое главное дѣло. Вотъ ты увидишь сама; все подъ конецъ объяснится. Только дайте мнѣ рассказать... А наконецъ (почему же не сказать откровенно!) вотъ что, Наташа, да и вы тоже, Иванъ Петровичъ, я, можетъ-быть, дѣйствительно иногда очень, очень неразумителенъ; ну, да положимъ даже (вѣдь иногда и это бывало) просто глупъ. Но тутъ, увѣряю васъ, я выказалъ много хитрости... ну... и, наконецъ, даже ума; такъ что я думалъ, вы сами будете рады, что я не всегда же... нумень.

— Ахъ, что ты, Алеша, полно! Голубчикъ ты мой!

Наташа сносить не могла, когда Алешу считали немнымъ. Сколько разъ, бывало, она дулась на меня, не высказывая на словахъ, если я, не слишкомъ церемонясь, доказывалъ Алешѣ, что онъ сдѣлалъ какую-нибудь глупость; это было больное мѣсто въ ея сердцѣ. Она не могла снести униженія Алешы и, вѣроятно, тѣмъ болѣе, что про себя сознавалась въ его ограниченности. Но своего мнѣнія отнюдь ему не высказывала и боялась этого, чтобъ не оскорбить его самолюбія. Онъ же въ этихъ случаяхъ былъ какъ-то особенно пронизателенъ и всегда угадывалъ ея тайныя чувства. Наташа это видѣла и очень печалилась, тотчасъ же льстила ему, ласкала его. Вотъ почему теперь слова его больно отозвались въ ея сердцѣ...

— Полно, Алеша, ты только легкомысленъ, а ты вовсе не такой, прибавила она,— съ чего ты себя унижаешь?

— Ну, и хорошо; ну, такъ вотъ и дайте же мнѣ до-сказать. Послѣ приѣма у графа, отецъ даже разозлился на меня. Думаю, постой! Мы тогда ѣхали къ княгинѣ; я давно уже слышалъ, что она отъ старости почти изъ ума выжила и вдобавокъ глухая и ужасно любить собачонокъ. У ней цѣлая стая и она души въ нихъ не слышитъ. Несмотря на все это, она съ огромнымъ вліяніемъ въ свѣтѣ, такъ что даже графъ Наинскій, le superbe, у ней anti-chambre дѣлаетъ. Вотъ я дорогою и основалъ планъ всѣхъ дальнѣйшихъ дѣйствій, и какъ вы думаете, на чемъ осно-

валь? На томъ, что меня всѣ собаки любятъ, ей-Богу! Я это замѣтилъ. Или во мнѣ магнетизмъ какой-нибудь сидитъ, или потому, что я самъ очень люблю всѣхъ животныхъ, ужъ не знаю, только любятъ собаки, да и только! Кстати о магнетизмѣ, я тебѣ еще не рассказывалъ, Наташа, мы на-дняхъ духовъ вызывали, я былъ у одного вызывателя; это ужасно любопытно, Иванъ Петровичъ; даже поразило меня. Я Юлія Цезаря вызывалъ.

— Ахъ, Боже мой! Ну, зачѣмъ тебѣ Юлія Цезаря? вскричала Наташа, заливаясь смѣхомъ.—Этого не доставало!

— Да почему же... точно я какой-нибудь... Почему-жъ я не имѣю права вызвать Юлія Цезаря? Что ему сдѣлается? Вотъ, смѣется!

— Да ничего, конечно, не сдѣлается... ахъ, голубчикъ ты мой! Ну, что-жъ тебѣ сказалъ Юлій Цезарь?

— Да ничего не сказалъ. Я только держалъ карандашъ, а карандашъ самъ ходилъ по бумагѣ и писалъ. Это, говорятъ, Юлій Цезарь пишетъ. Я этому не вѣрю.

— Да что-жъ написалъ-то?

— Да написалъ что-то въ родѣ „обмокни“, какъ у Голя... да полно смѣяться!

— Да рассказывай про княгиню-то!

— Ну, да вотъ вы все меня перебиваете. Приѣхали мы къ княгинѣ и я началъ съ того, что сталъ куртизанить съ Мими. Эта Мими—старая, гадкая, самая мерзкая собачонка, къ тому же упрямая и кусака. Княгиня безъ ума отъ нея, не надышитъ; она, кажется, ей ровесница. Я началъ съ того, что сталъ Мими конфетами прикармливать и въ какія-нибудь десять минутъ выучилъ подавать лапу, чему во всю жизнь не могли ее выучить. Княгиня пришла просто въ восторгъ; чуть не плачетъ отъ радости: „Мими! Мими! Мими лапку даетъ!“ Приѣхалъ кто-то: „Мими лапку даетъ! Вотъ выучилъ крестникъ!“ Графъ Наинскій вошелъ: „Мими лапку даетъ“. На меня смотритъ чуть не со слезами умиленья. Предобрѣйшая старушка; даже жалко ее. Я не промахъ, тутъ опять ей польстилъ: у ней на табакеркѣ ея собственный портретъ, когда еще она невѣстой была, лѣтъ шестьдесятъ назадъ. Вотъ и урони она табакерку. Я поднимаю, да и говорю, точно не знаю: *Cruelle charmante peinture!* Это идеальная красота! Ну, тутъ она ужъ совсѣмъ растаяла; со мной и о томъ, и о семъ, и гдѣ я учился, и у кого бываю, и какіе у меня славные волосы, и пошла, и пошла. Я тоже

разсмѣшилъ ее, исторію скандалѣзную ей разсказалъ. Она это любитъ: только пальцемъ мнѣ погрозила, а впрочемъ, очень смѣялась. Отпускаетъ меня—цѣлуетъ и крестить, требуетъ, чтобъ каждый день я прѣзжалъ ее развлекать. Графъ мнѣ руку жметъ; глаза у него стали масляные; а отецъ, хоть онъ и добрѣйшій, и честнѣйшій, и благороднѣйшій человекъ, но вѣрьте или не вѣрьте, а чуть не плакалъ отъ радости, когда мы вдвоемъ домой прѣехали; обнималъ меня, въ откровенности пустился, въ какія-то таинственныя откровенности, насчетъ карьеры, связей, денегъ, браковъ, такъ что я многого и не понималъ. Тутъ-то онъ и денегъ мнѣ далъ. Это вчера было. Завтра я опять къ княгинѣ, но отецъ все-таки благороднѣйшій человекъ—не думайте чего-нибудь, и хоть и отдаляетъ меня отъ тебя, Наташа, но это потому, что онъ ослѣпленъ, потому что ему милліоновъ Катиныхъ хочется, а у тебя ихъ нѣтъ; и хочетъ онъ ихъ для одного меня, и только по незнанію несправедливъ къ тебѣ. А какой отецъ не хочетъ счастья своему сыну? Вѣдь онъ не виноватъ, что привыкъ считать въ милліонахъ счастье. Такъ ужъ они всѣ. Вѣдь смотрѣть на него нужно только съ этой точки, не иначе,—вотъ онъ тотчасъ же и выйдетъ правъ. Я нарочно спѣшилъ къ тебѣ, Наташа, увѣрить тебя въ этомъ, потому, я знаю, ты предубѣждена противъ него и, разумѣется, въ этомъ не виновата. Я тебя не виню...

— Такъ только-то и случилось съ тобой, что ты карьеру у княгини сдѣлалъ? Въ этомъ и вся хитрость? спросила Наташа.

— Какое! Чтò ты! Это только начало... я потому разсказалъ про княгиню, что, понимаешь, я черезъ нее отца въ руки возьму, а главная моя исторія еще и не начиналась.

— Ну, такъ рассказывай же!

— Со мной сегодня случилось еще происшествіе и даже очень странное, и я до сихъ поръ еще пораженъ, продолжалъ Алеша.—Надо вамъ замѣтить, что хоть у отца съ графиней и порѣшено наше сватовство, но официально еще до сихъ поръ рѣшительно ничего не было, такъ что мы хоть сейчасъ разойдемся и никакого скандала; одинъ только графъ. Наинскій знаетъ, но вѣдь это считается родственникъ и покровитель. Мало того, хотя я въ эти двѣ недѣли и очень сошелся съ Катей, но до самаго сегодняшняго вечера мы ни слова не говорили съ ней о будущемъ,

то-есть о бракѣ и... ну, и о любви. Кроме того, положено сначала испросить согласіе княгини К., отъ которой ждутъ у насъ всевозможнаго покровительства и золотыхъ дождей. Чтò скажетъ она, то скажетъ и свѣтъ; у ней такіа связи... А меня непременно хотятъ вывести въ свѣтъ и въ люди. Но особенно на всѣхъ этихъ распоряженіяхъ настаиваетъ графиня, мачиха Кати. Дѣло въ томъ, что княгиня, за всѣ ея заграничныя штуки, пожалуй, еще ее и не приметъ, а княгиня не приметъ, такъ и другіе, пожалуй, не примутъ; такъ вотъ и удобный случай—сватовство мое съ Катей. И потому графиня, которая прежде была противъ сватовства, страшно обрадовалась сегодня моему успѣху у княгини, но это въ сторону, а вотъ чтò главное: Катерину Федоровну я зналъ еще съ прошлаго года; но вѣдь я былъ тогда еще мальчикъ и ничего не могъ понимать, а потому ничего и не разглядѣлъ тогда въ ней...

— Просто, ты тогда любилъ меня больше, прервала Наташа,—оттого и не разглядѣлъ, а теперь...

— Ни слова, Наташа! вскричалъ съ жаромъ Алеша.— Ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь!.. Я даже не возражаю тебѣ; выслушай дальше, и ты все увидишь... Охъ, если-бъ ты знала Катю! Если-бъ ты знала, чтò это за нѣжная, ясная, голубиная душа! Но ты узнаешь; только дослушай до конца! Двѣ недѣли тому назадъ, когда, по приѣздѣ ихъ, отецъ повезъ меня къ Катѣ, я сталъ въ нее пристально вглядываться. Я замѣтилъ, что и она въ меня вглядывается. Это завлекло мое любопытство вполне; ужъ я не говорю про то, что у меня было свое особенное намѣреніе узнать ее поближе,—намѣреніе, еще съ того самаго письма отъ отца, которое меня такъ поразило. Не буду ничего говорить, не буду хвалить ее, скажу только одно: она яркое исключеніе изъ всего круга. Это такая своеобразная натура, такая сильная и правдивая душа, сильная именно своей чистотой и правдивостью; что я передъ ней просто мальчикъ, младшій братъ ея, несмотря на то, что ей всего только семнадцать лѣтъ. Одно еще я замѣтилъ: въ ней много грусти, точно тайны какой-то; она неговорлива; въ домѣ почти всегда молчитъ, точно запугана... Она какъ будто что-то обдумываетъ. Отца моего какъ будто боится. Мачиху не любитъ,—я догадался объ этомъ; это сама графиня распускаетъ, для какихъ-то цѣлей, что падчерица ее ужасно любитъ; все это не-

правда. Катя только слушается ея безпрекословно и какъ будто уговорилась съ ней въ этомъ. Четыре дня тому назадъ, послѣ всѣхъ моихъ наблюдений, я рѣшился исполнить мое намѣреніе и сегодня вечеромъ исполнилъ его. Это: разказать все Катѣ, признаться ей во всемъ, склонить ее на нашу сторону и тогда разомъ покончить все дѣло...

— Какъ! Что разказать, въ чемъ признаться? спросила съ безпокойствомъ Наташа.

— Все, рѣшительно все, отвѣчала Алеша, — и благодарю Бога, Который внушилъ мнѣ эту мысль, но слушайте, слушайте! Четыре дня тому назадъ, я рѣшилъ такъ: удалиться отъ васъ и кончить все самому. Если-бъ я былъ съ вами, я бы все колебался, я бы слушалъ васъ и никакъ бы не рѣшился. Одинъ же, поставивъ именно себя въ такое положеніе, что каждую минуту долженъ былъ твердить себѣ, что надо кончить и что я *долженъ* кончить, я собрался съ духомъ, и — кончилъ! Я положилъ воротиться къ вамъ съ рѣшеніемъ, и воротился съ рѣшеніемъ!

— Что же, что же? Какъ было дѣло? Разказывай поскорѣе!

— Очень просто! Я подошелъ къ ней прямо, честно и смѣло... Но, во-первыхъ, я долженъ вамъ разказать одинъ случай передъ этимъ, который ужасно поразилъ меня. Передъ тѣмъ, какъ намъ ѣхать, отецъ получилъ какое-то письмо. Я въ это время входилъ въ его кабинетъ и остановился у двери. Онъ не видалъ меня. Онъ до того былъ пораженъ этимъ письмомъ, что говорилъ самъ съ собою, восклицалъ что-то, внѣ себя ходилъ по комнатѣ и, наконецъ, вдругъ захохоталъ, а въ рукахъ письмо держать. Я даже побоялся войти, переждалъ еще и потомъ пошелъ. Отецъ былъ такъ радъ чему-то, такъ радъ; заговорилъ со мной какъ-то странно; потомъ вдругъ прервалъ и велѣлъ мнѣ тотчасъ же собираться ѣхать, хотя еще было очень рано. У нихъ сегодня никого не было, только мы одни, и ты напрасно думала, Наташа, что тамъ былъ званый вечеръ. Тебѣ не такъ передали.

— Ахъ, не отвлекайся, Алеша, пожалуйста; говори, какъ ты разказалъ все Катѣ?

— Счастье въ томъ, что мы съ ней цѣлыхъ два часа оставались одни. Я просто объявилъ ей, что хоть насъ и хотятъ сосватать, но бракъ нашъ невозможенъ; что въ

сердцѣ моемъ всѣ симпатіи къ ней и что она одна можетъ спасти меня. Тутъ я открылъ ей все. Представь себѣ, она ничего не знала изъ нашей исторіи, про насъ съ тобой, Наташа! Если-бъ ты могла видѣть, какъ она была тронута; сначала даже испугалась. Поблѣднѣла вся. Я рассказалъ ей всю нашу исторію: какъ ты бросила для меня свой домъ, какъ мы жили одни, какъ мы теперь мучаемся, боимся всего, и что теперь мы прибѣгаемъ къ ней (я и отъ твоего имени говорилъ, Наташа), чтобъ она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачихѣ, что не хочетъ идти за меня; что въ этомъ все наше спасеніе и что намъ болѣе нечего ждать ни откуда. Она съ такимъ любопытствомъ слушала, съ такой симпатіей. Какіе у ней были глаза въ ту минуту! Кажется, вся душа ея перешла въ ея взглядъ. У ней совсѣмъ голубые глаза. Она благодарила меня, что я не усомнился въ ней, и дала слово помогать намъ всѣми силами. Потомъ о тебѣ стала спрашивать, говорила, что очень хочетъ познакомиться съ тобой, просила передать, что уже любитъ тебя, какъ сестру, и чтобъ и ты ее любила, какъ сестру; а когда узнала, что я уже пятый день тебя не видалъ, тотчасъ же стала гнать меня къ тебѣ.

Наташа была тронута.

— И ты прежде этого могъ рассказывать о своихъ подвигахъ у какой-то глухой княгини! Ахъ, Алеша, Алеша! воскликнула она, съ упрекомъ на него глядя.— Ну, что-жь Катя? Была рада, весела, когда отпускала тебя?

— Да, она была рада, что удалось ей сдѣлать благородное дѣло, а сама плакала. Потому что она вѣдь тоже любитъ меня, Наташа! Она призналась, что начинала уже любить меня; что она людей не видитъ и что я понравился ей уже давно; она отличила меня особенно потому, что кругомъ все хитрость и ложь, а я показался ей человѣкомъ искреннимъ и честнымъ. Она встала и сказала: „Ну, Богъ съ вами, Алексѣй Петровичъ, а я думала“... Не договорила, заплакала и ушла. Мы рѣшили, что завтра же она и скажетъ мачихѣ, что не хочетъ за меня, и что завтра же и я долженъ все сказать отцу и высказать твердо и смѣло. Она упрекала меня, зачѣмъ я раньше ему не сказалъ: „Честный человѣкъ ничего не долженъ бояться!“ Она такая благородная. Отца моего она тоже не любитъ; говорить, что онъ хитрый и ищетъ денегъ.

Я защищалъ его; она мнѣ не повѣрила. Если же не удастся завтра у отца (а она навѣрное думаетъ, что не удастся), тогда и она соглашается, чтобъ я прибѣгнуть къ покровительству княгини К. Тогда уже никто изъ нихъ не осмѣлится идти противъ. Мы съ ней дали другъ другу слово быть какъ братъ съ сестрой. О, если-бъ ты знала и ея исторію, какъ она несчастна, съ какимъ отвращеніемъ смотритъ на свою жизнь у мачихи, на всю эту обстановку... Она прямо не говорила, точно и меня боялась, но я по нѣкоторымъ словамъ угадалъ, Наташа, голубчикъ мой! Какъ бы залюбовалась она на тебя, если-бъ увидала! И какое у ней сердце доброе! Съ ней такъ легко! Вы обѣ созданы быть одна другой сестрами и должны любить другъ друга. Я все объ этомъ думалъ. И право: я бы свелъ васъ обѣихъ вмѣстѣ, а самъ бы стоялъ возлѣ, да любовался на васъ. Не думай же чего-нибудь, Наташечка, и позволь мнѣ про нее говорить. Мнѣ именно съ тобой хочется про нее говорить, а съ ней про тебя. Ты вѣдь знаешь, что я тебя больше всѣхъ люблю, больше ея... Ты мое все!

Наташа молча смотрѣла на него, ласково и какъ-то грустно. Его слова какъ будто ласкали и какъ будто чѣмъ-то мучили ее.

— И давно, еще двѣ недѣли назадъ, я оцѣнилъ Катю, продолжалъ онъ. — Я вѣдь каждый вечеръ къ нимъ ѣздилъ. Ворочусь, бывало, домой и все думаю, все думаю о васъ обѣихъ, все сравниваю васъ между собою.

— Которая же изъ насъ выходила лучше? спросила, улыбаясь, Наташа.

— Иной разъ ты, другой—она. Но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю съ ней, я всегда чувствую, что самъ лучше становлюсь, умнѣе, благороднѣе какъ-то. Но завтра, завтра все рѣшится!

— И не жаль ея тебѣ? Вѣдь она любитъ тебя; ты говоришь, что самъ это замѣтилъ?

— Жаль, Наташа! Но мы будемъ всѣ трое любить другъ друга, и тогда...

— А тогда и прощай! проговорила тихо Наташа, какъ будто про себя.

Алеша съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на нее.

Но разговоръ нашъ вдругъ былъ прерванъ самымъ неожиданнымъ образомъ. Въ кухнѣ, которая въ то же время была и переднею, послышался легкій шумъ, какъ будто

кто-то вошелъ. Черезъ минуту Мавра отворила дверь и украдкой стала бивать Алешѣ, вызывая его. Всѣ мы оборотились къ ней.

— Тамъ вотъ спрашиваютъ тебя, пожалуй-ка, сказала она какимъ-то таинственнымъ голосомъ.

— Кто меня можетъ теперь спрашивать? проговорилъ Алеша, съ недоумѣніемъ глядя на насъ.—Пойду!

Въ кухнѣ стоялъ ливрейный лакей князя, его отца. Оказалось, что князь, возвращаясь домой, остановилъ свою карету у квартиры Наташи и послалъ узнать, у ней-ли Алеша. Объявивъ это, лакей тотчасъ же вышелъ.

— Странно! Этого еще никогда не было, говорилъ Алеша, въ смущеніи насъ оглядывая.—Что это?

Наташа съ безпокойствомъ смотрѣла на него. Вдругъ Мавра опять отворила къ намъ дверь.

— Самъ идетъ, князь! сказала она ускореннымъ шопотомъ и тотчасъ же спряталась.

Наташа поблѣднѣла и встала съ мѣста. Вдругъ глаза ея загорѣлись. Она стояла, слегка опершись на столъ и въ волненіи смотрѣла на дверь, въ которую долженъ былъ войти незванный гость.

— Наташа, не бойся, ты со мной! Я не позволю обидѣть тебя, прошепталъ смущенный, но не потерявшійся Алеша.

Дверь отворилась и на порогъ явился самъ князь Валковский, своею собственною особою.

ГЛАВА II.

Онъ окинулъ насъ быстрымъ, внимательнымъ взглядомъ. По этому взгляду еще нельзя было угадать: явился онъ врагомъ или другомъ. Но опишу подробно его наружность. Въ этотъ вечеръ онъ особенно поразилъ меня.

Я видѣлъ его и прежде. Это былъ человѣкъ лѣтъ сорока пяти, не больше, съ правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, котораго выраженіе измѣнялось, судя по обстоятельствамъ; но измѣнялось рѣзко, вполне, съ необыкновенною быстротою, переходя отъ самаго пріятнаго до самаго угрюмаго или недовольнаго, какъ будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Правильный овалъ лица, нѣсколько смуглаго, превосходные зубы, маленькія и довольно тонкія губы, красиво обрисованныя, прямой, нѣсколько продолговатый носъ, высокій лобъ, на которомъ еще не видно было ни малѣйшей морщинки,

сѣрые, довольно большіе глаза, — все это составляло почти красавца, а между тѣмъ лицо его не производило пріятнаго впечатлѣнія. Это лицо именно отвращало отъ себя тѣмъ, что выраженіе его было какъ будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слѣпое убѣжденіе зарождалось въ васъ, что вы никогда и не добьетесь до настоящаго его выраженія. Вглядываясь пристальнѣе, вы начинали подозрѣвать подъ всегдашней маской что-то злое, хитрое и въ высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше вниманіе его прекрасные съ виду глаза, сѣрые, открытые. Они одни какъ будто не могли вполне подчиниться его волѣ. Онъ бы и хотѣлъ смотрѣть мягко и ласково, но лучи его взглядовъ какъ будто раздваивались и между мягкими, ласковыми лучами, мелькали жесткіе, недовѣрчивые, пытливые, злые... Онъ былъ довольно высокаго роста, сложенъ изящно, нѣсколько худощаво и казался несравненно моложе своихъ лѣтъ. Темнорусые и мягкіе волосы его почти еще и не начинали сѣдѣть. Уши, руки, оконечности ногъ его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красавица. Одѣтъ онъ былъ съ утонченною изящностью и свѣжестью, но съ нѣкоторыми замашками молодого человѣка, что, впрочемъ, къ нему шло. Онъ казался старшимъ братомъ Алеши. По крайней мѣрѣ, его никакъ нельзя было принять за отца такого взрослога сына.

Онъ подошелъ прямо къ Наташѣ и сказалъ ей, твердо смотря на нее:

— Мой приходъ къ вамъ въ такой часъ и безъ доклада — страненъ и внѣ принятыхъ правилъ; но я надѣюсь, вы повѣрите, что, по крайней мѣрѣ, я въ состояніи сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, съ кѣмъ имѣю дѣло; знаю, что вы проникательны и великодушны. Подарите мнѣ только десять минутъ, и я надѣюсь, вы сами меня поймете и оправдаете.

Онъ выговорилъ все это вѣжливо, но съ силой и съ какой-то настойчивостью.

— Садитесь! сказала Наташа, еще не освободившаяся отъ перваго смущенія и нѣкотораго испуга.

Онъ слегка поклонился и сѣлъ.

— Прежде всего позвольте мнѣ сказать два слова ему, началъ онъ, указывая на сына. — Алеша, только что ты уѣхалъ, не дождавшемся меня и даже не простясь съ нами,

графинѣ доложили, что съ Катериной Ѳедоровной дурно. Она бросилась было къ ней, но Катерина Ѳедоровна вдругъ вошла къ намъ сама, разстроенная и въ сильномъ волненіи. Она сказала намъ прямо, что не можетъ быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдетъ въ монастырь, что ты просилъ ея помощи и самъ признался ей, что любишь Наталью Николаевну... Такое невѣроятное признаніе отъ Катерины Ѳедоровны и, наконецъ, въ такую минуту, разумѣется, было вызвано чрезвычайною странностью твоего объясненія съ нею. Она была почти внѣ себя. Ты понимаешь, какъ я былъ пораженъ и испуганъ. Прѣзжая теперь мимо, я замѣтилъ въ вашихъ окнахъ огонь, продолжалъ онъ, обращаясь къ Наташѣ. — Тогда мысль, которая преслѣдовала меня уже давно, до того вполне овладѣла мною, что я не въ состояніи былъ противиться первому влеченію и вошелъ къ вамъ. Зачѣмъ? Скажу сейчасъ, но прошу напередъ, не удивляйтесь нѣкоторой рѣзкости моего объясненія. Все это такъ везапно...

— Я надѣюсь, что пойму и какъ должно... опѣню то, что вы скажете, проговорила запинаясь Наташа.

Князь пристально въ нее всматривался, какъ будто спѣшилъ *разучить* ее вполне въ одну какую-нибудь минуту.

— Я и надѣюсь на вашу проницательность, продолжалъ онъ, — и если позволилъ себѣ придти къ вамъ теперь, то именно потому, что зналъ, съ кѣмъ имѣю дѣло. Я давно уже знаю васъ, несмотря на то, что когда-то былъ такъ несправедливъ и виноватъ передъ вами. Выслушайте: вы знаете, между мной и отцомъ вашимъ — давнишнія непріятности. Не оправдываю себя; можетъ быть, я болѣе виноватъ передъ нимъ, чѣмъ сколько полагалъ до сихъ поръ. Но если такъ, то я самъ былъ обманутъ. Я мнителенъ и сознаюсь въ томъ. Я склоненъ подозрѣвать дурное прежде хорошаго — черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имѣю привычки скрывать свои недостатки. Я повѣрилъ всѣмъ наговорамъ, и когда вы оставили вашихъ родителей, я ужаснулся за Алешу. Но я васъ еще не зналъ. Справки, сдѣланныя мною, мало-по-малу, ободрили меня совершенно. Я наблюдалъ, изучалъ и, наконецъ, убѣдился, что подозрѣнія мои неосновательны. Я узналъ, что вы разсорились съ вашимъ семействомъ, знаю тоже, что вашъ отецъ всѣми силами противъ вашего брака съ моимъ сыномъ. И ужъ одно то,

что вы, имѣя такое вліяніе, такую, можно сказать, власть надъ Алешей, не воспользовались до сихъ поръ этою властью и не заставили его жениться на себѣ, ужъ одно это выказываетъ васъ со стороны слишкомъ хорошей. И все-таки, сознаюсь передъ вами вполне, я всѣми силами рѣшился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака съ моимъ сыномъ. Я знаю, я выражаюсь слишкомъ откровенно, но въ эту минуту откровенность съ моей стороны нужнѣе всего; вы сами согласитесь съ этимъ, когда меня дослушаете. Скоро послѣ того, какъ вы оставили вашъ домъ, я уѣхалъ изъ Петербурга; но, уѣзжая, я уже не боялся за Алешу. Я надѣялся на благородную гордость вашу. Я понялъ, что вы сами не хотѣли брака прежде окончанія нашихъ фамильныхъ неприятностей, не хотѣли нарушать согласія между Алешей и мною, потому что я никогда бы не простилъ ему его брака съ вами; не хотѣли тоже, чтобъ сказали про васъ, что вы искали жениха-князя и связей съ нашимъ домомъ. Напротивъ, вы даже показали пренебреженіе въ намъ, и, можетъ-быть, ждали той минуты, когда я самъ приду просить васъ сдѣлать намъ честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался вашимъ недоброжелателемъ. Оправдывать себя не стану, но причинъ моихъ отъ васъ не скрою. Вотъ онѣ: вы не знатны и не богаты. Я хоть и имѣю состояніе, но намъ надо больше. Наша фамилія въ упадѣѣ. Намъ нужно связей и денегъ. Падчерица графини Зинаиды Ѳедоровны, хоть и безъ связей, но очень богата. Промедлить немного, и явились бы искатели и отбили бы у насъ невѣсту; а нельзя было терять такой случай, и несмотря на то, что Алеша еще слишкомъ молодъ, я рѣшился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете съ презрѣніемъ смотрѣть на отца, который самъ сознается въ томъ, что наводилъ сына, изъ корысти и изъ предразсудковъ, на дурной поступокъ; потому что бросить великодушную дѣвушку, пожертвовавшую ему всѣмъ и передъ которой онъ такъ виноватъ, — это дурной поступокъ. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшагося брака моего сына съ падчерицею графини Зинаиды Ѳедоровны та, что эта дѣвушка въ высшей степени достойна любви и уваженія. Она хороша собой, прекрасно воспитана, съ превосходнымъ характеромъ и очень умна, хотя во многомъ еще ребенокъ. Алеша безъ характера, легкомысленъ, чрезвычайно неразсудителенъ, въ двадцать два

года еще совершенно ребенокъ и развѣ только съ однимъ достоинствомъ — съ добрымъ сердцемъ, качество даже опасное при другихъ недостаткахъ. Уже давно я замѣтилъ, что мое вліяніе на него начинаетъ уменьшаться: пылкость, юношескія увлеченія берутъ свое и даже берутъ верхъ надъ нѣкоторыми настоящими обязанностями. Я его, можетъ-быть, слишкомъ горячо люблю, но убѣждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителемъ. А между тѣмъ онъ непремѣнно долженъ быть подъ чѣмъ-нибудь постояннымъ добродѣтельнымъ вліяніемъ. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чѣмъ повелѣвать. Такъ онъ и останется на всю свою жизнь. Можете себѣ представить, какъ я обрадовался, встрѣтивъ въ Катеринѣ Ѳедоровнѣ идеаль дѣвушки, которую бы я желалъ въ жены своему сыну. Но я обрадовался поздно; надъ нимъ уже неразрушимо царило другое вліяніе — ваше. Я зорко наблюдалъ его, воротаясь мѣсяць тому назадъ въ Петербургъ, и съ удивленіемъ замѣтилъ въ немъ значительную перемену къ лучшему. Легкомысліе, дѣтскость въ немъ почти еще тѣ же, но въ немъ укрѣпились нѣкоторыя благородныя влеченія; онъ начинаетъ интересоваться не однѣми игрушками, а тѣмъ, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелѣпы; но желанія, влеченія, но сердце — лучше, а это фундаментъ для всего; и все это лучшее въ немъ — безспорно отъ васъ. Вы перевоспитали его. Признаюсь вамъ, у меня тогда же мелькнула мысль, что вы болѣе, чѣмъ кто-нибудь, могли бы составить его счастье. Но я прогналъ эту мысль, я не хотѣлъ этихъ мыслей. Мнѣ надо было отвлечь его отъ васъ во что бы то ни стало; я сталъ дѣйствовать и думалъ, что достигъ своей цѣли. Еще часъ тому назадъ я думалъ, что побѣда на моей сторонѣ. Но происшествіе въ домѣ графини разомъ перевернуло всѣ мои предположенія и прежде всего меня поразилъ неожиданный фактъ: странная въ Алешѣ серьезность, строгость привязанности къ вамъ, упорство, живучесть этой привязанности. Повторяю вамъ: вы перевоспитали его окончательно. Я вдругъ увидѣлъ, что перемена въ немъ идетъ еще дальше, чѣмъ даже я полагалъ. Сегодня онъ вдругъ выказалъ передо мною признакъ ума, котораго я отнюдь не подозрѣвалъ въ немъ, и, въ то же время, необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Онъ выбралъ самую вѣрную дорогу,

чтобъ выйти изъ положенія, которое считалъ затруднительнымъ. Онъ затронулъ и возбудилъ самыя благороднѣйшія способности человѣческаго сердца, именно — способность прощать и оплачивать за зло великодушіемъ. Онъ отдался во власть обиженнаго имъ существа и прибѣгъ къ нему же съ просьбою объ участіи и помощи. Онъ затронулъ всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у ней есть соперница, и, въ то же время, возбудилъ въ ней симпатію къ ея соперницѣ, а для себя прощеніе и обѣщаніе безкорыстной братской дружбы. Идти на такое объясненіе и въ то же время не оскорбить, не обидѣть — на это иногда неспособны даже самыя ловкіе мудрецы, а способны именно сердца свѣжія, чистыя и хорошо направленные, какъ у него. Я увѣренъ, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали въ его сегоднешнемъ поступкѣ ни словомъ, ни совѣтомъ. Вы, можетъ-быть, только сейчасъ узнали обо всемъ отъ него же. Я не ошибаюсь? Не правда-ли?

— Вы не ошибаетесь, повторила Наташа, у которой пылало все лицо и глаза сіяли какимъ-то страннымъ блескомъ, точно вдохновеніемъ. Діалектика князя начинала производить свое дѣйствіе. — Я пять дней не видала Алешу, прибавила она. — Все это онъ самъ выдумалъ, самъ и исполнилъ.

— Непремѣнно такъ, подтвердилъ князь, — но несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта рѣшимость, сознаніе долга, наконецъ, вся эта благородная твердость, — все это слѣдствіе вашего вліянія надъ нимъ. Все это я окончательно сообразилъ и обдумалъ сейчасъ, вѣдучи домой, а, обдумавъ, вдругъ ощутилъ въ себѣ силу рѣшиться. Сватовство наше съ домомъ графини разрушено и возстановиться не можетъ; но если бъ и могло, — ему не бывать уже болѣе. Что-жъ, если я самъ убѣдился, что вы одна только можете составить его счастье, что вы — настоящій руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью! Я не скрылъ отъ васъ ничего, не скрываю и теперь: я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины; сознательно считаю многое изъ этого предразсудкомъ, но люблю эти предразсудки и рѣшительно не хочу попирать ихъ. Но есть обстоятельства, когда надо допустить и другія соображенія, когда нельзя все мѣрять на одну мѣрку... Кромѣ того, я люблю моего сына горячо. Однимъ словомъ, я пришелъ къ заключенію, что Алеша

не долженъ разлучаться съ вами, потому что безъ васъ погибнетъ. И признаться-ли? Я, можетъ-быть, пѣлый мѣсяцъ какъ рѣшилъ это и только теперь самъ узналъ, что я рѣшилъ справедливо. Конечно, чтобъ высказать вамъ все это, я бы могъ посѣтить васъ и завтра, а не беспокоить васъ почти въ полночь. Но теперешняя посѣщность моя, можетъ-быть, покажетъ вамъ, какъ горячо, и, главное, какъ искренно я берусь за это дѣло. Я не мальчикъ; я не могъ бы, въ мои лѣта, рѣшиться на шагъ необдуманнѣйшій. Когда я входилъ сюда, уже все было рѣшено и обдуманно. Но я чувствую, что мнѣ еще долго надо будетъ ждать, чтобъ убѣдить васъ вполне въ моей искренности... Но еъ дѣлу! Объяснять-ли мнѣ теперь вамъ, зачѣмъ я пришелъ сюда? Я пришелъ, чтобъ исполнить мой долгъ передъ вами и — торжественно, со всѣмъ безпредѣльнымъ моимъ къ вамъ уваженіемъ, прошу васъ осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. О, не считайте, что я явился какъ грозный отецъ, рѣшившійся, наконецъ, простить моихъ дѣтей и милостиво согласиться на ихъ счастье. Нѣтъ! Нѣтъ! Вы унижите меня, предположивъ во мнѣ такія мысли. Не считите тоже, что я былъ заранѣе увѣренъ въ вашемъ согласіи, основываясь на томъ, чѣмъ вы пожертвовали для моего сына; опять нѣтъ! Я первый скажу вслухъ, что онъ васъ не стѣдитъ и... (онъ добръ и чистосердеченъ) — онъ самъ подтвердитъ это. Но этого мало. Меня влекло сюда, въ такой часъ, не одно это... я пришелъ сюда... (и онъ почтительно и съ нѣкоторою торжественностью приподнялся со своего мѣста) я пришелъ сюда для того, чтобъ стать вашимъ другомъ! Я знаю, я не имѣю на это ни малѣйшаго права, напротивъ! Но — позвольте мнѣ заслужить это право! Позвольте мнѣ надѣяться!..

Почтительно наклонясь передъ Наташей, онъ ждалъ ея отвѣта. Все время, какъ онъ говорилъ, я пристально наблюдалъ его. Онъ замѣтилъ это.

Проговорилъ онъ свою рѣчь холодно, съ нѣкоторыми притязаніями на діалектику, а въ иныхъ мѣстахъ даже съ нѣкоторою небрежностью. Тонъ всей его рѣчи даже иногда не соответствовалъ порыву, привлекающему его къ намъ въ такой неурочный часъ для перваго посѣщенія и особенно при такихъ отношеніяхъ. Нѣкоторыя выраженія его были примѣтно выдѣланы, а въ иныхъ мѣстахъ его длинной и странной своею длиннотою рѣчи онъ какъ бы

искусственно напускалъ на себя видъ чудака, силащагося скрыть пробивающееся чувство подъ видомъ юмора, небрежности и шутки. Но все это я сообразилъ потомъ; тогда же было другое дѣло. Послѣднія слова онъ проговорилъ такъ одушевленно, съ такимъ чувствомъ, съ такимъ видомъ самаго искренняго уваженія къ Наташѣ, что побѣдилъ насъ всѣхъ. Даже что-то въ родѣ слезы промелькнуло на его рѣсницахъ. Благородное сердце Наташи было побѣждено совершенно. Она, вслѣдъ за нимъ, поднялась со своего мѣста и молча, въ глубокомъ волненіи, протянула ему свою руку. Онъ взялъ ее и нѣжно, съ чувствомъ поцѣловалъ. Алеша былъ внѣ себя отъ восторга.

— Чтo я говорилъ тебѣ, Наташа! вскричалъ онъ.—Ты не вѣрила мнѣ! Ты не вѣрила, что это благороднѣйшій человѣкъ въ мірѣ! Видишь, видишь сама!..

Онъ бросился къ отцу и горячо обнялъ его. Тотъ отвѣчалъ ему тѣмъ же, но успѣшилъ сократить чувствительную сцену, какъ бы стыдясь выказать свои чувства.

— Довольно, сказалъ онъ и взялъ свою шляпу,—я ѣду. Я просилъ у васъ только десять минутъ, а просидѣлъ цѣлый часъ, прибавилъ онъ, усмѣхаясь.—Но я уйду въ самомъ горячемъ нетерпѣннн свидѣться съ вами опять какъ можно скорѣе. Позволили-ли мнѣ посѣщать васъ какъ можно чаще?

— Да, да! отвѣчала Наташа, — какъ можно чаще! Я хочу поскорѣй... полюбить васъ... прибавила она въ замѣшательствѣ.

— Какъ вы искренни, какъ вы честны! сказалъ князь, улыбаясь словамъ ея.—Вы даже не хотите схитрить, чтобъ сказать простую вѣжливость. Но ваша искренность дороже всѣхъ этихъ поддѣльныхъ вѣжливостей. Да! Я сознаю, что я долго, долго еще долженъ заслуживать любовь вашу!

— Полноте, не хвалите меня... довольно! шептала въ смущеніи Наташа.

Какъ хороша она была въ эту минуту!

— Пусть такъ! рѣшилъ князь, — но еще два слова о дѣлѣ. Можете-ли вы представить, какъ я несчастливъ! Вѣдь завтра я не могу быть у васъ, ни завтра, ни послѣзавтра. Сегодня вечеромъ я получилъ письмо, до того для меня важное (требующее немедленнаго моего участія въ одномъ дѣлѣ), что никакимъ образомъ я не могу избѣжать его. Завтра утромъ я уѣзжаю изъ Петербурга. По-

жалуйста, не подумайте, что я зашелъ къ вамъ такъ поздно именно потому, что завтра было бы некогда, ни завтра, ни послѣзавтра. Вы, разумѣется, этого не подумаете, но вотъ вамъ образчикъ моей мнительности! Почему мнѣ показалось, что вы непременно должны были это подумать? Да, много помѣшала мнѣ эта мнительность въ моей жизни, и весь раздоръ мой съ семействомъ вашимъ, можетъ-быть, только послѣдствія моего жалкаго характера!.. Сегодня у насъ вторникъ. Въ среду, въ четвергъ, въ пятницу меня не будетъ въ Петербургѣ. Въ субботу же я непременно надѣюсь воротиться и въ тотъ же день буду у васъ. Скажите, я могу придти къ вамъ на цѣлый вечеръ?

— Непременно, непременно! вскричала Наташа, — въ субботу вечеромъ я васъ жду! Съ нетерпѣніемъ жду!

— А какъ я-то счастливъ! Я болѣе и болѣе буду узнавать васъ! Но... иду! И все-таки я не могу уйти, чтобъ не пожать вашу руку, продолжалъ онъ, вдругъ обращаясь ко мнѣ. — Извините! Мы всѣ теперь говоримъ такъ безсвязно... Я имѣлъ уже нѣсколько разъ удовольствіе встрѣчаться съ вами и даже разъ мы были представлены другъ другу. Не могу выйти отсюда, не выразивъ, какъ бы мнѣ пріятно было возобновить съ вами знакомство.

— Мы съ вами встрѣчались, это правда, отвѣчалъ я, принимая его руку, — но, виновать, не помню, чтобъ мы съ вами знакомились.

— У князя Р. прошлаго года.

— Виновать, забылъ. Но, увѣряю васъ, въ этотъ разъ не забуду. Этотъ вечеръ для меня особенно памятенъ.

— Да, вы правы, мнѣ тоже. Я давно знаю, что вы настоящий, искренній другъ Натальи Николаевны и моего сына. Я надѣюсь быть между вами троеми четвертымъ. Не такъ-ли? прибавилъ онъ, обращаясь къ Наташѣ.

— Да, онъ нашъ искренній другъ и мы должны быть всѣ вмѣстѣ! отвѣчала съ глубокимъ чувствомъ Наташа. Бѣдненькая! Она такъ и засіяла отъ радости, когда увидѣла, что князь не забылъ подойти ко мнѣ. Какъ она любила меня!

— Я встрѣчалъ много поклонниковъ вашего таланта, продолжалъ князь, — и знаю двухъ самыхъ искреннихъ вашихъ почитательницъ. Имъ такъ пріятно будетъ узнать васъ лично. Это графиня, мой лучшій другъ, и ея падчерица. Катерина Федоровна Филимонова. Позвольте мнѣ надѣ-

яться, что вы не откажете мнѣ въ удовольствіи представить васъ этимъ дамамъ.

— Мнѣ очень лестно, хотя теперь я мало имѣю знакомствъ...

— Но мнѣ вы дадите вашъ адресъ! Гдѣ вы живете? Я буду имѣть удовольствіе...

— Я не принимаю у себя, князь, по крайней мѣрѣ, въ настоящее время.

— Но я, хоть и не заслужилъ исключенія... но...

— Извольте, если вы требуете, и мнѣ очень приятно. Я живу въ —мѣ переулкѣ, въ домѣ Кругена.

— Въ домѣ Кругена! вскричалъ онъ какъ будто чѣмъ-то пораженный.—Какъ! Вы... давно тамъ живете?

— Нѣтъ, недавно, отвѣчалъ я, невольно въ него всматриваясь.—Моя квартира сорокъ четвертый номеръ.

— Въ сорокъ четвертомъ? Вы живете... одинъ?

— Совершенно одинъ.

— Д-да! Я потому... что кажется знаю этотъ домъ. Тѣмъ лучше... Я непременно буду у васъ, непременно! Мнѣ о многомъ нужно переговорить съ вами, и я многого ожидаю отъ васъ. Вы во многомъ можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю съ просьбы. Но до свиданія! Еще разъ вашу руку!

Онъ пожалъ руку мнѣ и Алешѣ, еще разъ поцѣловалъ ручку Наташи и вышелъ, не пригласивъ Алешу слѣдовать за собою.

Мы трое остались въ большомъ смущеніи. Все это случилось такъ неожиданно, такъ печально. Всѣ мы чувствовали, что въ одинъ мигъ все измѣнилось и начинается что-то новое, невѣдомое. Алеша молча присѣлъ возлѣ Наташи и тихо поцѣловалъ ея руку. Изрѣдка онъ заглядывалъ ей въ лицо, какъ бы ожидая, что она скажетъ.

— Голубчикъ, Алеша, поѣзжай завтра же къ Катеринѣ Федоровнѣ, проговорила, наконецъ, она.

— Я самъ это думалъ, отвѣчалъ онъ, — непременно поѣду.

— А можетъ-быть, ей и тяжело будетъ тебя видѣть... какъ сдѣлать?

— Не знаю, другъ мой. И про это я тоже думалъ. Я посмотрю... увижу... такъ и рѣшу. А что, Наташа, вѣдь у насъ все теперь перемѣнилось, не утерпѣлъ не заговорить Алеша.

Она улыбнулась и посмотрѣла на него долгимъ и нѣжнымъ взглядомъ.

— И какой онъ деликатный. Видѣль, какая у тебя бѣдная квартира, и ни слова...

— О чемъ?

— Ну... чтобъ переѣхать на другую... или что-нибудь, прибавилъ онъ, покраснѣвшись.

— Полно, Алеша, съ какой же бы стати!

— То-то я и говорю, что онъ такой деликатный. А какъ хвалилъ тебя! Я вѣдь говорилъ тебѣ... говорилъ! Нѣтъ, онъ можетъ все понимать и чувствовать! А про меня, какъ про ребенка говорилъ; всѣ-то они меня такъ почитаютъ! Да что-жъ, я вѣдь и въ самомъ дѣлѣ такой.

— Ты ребенокъ, да проникательнѣе насъ всѣхъ. Добрый ты, Алеша!

— А онъ сказалъ, что мое доброе сердце вредитъ мнѣ. Какъ это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа, не поѣхать-ли мнѣ поскорѣй въ нему? Завтра чѣмъ свѣтъ у тебя буду.

— Поѣзжай, поѣзжай, голубчикъ. Это ты хорошо придумалъ. И непременно покажись ему, слышишь? А завтра приѣзжай какъ можно раньше. Теперь ужъ не будешь отъ меня по пяти дней бѣгать? лукаво прибавила она, лаская его взглядомъ.

Всѣ мы были въ какой-то тихой, въ какой-то полной радости.

— Со мной, Ваня? крикнулъ Алеша, выходя изъ комнаты.

— Нѣтъ, онъ останется; мы еще поговоримъ съ тобой, Ваня. Смотри же, завтра чѣмъ свѣтъ.

— Чѣмъ свѣтъ! Прощай, Мавра!

Мавра была въ сильномъ волненіи. Она все слышала, что говорилъ князь, все подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотѣлось угадать и спросить. А пока-мѣстъ она смотрѣла такъ серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что многое измѣнилось.

Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и нѣсколько времени молчала, какъ будто ища что сказать.

— Устала я! проговорила она, наконецъ, слабымъ голосомъ.—Слушай: вѣдь ты пойдешь завтра къ нашимъ?

— Непремѣнно.

— Маменькѣ скажи, а *ему* не говори.

— Да вѣдь я и безъ того никогда о тебѣ съ нимъ не говорю.

— То-то; онъ и безъ того узнаеть. А ты замѣчай, что онъ скажетъ. Какъ приметъ. Господи, Ваня! Что, неужели-жъ онъ въ самомъ дѣлѣ проклянетъ меня за этотъ бракъ? Нѣтъ, не можетъ быть!

— Все долженъ уладить князь, подхватилъ я поспѣшно.—Онъ долженъ непременно съ нимъ помириться, а тогда и все уладится.

— О, Боже мой! Если-бъ! Если-бъ! съ мольбою вскричала она.

— Не безпокойся, Наташа, все уладится. На то идетъ. Она пристально поглядѣла на меня.

— Ваня, что ты думаешь о князѣ?

— Если онъ говорилъ искренно, то, по-моему, онъ человекъ вполне благородный.

— Если онъ говорилъ искренно? Что это значить? Да развѣ онъ могъ говорить неискренно?

— И мнѣ тоже кажется, отвѣчалъ я.—„Стало-быть, у ней мелькаетъ какая-то мысль, подумалъ я про себя.—Странно!“

— Ты все смотрѣлъ на него... такъ пристально...

— Да, онъ немного страненъ, мнѣ показалось.

— И мнѣ тоже. Онъ какъ-то все такъ говорить... устала я, голубчикъ. Знаешь что? Ступай и ты домой. А завтра приходи ко мнѣ какъ можно пораньше отъ нихъ. Да слушай еще: это не обидно было, когда я сказала ему, что хочу поскорѣе полюбить его?

— Нѣтъ... почему-жъ обидно?

— И... не глупо? То-есть вѣдь это значило, что покажеться я еще не люблю его.

— Напротивъ, это было прекрасно, наивно, быстро. Ты такъ хороша была въ ту минуту! Глупъ будетъ онъ, если не пойметъ этого съ своей великосвѣтскостью!

— Ты какъ будто на него сердисься, Ваня? А какая однакожь я дурная, мнительная и какая тщеславная! Не смѣйся; я вѣдь передъ тобой ничего не скрываю. Ахъ, Ваня, другъ ты мой дорогой! Вотъ если я буду опять несчастна, если опять горе придетъ, вѣдь ужъ ты вѣрно будешь здѣсь, подлѣ меня; одинъ, можетъ-быть, и будешь! Чѣмъ заслужу я тебѣ за все! Не проклинай меня никогда, Ваня!..

Воротаясь домой, я тотчасъ же раздѣлся и легъ спать. Въ комнатѣ у меня было сыро и темно какъ въ погребѣ. Много странныхъ мыслей и ощущеній бродило во мнѣ, и я еще долго не могъ заснуть.

Но какъ, должно-быть, смѣялся въ эту минуту одинъ человекъ, засыпая въ комфортной своей постели,—если, впрочемъ, онъ еще удостоилъ усмѣхнуться надъ нами! Должно-быть, не удостоилъ!

ГЛАВА III.

На другое утро часовъ въ десять, когда я выходилъ изъ квартиры, торопясь на Васильевскій островъ къ Ихменевымъ, чтобъ пройти отъ нихъ поскорѣе къ Наташѣ, я вдругъ столкнулся въ дверяхъ со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мнѣ. Не знаю почему, но, помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядѣть не успѣлъ ее, и днемъ она еще болѣе удивила меня. Да и трудно было встрѣтить болѣе странное, болѣе оригинальное существо, по крайней мѣрѣ, по наружности. Маленькая, съ сверкающими, черными, какими-то нерусскими глазами, съ густѣйшими, черными, включенными волосами и съ загадочнымъ, нѣмымъ и упорнымъ взглядомъ, она могла остановить вниманіе даже всякаго прохожаго на улицѣ. Особенно поражалъ ея взглядъ: въ немъ сверкалъ умъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и какая-то инвизиторская недоувѣрчивость и даже подозрительность. Ветхое и грязное ея платье при дневномъ свѣтѣ еще больше вчерашняго походило на рубище. Мнѣ казалось, что она больна въ какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болѣзни, постепенно, но неумолимо разрушающей ея организмъ. Блѣдное и худое ея лицо имѣло какой-то ненатуральный смугложелтый, желчный оттѣнокъ. Но вообще, несмотря на все безобразіе нищеты и болѣзни, она была даже недурна собою. Брови ея были рѣзкія, тонкія и красивыя; особенно былъ хорошъ ея широкій лобъ, немного низкій, и губы, прекрасно обрисованныя, съ какой-то гордой, смѣлой складкой, но блѣдныя, чуть-туть только окрашенныя.

— Ахъ, ты опять! вскричалъ я.—Ну, я такъ и думалъ, что ты придешь. Войди же!

Она вошла, медленно переступивъ черезъ порогъ, какъ и вчера, и недоувѣрчиво озираясь кругомъ. Она внимательно осмотрѣла комнату, въ которой жилъ ея дѣдушка, какъ будто отмѣчая, насколько измѣнилась комната отъ другого жильца. „Ну, каковъ дѣдушка, такова и внучка, подумалъ я.—Ужъ не сумасшедшая-ли она?“ Она все еще молчала; я ждалъ.

— За книжками! прошептала она, наконецъ, опустивъ глаза въ землю.

— Ахъ, да! Твои книжки; вотъ онѣ, возьми! Я нарочно ихъ сберегъ для тебя.

Она съ любопытствомъ на меня посмотрѣла и какъ-то странно искривила ротъ, какъ будто хотѣла недовѣрчиво улыбнуться. Но позывъ улыбки прошелъ и смѣнился тотчасъ же прежнимъ суровымъ и загадочнымъ выраженіемъ.

— А развѣ дѣдушка вамъ говорилъ про меня? спросила она, иронически оглядывая меня съ ногъ до головы.

— Нѣтъ, про тебя онъ не говорилъ, но онъ...

— А почему-жъ вы знали, что я приду? Кто вамъ сказалъ? спросила она, быстро перебивая меня.

— Потому, мнѣ казалось, твой дѣдушка не могъ жить одинъ, всѣми оставленный. Онъ былъ такой старый, слабый; вотъ я и думалъ, что кто-нибудь ходилъ къ нему. Возьми, вотъ твои книги. Ты по нимъ учишься?

— Нѣтъ.

— Зачѣмъ же онѣ тебѣ?

— Меня училъ дѣдушка, когда я ходила къ нему.

— А развѣ потомъ не ходила?

— Потомъ не ходила... я больна сдѣлалась, прибавила она, какъ бы оправдываясь.

— Что-жъ у тебя, семья, мать, отецъ?

Она вдругъ нахмурила свои брови и даже съ какимъ-то испугомъ взглянула на меня. Потомъ потупилась, молча повернулась и тихо пошла изъ комнаты, не удостоивъ меня отвѣтомъ, совершенно какъ вчера. Я съ изумленіемъ провожалъ ее глазами. Но она остановилась на порогѣ.

— Отчего онъ умеръ? отрывисто спросила она, чуть-чуть оборотаясь ко мнѣ, совершенно съ тѣмъ же жестомъ и движеніемъ, какъ и вчера, когда, тоже выходя и стоя лицомъ къ дверямъ, спросила объ Азоркѣ.

Я подошелъ къ ней и началъ ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупивъ голову и стоя ко мнѣ спиной. Я рассказалъ ей тоже, какъ старикъ, умирая, говорилъ про шестую линію.

— Я и догадался, прибавилъ я,—что тамъ вѣрно кто-нибудь живетъ изъ дорогихъ ему, оттого и ждалъ, что придутъ о немъ навѣдаться. Вѣрно онъ тебя любилъ, когда въ послѣднюю минуту о тебѣ поминалъ.

— Нѣтъ, прошептала она, какъ бы невольно,—не любилъ.

Она была сильно взволнована. Рассказывая, я наги-

бался къ ней и заглядывалъ въ ея лицо. Я замѣтилъ, что она употребляла ужасныя усилія подавить свое волненіе, точно изъ гордости передо мной. Она все больше и больше блѣднѣла и вѣрноп закусила свою нижнюю губу. Но особенно поразилъ меня странный стукъ ея сердца. Оно стучало все сильнѣе и сильнѣе, такъ что, наконецъ, можно было слышать его за два, за три шага, какъ въ аневризмѣ. Я думалъ, что она вдругъ разразится слезами, какъ и вчера; но она преодолѣла себя.

— А гдѣ заборъ?

— Какой заборъ?

— Подъ которымъ онъ умеръ.

— Я тебѣ покажу его... когда выйдемъ. Да послушай, какъ тебя зовутъ?

— Не надо...

— Чего не надо?

— Не надо; никакъ не зовутъ, отрывисто и какъ будто съ досадою проговорила она и сдѣлала движеніе уйти. Я остановилъ ее.

— Подожди, странная ты дѣвочка! Вѣдь я тебѣ добра желаю; мнѣ тебя жаль, со вчерашняго дня, когда ты тамъ въ углу на лѣстницѣ плакала. Я вспомнить объ этомъ не могу... Къ тому же твой дѣдушка у меня на рукахъ умеръ и вѣрно онъ о тебѣ вспоминалъ, когда про шестую линію говорилъ, значить, какъ будто тебя мнѣ на руки оставлялъ. Онъ мнѣ во снѣ снится... Вотъ и книжки я тебѣ сберегъ, а ты такая дикая, точно боишься меня. Ты вѣрно очень бѣдна и сиротка, можетъ-быть, на чужихъ рукахъ; такъ или нѣтъ?

Я убѣждалъ ее горячо и самъ не знаю, чѣмъ влекла она меня такъ къ себѣ. Въ чувствѣ моемъ было еще что-то другое, кромѣ одной жалости. Тайнственность-ли всей обстановки, впечатлѣніе-ли, произведенное Смитомъ, фантастичность-ли моего собственнаго настроенія, — не знаю, но что-то непреодолимо влекло меня къ ней. Мои слова, казалось, ее тронули; она какъ-то странно поглядѣла на меня, но ужъ не сурово, а мягко и долго, потомъ опять потупилась какъ бы въ раздумьи.

— Елена, вдругъ прошептала она, неожиданно и чрезвычайно тихо.

— Это тебя зовутъ Елена?

— Да...

— Что же, ты будешь приходить ко мнѣ?

— Нельзя... не знаю... приду, прошептала она, какъ бы въ борьбѣ и раздумьи.

Въ эту минуту вдругъ гдѣ-то ударили стѣнные часы. Она вздрогнула и, съ невыразимой болѣзненной тоской смотря на меня, прошептала:

— Это который часъ?

— Должно-быть, половина одиннадцатаго.

Она вскрикнула отъ испуга.

— Господи! проговорила она и вдругъ бросилась бѣжать. Но я остановилъ ее еще разъ въ сѣняхъ.

— Я тебя такъ не пущу, сказалъ я.— Чего ты боишься? Ты опоздала?

— Да, да, я тихонько ушла! Пустите! Она будетъ бить меня! закричала она, видимо проговорившись и вырываясь изъ моихъ рукъ.

— Слушай же и не рвись; тебѣ на Васильевскій, и я туда же, въ тринадцатую линію. Я тоже опоздалъ и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я доведу. Скорѣе, чѣмъ пѣшкомъ-то...

— Ко мнѣ нельзя, нельзя, вскричала она еще въ сильнѣйшемъ испугѣ. Даже черты ея исказились отъ какого-то ужаса при одной мысли, что я могу придти туда, гдѣ она живетъ.

— Да говорю тебѣ, что я въ тринадцатую линію, по своему дѣлу, а не къ тебѣ! Не пойду я за тобою. На извозчикѣ скоро доѣдемъ. Пойдемъ!

Мы поспѣшно сбѣжали внизъ. Я взялъ перваго попавшаго ваньку, на скверной гитарѣ. Видно Елена очень торопилась, коли согласилась сѣсть со мною. Всего загадочнѣе было то, что я даже и спрашивать не смѣлъ. Она такъ и замахала руками и чуть не соскочила съ дрожекъ, когда я спросилъ, кого она дома такъ боится? Чтѣ за таинственность? подумалъ я.

На дрожкахъ ей было очень неловко сидѣть. При каждомъ толчкѣ она, чтобъ удержаться, схватывалась за мое пальто лѣвой рукой, грязной, маленькой, въ какихъ-то цыпкахъ. Въ другой рукѣ она крѣпко держала свои книги; видно было по всему, что книги эти ей очень дороги. Поправляясь, она вдругъ обнажила свою ногу и, къ величайшему удивленію моему, я увидѣлъ, что она была въ однихъ дырявыхъ башмакахъ, безъ чулокъ. Хотя я и рѣшился было ни о чемъ ее не спрашивать, но тутъ опять не могъ утерпѣть.

— Неужели-жь у тебя нѣтъ чулокъ? спросилъ я.— Какъ можно ходить на босу-ногу въ такую сырость и въ такой холодъ?

— Нѣтъ, отвѣчала она отрывисто.

— Ахъ, Боже мой, да вѣдь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у другихъ чулки, коли надо было выйти.

— Я такъ сама хочу.

— Да ты заболѣешь, умрешь!

— Пускай умру.

Она видимо не хотѣла отвѣчать и сердилась на мои вопросы.

— Вотъ здѣсь онъ и умеръ, сказалъ я, указывая ей на домъ, у котораго умеръ старикъ.

Она пристально посмотрѣла и вдругъ, съ мольбою обратившись ко мнѣ, сказала:

— Ради Бога, не ходите за мной. А я приду, приду! Какъ только можно будетъ, такъ и приду!

— Хорошо, я сказалъ уже, что не пойду къ тебѣ. Но чего ты боишься? Ты вѣрно какая-то несчастная. Мнѣ больно смотрѣть на тебя...

— Я никого не боюсь, отвѣчала она съ какимъ-то раздраженіемъ въ голосѣ.

— Но ты давеча сказала: „она прибѣтъ меня!“

— Пусть бьетъ! отвѣчала она и глаза ея засверкали.— Пусть бьетъ! Пусть бьетъ! горько повторяла она, и верхняя губка ея какъ-то презрительно приподнялась и дрожала.

Наконецъ, мы пріѣхали на Васильевскій. Она остановила извозчика въ началѣ шестой линіи и прыгнула съ дрожекъ, съ безпокойствомъ озираясь кругомъ.

— Поѣзжайте прочь; я приду, приду! повторяла она въ страшномъ безпокойствѣ, умоляя меня не ходить за ней.— Ступайте же скорѣе, скорѣе!

Я поѣхалъ. Но проѣхавъ по набережной нѣсколько шаговъ, отпустилъ извозчика и, воротившись назадъ въ шестую линію, быстро перебѣжалъ на другую сторону улицы. Я увидѣлъ ее; она не успѣла еще много отойти, хотя шла очень скоро и все оглядывалась; даже остановилась-было на минутку, чтобъ лучше высмотрѣть: иду-ли я за ней или нѣтъ? Но я притаился въ попавшихся мнѣ воротахъ, и она меня не замѣтила. Она пошла далѣе, я за ней, все по другой сторонѣ улицы.

Любопытство мое было возбуждено въ послѣдней степени. Я хотѣлъ и рѣшилъ не входить за ней, но непремѣнно хотѣлъ узнать тотъ домъ, въ который она войдетъ, на всякій случай. Я былъ подъ вліяніемъ тяжелаго и страннаго впечатлѣнія, похожего на то, которое произвѣлъ во мнѣ въ кондитерской ея дѣдушка, когда умеръ Азорка.

ГЛАВА IV.

Мы шли долго, до самаго Малаго проспекта. Она чуть не бѣжала; наконецъ, вошла въ лавочку. Я остановился подождать ее. „Вѣдь не живетъ же она въ лавочкѣ“, подумалъ я.

Дѣйствительно, черезъ минуту она вышла, но уже книгъ съ ней не было. вмѣсто книгъ въ ея рукахъ была какая-то глиняная чашка. Пройдя немного, она вошла въ ворота одного невзрачнаго дома. Домъ былъ небольшой, но каменный, старый, двухъ-этажный, окрашенный грязно-желтою краской. Въ одномъ изъ оконъ нижняго этажа, которыхъ всего было три, торчалъ маленькій красный гробикъ, — вывѣска незначительнаго гробовщика. Она верхняго этажа были чрезвычайно малыя и совершенно квадратныя, съ тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которыя просвѣчивали розовыя коленкоровыя занавѣски. Я перешелъ черезъ улицу, подошелъ къ дому и прочелъ на желѣзномъ листѣ надъ воротами дома: домъ мѣщанки Бубновой.

Но только что я успѣлъ разобрать надпись, какъ вдругъ на дворѣ у Бубновой раздался пронзительный женскій визгъ и затѣмъ ругательства. Я заглянулъ въ калитку; на ступенькѣ деревяннаго крылечка стояла толстая баба, одѣтая какъ мѣщанка, въ головкѣ и въ зеленой шали. Лицо ея было отвратительно-багроваго цвѣта; маленькіе, заплывшіе и налитые кровью глаза сверкали отъ злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на до-обѣденное время. Она визжала на бѣдную Елену, стоявшую передъ ней въ какомъ-то оцѣпенѣніи съ чашкой въ рукахъ. Съ лѣстницы, изъ-за спины багровой бабы, выглядывало полурастрепанное, набѣленное и нарумяненное женское существо. Немного погодя, отворилась дверь съ подвальной лѣстницы въ нижній этажъ и на ступенькахъ ея показалась, вѣроятно, привлеченная крикомъ, бѣдно-одѣтая среднихъ лѣтъ женщина, благообразной и скромной на-

ружности. Изъ полуотворенной же двери выглядывали и другіе жильцы нижняго этажа, дряхлый старикъ и дѣвушка. Рослый и дюжій мужикъ, вѣроятно, дворникъ, стоялъ посреди двора, съ метлой въ рукѣ, и лѣниво посматривалъ на всю сцену.

— Ахъ ты проклятая, ахъ ты кровопивица, гнида ты этакая! визжала баба, залпомъ выпуская изъ себя всѣ накопившіяся ругательства, большею частію безъ запятыхъ и безъ точекъ, но съ какимъ-то захлебываніемъ,—такъ-то ты за мое попеченье воздаешь, лохматая! За огурцами только послали ее, а она ужъ и улизула! Сердце мое чувствовало, что улизнетъ, когда посылала. Ныло сердце мое, ныло! Вчера ввечеру всѣ вихры ей за это же отгаскала, а она и сегодня бѣжать! Да куда тебѣ ходить, распутница, куда ходитъ! Къ кому ты ходишь, идолю проклятый, лупоглазая гадина, ядъ, къ кому? Говори, гниль болотная, или тутъ же тебя задушу!

И разъяренная баба бросилась на бѣдную дѣвочку, но увидавъ смотрѣвшую съ крыльца женщину, жилицу нижняго этажа, вдругъ остановилась и, обращаясь къ ней, завопила еще визгливѣе прежняго, размахивая руками, какъ будто беря ее въ свидѣтельницы чудовищнаго преступленія ея бѣдной жертвы:

— Мать издохла у ней! Сами знаете, добрые люди: одна вѣдь осталась какъ шишъ на свѣтѣ. Вижу, у васъ, бѣдныхъ людей, на рукахъ, самимъ ѣсть нечего, дай, думаю, хоть для Николая-то Угодника потружусь, приму сироту. Приняла. Что-жъ бы вы думали? Вотъ ужъ два мѣсяца содержу,—кровь она у меня въ эти два мѣсяца выпила, бѣлое тѣло мое поѣла. Пявка! Змѣй гремучій! Упорная сатана! Молчить, хоть бей, хоть брось, все молчить; словно себѣ воды въ ротъ набереть,—все молчить! Сердце мое надрываетъ—молчить! Да за кого ты себя считаешь, фря ты этакая, облизына зеленая? Да безъ меня ты бы на улицѣ съ голоду померла. Ноги мои должна мыть, да воду эту пить, извергъ, черная ты шпага французская! Околѣла бы безъ меня!

— Да что вы, Анна Трифоновна, такъ себя надсаждаете? Чѣмъ она вамъ опять досадила? почтительно спросила женщина, къ которой обращалась разъяренная мегера.

— Какъ чѣмъ, добрая ты женщина, какъ чѣмъ? Не хочу, чтобъ противъ меня шли! Не дѣлай своего хорошаго, а дѣлай мое дурное,—вотъ я какова! Да она меня чуть

въ гробъ сегодня не уходила! За огурцами въ лавочку ее послала, а она черезъ три часа воротилась! Сердце мое предчувствовало, когда посылала; ныло оно, ныло; ныло-ныло! Гдѣ была? Куда ходила? Какихъ себѣ покровителей нашла? Я-ль ей не благодѣтельницавала! Да я ея поганѣ-матери четырнадцать цѣлковыхъ долгу простила, на свой счетъ похоронила, чертенка ея на воспитаніе взяла, милая ты женщина, знаешь, сама знаешь! Чтѣ-жъ, не въ правѣ я надъ ней послѣ этого. Она бы чувствовала, а вмѣсто чувства она супротивъ идетъ! Я ей счастья хотѣла. Я ее, поганку, въ кисейныхъ платьяхъ водить хотѣла, въ Гостиномъ ботинки купила, какъ паву нарядила, — душа у праздника! Чтѣ-жъ бы вы думали, добрые люди! Въ два дня все платье изорвала, въ кусочки изорвала, да въ клочочки, да такъ и ходитъ, такъ и ходитъ! Да вѣдь чтѣ вы думаете, нарочно изорвала, — не хочу лгать, сама подглядѣла; хочу, дескать, въ трапезномъ ходить, не хочу въ кисейномъ! Ну, отвела тогда душу надъ ней, исколотила ее, такъ вѣдь я лѣ-каря потомъ призывала, ему деньги платила. А вѣдь задавить тебя, гнида ты этакая, такъ только недѣлю молока не пить, — всего-то наказанья за тебя только положено! За наказаніе полы мыть ее заставила; чтѣ-жъ бы вы думали: моетъ, моетъ, стерва, моетъ! Горячить мое сердце, — моетъ! Ну, думаю: бѣжить она отъ меня! Да только подумала, глядь — она и бѣжала вчера! Сами слышали, добрые люди, какъ я вчера ее за это била, руки обколотила всѣ объ нее, чулки, башмаки отняла, — не уйдетъ на босу-ногу, думаю; а она и сегодня туда-жъ! Гдѣ была? Говори? Кому, сѣмя крапивное, жаловалась, кому на меня доносила? Говори, цыганка, маска привозная, говори!

И въ изступленіи она бросилась на обезумѣвшую отъ страха дѣвочку, вцѣпилась ей въ волосы и грянула ее д-земь. Чашка съ огурцами полетѣла въ сторону и разбилась; это еще болѣе усилило бѣшенство пьяной мегеры. Она била свою жертву по лицу, по головѣ; но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она, даже и подъ побоями. Я бросился на дворъ, почти не помня себя отъ негодованія, прямо къ пьяной бабѣ.

— Чтѣ вы дѣлаете? Какъ смѣете вы такъ обращаться съ бѣдной сиротой! вскричалъ я, хватая эту фурию за руку.

— Это что! Да ты кто такой? завизжала она, бросивъ Елену и подпершись руками въ боки.—Вамъ что въ моемъ домѣ угодно?

— То угодно, что вы безжалостная! кричалъ я.—Какъ вы смѣете такъ тиранить бѣднаго ребенка? Она не ваша; я самъ слышалъ, что она только вашъ приемышъ, бѣдная сирота...

— Господи Иисусе! завопила фурия.—Да ты кто такой навязался! Ты съ ней пришелъ, что-ли? Да я сейчасъ къ частному приставу! Да меня самъ Андронъ Тимоѣичъ какъ благородную почитаетъ! Что она, къ тебѣ, что-ли, ходитъ? Кто такой? Въ чужой домъ буянить пришелъ. Караулъ!

И она бросилась на меня съ кулаками. Но въ эту минуту вдругъ раздался пронзительный, нечеловѣческій крикъ. Я взглянулъ,—Елена, стоявшая какъ безъ чувствъ, вдругъ, съ страшнымъ, неестественнымъ крикомъ удари-лась о-земь и билась въ страшныхъ судорогахъ. Лицо ея исказилось. Съ ней былъ припадокъ падучей болѣзни. Растрепанная дѣвка и женщина снизу подбѣжали, подняли ее и поспѣшно понесли наверхъ.

— А хоть издохни, проклятая! завизжала баба вслѣдъ за ней.—Въ мѣсяцъ ужъ третій припадокъ... Вонъ, малякъ! И она снова бросилась на меня.

— Чего, дворникъ, стоишь? За что жалованье получаешь?

— Пошелъ, пошелъ! Хочешь, чтобы шею нагладили, лѣниво пробасилъ дворникъ, какъ бы для одной только проформы.—Двоимъ любо, третій не суйся. Поклонъ да и вонъ!

Нечего дѣлать, я вышелъ за ворота, убѣдившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодованіе кипѣло во мнѣ. Я сталъ на тротуарѣ, противъ воротъ, и глядѣлъ на калитку. Только-что я вышелъ, баба бросилась наверхъ, а дворникъ, сдѣлавъ свое дѣло, тоже куда-то скрылся. Черезъ минуту, женщина, помогавшая снести Елену, сошла съ крыльца, спѣша къ себѣ внизъ. Увидѣвъ меня, она остановилась и съ любопытствомъ на меня поглядѣла. Ея доброе и смиренное лицо ободрило меня. Я снова ступилъ на дворъ и прямо подошелъ къ ней.

— Позвольте спросить, началъ я,—что такое здѣсь эта дѣвочка и что дѣлаетъ съ ней эта гадкая баба? Не ду-

майте, пожалуйста, что я изъ простого любопытства разспрашиваю. Эту дѣвочку я встрѣчалъ и по одному обстоятельству очень ею интересуюсь.

— А коль интересуетесь, такъ вы бы лучше ее къ себѣ взяли, али мѣсто ей какое нашли, чѣмъ ей тутъ пропадать, проговорила, какъ бы нехотя, женщина, дѣлая движеніе уйти отъ меня.

— Но если вы меня не научите, что-жъ я сдѣлаю? Говорю вамъ, я ничего не знаю. Это вѣрно сама Бубнова, хозяйка дома?

— Сама хозяйка.

— Такъ какъ же дѣвочка-то къ ней попалась? У ней здѣсь мать умерла?

— А такъ и попалась... Не наше дѣло.

И она опять хотѣла уйти.

— Да сдѣлайте же одолженіе; говорю вамъ, меня это очень интересуетъ. Я, можетъ-быть, что-нибудь и въ состояніи сдѣлать. Кто-жъ эта дѣвочка? Кто была ее мать, — вы знаете?

— А словно изъ иностранокъ какихъ-то, пріѣзжая; у насъ внизу и жила; да больная такая; въ чахоткѣ и померла.

— Стало-быть, была очень бѣдная, коли въ углу въ подвалѣ жила?

— Ухъ, бѣдная! Все сердце на нее изныло. Мы ужъ нашто перебиваемся, а и намъ шесть рублей въ пять мѣсяцевъ, что у насъ прожила, задолжала. Мы и похоронили; мужъ и гробъ дѣлалъ.

— А какъ же Бубнова говоритъ, что она похоронила?

— Какое похоронила!

— А какъ была ее фамилія?

— А и не выговорю, батюшка; мудрено; нѣмецкая, должно-быть.

— Смитъ?

— Нѣтъ, что-то не такъ. А Анна Трифионовна сироту-то къ себѣ и забрала; на воспитаніе, говоритъ. Да нехорошо оно вовсе...

— Вѣрно для цѣлей какихъ-нибудь забрала?

— Нехорошія за ней дѣла, отвѣчала женщина, какъ бы въ раздумьи и колеблясь: говорить или нѣтъ. — Намъ что; мы посторонніе.

— А ты бы лучше языкъ-то на привязи подержала! раздался сзади насъ мужской голосъ.

Это былъ пожилыхъ лѣтъ человѣкъ въ халатѣ и въ кафтанѣ сверхъ халата, съ виду мѣщанинъ-мастеровой, мужъ моей собесѣдницы.

— Ей, батюшка, съ вами нечего разговаривать; не наше это дѣло... промолвилъ онъ, искоса оглядѣвъ меня.—А ты пошла! Прощайте, сударь; мы гробовщики. Коли что по мастерству надоть, съ нашимъ полнымъ удовольствіемъ... А окромя того нечего намъ съ вами происходить...

Я вышелъ изъ этого дома въ раздумьи и въ глубокомъ волненіи. Сдѣлать я ничего не могъ, но чувствовалъ, что мнѣ тяжело оставить все это такъ. Нѣкоторыя слова гробовщицы особенно меня возмутили. Тутъ скрывалось какое-то нехорошее дѣло: я это предчувствовалъ.

Я шелъ, потупивъ голову и размышляя, какъ вдругъ рѣзкій голосъ окликнулъ меня по фамиліи. Гляжу — передо мной стоитъ хмельной человѣкъ, чуть не покачиваясь, одѣтый довольно чисто, но въ скверной шинели и въ засаленномъ картузѣ. Лицо очень знакомое. Я сталъ всматриваться. Онъ подмигнулъ мнѣ и иронически улыбнулся.

— Не узнаешь?

ГЛАВА V.

— А! Да это ты, Маслобоевъ! вскричалъ я, вдругъ узнавъ въ немъ прежняго школьнаго товарища, еще по губернской гимназій,—ну, встрѣча!

— Да, встрѣча! Лѣтъ шесть не встрѣчались. То-есть и встрѣчались, да ваше превосходительство не удостоивали взглядомъ - съ. Вѣдь вы генералы - съ, литературные, то-есть-съ!..

Говоря это, онъ насмѣшливо улыбался.

— Ну, братъ, Маслобоевъ, это ты врешь, прервалъ я его.—Во-первыхъ, генералы, хоть бы и литературные, и съ виду не такіе бываютъ, какъ я, а второе, позволь тебѣ сказать, я дѣйствительно припоминаю, что раза два тебя на улицѣ встрѣтилъ, да ты самъ видимо избѣгалъ меня, а мнѣ что-жъ подходить, коли вижу, человѣкъ избѣгаетъ. И знаешь, что я думаю? Не будь ты теперь хмельень, ты бы и теперь меня не окликнулъ. Не правда - ли? Ну, здравствуй! Я, братъ, очень, очень радъ, что тебя встрѣтилъ.

— Право? А не компрометирую я тебя моимъ... не тѣмъ видомъ? Ну, да нечего объ этомъ спрашивать; не

суть важное; я, братъ Ваня, всегда помню, какой ты былъ славный мальчуга. А помнишь, тебя за меня высѣкли? Ты смолчалъ, а меня не выдалъ, а я, вмѣсто благодарности, надъ тобой же недѣлю трунилъ. Безгрѣшная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй! (Мы поцѣловались). Вѣдь я ужъ сколько лѣтъ одинъ маюсъ,—день-да-ночь—сутки прочь, а стараго не забылъ. Не забывается! А ты-то, ты-то?

— Да что я-то, и я одинъ маюсъ...

Онъ долго глядѣлъ на меня съ сильнымъ чувствомъ разслабленнаго отъ вина человѣка. Впрочемъ, онъ и безъ того былъ чрезвычайно добрый человѣкъ.

— Нѣтъ, Ваня, ты не то что я? проговорилъ онъ, наконецъ, трагическимъ тономъ. — Я вѣдь читаль; читаль, Ваня, читаль!.. Да послушай: поговоримъ по душѣ! Спѣшишь?

— Спѣшу; и признаюсъ тебѣ, ужасно разстроенымъ однимъ дѣломъ. А вотъ что лучше: гдѣ ты живешь?

— Скажу. Но это не лучше; а сказать-ли что лучше?

— Ну, что?

— А вотъ что, видишь? — И онъ указаль мнѣ на вывѣску, въ десяти шагахъ отъ того мѣста, гдѣ мы стояли, — видишь: кондитерская и ресторанъ, то-есть по-просту ресторация, но мѣсто хорошее. Предупрежу, помѣщеніе приличное, а водка—и не говори! Изъ Кіева пѣшкомъ пришла! Пилъ, многократно пилъ, знаю; а мнѣ худого здѣсь и не смѣютъ подать. Знаютъ Филиппа Филиппыча. Я вѣдь Филиппъ Филиппычъ. Что? Гримасничаешь? Нѣтъ, ты дай договорить. Теперь четверть двѣнадцатаго, сейчасъ смотрѣлъ; ну, такъ ровно въ тридцать пять минутъ двѣнадцатаго я тебя и отпущу. А тѣмъ временемъ муху задавимъ. Двадцать минутъ на стараго друга,—идеть?

— Если только двадцать минутъ, то идетъ; потому, душа моя, ей-Богу дѣло...

— А идетъ, такъ идетъ. Только вотъ что, два слова прежде всего: лицо у тебя нехорошее, точно сейчасъ тебѣ чѣмъ надосадили, правда?

— Правда.

— То-то я и угадалъ. Я, братъ, теперь въ физиономистику пустился, тоже занятіе! Ну, такъ пойдемъ, поговоримъ. Въ двадцать минутъ я, во-первыхъ, успѣю вздушить адмирала Чайнскаго и пропущу березовки, потомъ зорной, потомъ померанцевой, потомъ parfait-amour, а по-

томъ еще что-нибудь изобрѣту. Пью, брать! Только по праздникамъ передъ обѣдней и хорошъ. А ты хоть и не пей. Миѣ просто тебя одного надо. А выпьешь—особенное благородство души докажешь. Пойдемъ! Сболтнемъ слова два, да и опять лѣтъ на десять врозь. Я, брать, тебѣ, Ваня, не пара!

— Ну, да ты не болтай, а поскорѣй пойдемъ. Двадцать минутъ твои, а тамъ и пусти.

Въ ресторацію надо было попасть, поднявшись по деревянной, двухколѣнчатой лѣстницѣ съ крылечкомъ, во второй этажъ. Но на лѣстницѣ мы вдругъ столкнулись съ двумя сильно выпившими господами. Увидя насъ, они, покачиваясь, посторонились.

Одинъ изъ нихъ былъ очень молодой и моложавый парень, еще безбородый, съ легкими, едва пробивающимися усиками и съ усиленно-глуповатымъ выраженіемъ лица. Одѣтъ онъ былъ франтомъ, но какъ-то смѣшно: точно онъ былъ въ чужомъ платьѣ, съ дорогими перстнями на пальцахъ, съ дорогой булавкой въ галстукъ и чрезвычайно глупо причесанный, съ какимъ-то кокомъ. Онъ все улыбался и хихикалъ. Товарищъ его былъ уже лѣтъ пятидесяти, толстый, пузатый, одѣтый довольно небрежно, тоже съ большой булавкой въ галстукъ, лысый и плѣшивый, съ обрюзглымъ, пьянымъ и рябымъ лицомъ и въ очкахъ на носу, похожемъ на пуговку. Выраженіе этого лица было злое и чувственное. Скверные, злые и подозрительные глаза заплыли жиромъ и глядѣли какъ изъ щелочекъ. Повидимому, они оба знали Маслобоева, но пузанъ, при встрѣчѣ съ нами, скорчилъ досадную, хоть и мгновенную гримасу, а молодой такъ и ушелъ въ какую-то подобострастно-сладкую улыбку. Онъ даже снялъ картузъ. Онъ былъ въ картузѣ

— Простите, Филиппъ Филиппычъ, пробормоталъ онъ, умильно смотря на него.

— А что?

— Виновать-съ... того-съ... (онъ щелкнулъ по воротнику). Тамъ Митрошка сидитъ-съ. Тамъ онъ выходитъ, Филиппъ Филиппычъ-съ, подлець-съ.

— Да что такое?

— Да ужъ такъ-съ... А ему вотъ (онъ кивнулъ на товарища), на прошлой недѣлѣ, черезъ того самого Митрошку-съ, въ неприличномъ мѣстѣ рожу въ сметанѣ вымазали-съ... кхи!

Товарищъ съ досадою подтолкнулъ его локтемъ.

— А вы бы съ нами, Филиппъ Филиппычъ, полдюжинки роспили-съ; прикажете надѣяться-съ?

— Нѣтъ, батюшка, теперь нельзя, отвѣчалъ Маслобоевъ.—Дѣло есть.

— Бхи! И у меня дѣльце есть-съ, до васъ-съ...

Товарищъ опять подтолкнулъ его локтемъ.

— Послѣ, послѣ!

Маслобоевъ какъ-то видимо старался не смотрѣть на нихъ. Но только что мы вошли въ первую комнату, черезъ которую, по всей длинѣ ея, тянулся довольно опрятный прилавокъ, весь уставленный закусками, подовыми пирогами, растегаями и графинами съ настойками разныхъ цвѣтовъ, какъ Маслобоевъ быстро отвелъ меня въ уголокъ и сказалъ:

— Молодой—это купеческій сынъ Сизобрюховъ, сынъ извѣстнаго лабазника, получилъ полмилліона послѣ отца и теперь кутить. Въ Парижъ ѣздилъ, денегъ видимо-невидимо тамъ убилъ, тамъ бы, можетъ, и все просадила, да послѣ дяди еще наслѣдство получилъ и вернулся изъ Парижа; такъ здѣсь ужъ и добываетъ остальное. Черезъ годъ-то онъ, разумѣется, пойдетъ по-міру. Глупъ какъ гусь,—и по первымъ ресторанамъ, и въ подвалахъ, и кабакахъ, и по актрисамъ, и въ гусары просился,—просьбу недавно подавалъ. Другой, пожилой,—Архиповъ, тоже что-то въ родѣ купца или управляющаго, шлялся и по откупамъ, бестія, шельма и теперешній товарищъ Сизобрюхова, Иуда и Фальстафъ, все вмѣстѣ, двукратный банкротъ и отвратительно чувственная тварь, съ разными вычурами. Въ этомъ родѣ я знаю за нимъ одно уголовное дѣло; вывернулся. По одному случаю я очень теперь радъ, что его здѣсь встрѣтилъ; я его ждалъ... Архиповъ, разумѣется, обираетъ Сизобрюхова. Много разныхъ закоулковъ знаетъ, тѣмъ и драгоцѣненъ для этакихъ вьюношей. Я, братъ, на него уже давно зубы точу. Точить на него зубы и Митрошка, вотъ тотъ молодцоватый парень въ богатой поддевкѣ—тамъ у окна стоитъ, цыганское лицо. Онъ лошадьми барышничаетъ и со всѣми здѣшними гусарами знакомъ. Я тебѣ скажу, такой плуть, что въ глазахъ у тебя будетъ фальшивую бумажку дѣлать, а ты хоть и видѣлъ, а все-таки ему ее размѣняешь. Онъ въ поддевкѣ, правда, въ бархатной, и похожъ на славянофила (да это, по-моему, къ нему и идетъ), а наряди его сейчасъ въ великолѣп-

нѣйшій фравъ и тому подобное, отведи его въ англійскій клубъ, да скажи тамъ: такой-то, дескать, владѣтельный графъ Барабановъ, такъ тамъ его два часа за графа почитать будутъ,—и въ вистъ сыграетъ и говорить по-графски будетъ, и не догадаются; надуетъ. Онъ плохо кончитъ. Такъ вотъ этотъ Митрошка на пузана крѣпко зубы точить, потому у Митрошки теперь тонко, а пузанъ у него Сизобрюхова отбилъ, прежняго пріятеля, съ котораго онъ не успѣлъ еще шерсточку обстричь. Если они сошлись теперь въ рестораціи, такъ тутъ вѣрно какая-нибудь штука была. Я даже знаю какаѣ и предугадываю, что Митрошка, а никто другой, извѣстилъ меня, что Архиповъ съ Сизобрюховымъ будутъ здѣсь и ширыяютъ по этимъ мѣстамъ за какимъ-то сквернымъ дѣломъ. Ненавистью Митрошки къ Архипову я хочу воспользоваться, потому что имѣю свои причины, да и явился я здѣсь почти по этой причинѣ. Вижу же Митрошкѣ не хочу показывать, да и ты на него не засматривайся. А когда будемъ выходить отсюда, то онъ навѣрно самъ ко мнѣ подойдетъ и скажетъ то, что мнѣ надо... А теперь пойдемъ, Ваня, вонъ въ ту комнату, видишь? Ну, Степанъ, продолжалъ онъ, обращаясь къ половому,— понимаешь, чего мнѣ надо?

— Понимаю-съ.

— И удовлетворишь!

— Удовлетворю-съ.

— удовлетвори. Садись, Ваня. Ну, что ты такъ на меня смотришь? Я вижу вѣдь, ты на меня смотришь. Удивляешься? Не удивляйся. Все можетъ съ человѣкомъ случиться, что даже и не снилось ему никогда, и ужъ особенно тогда... ну, да хоть тогда, когда мы съ тобой зубрили Корнелія Непота. Вотъ что, Ваня, вѣрь одному: Маслобоевъ хоть и сбился съ дороги, но сердце въ немъ то же осталось, а обстоятельства только перемѣнились. Я хоть и въ сажѣ, да никого не гаже. И въ доктора поступалъ, и въ учителя отечественной словесности готовился, и о Гоголѣ статью написалъ, и въ золотопромышленники хотѣлъ, и жениться собирался,—жива душа калачика хочетъ, и она соглашалась, хотя въ домѣ такая благодать, что нечѣмъ кошки изъ избы было выманить. Я было ужъ къ свадебной церемоніи и сапоги крѣпкіе занимать хотѣлъ, потому у самого были ужъ полтора года въ дыркахъ... Да и не женился. Она за учителя вышла, а я сталъ въ конторѣ служить, то-есть не въ коммерческой конторѣ, а

такъ просто въ конторѣ. Ну, тутъ пошла музыка не та. Протекли годы, и я теперь хоть и не служу, но денежки наживаю удобно: взятки беру и за правду стою; молодець противъ овецъ, а противъ молодца и самъ овца. Правила имѣю: знаю, напримѣръ, что одинъ въ полѣ не воинъ, и,—дѣло дѣлаю. Дѣло же мое больше по подноготной части... понимаешь?

— Да ты ужъ не сыщикъ-ли какой-нибудь?

— Нѣтъ, не то чтобы сыщикъ, а дѣлами нѣкоторыми занимаюсь, отчасти и официально, отчасти и по собственному призванью. Вотъ что, Ваня: водку пью. А такъ какъ ума я никогда не пропивалъ, то знаю и мою будущность. Время мое прошло, чернаго кобеля не отмоешь до-бѣла. Одно скажу: если-бъ во мнѣ не откликался еще человѣкъ, не подошелъ бы я сегодня къ тебѣ, Ваня. Правда твоя, встрѣчалъ я тебя, видалъ и прежде, много разъ хотѣлъ подойти, да все не смѣлъ, все откладывалъ. Не стою я тебя. И правду ты сказалъ, Ваня, что если и подошелъ, такъ только потому, что хмельной. И хоть все это сильнѣйшая ерунда, но мы обо мнѣ покончимъ. Давай лучше о тебѣ говорить. Ну, душа: читалъ! Читалъ, вѣдь и я прочелъ! Я, дружище, про твоего первенца говорю. Какъ прочелъ—я, братъ, чуть порядочнымъ человѣкомъ не сдѣлался! Чуть было, да только пораздумалъ и предпочелъ лучше остаться непорядочнымъ человѣкомъ. Такъ-то...

И много еще онъ мнѣ говорилъ. Онъ хмелѣлъ все больше и больше и начиналъ крѣпко умиляться, чуть не до слезъ. Маслбоевъ былъ всегда славный малый, но всегда себѣ на умѣ и развитъ какъ-то не по силамъ; хитрый, пронырливый, пролазъ и ерочокъ еще съ самой школы, но въ сущности человѣкъ не безъ сердца; погибшій человѣкъ. Такихъ людей между русскими людьми много. Бываютъ они часто съ большими способностями; но все это въ нихъ какъ-то перепутывается, да сверхъ того они въ состояніи сознательно идти противъ своей совѣсти изъ слабости на извѣстныхъ пунктахъ, и не только всегда погибаютъ, но и сами заранѣе знаютъ, что идутъ къ гибели. Маслбоевъ, между прочимъ, потонулъ въ винѣ.

— Теперь, другъ, еще одно слово, продолжалъ онъ.— Слышалъ я, какъ твоя слава сперва прогремѣла; читалъ потомъ на тебя разныя критики (право, читалъ; ты думаешь, я ужъ ничего не читаю); встрѣчалъ тебя потомъ въ худыхъ сапогахъ, въ грязи, безъ калошъ, въ обломанной

пляшѣ и кой-о-чемъ догадался. По журналистамъ теперь промышляешь?

— Да, Маслобоевъ.

— Значить, въ почтовый ящикъ записался?

— Похоже на то.

— Ну, такъ на это я, братъ, вотъ что скажу: пить лучше! Я вотъ напьюсь, лягу себѣ на диванъ (а у меня диванъ славный, съ пружинами), и думаю, что вотъ я, напримѣръ, какой-нибудь Гомеръ или Дантъ, или какой-нибудь Фредерикъ Барбаруса,—вѣдь все можно себѣ представить. Ну, а тебѣ нельзя представлять себѣ, что ты Дантъ или Фредерикъ Барбаруса, во-первыхъ, потому, что ты хочешь быть самъ по себѣ, а, во-вторыхъ, потому, что тебѣ всякое хотѣніе запрещено; ибо ты почтовая ящичка. У меня воображеніе, а у тебя дѣйствительность. Послушай же откровенно и прямо, по-братски (не то на десять лѣтъ обидишь и унизишь меня),—не надо-ли денегъ? Есть. Да ты не гримасничай. Деньги возьми, расплатись съ антрепренерами, скинь хомуть, потомъ обезпечь себѣ цѣлый годъ жизни и садись за любимую мысль, пиши великое произведеніе! А? Что скажешь?

— Слушай, Маслобоевъ! Братское твое предложеніе цѣню, но ничего не могу теперь отвѣчать,—а почему?—долго рассказывать. Есть обстоятельства. Впрочемъ, общаюсь: все расскажу тебѣ потомъ, по-братски. За предложеніе благодарю: общаюсь, что приду къ тебѣ, и приду много разъ. Но вотъ въ чемъ дѣло: ты со мной откровененъ, а потому и я рѣшаюсь спросить у тебя совѣта, тѣмъ болѣе, что ты, кажется, въ этихъ дѣлахъ мастакъ.

И я рассказалъ ему свою исторію Смита и его внучки, начиная съ самой кондитерской. Странное дѣло: когда я рассказывалъ, мнѣ по глазамъ его показалось, что онъ кой-что знаетъ изъ этой исторіи. Я спросилъ его объ этомъ.

— Нѣтъ, не то! отвѣчалъ онъ.—Впрочемъ, такъ кой-что о Смитѣ я слышалъ, что умеръ какой-то старикъ въ кондитерской. А о мадамъ Бубновой я дѣйствительно кое-что знаю. Съ этой дамы я ужъ взялъ два мѣсяца тому назадъ взятку. *Je prends mon bien, où je le trouve* и только въ этомъ смыслѣ похожъ на Мольера. Но хотя я и содралъ съ нея сто рублей, все-таки я тогда же далъ себѣ слово скрутить ее уже не на сто, а на пятьсотъ рублей. Скверная баба! Непозволительными дѣлами занимается. Оно бы и ничего, да иногда ужъ слишкомъ до худого

доходить. Ты не считай меня пожалуйста донъ-Кихотомъ. Дѣло все въ томъ, что можетъ крѣпко мнѣ перепастъ и когда я, полчаса тому назадъ, Сизобрюхова встрѣтилъ, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели и привелъ его пузанъ, а такъ какъ я знаю, по какого рода дѣламъ пузанъ особенно промышляетъ, то и заключаю... Ну, да ужъ я его накрою! Я очень радъ, что отъ тебя про эту дѣвочку услыхалъ; теперь я на другой слѣдъ попалъ. Я вѣдь, братъ, разными частными комиссіями занимаюсь, да еще съ какими людьми знакомъ! Разыскивалъ я недавно одно дѣльцо для одного князя, такъ я тебѣ скажу—такое дѣльцо, что отъ этого князя и ожидать нельзя было. А то, хочешь, другую исторію про мужнюю жену расскажу? Ты, братъ, ко мнѣ ходи, я тебѣ такихъ сюжетовъ наготовилъ, что опиши ихъ, такъ не повѣрятъ тебѣ...

— А какъ фамилія того князя? перебилъ я его, предчувствуя что-то.

— А тебѣ на что? Изволь: Валковскій.

— Петръ?

— Онъ. Ты знакомъ?

— Знакомъ, да не очень. Ну, Маслобоевъ, я объ этомъ господинѣ къ тебѣ не разъ понавѣдаюсь, сказалъ я, вставая,—ты меня ужасно заинтересовалъ.

— Вотъ видишь, старый пріятель, навѣдывайся сколько хочешь. Сказки я умѣю рассказывать, но вѣдь до извѣстныхъ предѣловъ, понимаешь? Не то кредитъ и честь потеряешь, дѣловую, то-есть, ну, и такъ далѣе.

— Ну, насколько честь позволить.

Я былъ даже въ волненіи. Онъ это замѣтилъ.

— Ну, что-жъ теперь скажешь мнѣ про ту исторію, которую я сейчасъ тебѣ рассказалъ. Придумалъ ты что или нѣтъ?

— Про твою исторію? А вотъ подожди меня двѣ минутки, я расплачусь.

Онъ пошелъ къ буфету и тамъ, какъ бы нечаянно, вдругъ очутился вмѣстѣ съ тѣмъ парнемъ въ поддевкѣ, котораго такъ безцеремонно звали Митрошкой. Мнѣ показалось, что Маслобоевъ зналъ его нѣсколько ближе, чѣмъ самъ признавался мнѣ. По крайней мѣрѣ, видно было, что сошлись они теперь не въ первый разъ.

Митрошка былъ съ виду парень довольно оригинальный. Въ своей поддевкѣ, въ шелковой красной рубашкѣ, съ

рѣзкими, но благообразными чертами лица, еще довольно моложавый, смуглый, съ смѣлымъ сверкающимъ взглядомъ, онъ производилъ и любопытное, и не отталкивающее впечатлѣніе. Жестъ его былъ какъ-то выдѣланно-удалой, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ настоящую минуту онъ видимо сдерживалъ себя, всего болѣе желая себѣ придать видъ чрезвычайной дѣловитости, важности и солидности.

— Вотъ что, Ваня, сказалъ Маслобоевъ, воротаясь ко мнѣ, — навѣдайся-ка ты сегодня ко мнѣ; въ семь часовъ, такъ я, можетъ, кой-что и скажу тебѣ. Одинъ-то я, видишь-ли, ничего не значу; прежде значилъ, а теперь только пьяница и удалился отъ дѣлъ. Но у меня остались прежнія сношенія; могу кой-о-чемъ развѣдать, съ разными тонкими людьми перенюхаться; этимъ и беру; правда, въ свободное, то-есть трезвое время и самъ кой-что дѣлаю, тоже черезъ знакомыхъ... больше по развѣдкамъ... Ну, да что тутъ! Довольно... Вотъ и адресъ мой: въ Шестилавочной. А теперь, братъ, я ужъ слишкомъ провисъ. Пропущу еще золотую, да и домой. Полежу. Придешь — съ Александрой Семеновной познакомлю, а будетъ время, и о поэзіи поговоримъ.

— Ну, а о томъ-то?

— Ну, и о томъ, можетъ-быть.

— Пожалуй, приду, навѣрно приду...

ГЛАВА VI.

Анна Андреевна уже давно дожидалась меня. То, что я вчера сказалъ ей о запискѣ Наташи, сильно завлекло ея любопытство, и она ждала меня гораздо раньше утромъ, по крайней мѣрѣ, часовъ въ десять. Когда же я явился къ ней, во второмъ часу пополудни, то муки ожиданія достигли въ бѣдной старушкѣ послѣдней степени своей силы. Кромѣ того, ей очень хотѣлось объявить мнѣ о своихъ новыхъ надеждахъ, возродившихся въ ней со вчерашняго дня, и о Николаѣ Сергѣичѣ, который со вчерашняго дня прихворнулъ, сталъ угрюмъ, а между тѣмъ и какъ-то особенно съ нею нѣженъ. Когда я появился, она приняла было меня съ недовольной и холодной сладкой въ лицѣ, едва цѣдила сквозь зубы и не показывала ни малѣйшаго любопытства, какъ будто чуть не проговаривала: „Зачѣмъ пришелъ? Охота тебѣ, батюшка, каждый день шлаться“. Она сердилась на поздній приходъ. Но я спѣшилъ, и потому безъ дальнѣйшихъ проволочекъ

разказалъ ей всю вчерашнюю сцену у Наташи. Какъ только старушка услышала о посѣщеніи старшаго князя и о торжественномъ его предложеніи, такъ тотчасъ же соскочила съ нея вся напуская хандра. Недостаетъ у меня словъ описать, какъ она обрадовалась, даже какъ-то потерялась, крестилась, плакала, клала передъ образомъ земные поклоны, обнимала меня и хотѣла тотчасъ же бѣжать къ Николаю Сергѣичу и объявить ему свою радость.

— Помилуй, батюшка, вѣдь это онъ все отъ разныхъ униженій и оскорбленій хандрить, а вотъ теперь узнаетъ, что Наташѣ полное удовлетвореніе сдѣлано, такъ мигомъ все позабудетъ.

Насилу я отговорилъ ее. Добрая старушка, несмотря на то, что двадцать пять лѣтъ прожила съ мужемъ, еще плохо знала его. Ей ужасно тоже захотѣлось тотчасъ же поѣхать со мной къ Наташѣ. Я представилъ ей, что Николай Сергѣичъ не только, можетъ-быть, не одобритъ ея поступка, но еще мы этимъ повредимъ всему дѣлу. Насилу-то она одумалась, но продержала меня еще полчаса лишникъ и все время говорила только сама. „Съ кѣмъ же я-то теперь останусь“, говорила она, „съ такой радостью, да сидя одна въ четырехъ стѣнахъ?“ Наконецъ, я убѣдилъ ее отпустить меня, представивъ ей, что Наташа теперь ждетъ меня не дождется. Старушка перекрестила меня нѣсколько разъ на дорогу, послала особое благословеніе Наташѣ и чуть не заплакала, когда я рѣшительно отказался придти въ тотъ же день еще разъ, вечеромъ, если съ Наташей не случится чего особеннаго. Николаю Сергѣича въ этотъ разъ я не видалъ: онъ не спалъ всю ночь, жаловался на головную боль, на ознобъ и теперь спалъ въ своемъ кабинетикѣ.

Тоже и Наташа прождала меня все утро. Когда я вошелъ, она по обыкновенію своему ходила по комнатѣ, сложа руки и о чемъ-то раздумывая. Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней, я не иначе представляю ее, какъ всегда одну въ бѣдной комнаткѣ, задумчивую, оставленную, ожидающую, со сложенными руками, съ опущенными внизъ глазами, расхаживающую безцѣльно взадъ и впередъ.

Она тихо, все еще продолжая ходить, спросила, почему я такъ поздно. Я разказалъ ей вкратцѣ всѣ мои похождения, но она меня почти и не слушала. Замѣтно было, что она чѣмъ-то очень озабочена.

— Чтò новаго? спросилъ я.

— Новаго ничего! отвѣчала она, но съ такимъ видомъ, по которому я тотчасъ догадался, что новое у ней есть и что она для того и ждала меня, чтобъ рассказать это новое, но по обыкновенію своему расскажетъ не сейчасъ, а когда я буду уходить.

Такъ всегда у насъ было. Я ужъ примѣнился къ ней и ждалъ.

Мы, разумѣется, начали разговоръ о вчерашнемъ. Меня особенно поразило то, что мы совершенно сходимся съ ней въ впечатлѣніи нашемъ о старомъ князѣ: ей онъ рѣшительно не нравился, гораздо больше не нравился, чѣмъ вчера. И когда мы перебрали по черточкамъ весь его вчерашній визитъ, Наташа вдругъ сказала:

— Послушай, Ваня, а вѣдь такъ всегда бываетъ, что вотъ если сначала человѣкъ не понравится, то ужъ это почти признакъ, что онъ непременно понравится потомъ. По крайней мѣрѣ, такъ всегда бывало со мною.

— Дай Богъ такъ, Наташа. Къ тому же, вотъ мое мнѣніе, и окончательное: я все перебралъ и вывелъ, что хоть князь, можетъ-быть, и іезуитничаетъ, но соглашается онъ на вашъ бракъ вправду и серьезно.

Наташа остановилась среди комнаты и сурово взглянула на меня. Все лицо ея измѣнилось; даже губы слегка вздрогнули.

— Да какъ же бы онъ могъ въ *такомъ* случаѣ начать хитрить и... лгать? спросила она съ надменнымъ недоумѣніемъ.

— То-то, то-то! поддакнулъ я скорѣе.

— Разумѣется, не лгалъ. Мнѣ кажется, и думать объ этомъ нечего. Нельзя даже предлога приискать къ какой-нибудь хитрости. И, наконецъ, что-жъ я такое въ глазахъ его, чтобъ до такой степени смѣяться надо мной? Неужели человѣкъ можетъ быть способенъ на такую обиду?

— Конечно, конечно! подтверждалъ я, а про себя подумалъ: „ты, вѣрно, объ этомъ только и думаешь теперь, ходя по комнатѣ, моя бѣдняжка, и, можетъ, еще больше сомнѣваешься, чѣмъ я“.

— Ахъ, какъ бы я желала, чтобъ онъ поскорѣе воротился! сказала она. — Цѣлый вечеръ хотѣлъ просидѣть у меня и тогда... Должно-быть, важныя дѣла, коль все бросилъ да уѣхалъ. Не знаешь-ли, какія, Ваня? Не слыхалъ-ли чего-нибудь?

— А Господь его знает. Вѣдь онъ все деньги наживаетъ. Я слышала, участокъ въ какомъ-то подрядѣ здѣсь въ Петербургѣ беретъ. Мы, Наташа, въ дѣлахъ ничего не смыслимъ.

— Разумѣется, не смыслимъ. Алеша говорилъ про какое-то письмо вчера.

— Извѣстіе какое-нибудь. А былъ Алеша?

— Былъ.

— Рано?

— Въ двѣнадцать часовъ; да вѣдь онъ долго спитъ. Посидѣлъ. Я прогнала его къ Катеринѣ Федоровнѣ; нельзя же, Ваня?

— А развѣ самъ онъ не собирался туда?

— Нѣтъ, и самъ собирался...

Она хотѣла что-то еще прибавить и замолчала. Я глядѣлъ на нее и выжидалъ. Лицо у ней было грустное. Я бы и спросилъ ее, да она очень иногда не любила разспросовъ.

— Станный этотъ мальчикъ, сказала она, наконецъ, слегка искрививъ ротъ и какъ будто стараясь не глядѣть на меня.

— А что? Вѣрно что-нибудь у васъ было?

— Нѣтъ, ничего; такъ... Онъ былъ, впрочемъ, и милый... Только ужъ...

— Вотъ теперь всѣ его горести и заботы кончились, сказалъ я.

Наташа пристально и пытливо взглянула на меня. Ей, можетъ-быть, самой хотѣлось бы отвѣтить мнѣ: „Немного-то было у него горестей и заботъ и прежде“; но ей показалось, что въ моихъ словахъ та же мысль. Она и надулась.

Впрочемъ, тотчасъ же опять стала и привѣтлива, и любезна. Въ этотъ разъ она была чрезвычайно кротка. Я просидѣлъ у ней болѣе часу. Она очень безпокоилась. Князь пугалъ ее. Я замѣтилъ по нѣкоторымъ ея вопросамъ, что ей очень бы хотѣлось узнать навѣрно, какое именно произвела она на него вчера впечатлѣніе? Такъ-ли она себя держала? Не слишкомъ-ли она выразила передъ нимъ свою радость? Не была-ли слишкомъ обидчива? Или, наоборотъ, ужъ слишкомъ снисходительна? Не подумалъ бы онъ чего-нибудь! Не просмѣялъ бы! Не почувствовалъ бы презрѣнія къ ней!.. Отъ этой мысли щеки ея вспыхнули, какъ огонь.

— Неужели можно такъ волноваться изъ-за того только, что дурной человѣкъ что-нибудь подумаетъ? Да пусть его думаетъ! сказалъ я.

— Почему же онъ дурной? спросила она.

Наташа была мнительна, но чиста сердцемъ и прямодушна. Мнительность ея происходила изъ чистаго источника. Она была горда, и благородно горда, и не могла перенести, если то, что считала выше всего, предалось бы на посмѣяніе въ ея же глазахъ. На презрѣніе человѣка низкаго она, конечно, отвѣчала бы только презрѣніемъ, но все-таки болѣла бы сердцемъ за насмѣшку надъ тѣмъ, что считала святынею, кто бы ни смѣялся. Не отъ недостатка твердости происходило это. Происходило отчасти и отъ слишкомъ малаго знанія свѣта, отъ непривычки къ людямъ, отъ замкнутости въ своемъ углу. Она всю жизнь прожила въ своемъ углу, почти не выходя изъ него. И, наконецъ, свойство самыхъ добродушныхъ людей, можетъ-быть, перешедшее къ ней отъ отца, — захвалить человѣка, упорно считать его лучше, чѣмъ онъ въ самомъ дѣлѣ, сгоряча преувеличивать въ немъ все доброе, — было въ ней развито въ сильной степени. Тяжело такимъ людямъ потомъ разочаровываться; еще тяжеле, когда чувствуешь, что самъ виноватъ. Зачѣмъ ожидалъ болѣе, чѣмъ могутъ дать? А такихъ людей поминутно ждетъ такое разочарованіе. Всего лучше, если они спокойно сидятъ въ своихъ углахъ и не выходятъ на свѣтъ; я даже замѣтилъ, что они дѣйствительно любятъ свои углы до того, что даже дичають въ нихъ. Впрочемъ, Наташа перенесла много несчастій, много оскорбленій. Это было уже большое существо, и ее нельзя винить, если только въ моихъ словахъ есть обвиненіе.

Но я спѣшилъ и всталъ уходить. Она изумилась и чуть не заплакала, что я уйду, хотя все время, какъ я сидѣлъ, не показывала мнѣ никакой особенной нѣжности, напротивъ, даже была со мной какъ будто холоднѣе обыкновеннаго. Она горячо поцѣловала меня и какъ-то долго посмотрѣла мнѣ въ глаза.

— Послушай, сказала она, — Алеша былъ пресмѣшной сегодня и даже удивилъ меня. Онъ былъ очень милъ, очень счастливъ съ виду, но влетѣлъ такимъ мотылькомъ, такимъ фатомъ, все передъ зеркаломъ вертѣлся. Ужъ онъ слишкомъ какъ-то безъ церемоніи теперь... да и сидѣлъ-то недолго. Представь: мнѣ конфетъ привезъ!

— Конфетъ? Что-жъ, это очень мило и простодушно. Ахъ, какіе вы оба! Вотъ ужъ и пошли теперь наблюдать другъ за другомъ, шпионить, лица другъ у друга изучать, тайныя мысли на нихъ читать (а ничего-то вы въ нихъ и не понимаете!). Еще онъ ничего. Онъ веселый и школьникъ попрежнему. А ты-то, ты-то!

И всегда, когда Наташа перемѣняла тонъ и подходила, бывало, ко мнѣ или съ жалобой на Алешу, или для разрѣшенія какихъ-нибудь щекотливыхъ недоумѣній, или съ какимъ-нибудь секретомъ и съ желаніемъ, чтобъ я понялъ его съ полслова, то, помню, она всегда смотрѣла на меня оскала зубки и какъ будто вымаливая, чтобъ я непременно рѣшилъ какъ-нибудь такъ, чтобъ ей тотчасъ же стало легче на сердцѣ. Но помню тоже, я въ такихъ случаяхъ всегда какъ-то принималъ суровый и рѣзкій тонъ, точно распекая кого-то, и дѣлалось это у меня совершенно нечаянно, но всегда удавалось. Суровость и важность моя были кстати, казались авторитетнѣе, а вѣдь иногда человѣкъ чувствуетъ непреодолимую потребность, чтобъ его кто-нибудь пораспекъ. По крайней мѣрѣ, Наташа уходила отъ меня иногда совершенно утѣшенная.

— Нѣтъ, видишь, Ваня, продолжала она, держа одну свою ручку на моемъ плечѣ, другою сжимая мнѣ руку, а глазами заискивая въ моихъ глазахъ, — мнѣ показалось, что онъ былъ какъ-то мало проникнуть... онъ показался мнѣ такимъ ужъ шагъ, — знаешь, какъ будто десять лѣтъ женатъ, но все еще любезный съ женой человѣкъ. Не рано-ли ужъ очень?.. Смѣялся, вертѣлся, но какъ будто это все ко мнѣ только такъ, только ужъ отчасти относится, а не такъ, какъ прежде... Очень торопился въ Катеринѣ Федоровнѣ... Я ему говорю, а онъ не слушаетъ или о другомъ заговариваетъ, знаешь, эта скверная, великосвѣтская привычка, отъ которой мы оба его такъ отучали. Однимъ словомъ, былъ такой... даже какъ будто равнодушный... Но что я! Вотъ и пошла, вотъ и начала! Ахъ, какіе мы всѣ требовательные, Ваня, какіе капризные деспоты! Только теперь вижу! Пустой перемѣны въ лицѣ человѣку не простимъ, а у него еще Богъ знаетъ отчего перемѣнилось лицо! Ты правъ, Ваня, что сейчасъ укорялъ меня! Это я одна во всемъ виновата! Сами себѣ горести создаемъ, да еще жалуемся... Спасибо, Ваня, ты меня совершенно утѣшилъ. Ахъ, кабы онъ сегодня пріѣхалъ! Да чего! Пожалуй еще разсердится за давешнее.

— Да неужели вы ужъ поссорились? вскричалъ я съ удивленіемъ.

— И виду не подала! Только я была немного грустна, а онъ изъ веселаго сталъ вдругъ задумчивымъ и, мнѣ показалось, сухо со мной простился. Да я пошлю за нимъ... Приходи и ты, Ваня, сегодня.

— Непремѣнно, если только не задержать одно дѣло.

— Ну, вотъ, какое тамъ дѣло?

— Да навязалъ себѣ! А, впрочемъ, кажется, непременно приду.

ГЛАВА VII.

Ровно въ семь часовъ я былъ у Маслобоева. Онъ жилъ въ Шестилавочной, въ небольшомъ домѣ, во флигелѣ, въ довольно неопрятной квартирѣ о трехъ комнатахъ, впрочемъ, не бѣдно мебелированныхъ. Виденъ былъ даже нѣкоторый достатокъ и въ то же время чрезвычайная нехозяйственность. Мнѣ отворила прехорошенькая дѣвушка лѣтъ девятнадцати, очень просто, но очень мило одѣтая, очень чистенькая и съ предобрými, веселыми глазами. Я тотчасъ догадался, что это и есть та самая Александра Семеновна, о которой онъ упомянулъ вскользь давеча, подманивая меня съ ней познакомиться. Она спросила, кто я, и, услышавъ фамилію, сказала, что онъ ждетъ меня, но что теперь спитъ въ своей комнатѣ, куда меня и повела. Маслобоевъ спалъ на прекрасномъ, мягкомъ диванѣ, накрытый своею грязною шинелью, съ кожаной истертой подушкой въ головахъ. Сонъ у него былъ очень чуткій; только что мы вошли, онъ тотчасъ же окликнулъ меня по имени.

— А! Это ты? Жду. Сейчасъ во снѣ видѣлъ, что ты пришелъ и меня будишь. Значитъ, пора. Ѣдемъ.

— Куда Ѣдемъ?

— Къ дамѣ.

— Къ какой? Зачѣмъ?

— Къ мадамъ Бубновой, затѣмъ, чтобъ ее раскассировать. А какая красotka-то! протянулъ онъ, обращаясь къ Александрѣ Семеновнѣ, и даже поцѣловалъ кончики пальцевъ при воспоминаніи о мадамъ Бубновой.

— Ну, ужъ пошелъ, выдумалъ! проговорила Александра Семеновна, считая неперемѣннымъ долгомъ немного разсердиться.

— Незнакомъ? Познакомься, братъ: вотъ, Александра

Семеновна, рекомендую тебѣ, это литературный генералъ; ихъ только разъ въ годъ даромъ осматриваютъ, а въ прочее время за деньги.

— Ну, вотъ дуру нашель. Вы его, пожалуйста, не слушайте, все смѣется надо мной. Какіе они генералы?

— Я про то вамъ и говорю, что особенные. А ты, ваше превосходительство, не думай, что мы глупы; мы гораздо умнѣе, чѣмъ съ перваго взгляда кажемся.

— Да не слушайте его! Вѣчно-то застыдить при хорошихъ людяхъ, безстыдникъ! Хоть бы въ театръ когда свезъ!

— Любите, Александра Семеновна, домашніе свои... А не забыли, что любить-то надо? Словечко-то не забыли? Вотъ которому я васъ училъ!

— Конечно, не забыла. Вздоръ-какой нибудь значить.

— Ну, да какое-жъ словечко-то?

— Вотъ стану я страмиться при гостѣ. Оно, можетъ-быть, страмъ какой значить. Языкъ отсохни, коли скажу.

— Значить, забыли-съ?

— А вотъ и не забыла: пенаты!.. Любите свои пенаты... вѣдь вотъ что выдумаетъ! Можетъ, никакихъ пенатовъ и не было; и за что ихъ любить-то? Все вретъ!

— Зато у мадамъ Бубновой...

— Тѣфу ты съ своей Бубновой...

И Александра Семеновна выбѣжала въ величайшемъ негодованіи.

— Пора! Идемъ! Прощайте, Александра Семеновна!

Мы вышли.

— Видишь, Ваня, во-первыхъ, сядемъ на этого извозчика. Такъ. А, во-вторыхъ, я давеча какъ съ тобой простился, кое-что еще узналъ и узналъ ужъ не по догадкамъ, а въ точности. Я еще на Васильевскомъ дѣльный часъ оставался. Этотъ пузанъ—страшная каналья, грязный, гадкій, съ вычурами и съ разными подлыми ввусами. Эта Бубнова давно ужъ извѣстна кой-какими продѣлками въ этомъ же родѣ. Она на-дняхъ съ одной дѣвочкой изъ честнаго дома чуть не попалась. Эти кисейныя платья, въ которыя она рядила эту сиротку (вотъ ты давеча рассказывалъ), не давали мнѣ покоя, потому что я кой-что уже до этого слышалъ. Давеча я кой-что еще разузналъ, правда, совершенно случайно, но, кажется, навѣрно. Сколько лѣтъ?

— По лицу лѣтъ тринадцать.

— А по росту меньше. Ну, такъ она и сдѣлаетъ. Коли

надо, скажете одиннадцать, а то пятнадцать. И такъ какъ у бѣдняжки ни защиты, ни семейства, то...

— Неужели?

— А ты что думалъ? Да ужъ мадамъ Бубнова изъ одного состраданія не взяла бы къ себѣ сироту. А ужъ если пузанъ туда повадился, такъ ужъ такъ. Онъ съ ней давеча утромъ видѣлся. А болвану Сизобрюхову обѣщана сегодня красавица мужняя жена, чиновница и штабъ-офицерка. Купецкія дѣти изъ кутящихъ до этого падки: всегда про чинъ спросятъ. Это какъ въ латинской грамматикѣ; помнишь: значеніе предпочитается окончанію. А впрочемъ, я еще, кажется, съ давешняго пьянъ. Ну, а Бубнова такими дѣлами заниматься не смѣй. Она и полицію надуть хочетъ; да врешь! А потому я и пугну, такъ какъ она знаетъ, что я, по старой памяти... ну и прочее, понимаешь?

Я былъ страшно пораженъ. Всѣ эти извѣстія взволновали мою душу. Я все боялся, что мы опоздаемъ, и погналъ извозчика.

— Не безпокойся; мѣры приняты, говорилъ Маслобоевъ.— Тамъ Митрошка. Сизобрюховъ ему заплатится деньгами, а пузатый подлецъ—натурой. Это еще давеча рѣшено было. Ну, а Бубнова на мой пай приходится... Потому она не смѣй...

Мы пріѣхали и остановились у рестораціи; но человѣка, называвшагося Митрошкой, тамъ не было. Приказавъ извозчику насъ дожидаться у крыльца рестораціи, мы пошли къ Бубновой. Митрошка поджидалъ насъ у воротъ. Въ окнахъ разливался яркій свѣтъ и слышался пьяный, раскатистый смѣхъ Сизобрюхова.

— Тамъ они всѣ, съ четверть часа будетъ, извѣстилъ Митрошка.—Теперь самое время.

— Да какъ же войдемъ? спросилъ я.

— Какъ гости, возразилъ Маслобоевъ,—она меня знаетъ; да и Митрошку знаетъ. Правда, все на заперѣ, да только не для насъ.

Онъ тихо постучалъ въ ворота, и они тотчасъ же отворились. Отворилъ дворникъ и перемигнулся съ Митрошкой. Мы вошли тихо; въ домѣ насъ не слышали. Дворникъ провелъ насъ по лѣсенкѣ и постучался. Его окликнули; онъ отвѣчалъ, что одинъ: „дескать, надоть“. Отворили, и мы всѣ вошли разомъ. Дворникъ скрылся.

— Ай, кто это? закричала Бубнова, пьяная и растрепанная, стоявшая въ крошечной передней, со свѣчою въ рукахъ.

— Кто? подхватилъ Маслобоевъ.—Какъ же вы это, Анна

Трифоновна, дорогихъ гостей не узнаете? Кто же какъ не мы?.. Филиппъ Филиппычъ.

— Ахъ, Филиппъ Филиппычъ! Это вы-съ... дорогіе гости... Да какъ же вы-съ... я-съ... ничего-съ... пожалуйте сюда-съ.

И она совсѣмъ заметалась.

— Куда—сюда? Да тутъ перегородка... Нѣтъ, вы насъ принимайте получше. Мы у васъ холодненькаго выпьемъ, да машерочекъ нѣтъ-ли?

Хозяйка мигомъ ободрилась.

— Да для такихъ дорогихъ гостей изъ-подъ земли найду; изъ китайскаго государства выпишу.

— Два слова, голубушка Анна Трифоновна: здѣсь Сизобрюховъ?

— Здѣсь.

— Такъ его-то мнѣ и надобно. Какъ же онъ смѣлъ, подлецъ, безъ меня кутить?

— Да онъ васъ вѣрно не позабылъ. Все кого-то поджидалъ; вѣрно васъ.

Маслобоевъ толкнулъ дверь и мы очутились въ небольшой комнатѣ, въ два окна, съ геранями, плетеными стульями и съ сквернѣйшими фортепіанами; все какъ слѣдовало. Но еще прежде чѣмъ мы вошли, еще когда мы разговаривали въ передней, Митрошка стусевался. Я послѣ узналъ, что онъ и не входилъ, а пережидалъ за дверью. Ему было кому потомъ отворить. Растрепанная и нарумяненная женщина, выглядывавшая давеча утромъ изъ-за плеча Бубновой, приходилась ему кума.

Сизобрюховъ сидѣлъ на тоненькомъ диванчикѣ подъ красное дерево, передъ круглымъ столомъ, накрытымъ скатертью. На столѣ стояли двѣ бутылки теплаго шампанскаго, бутылка севернаго рому; стояли тарелки съ кондитерскими конфетами, пряниками и орѣхами трехъ сортовъ. За столомъ, напротивъ Сизобрюхова, сидѣло отвратительное существо лѣтъ сорока и рябое, въ черномъ тафтяномъ платьѣ и съ бронзовыми браслетами и брошками. Это была штабъ-офицерка, очевидно поддѣльная. Сизобрюховъ былъ пьянъ и очень доволенъ. Пузатаго его спутника съ нимъ не было.

— Такъ-то люди дѣлаютъ! заревѣлъ во все горло Маслобоевъ,—а еще къ Дюссо приглашаетъ!

— Филиппъ Филиппычъ, ошастливили-съ? пробормоталъ Сизобрюховъ, съ блаженнымъ видомъ подымаясь намъ навстрѣчу.

— Пьешь?

— Извините-сь.

— Да ты не извиняйся, а приглашай гостей. Съ тобой погулять прїѣхали. Вотъ привезъ еще гостя: прїатель! Маслобоевъ указаль на меня.

— Рады-сь, то-есть ошастливили-сь... Кхи!

— Ишь, шампанское называется! На кисляя щи похоже.

— Обижаете-сь.

— Знать ты къ Дюссо-то и показаться не смѣешь; а еще приглашаетъ!

— Онъ сейчасъ рассказываль, что въ Парижѣ былъ, подхватила штабъ-офицерка.—Вотъ вретъ-то должно-быть!

— Ѳедосья Титишна, не обижайте-сь. Были-сь. Ъздили-сь.

— Ну, такому-ли мужику въ Парижѣ быть?

— Были-сь. Могли-сь. Мы тамъ съ Карпомъ Васильичемъ отличались. Карпа Васильича изволите знать-сь?

— А на чтò мнѣ знать твоего Карпа Васильича?

— Да ужъ такъ-сь... изъ политїи дѣло-сь. А мы съ нимъ тамъ, въ мѣстечкѣ Парижѣ-сь, у мадамъ Жуберъ-сь, аглицкую трюму разбили-сь.

— Чтò разбили?

— Трюму-сь. Трюма такая была, во всю стѣну до потолка простиралась; а ужъ Карпъ-то Васильичъ такъ пьянь, что ужъ съ мадамъ Жуберъ-сь по-русски заговориль. Онъ это у трюмы сталь, да и облокотилься. А Жуберта-то и кричить ему, по-свойски, то-есть: „Трюма семьсотъ франковъ стоитъ (по-нашему четвертаковъ), разобьешь!“ Онъ ухмыляется да на меня смотрить; а я супротивъ сїжу на канане и красота со мной, да не такое рыло, какъ вотъ эфта-сь, а съ киксомъ, словомъ сказать-сь. Онъ и кричить: „Степанъ Терентьичъ, а Степанъ Терентьичъ! Пополамъ идти, что-ли?“ Я говорю „идеть!“ Какъ онъ кулачищемъ-то по трюмъ-то стукнетъ,—дзынь! Только осколки посыпались. Завизжала Жуберта, такъ въ рожу ему прямо и лѣзетъ: „Чтò ты, разбойникъ, куда пришель?“ (по-ихнему, то-есть). А онъ ей: „Ты, говоритъ, мадамъ Жуберъ-сь, деньги бери, а ндраву моему не препятствуй“, да тутъ же ей шестьсотъ пятьдесятъ франковъ и отвалиль. Полсотни выторговали-сь.

Въ эту минуту страшный, пронзительный крикъ раздался гдѣ-то за нѣсколькими дверями, за двѣ или за три комнатки отъ той, въ которой мы были. Я вздрогнулъ и тоже закричалъ. Я узналъ этотъ крикъ: это былъ голосъ

Елены. Тотчасъ же вслѣдъ за этимъ жалобнымъ крикомъ раздались другіе крики, ругательства, возня и, наконецъ, ясные, звонкіе, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это вѣроятно справлялся Митрошка по своей части. Вдругъ съ силой отворилась дверь, и Елена, блѣдная, съ помутившимися глазами, въ бѣломъ кисейномъ, но совершенно измятомъ и изорванномъ платьѣ, съ расчесанными, но съ разбившимися, какъ бы въ борьбѣ, волосами, ворвалась въ комнату. Я стоялъ противъ дверей, и она бросилась прямо ко мнѣ и обхватила меня руками. Всѣ вскочили, всѣ переполошились. Визги и крики раздались при ея появленіи. Вслѣдъ за ней показался въ дверяхъ Митрошка, волоча за волоса своего пузатаго недруга въ самомъ растерзанномъ видѣ. Онъ доволокъ его до порога и вбросилъ къ намъ въ комнату.

— Вотъ онъ! Берите его! произнесъ Митрошка, съ совершенно довольнымъ видомъ.

— Слушай, проговорилъ Маслобоевъ, спокойно подходя ко мнѣ и стукнувъ меня по плечу, — бери нашего извозчика, бери дѣвочку и поѣзжай къ себѣ, а здѣсь тебѣ больше нечего дѣлать. Завтра уладимъ и остальное.

Я не заставилъ себѣ повторять два раза. Схвативъ за руку Елену, я вывелъ ее изъ этого вертепа. Ужъ не знаю, какъ тамъ у нихъ кончилось. Насъ не останавливали: хозяйка была поражена ужасомъ. Все произошло такъ скоро, что она и помѣшать не могла. Извозчикъ насъ дождался и черезъ двадцать минутъ я былъ уже на своей квартирѣ.

Елена была какъ полумертвая. Я разстегнулъ крючки у ея платья, sprыснулъ ее водой и положилъ на диванъ. Съ ней начинался жаръ и бредъ. Я глядѣлъ на ея блѣдное личико, на безцвѣтныя ея губы, на ея черныя, сбившіяся на сторону, но расчесанные волосокъ къ волоску и напوماженные волосы, на весь ея туалетъ, на эти розовыя бантики, еще уцѣлѣвшіе кой-гдѣ на платьѣ, — и поналъ окончательно всю эту отвратительную исторію. Бѣдненькая! Ей становилось все хуже и хуже. Я не отходилъ отъ нея и рѣшился не ходить этотъ вечеръ къ Наташѣ. Иногда Елена подымала свои длинныя, стрѣльчатыя рѣсницы и взглядывала на меня, и долго и пристально глядѣла, какъ бы узнавая меня. Уже поздно, часу въ первомъ ночи, она заснула. Я заснулъ подлѣ нея на полу.

ГЛАВА VIII.

Я всталъ очень рано. Всю ночь я просыпался почти каждыя полчаса, подходилъ къ моей бѣдной гостьѣ и внимательно къ ней присматривался. У нея былъ жаръ и легкій бредъ. Но къ утру она заснула крѣпко. Добрый знакъ, подумалъ я, но, проснувшись утромъ, рѣшился поскорѣй, покамѣстъ бѣдняжка еще спала, сбѣгать къ доктору. Я зналъ одного доктора, холостого и добродушнаго старичка, съ незапамятныхъ временъ жившаго у Владимірской, вдвоемъ со своей эконожкой-нѣмкой. Къ нему-то я и отправился. Онъ обѣщаль быть у меня въ десять часовъ. Было восемь, когда я приходилъ къ нему. Мнѣ ужасно хотѣлось зайти по дорогѣ къ Маслобоеву, но я раздумалъ: онъ вѣрно еще спалъ со вчерашняго, да къ тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, безъ меня испугалась бы, увидя себя въ моей квартирѣ. Въ болѣзненномъ своемъ состояніи она могла забыть: какъ, когда и какимъ образомъ попала ко мнѣ.

Она проснулась въ ту самую минуту, когда я входилъ въ комнату. Я подошелъ къ ней и осторожно спросилъ: какъ она себя чувствуетъ? Она не отвѣчала, но долго-долго и пристально на меня смотрѣла своими выразительными черными глазами. Мнѣ показалось изъ ея взгляда, что она все понимаетъ и въ полной памяти. Не отвѣчала же она мнѣ, можетъ-быть, по своей всегдашней привычкѣ. И вчера, и третьяго дня, какъ приходила ко мнѣ, она на иные мои вопросы не проговаривала ни слова, а только начинала вдругъ смотрѣть мнѣ въ глаза своимъ длиннымъ, упорнымъ взглядомъ, въ которомъ вмѣстѣ съ недоумѣніемъ и дикимъ любопытствомъ была еще какая-то странная гордость. Теперь же я замѣтилъ въ ея взглядѣ суровость и даже какъ будто недовѣрчивость. Я было приложилъ руку къ ея лбу, чтобъ пощупать, есть-ли жаръ, но она молча и тихо, своей маленькой ручкой, отвела мою и отвернулась отъ меня лицомъ къ стѣнѣ. Я отошелъ, чтобъ ужъ и не беспокоить ее.

У меня былъ большой мѣдный чайникъ. Я уже давно употреблялъ его вмѣсто самовара и кипятилъ въ немъ воду. Дрова у меня были, дворникъ разомъ наносилъ мнѣ ихъ дней на пять. Я затопилъ печь, сходилъ за водой и наставилъ чайникъ. На столѣ же приготовилъ мой чай-

ный приборъ. Елена повернулась ко мнѣ и смотрѣла на все съ любопытствомъ. Я спросилъ ее, не хочетъ-ли и она чего? Но она опять отъ меня отвернулась и ничего не отвѣтила.

„На меня-то за что-жъ она сердится?“ подумалъ я. Странная дѣвочка!

Мой старичокъ-докторъ пришелъ, какъ сказалъ, въ десять часовъ. Онъ осмотрѣлъ больную со всей нѣмецкой внимательностью и сильно обнадежилъ меня, сказавъ, что хоть и есть лихорадочное состояніе, но особенной опасности нѣтъ никакой. Онъ прибавилъ, что у ней должна быть другая, постоянная болѣзнь, что-нибудь въ родѣ неправильнаго сердцебіенія, „но что этотъ пунктъ будетъ требовать особенныхъ наблюдений, теперь же она внѣ опасности“. Онъ прописалъ ей микстуру и какихъ-то порошковъ, болѣе для обычая, чѣмъ для надобности, и тотчасъ же началъ меня спрашивать: какимъ образомъ она у меня очутилась? Въ то же время онъ съ удивленіемъ разсматривалъ мою квартиру. Этотъ старичокъ былъ ужасный болтуниъ.

Елена же его поразила; она вырвала у него свою руку, когда онъ щупалъ ея пульсъ, и не хотѣла показать ему языкъ. На всѣ вопросы его не отвѣчала ни слова, но все время только пристально смотрѣла на его огромный Станиславъ, качавшійся у него на шеѣ.

— У нея вѣрно голова очень болитъ, замѣтилъ старичокъ,—но только какъ она глядитъ, какъ глядитъ!

Я не почелъ за нужное ему рассказывать объ Еленѣ и отговорился тѣмъ, что это длинная исторія.

— Дайте мнѣ знать, если надо будетъ, сказалъ онъ, уходя.—А теперь нѣтъ опасности.

Я рѣшился на весь день остаться съ Еленой и, по возможности, до самаго выздоровленія, оставлять ее какъ можно рѣже одну. Но зная, что Наташа и Анна Андреевна могутъ измучиться, ожидая меня понапрасну, рѣшился хоть Наташу увѣдомить по городской почтѣ письмомъ, что сегодня у ней не буду. Аннѣ же Андреевнѣ нельзя было писать. Она сама просила меня, чтобъ я, разъ навсегда, не присылалъ ей писемъ, послѣ того, какъ я однажды послалъ было ей извѣстіе во время болѣзни Наташи.—„И старикъ хмурится, какъ письмо твое увидитъ, говорила она,—узнать-то ему хочется, сердечному, что въ письмѣ, да и спросить-то нельзя, не рѣшается. Вотъ и

разстроится на весь день. Да къ тому же, батюшка, письмомъ-то ты меня только раздразишь. Ну, что десять строкъ. Захочется подробнѣе распросить, а тебя-то и нѣтъ“. И потому я написалъ одной Наташѣ, и когда относилъ въ аптеку рецептъ, отправилъ за разъ и письмо.

Тѣмъ временемъ Елена опять заснула. Во снѣ она слегка стонала и вздрагивала. Докторъ угадалъ: у ней сильно болѣла голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже съ досадою, какъ будто ей особенно тяжело было мое вниманіе. Признаюсь, мнѣ было это очень больно.

Въ одиннадцать часовъ пришелъ Маслобоевъ. Онъ былъ озабоченъ и какъ будто разсѣянъ; зашелъ онъ только на минутку и очень куда-то торопился.

— Ну, братъ, я ожидалъ, что ты живешь не казисто, замѣтилъ онъ, осматриваясь,—но, право, не думалъ, что найду тебя въ такомъ сундукѣ. Вѣдь это сундукъ, а не квартира. Ну, да это, положимъ, ничего, а главная бѣда въ томъ, что тебя всѣ эти постороннія хлопоты только отвлекаютъ отъ работы. Я объ этомъ думалъ еще вчера, когда мы ѣхали къ Бубновой. Я вѣдь, братъ, по натурѣ моей и по социальному моему положенію, принадлежу къ тѣмъ людямъ, которые сами путнаго ничего не дѣлаютъ, а другимъ наставленія читаютъ, чтобъ дѣлали. Теперь слушай: я, можетъ-быть, завтра или послѣзавтра найду къ тебѣ, а ты непременно побывай у меня въ воскресенье утромъ. Къ тому времени дѣло этой дѣвочки, надѣюсь, совсѣмъ окончится; въ тотъ же разъ я съ тобой серьезно переговорю, потому что за тебя надо серьезно приняться. Этакъ жить нельзя. Я тебѣ вчера только намекнулъ, а теперь логически представлять буду. Да, и, наконецъ, скажи: что-жъ ты, за безчестье что-ли считаешь взять у меня денегъ на время?

— Да не ссорься! прервалъ я его.—Лучше скажи, чѣмъ у васъ тамъ вчера-то кончилось?

— Да что, кончилось благополучнѣйшимъ образомъ, и цѣль достигнута, понимаешь? Теперь же мнѣ некогда. На минутку зашелъ только увѣдомить, что мнѣ некогда и не до тебя; да естати узнать: что ты ее помѣстишь куда-нибудь, или у себя держать хочешь? Потому это надо обдумать и рѣшить.

— Этого я еще навѣрно не знаю и, признаюсь, ждалъ

тебя, чтобъ съ тобой посовѣтоваться. Ну, на какомъ, напримѣръ, основаніи я буду ее у себя держать?

— Э, чего тутъ, да хоть въ видѣ служанки...

— Прошу тебя только говори тише. Она хоть и больна, но совершенно въ памяти, и какъ тебя увидѣла, я замѣтила, какъ будто вздрогнула. Значить, вчерашнее вспомнила...

Тутъ я ему разсказалъ объ ея характерѣ и все, что я въ ней замѣтилъ. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавилъ, что, можетъ-быть, помѣщу ее въ одинъ домъ, и слегка разсказалъ ему про моихъ стариковъ. Къ удивленію моему, онъ уже отчасти зналъ исторію Наташи и на вопросъ мой: откуда онъ знаетъ?

— Такъ; давно, какъ-то мелькомъ слышалъ, къ одному дѣлу приходилось. Вѣдь я уже говорилъ тебѣ, что я знаю князя Валковскаго. Это ты хорошо дѣлаешь, что хочешь отправить ее къ тѣмъ старикамъ. А то стѣснить она тебя только. Да вотъ еще что: ей нуженъ какой-нибудь видѣ. Объ этомъ не безпокойся, на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что, она теперь спитъ?

— Кажется, отвѣчалъ я.

Но только что онъ ушелъ, Елена меня тотчасъ же окликнула.

— Кто это? спросила она. Голосъ ея дрожалъ, но смотрѣла она на меня все тѣмъ же пристальнымъ и какъ будто надменнымъ взглядомъ. Иначе я не умѣю выразиться.

Я назвалъ ей фамилію Маслобоева и прибавилъ, что чрезъ него-то я и вырвалъ ее отъ Бубновой, и что Бубнова его очень боится. Щеки ея вдругъ загорѣлись, какъ будто заревоиъ, вѣроятно, отъ воспоминаній.

— И она теперь никогда не придетъ сюда? спросила Елена, пытливо смотря на меня.

Я поспѣшилъ ее обнадежить. Она замолчала, взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчасъ же отбросила ее, какъ будто опомнившись. „Не можетъ быть, чтобъ она въ самомъ дѣлѣ чувствовала ко мнѣ такое отвращеніе, подумалъ я.—Это ея манера, или... или просто бѣдняжка видѣла столько горя, что ужъ не довѣряетъ никому на свѣтѣ“.

Въ назначенное время я сходилъ за лѣкарствомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ знакомый трактиръ, въ которомъ я иногда обѣдалъ и гдѣ мнѣ вѣрили въ долгъ. Въ этотъ

разъ, выходя изъ дому, я захватилъ съ собою судки и взялъ въ трактирѣ порцію супу изъ курицы для Елены. Но она не хотѣла ѣсть, и супъ до времени остался въ печкѣ.

Давъ ей лѣкарство, я сѣлъ за свою работу. Я думалъ, что она спитъ, но, нечаянно взглянувъ на нее, вдругъ увидѣлъ, что она приподняла голову и пристально слѣдила, какъ я пишу. Я притворился, что не замѣтилъ ея.

Наконецъ, она и въ самомъ дѣлѣ заснула и, къ величайшему моему удовольствію, спокойно, безъ бреда и безъ стонувъ. На меня напало раздумье; Наташа не только могла, не зная въ чемъ дѣло, разсердиться на меня за то, что я не приходилъ къ ней сегодня, но даже, думалъ я, навѣрно будетъ огорчена моимъ невниманіемъ именно въ такое время, когда, можетъ-быть, я ей наиболѣе нуженъ. У нея даже, навѣрно, могли случиться теперь какія-нибудь хлопоты, какое-нибудь дѣло препоручить мнѣ, а меня, какъ нарочно, и нѣтъ.

Что же касается до Анны Андреевны, то я совершенно не зналъ, какъ завтра отговорюсь передъ нею. Я думалъ-думалъ, и вдругъ рѣшилъ сбѣгать туда и сюда. Все мое отсутствіе могло продолжаться всего только два часа. Елена же спитъ и не услышитъ, какъ я схожу. Я вскочилъ, накинулъ пальто, взялъ фуражку, но только было хотѣлъ уйти, какъ вдругъ Елена позвала меня. Я удивился: неужели-жъ она притворялась, что спитъ?

Замѣчу кстати: хотъ Елена и показывала видъ, что какъ будто не хочетъ говорить со мною, но эти оклики, довольно частые, эта потребность обращаться ко мнѣ со всѣми недоумѣніями, доказывали противное и, признаюсь, были мнѣ даже пріятны.

— Куда вы хотите отдать меня? спросила она, когда я къ ней подошелъ.

Вообще она задавала свои вопросы какъ-то вдругъ, со всѣмъ для меня неожиданно. Въ этотъ разъ я даже не сейчасъ ее понялъ.

— Давеча вы говорили съ вашимъ знакомымъ, что хотите отдать меня въ какой-то домъ. Я нигуда не хочу.

Я нагнулся къ ней: она была опять вся въ жару; съ ней былъ опять лихорадочный кризисъ. Я началъ утѣшать ее и обнадеживать; увѣрялъ ее, что если она хочетъ остаться у меня, то я нигуда ее не отдамъ. Говоря это, я снялъ пальто и фуражку. Оставить ее одну въ такомъ состояніи я не рѣшился.

— Нѣтъ, ступайте! сказала она, тотчасъ догадавшись, что я хочу остаться.—Я спать хочу; я сейчасъ засну.

— Да какъ же ты одна будешь?.. говорилъ я въ недоумѣніи. — Я, впрочемъ, навѣрно черезъ два часа назадъ буду...

— Ну, и ступайте. А то я цѣлый годъ больна буду, такъ вамъ цѣлый годъ изъ дому не уходить.

И она попробовала улыбнуться и какъ-то странно взглянула на меня, какъ будто борясь съ какимъ-то добрымъ чувствомъ, отозвавшимся въ ея сердцѣ. Бѣдняжка! Добренькое, нѣжное ея сердце выглядывало наружу, не смотря на всю ея нелюдимость и видимое ожесточеніе.

Сначала я сбѣгалъ къ Аннѣ Андреевнѣ. Она ждала меня съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ и встрѣтила упреками; сама же была въ страшномъ безпокойствѣ: Николай Сергѣичъ сейчасъ послѣ обѣда ушелъ со двора, а куда — неизвѣстно. Я предчувствовалъ, что старушка не утерпѣла и рассказала ему все, по своему обыкновенію, *намекami*. Она, впрочемъ, мнѣ почти что призналась въ этомъ сама, говоря, что не могла утерпѣть, чтобъ не подѣлиться съ нимъ такою радостью, но что Николай Сергѣичъ сталъ, по ея собственному выраженію, чернѣе тучи, ничего не сказавъ, „все молчалъ, даже на вопросы мои не отвѣчалъ“, и вдругъ послѣ обѣда собрался и былъ таковъ. Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала отъ страху и умоляла меня подождать вмѣстѣ съ ней Николая Сергѣича. Я отговорился и сказалъ ей почти наотрѣзъ, что, можетъ-быть, и завтра не приду и что я собственно потому и забѣжалъ теперь, чтобы объ этомъ предупредить. Въ этотъ разъ мы чуть было не поссорились. Она заплакала; рѣзко и горько упрекала меня и только когда я уже выходилъ изъ двери, она вдругъ бросилась ко мнѣ на шею, крѣпко обняла меня обѣими руками и сказала, чтобъ я не сердился на нее, „сироту“, и не принималъ въ обиду словъ ея.

Наташу, противъ ожиданія, я засталъ опять одну и,—странное дѣло, мнѣ показалось, что она вовсе не такъ была мнѣ въ этотъ разъ рада, какъ вчера и вообще въ другіе разы. Какъ будто я ей въ чемъ-нибудь досадилъ или помѣшалъ. На мой вопросъ: былъ-ли сегодня Алеша? она отвѣчала:

— Разумѣется, былъ, но недолго. Обѣщался сегодня вечеромъ быть, прибавила она, какъ бы въ раздумьи.

— А вчера вечеромъ былъ?

— Н-нѣтъ. Его задержали, прибавила она, скороговоркой.—Ну, что, Ваня, какъ твои дѣла?

Я видѣлъ, что она хочетъ зачѣмъ-то замѣть нашъ разговоръ и свернуть на другое. Я оглядѣлъ ее пристальнѣе: она была видимо разстроена. Впрочемъ, замѣтивъ, что я пристально слѣжу за ней и въ нее вглядываюсь, она вдругъ быстро и какъ-то гнѣвно взглянула на меня и съ такою силою, что какъ будто обожгла меня взглядомъ. У нея опять горе, подумалъ я, только она говорить мнѣ не хочетъ.

Въ отвѣтъ на ея вопросъ о моихъ дѣлахъ, я рассказалъ ей всю исторію Елены, со всѣми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовалъ и даже поразилъ мой рассказъ.

— Боже мой! И ты могъ ее оставить одну, больную! вскричала она.

Я объяснилъ, что хотѣлъ было совсѣмъ не приходить къ ней сегодня, но думалъ, что она на меня разсердится и что во мнѣ могла быть какая-нибудь нужда.

— Нужда, проговорила она про себя, что-то обдумывая,—нужда-то, пожалуй, есть въ тебѣ, Ваня, но лучше ужь въ другой разъ. Былъ у нашихъ?

Я рассказалъ ей.

— Да; Богъ знаетъ, какъ отецъ приметъ теперь всѣ эти извѣстія. А, Впрочемъ, что и принимать-то...

— Какъ что принимать? спросилъ я.—Такой переворотъ!

— Да ужь таеъ... Куда-жъ это онъ опять пошелъ? Въ тотъ разъ вы думали, что онъ ко мнѣ ходилъ. Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мнѣ завтра. Можетъ-быть, я кой-что и скажу тебѣ... Совѣстно мнѣ только тебя безпокоить; а теперь шелъ бы ты домой къ своей гостѣ. Небось, часа два прошло, какъ ты вышелъ изъ дому?

— Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каковъ былъ сегодня съ тобой Алеша?

— Да что Алеша, ничего... Удивляюсь даже твоему любопытству.

— До свиданія, другъ мой.

— Прощай.

Она подала мнѣ руку какъ-то небрежно и отвернулась отъ моего послѣдняго прощальнаго взгляда. Я вышелъ отъ нея нѣсколько удивленный. А, Впрочемъ, подумалъ я,

есть же ей о чемъ и задуматься. Дѣла не шуточные. А завтра все первая же мнѣ и расскажетъ.

Возвратился я домой грустный и былъ страшно пораженъ, только что вошелъ въ дверь. Было уже темно. Я разглядѣлъ, что Елена сидѣла на диванѣ, опустивъ на грудь голову, какъ будто въ глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была въ забытїи. Я подошелъ къ ней; она что-то шептала про себя. Ужъ не въ бреду-ли? подумалъ я.

— Елена, другъ мой, что съ тобой? спросилъ я, садясь подлѣ нея и охвативъ ее рукою.

— Я хочу отсюда... Я лучше хочу къ ней, проговорила она, не подымая ко мнѣ головы.

— Куда? Къ кому? спросилъ я въ удивленїи.

— Къ ней, къ Бубновой. Она все говоритъ, что я ей должна много денегъ, что она маменьку на свои деньги похоронила... Я не хочу, чтобъ она бранила маменьку... Я хочу у ней работать и все ей заработаю... Тогда отъ нея сама и уйду. А теперь я опять къ ней пойду.

— Успокойся, Елена, къ ней нельзя, говорилъ я.— Она тебя замучаетъ; она тебя погубить...

— Пусть погубить, пусть мучаетъ, съ жаромъ подхватила Елена,—не я первая; другія и лучше меня, да мучаются. Это мнѣ нищая на улицѣ говорила. Я бѣдная, и хочу быть бѣдная. Всю жизнь буду бѣдная; такъ мнѣ мать велѣла, когда умирала. Я работать буду... Я не хочу это платье носить...

— Я завтра же тебѣ куплю другое. Я и книжки твои тебѣ принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдамъ, если сама не захочешь; успокойся...

— Я въ работницы наймусь.

— Хорошо, хорошо! Только успокойся, лягъ, засни!

Но бѣдная дѣвочка залилась слезами. Мало-по-малу слезы ея обратились въ рыданїя. Я не зналъ, что съ ней дѣлать; подносилъ ей воды, мочилъ ей виски, голову. Наконецъ, она упала на диванъ въ совершенномъ изнеможенїи и съ ней опять начался лихорадочный ознобъ. Я окуталь ее, чѣмъ нашлось, и она заснула, но спокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хоть я и немного ходилъ въ этотъ день, но усталъ ужасно и разсудилъ самъ лечь какъ можно раньше. Мучительныя заботы роились въ моей головѣ. Я предчувствовалъ, что съ этой дѣвочкой мнѣ будетъ много хлопотъ. Но болѣе всего за-

ботила меня Наташа и ея дѣла. Вообще, вспоминаю теперь, я рѣдко былъ въ такомъ тяжеломъ расположеніи духа, какъ васыпая въ эту несчастную ночь.

ГЛАВА IX.

Проснулся я больной, поздно, часовъ въ десять утра. У меня кружилась и болѣла голова. Я взглянулъ на постель Елены: постель была пуста. Въ то же время, изъ правой моей комнатки, долетали до меня какіе-то звуки, какъ будто кто-то шуркалъ по полу вѣеникомъ. Я вышелъ посмотреть. Елена держала въ рукѣ вѣеникъ и, придерживая другой рукой свое нарядное платьице, которое она еще и не снимала съ того самаго вечера, мела полъ. Дрова, приготовленныя въ печку, были сложены въ уголку; со стола стерто, чайникъ вычищенъ; однимъ словомъ, Елена хозяйничала.

— Послушай, Елена, закричалъ я, — кто же тебя заставляеть полъ мести? Я этого не хочу, ты больна; развѣ ты въ работницы пришла ко мнѣ?

— Кто-жъ будетъ здѣсь полъ мести? отвѣчала она, выпрямляясь и прямо смотря на меня. — Теперь я не больна.

— Но я не для работы взялъ тебя, Елена. Ты какъ будто боишься, что я буду попрекать тебя, какъ Бубнова, что ты у меня даромъ живешь? И откуда ты взяла этотъ гадкій вѣеникъ? У меня не было вѣеника, прибавилъ я, смотря на нее съ удивленіемъ.

— Это мой вѣеникъ. Я его сама сюда принесла. Я и дѣдушкѣ здѣсь полъ мела. А вѣеникъ вотъ тутъ, подъ печкой, съ того времени и лежалъ.

Я воротился въ комнату въ раздумьи. Могло быть, что я грѣшилъ; но мнѣ именно казалось, что ей какъ будто тяжело было мое гостепримство и что она всячески хотѣла доказать мнѣ, что живетъ у меня не даромъ. „Въ такомъ случаѣ, какой же это озлобленный характеръ?“ подумалъ я. Минуты двѣ спустя вошла и она и молча сѣла на свое вчерашнее мѣсто на диванѣ, пытливо на меня поглядывая. Между тѣмъ, я вскипятить чайникъ, заварилъ чай, налилъ ей чашку и подаль съ кускомъ бѣлаго хлѣба. Она взяла молча и безпрекословно. Цѣлыя сутки она почти ничего не ѣла.

— Вотъ и платьице хорошенькое запачкала вѣеникомъ,

сказалъ я, замѣтивъ большую грязную полосу на подолѣ ея юбки.

Она осмотрѣлась и вдругъ, съ величайшему моему удивленію, отставила чашку, ущипнула обѣими руками, повидимому, хладнокровно и тихо, кисейное полотнище юбки и однимъ взмахомъ разорвала его сверху до низу. Сдѣлавъ это, она молча подняла на меня свой упорный, сверкающій взглядъ. Лицо ея было блѣдно.

— Что ты дѣлаешь, Елена? закричалъ я, увѣренный, что вижу передъ собой сумасшедшую.

— Это нехорошее платье, проговорила она, почти задыхаясь отъ волненія. — Зачѣмъ вы сказали, что это хорошее платье? Я не хочу его носить, вскричала она вдругъ, вскочивъ съ мѣста. — Я его изорву. Я не просила ее рядить меня. Она меня нарядила сама, насильно. Я ужъ разорвала одно платье, разорву и это. Разорву, разорву, разорву!..

И она съ яростью накинулась на свое несчастное платьице. Въ одинъ мигъ она изорвала его чуть не въ клочки. Когда она кончила, она была такъ блѣдна, что едва стояла на мѣстѣ. Я съ удивленіемъ смотрѣлъ на такое ожесточеніе. Она же смотрѣла на меня какимъ-то вызывающимъ взглядомъ, какъ будто и я былъ тоже въ чемъ-нибудь виноватъ передъ нею. Но я уже зналъ, что мнѣ дѣлать.

Я положилъ, не откладывая, сегодня же утромъ купить ей новое платье. На это дикое, ожесточенное существо нужно было дѣйствовать добротой. Она смотрѣла такъ, какъ будто никогда и не видывала добрыхъ людей. Если она ужъ разъ, несмотря на жестокое наказаніе, изорвала въ клочки свое первое, такое же платье, то съ какимъ же ожесточеніемъ она должна была смотрѣть на него теперь, когда оно напоминало ей такую ужасную недавнюю минуту.

На Толкучемъ можно было очень дешево купить хорошенькое и простенькое платьице. Бѣда была въ томъ, что у меня въ ту минуту почти совсѣмъ не было денегъ. Но я еще наканунѣ, ложась вчера спать, рѣшилъ отправиться сегодня въ одно мѣсто, гдѣ была надежда достать ихъ и какъ разъ приходилось идти въ ту самую сторону, гдѣ Толкучій. Я взялъ шляпу. Елена пристально слѣдила за мной, какъ будто чего-то ждала.

— Вы опять запретете меня? спросила она, когда я

взялся за ключъ, чтобъ запереть за собой квартиру, какъ вчера и третьяго дня.

— Другъ мой, сказалъ я, подходя къ ней,—не сердись за это. Я потому запираю, что можетъ кто-нибудь придти. Ты же больная, пожалуй, испугаешься. Да и Богъ знаетъ, кто еще придетъ, можетъ-быть, Бубнова вздумаетъ придти...

Я нарочно сказалъ ей это. Я запиралъ ее, потому что не довѣрялъ ей. Мнѣ казалось, что она вдругъ вздумаетъ уйти отъ меня. До времени я рѣшился быть осторожнѣе. Елена промолчала и я таки заперъ ее и въ этотъ разъ.

Я зналъ одного антрепренера, издававшего уже третій годъ одну многотомную книгу. У него я часто доставалъ работу, когда нужно было поскорѣй заработать сколько-нибудь денегъ. Платилъ онъ исправно. Я отправился къ нему, и мнѣ удалось получить двадцать пять рублей впередъ, съ обязательствомъ доставить черезъ недѣлю компилятивную статью. Но я надѣялся выгадать время на моемъ романѣ. Это я часто дѣлалъ, когда приходила крайняя нужда.

Добывъ денегъ, я отправился на Толкучій. Тамъ скоро я отыскалъ знакомую мнѣ старушку-торговку, продававшую всякое тряпье. Я ей рассказалъ примѣрно ростъ Елены, и она мигомъ выбрала мнѣ свѣтленькое ситцевое, совершенно крѣпкое и не болѣе одного раза мытое платице за чрезвычайно дешевую цѣну. Кстати ужъ я захватилъ и шейный платочекъ. Расплачиваясь, я подумалъ, что надо же Еленѣ какую-нибудь шубейку, мантильку или что-нибудь въ этомъ родѣ. Погода стояла холодная, а у ней ровно ничего не было. Но я отложилъ эту покупку до другого раза. Елена была такая обидчивая, гордая. Господь знаетъ, какъ приметъ она еще и это платье, несмотря на то, что я нарочно выбиралъ какъ можно проще и неказистѣе, самое будничное, какое только можно было выбрать. Впрочемъ, я все-таки купилъ двѣ пары чулокъ нитяныхъ и одни шерстяные. Это я могъ отдать ей подъ предлогомъ того, что она больна, а въ комнатѣ холодно. Ей надо было тоже бѣлья. Но все это я оставилъ до тѣхъ поръ, пока поближе съ ней познакомлюсь. Зато я купилъ старья занавѣски къ кровати,— вещь необходимую и которая могла принести Еленѣ большое удовольствіе.

Со всёмъ этимъ я воротился домой уже въ часъ пополу-
дни. Замокъ мой отпирался почти неслышно, такъ что
Елена не сейчасъ услышала, что я воротился. Я замѣтилъ,
что она стояла у стола и перебирала мои книги и бумаги.
Услышавъ же меня, она быстро захлопнула книгу, кото-
рую читала, и отошла отъ стола, вся покраснѣвъ. Я взгля-
нулъ на эту книгу: это былъ мой первый романъ, издан-
ный отдѣльной книжкой и на заглавномъ листѣ котораго
выставлено было мое имя.

— А сюда кто-то безъ васъ стучался! сказала она та-
кимъ тономъ, какъ будто поддразнивая меня: зачѣмъ, де-
скать, запираешь?

— Ужь не докторъ-ли? сказалъ я. — Ты не окликнула
его, Елена?

— Нѣтъ.

Я не отвѣчалъ, взявъ узелокъ, развязалъ его и вынулъ
купленное платье.

— Вотъ, другъ мой, Елена, сказалъ я, подходя къ
ней, — въ такихъ влочьяхъ, какъ ты теперь, ходить нельзя.
Я и купилъ тебѣ платье, будничнее, самое дешевое, такъ
что тебѣ нечего беспокоиться; оно всего рубль двадцать
копеекъ стоитъ. Носи на здоровье.

Я положилъ платье подлѣ себя. Она вспыхнула и смо-
трѣла на меня нѣкоторое время во всё глаза.

Она была чрезвычайно удивлена и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
мнѣ показалось, ей было чего-то ужасно стыдно. Но что-
то мягкое, нѣжное засвѣтилось въ глазахъ ея. Видя, что
она молчитъ, я отвернулся къ столу. Поступокъ мой ви-
димо поразилъ ее. Но она съ усиліемъ превозмогла себя
и сидѣла, опустивъ глаза въ землю.

Голова моя болѣла и кружилась все болѣе и болѣе.
Свѣжій воздухъ не принесъ мнѣ ни малѣйшей пользы.
Между тѣмъ, надо было идти къ Наташѣ. Беспокойство
мое о ней не уменьшалось со вчерашняго дня, напро-
тивъ, возрастало все болѣе и болѣе. Вдругъ мнѣ по-
казалось, что Елена меня окликнула. Я оборотился
къ ней.

— Вы когда уходите, не запирайте меня! проговорила
она, смотря въ сторону и пальчикомъ теребя на диванѣ
покрывку, какъ будто бы вся была погружена въ это заня-
тіе. — Я отъ васъ никуда не уйду.

— Хорошо, Елена, я согласенъ. Но если кто-нибудь
придетъ чужой? Пожалуй, еще Богъ знаетъ кто!

— Такъ оставьте ключъ мнѣ, я и запрусь изнутри, а будутъ стучать, я и скажу: „нѣту дома“.

И она съ лукавствомъ поглядѣла на меня, какъ бы проговаривая: „вотъ вѣдь какъ это просто дѣлается!“

— Вамъ кто бѣлье моетъ? спросила она вдругъ, прежде чѣмъ я успѣлъ ей отвѣчать что-нибудь.

— Здѣсь, въ этомъ домѣ, есть женщина.

— Я умѣю мыть бѣлье. А гдѣ вы кушанье вчера взяли?

— Въ трактирѣ.

— Я и стряпать умѣю. Я вамъ буду кушанье готовить.

— Полно, Елена; ну, что ты можешь умѣть стряпать? Все это ты не къ дѣлу говоришь...

Елена замолчала и потупилась. Ее видимо огорчило мое замѣчаніе. Прошло, по крайней мѣрѣ, минутъ десять; мы оба молчали.

— Супъ, сказала она вдругъ, не поднимая головы.

— Какъ супъ? Какой супъ? спросилъ я, удивляясь.

— Супъ умѣю готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынокъ ходила.

— Вотъ видишь, Елена, вотъ видишь, какая ты гордая, сказалъ я, подходя къ ней и садясь съ ней на диванъ рядомъ. — Я съ тобою поступаю, какъ мнѣ велитъ мое сердце. Ты теперь одна, безъ родныхъ, несчастная. Я тебѣ помочь хочу. Такъ же бы и ты мнѣ помогла, когда бы мнѣ было худо. Но ты не хочешь такъ разсудить и вотъ тебѣ тяжело отъ меня самый простой подарокъ принять. Ты тотчасъ же хочешь за него заплатить, заработать, какъ будто я Бубнова и тебя попрекаю. Если такъ, то это стыдно, Елена.

Она не отвѣчала, губы ея вздрагивали. Кажется, ей хотѣлось что-то сказать мнѣ; но она скрѣпилась и смолчала. Я всталъ, чтобы идти къ Наташѣ. Въ этотъ разъ я оставилъ Еленѣ ключъ, прося ее, если кто придетъ и будетъ стучаться, окликнуть и спросить: кто такой? Я совершенно былъ увѣренъ, что съ Наташей случилось что-нибудь очень нехорошее, а что она до времени таитъ отъ меня, какъ это и не разъ бывало между нами. Во всякомъ случаѣ, я рѣшился зайти къ ней только на одну минутку, иначе я могъ раздражить ее моею назойливостью.

Такъ и случилось. Она опять встрѣтила меня недовольнымъ, жесткимъ взглядомъ. Надо было тотчасъ же уйти, а у меня ноги подкашивались.

— Я къ тебѣ на минутку, Наташа, началъ я, — посо-
вѣтоваться: что мнѣ дѣлать съ моей гостьей?

И я началъ поскорѣй рассказывать все про Елену. На-
таша выслушала меня молча.

— Не знаю, что тебѣ посоветовать, Ваня, отвѣчала
она.—По всему видно, что это престранное существо. Мо-
жетъ-быть, она была очень обижена, очень напугана. Дай
ей, по крайней мѣрѣ, выздоровѣть. Ты ее хочешь къ на-
шимъ?

— Она все говоритъ, что никуда отъ меня не поидеть.
Да и Богъ знаетъ, какъ тамъ ее примутъ, такъ что я и
не знаю. Ну, что, другъ мой, какъ ты? Ты вчера была
какъ будто нездорова? спросилъ я ее, робѣя.

— Да... у меня и сегодня что-то голова болитъ, отвѣ-
чала она разсѣянно.—Не видалъ-ли кого изъ нашихъ?

— Нѣтъ. Завтра схожу. Вѣдь вотъ завтра суббота...

— Такъ что же?

— Вечеромъ будетъ князь...

— Такъ что же? Я не забыла.

— Нѣтъ, я вѣдь только такъ...

Она остановилась прямо предо мной и долго и при-
стально посмотрѣла мнѣ въ глаза. Въ ея взглядѣ была
какая-то рѣшимость, какое-то упорство, что-то лихора-
дочное, горячее.

— Знаешь что, Ваня, сказала она,— будь добръ, уйди
отъ меня, ты мнѣ очень мѣшаешь.

Я всталъ съ кресель и съ невыразимымъ удивленіемъ
смотрѣлъ на нее.

— Другъ мой, Наташа! Что съ тобой? Что случилось?
вскричалъ я въ испугѣ.

— Ничего не случилось! Все, все завтра узнаешь, а
теперь я хочу быть одна. Слышишь, Ваня: уходи сейчасъ.
Мнѣ такъ тяжело, такъ тяжело смотрѣть на тебя!

— Но скажи мнѣ, по крайней мѣрѣ...

— Все, все завтра узнаешь! О, Боже мой! Да уйдешь-
ли ты?

Я вышелъ. Я былъ такъ пораженъ, что едва помнилъ
себя. Мавра выскочила за мной въ сѣни.

— Что, сердится? спросила она меня.— Я ужъ и под-
ступиться къ ней боюсь.

— Да что съ ней такое?

— А то, что *нашъ-то* третій день носу къ намъ не по-
казывалъ!

— Какъ третій день? спросилъ я въ изумленіи. — Да она сама вчера говорила, что онъ вчера утромъ былъ, да еще вчера вечеромъ хотѣлъ пріѣхать...

— Какое вечеромъ! Онъ утромъ совсѣмъ не былъ! Говорю тебѣ, съ третьяго дня глазъ не кажетъ. Неужто сама вчера сказывала, что утромъ былъ?

— Сама говорила.

— Ну, сказала Мавра въ раздумьи, — значить больно ее задѣло, когда ужъ передъ тобой признаться не хочетъ, что не былъ. Ну, молодецъ!

— Да что-жь это такое! вскричалъ я.

— А то такое, что и не знаю, что съ ней дѣлать, продолжала Мавра, разводя руками. — Вчера еще было меня къ нему посылала, да два раза съ дороги воротила. А сегодня такъ ужъ и со мной говорить не хочетъ. Хотъ бы ты его повидалъ. Я ужъ и отойти отъ нея не смѣю.

Я бросился внѣ себя внизъ по лѣстницѣ.

— Къ вечеру-то будешь у насъ? закричала мнѣ вслѣдъ Мавра.

— Тамъ увидимъ, отвѣчалъ я съ дороги. — Я, можетъ, только къ тебѣ забѣгу и спрошу: что и какъ? Если только самъ живъ буду.

Я дѣйствительно почувствовалъ, что меня какъ будто что ударило въ самое сердце.

ГЛАВА X.

Я отправился прямо къ Алешѣ. Онъ жилъ у отца въ Малой Морской. У князя была довольно большая квартира, несмотря на то, что онъ жилъ одинъ. Алеша занималъ въ этой квартирѣ двѣ прекрасныя комнаты. Я очень рѣдко бывалъ у него, до этого раза всего, кажется, однажды. Онъ же заходилъ ко мнѣ чаще, особенно сначала, въ первое время его связи съ Наташей.

Его не было дома. Я прошелъ прямо въ его половину и написалъ ему такую записку:

„Алеша, вы, кажется, сошли съ ума. Такъ какъ вечеромъ во вторникъ вашъ отецъ самъ просилъ Наташу сдѣлать вамъ честь, быть вашей женою, вы же этой просьбѣ были рады, чему я свидѣтелемъ, то согласитесь сами, ваше поведеніе въ настоящемъ случаѣ нѣсколько странно. Знаете-ли, что вы дѣлаете съ Наташей? Во всякомъ случаѣ, моя записка вамъ напомнитъ, что поведеніе ваше пе-

редь вашей будущей женою въ высшей степени недостойно и легкомысленно. Я очень хорошо знаю, что не имѣю никакого права читать вамъ наставленія, но не обращаю на это никакого вниманія.

„P.S. О письмѣ этомъ она ничего не знаетъ и даже не она мнѣ и говорила про васъ“.

Я запечаталъ записку и оставилъ у него на столѣ. На вопросъ, слуга отвѣчалъ, что Алексѣй Петровичъ почти совсѣмъ не бываетъ дома, и что и теперь воротится не раньше какъ ночью, передъ разсвѣтомъ.

Я едва дошелъ домой. Голова моя кружилась, ноги слабли и дрожали. Дверь ко мнѣ была отворена. У меня сидѣлъ Николай Сергѣичъ Ихменевъ и дожидался меня. Онъ сидѣлъ у стола и молча, съ удивленіемъ смотрѣлъ на Елену, которая тоже съ неменьшимъ удивленіемъ его разсматривала, хотя упорно молчала. То-то, подумалъ я, она должна ему показаться странною.

— Вотъ, братъ, цѣлый часъ жду тебя и, признаюсь, никакъ не ожидалъ... тебя такъ найти, продолжалъ онъ, осматриваясь въ комнатѣ и непримѣтно мигая мнѣ на Елену.

Въ глазахъ его изображалось изумленіе. Но, взглянувъ въ него ближе, я замѣтилъ въ немъ тревогу и грусть. Лицо его было блѣднѣе обыкновеннаго.

— Садись-ка, садись, продолжалъ онъ съ озабоченнымъ и хлопотливымъ видомъ. — Вотъ спѣшилъ къ тебѣ, дѣло есть; да что съ тобой? На тебѣ лица нѣтъ.

— Нездоровится. Съ самаго утра кружится голова.

— Ну, смотри, этимъ нечего пренебрегать. Простудился, что-ли?

— Нѣтъ, просто нервный припадокъ. У меня это иногда бываетъ. Да вы-то здоровы-ли?

— Ничего, ничего! Это такъ, сгоряча. Есть дѣло. Садись.

Я придвинулъ стулъ и усѣлся лицомъ къ нему у стола. Старикъ нагнулся ко мнѣ и началъ полушопотомъ:

— Смотри, не гляди на нее и показывай видъ, какъ будто мы говоримъ о постороннемъ. Это что у тебя за гостя такая сидитъ?

— Послѣ вамъ все объясню, Николай Сергѣичъ. Это бѣдная дѣвочка, совершенная сирота, внучка того самаго Смита, который здѣсь жилъ и умеръ въ кондитерской.

— А, такъ у него была и внучка! Ну, братъ, чудачка же она! Какъ глядитъ, какъ глядитъ! Просто говорю: еще бы ты минутъ пять не пришелъ, я бы здѣсь не высидѣлъ. Насилу отперла и до сихъ поръ ни слова; просто жутко съ ней, на человѣческое существо не похожа. Да какъ она здѣсь очутилась? А, понимаю: вѣрно къ дѣду пришла, не зная, что онъ умеръ?

— Да. Она очень была несчастна. Старикъ еще умирая о ней вспоминалъ.

— Гм! каковъ дѣдъ, такова и внучка. Послѣ все это мнѣ расскажешь. Можетъ-быть, можно будетъ и помочь чѣмъ-нибудь, такъ чѣмъ-нибудь, коль ужъ она такая несчастная... Ну, а теперь нельзя-ли, братъ, ей сказать, чтобъ она ушла, потому что поговорить съ тобой надо серьезно.

— Да уйти-то ей некуда. Она здѣсь и живетъ.

Я объяснилъ старику, что могъ, въ двухъ словахъ, прибавивъ, что можно говорить и при ней, потому что она дитя.

— Ну, да... конечно, дитя. Только ты, братъ, меня ошеломилъ. Съ тобой живетъ, Господи Боже мой!

И старикъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на нее еще разъ. Елена, чувствуя, что про нее говорятъ, сидѣла молча, потупивъ голову и щипала пальчиками покрывку дивана. Она уже успѣла надѣть на себя новое платьице, которое вышло ей совершенно впору. Волосы ея были приглажены тщательнѣе обыкновеннаго, можетъ-быть, по поводу новаго платья. Вообще, если-бъ не странная дикость ея взгляда, то она была бы премиловидная дѣвочка.

— Коротко и ясно, вотъ въ чемъ, братъ, дѣло, началъ опять старикъ,—длинное дѣло, важное дѣло...

Онъ сидѣлъ потупившись, съ важнымъ и соображающимъ видомъ и, несмотря на свою торопливость и на „коротко и ясно“, не находилъ словъ для начала рѣчи. „Что-то будетъ?“ подумалъ я.

— Видишь, Ваня, пришелъ я къ тебѣ съ величайшей просьбой. Но прежде... такъ какъ я самъ теперь соображаю, надо бы тебѣ объяснить нѣкоторыя обстоятельства... чрезвычайно щекотливыя обстоятельства.

Онъ отгашлянулся и мелькомъ взглянулъ на меня; взглянулъ и покраснѣлъ; покраснѣлъ и разсердился на себя за свою ненаходчивость; разсердился и рѣшился:

— Ну, да что тутъ еще объяснять! Самъ понимаешь!

Просто-за-просто я вызываю князя на дуэль, а тебя прошу устроить это дѣло и быть моимъ секундантомъ.

Я отшатнулся на спинку стула и смотрѣлъ на него вѣд себя отъ изумленія.

— Ну, что смотришь? Я вѣдь не сошелъ съ ума.

— Но позвольте, Николай Сергѣичъ! Какой же предлогъ, какая цѣль? И, наконецъ, какъ это можно?..

— Предлогъ! Цѣль! вскричалъ старикъ. — Вотъ прекрасно!..

— Хорошо, хорошо, знаю, что вы скажете; но чему же вы поможете вашей выходкой? Какой выходъ представляетъ дуэль? Признаюсь, ничего не понимаю.

— Я такъ и думалъ, что ты ничего не поймешь. Слушай: тяжба наша кончилась (то-есть кончится на-дняхъ; остаются только однѣ пустыя формальности); я осужденъ. Я долженъ заплатить до десяти тысячъ; такъ присудили. За нихъ отвѣчаетъ Ихменевка. Слѣдственно, теперь уже этотъ подлый человѣкъ обезпеченъ въ своихъ деньгахъ, а я, предоставивъ Ихменевку, заплатилъ и дѣлаюсь человѣкомъ постороннимъ. Тутъ - то я и поднимаю голову. Такъ и такъ, почтеннѣйшій князь, вы меня оскорбляли два года; вы позорили мое имя, честь моего семейства и я долженъ былъ все это переносить! Я не могъ васъ тогда вызвать на поединокъ. Вы бы мнѣ прямо сказали тогда: „А, хитрый человѣкъ, ты хочешь убить меня, чтобъ не платить мнѣ денегъ, которыя, ты чувствуешь, присудятъ тебя мнѣ заплатить, рано-ли, поздно-ли! Нѣтъ, сначала посмотримъ, какъ рѣшится тяжба, а потомъ вызывай“. Теперь, почтеннѣйшій князь, процессъ рѣшенъ, вы обезпечены, слѣдовательно нѣтъ никакихъ затрудненій, и потому не угодно - ли сюда, къ барьеру. Вотъ въ чемъ дѣло. Что-жъ, по-твоему, я не въ правѣ, наконецъ, отмстить за себя, за все, за все!

Глаза его сверкали. Я долго смотрѣлъ на него молча. Мнѣ хотѣлось проникнуть въ его тайную мысль.

— Послушайте, Николай Сергѣичъ, отвѣчалъ я, наконецъ, рѣшившись сказать главное слово, безъ котораго мы бы не понимали другъ друга. — Можете - ли вы быть со мною совершенно откровенны?

— Могу, отвѣчалъ онъ съ твердостью.

— Скажите же прямо: одно-ли чувство мщенія возбуждаетъ васъ къ вызову или у васъ въ виду и другія цѣли?

— Ваня, отвѣчалъ онъ, — ты знаешь, что я не позволяю

никому въ разговорахъ со мною касаться нѣкоторыхъ пунктовъ; но для теперешняго раза дѣлаю исключеніе, потому что ты своимъ яснымъ умомъ тотчасъ же догадался, что обойти этотъ пунктъ невозможно. Да, у меня есть и другая цѣль. Эта цѣль: спасти мою погибшую дочь и избавить ее отъ пагубнаго пути, на который ставятъ ее теперь послѣднія обстоятельства.

— Но какъ же вы спасете ее этой дуэлью, вотъ вопросъ?

— Помѣшавъ всему тому, что тамъ теперь затѣвается. Слушай: не думай, что во мнѣ говоритъ какая-нибудь тамъ отцовская нѣжность и тому подобныя слабости. Все это вздоръ! Внутренность сердца моего я никому не показываю. Не знаешь его и ты. Дочь оставила меня, ушла изъ моего дома съ любовникомъ, и я вырвалъ ее изъ моего сердца, вырвалъ разъ навсегда, въ тотъ самый вечеръ, — помнишь? Если ты видѣлъ меня рыдающимъ надъ ея портретомъ, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что я желаю простить ее. Я не простилъ и тогда. Я плакалъ о потерянномъ счастьи, о тщетной мечтѣ, но не о *ней*, какъ она теперь. Я, можетъ-быть, и часто плачу; я не стыжусь въ этомъ признаться, такъ же какъ не стыжусь признаться, что любилъ прежде дитя мое больше всего на свѣтѣ. Все это, повидимому, противорѣчитъ моей теперешней выходкѣ. Ты можешь сказать мнѣ: если такъ, если вы равнодушны къ судьбѣ той, которую уже не считаете вашей дочерью, то для чего же вы вмѣшиваетесь въ то, что тамъ теперь затѣвается? Отвѣчаю: во-первыхъ, для того, что не хочу дать восторжествовать низкому и коварному человѣку, а во-вторыхъ, изъ чувства самаго обыкновеннаго человѣколюбія. Если она мнѣ уже не дочь, то она все-таки слабое, незащищенное и обманутое существо, которое обманываютъ еще больше, чтобъ погубить окончательно. Ввязаться въ дѣло прямо я не могу, а косвенно, дуэлью, могу. Если меня убьютъ, или прольютъ мою кровь, неужели она перешагнетъ черезъ нашъ барьеръ, а, можетъ-быть, черезъ мой трупъ и пойдетъ съ сыномъ моего убійцы къ вѣнцу, какъ дочь того царя (помнишь, еще у насъ была книжка, по которой ты учился читать), которая переѣхала черезъ трупъ своего отца въ колесницѣ? Да и наконецъ, если пойдетъ на дуэль, такъ князь-то наши и сами свадьбы не захотятъ. Однимъ словомъ, я не хочу этого брака и употреблю всѣ усилія, чтобъ его не было. Понялъ меня теперь?

— Нѣтъ. Если вы желаете Наташѣ добра, то какимъ образомъ вы рѣшаетесь помѣшать ей браку, то-есть именно тому, что можетъ возстановить ея доброе имя? Вѣдь ей еще долго жить на свѣтѣ; ей нужно доброе имя.

— А плевать на всѣ свѣтскія мнѣнія, вотъ какъ она должна думать! Она должна сознать, что главнѣйшій позоръ заключается для нея въ этомъ бракѣ, именно въ связи съ этими подлыми людьми, съ этимъ жалкимъ свѣтомъ. Благородная гордость,—вотъ отвѣтъ ея свѣту. Тогда, можетъ-быть, и я соглашусь протянуть ей руку и увидимъ, кто тогда осмѣлится опозорить дитя мое!

Такой отчаянный идеализмъ изумилъ меня. Но я тотчасъ догадался, что онъ былъ самъ не въ себѣ и говорилъ сгоряча.

— Это слишкомъ идеально, отвѣчалъ я ему,—слѣдственно жестоко. Вы требуете отъ нея силы, которой, можетъ-быть, вы не дали ей при рожденіи. И развѣ она соглашается на бракъ потому, что хочетъ быть княгиней? Вѣдь она любитъ; вѣдь это страсть; это фатумъ. И, наконецъ: вы требуете отъ нея презрѣнія къ свѣтскому мнѣнію, а сами передъ нимъ преклоняетесь. Князь васъ обидѣлъ, публично заподозрилъ васъ въ низкомъ побужденіи обманомъ породниться съ его княжескимъ домомъ, и вотъ вы теперь разсуждаете: если она сама откажетъ имъ теперь, послѣ формальнаго предложенія съ ихъ стороны, то, разумѣется, это будетъ самымъ полнымъ и явнымъ опроверженіемъ прежней клеветы. Вотъ вы чего добиваетесь, вы преклоняетесь передъ мнѣніемъ самого князя, вы добиваетесь, чтобъ онъ самъ сознался въ своей ошибкѣ. Васъ тянетъ осмѣять его, отмстить ему и для этого вы жертвуете счастьемъ дочери. Развѣ это не эгоизмъ?

Старикъ сидѣлъ мрачный и нахмуренный и долго не отвѣчалъ ни слова.

— Ты несправедливъ ко мнѣ, Ваня, проговорилъ онъ, наконецъ, и слеза заблестала на его рѣсницахъ,—клянусь тебѣ, несправедливъ, но оставимъ это! Я не могу выворотить передъ тобой мое сердце, продолжалъ онъ, приподнимаясь и берясь за шляпу,—одно скажу: ты заговорилъ сейчасъ о счастьи дочери. Я рѣшительно и буквально не вѣрю этому счастью, кромѣ того, что этотъ бракъ и безъ моего вмѣшательства никогда не состоится.

— Какъ такъ! Почему вы думаете? Вы, можетъ-быть, знаете что-нибудь? вскричалъ я съ любопытствомъ.

— Нѣтъ, особеннаго ничего не знаю. Но эта проклятая лисица не могла рѣшиться на такое дѣло. Все это вздоръ, однѣ козни. Я увѣренъ въ этомъ и, помани мое слово, что такъ сбудется. Во-вторыхъ, если-бъ этотъ бракъ и сбылся, то-есть, въ такомъ только случаѣ, если у того подлеца есть свой особый, таинственный, никому неизвѣстный расчетъ, по которому этотъ бракъ ему выгоденъ, — расчетъ, котораго я рѣшительно не понимаю, то рѣши самъ, спроси свое собственное сердце: будетъ-ли она счастлива въ этомъ бракѣ? Попреки, униженія, подруга мальчишки, который ужъ и теперь тяготится ея любовью, а какъ женится, — тотчасъ же начнетъ ее неуважать, обижать, унижать; въ то же время сила страсти съ ея стороны, по мѣрѣ охлажденія съ другой; ревность, мѹки, адъ, разводъ, можетъ-быть, само преступленіе... нѣтъ, Ваня! Если вы тамъ это стряпаете, а ты еще помогаешь, то, предрекаю тебѣ, дашь отвѣтъ Богу, но ужъ будетъ поздно! Прощай.

Я остановилъ его.

— Послушайте, Николай Сергѣичъ, рѣшимъ такъ: подождемъ. Будьте увѣрены, что не одни глаза смотреть за этимъ дѣломъ и, можетъ-быть, оно разрѣшится самымъ лучшимъ образомъ, само собою, безъ насильственныхъ и искусственныхъ разрѣшеній, какъ, на примѣръ, эта дуэль. Время — самый лучший разрѣшитель! А, наконецъ, позвольте вамъ сказать, что весь вашъ проектъ совершенно невозможенъ. Неужели-жъ вы могли хоть одну минуту думать, что князь приметъ вашъ вызовъ?

— Какъ не приметъ? Чтѣ ты, опомнись!

— Клянусь вамъ—не приметъ; и повѣрьте, что найдеть отговорку совершенно достаточную; сдѣлаетъ все это съ педантскою важностью, а между тѣмъ вы будете совершенно осмѣяны...

— Помилуй, братецъ, помилуй! Ты меня просто сразилъ послѣ этого! Да какъ же это онъ не приметъ? Нѣтъ, Ваня, ты просто какой-то поэтъ: именно настоящій поэтъ! Да что-жъ, по-твоему, неприлично, что-ль, со мной драться? Я не хуже его. Я старикъ, оскорбленный отецъ; ты—русскій литераторъ и потому лицо тоже почетное, можешь быть секундантомъ и... и... Я ужъ и не понимаю, чего-жъ тебѣ еще надобно...

— Вотъ увидите. Онъ такіе предлоги подведетъ, что

вы сами, вы первый, найдете, что вамъ съ нимъ драться— въ высшей степени невозможно.

— Гм!.. хорошо, другъ мой, пусть будетъ по-твоему! Я пережду, до извѣстнаго времени, разумѣется. Посмотримъ, что сдѣлаетъ время. Но вотъ что, другъ мой: дай мнѣ честное слово, что ни тамъ, ни Аннѣ Андреевнѣ ты не объявишь нашего разговора?

— Даю.

— Второе, Ваня, сдѣлай милость, не начинай больше никогда со мной говорить объ этомъ.

— Хорошо, даю слово.

— И, наконецъ, еще просьба: я знаю, мой милый, тебѣ у насъ, можетъ-быть, и скучно, но ходи къ намъ почаще, если только можешь. Моя бѣдная Анна Андреевна такъ тебя любитъ и... и... такъ безъ тебя скучаетъ... понимаешь, Ваня?

И онъ вѣрно сжалъ мою руку. Я отъ всего сердца далъ ему обѣщаніе.

— А теперь, Ваня, послѣднее щекотливое дѣло: есть у тебя деньги?

— Деньги! повторилъ я съ удивленіемъ.

— Да (и старикъ покраснѣлъ и опустилъ глаза); смотрю я, братъ, на твою квартиру... на твои обстоятельства... и какъ подумаю, что у тебя могутъ быть другія, экстренныя траты (и именно теперь могутъ быть), то... вотъ, братъ, сто пятьдесятъ рублей, на первый случай...

— Сто пятьдесятъ, да еще *на первый случай*, тогда какъ вы сами проиграли тяжбу!

— Ваня, ты, какъ я вижу, меня совсѣмъ не понимаешь! Могутъ быть *экстренныя* надобности, пойми это. Въ иныхъ случаяхъ деньги способствуютъ независимости положенія, независимости рѣшенія. Можетъ-быть, тебѣ теперь и не нужно, но не надо-ль на что-нибудь въ будущемъ? Во всякомъ случаѣ, я ихъ у тебя оставлю. Это все, что я могъ собрать. Не истратишь, такъ веротишь. А теперь прощай! Боже мой, какой ты блѣдный! Да ты весь больной...

Я не возражалъ и взялъ деньги. Слишкомъ ясно было, на что онъ ихъ оставлялъ у меня.

— Я едва стою на ногахъ, отвѣчалъ я ему.

— Не пренебрегай этимъ, Ваня, голубчикъ, не пренебрегай! Сегодня нигуда не ходи. Аннѣ Андреевнѣ такъ и скажу, въ какомъ ты положеніи. Не надо-ли доктора? Завтра навѣщу тебя; по крайней мѣрѣ, всѣми силами

постараюсь, если только самъ буду ноги таскать. А теперь легъ бы ты... Ну, прощай. Прощай, дѣвочка; отворотилась! Слушай, другъ мой! Вотъ еще пять рублей; это дѣвочкѣ. Ты, впрочемъ, ей не говори, что я далъ, а такъ, просто истрать на нее, ну тамъ башмачонки какіе-нибудь, бѣлье... мало-ль чтó понадобится! Прощай, другъ мой...

Я проводилъ его до воротъ. Мнѣ нужно было попросить дворника сходить за кушаньемъ. Елена до сихъ поръ не обѣдала.

ГЛАВА XI.

Но только что я воротился къ себѣ, голова моя закружилась и я упалъ посреди комнаты. Помню только крикъ Елены: она всплеснула руками и бросилась ко мнѣ поддерживать меня. Это было послѣднее мгновеніе, удѣлѣвшее въ моей памяти...

Помню потомъ себя уже на постели. Елена рассказывала мнѣ впоследствии, что она, вмѣстѣ съ дворникомъ, принесшимъ въ это время намъ кушанье, перенесла меня на диванъ. Нѣсколько разъ я просыпался, и каждый разъ видѣлъ склонившееся надо мной сострадательное заботливое личико Елены. Но все это я помню какъ сквозь сонъ, какъ въ туманѣ, и милый образъ бѣдной дѣвочки мелькалъ передо мной, среди забытья, какъ видѣнье, какъ картинка; она подносила мнѣ пить, оправляла меня на постели, или сидѣла передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Одинъ разъ вспоминаю ея тихій поцѣлуй на моемъ лицѣ. Въ другой разъ, вдругъ очнувшись ночью, при свѣтѣ нагорѣвшей свѣчи, стоявшей передо мной на придвинутомъ къ дивану столикѣ, я увидѣлъ, что Елена прилегла лицомъ на мою подушку и пугливо спала, полураскрывъ свои блѣдныя губки и приложивъ ладонь къ своей теплой щечкѣ. Но очнулся я хорошо уже только рано утромъ. Свѣча догорѣла вся; яркій, розовый лучъ начинавшей зари уже игралъ на стѣнѣ. Елена сидѣла на стулѣ передъ столомъ и, склонивъ свою усталую головку на лѣвую руку, улегшуюся на столъ, крѣпко спала и, помню, я заглядѣлся на ея дѣтское личико, полное и во снѣ какъ-то не дѣтски-грустнаго выраженія и какой-то странной, болѣзненной красоты; блѣдное, съ стрѣльчатыми длинными рѣсницами на худенькихъ щекахъ, обрамленное черными какъ

смоль волосами, густо и тяжело ниспадавшими небрежно завязаннымъ узломъ на сторону. Другая рука ея лежала на моей подушкѣ. Я тихо-тихо поцѣловаль эту худенькую ручку, но бѣдное дитя не проснулось, только какъ будто улыбка проскользнула на ея блѣдныхъ губкахъ. Я смотрѣль-смотрѣль на нее и тихо заснулъ покойнымъ, цѣлительнымъ сномъ. Въ этотъ разъ я проспалъ чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовалъ себя почти выздоровѣвшимъ. Только слабость и тягость во всѣхъ членахъ свидѣтельствовали о недавней болѣзни. Подобные нервные и быстрые припадки бывали со мною и прежде; я зналъ ихъ хорошо. Болѣзнь обыкновенно почти совсѣмъ проходила въ сутки, что, впрочемъ, не мѣшало ей дѣйствовать въ эти сутки сурово и круто.

Быль уже почти полдень. Первое, что я увидѣль, это протянутые въ углу, на шнурѣ, занавѣсы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себѣ въ комнатѣ особый уголокъ. Она сидѣла передъ печкой и кипятила чайникъ. Замѣтивъ, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчасъ же подошла ко мнѣ.

— Другъ ты мой, сказалъ я, взявъ ее за руку, — ты цѣлую ночь за мной смотрѣла. Я не зналъ, что ты такая добрая.

— А вы почему знаете, что я за вами смотрѣла; можетъ-быть, я всю ночь проспала? спросила она, смотря на меня съ добродушнымъ и стыдливимъ лукавствомъ и въ то же время застѣнчиво краснѣя отъ своихъ словъ.

— Я просыпался и видѣль все. Ты заснула только передъ разсвѣтомъ...

— Хотите чаю? перебила она, какъ бы затрудняясь продолжать этотъ разговоръ, что бываетъ со всѣми цѣломудренными и сурово-честными сердцами, когда о нихъ имъ же заговаряютъ съ похвалою.

— Хочу, отвѣчалъ я. — Но обѣдала-ли ты вчера?

— Не обѣдала, а ужинала. Дворникъ принесъ. Вы, впрочемъ, не разговаривайте, а лежите покойно: вы еще не совсѣмъ здоровы, прибавила она, поднося мнѣ чаю и садясь на мою постель.

— Какое лежите! До сумерокъ, впрочемъ, буду лежать, а тамъ пойду со двора. Непремѣнно надо, Леночка.

— Ну, ужъ и надо! Къ кому вы пойдете? Ужъ не къ вчерашнему-ли гостю?

— Нѣтъ, не къ нему.

— Вотъ и хорошо, что не къ нему. Это онъ васъ разстроилъ вчера. Такъ къ его дочери?

— А ты почему знаешь про его дочь?

— Я все вчера слышала, отвѣчала она, потупившись. Лицо ея нахмурилось. Брови сдвинулись надъ глазами.

— Онъ дурной старикъ, прибавила она потомъ.

— Развѣ ты знаешь его? Напротивъ, онъ очень добрый человѣкъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, онъ злой; я слышала, отвѣчала она съ увлеченіемъ.

— Да что же ты слышала?

— Онъ свою дочь не хочетъ простить...

— Но онъ любитъ ее. Она передъ нимъ виновата, а онъ о ней заботится, мучается.

— А зачѣмъ не прощаетъ? Теперь какъ простить, дочь и не шла бы къ нему.

— Какъ такъ? Почему же?

— Потому что онъ не стѣитъ, чтобъ его дочь любила, отвѣчала она съ жаромъ.—Пусть она уйдетъ отъ него навсегда и лучше пусть милостыню просить, а онъ пусть видитъ, что дочь проситъ милостыню, да мучается.

Глаза ея сверкали, щечки загорѣлись. „Вѣрно, она не спроста такъ говорить“, подумалъ я про себя.

— Это вы меня къ нему-то въ домъ хотѣли отдать? прибавила она, помолчавъ.

— Да, Елена.

— Нѣтъ, я лучше въ служанки наймусь.

— Ахъ, какъ не хорошо это все, что ты говоришь, Леночка. И какой вздоръ: ну, къ кому ты можешь наняться?

— Ко всякому мужику, нетерпѣливо отвѣчала она, все болѣе и болѣе потупляясь.

Она была примѣтно вспылчива.

— Да мужику и не надо такой работницы, сказалъ я, усмѣхаясь.

— Ну, къ господамъ.

— Съ твоимъ-ли характеромъ жить у господъ?

— Съ моимъ.

Чѣмъ болѣе раздражалась она, тѣмъ отрывистѣе отвѣчала.

— Да ты не выдержишь.

— Выдержу. Меня будутъ бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будутъ бить, а я буду все молчать, все молчать, пусть бьютъ, ни за что не заплачу. Имъ же хуже будетъ отъ злости, что я не плачу.

— Что ты, Елена! Сколько въ тебѣ озлобленія; и гордая ты какая! Много, знать, ты видѣла горя...

Я всталъ и подошелъ къ моему большому столу. Елена осталась на диванѣ, задумчиво смотря въ землю, и пальчиками щипала покрывку. Она молчала. Разсердилась, что-ли, она на мои слова? думалъ я.

Стоя у стола, я машинально развернулъ вчерашнія книги, взятая мною для компиляціи, и мало-по-малу завлекся чтеніемъ. Со мной это часто случается: подойду, разверну книгу на минутку, справиться, и зачитаюсь такъ, что забуду все.

— Что вы тутъ все пишете? съ робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя къ столу.

— А такъ, Леночка, всякую всячину. За это мнѣ деньги даютъ.

— Просьбы?

— Нѣтъ, не просьбы.

И я объяснилъ ей, сколько могъ, что описываю разныя исторіи, про разныхъ людей: изъ этого выходятъ книги, которыя называются повѣстями и романами. Она слушала съ большимъ любопытствомъ.

— Что же, вы тутъ все правду описываете?

— Нѣтъ, выдумываю.

— Зачѣмъ же вы неправду пишете?

— А вотъ прочти, вотъ видишь, вотъ эту книжку; ты ужъ разъ ее смотрѣла. Ты вѣдь умѣешь читать?

— Умѣю.

— Ну, вотъ и увидишь. Эту книжку я написалъ.

— Вы? Прочту...

Ей что-то очень хотѣлось мнѣ сказать, но она очевидно затруднялась и была въ большомъ волненіи. Подъ ея вопросами что-то крылось.

— А вамъ много за это платять? спросила она, наконецъ.

— Да какъ случится. Иногда много, а иногда и ничего нѣтъ, потому что работа не работается. Эта работа трудная, Леночка.

— Такъ вы не богатый?

— Нѣтъ, не богатый.

— Такъ я буду работать и вамъ помогать...

Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступивъ ко мнѣ два шага, вдругъ обхватила меня обѣими руками, а лицомъ крѣпко-крѣпко прижалась къ моей груди. Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на нее.

— Я васъ люблю... я не гордая, проговорила она. — Вы сказали вчера, что я гордая. Нѣтъ, нѣтъ... я не такая... я васъ люблю. Вы только одинъ меня любите...

Но уже слезы задушали ее. Минуту спустя, онѣ вырвались изъ ея груди съ такою силою, какъ вчера во время припадка. Она упала передо мной на колѣни, цѣловала мои руки, ноги...

— Вы любите меня!.. повторяла она,—вы только одинъ, одинъ!..

Она судорожно сжимала мои колѣни своими руками. Все чувство ея, сдерживаемое столько времени, вдругъ разомъ вырвалось наружу, въ неудержимомъ порывѣ, и мнѣ стало понятно это странное упорство сердца, цѣломудренно таящаго себя до времени и тѣмъ упорнѣе, тѣмъ суровѣе, чѣмъ сильнѣе потребность излить себя, высказаться, и все это до того неизбежнаго порыва, когда все существо вдругъ до самозабвенія отдается этой потребности любви, благодарности, ласкамъ, слезамъ...

Она рыдала до того, что съ ней сдѣлалась истерика. Насилу я развелъ ея руки, обхватившія меня. Я поднялъ ее и отнесъ на диванъ. Долго еще она рыдала, укрывъ лицо въ подушки, какъ будто стыдясь смотрѣть на меня, но крѣпко стиснувъ мою руку въ своей маленькой ручкѣ и не отнимая ея отъ своего сердца.

Мало-по-малу она утихла, но все еще не подымала бо мнѣ своего лица. Раза два, мелькомъ, ея глаза скользнули по моему лицу, и въ нихъ было столько мягкости и какого-то пугливаго и снова прятаннаго чувства. Наконецъ, она покраснѣла и улыбнулась.

— Легче-ли тебѣ? спросилъ я,—чувствительная ты моя, Леночка, больное ты мое дитя!

— Не Леночка, нѣтъ... прошептала она, все еще пряча отъ меня свое личико.

— Не Леночка? Какъ же?

— Нелли.

— Нелли? Почему же непременно Нелли? Пожалуй, это очень хорошенькое имя. Такъ я тебя и буду звать, коли ты сама хочешь.

— Такъ меня мамаша звала... И никто такъ меня не звалъ, никогда, кромѣ нея... И я не хотѣла сама, чтобъ меня кто звалъ такъ, кромѣ мамаша... А вы зовите, я хочу... Я васъ буду всегда любить, всегда любить.

„Любящее и гордое сердечко“, подумалъ я, — „а какъ

долго надо мнѣ было заслужить, чтобъ ты для меня стала... Нелли“.

Но теперь я уже зналъ, что ея сердце предано мнѣ навѣки.

— Нелли, послушай, спросилъ я, какъ только она успокоилась. — Ты, вотъ, говоришь, что тебя любила только мамаша и никто больше. А развѣ твой дѣдушка и вправду не любилъ тебя?

— Не любилъ...

— А вѣдь ты плакала здѣсь о немъ, помнишь, на лѣстницѣ?

Она на минуту задумалась.

— Нѣтъ, не любилъ... Онъ былъ злой.

И какое-то больное чувство выдавилось на ея лицѣ.

— Да вѣдь съ него нельзя было и спрашивать, Нелли. Онъ, кажется, совсѣмъ уже выжилъ изъ ума. Онъ и умеръ какъ безумный. Вѣдь я тебѣ рассказывалъ, какъ онъ умеръ.

— Да; но онъ только въ послѣдній мѣсяцъ сталъ совсѣмъ забываться. Сидить, бывало, здѣсь цѣлый день, и если бъ я не приходила къ нему, онъ бы и другой, и третій день такъ сидѣлъ, не пивши, не ѣвши. А прежде онъ былъ гораздо лучше.

— Когда же прежде?

— Когда еще мамаша не умирала.

— Стало-быть, это ты ему приносила пить и ѣсть, Нелли?

— Да, и я приносила.

— Гдѣ же ты брала, у Бубновой?

— Нѣтъ, я никогда ничего не брала у Бубновой, настойчиво проговорила она, какимъ-то вздрогнувшимъ голосомъ.

— Гдѣ же ты брала, вѣдь у тебя ничего не было?

Нелли помолчала и страшно поблѣднѣла; потомъ долгимъ-долгимъ взглядомъ посмотрѣла на меня.

— Я на улицу милостыню ходила просить... Напрошу пять копеекъ и куплю ему хлѣба и табаку нюхательнаго...

— И онъ позволялъ! Нелли, Нелли!

— Я сначала пошла и ему не сказала. А онъ какъ узналъ, потомъ ужъ самъ сталъ меня прогонять просить. Я стою на мосту, прошу у прохожихъ, а онъ ходитъ около моста, дожидается; и какъ увидитъ, что мнѣ дали, такъ и бросится на меня и отниметъ деньги, точно я утаить отъ него хочу, не для него собираю.

Говоря это, она улыбнулась какою-то ёдкою, горькою улыбкою.

— Это все было когда мамаша умерла, прибавила она.— Тутъ онъ ужъ совсѣмъ сталъ какъ безумный.

— Стало-быть, онъ очень любилъ твою мамашу? Какъ же онъ не жилъ съ нею?

— Нѣтъ, не любилъ... Онъ былъ злой и ее не прощалъ... какъ вчерашній злой старикъ, проговорила она тихо, совсѣмъ почти шопотомъ и блѣднѣя все больше и больше.

Я вздрогнулъ. Завязка цѣлаго романа такъ и блеснула въ моемъ воображеніи. Эта бѣдная женщина, умирающая въ подвалѣ у гробовщика, сиротка дочь ея, навѣщавшая изрѣдка дѣдушку, проклявшаго ея мать; обезумѣвшій кудакъ-старикъ, умирающій въ кондитерской, послѣ смерти своей собаки!..

— А вѣдь Азорка-то былъ прежде маменькинъ, сказала вдругъ Нелли, улыбаясь какому-то воспоминанію. — Дѣдушка очень любилъ прежде маменьку, и когда мамаша ушла отъ него, у него и остался мамашинъ Азорка. Оттого-то онъ и любилъ такъ Азорку... Мамашу не простилъ, а когда собака умерла, такъ самъ умеръ, сурово прибавила Нелли, и улыбка исчезла съ лица ея.

— Нелли, кто-жъ онъ былъ таковой прежде? спросилъ я, подождавъ немного.

— Онъ былъ прежде богатый... Я не знаю, кто онъ былъ, отвѣчала она.— У него былъ какой-то заводъ... Такъ мамаша мнѣ говорила. Она сначала думала, что я маленькая, и всего мнѣ не говорила. Все, бывало, цѣлуетъ меня, а сама говорить: все узнаешь, придетъ время, узнаешь, бѣдная, несчастная! И все меня бѣдной и несчастной звала. И когда ночью, бывало, думаетъ, что я сплю (а я нарочно, не сплю, притворюсь, что сплю), она все плачетъ надо мной, цѣлуетъ меня и говоритъ: бѣдная, несчастная!

— Отчего же умерла твоя мамаша?

— Отъ чахотки; теперь шесть недѣль будетъ.

— А ты помнишь, когда дѣдушка былъ богатъ?

— Да вѣдь я еще тогда не родилась. Мамаша еще прежде, чѣмъ я родилась, ушла отъ дѣдушки.

— Съ кѣмъ же ушла?

— Не знаю, отвѣчала Нелли, тихо и какъ бы задумываясь.— Она за границу ушла, а я тамъ и родилась.

— За границей? Гдѣ же?

— Въ Швейцаріи. Я вездѣ была, и въ Италиі была, и въ Парижѣ была.

Я удивился.

— И ты помнишь, Нелли?

— Многое помню.

— Какъ же ты такъ хорошо по-русски знаешь, Нелли?

— Мамаша меня еще и тамъ учила по-русски. Она была русская, потому что ея мать была русская, а дѣдушка былъ англичанинъ, но тоже какъ русскій. А какъ мы сюда съ мамашей воротились, полтора года назадъ, я и научилась совсѣмъ. Мамаша была уже тогда больная. Тутъ мы стали все бѣднѣе и бѣднѣе. Мамаша все плакала. Она сначала долго отыскивала здѣсь въ Петербургѣ дѣдушку и все говорила, что передъ нимъ виновата, и все плакала... Такъ плакала, такъ плакала! А какъ узнала, что дѣдушка бѣдный, то еще больше плакала. Она къ нему и письма часто писала, онъ все не отвѣчалъ.

— Зачѣмъ же мамаша воротилась сюда? Только къ отцу?

— Не знаю. А тамъ намъ такъ хорошо было жить! и глаза Нелли засверкали. — Мамаша жила одна, со мной. У ней былъ одинъ другъ, добрый, какъ вы... Онъ ее еще здѣсь зналъ. Но онъ тамъ умеръ, мамаша и воротилась...

— Такъ съ нимъ-то мамаша твоя и ушла отъ дѣдушки?

— Нѣтъ, не съ нимъ. Мамаша ушла съ другимъ отъ дѣдушки, а тотъ ее и оставилъ...

— Съ кѣмъ же, Нелли?

Нелли взглянула на меня и ничего не отвѣчала. Она, очевидно, знала, съ кѣмъ ушла ея мамаша и кто, вѣроятно, былъ и ея отецъ. Ей было тяжело даже и мнѣ называть его имя.

Я не хотѣлъ ее мучить разспросами. Это былъ характеръ странный, нервный и пылкій, но подавлявшій въ себѣ свои порывы, симпатичный, но замыкавшійся въ гордость и недоступность. Все время какъ я ее зналъ, она, несмотря на то, что любила меня всѣмъ сердцемъ своимъ, самую свѣтлую и ясною любовью, почти наравнѣ съ своею умершею матерью, о которой даже не могла вспоминать безъ боли,—несмотря на то, она рѣдко была со мной наружу и, кромѣ этого дня, рѣдко чувствовала потребность говорить со мной о своемъ прошедшемъ, даже, напротивъ, какъ-то сурово таилась отъ меня. Но въ этотъ день,

въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, среди мукъ и судорожныхъ рыданій, прерывавшихъ разсказъ ея, она передала мнѣ все, что наиболѣе волновало и мучило ее въ ея воспоминаніяхъ, и никогда не забуду я этого страшнаго разсказа. Но главная исторія ея еще впереди...

Это была страшная исторія; это исторія покинутой женщины, пережившей свое счастье; больной, измученной и оставленной всѣми; отвергнутой послѣднимъ существомъ, на которое она могла надѣяться,—отцомъ своимъ, оскорбленнымъ когда-то ею и, въ свою очередь, выжившимъ изъ ума отъ нестерпимыхъ страданій и униженій. Это исторія женщины, доведенной до отчаянія; ходившей съ своей дѣвочкой, которую она считала еще ребенкомъ, по холоднымъ грязнымъ петербургскимъ улицамъ и просившей милостыню; женщины, умиравшей потомъ цѣлые мѣсяцы въ сыромъ подвалѣ, и которой отецъ отказывалъ въ прощеніи до послѣдней минуты ея жизни и только въ послѣднюю минуту опомнившійся и прибѣжавшій простить ее, но уже заставшій одинъ холодный трупъ вмѣсто той, которую любилъ больше всего на свѣтѣ. Это былъ странный разсказъ о таинственныхъ, даже едва понятныхъ отношеніяхъ выжившаго изъ ума старика съ его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое дѣтство, многое изъ того, до чего не развивается иной въ цѣлые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Мрачная это была исторія, одна изъ тѣхъ мрачныхъ и мучительныхъ исторій, которыя такъ часто и непримѣтно, почти таинственно, сбываются подъ тяжелымъ петербургскимъ небомъ, въ темныхъ, потаенныхъ закоулкахъ огромнаго города, среди взбалмошнаго кибитчій жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересовъ, угрюмаго разврата, сокровенныхъ преступленій, среди всего этого кромѣшнаго ада бессмысленной и ненормальной жизни...

Но эта исторія еще впереди...

Часть третья.

ГЛАВА I.

Давно уже наступили сумерки, насталъ вечеръ и только тогда я очнулся отъ мрачнаго кошмара и вспомнилъ о настоящемъ.

— Нелли, сказалъ я, — вотъ ты теперь больна, разстроена, а я долженъ тебя оставить одну, взволнованную и въ слезахъ. Другъ мой! Прости меня и узнай, что тутъ есть тоже одно любимое и не прощенное существо, несчастное, оскорбленное и покинутое. Она ждетъ меня. Да и меня самого влечетъ теперь послѣ твоего разказа, такъ что я, кажется, не перенесу, если не увижу ее сейчасъ, сію минуту...

Не знаю, поняла-ли Нелли все, что я ей говорилъ. Я былъ взволнованъ и отъ разказа, и отъ недавней болѣзни; но я бросился къ Наташѣ. Было уже поздно, часъ девятый, когда я вошелъ къ ней.

Еще на улицѣ, у воротъ дома, въ которомъ жила Наташа, я замѣтилъ коляску, и мнѣ показалось, что это коляска князя. Входя къ Наташѣ былъ со двора. Только что я сталъ входить на лѣстницу, я слышалъ передъ собой, однимъ всходомъ выше, человѣка, взбиравшагося ощупью, осторожно, очевидно, незнакомаго съ мѣстностью. Мнѣ вообразилось, что это долженъ быть князь; но скорѣ я сталъ разувѣряться. Незнакомецъ, взбираясь наверхъ, ворчалъ и проклиналъ дорогу и все сильнѣе и энергичнѣе, чѣмъ выше онъ подымался. Конечно, лѣстница была узкая, грязная, крутая, никогда не освѣщенная; но такихъ ругательствъ, какія начались въ третьемъ этажѣ, я бы

никакъ не могъ приписать князю: взбравшійся господинъ ругался какъ извозчикъ. Но съ третьяго этажа начался свѣтъ; у Наташиныхъ дверей горѣлъ маленький фонарь. У самой двери я нагналъ моего незнакомца, и каково же было мое изумленіе, когда я узналъ въ немъ князя. Кажется, ему чрезвычайно было неприятно такъ нечаянно столкнуться со мною. Первое мгновеніе онъ не узналъ меня, но вдругъ все лицо его преобразилось. Первый, злобный и ненавистный взглядъ его на меня сдѣлался вдругъ привѣтливымъ и веселымъ, и онъ съ какою-то необыкновенною радостью протянулъ мнѣ обѣ руки.

— Ахъ, это вы! А я только что хотѣлъ было стать на колѣни и молить Бога о спасеніи моей жизни. Слышали, какъ я ругался?

И онъ захохоталъ простодушнѣйшимъ образомъ. Но вдругъ лицо его приняло серьезное и заботливое выраженіе.

— И Алеша могъ помѣстить Наталью Николаевну въ такой квартирѣ! сказалъ онъ, покачивая головою. — Вотъ эти-то такъ-называемыя *мелочи* и обозначаютъ человѣка. Я боюсь за него. Онъ добръ, у него благородное сердце, но вотъ вамъ примѣръ: любить безъ памяти, а помѣщаетъ ту, которую любить, въ такой конурѣ. Я даже слышалъ, что иногда хлѣба не было, прибавилъ онъ шопотомъ, отскывая ручку колокольчика. — У меня голова трещитъ, когда подумаю объ его будущности, а главное о будущности *Анны* Николаевны, когда она будетъ его женой...

Онъ ошибся именемъ и не замѣтилъ того, съ явною досадою не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергалъ ручку замка, и Мавра тотчасъ же намъ отворила, суетливо встрѣчая насъ. Въ кухнѣ, отдѣлявшейся отъ крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь замѣтны были нѣкоторые приготовления: все было какъ-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено; въ печи горѣлъ огонь, на столѣ стояла какая-то новая посуда. Видно было, что насъ ждали. Мавра бросилась снимать наши пальто.

— Алеша здѣсь? спросилъ я ее.

— Не бывалъ, шепнула она мнѣ какъ-то таинственно.

Мы вошли къ Наташѣ. Въ ея комнатѣ не было никакихъ особенныхъ приготовленій; все было по-старому. Впрочемъ, у нея всегда было все такъ чисто и мило, что нечего было и прибираться. Наташа встрѣтила насъ, стоя

передъ дверью. Я пораженъ былъ болѣзненной худобой и чрезвычайной блѣдностью ея лица, хотя румянецъ и блеснулъ на одно мгновеніе на ея помертвѣвшихъ щекахъ. Глаза были лихорадочные. Она молча и торопливо протянула князю руку, примѣтно суетясь и теряясь. На меня же она и не взглянула. Я стоялъ и ждалъ молча.

— Вотъ и я! дружески и весело заговорилъ князь. — Только нѣсколько часовъ какъ воротился. Все это время вы не выходили изъ моего ума (онъ нѣжно поцѣловалъ ея руку); и сколько, сколько я передумалъ о васъ! Сколько выдумалъ вамъ сказать, передать... Ну, да мы наговоримся! Во-первыхъ, мой вѣтрогонъ, котораго, я вижу, еще здѣсь нѣтъ...

— Позвольте, князь, перебила его Наташа, покраснѣвъ и смѣшавшись, — мнѣ надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдемъ... два слова...

Она схватила меня за руку и повела за ширмы.

— Ваня, сказала она шопотомъ, заведи меня въ самый темный уголь, — простишь ты меня или нѣтъ?

— Наташа, полно, что ты!

— Нѣтъ, нѣтъ, Ваня, ты слишкомъ часто и слишкомъ много прощаль мнѣ, но вѣдь есть же конецъ всякому терпѣнію. Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарною, а я вчера и третьяго дни была предъ тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая...

Она вдругъ залилась слезами и прижалась лицомъ къ моему плечу.

— Полно, Наташа, спѣшилъ я разувѣрить ее. — Вѣдь я былъ очень боленъ всю ночь, даже и теперь едва стою на ногахъ, оттого и не заходилъ ни вечеромъ вчера, ни сегодня, а ты и думаешь, что я разсердился. Другъ ты мой дорогой, да развѣ я не знаю, что теперь въ твоей душѣ дѣлается?

— Ну, и хорошо... Значить, простилъ, какъ всегда, сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. — Остальное послѣ. Много надо сказать тебѣ, Ваня. А теперь къ нему...

— Поскорѣй, Наташа; мы такъ его вдругъ оставили...

— Вотъ ты увидишь, увидишь, что будетъ, наскоро шепнула она мнѣ. — Я теперь знаю все; все угадала. Виноватъ всему онъ. Этотъ вечеръ много рѣшить. Пойдемъ!

Я не понималъ, но спросить было некогда. Наташа вышла къ князю съ свѣтлымъ лицомъ. Онъ все еще стоялъ

со шляпой въ рукахъ. Она весело передъ нимъ извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стулъ, и мы втроемъ усѣлись кругомъ ея столика.

— Я началъ о моемъ вѣтреникѣ, продолжалъ князь, — я видѣлъ его только одну минуту и то на улицѣ, когда онъ садился ѣхать къ графинѣ Зинаидѣ Ѳедоровнѣ. Онъ ужасно спѣшилъ и, представьте, даже не хотѣлъ встать, чтобъ войти со мной въ комнаты, послѣ четырехъ дней разлуки. И, кажется, я въ томъ виноватъ, Наталья Николаевна, что онъ теперь не у васъ и что мы пришли прежде него; я воспользовался случаемъ, и такъ какъ самъ не могъ быть сегодня у графини, то далъ ему одно порученіе. Но онъ явится сію минуту.

— Онъ вамъ навѣрно обѣщалъ пріѣхать сегодня? спросила Наташа, съ самымъ простодушнымъ видомъ смотря на князя.

— Ахъ, Боже мой, еще бы онъ не пріѣхалъ; какъ это вы спрашиваете! воскликнулъ онъ, съ удивленіемъ всматриваясь въ нее. — Впрочемъ, понимаю: вы на него сердитесь. Дѣйствительно, какъ будто дурно съ его стороны придти всѣхъ позже. Но, повторяю, виноватъ въ этомъ я. Не сердитесь и на него. Онъ легкомысленный, вѣтреникъ; я его не защищаю, но нѣкоторыя особенныя обстоятельства требуютъ, чтобъ онъ не только не оставлялъ теперь дома графини и нѣкоторыхъ другихъ связей, но, напротивъ, какъ можно чаще являлся туда. Ну, а такъ какъ онъ, вѣроятно, не выходитъ теперь отъ васъ и забылъ все на свѣтѣ, то, пожалуйста, не сердитесь, если я буду иногда брать его, часа на два не больше, по моимъ порученіямъ. Я увѣренъ, что онъ еще ни разу не былъ у княгини А. съ того вечера, и такъ досадую, что не успѣлъ давеча разспросить его!..

Я взглянулъ на Наташу. Она слушала князя съ легкой полунасмѣшливой улыбкой. Но онъ говорилъ такъ прямо, такъ натурально. Казалось, не было возможности въ чемъ-нибудь подозрѣвать его.

— И вы вправду не знали, что онъ у меня во всѣ эти дни ни разу не былъ? спросила Наташа тихимъ и спокойнымъ голосомъ, какъ будто говоря о самомъ обыкновенномъ для нея происшествіи.

— Какъ! Ни разу не былъ? Позвольте, что вы говорите! сказалъ князь, повидимому, въ чрезвычайномъ изумленіи.

— Вы были у меня во вторникъ, поздно вечеромъ; на другое утро онъ заѣзжалъ ко мнѣ на полчаса, и съ тѣхъ поръ я его не видала ни разу.

— Но это невѣроятно! (онъ изумлялся все болѣе и болѣе). Я именно думалъ, что онъ не выходитъ отъ васъ. Извините, это такъ странно... просто невѣроятно.

— Но, однакожь, вѣрно, и какъ жаль: я нарочно ждала васъ, думала отъ васъ-то и узнать, гдѣ онъ находится?

— Ахъ, Боже мой! Да вѣдь онъ сейчасъ же будетъ здѣсь! Но то, что вы мнѣ сказали, меня до того поразило, что я... признаюсь, я всего ожидалъ отъ него, но этого... этого!

— Какъ вы изумляетесь! А я такъ думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранѣе знали, что такъ и будетъ.

— Зналъ! Я? Но увѣряю же васъ, Наталья Николаевна, что видѣлъ его только одну минуту сегодня и больше никого о немъ не спрашивалъ; и мнѣ странно, что вы мнѣ какъ будто не вѣрите, продолжалъ онъ, оглядывая насъ обоихъ.

— Сохрани Богъ, подхватила Наташа,—совершенно увѣрена, что вы сказали правду.

И она засмѣялась снова, прямо въ глаза князю, такъ что его какъ будто передернуло.

— Объяснитесь, сказалъ онъ въ замѣшательствѣ.

— Да тутъ нечего и объяснять. Я говорю очень просто. Вы вѣдь знаете, какой онъ вѣтренный, забывчивый. Ну вотъ, какъ ему дана теперь полная свобода, онъ и увлекся.

— Но такъ увлекаться невозможно, тутъ что-нибудь да есть, и только что онъ пріѣдетъ, я заставлю его объяснить это дѣло. Но болѣе всего меня удивляетъ, что вы какъ будто и меня въ чемъ-то обвиняете, тогда какъ меня даже здѣсь и не было. А впрочемъ, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь,—и это понятно! Вы имѣете на то всѣ права, и... и... разумѣется, я первый виноватъ, ну хоть потому только, что я первый подвернулся; не правда-ли? продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ съ раздражительною насмѣшкою.

Наташа вспыхнула.

— Позвольте, Наталья Николаевна, продолжалъ онъ съ достоинствомъ,—соглашаюсь, что я виноватъ, но только въ томъ, что уѣхалъ на другой день послѣ нашего зна-

комства, такъ что вы, при нѣкоторой мнительности, которую я замѣчаю въ вашемъ характерѣ, уже успѣли измѣнить обо мнѣ ваше мнѣніе, тѣмъ болѣе, что тому способствовали обстоятельства. Не уѣзжалъ бы я,—вы бы меня узнали лучше, да и Алеша не вѣтренничалъ бы подъ моимъ надзоромъ. Сегодня же вы услышите сами, что я наговорю ему.

— То-есть сдѣлаете, что онъ мною начнетъ тяготиться. Невозможно, чтобъ, при вашемъ умѣ, вы вправду думали, что такое средство мнѣ поможетъ.

— Такъ ужъ не хотите-ли вы намекнуть, что я нарочно хочу такъ устроить, чтобъ онъ вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна.

— Я стараюсь какъ можно меньше употреблять намековъ, съ кѣмъ бы я ни говорила, отвѣчала Наташа.— Напротивъ, всегда стараюсь говорить какъ можно прямо, и вы, можетъ-быть, сегодня же убѣдитесь въ этомъ. Обижать я васъ не хочу, да и не зачѣмъ; хоть ужъ потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вамъ ни сказала. Въ этомъ я совершенно увѣрена, потому что совершенно понимаю наши взаимныя отношенія: вѣдь вы на нихъ не можете смотрѣть серьезно, не правдами? Но если я въ самомъ дѣлѣ васъ обидѣла, то готова просить прощенія, чтобъ исполнить передъ вами всѣ обязанности... гостепріимства.

Несмотря на легкій и даже шуточный тонъ, съ которымъ Наташа произнесла эту фразу, со смѣхомъ на губахъ, никогда еще я не видалъ ее до такой степени раздраженною. Теперь только я понялъ, до чего наболѣло у нея въ сердцѣ въ эти три дня. Загадочныя слова ея: что она уже все знаетъ и обо всемъ догадалась, испугали меня; они прямо относились къ князю. Она измѣнила о немъ свое мнѣніе и смотрѣла на него, какъ на своего врага,—это было очевидно. Она видимо приписывала его вліянію всѣ свои неудачи съ Алешей и, можетъ-быть, имѣла на это какія-нибудь данныя. Я боялся между ними внезапной сцены. Шуточный тонъ ея былъ слишкомъ обнаруженъ, слишкомъ не закрытъ. Последнія же слова ея князю о томъ, что онъ не можетъ смотрѣть на ихъ отношенія серьезно, фраза объ извиненіи по обязанности гостепріимства, ея обѣщаніе, въ видѣ угрозы, доказать ему въ этотъ же вечеръ, что она умѣетъ говорить прямо,—все это было до такой степени язвительно и немаскиро-

вано, что не было возможности, чтобъ князь не понялъ всего этого. Я видѣлъ, что онъ измѣнился въ лицѣ, но онъ умѣлъ владѣть собою. Онъ тотчасъ же показалъ видъ, что не замѣтилъ этихъ словъ, не понялъ ихъ настоящаго смысла, и, разумѣется, отдѣлался шуткой.

— Боже меня сохрани требовать извиненій! подхватилъ онъ, смѣясь.—Я вовсе не того хотѣлъ, да и не въ моихъ правилахъ требовать извиненія отъ женщины. Еще въ первое наше свиданіе я отчасти предупредилъ васъ о моемъ характерѣ, а потому вы, вѣроятно, не разсердитесь на меня за одно замѣчаніе, тѣмъ болѣе, что оно будетъ вообще о всѣхъ женщинахъ; вы тоже, вѣроятно, согласитесь съ этимъ замѣчаніемъ, продолжалъ онъ, съ любезностью обращаясь ко мнѣ.—Именно, я замѣтилъ, въ женскомъ характерѣ есть такая черта, что если, напримѣръ, женщина въ чемъ виновата, то скорѣй она согласится потомъ, въ послѣдствіи, загладить свою вину тысячью ласкъ, чѣмъ въ настоящую минуту, во время самой очевидной улики въ проступкѣ, сознаться въ немъ и попросить прощенія. Итакъ, если только предположить, что я вами обиженъ, то теперь, въ настоящую минуту, я нарочно не хочу извиненія; мнѣ выгоднѣе будетъ въ послѣдствіи, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить передо мной... тысячью ласкъ. А вы такъ добры, такъ чисты, свѣжи, такъ наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствую это, будетъ очаровательна. А лучше, вмѣсто извиненія, скажите мнѣ теперь, не могу-ли я сегодня же чѣмъ-нибудь доказать вамъ, что я гораздо искреннѣе и прямѣе поступаю съ вами, чѣмъ вы обо мнѣ думаете?

Наташа покраснѣла. Мнѣ тоже показалось, что въ отвѣтъ князя слышался какой-то ужъ слишкомъ легкій, даже небрежный тонъ, какая-то нескромная шутливость.

— Вы хотите мнѣ доказать, что вы со мной прямы и простодушны? спросила Наташа, съ вызывающимъ видомъ смотря на него.

— Да.

— Если такъ, исполните мою просьбу.

— Заранѣе даю слово.

— Вотъ она: ни однимъ словомъ, ни однимъ намекомъ обо мнѣ не беспокоить Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что, онъ забылъ меня; ни одного наставленія. Я именно хочу встрѣтить его такъ, какъ

будто ничего между нами не было, чтобъ онъ и замѣтить ничего не могъ. Мнѣ это надо. Дадите вы мнѣ такое слово?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ, отвѣчалъ князь, — и позвольте мнѣ прибавить отъ всей души, что я рѣдко въ комъ встрѣчалъ болѣе благоразумный и ясный взглядъ на такія дѣла... Но вотъ, кажется, и Алеша.

Дѣйствительно, въ передней послышался шумъ. Наташа вздрогнула и какъ будто къ чему-то приготовилась. Князь сидѣлъ съ серьезною миною и ожидалъ что-то будетъ; онъ пристально слѣдилъ за Наташей. Но дверь отворилась, и къ намъ влетѣлъ Алеша.

ГЛАВА II.

Онъ именно влетѣлъ съ какимъ-то сіяющимъ лицомъ, радостный, веселый. Видно было, что онъ весело и счастливо провелъ эти четыре дня. На немъ какъ будто написано было, что онъ хотѣлъ намъ что-то сообщить.

— Вотъ и я! провозгласилъ онъ на всю комнату. — Тотъ, которому бы надо быть раньше всѣхъ. Но сейчасъ узнаете все, все, все! Давеча, папаша, мы съ тобой двухъ словъ не успѣли сказать, а мнѣ много надо было сказать тебѣ. Это онъ мнѣ только въ добрыя свои минуты позволяетъ говорить себѣ: *ты*, прервалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, — ей-Богу, въ иное время запрещаетъ! И какая у него является тактика: начинаетъ самъ говорить мнѣ *он*. Но съ этого дня я хочу, чтобъ у него всегда были добрыя минуты, и сдѣлаю такъ! Вообще я весь перемѣнился въ эти четыре дня, совершенно, совершенно перемѣнился и все вамъ расскажу. Но это впереди. А главное теперь: вотъ она! Вотъ она! Опять! Наташа, голубчикъ, здравствуй, ангелъ ты мой! говорилъ онъ, усаживаясь подлѣ нея и жадно цѣлуя ея руку, — тосковалъ-то по тебѣ въ эти дни! Но что хочешь! — Не могъ! Управиться не могъ. Милая ты моя! Какъ будто ты похудѣла немножко, блѣдненькая стала какая...

Онъ въ восторгѣ покрывалъ ея руки поцѣлуями, жадно смотрѣлъ на нее своими прекрасными глазами, какъ будто не могъ наглядѣться. Я взглянулъ на Наташу и по лицу ея угадалъ, что у насъ были однѣ мысли: онъ былъ вполнѣ невиненъ. Да и когда, какъ этотъ *невинный* могъ бы сдѣлаться виноватымъ? Яркій румянецъ прилилъ вдругъ къ

блѣднымъ щекамъ Наташи, точно вся кровь, собравшаяся въ ея сердцѣ, отхлынула вдругъ въ голову. Глаза ея за сверкали, и она гордо взглянула на князя.

— Но гдѣ же... ты былъ... столько дней? проговорила она сдержаннымъ и прерывающимся голосомъ. Она тяжело и неровно дышала. Боже мой, какъ она любила его!

— То-то и есть, что я въ самомъ дѣлѣ какъ будто виновать передъ тобой; да что: *какъ будто!* Разумѣется, виновать, и самъ это знаю, и пріѣхалъ съ тѣмъ, что знаю. Катя вчера и сегодня говорила мнѣ, что не можетъ женщина простить такую небрежность (вѣдь она все знаетъ, что было у насъ здѣсь во вторникъ; я на другой же день рассказалъ). Я съ ней спорилъ, доказывалъ ей, говорилъ, что эта женщина называется *Наташа*, и что во всемъ свѣтѣ, можетъ-быть, только одна есть равная ей: это Катя; и я пріѣхалъ сюда, разумѣется, зная, что я выигралъ въ спорѣ. Развѣ такой ангелъ, какъ ты, можетъ не простить? „Не былъ, стало-быть, непременно что-нибудь помѣшало, а не то что разлюбилъ“, — вотъ какъ будетъ думать моя Наташа! Да и какъ тебя разлюбить? Развѣ возможно? Все сердце наболѣло у меня по тебѣ. Но я все-таки виновать! А когда узнаешь все, меня же первая оправдаешь! Сейчас все расскажу, мнѣ надобно излить душу передъ всѣми вами; съ тѣмъ и пріѣхалъ. Хотѣлъ было сегодня (было полминутки свободной) залетѣть къ тебѣ, чтобъ поцѣловать тебя на-лету, но и тутъ неудача: Катя немедленно потребовала къ себѣ по важнѣйшимъ дѣламъ. Это еще до того времени, когда я на дрожкахъ сидѣлъ, папа, и ты меня видѣлъ; это я другой разъ, по другой запискѣ къ Катѣ тогда ѣхалъ. У насъ вѣдь теперь цѣлые дни скорходы съ записками изъ дома въ домъ бѣгаютъ. Иванъ Петровичъ, вашу записку я только вчера ночью успѣлъ прочесть, и вы совершенно правы во всемъ, что вы тамъ написали. Но что же дѣлать: физическая невозможность! Такъ и подумалъ: завтра вечеромъ во всемъ оправдаюсь, потому что ужъ сегодня вечеромъ невозможно мнѣ было не пріѣхать къ тебѣ, Наташа.

— Какая это записка? спросила Наташа.

— Онъ у меня былъ, не засталъ, разумѣется, и сильно разругалъ въ письмѣ, которое мнѣ оставилъ, за то, что къ тебѣ не хожу. И онъ совершенно правъ. Это было вчера.

Наташа взглянула на меня.

— Но если у тебя доставало времени бывать съ утра до вечера у Катерины Федоровны... началъ было князь.

— Знаю, знаю, что ты скажешь, перебилъ Алеша: — „Если могъ быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причинъ быть здѣсь“. Совершенно съ тобой согласенъ, и даже прибавлю отъ себя: не вдвое причинъ, а въ миллионъ больше причинъ. Но, во-первыхъ, бываютъ же странныя, неожиданныя событія въ жизни, которыя все пере-мѣшиваютъ и ставятъ вверхъ дномъ. Ну, вотъ и со мной случились такія событія. Говорю же я, что въ эти дни я совершенно измѣнился, весь до конца ногтей; стало-быть, были же важныя обстоятельства!

— Ахъ, Боже мой, да что же съ тобой было? Не томи, пожалуйста! вскричала Наташа, улыбаясь на горячку Алеша.

Въ самомъ дѣлѣ, онъ былъ немного смѣшонъ: онъ торопился; слова вылетали у него быстро, часто, безъ порядка, какой-то стукотней. Ему все хотѣлось говорить, говорить, рассказать. Но, рассказывая, онъ все-таки не покидалъ руки Наташи и непрерывно подносилъ ее къ губамъ, какъ будто не могъ нацѣловаться.

— Въ томъ-то и дѣло, что со мной было, продолжалъ Алеша. — Ахъ, друзья мои! Что я видѣлъ, что дѣлалъ, какихъ людей узналъ! Во-первыхъ, Катя: это такое совершенство! Я ее совсѣмъ, совсѣмъ не зналъ до сихъ поръ! И тогда, во вторникъ, когда я говорилъ тебѣ о ней, Наташа, — помнишь, я еще съ такимъ восторгомъ говорилъ, ну, такъ и тогда даже я ее совсѣмъ почти не зналъ. Она сама таилась отъ меня, до самаго теперешняго времени. Но теперь мы совершенно узнали другъ друга. Мы съ ней ужъ теперь на ты. Но начну съ начала: во-первыхъ, Наташа, если-бъ ты могла только слышать, что она говорила мнѣ про тебя, когда я на другой день, въ среду, рассказалъ ей, что здѣсь между нами было... А кстати: припоминаю, какимъ я былъ глупцомъ передъ тобой, когда я приѣхалъ къ тебѣ тогда утромъ, въ среду! Ты встрѣчаешь меня съ восторгомъ, ты вся проникнута новымъ положеніемъ нашимъ; ты хочешь говорить со мной обо всемъ этомъ; ты грустна и въ то же время шалишь и играешь со мной; а я — такого солиднаго человѣка изъ себя корчу! О, глупецъ, глупецъ! Вѣдь ей-Богу же мнѣ хотѣлось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужемъ, солиднымъ человѣкомъ, и нащелъ же

передь кѣмъ хвастаться, — передь тобой! Ахъ, какъ, должно-быть, ты тогда надо мной смѣялась, и какъ я стоилъ твоей насмѣшки!

Князь сидѣлъ молча и съ какой-то торжествующе-пронической улыбкой смотрѣлъ на Алешу. Точно онъ радъ былъ, что сынъ выказываетъ себя съ такой легкомысленной и даже смѣшной точки зрѣнія. Весь этотъ вечеръ я прилежно наблюдалъ его и совершенно убѣдился, что онъ вовсе не любитъ сына, хотя и говорили про слишкомъ горячую отцовскую любовь его.

— Послѣ тебя я поѣхалъ въ Катѣ, сыпалъ свой рассказъ Алеша. — Я уже сказалъ, что мы только въ это утро совершенно узнали другъ друга, и странно какъ-то это произошло... не помню даже... Нѣсколько горячихъ словъ, нѣсколько ощущений, мыслей прямо высказанныхъ, и мы — сблизились навѣки. Ты должна, должна узнать ее, Наташа! Какъ она рассказала, какъ она растолковала мнѣ тебя! Какъ объяснила мнѣ, какое ты сокровище для меня! Мало-по-малу она объяснила мнѣ всѣ свои идеи и свой взглядъ на жизнь; это такая серьезная, такая восторженная дѣвушка! Она говорила о долгѣ, о назначеніи нашемъ, о томъ, что мы всѣ должны служить человѣчеству, и такъ какъ мы совершенно сошлись, въ какіе-нибудь пять-шесть часовъ разговора, то кончили тѣмъ, что поклялись другъ другу въ вѣчной дружбѣ и въ томъ, что во всю жизнь нашу будемъ дѣйствовать вмѣстѣ!

— Въ чемъ же дѣйствовать? съ удивленіемъ спросилъ князь.

— Я такъ измѣнился, отецъ, что все это, конечно, должно удивлять тебя; даже заранѣе предчувствую всѣ твои возраженія, отвѣчалъ торжественно Алеша. — Всѣ вы люди практическіе, у васъ столько выжитыхъ правилъ, серьезныхъ, строгихъ, на все новое, на все молодое, свѣжее вы смотрите недоувѣрчиво, враждебно, насмѣшливо. Но теперь ужъ я не тотъ, какимъ ты зналъ меня нѣсколько дней тому назадъ. Я другой! Я смѣло смотрю въ глаза всему и всѣмъ на свѣтѣ. Если я знаю, что мое убѣжденіе справедливо, я преслѣдую его до послѣдней крайности; и если я не сойду съ дороги, то я честный человѣкъ. Съ меня довольно. Говорите послѣ того, что хотите, я въ себѣ увѣренъ.

— Ого! сказалъ князь насмѣшливо.

Наташа съ безпокойствомъ оглядѣла насъ. Она боялась

за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться въ разговорѣ, и она знала это. Ей не хотѣлось, чтобъ Алеша выказалъ себя съ смѣшной стороны передъ нами и особенно передъ отцомъ.

— Что ты, Алеша! Вѣдь это ужъ философія какая-то, сказала она, — тебя вѣрно кто-нибудь научилъ... ты бы лучше рассказывалъ.

— Да я и рассказываю! вскричалъ Алеша. — Вотъ видишь: у Кати есть два дальніе родственника, какіе-то кузены, Левинька и Боринька, одинъ студентъ, а другой просто молодой человѣкъ. Она съ ними имѣетъ сношенія, а тѣ — просто необыкновенные люди! Къ графинѣ они почти не ходятъ, по принципу. Когда мы говорили съ Катей о назначеніи человѣка, о призваніи и обо всемъ этомъ, она указала мнѣ на нихъ и немедленно дала мнѣ къ нимъ записку; я тотчасъ же полетѣлъ съ ними знакомиться. Въ тотъ же вечеръ мы сошлись совершенно. Тамъ было человѣкъ двѣнадцать разнаго народу, — студентовъ, офицеровъ, художниковъ; былъ одинъ писатель... они всѣ васъ знаютъ, Иванъ Петровичъ, то-есть читали ваши сочиненія и много ждутъ отъ васъ въ будущемъ. Такъ они мнѣ сами сказали. Я говорилъ имъ, что съ вами знакомъ и обѣщалъ имъ васъ познакомить съ ними. Всѣ они приняли меня по-братски, съ распростертыми объятіями. Я съ перваго же разу сказалъ имъ, что буду скоро женатый человѣкъ; такъ они и принимали меня за женатаго человѣка. Живутъ они въ пятомъ этажѣ, подъ крышами, собираются какъ можно чаще, но преимущественно по средамъ, къ Левинькѣ и Боринькѣ. Это все молодежь свѣжая; всѣ они съ пламенной любовью ко всему человѣчеству; всѣ мы говорили о нашемъ настоящемъ, будущемъ, о наукахъ, о литературѣ, и говорили такъ хорошо, такъ прямо и просто... Туда тоже ходитъ одинъ гимназистъ. Какъ они обращаются между собой, какъ они благородны! Я не видалъ еще до сихъ поръ такихъ! Гдѣ я бывалъ до сихъ поръ? Что я видалъ? На чемъ я выросъ? Одна ты только, Наташа, и говорила мнѣ что-нибудь въ этомъ родѣ. Ахъ, Наташа, ты непременно должна познакомиться съ ними; Катя уже знакома. Они говорятъ о ней чуть не съ благоговѣніемъ, и Катя уже говорила Левинькѣ и Боринькѣ, что когда она войдетъ въ права надъ своимъ состояніемъ, то непременно тотчасъ же пожертвуетъ милліонъ на общественную пользу.

— И распорядителями этого милліона вѣрно будутъ Левинька и Боринька и ихъ вся компанія? спросилъ князь.

— Неправда, неправда; стыдно, отецъ, такъ говорить! съ жаромъ вскричалъ Алеша.—Я подозрѣваю твою мысль! А объ этомъ милліонѣ дѣйствительно былъ у насъ разговоръ, и долго рѣшали: какъ его употребить? Рѣшили, наконецъ, что прежде всего на общественное просвѣщеніе...

— Да, я дѣйствительно не совсѣмъ зналъ до сихъ поръ Катерину Оедоровну, замѣтилъ князь какъ бы про себя, все съ той же насмѣшливой улыбкой.—Я, впрочемъ, много отъ нея ожидалъ, но этого...

— Чего этого! прервалъ Алеша,—что тебѣ такъ странно? Что это выходитъ нѣсколько изъ вашего порядка? Что никто до сихъ поръ не жертвовалъ милліона, а она жертвуетъ? Это, что-ли! Но, что-жъ, если она не хочетъ жить на чужой счетъ, потому что жить этими милліонами, значить жить на чужой счетъ (я только теперь это узналъ). Она хочетъ быть полезна отечеству и всѣмъ, и принести на общую пользу свою лепту. Про лепту - то мы еще въ прописяхъ читали, и какъ эта лепта запахла милліономъ, такъ ужъ и тутъ не то? И на чемъ держится все это хваленое благоразуміе, въ которое я такъ вѣрилъ? Что ты такъ смотришь на меня, отецъ? Точно ты видишь передъ собой шута, дурачка! Ну, что-жъ что дурачокъ! Послушала бы ты, Наташа, что говорила объ этомъ Катя: „Не умъ главное, а то, что направляетъ его, — натура, сердце, благородныя свойства, развитіе“. Но главное, на этотъ счетъ есть гениальное выраженіе Безмыгина. Безмыгинъ — это знакомый Левиньки и Бориньки, и, между нами, голова, и дѣйствительно гениальная голова! Не да-лѣе какъ вчера, онъ сказалъ къ разговору: „дуракъ, со-знавшійся, что онъ дуракъ, есть уже не дуракъ!“ Какова правда! Такія изреченія у него поминутно. Онъ сыплеть истинами.

— Дѣйствительно гениально! замѣтилъ князь.

— Ты все смѣешься. Но вѣдь я отъ тебя ничего никогда не слыхалъ такого, и отъ всего вашего общества тоже никогда не слыхалъ. У васъ, напротивъ, все это какъ-то прячутъ, все бы пониже къ землѣ, чтобъ всѣ росты, всѣ носы выходили непременно по какимъ-то мѣркамъ, по какимъ-то правиламъ, — точно это возможно! Точно это не въ тысячу разъ невозможно, чѣмъ то, о

чемъ мы говоримъ и что думаемъ. А еще называютъ насъ утопистами! Послушалъ бы ты, какъ они мнѣ вчера говорили...

— Но что же, о чемъ вы говорите и думаете? Расскажи, Алеша, я до сихъ поръ какъ-то не понимаю, сказала Наташа.

— Вообще обо всемъ, что ведетъ къ прогрессу, къ гуманности, къ любви; все это говорится по поводу современныхъ вопросовъ. Мы говоримъ о гласности, о начинающихся реформахъ, о любви къ человечеству, о современныхъ дѣятеляхъ; мы ихъ разбираемъ, читаемъ. Но, главное, мы дали другъ другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить другъ другу все о самихъ себѣ, не стѣсняясь. Только откровенность, только прямота могутъ достигнуть цѣли. Объ этомъ особенно старается Безмыгинъ. Я рассказалъ объ этомъ Катѣ, и она совершенно сочувствуетъ Безмыгину. И потому мы всѣ, подъ руководствомъ Безмыгина, дали себѣ слово дѣйствовать честно и прямо всю жизнь, и что бы ни говорили о насъ, какъ бы ни судили о насъ, — не смущаться ничѣмъ, не стыдиться нашей восторженности, нашихъ увлеченій, нашихъ ошибокъ и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтобы тебя уважали, во-первыхъ, и главное, уважай самъ себя; только этимъ, только самоуваженіемъ ты заставишь и другихъ уважать себя. Это говорить Безмыгинъ, и Катя совершенно съ нимъ согласна. Вообще мы теперь уговариваемся въ нашихъ убѣжденіяхъ и положили заниматься изученіемъ самихъ себя порознь, а всѣ вмѣстѣ толковать другъ другу другъ друга...

— Что за галиматья! вскричалъ князь съ безпокойствомъ.—И кто этотъ Безмыгинъ? Нѣтъ, это такъ оставить нельзя...

— Чего нельзя оставить? подхватилъ Алеша.—Слушай, отецъ, почему я говорю все это теперь, при тебѣ? Потому что хочу и надѣюсь ввести и тебя въ нашъ кругъ. Я далъ уже тамъ и за тебя слово. Ты смѣешься, ну, я такъ и зналъ, что ты будешь смѣяться! Но, выслушай! Ты добръ, благороденъ; ты поймешь. Вѣдь ты не знаешь, ты не видалъ никогда этихъ людей, не слыхалъ ихъ самихъ. Положимъ, что ты обо всемъ этомъ слышалъ, все изучилъ, ты ужасно ученъ; но самихъ-то ихъ ты не видалъ, у нихъ не былъ, а потому какъ же ты можешь судить о нихъ вѣрно! Ты только воображаешь, что зна-

ешь. Нѣтъ, ты побудь у нихъ, послушай ихъ, и тогда, — и тогда я дамъ слово за тебя, что ты будешь нашъ! А главное, я хочу употребить всѣ средства, чтобъ спасти тебя отъ гибели въ твоёмъ обществѣ, въ которому ты такъ прильпился, и отъ твоихъ убѣждений.

Князь молча и съ ядовитѣйшей насмѣшкой выслушалъ эту выходку; злость была въ лицѣ его. Наташа слѣдила за нимъ съ нескрываемымъ отвращеніемъ. Онъ видѣлъ это, но показывалъ, что не замѣчаетъ. Но какъ только Алеша кончилъ, князь вдругъ разразился смѣхомъ. Онъ даже упалъ на спинку стула, какъ будто былъ не въ силахъ сдержатъ себя. Но смѣхъ этотъ былъ рѣшительно выдѣланный. Слишкомъ замѣтно было, что онъ смѣялся единственно для того, чтобъ какъ можно сильнѣе обидѣть и унизить своего сына. Алеша дѣйствительно огорчился; все лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но онъ терпѣливо переждалъ, когда кончится веселость отца.

— Отецъ, началъ онъ грустно, — для чего же ты смѣешься надо мной? Я шель къ тебѣ прямо и откровенно. Если, по твоему мнѣнію, я говорю глупости, вразуми меня, а не смѣйся надо мною. Да и надъ чѣмъ смѣяться? Надъ тѣмъ, что для меня теперь свято, благородно? Ну, пусть я заблуждаюсь, пусть это все невѣрно, ошибочно, пусть я дурачокъ, какъ ты нѣсколько разъ называлъ меня; но если я и заблуждаюсь, то искренно, честно; я не потерялъ своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями. Пусть онѣ ошибочны, но основаніе ихъ свято. Я вѣдь сказалъ тебѣ, что ты и всѣ ваши ничего еще не сказали мнѣ такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собой. Провергни ихъ, скажи мнѣ что-нибудь лучше ихняго, и я пойду за тобой, но не смѣйся надо мной, потому что это очень огорчаетъ меня.

Алеша произнесъ это чрезвычайно благородно и съ какимъ-то строгимъ достоинствомъ. Наташа съ сочувствіемъ слѣдила за нимъ. Князь даже съ удивленіемъ выслушалъ сына и тотчасъ же перемѣнилъ свой тонъ.

— Я вовсе не хотѣлъ оскорбить тебя, другъ мой, отвѣчалъ онъ, — напротивъ, я о тебѣ сожалѣю. Ты приговляешься къ такому шагу жизни, при которомъ пора бы уже перестать быть такимъ легкомысленнымъ мальчикомъ. Вотъ моя мысль. Я смѣялся невольно и совсѣмъ не хотѣлъ оскорблять тебя.

— Почему же такъ показалось мнѣ? продолжалъ Алеша

съ горькимъ чувствомъ.—Почему уже давно мнѣ кажется, что ты смотришь на меня враждебно, съ холодной насмѣшкой, а не какъ отецъ на сына? Почему мнѣ кажется, что если-бъ я былъ на твоемъ мѣстѣ, я-бъ не осмѣялъ такъ оскорбительно своего сына, какъ ты теперь меня. Послушай: объяснимся откровенно, сейчасъ, навсегда, такъ, чтобы ужъ не оставалось больше никакихъ недоумѣній. И... я хочу говорить всю правду: когда я вошелъ сюда, мнѣ показалось, что и здѣсь произошло какое-то недоумѣніе; не такъ какъ-то ожидалъ я васъ встрѣтить здѣсь вмѣстѣ. Такъ или нѣтъ? Если такъ, то не лучше-ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью!

— Говори, говори, Алеша! сказалъ князь. — То, что ты предлагаешь намъ, очень умно. Можетъ-быть, съ этого и надо было начать, прибавилъ онъ, взглянувъ на Наташу.

— Не разсердись же за полную мою откровенность, началъ Алеша. — Ты самъ ее хочешь, самъ вызываешь. Слушай. Ты согласился на мой бракъ съ Наташей; ты далъ намъ это счастье и для этого побѣдилъ себя самого. Ты былъ великодушенъ, и мы всѣ оцѣнили твой благородный поступокъ. Но почему же теперь ты съ какою-то радостью непрерывно намекаешь мнѣ, что я еще смѣшной мальчикъ и вовсе не гожусь быть мужемъ; мало того, ты какъ будто хочешь осмѣять, унижить, даже какъ будто очернить меня въ глазахъ Наташи. Ты очень радъ всегда, когда можешь хоть чѣмъ-нибудь меня выгазывать съ смѣшной стороны; это я замѣтилъ не теперь, а уже давно. Какъ будто ты именно стараешься для чего-то доказать намъ, что бракъ нашъ смѣшонъ, нелѣпъ и что мы не пара. Право, какъ будто ты самъ не вѣришь въ то, что для насъ предназначаешь; какъ будто смотришь на все это какъ на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смѣшной водевиль... Я вѣдь не изъ сегодняшнихъ только словъ твоихъ это вывожу. Я въ тотъ же вечеръ, во вторникъ же, какъ воротился къ тебѣ отсюда, слышалъ отъ тебя нѣсколько странныхъ выраженій, изумившихъ, даже огорчившихъ меня. И въ среду, уѣзжая, ты тоже сдѣлалъ нѣсколько какихъ-то намековъ на наше теперешнее положеніе, сказалъ и о ней—не оскорбительно, напротивъ, но какъ-то не такъ, какъ бы я хотѣлъ слышать отъ тебя, какъ-то слишкомъ легко, какъ-то безъ

любви, безъ такого уваженія къ ней... Это трудно сказать, но тонъ ясенъ; сердце слышитъ. Скажи же мнѣ, что я ошибаюсь. Разувѣрь меня, ободрь меня и... и ее, потому что ты и ее огорчилъ. Я это угадалъ съ перваго же взгляда, какъ вошелъ сюда...

Алеша высказалъ это съ жаромъ и съ твердостью. Наташа съ какою-то торжественностью его слушала и, вся въ волненіи, съ пылающимъ лицомъ, раза два проговорила про себя въ продолженіе его рѣчи: „да, да, это такъ!“ Князь смутился.

— Другъ мой, отвѣчалъ онъ,—я, конечно, не могу припомнить всего, что говорилъ тебѣ; но очень странно, если ты принялъ мои слова въ такую сторону. Готовъ разувѣрить тебя всѣмъ, чѣмъ только могу. Если я теперь смѣялся, то и это понятно. Скажу тебѣ, что моимъ смѣхомъ я даже хотѣлъ прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужемъ, то это мнѣ теперь кажется совершенно несбыточнымъ, нелѣпымъ, извини меня, даже смѣшнымъ. Ты меня уверяешь за этотъ смѣхъ, а я говорю, что все это черезъ тебя. Винюся и я: можетъ-быть, я самъ мало слѣдилъ за тобой въ послѣднее время и потому только теперь, въ этотъ вечеръ, узналъ, на что ты можешь быть способенъ. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности съ Натальей Николаевной: я поторопился; я вижу, что вы очень не сходны между собою. Всякая любовь проходитъ, а несходство навсегда остается. Я ужъ и не говорю о твоей судьбѣ, но, подумай, если только въ тебѣ честныя намѣренія, вмѣстѣ съ собой ты губишь и Наталью Николаевну, рѣшительно губишь! Вотъ ты говорилъ теперь цѣлый часъ о любви къ человѣчеству, о благородствѣ убѣжденій, о благородныхъ людяхъ, съ которыми познакомился; а спроси Ивана Петровича, что говорилъ я ему давеча, когда мы поднялись въ четвертый этажъ, по здѣшней отвратительной лѣстницѣ и оставались здѣсь у дверей, благодаря Бога за спасеніе нашихъ жизней и ногъ? Знаешь-ли, какая мысль мнѣ невольно тотчасъ же пришла въ голову? Я удивился, какъ могъ ты, при такой любви къ Натальѣ Николаевнѣ, терпѣть, чтобъ она жила въ такой квартирѣ? Какъ ты не догадался, что если не имѣешь средствъ, если не имѣешь способностей исполнять свои обязанности, то не имѣешь права и быть мужемъ, не имѣешь права брать на себя никакихъ обя-

зательствъ. Одной любви мало; любовь онаказывается дѣлами; а ты какъ разсуждаешь: „хоть и страдай со мной, но живи со мной“,—вѣдь это не гуманно, это не благородно! Говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловѣческими вопросами и въ то же время дѣлать преступленія противъ любви и не замѣчать ихъ—непонятно! Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мнѣ кончить; мнѣ слишкомъ горько, и я долженъ высказаться. Ты говорилъ, Алеша, что въ эти дни увлекался всѣмъ, что благородно, прекрасно, честно, и укорялъ меня, что въ нашемъ обществѣ нѣтъ такихъ увлеченій, а только одно сухое благо-разуміе. Посмотри же: увлекаться высокимъ и прекраснымъ и, послѣ того, что было здѣсь во вторникъ, четыре дня пренебрегать той, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свѣтѣ! Ты даже признался о твоёмъ спорѣ съ Катериной Ѳеодоровной, что Наталья Николаевна такъ любитъ тебя, такъ великодушна, что простить тебѣ твой проступокъ. Но какое право ты имѣешь рассчитывать на такое прощеніе и предлагать объ этомъ пари? И неужели ты ни разу не подумалъ, сколько мѹки, сколько горькихъ мыслей, сколько сомнѣній, подозрѣній послалъ ты въ эти дни Натальѣ Николаевнѣ? Неужели потому, что ты тамъ увлекся какими-то новыми идеями, ты имѣлъ право пренебречь самою первѣйшею своею обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я измѣнилъ моему слову. Но теперешнее дѣло серьезнѣе этого слова: вы сами поймете это... Знаешь-ли ты, Алеша, что я засталъ Наталью Николаевну среди такихъ страданій, что понятно, въ какой адъ ты обратилъ для нея эти четыре дня, которые, напротивъ, должны бы быть лучшими днями ея жизни. Такіе поступки съ одной стороны и—слова, слова и слова съ другой... неужели я не правъ! И ты можешь послѣ этого обвинять меня, когда самъ кругомъ виноватъ?

Князь кончилъ. Онъ даже увлекся своимъ краснорѣчіемъ и не могъ скрыть отъ насъ своего торжества. Когда Алеша услышалъ о страданіяхъ Наташи, то съ болѣзненной тоской взглянулъ на нее, но Наташа уже рѣшилась.

— Полно, Алеша, не тоскуй, сказала она,— другіе виноватѣ тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчасъ твоему отцу. Пора кончить!

— Объяснитесь, Наталья Николаевна, подхватилъ князь;

убѣдительно прошу васъ! Я уже два часа слышу объ этомъ загадки. Это становится невыносимо и, признаюсь, не такой ожидалъ я здѣсь встрѣчи.

— Можеть-быть; потому что думали очаровать насъ словами, такъ что мы и не замѣтимъ вашихъ тайныхъ намѣреній. Чтѣ вамъ объяснять! Вы сами все знаете и все понимаете. Алеша правъ. Самое первое желаніе ваше—разлучить насъ. Вы заранѣе, почти наизусть знали все, чтѣ здѣсь случится, послѣ того вечера, во вторникъ, и рассчитали все какъ по пальцамъ. Я уже сказала вамъ, что вы смотрите и на меня, и на сватовство, вами затѣянное, не серьезно. Вы шутите съ нами; вы играете, и имѣете вамъ извѣстную цѣль. Игра ваша вѣрная. Алеша былъ правъ, когда укорялъ васъ, что вы смотрите на все это, какъ на водевиль. Вы бы, напротивъ, должны были радоваться, а не упрекать Алешу, потому что онъ, не зная ничего, исполнилъ все, чтѣ вы отъ него ожидали, можеть-быть, даже и больше.

Я остолбѣлъ отъ изумленія. Я и ожидалъ, что въ этотъ вечеръ случится какая-нибудь катастрофа. Но слишкомъ рѣзкая отервенность Наташи и нескрываемый презрительный тонъ ея словъ изумили меня до послѣдней крайности! Стало-быть, она дѣйствительно что-то знала, думалъ я, и безотлагательно рѣшилась на разрывъ. Можеть-быть, даже съ нетерпѣніемъ ждала князя, чтобъ разомъ все въ глаза ему высказать. Князь слегка поблѣднѣлъ. Лицо Алеши изображало наивный страхъ и томительное ожиданіе.

— Вспомните, въ чемъ вы меня сейчасъ обвинили, вскричалъ князь,—и хоть немножко обдумайте ваши слова... Я ничего не понимаю.

— А! Такъ вы не хотите понять съ двухъ словъ, сказала Наташа,—даже онъ, даже вотъ Алеша васъ понялъ такъ же, какъ и я, а мы съ нимъ не сговаривались, даже не видались! И ему тоже показалось, что вы играете съ нами недостойную, оскорбительную игру, а онъ любитъ васъ и вѣрить въ васъ, какъ въ божество. Вы не считали за нужное быть съ нимъ поосторожнѣе, похитрѣе; рассчитывали, что онъ не догадается. Но у него чуткое, нѣжное, впечатлительное сердце, и ваши слова, вашъ тонъ, какъ онъ говорить, у него остались на сердцѣ...

— Ничего, ничего не понимаю! повторилъ князь, съ видомъ величайшаго изумленія обращаясь ко мнѣ, точно

бралъ меня въ свидѣтели. Онъ былъ раздраженъ и разгорячился. — Вы мнительны, вы въ тревогѣ, продолжалъ онъ, обращаясь къ ней, — просто-за-просто вы ревнуете къ Катеринѣ Федоровнѣ, и потому готовы обвинить весь свѣтъ и меня перваго... и позвольте ужъ все сказать: странное мнѣніе можно получить о вашемъ характерѣ... Я не привыкъ къ такимъ сценамъ; я бы ни минуты не остался здѣсь послѣ этого, если бъ не интересы моего сына... Я все еще жду, не благоволите-ли вы объясниться? •

— Такъ вы все-таки упрямитесь и не хотите понять съ двухъ словъ, несмотря на то, что все это наизусть знаете? Вы непремѣнно хотите, чтобъ я вамъ все прямо высказала?

— Я только этого и добиваюсь.

— Хорошо же, слушайте же, вскричала Наташа, сверкая глазами отъ гнѣва, — я выскажу все, все!

ГЛАВА III.

Она встала и начала говорить стоя, не замѣчая того отъ волненія. Князь слушалъ-слушалъ и тоже всталъ съ мѣста. Вся сцена становилась слишкомъ торжественною.

— Припомните сами свои слова во вторникъ, начала Наташа. — Вы сказали: мнѣ нужны деньги; торныя дороги, значеніе въ свѣтѣ, — помните?

— Помню.

— Ну, такъ для того-то, чтобы добыть эти деньги, чтобъ добиться всѣхъ этихъ успѣховъ, которые у васъ ускользали изъ рукъ, вы и прїѣзжали сюда, во вторникъ, и выдумали это сватовство, считая, что эта шутка вамъ поможетъ поймать то, что отъ васъ ускользало.

— Наташа, вскричалъ я, — подумай, что ты говоришь!

— Шутка! Расчетъ! повторялъ князь съ видомъ крайне оскорбленнаго достоинства.

Алеша сидѣлъ убитый горемъ и смотрѣлъ, почти ничего не понимая.

— Да, да, не останавливайте меня, я поехала все высказать, продолжала раздраженная Наташа. — Вы помните сами: Алеша не слушался васъ. Цѣлые полгода вы трудились надъ нимъ, чтобъ отвлечь его отъ меня. Онъ не поддавался вамъ. И вдругъ у васъ настала минута, когда время уже не терпѣло. Упустить его, и невѣста, деньги, главное — деньги, цѣлыхъ три милліона приданаго,

ускользнуть у васъ изъ-подъ пальцевъ. Оставалось одно: чтобъ Алеша полюбилъ ту, которую вы назначили ему въ невѣсты; вы думали: если полюбить, то, можетъ-быть, и отстанетъ отъ меня...

— Наташа, Наташа! съ тоскою вскричалъ Алеша, — что ты говоришь!

— Вы такъ и сдѣлали, продолжала она, не останавливаясь на крикъ Алеши, — но, — и тутъ опять та же, прежняя исторія! Все бы могло уладиться, да я-то опять мѣшаю! Одно только могло вамъ подать надежду: вы, какъ опытный и хитрый человѣкъ, можетъ-быть, ужъ и тогда замѣтили, что Алеша иногда какъ будто тяготится своей прежней привязанностью. Вы не могли не замѣтить, что онъ начинаетъ мною пренебрегать, скучать, по пяти дней ко мнѣ не ѣздить. Авось наскучить совсѣмъ и бросить, какъ вдругъ, во вторникъ, рѣшительный поступокъ Алеши поразитъ васъ совершенно. Что вамъ дѣлать!..

— Позвольте, вскричалъ князь, — напротивъ, этотъ фактъ...

— Я говорю, настойчиво перебила Наташа, — вы спросили себя въ тотъ вечеръ: „что теперь дѣлать?“ и рѣшили позволить ему жениться на мнѣ, не въ самомъ дѣлѣ, а только такъ, *на словахъ*, чтобъ только его успокоить. Срокъ свадьбы, думали вы, можно отдалять сколько угодно, а между тѣмъ новая любовь началась; вы это замѣтили. И вотъ на этомъ-то началъ новой любви вы все и основали.

— Романы, романы, произнесъ князь вполголоса, какъ будто про себя, — уединеніе, мечтательность и чтеніе романовъ!

— Да, на этой-то новой любви вы все и основали, повторила Наташа, не слыжавъ и не обративъ вниманія на слова князя, вся въ лихорадочномъ жару и все болѣе и болѣе увлекаясь, — и какіе шансы для этой новой любви! Вѣдь она началась еще тогда, когда онъ еще не узналъ всѣхъ совершенствъ этой дѣвушки! Въ ту самую минуту, когда онъ, въ тотъ вечеръ, открывается этой дѣвушкѣ, что не можетъ ее любить, потому что долгъ и другая любовь запрещаютъ ему, — эта дѣвушка, вдругъ, выказываетъ передъ нимъ столько благородства, столько сочувствія къ нему и къ своей соперницѣ, столько сердечнаго прощенья, что онъ, хоть и вѣрилъ въ ея красоту, но и не думалъ до этого мгновенья, чтобъ она была такъ пре-

красна! Онъ и ко мнѣ тогда прѣхалъ, — только и говорилъ, что о ней; она слишкомъ поразила его. Да, онъ на завтра же непременно долженъ былъ почувствовать неотразимую потребность увидѣть опять это прекрасное существо, хоть изъ одной только благодарности. Да и почему-жъ къ ней не ѣхать? Вѣдь та, прежняя, уже не страдаетъ, судьба ея рѣшена, вѣдь той цѣлый вѣкъ отдается, а тутъ одна какая-нибудь минутка... И что за неблагодарная была бы эта Наташа, если бы она ревновала даже къ этой минутѣ? И вотъ незамѣтно отнимается у этой Наташи, вмѣсто минуты, день, другой, третій... А между тѣмъ въ это время дѣвушка выказывается передъ нимъ въ совершенно неожиданномъ, новомъ видѣ; она такая благородная, энтузіастка и въ то же время такой наивный ребенокъ, и въ этомъ такъ сходна съ нимъ характеромъ. Они клянутся другъ другу въ дружбѣ, въ братствѣ, хотятъ не разлучаться всю жизнь. „Въ какіе-нибудь пять-шесть часовъ разговора“ вся душа его открывается для новыхъ ощущеній и сердце его отдается все... Придетъ, наконецъ, время, думаете вы, онъ сравнитъ свою прежнюю любовь со своими новыми, свѣжими ощущеніями: тамъ все знакомое, всегдашнее; тамъ такъ серьезны, требовательны; тамъ его ревнуютъ, бранятъ, тамъ слезы... А если и начинаютъ съ нимъ шалить, играть, то какъ будто не съ ровней, а съ ребенкомъ... а главное: все такое прежнее, извѣстное...

Слезы и горькая спазма душили ее, но Наташа скрѣпилась еще на минуту.

— Что-жъ дальше? А дальше время; вѣдь не сейчасъ же назначена свадьба съ Наташей; времени много и все измѣнится... А тутъ ваши слова, намеки, толкованія, краснорѣчіе... Можно даже и поклеветать на эту досадную Наташу; можно выставить ее въ такомъ невыгодномъ свѣтѣ и... какъ это все разрѣшится — неизвѣстно, но побѣда ваша! Алеша! Не вини меня, другъ мой! Не говори, что я не понимаю твоей любви и мало цѣню ее. Я вѣдь знаю, что ты и теперь любишь меня и что въ эту минуту, можетъ-быть, и не понимаешь моихъ жалобъ. Я знаю, что я очень-очень худо сдѣлала, что теперь это все высказала. Но что же мнѣ дѣлать, если я это все понимаю, и все больше и больше люблю тебя... совсѣмъ... безъ памяти!

Она закрыла лицо руками, упала въ кресла и зарыдала

какъ ребенокъ. Алеша съ крикомъ бросился къ ней. Онъ никогда не могъ видѣть безъ слезъ ея слезы.

Ея рыданія, кажется, очень помогли князю: всё увлеченія Наташи, въ продолженіе этого длиннаго объясненія, всё рѣзкости ея выходокъ противъ него, которыми ужъ изъ одного приличія надо было обидѣться, все это теперь очевидно можно было свести на безумный порывъ ревности, на оскорбленную любовь, даже на болѣзнь. Даже слѣдовало выказать сочувствіе...

— Успокойтесь, утѣшьте, Наталья Николаевна, утѣшала князь,—все это изступленіе, мечты, уединеніе... Вы такъ были раздражены его легкомысленнымъ поведеніемъ... Но вѣдь это только одно легкомысліе съ его стороны. Самый главный фактъ, про который вы особенно упоминали, происшествіе во вторникъ, скорѣй бы должно доказать вамъ всю безграничность его привязанности къ вамъ, а вы, напротивъ, подумали...

— О, не говорите мнѣ, не мучайте меня хоть теперь! прервала Наташа, горько плача. — Мнѣ все уже сказало сердце, и давно сказало! Неужели вы думаете, что я не понимаю, что прежняя любовь его вся прошла... Здѣсь, въ этой комнатѣ, одна... когда онъ оставлялъ, забывалъ меня... я все это пережила... все передумала... Что-жъ мнѣ и дѣлать было! Я тебя не виню, Алеша... Что вы меня обманываете? Неужели-жъ вы думаете, что я не пробовала сама себя обманывать!.. О, сколько разъ, сколько разъ! Развѣ я не вслушивалась въ каждый звукъ его голоса? Развѣ я не научилась читать по его лицу, по его глазамъ? Все, все погибло, все скоронено... О, я несчастная!

Алеша плакалъ передъ ней на колѣняхъ.

— Да, да, это я виновата! Все отъ меня!.. повторялъ онъ среди рыданій.

— Нѣтъ, не вини себя, Алеша... тутъ есть другіе... враги наши. Это они... они!

— Но позвольте же, наконецъ, началъ князь съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ,—на какомъ основаніи приписываете вы мнѣ всё эти... преступленія? Вѣдь это однѣ только ваши догадки, ничѣмъ не доказанныя...

— Доказательствъ! вскричала Наташа, быстро приподымаясь съ кресель,—вамъ доказательствъ, коварный вы человекъ! Вы не могли, не могли дѣйствовать иначе, когда приходили сюда съ вашимъ предложеніемъ! Вамъ надо было успокоить вашего сына, усыпить его угрызения,

чтобъ онъ свободнѣе и спокойнѣе отдался весь Катѣ; безъ этого онъ все бы вспоминалъ обо мнѣ, не поддавался бы вамъ, а вамъ наскучило дожидаться. Что, развѣ это не правда?

— Признаюсь, отвѣчалъ князь съ саркастической улыбой, — если бъ я хотѣлъ васъ обмануть, я бы дѣйствительно такъ рассчиталъ; вы очень... остроумны, но вѣдь это надобно доказать и тогда уже оскорблять людей такими упреками...

— Доказать! А ваше все прежнее поведеніе, когда вы отбивали его отъ меня! Тотъ, который научаетъ сына пренебрегать и играть такими обязанностями изъ-за свѣтскихъ выгодъ, изъ-за денегъ, — развращаетъ его! Что вы говорили давеча о лѣстницѣ и о дурной квартирѣ? Не вы-ли отняли у него жалованье, которое прежде давали ему, чтобъ принудить насъ разойтись черезъ нужду и голодъ? Черезъ васъ и эта квартира, и эта лѣстница, а вы же его теперь попрекаете, двуличный вы человекъ! И откуда у васъ вдругъ явился тогда, въ тотъ вечеръ, такой жаръ, такія новыя, вамъ несвойственныя убѣжденія? И для чего я вамъ такъ понадобилась? Я ходила здѣсь эти четыре дня; я все обдумала, все взвѣсила, каждое слово ваше, выраженіе вашего лица, и убѣдилась, что все это было напускное, шутка, комедія, оскорбительная, низкая и недостойная... Я вѣдь знаю васъ, давно знаю! Каждый разъ, когда Алеша пріѣзжалъ отъ васъ, я по лицу его угадывала все, что вы ему говорили, внушали; всѣ вліянія ваши на него изучила! Нѣтъ, вамъ не обмануть меня! Можетъ-быть, у васъ есть и еще какіе-нибудь расчеты, можетъ-быть, я и не самое главное теперь высказала; но все равно! Вы меня обманывали — это главное! Это вамъ и надо было сказать прямо въ лицо!

— Только-то? Это всѣ доказательства? Но подумайте, изступленная вы женщина: этой выходкой (какъ вы называете мое предложеніе во вторникъ) я слишкомъ себя связывалъ. Это было бы слишкомъ легкомысленно для меня...

— Чѣмъ, чѣмъ вы себя связывали? Что значитъ въ вашихъ глазахъ обмануть меня? Да и что такое обида какой-то дѣвушки! Вѣдь она несчастная бѣглянка, отверженная отцомъ, беззащитная, замаравшая себя, безнравственная! Стоитъ-ли съ ней церемониться, коли эта шутка можетъ принести хоть какую-нибудь, хоть самую маленькую выгоду!

— Въ какое же положеніе вы сами ставите себя, На-

талья Николаевна, подумайте! Вы непременно настаиваете, что съ моей стороны было вамъ оскорбленіе. Но вѣдь это оскорбленіе такъ важно, такъ унижительно, что я не понимаю, какъ можно даже предположить его, тѣмъ болѣе настаивать на немъ. Нужно быть ужъ слишкомъ ко всему пріученной, чтобъ такъ легко допускать это, извините меня. Я въ правѣ упрекать васъ, потому что вы вооружаете противъ меня сына: если онъ не возсталъ теперь на меня за васъ, то сердце его противъ меня...

— Нѣтъ, отецъ, нѣтъ! вскричалъ Алеша,—если я не возсталъ на тебя, то вѣрю, что ты не могъ оскорбить, да и не могу я повѣрить, чтобъ можно было такъ оскорблять!

— Слышите? вскричалъ князь.

— Наташа, во всемъ виноватъ я, не обвиняй его. Это грѣшно и ужасно!

— Слышишь, Ваня? Онъ ужъ противъ меня! вскричала Наташа.

— Довольно! сказалъ князь,—надо кончить эту тяжелую сцену. Этотъ слѣпой и яростный порывъ ревности внѣ всякихъ границъ рисуетъ вашъ характеръ совершенно въ новомъ для меня видѣ. Я предупрежденъ. Мы поторопились, дѣйствительно поторопились. Вы даже и не замѣчаете, какъ оскорбили меня; для васъ это ничего. Поторопились... поторопились... конечно, слово мое должно быть свято, но... я отецъ и желаю счастья моему сыну...

— Вы отказываетесь отъ своего слова, вскричала Наташа внѣ себя,—вы обрадовались случаю! Но знайте, что я сама, еще два дня тому, здѣсь, одна, рѣшилась освободить его отъ его слова, а теперь подтверждаю при всѣхъ. Я отказываюсь!

— То-есть, можетъ-быть, вы хотите воскресить въ немъ всѣ прежнія безпокойства, чувство долга, всю „тоску по своимъ обязанностямъ“ (какъ вы сами давеча выразились), для того, чтобъ этимъ снова привязать его къ себѣ по-старому. Вѣдь это выходитъ по вашей же теоріи; я потому такъ и говорю; но довольно; рѣшить время. Я буду ждать минуты болѣе спокойной, чтобъ объясниться съ вами. Надѣюсь, мы не прерываемъ отношеній нашихъ окончательно. Надѣюсь тоже, вы научитесь лучше цѣнить меня. Я еще сегодня хотѣлъ было вамъ сообщить мой проектъ насчетъ вашихъ родныхъ, изъ котораго бы вы увидали... но довольно! Иванъ Петровичъ! прибавилъ онъ, подходя ко мнѣ,—теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, мнѣ будетъ драго-

дѣнно познакомиться съ вами ближе, не говоря уже о давнишнемъ желаніи моемъ. Надѣюсь, вы поймете меня. На-дняхъ, я буду у васъ; вы позволите?

Я поклонился. Мнѣ самому казалось, что теперь я уже не могъ избѣжать его знакомства. Онъ пожалъ мнѣ руку, молча поклонился Наташѣ и вышелъ съ видомъ оскорбленнаго достоинства.

ГЛАВА IV.

Нѣсколько минутъ мы всѣ не говорили ни слова. Наташа сидѣла задумавшись, грустная и убитая. Вся ея энергія вдругъ ее оставила. Она смотрѣла прямо передъ собой, ничего не видя, какъ бы забывшись и держа руку Алеши въ своей рукѣ. Тотъ тихо доплакивалъ свое горе, изрѣдка взглядывая на нее съ боязливымъ любопытствомъ.

Наконецъ, онъ робко началъ утѣшать ее, умоляя не сердиться, винить себя; видно было, что ему очень хотѣлось оправдать отца и что это особенно у него лежало на сердцѣ; онъ нѣсколько разъ заговаривалъ объ этомъ, но не смѣлъ ясно высказаться, боясь снова возбудить гнѣвъ Наташи. Онъ клялся ей во всегдашней, неизмѣнной любви и съ жаромъ оправдывался въ своей привязанности къ Катѣ; непрерывно повторялъ, что онъ любитъ Катю только какъ сестру, какъ милую, добрую сестру, которую не можетъ оставить совсѣмъ; что это было бы даже грубо и жестоко съ его стороны, и все увѣрялъ, что если Наташа узнаетъ Катю, то онѣ обѣ тотчасъ же подружатся, такъ что никогда не разойдутся, и тогда уже никакихъ не будетъ недоразумѣній. Эта мысль ему особенно нравилась. Бѣдняжка не лгалъ нисколько. Онъ не понималъ опасеній Наташи, да и вообще не понималъ хорошо, что она давеча говорила его отцу. Понималъ только, что они поссорились, и это-то особенно лежало камнемъ на его сердцѣ.

— Ты меня винишь за отца? спросила Наташа.

— Могу-ль я винить, отвѣчалъ онъ съ горькимъ чувствомъ, — когда самъ всему причиной и во всемъ виноватъ? Это я довелъ тебя до такого гнѣва, а ты въ гнѣвъ и его обвинила, потому что хотѣла меня оправдать: ты меня всегда оправдываешь, а я не стою того. Надо было сыскать виноватаго, вотъ ты и подумала, что онъ. А онъ, право, право не виноватъ! воскликнулъ Алеша, одушевившись. — И съ тѣмъ-ли онъ пріѣзжалъ сюда! Того-ли ожидалъ!

Но вида, что Наташа смотритъ на него съ тоской и упрекомъ, тотчасъ оробѣлъ.

— Ну, не буду, не буду, прости меня, сказалъ онъ.— Я всему причину!

— Да, Алеша, продолжала она съ тяжкимъ чувствомъ.— Теперь онъ прошелъ между нами и нарушилъ весь нашъ миръ, на всю жизнь. Ты всегда въ меня вѣрилъ больше, чѣмъ во всѣхъ; теперь же онъ влилъ въ твоѣ сердце подозрѣнiе противъ меня, недобвѣрiе; ты винишь меня; онъ взялъ у меня половину твоего сердца. Черная кошка пробѣжала между нами.

— Не говори такъ, Наташа. Зачѣмъ ты говоришь: „черная кошка?“

— Онъ огорчился выраженiемъ.

— Онъ фальшивою добротою, ложнымъ великодушiемъ привлекеъ тебя къ себѣ, продолжала Наташа,—и теперь все больше и больше будетъ возстановлять тебя противъ меня.

— Блянусь тебѣ, что нѣтъ! вскричалъ Алеша, еще съ бѣльшимъ жаромъ.—Онъ былъ раздраженъ, когда сказалъ, что „поторопились“—ты увидишь сама, завтра же, на дняхъ, онъ спохватится, и если онъ до того разсердился, что въ самомъ дѣлѣ не захочетъ нашего брака, то я, влянусь тебѣ, его не послушаюсь. У меня, можетъ-быть, достанетъ на это силы... И знаешь, кто намъ поможетъ? вскричалъ онъ вдругъ съ восторгомъ отъ своей идеи.—Катя намъ поможетъ! И ты увидишь, ты увидишь, что за прекрасное это созданiе! Ты увидишь, хочетъ-ли она быть твоей соперницей и разлучить насъ! И какъ ты несправедлива была давеча, когда говорила, что я изъ такихъ, которые могутъ разлюбить на другой день послѣ свадьбы! Какъ это мнѣ горько было слышать! Нѣтъ, я не такой, и если я часто вѣздилъ къ Катѣ...

— Полно, Алеша, будь у ней, когда хочешь. Я не про то давеча говорила. Ты не понялъ всего. Будь счастливъ съ еѣмъ хочешь. Не могу же я требовать у твоего сердца больше, чѣмъ оно можетъ мнѣ дать...

Вошла Мавра.

— Что-жъ, подавать чай, что-ли? Шутка-ли, два часа самоваръ кипитъ; одиннадцать часовъ.

Она спросила грубо и сердито; видно было, что она очень не въ духѣ и сердилась на Наташу. Дѣло въ томъ, что она всѣ эти дни, со вторника, была въ такомъ восторгѣ,

что ея барышня (которую она очень любила) выходить замужъ, что уже успѣла разгласить это по всему дому, въ околотеѣ, въ лавочкѣ, дворнику. Она хвалилась и съ торжествомъ рассказывала, что князь, важный человекъ, генералъ, и ужасно богатый, самъ пріѣзжалъ просить согласія ея барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала, и вдругъ, теперь, все пошло прахомъ. Князь уѣхалъ разсерженный, и чак не подавали, и ужъ, разумѣется, всему виновата барышня. Мавра слышала, какъ она говорила съ нимъ непочтительно.

— Что-жь... подай, отвѣчала Наташа.

— Ну, а закуску-то, подавать, что-ли?

— Ну, и закуску.

Наташа смѣшалась.

— Готовили, готовили, продолжала Мавра, — со вчерашняго дня безъ ногъ. За виномъ на Невскій бѣгала, а тутъ...

И она вышла, сердито хлопнувъ дверью.

Наташа покраснѣла и какъ-то странно взглянула на меня.

Между тѣмъ подали чай, тутъ же и закуску; была дичь, какая-то рыба, двѣ бутылки превосходнаго вина отъ Елисѣева. „Къ чему-жь это все наготовили?“ подумалъ я.

— Это я, видишь, Ваня, вотъ какая, — сказала Наташа, подходя къ столу и конфузясь даже передо мной. — Вѣдь предчувствовала, что все это сегодня такъ выйдетъ, какъ вышло, а все-таки думала, что, авось, можетъ-быть, и не такъ кончится. Алеша пріѣдетъ, начнетъ мириться, мы помиримся; всѣ мои подозрѣнія окажутся несправедливыми, меня разувѣрятъ и... на всякій случай я и приготовила закуску. Что-жь, думала, мы заговоримся, засидимся...

Бѣдная Наташа! Она такъ покраснѣла, говоря это. Алеша пришелъ въ восторгъ.

— Вотъ видишь, Наташа! вскричалъ онъ. — Сама ты себя не вѣрила; два часа тому назадъ еще не вѣрила своимъ подозрѣніямъ! Нѣтъ, это надо все поправить; я виноватъ, я всему причиной, я все и поправлю. Наташа, позволь мнѣ сейчасъ же къ отцу. Мнѣ надо его видѣть; онъ обиженъ, онъ оскорбленъ; его надо утѣшить, я ему выскажу все, все отъ себя, только отъ одного себя; ты тутъ не будешь замѣшана. И я все улажу... Не сердись на меня, что я такъ хочу къ нему и что тебя хочу оставить. Совсѣмъ не то: мнѣ жаль его; онъ оправдывается передъ тобой; увидишь... Завтра, чѣмъ свѣтъ, я у тебя, и весь день у тебя, къ Катѣ не поѣду.

Наташа его не останавливала, даже сама посовѣтовала ѣхать. Она ужасно боялась, что Алеша будетъ теперь нарочно, *черезъ силу*, просиживать у нея цѣлые дни и наскучить ея. Она просила только, чтобъ онъ отъ ея имени ничего не говорилъ, и старалась повеселѣе улыбнуться ему на прощаніи. Онъ уже хотѣлъ было выйти, но вдругъ подошелъ къ ней, взялъ ее за обѣ руки и сѣлъ подлѣ нея. Онъ смотрѣлъ на нее съ невыразимою нѣжностью.

— Наташа, другъ мой, ангелъ мой, не сердись на меня, и не будемъ никогда ссориться. И дай мнѣ слово, что будешь всегда во всемъ вѣрить мнѣ, а я тебѣ. Вотъ что, мой ангелъ, я тебѣ расскажу теперь. Были мы разъ съ тобой въ ссорѣ, не помню за что; я былъ виноватъ. Мы не говорили другъ съ другомъ. Мнѣ не хотѣлось просить прощенія первому, а было мнѣ ужасно грустно. Я ходилъ по городу, слонялся вездѣ, заходилъ къ пріятелямъ, а въ сердцѣ было такъ тяжело, такъ тяжело... И пришло мнѣ тогда на умъ: что если-бъ ты, напримѣръ, отчего-нибудь заболѣла и умерла. И когда я вообразилъ себѣ это, на меня вдругъ нашло такое отчаяніе, точно я въ самомъ дѣлѣ навѣки потерялъ тебя. Мысли все шли тяжелѣе, ужаснѣе. И вотъ, мало-по-малу, я сталъ воображать себѣ, что пришелъ будто я къ тебѣ на могилу, упалъ на нее безъ памяти, обнялъ ее и замеръ въ тоскѣ. Вообразилъ я себѣ, какъ бы я цѣловалъ эту могилу, звалъ бы тебя изъ нея, хотъ на одну минуту, и молилъ бы у Бога чуда, чтобъ ты хотъ на одно мгновеніе воскресла бы передо мною; представилось мнѣ, какъ бы я бросился обнимать тебя, прижалъ бы къ себѣ, цѣловалъ и, кажется, умеръ бы тутъ отъ блаженства, что хотъ одно мгновеніе могъ еще разъ, какъ прежде, обнять тебя. И когда я воображалъ себѣ это, мнѣ вдругъ подумалось: вотъ я на одно мгновеніе буду просить тебя у Бога, а между тѣмъ была же ты со мною шесть мѣсяцевъ и въ эти шесть мѣсяцевъ сколько разъ мы поссорились, сколько дней мы не говорили другъ съ другомъ! Цѣлые дни мы были въ ссорѣ и пренебрегали нашимъ счастьемъ, а тутъ только на одну минуту вызываю тебя изъ могилы и за эту минуту готовъ заплатить всею жизнью!.. Какъ вообразилъ я это все, я не могъ выдержать и бросился къ тебѣ скорѣй, прибѣжалъ сюда, а ты ужъ ждала меня и, когда мы обнялись послѣ ссоры, помню, я такъ крѣпко прижалъ тебя къ груди, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ лишаюсь тебя, На-

таша! Не будемъ никогда ссориться! Это такъ мнѣ всегда тяжело! И можно-ли, Господи, подумать, чтобъ я могъ оставить тебя!

Наташа плакала. Они вѣрѣе обнялись другъ съ другомъ, и Алеша еще разъ повлялся ей, что никогда ее не оставитъ. Затѣмъ онъ полетѣлъ къ отцу. Онъ былъ въ твердой увѣренности, что все уладитъ, все устроитъ.

— Все кончено! Все пропало! сказала Наташа, судорожно сжавъ мою руку. — Онъ меня любитъ, и никогда не разлюбитъ; но онъ и Катю любитъ и черезъ нѣсколько времени будетъ любить ее больше меня. А эта ехидна, князь, не будетъ дремать, и тогда...

— Наташа! Я самъ вѣрю, что князь поступаетъ не чисто, но...

— Ты не вѣришь всему, что я ему высказала! Я замѣтила это по твоему лицу. Но погоди, самъ увидишь, права была я или нѣтъ? Я вѣдь еще только вообще говорила, а Богъ знаетъ, что у него еще въ мысляхъ! Это ужасный человѣкъ. Я ходила эти четыре дня здѣсь по комнатѣ и догадалась обо всемъ. Ему именно надо было освободить, облегчить сердце Алешу отъ его грусти, мѣшавшей ему жить, отъ обязанностей любви ко мнѣ. Онъ выдумалъ это сватовство и для того еще, чтобы втереться между нами своимъ вліяніемъ и очаровать Алешу благородствомъ и великодушіемъ. Это правда, правда, Ваня! Алеша именно такого характера. Онъ бы успокоился на мой счетъ, тревога бы у него прошла за меня. Онъ бы думалъ: что вѣдь теперь ужъ она жена моя, навѣки со мной и невольно бы обратилъ больше вниманія на Катю. Князь, видно, изучилъ эту Катю и угадалъ, что она пара ему, что она можетъ его сильнѣе увлечь, чѣмъ я. Охъ, Ваня! На тебя вся моя надежда теперь: онъ для чего-то хочетъ съ тобой сойтись, знакомиться. Не отвергай этого и постарайся, голубчикъ, ради Бога, поскорѣе попасть къ графинѣ. Познакомься съ этой Катей, разгляди ее лучше и скажи мнѣ: что она такое? Мнѣ надо, чтобъ тамъ былъ твой взглядъ. Никто такъ меня не понимаетъ, какъ ты, и ты поймешь, что мнѣ надо. Разгляди еще, въ какой степени они дружны, что между ними, о чемъ они говорятъ; Катю, Катю главное размотри... Докажи мнѣ еще этотъ разъ, милый, возлюбленный мой Ваня, докажи мнѣ еще разъ свою дружбу! На тебя, только на тебя теперь и надежда моя!..

• • • • •

Когда я воротился домой, былъ уже первый часъ ночи. Нелли отворила мнѣ съ заспаннымъ лицомъ. Она улыбнулась и свѣтло посмотрѣла на меня. Бѣдняжка очень досадовала на себя, что заснула. Ей все хотѣлось меня дожидаться. Она сказала, что меня кто-то приходилъ спрашивать, сидѣлъ съ ней и оставилъ мнѣ на столѣ записку. Записка была отъ Маслобоева. Онъ звалъ меня къ себѣ завтра, въ первомъ часу. Мнѣ хотѣлось разспросить Нелли, но я отложилъ до завтра, настаивая, чтобъ она непременно шла спать; бѣдняжка и безъ того устала, ожидая меня, и заснула только за полчаса до моего прихода.

ГЛАВА V.

На утро Нелли рассказала мнѣ про вчерашнее посѣщеніе довольно странныя вещи. Впрочемъ, ужъ и то было странно, что Маслобоевъ вздумалъ въ этотъ вечеръ придти: онъ навѣрно зналъ, что я не буду дома; я самъ предупредилъ его объ этомъ при послѣднемъ нашемъ свиданіи, и очень хорошо это помнилъ. Нелли рассказывала, что сначала она было не хотѣла отпирать, потому что боялась—было уже восемь часовъ вечера. Но онъ упрямилъ ее черезъ запертую дверь, увѣряя, что если онъ не оставитъ мнѣ теперь записку, то завтра мнѣ почему-то будетъ очень худо. Когда она его впустила, онъ тотчасъ же написалъ записку, подошелъ къ ней и усѣлся подлѣ нея на диванѣ. „Я встала и не хотѣла съ нимъ говорить, — рассказывала Нелли, — я его очень боялась; онъ началъ говорить про Вубнову, какъ она теперь сердится, что она ужъ не смѣетъ меня теперь взять, и началъ васъ хвалить; сказалъ, что онъ съ вами большой другъ и васъ маленькимъ мальчикомъ зналъ. Тутъ я стала съ нимъ говорить. Онъ вынулъ конфеты и просилъ, чтобъ и я взяла; я не хотѣла; онъ сталъ меня увѣрять тогда, что онъ добрый человекъ, умѣетъ пѣть пѣсни и плясать; вскочилъ и началъ плясать. Мнѣ стало смѣшно. Потомъ сказалъ, что посидитъ еще немножко, — дождусь Ваню, авось, воротится, — и очень просилъ меня, чтобъ я не боялась и сѣла подлѣ него. Я сѣла, но говорить съ нимъ ничего не хотѣла. Тогда онъ сказалъ мнѣ, что зналъ мамашу и дѣдушку и... тутъ я стала говорить. И онъ долго сидѣлъ“...

— А о чемъ же вы говорили?

— О мамашѣ... о Бубновой... о дѣдушкѣ. Онъ сидѣлъ часа два.

Нелли какъ будто не хотѣлось рассказывать, о чемъ они говорили. Я не спрашивалъ, надѣясь узнать все отъ Маслобоева. Мнѣ показалось только, что Маслобоевъ нарочно заходилъ безъ меня, чтобъ застать Нелли одну. „Для чего ему это?“ подумалъ я.

Она показала мнѣ три конфетки, которыя онъ ей далъ. Это были леденцы, въ зеленыхъ и красныхъ бумажкахъ, прескверные и, вѣроятно, купленные въ овощной лавочкѣ. Нелли засмѣялась, показывая мнѣ ихъ.

— Что-жъ ты ихъ не ѣла? спросилъ я.

— Не хочу, отвѣчала она серьезно, нахмуривъ брови.— Я и не брала у него; онъ самъ на диванѣ оставилъ...

Въ этотъ день мнѣ предстояло много ходьбы. Я сталъ прощаться съ Нелли.

— Скучно тебѣ одной? спросилъ я ее, уходя.

— И скучно и не скучно. Скучно потому, что васъ долго нѣтъ.

И она съ такою любовью взглянула на меня, сказавъ это. Все это утро она смотрѣла на меня такимъ же нѣжнымъ взглядомъ и казалась такою веселенькою, такою ласковою и въ то же время что-то стыдливое, даже робкое было въ ней, какъ будто она боялась чѣмъ-нибудь досадить мнѣ, потерять мою привязанность и... и слишкомъ высказаться, точно стыдась этого.

— А чѣмъ же не скучно-то? Вѣдь ты сказала, что тебѣ „и скучно и не скучно“? спросилъ я, невольно улыбаясь ей,—такъ становилась она мнѣ мила и дорога.

— Ужъ я сама знаю чѣмъ, отвѣчала она, усмѣхнувшись, и чего-то опять застыдилась.

Мы говорили на порогѣ, у растворенной двери. Нелли стояла передо мной, потушивъ глазки, одной рукой схватившись за мое плечо, а другою пощипывая мнѣ рукавъ скюртука.

— Что-жъ это, секретъ? спросилъ я.

— Нѣтъ... ничего... я... я вашу книжку безъ васъ читать начала, проговорила она вполголоса и, поднявъ на меня нѣжный, проникающій взглядъ, вся покраснѣлась.

— А, вотъ какъ! Что-жъ, нравится тебѣ?

Я былъ въ замѣшательствѣ автора, котораго похвалили въ глаза, но я бы Богъ знаетъ что далъ, если-бъ могъ

въ эту минуту поцѣловать ее. Но какъ-то нельзя было поцѣловать. Нелли помолчала.

— Зачѣмъ, зачѣмъ онъ умеръ? спросила она съ видомъ глубочайшей грусти, мелькомъ взглянувъ на меня и вдругъ опять опустивъ глаза.

— Кто это?

— Да вотъ этотъ, молодой, въ чачотѣхъ... въ книжкѣ-то?

— Что-жъ дѣлать, такъ надо было, Нелли.

— Совсѣмъ не надо, отвѣчала она почти шопотомъ, но какъ-то вдругъ, отрывисто, чуть не сердито, надувъ губки и еще упорнѣе уставившись глазами въ полъ.

Прошла еще минута.

— А она... ну, вотъ и они-то... дѣвушка и старичокъ, шептала она, продолжая какъ-то усиленнѣе пощипывать меня за рукавъ, — что-жъ они будутъ жить вмѣстѣ? И не будутъ бѣдные?

— Нѣтъ, Нелли, она уѣдетъ далеко; выйдетъ замужъ за помѣщика; а онъ одинъ останется, отвѣчалъ я съ крайнимъ сожалѣніемъ, дѣйствительно сожалѣя, что не могу ей сказать чего-нибудь утѣшительнѣе.

— Ну, вотъ... Вотъ, вотъ какъ это! У, какіе!.. Я и читать теперь не хочу!

И она сердито оттолкнула мою руку, быстро отвернулась отъ меня, ушла къ столу и стала лицомъ къ углу, глазами въ землю. Она вся покраснѣла и неровно дышала, точно отъ какого-то ужаснаго огорченія.

— Полно, Нелли, ты разсердилась! началъ я, подходя къ ней. — Вѣдь это все неправда, чтò написано, — выдумка; ну, чего-жъ тутъ сердиться! Чувствительная ты дѣвочка!

— Я не сержусь, проговорила она робко, поднявъ на меня такой свѣтлый, такой любящій взглядъ; потомъ вдругъ схватила мою руку, прижала къ моей груди лицо и отчего-то заплакала.

Но въ ту же минуту и засмѣялась — и плакала и смѣялась, все вмѣстѣ. Мнѣ тоже было и смѣшно, и какъ-то... сладко. Но она ни за что не хотѣла поднять ко мнѣ голову, и когда я сталъ было отрывать ее личико отъ моего плеча, она все крѣпче и крѣпче прижимала къ нему и все сильнѣе и сильнѣе смѣялась.

Наконецъ, кончилась эта чувствительная сцена. Мы простились; я спѣшилъ. Нелли, вся разрумянившаяся и все еще какъ будто пристыженная и съ сіяющими, какъ звѣз-

дочки, глазами, выбѣжала за мной на самую лѣстницу и просила воротиться скорѣе. Я обѣщаль, что непременно ворочусь къ обѣду и какъ можно пораньше.

Сначала я пошелъ къ старикамъ. Оба они хворали. Анна Андреевна была совсѣмъ больная; Николай Сергѣичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ. Онъ слышаль, что я пришелъ, но я зналь, что, по обыкновенію своему, онъ выйдетъ не раньше, какъ черезъ четверть часа, чтобъ дать намъ наговориться. Я не хотѣль очень разстраиать Анну Андреевну, и потому смягчилъ по возможности мой рассказъ о вчерашнемъ вечерѣ, но высказаль правду; къ удивленію моему, старушка, хотъ и огорчилась, но какъ-то безъ удивленія приняла извѣстіе о возможности разрыва.

— Ну, бабушка, такъ я и думала, сказала она. — Вы ушли тогда, а я долго продумала и надумалась, что не бывать этому. Не заслужили мы у Господа Бога, да и человѣкъ-то такой подлый; можно-ль отъ него добра ожидать. Шутка-ль, десять тысячъ съ насъ задаромъ беретъ, знаетъ вѣдь, что задаромъ, и все-таки беретъ. Послѣдній кусокъ хлѣба отнимаетъ; продадутъ Ихменеву. А Наташечка справедлива и умна, что имъ не повѣрила. Да знаете-ли вы еще, бабушка, продолжала она, понизивъ голосъ, — мой-то, мой-то! Совсѣмъ напротивъ этой свадьбы идетъ. Проговариваться сталъ: не хочу, говорить! Я сначала думала, что онъ блажить; нѣтъ, взаправду. Что-жъ тогда съ ней-то будетъ, съ голубушкой? Вѣдь онъ ее тогда совсѣмъ проклянетъ. Ну, а тотъ-то, Алеша-то, онъ-то что?

И долго еще она меня спрашивала и, по обыкновенію своему, охала и сѣтовала съ каждымъ моимъ отвѣтомъ. Вообще я замѣтилъ, что она въ послѣднее время какъ-то совсѣмъ потерялась. Всякое извѣстіе потрясало ее. Скорбь о Наташѣ убивала ее сердце и здоровье.

Вошелъ старикъ, въ халатѣ, въ туфляхъ; онъ жаловался на лихорадку, но съ нѣжностью посмотрѣль на жену и все время, какъ я у нихъ былъ, ухаживаль за ней, какъ нянька, смотрѣль ей въ глаза, даже робѣль передъ нею. Во взглядахъ его было столько нѣжности. Онъ былъ испуганъ ея болѣзнью; чувствовалъ, что лишится всего въ жизни, если и ее потеряетъ.

Я присидѣль у нихъ съ часъ. Прощаясь, онъ вышелъ за мною до передней и заговорилъ о Нелли. У него была

серьезная мысль принять ее къ себѣ въ домъ вмѣсто дочери. Онъ сталъ совѣтоваться со мной, какъ склонить на то Анну Андреевну. Съ особеннымъ любопытствомъ спрашивалъ меня о Нелли и не узналъ-ли я о ней еще чего новаго? Я наскоро рассказалъ ему. Рассказъ мой произвелъ на него впечатлѣніе.

— Мы еще поговоримъ объ этомъ, сказалъ онъ рѣшительно, — а покажѣсть... а, впрочемъ, я самъ къ тебѣ приду, вотъ только немножко поправлюсь здоровьемъ. Тогда и рѣшимъ.

Ровно въ двѣнадцать часовъ я былъ у Маслобоева. Къ величайшему моему изумленію, первое лицо, которое я встрѣтилъ, войдя къ нему, былъ князь. Онъ въ передней надѣвалъ свое пальто, а Маслобоевъ суетливо помогалъ ему и подавалъ ему его трость. Онъ ужъ говорилъ мнѣ о своемъ знакомствѣ съ княземъ, но все-таки эта встрѣча чрезвычайно изумила меня.

Князь какъ будто смѣшался, увидѣвъ меня.

— Ахъ, это вы! вскрикнулъ онъ какъ-то ужъ слишкомъ съ жаромъ.—Представьте, какая встрѣча! Впрочемъ, я сейчасъ узналъ отъ г. Маслобоева, что вы съ нимъ знакомы. Радъ, радъ, чрезвычайно радъ, что васъ встрѣтилъ; я именно желалъ васъ видѣть и надѣюсь какъ можно скорѣе заѣхать къ вамъ; вы позволите? У меня просьба до васъ: помогите мнѣ, разъясните теперешнее положеніе наше. Вы вѣрно поняли, что я говорю про вчерашнее.. Вы тамъ знакомы дружески, вы слѣдили за всѣмъ ходомъ этого дѣла; вы имѣете вліяніе... Ужасно жалѣю, что не могу съ вами теперь же... Дѣла! Но на-дняхъ и даже, можетъ-быть, скорѣе я буду имѣть удовольствіе быть у васъ. А теперь...

Онъ какъ-то ужъ слишкомъ вѣжливо пожалъ мнѣ руку, перемигнулся съ Маслобоевымъ и вышелъ.

— Скажи ты мнѣ, ради Бога... началъ было я, входя въ комнату.

— Ровно-таки ничего тебѣ не скажу, перебилъ Маслобоевъ, поспѣшно хватая фуражку и направляясь въ переднюю,—дѣла! Я, братъ, самъ бѣгу, опоздалъ!..

— Да вѣдь ты самъ написалъ, что въ двѣнадцать часовъ...

— Что-жъ такое, что написалъ? Вчера тебѣ написалъ, а сегодня мнѣ написали, да такъ, что лобъ затрещалъ,—такія дѣла! Ждутъ меня. Прости, Ваня. Все, что могу предоставить тебѣ въ удовлетвореніе, это исколотить меня

за то, что напрасно тебя потревожилъ. Если хочешь удовлетвориться, то колоти, но только ради Христа поскорѣе! Не удержи, дѣла, ждуть...

— Да зачѣмъ мнѣ тебя колотить? Дѣла, такъ спѣши, у всякаго бываетъ свое непредвидѣнное. А только...

— Нѣтъ, про *только-то* ужъ я скажу, перебилъ оя, высказывая въ переднюю и надѣвая шинель (за нимъ и я сталъ одѣваться).—У меня и до тебя дѣло; очень важное дѣло; за нимъ-то я и звалъ тебя; прямо до тебя касается и до твоихъ интересовъ. А такъ какъ въ одну минуту, теперь, рассказать нельзя, то дай ты, ради Бога, слово, что придешь ко мнѣ сегодня ровно въ семь часовъ, ни раньше, ни позже. Буду дома.

— Сегодня, сказалъ я въ нерѣшимости,—ну, братъ, я сегодня вечеромъ хотѣлъ было зайти...

— Зайди, голубчикъ, сейчасъ туда, куда ты хотѣлъ вечеромъ зайти, а вечеромъ ко мнѣ. Потому, Ваня, и вообразить не можешь, какія я вещи тебѣ сообщу.

— Да изволь, изволь; чтò бы такое? Признаюсь, ты завлекъ мое любопытство.

Между тѣмъ мы вышли изъ воротъ дома и стояли на тротуарѣ.

— Такъ будешь? спросилъ онъ настойчиво.

— Сказалъ, что буду.

— Нѣтъ, дай честное слово.

— Фу, какой! Ну, честное слово.

— Отлично и благородно. Тебѣ куда?

— Сюда, отвѣчалъ я, показывая направо.

— Ну, а мнѣ сюда, сказалъ онъ, показывая налѣво.— Прощай, Ваня! Помни, семь часовъ.

„Странно“, подумалъ я, смотря ему вслѣдъ.

Вечеромъ я хотѣлъ быть у Наташи. Но такъ какъ теперь далъ слово Маслобоеву, то и разсудилъ отправиться къ ней сейчасъ. Я былъ увѣренъ, что застаю у ней Алешу. Дѣйствительно, онъ былъ тамъ и ужасно обрадовался, когда я вошелъ.

Онъ былъ очень милъ, чрезвычайно нѣженъ съ Наташей и даже развеселился съ моимъ приходомъ. Наташа хоть и старалась казаться веселою, но видно было, что черезъ силу. Лицо ея было больное и блѣдное; плохо спала ночью. Къ Алешѣ она была какъ-то усиленно ласкова.

Алеша хоть и много говорилъ, много рассказывалъ, по-видимому, желая развеселить ее и сорвать улыбку съ ея

невольно складывавшихся не въ улыбку губъ, но замѣтно обходилъ въ разговорѣ Катю и отца. Вѣроятно, вчерашняя его попытка примиренія не удалась.

— Знаешь что? Ему ужасно хочется уйти отъ меня, шепнула мнѣ наскоро Наташа, когда онъ вышелъ на минуту что-то сказать Маврѣ,—да и боится. А я сама боюсь ему сказать, чтобъ онъ уходилъ, потому что онъ тогда, пожалуй, нарочно не уйдетъ, а пуще всего боюсь, что онъ соскучится и за это совсѣмъ охладѣетъ ко мнѣ! Какъ дѣлать?

— Боже, въ какое положеніе вы сами себя ставите! И какіе вы мнительные, какъ вы слѣдите другъ за другомъ! Да просто объяснитесь, ну и кончено. Вотъ черезъ это положеніе онъ, можетъ-быть, и дѣйствительно соскучится.

— Какъ же быть? вскричала она, испуганная.

— Постой, я вамъ все улажу...

И я вышелъ въ кухню, подъ предлогомъ попросить Мавру обтереть одну очень загрязнившуюся мою калошу.

— Осторожнѣе, Ваня! закричала она мнѣ вслѣдъ.

Только что я вошелъ къ Маврѣ, Алеша такъ и бросился ко мнѣ, точно меня ждалъ.

— Иванъ Петровичъ, голубчикъ, что мнѣ дѣлать? Посоветуйте мнѣ: я еще вчера далъ слово быть сегодня, именно теперь, у Кати. Не могу же я маневрировать! Я люблю Наташу какъ не знаю что, готовъ просто въ огонь, но согласитесь сами, тамъ совсѣмъ бросить, вѣдь это нельзя...

— Ну, что-жь, поѣзжайте...

— Да какъ же Наташа-то? Вѣдь я огорчу ее. Иванъ Петровичъ, выручите какъ-нибудь...

— По-моему лучше поѣзжайте. Вы знаете, какъ она васъ любитъ: ей все будетъ казаться, что вамъ съ ней скучно и что вы съ ней сидите насильно. Непринужденнѣе лучше. Впрочемъ, пойдѣте, я вамъ помогу.

— Голубчикъ, Иванъ Петровичъ! Какой вы добрый!

Мы вошли; черезъ минуту я сказалъ ему:

— А я видѣлъ сейчасъ вашего отца.

— Гдѣ? вскричалъ онъ, испуганный.

— На улицѣ, случайно. Онъ остановился со мной на минутку, опять просилъ быть знакомымъ. Спрашивалъ о васъ: не знаю-ли я, гдѣ теперь вы? Ему очень надо было васъ видѣть, что-то сказать вамъ.

— Ахъ, Алеша, съѣзди, покажись ему, подхватила Наташа, понявшая, къ чему я клоню.

— Но... гдѣ-жъ я его теперъ встрѣчу? Онъ дома?

— Нѣтъ, помнится, онъ сказалъ, что онъ у графини будетъ.

— Ну, такъ какъ же... наивно произнесъ Алеша, печально смотря на Наташу.

— Ахъ, Алеша, такъ что же! сказала она.— Неужели-жъ ты вправду хочешь оставить это знакомство, чтобъ меня успокоить. Вѣдь это по-дѣтски. Во-первыхъ, это невозможно, а во-вторыхъ, ты просто будешь неблагороденъ передъ Катей. Вы друзья; развѣ можно такъ грубо разрывать связи. Наконецъ, ты меня просто обижаешь, коли думаешь, что я такъ тебя ревную. Поѣзжай, немедленно поѣзжай, я прошу тебя! Да и отецъ твой успокоится.

— Наташа, ты ангелъ, а я твоего пальчика не стою! вскричалъ Алеша съ восторгомъ и съ раскаяніемъ.— Ты такъ добра, а я... я... ну, узнай же! Я сейчасъ же просилъ тамъ, въ кухнѣ, Ивана Петровича, чтобъ онъ помогъ мнѣ уѣхать отъ тебя. Онъ это и выдумалъ. Но не суди меня, ангелъ Наташа! Я не совсѣмъ виноватъ, потому что люблю тебя въ тысячу разъ больше всего на свѣтѣ и потому выдумалъ новую мысль: открыться во всемъ Катѣ и немедленно рассказать ей все наше теперешнее положеніе и все, что вчера было. Она что-нибудь выдумаетъ для нашего спасенія, она намъ всею душою предана...

— Ну и ступай, отвѣчала Наташа, улыбаясь,—и вотъ что, другъ мой, я сама хотѣла бы очень познакомиться съ Катей. Какъ бы это устроить?

Восторгу Алешы не было предѣловъ. Онъ тотчасъ же пустился въ предположенія, какъ познакомиться. По его выходило очень легко: Катя выдумаетъ. Онъ развивалъ свою идею съ жаромъ, горячо. Сегодня же обѣщался и отвѣтъ принести, черезъ два же часа, и вечеръ просидѣть у Наташи.

— Вправду пріѣдешь? спросила Наташа, отпуская его.

— Неужели ты сомнѣваешься? Прощай, Наташа, прощай, возлюбленная ты моя,—вѣчная моя возлюбленная! Прощай, Ваня! Ахъ, Боже мой, я васъ печально называлъ Ваней; послушайте, Иванъ Петровичъ, я васъ люблю—зачѣмъ мы не на *ты*? Будемъ на *ты*.

— Будемъ на *ты*.

— Слава Богу! Вѣдь мнѣ это сто разъ въ голову при-

ходило. Да я все какъ-то не смѣлъ вамъ сказать. Вотъ и теперь *вы* говорю. А вѣдь это очень трудно *ты* говорить. Это, кажется, гдѣ-то у Толстого хорошо выведено: двое дали другъ другу слово говорить *ты*, да и никакъ не могутъ и все избѣгаютъ такія фразы, въ которыхъ мѣстоименія. Ахъ, Наташа! Перечтемъ когда-нибудь „Дѣтство и отрочество“; вѣдь какъ хорошо!

— Да ужъ ступай, ступай, прогоняла Наташа, смѣясь, — заболтался отъ радости...

— Прощай! Черезъ два часа у тебя!

Онъ поцѣловаль у ней руку и поспѣшно вышелъ.

— Видишь, видишь, Ваня! проговорила она и залилась слезами.

Я просидѣлъ съ ней часа два, утѣшалъ ее и успѣлъ убѣдить во всемъ. Разумѣется, она была во всемъ права, во всѣхъ своихъ опасеніяхъ. У меня сердце было въ тоскѣ, когда я думалъ о теперешнемъ ея положеніи; боялся я за нее. Но что-жъ было дѣлать?

Страненъ былъ для меня и Алеша: онъ любилъ ее не меньше чѣмъ прежде, даже, можетъ-быть, и сильнѣе, мучительнѣе, отъ раскаянія и благодарности. Но въ то же время новая любовь крѣпко вселялась въ его сердце. Чѣмъ это кончится, — невозможно было предвидѣть. Мнѣ самому ужасно любопытно было посмотрѣть на Катю. Я снова общалъ Наташѣ познакомиться съ нею.

Подъ конецъ она даже какъ будто развеселилась. Между прочимъ, я рассказалъ ей все о Нелли, о Маслобоевѣ, о Бубновой, о сегодняшней встрѣчѣ моей у Маслобоева съ княземъ и о назначенномъ свиданіи въ семь часовъ. Все это ужасно ее заинтересовало. О старикахъ я говорилъ съ ней немного, а о посѣщеніи Ихменева умолчалъ до времени; предполагаемая дуэль Николая Сергѣича съ княземъ могла испугать ее. Ей тоже показались очень странными сношенія князя съ Маслобоевымъ и чрезвычайное его желаніе познакомиться со мною, хотя все это и довольно объяснялось теперешнимъ положеніемъ...

Часа въ три я воротился домой. Нелли встрѣтила меня со своимъ свѣтлымъ личикомъ

ГЛАВА VI.

Ровно въ семь часовъ вечера я уже былъ у Маслобоева. Онъ встрѣтилъ меня съ громкими криками и съ распростертыми объятіями. Само собою разумѣется, онъ

былъ вполъяна. Но болѣе всего меня удивили чрезвычайныя приготовленія къ моей встрѣчѣ. Видно было, что меня ожидали. Хорошенькій томпаковый самоваръ кипѣлъ на кругломъ столикѣ, накрытомъ прекрасною и дорогою скатертью. Чайный приборъ блисталъ хрусталемъ, серебромъ и фарфоромъ. На другомъ столѣ, покрытомъ другого рода, но не менѣе богатой скатертью, стояли на тарелкахъ конфеты, очень хорошія, варенья кievскія, жидкія и сухія, мармеладъ, пастила, желе, французскія варенья, апельсины, яблоки и трехъ или четырехъ сортовъ орѣхи, — однимъ словомъ, цѣлая фруктовая лавка. На третьемъ столѣ, покрытомъ бѣлоснѣжною скатертью, стояли разнообразнѣйшія закуски: икра, сыръ, пащтетъ, колбасы, копченый окорокъ, рыба и строй превосходныхъ хрустальныхъ графиновъ съ водками многочисленныхъ сортовъ и прелестнѣйшихъ цвѣтовъ, — зеленыхъ, рубиновыхъ, коричневыхъ, золотыхъ. Наконецъ, на маленькомъ столикѣ, въ сторонѣ, тоже накрытомъ бѣлою скатертью, стояли двѣ вазы съ шампанскимъ. На столѣ передъ диваномъ красовались три бутылки: сотернь, лафитъ и коньякъ—бутылки елисеѣвскія и предорогія. За чайнымъ столикомъ сидѣла Александра Семеновна, хоть и въ простомъ платьѣ и уборѣ, но видимо изысканномъ и обдуманномъ, правда очень удачно. Она понимала, что къ ней идетъ, и видимо этимъ гордилась; встрѣчая меня, она привсталала съ нѣкоторою торжественностью. Удовольствіе и веселость сверкали на ея свѣженькомъ личикѣ. Маслобоевъ сидѣлъ въ прекрасныхъ китайскихъ туфляхъ, въ дорогомъ халатѣ и въ свѣжемъ щегольскомъ бѣльѣ. На рубашкѣ его были вездѣ, гдѣ только можно было прицѣпить, модныя запонки и пугови. Волосы были расчесаны, намажены и съ косымъ проборомъ, по-модному.

Я такъ былъ озадаченъ, что остановился среди комнаты и смотрѣлъ, раскрывъ ротъ, то на Маслобоева, то на Александру Семеновну, самодовольство которой доходило до блаженства.

— Что это, Маслобоевъ, развѣ у тебя сегодня званый вечеръ? вскричалъ я, наконецъ, съ беспокойствомъ.

— Нѣтъ, ты одинъ, отвѣчалъ онъ торжественно.

— Да что же это (я указалъ на закуски), вѣдь тутъ можно накормить цѣлый полкъ!

— И напоить, — главное забылъ: напоить! прибавилъ Маслобоевъ.

— И это все для одного меня?

— И для Александры Семеновны. Все это ей угодно было такъ сочинить.

— Ну, вотъ ужъ! Я такъ и знала! восъликнула, за-краснѣвшись, Александра Семеновна, но нисколько не потерявъ своего довольнаго вида.—Гостя прилично принять нельзя; тотчасъ я виновата!

— Съ самаго утра, можешь себѣ представить, съ самаго утра, только что узнала, что ты придешь на вечеръ, захопотала; въ мѣхахъ была...

— И тутъ солгалъ! Совсе не съ самаго утра, а со вчерашняго вечера. Ты вчера вечеромъ какъ пришелъ, такъ и сказалъ мнѣ, что они въ гости на дѣлный вечеръ придуть...

— Это вы ослышались-съ.

— Совсе не ослышалась, а такъ было. Я никогда не лгу. А почему-жъ гостя не встрѣтить? Живемъ - живемъ, никто - то къ намъ не ходитъ, а все - то у насъ есть. Пусть же хорошіе люди видятъ, что и мы умѣемъ какъ люди жить.

— И главное узнаютъ, какая вы великолѣпная хозяйка и распорядительница, прибавилъ Маслобоевъ.—Представь, дружище, я-то, я-то за что тутъ попался. Рубашку голландскую на меня напялили, запонки натыкали, туфли, халатъ китайскій, волосы расчесала мнѣ сама и распомадила: бергамотъ-съ; духами какими-то попрыскать хотѣла: кремь-брюле, да ужъ тутъ я не вытерпѣлъ, возсталъ, супружескую власть показалъ...

— Совсе не бергамотъ, а самая лучшая французская помада, изъ фарфоровой расписной баночки! подхватила, вся вспыхнувъ, Александра Семеновна.—Посудите сами, Иванъ Петровичъ, ни въ театрѣ, ни потанцовать никуда не пускаетъ, только платья дарить, а что мнѣ въ платѣ-то? Наряжусь да и хожу одна по комнатѣ. Намедни упростила, совсѣмъ ужъ было собрались въ театръ; только-что отвернулась брошку прицѣпить, а онъ еъ швапику: одну-другую, да и наватился. Такъ и остались. Никто-то, никто-то, никто-то не ходитъ къ намъ въ гости; а только по утрамъ, по дѣламъ какіе-то люди ходятъ; меня и прогонять. А между тѣмъ, и самовары, и сервизъ есть, и чашки хорошія—все это есть, все дареное. И съѣстное-то намъ носить, почти одно вино покупаемъ, да какую-нибудь помаду, да вотъ тамъ закуски — паштетъ, окорока да кон-

феты для васъ купили. Хоть бы посмотрѣлъ кто, какъ мы живемъ! Цѣлый годъ думала: вотъ придетъ гость, настоящій гость, мы все это и покажемъ, и угостимъ: и люди похвалятъ, и самимъ любо будетъ; а что его, дурака, наподадила, такъ онъ и не стоитъ того; ему бы все въ грязномъ ходить. Вонъ какой халатъ на немъ: подарили; да стоитъ-ли онъ такого халата? Ему бы только нализаться прежде всего. Вотъ увидите, что онъ васъ будетъ прежде чаю водкой просить.

— А что! Вѣдь и вправду дѣло; выпьемъ-ка, Ваня, золотую и серебряную, а потомъ, съ освѣженной душой и къ другимъ напиткамъ приступимъ.

— Ну, такъ я и знала!

— Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьемъ, съ коньячкомъ, за ваше здоровье-съ.

— Ну, такъ и есть! вскричала она, всплеснувъ руками.—Чай ханскій, по шести цѣлковыхъ, третьяго дня купецъ подарилъ, а онъ его съ коньячкомъ хочетъ пить. Не слушайте, Иванъ Петровичъ, вотъ я вамъ сейчасъ налью... увидите, сами увидите, какой чай!

И она захлопотала у самовара.

Было понятно, что рассчитывали меня продержатъ весь вечеръ. Александра Семеновна цѣлый годъ ожидала гостя и теперь готовилась отвести на мнѣ душу. Все это было не въ моихъ расчетахъ.

— Послушай, Маслобоевъ, сказалъ я, усаживаясь, — вѣдь я къ тебѣ вовсе не въ гости; я по дѣламъ; ты самъ меня звалъ что-то сообщить...

— Ну, такъ вѣдь дѣло дѣломъ, а пріятельская бесѣда своимъ чередомъ

— Нѣтъ, душа моя, не рассчитывай. Въ половину девятого и прощай. Дѣло есть; я далъ слово...

— Не думаю. Помилуй, что-жъ ты со мной дѣлаешь? Что-жъ ты съ Александрой-то Семеновной дѣлаешь? Ты взгляни на нее, обомлѣла. За что-жъ меня наподадила-то: вѣдь на мнѣ бергамотъ; подумай!

— Ты все шутить, Маслобоевъ. Я Александрѣ Семеновнѣ поклонюсь, что на будущей недѣлѣ, ну, хоть въ пятницу, приду къ вамъ обѣдать; а теперь, братъ, я далъ слово, или, лучше сказать, мнѣ просто надобно быть въ одномъ мѣстѣ. Лучше объясни мнѣ: что ты хотѣлъ сообщить?

— Такъ неужели же вы только до половины девятого!

вскричала Александра Семеновна, робкимъ и жалобнымъ голосомъ, чуть не плача и подавая мнѣ чашку превосходнаго чаю.

— Не безпокойтесь, Сашенька; все это вздоръ, подхватилъ Маслобоевъ.—Онъ останется; это вздоръ. А вотъ что ты лучше скажи мнѣ, Ваня, куда это ты все уходишь? Какія у тебя дѣла? Можно узнать? Вѣдь ты каждый день куда-то бѣгаешь, не работаешь...

— А зачѣмъ тебѣ? Впрочемъ, можетъ-быть, скажу послѣ. А вотъ объясни-ка ты лучше, зачѣмъ ты приходилъ ко мнѣ вчера, когда я самъ сказалъ тебѣ, помнишь, что меня не будетъ дома?

— Потомъ вспомнилъ, а вчера забылъ. О дѣлѣ дѣйствительно хотѣлъ съ тобою поговорить, но пуще всего надо было утѣшить Александру Семеновну. „Вотъ, говорить, есть человѣкъ, оказался пріятель, зачѣмъ не позовешь?“ И ужъ меня, братъ, четверо сутокъ за тебя продергиваютъ. За бергамоть мнѣ, конечно, на томъ свѣтѣ сорокъ грѣховъ простятъ, но, думаю, отчего же не посидѣть вѣчерокъ по-пріятельски? Я и употребилъ стратегию: написалъ, что, дескать, такое дѣло, что если не придешь, то всѣ наши корабли потонуть.

Я попросилъ его впередъ такъ не дѣлать, а лучше прямо предупредить. Впрочемъ, это объясненіе меня не совсѣмъ удовлетворило.

— Ну, а давеча-то зачѣмъ бѣжалъ отъ меня? спросилъ я.

— А давеча дѣйствительно было дѣло, на столечко не солгу.

— Не съ княземъ-ли?

— А вамъ нравится нашъ чай? спросила медовымъ голоскомъ Александра Семеновна.

Вотъ ужъ пять минутъ она ждала, что я похвалю ихъ чай, а я и не догадался.

— Превосходный, Александра Семеновна, великолѣпный! Я еще и не пивалъ такого.

Александра Семеновна такъ и зардѣлась отъ удовольствія и бросилась наливать мнѣ еще.

— Князь! вскричалъ Маслобоевъ.—Этотъ князь, братъ, такая шельма, такой плутъ... ну! — Я, братъ, вотъ что тебѣ скажу: я хотъ и самъ плутъ, но изъ одного цѣломудрія не захотѣлъ бы быть въ его кожѣ! Но довольно; молчокъ! Только это одно объ немъ и могу сказать.

— А я, какъ нарочно, пришелъ къ тебѣ, чтобы о немъ разспросить, между прочимъ. Но это послѣ. А зачѣмъ ты вчера безъ меня моей Еленѣ леденцовъ давалъ, да плясалъ передъ ней? И о чемъ ты могъ полтора часа съ ней говорить!

— Елена, это маленькая дѣвочка, лѣтъ двѣнадцать или одиннадцать, живетъ до времени у Ивана Петровича, объяснилъ Маслобоевъ, вдругъ обращаясь къ Александрѣ Семеновнѣ.—Смотри, Ваня, смотри, продолжалъ онъ, показывая на нее пальцемъ,—такъ вся и вспыхнула, какъ услышала, что я незнакомой дѣвушкѣ леденцовъ носилъ, такъ и зардѣлась, такъ и вздрогнула, точно мы вдругъ изъ пистолета выстрѣлили... ишь глазенки-то, такъ и сверкаютъ, какъ угольки. Да ужъ нечего, Александра Семеновна, — нечего скрывать! Ревнивы-съ. Не растолкуй я, что это одиннадцатилѣтняя дѣвочка, такъ меня тотчасъ же за вихры оттаскала бы, и бергамотъ бы не спасъ!

— Онъ и теперь не спасетъ!

И съ этими словами, Александра Семеновна однимъ прыжкомъ прыгнула къ намъ изъ-за чайнаго столика, и прежде чѣмъ Маслобоевъ успѣлъ заслонить свою голову, она схватила его за ключокъ волосъ и порядочно продернула.

— Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ! Не смѣй говорить передъ гостемъ, что я ревнива, не смѣй, не смѣй, не смѣй!

Она даже раскраснѣлась и хоть смѣялась, но Маслобоеву досталось порядочно.

— Про всякій стыдъ рассказываетъ! серьезно прибавила она, обратясь ко мнѣ.

— Ну, Ваня, таково-то житье мое! По этой причинѣ непремѣнно водочки! рѣшилъ Маслобоевъ, оправляя волосы и чуть не бѣгомъ направляясь къ графину. Но Александра Семеновна предупредила его: подскочила къ столу, налила сама, подала и даже ласково потрепала его по щекѣ. Маслобоевъ съ гордостью подмигнулъ мнѣ глазомъ, щелкнулъ языкомъ и торжественно выпилъ свою рюмку.

— Насчетъ леденцовъ трудно сообразить, началъ онъ, усаживаясь подлѣ меня на диванѣ.—Я ихъ купилъ третьяго дня, въ пьяномъ видѣ, въ овощной лавочкѣ,—не знаю для чего. Впрочемъ, можетъ-быть, для того, чтобы поддержать отечественную торговлю и промышленность,—не знаю навѣрно; помню только, что я шелъ тогда по улицѣ пьяный, упалъ въ грязь; рвалъ на себѣ волосы и плакалъ о томъ, что ни къ чему не способенъ. Я, разумѣется, о

леденцахъ забылъ, такъ они и остались у меня въ карманѣ до вчерашняго дня, когда я сѣлъ на нихъ, садясь на твой диванъ. Насчетъ танцевъ же опять тотъ же нетрезвый видъ: вчера я былъ достаточно пьянъ, а въ пьяномъ видѣ я, когда бываю доволенъ судьбою, иногда танцую. Вотъ и все; кромѣ развѣ того, что эта сиротка возбудила во мнѣ жалость, да кромѣ того, она и говорить со мной не хотѣла, какъ будто сердилась. Я и ну танцевать, чтобы развеселить ее, и леденчиками попотчивалъ.

— А не поддупалъ ее, чтобы у ней кое-что вывѣдать, и признайся откровенно: нарочно ты зашелъ ко мнѣ, зная, что меня дома не будетъ, чтобы поговорить съ ней между четырехъ глазъ и что-нибудь вывѣдать, или нѣтъ? Вѣдь я знаю, ты съ ней часа полтора просидѣлъ, увѣрилъ ее, что ея мать покойницу знаешь и что-то выпрашивалъ.

Маслобоевъ прищурился и плутовски усмѣхнулся.

— А вѣдь идея-то была бы не дурна, сказалъ онъ.— Нѣтъ, Ваня, это не то. То-есть, почему не распросить при случаѣ; но это не то. Слушай, старинный пріятель, я хоть теперь и довольно пьянъ, по обыкновенію, но знай, что съ *злымъ умысломъ* Филиппъ тебя никогда не обманетъ, съ *злымъ, то-есть, умысломъ*.

— Ну, а безъ злого умысла?

— Ну... и безъ злого умысла. Но къ чорту это, выпьемъ, и о дѣлѣ! Дѣло-то пустое, продолжалъ онъ, выпивъ.— Эта Бубнова не имѣла никакого права держать эту дѣвочку; я все разузналъ. Никакого тутъ усыновленія или прочаго не было. Мать должна была ей денегъ, та и забрала къ себѣ дѣвчонку. Бубнова хоть и плутовка, хоть и злодѣйка, но баба дура, какъ и всѣ бабы. У покойницы былъ хорошій паспортъ; слѣдственно все чисто. Елена можетъ жить у тебя, хотя бы очень хорошо было, если бь какіе-нибудь люди семейные и благодѣтельные взяли ее серьезно на воспитаніе. Но покамѣстъ пусть она у тебя. Это ничего! Я тебѣ все обдѣлаю: Бубнова и пальцемъ пошевелить не смѣетъ. О покойницѣ же матери я почти ничего не узналъ точнаго. Она чья-то вдова, по фамиліи Зальцманъ.

— Такъ; мнѣ такъ и Нелли говорила.

— Ну, такъ и кончено. Теперь же, Ваня, началъ онъ съ нѣкоторою торжественностью,—я имѣю къ тебѣ одну просьбицу. Ты же исполни. Расскажи мнѣ по возможности подробнѣе, что у тебя за дѣла, куда ты ходишь, гдѣ бы-

ваешь по дѣлымъ днямъ? Я хоть отчасти и слышалъ, и знаю, но мнѣ надобно знать гораздо подробнѣе.

Такая торжественность удивила меня и даже обезпекнула.

— Да что такое? Для чего тебѣ это знать? Ты такъ торжественно спрашиваешь...

— Вотъ что, Ваня, безъ лишнихъ словъ: я тебѣ хочу оказать услугу. Видишь, дружище, если бъ я съ тобой хитрилъ, я бы у тебя и безъ торжественности умѣлъ выпытать. А ты подозрѣваешь, что я съ тобой хитрю: давеча, леденцы-то; я вѣдь понялъ. Но такъ какъ я съ торжественностью говорю, значить не для себя интересуюсь, а для тббя. Такъ ты не сомнѣвайся и говори напрямивъ, правду истинную...

— Да какую услугу? Слушай, Маслобоевъ, для чего ты не хочешь мнѣ рассказать что-нибудь о князѣ? Мнѣ это нужно. Вотъ это будетъ услуга.

— О князѣ? Гм!.. Ну, такъ и быть, прямо скажу: я и выспрашиваю теперь тебя по поводу князя.

— Какъ?

— А вотъ какъ: я, братъ, замѣтилъ, что онъ какъ-то въ твои дѣла замѣшался; между прочимъ, онъ разспрашивалъ меня о тебѣ. Ужъ какъ онъ узналъ, что мы знакомы,—это не твое дѣло. А только главное въ томъ: берегись ты этого князя. Это Иуда-предатель и даже хуже того. И потому, когда я увидалъ, что онъ отразился въ твоихъ дѣлахъ, то вострепеталъ за тебя. Впрочемъ, я вѣдь ничего не знаю; для того-то и прошу тебя рассказать, чтобъ я могъ судить... И даже для того тебя сегодня къ себѣ призвалъ. Вотъ это и есть то важное дѣло; прямо объясняю.

— По крайней мѣрѣ, ты мнѣ скажешь хоть что-нибудь, хоть то, почему именно я долженъ опасаться князя.

— Хорошо; такъ и быть; я, братъ, вообще употребляюсь иногда по инымъ дѣламъ. Но разсуди: мнѣ вѣдь иные и довѣряются-то потому, что я не болтунъ. Какъ же я тебѣ буду рассказывать? Такъ и не взыщи, если расскажу вообще, слишкомъ вообще, для того только, чтобъ показать: какой, дескать, онъ выходитъ подлець. Ну, начинай же сначала ты про свое.

Я разсудилъ, что въ моихъ дѣлахъ мнѣ рѣшительно нечего было скрывать отъ Маслобоева. Дѣло Наташи было не секретное; къ тому же я могъ ожидать для нея нѣкоторой пользы отъ Маслобоева. Разумѣется, въ моемъ

разказъ я, по возможности, обошелъ нѣкоторые пункты. Маслобоевъ въ особенности внимательно слушалъ все, что касалось князя; во многихъ мѣстахъ меня останавливалъ, многое вновь переспрашивалъ, такъ что я разказалъ ему довольно подробно. Разказъ мой продолжался съ полчаса.

— Гм! Умная голова у этой дѣвицы, рѣшилъ Маслобоевъ.—Если, можетъ-быть, и не совсѣмъ вѣрно догадалась она про князя, то ужъ то одно хорошо, что съ перваго шагу узнала, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и прервала всѣ сношенія. Молодецъ Наталья Николаевна! Пью за ея здоровье! (Онъ выпилъ). Тутъ не только умъ, тутъ сердца надо было, чтобъ не дать себя обмануть. И сердце не выдало. Разумѣется, ея дѣло проиграно: князь настоитъ на своемъ и Алеша ее бросить. Жаль одного, Ихменева,—десять тысячъ платить этому подлецу! Да кто у него по дѣлу-то ходилъ, кто хлопоталъ? Небось самъ! Э-эхъ! Тотъ всѣ эти горячіе и благородные! Нигуда не годится народъ! Съ княземъ не такъ надо было дѣйствовать. Я бы такого адвоката досталъ Ихменеву,—э-эхъ!

И онъ съ досадою стукнулъ по столу.

— Ну, теперь что же князь-то?

— А ты все о князѣ. Да что о немъ говорить; и не радъ, что вызвался. Я вѣдь, Ваня, только хотѣлъ тебя насчетъ этого мошенника предувѣдомить, чтобъ, такъ сказать, оградить тебя отъ его вліянія. Кто съ нимъ связывается, тотъ не безопасенъ. Такъ ты держи ухо востро; вотъ и все. А ты ужъ и подумалъ, что я тебѣ Богъ знаетъ какія парижскія тайны хочу сообщить. И видно, что романистъ! Ну, что говорить о подлецѣ? Подлецъ, такъ и есть подлецъ... Ну, вотъ, наприимѣръ, разкажу тебѣ одно его дѣльце, разумѣется, безъ мѣстъ, безъ городовъ, безъ лицъ, то-есть безъ календарской точности. Ты знаешь, что онъ еще въ первой молодости, когда принужденъ былъ жить канцелярскимъ жалованьемъ, женился на богатой купчихѣ. Ну, съ этой купчихой онъ не совсѣмъ вѣжливо обошелся и хотъ не въ ней теперь дѣло, но замѣчу, другъ Ваня, что онъ всю жизнь наиболѣе по такимъ дѣламъ любилъ промышлять. Вотъ еще случай! Поѣхалъ онъ за границу. Тамъ...

— Поймай, Маслобоевъ, про которую ты поѣздку говоришь? Въ которомъ году?

— Ровно девяносто девять лѣтъ тому назадъ и три мѣсяца. Ну-съ, тамъ онъ и сманилъ одну дочь у одного отца,

да и увезъ съ собой въ Парижъ. Да вѣдь какъ сдѣлалъ-то! Отецъ былъ въ родѣ какого-то заводчика или участвовалъ въ какомъ-то этакомъ предпріятіи. Навѣрно не знаю. Я вѣдь, если и рассказываю тебѣ, то по собственнымъ умозаключеніямъ и соображеніямъ изъ другихъ данныхъ. Вотъ князь его и надулъ, тоже въ предпріятіе съ нимъ вмѣстѣ залѣзъ. Надулъ вполнѣ и деньги съ него взялъ. Насчетъ взятыхъ денегъ у старика были, разумѣется, кой-какіе документы. А князю хотѣлось такъ взять, чтобъ и не отдать, по-нашему, просто украсть. У старика была дочь и дочь-то была красавица, а у этой красавицы былъ влюбленный въ нее идеальный человѣкъ, братецъ Шиллеру, поэтъ, въ то же время купецъ, молодой мечтатель, однимъ словомъ, вполнѣ нѣмецъ, Феферкухенъ какой-то.

— То-есть, это фамилія его Феферкухенъ?

— Ну, можетъ, и не Феферкухенъ, чортъ его дери, не въ немъ дѣло. Только князь-то и подлѣзъ къ дочери, да такъ подлѣзъ, что она влюбилась въ него, какъ сумасшедшая. Князю и захотѣлось тогда двухъ вещей: во-первыхъ, овладѣть дочкой, а во-вторыхъ, документами во взятой у старика суммѣ. Ключи отъ всѣхъ ящиковъ стариковыхъ были у его дочери. Старикъ же любилъ дочь безъ памяти, до того, что замужъ ее отдавать не хотѣлъ. Серьезно. Ко всякому жениху ревновалъ, не понималъ, какъ можно разстаться съ нею, и Феферкухена прогналъ, чудака какой-то, англичанинъ...

— Англичанинъ? Да гдѣ же все это происходило?

— Я только такъ сказалъ: англичанинъ, для сравненія, а ты ужъ и подхватилъ. Было-жъ это въ городѣ Санта-фе-де-Богота, а можетъ и въ Краковѣ, но вѣрнѣе всего, что въ фюрстентумѣ Нассау, вотъ что на зельтерской водѣ написано, именно въ Нассау; довольно съ тебя? Ну-съ, вотъ-съ, князь дѣвицу-то сманилъ, да и увезъ отъ отца, да по настоянію князя, дѣвица захватила съ собой и кой-какіе документики. Вѣдь бываетъ же такая любовь, Ваня! Фу ты, Боже мой, а вѣдь дѣвушка была честная, благородная, возвышенная! Правда, можетъ толку-то большого въ бумагахъ не знала. Ее заботило одно: отецъ проклянетъ. Князь и тутъ нашелся; далъ ей форменное, законное обязательство, что на ней женится. Такимъ образомъ и увѣрилъ ее, что они такъ только поѣдутъ, на время, прогуляются, а когда гнѣвъ старика поутихнетъ,

они и воротятся къ нему обвѣнчанные и будутъ втроемъ вѣкъ жить, добра наживать и такъ далѣе до безконечности. Бѣжала она, старикъ-то ее провлялъ, да и обанкрутился. За нею въ Парижъ потащился и Фрауенмилхъ, все бросилъ, и торговлю бросилъ; влюбленъ былъ ужъ очень.

— Стой! Какой Фрауенмилхъ?

— Ну, тотъ, какъ его! Фейербахъ-то... тѣфу проклятый! Феферкухенъ! Ну-съ, князю, разумѣется, жениться нельзя было: что, дескать, графиня Хлестова скажетъ? Какъ баронъ Помойкинъ объ этомъ отзовется? Слѣдовательно, надо было надуть. Ну, надуль - то онъ слишкомъ нагло. Во-первыхъ, чуть-ли не билъ ее, во-вторыхъ, нарочно пригласилъ къ себѣ Феферкухена, тотъ и ходилъ, другомъ ея сдѣлался, ну, хныкали вмѣстѣ, по цѣлымъ вечерамъ одни сидѣли, несчастья свои оплакивали, тотъ утѣшалъ: извѣстно Божьи души. Князь-то нарочно такъ подвелъ: разъ застаеть ихъ поздно, да и выдумалъ, что они въ связи, придрался къ чему-то: своими глазами, говорить, видѣлъ. Ну и вытолкалъ ихъ обоихъ за ворота, а самъ на время въ Лондонъ уѣхалъ. А та была ужъ на сносяхъ; какъ выгнали ее, она и родила дочь... то-есть не дочь, а сына, именно сынишку. Володькой и окрестили. Феферкухенъ воспріемникомъ былъ. Ну, вотъ и поѣхала она съ Феферкухеномъ. У того маленькія деньжонки были. Обѣхала она Швейцарію, Италію... во всѣхъ то-есть поэтическихъ земляхъ была, какъ и слѣдуетъ. Та все плакала, а Феферкухенъ хныкалъ, и много лѣтъ такимъ образомъ прошло, и дѣвочка выросла. И для князя-то все бы хорошо было, да одно не хорошо: обязательство жениться онъ у ней назадъ не выхлопоталъ. „Низкій ты человекъ, сказала она ему при прощаніи, — ты меня обокралъ, ты меня обезчестилъ и теперь оставляешь. Прощай! Но обязательства тебѣ не отдамъ. Не потому, чтобъ я когда-нибудь хотѣла за тебя выйти, а потому что ты этого документа боишься. Такъ пусть онъ и будетъ у меня вѣчно въ рукахъ“. Погорячилась, однимъ словомъ, но князь, впрочемъ, остался покоенъ. Вообще, такимъ подлецамъ превосходно имѣть дѣло съ такъ-называемыми возвышенными существами. Они такъ благородны, что ихъ всегда легко обмануть, а во-вторыхъ, они всегда отдѣляются возвышеннымъ и благороднымъ презрѣніемъ, вмѣсто практическаго примѣненія къ дѣлу закона, если только можно его примѣнить.

Ну, вотъ хоть бы эта мать: отдѣлалась гордымъ презрѣніемъ и хоть и оставила у себя документъ, но вѣдь князь зналъ, что она скорѣе повѣсится, чѣмъ употребить его въ дѣло: ну, и былъ покоенъ до времени. А она хоть и плюнула ему въ его подлое лицо, да вѣдь у ней Володька на рукахъ оставался: умри она, что съ нимъ будетъ? Но объ этомъ не разсуждалось. Брудершафтъ тоже ободрялъ ее и не разсуждалъ; Шиллера читали. Наконецъ, Брудершафтъ отчего-то свиснулъ и умеръ...

— То-есть Феферкухенъ?

— Ну, да, чортъ его дери! А она...

— Постой! Сколько-жъ лѣтъ они странствовали?

— Ровнѣшенько двѣсти. Ну-съ, она и воротилась въ Краковъ. Отецъ-то не принялъ, проклялъ, она умерла, а князь перекрестился отъ радости. Я тамъ былъ, медъ пилъ, по усамъ текло, а въ ротъ не попало, дали мнѣ шлыгъ, а я въ подворотню шмыгъ... выпьемъ, братъ, Ваня!

— Я подозреваю, что ты у него по этому дѣлу хлопчешь, Маслобоевъ.

— Тебѣ непременно этого хочется?

— Но не понимаю только, что ты-то тутъ можешь сдѣлать!

— А видишь, она какъ воротилась въ Мадритъ-то, послѣ десятилѣтняго отсутствія, подъ чужимъ именемъ, то надо было все это разузнать и о Брудершафтѣ, и о старикѣ, и дѣйствительно-ли она воротилась, и о птенцѣ, и умерла-ль она, и нѣтъ-ли бумагъ, и такъ далѣе, до безконечности. Да еще кой-о-чемъ. Сквернѣйшій человѣкъ, берегись его, Ваня, а объ Маслобоевѣ вотъ что думай: никогда ни за что не называй его подлецомъ! Онъ хоть и подлецъ (по-моему, такъ нѣтъ человѣка не подлеца), но не противъ тебя. Я крѣпко пьянъ, но слушай: если когда-нибудь, близко-ли, далеко-ли, теперь-ли или на будущій годъ, тебѣ покажется, что Маслобоевъ противъ тебя въ чемъ-нибудь схитрилъ (и, пожалуйста, не забудь этого слова, *схитрилъ*),—то знай, что безъ злого умысла. Маслобоевъ надъ тобой наблюдаетъ. И потому, не вѣрь подозрѣніямъ, а лучше приди и объяснись откровенно и по-братски съ самимъ Маслобоевымъ. Ну, теперь хочешь пить?

— Нѣтъ.

— Закусить?

— Нѣтъ, братъ, извини...

— Ну, такъ и убирайся, безъ четверти девять, а ты спесивъ. Теперь тебѣ уже пора.

— Какъ? Чтò? Напился пьянъ, да и гостя гонить! Всегда-то онъ такой! Ахъ, безстыдникъ! вскричала чуть не плача Александра Семеновна.

— Пѣшій конному не товарищъ! Александра Семеновна, мы остаемся вмѣстѣ и будемъ обожать другъ друга. А это генераль! Нѣтъ, Ваня, я соврала; ты не генераль, а я — подлець! Посмотри, на чтò я похожъ теперь? Чтò я передъ тобой? Прости, Ваня, не осуди, и дай излить...

Онъ обнялъ меня и залился слезами. Я стала уходить.

— Ахъ, Боже мой! А у насъ и ужинать приготовлено, говорила Александра Семеновна въ ужаснѣйшемъ горѣ.— А въ пятницу-то придете къ намъ?

— Приду, Александра Семеновна, честное слово, приду.

— Да вы, можетъ-быть, побрезгаете, что онъ вотъ такой... пьяный. Не брезгайте, Иванъ Петровичъ, онъ добрый, очень добрый, а ужъ васъ какъ любитъ! Онъ про васъ мнѣ день и ночь теперь говорить, все про васъ. Нарочно ваши книжки купилъ для меня; я еще не прочла; завтра начну. А ужъ мнѣ-то какъ хорошо будетъ, когда вы придете! Никого-то не вижу, никто-то не ходитъ къ намъ посидѣть. Все у насъ есть, а сидимъ одни. Теперь вотъ я сидѣла, все слушала, все слушала, какъ вы говорили, и какъ это хорошо... Такъ до пятницы!

ГЛАВА VII.

Я шель и торопился домой: слова Маслобоева слишкомъ меня поразили. Мнѣ Богъ знаетъ чтò приходило въ голову... Какъ нарочно, дома меня ожидало одно происшествіе, которое меня потрясло, какъ ударъ электрической машины.

Противъ самыхъ воротъ дома, въ которомъ я квартировалъ, стоялъ фонарь. Только что я сталъ подъ ворота, вдругъ отъ самаго фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, такъ что я даже вскрикнулъ, какое-то живое существо, испуганное, дрожащее, полусумасшедшее, и съ крикомъ уцѣпилось за мои руки. Ужасъ охватилъ меня. Это была Нелли!

— Нелли! Чтò съ тобой? закричалъ я, — чтò ты!

— Тамъ, наверху... онъ сидитъ... у насъ.

— Кто такой? Пойдемъ; пойдемъ вмѣстѣ со мной.

— Не хочу, не хочу! Я подожду, пока онъ уйдетъ... въ сѣняхъ.. не хочу.

Я поднялся къ себѣ съ какимъ-то страннымъ предчувствіемъ, отворилъ дверь и увидѣлъ князя. Онъ сидѣлъ у стола и читалъ романъ. По крайней мѣрѣ, книга была раскрыта.

— Иванъ Петровичъ! вскричалъ онъ съ радостью.— Я такъ радъ, что вы, наконецъ, воротились. Только что хотѣлъ было уѣзжать. Болѣе часу васъ ждалъ. Я далъ сегодня слово, по настоятельнѣйшей и убѣдительнѣйшей просьбѣ графини, пріѣхать къ ней сегодня вечеромъ съ вами. Она такъ просила, такъ хочетъ съ вами познакомиться! Такъ какъ ужъ вы дали мнѣ обѣщаніе, то я рассудилъ захватить къ вамъ самому, пораньше, покажѣсть вы еще не успѣли никуда отправиться, и пригласить васъ съ собой. Представьте же мою печаль; пріѣзжаю, ваша служанка объявляетъ, что васъ нѣтъ дома. Что дѣлать! Я вѣдь далъ честное слово явиться съ вами; а потому сѣлъ васъ подождать, рѣшивъ, что прожду четверть часа. Но вотъ они четверть часа: развернулъ вашъ романъ и зачитался. Иванъ Петровичъ! Вѣдь это совершенство! Вѣдь васъ не понимаютъ послѣ этого! Вѣдь вы у меня слезы исторгли. Вѣдь я плакалъ, а я не очень часто плачу...

— Такъ вы хотите, чтобъ я ѣхалъ? Признаюсь вамъ, теперь... хоть я вовсе не прочь, но...

— Ради Бога, поѣдьте! Что же со мной-то вы сдѣлаете? Вѣдь я васъ ждалъ полтора часа!.. Притомъ же мнѣ съ вами такъ надо, такъ надо поговорить, — вы понимаете о чемъ? Вы все это дѣло знаете лучше меня... Мы, можетъ-быть, рѣшимъ что-нибудь, остановимся на чемъ-нибудь, подумайте! Ради Бога, не отказывайте.

Я рассудилъ, что рано-ли, поздно-ли надо будетъ ѣхать. Положимъ, Наташа теперь одна, а ей нуженъ, но вѣдь она же сама поручила мнѣ какъ можно скорѣй узнать Катю. Къ тому же, можетъ-быть, и Алеша тамъ... Я зналъ, что Наташа не будетъ покойна, прежде чѣмъ я не принесу ей извѣстій о Катѣ, и рѣшился ѣхать. Но меня смущала Нелли.

— Погодите, сказалъ я князю и вышелъ на лѣстницу. Нелли стояла тутъ, въ темномъ углу.

— Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что онъ тебѣ сдѣлалъ? Что съ тобой говорилъ?

— Ничего... Я не хочу, не хочу... повторила она, — я боюсь...

Какъ я ее ни упрашивалъ—ничто не помогало. Я уговорился съ ней, чтобъ какъ только я выйду съ княземъ, она бы вошла въ комнату и заперлась.

— И не пускай къ себѣ никого, Нелли, какъ бы тебя ни упрашивали.

— А вы съ нимъ ѣдете?

— Съ нимъ.

Она вздрогнула и схватила меня за руку, точно хотѣла упросить, чтобъ я не ѣхалъ, но не сказала ни слова. Я рѣшилъ разспросить ее подробно завтра.

Попросивъ извиненія у князя, я сталъ одѣваться. Онъ началъ увѣрять меня, что туда не надо никакихъ гардеробовъ, никакихъ туалетовъ.

— Такъ развѣ посвѣжѣ что-нибудь! прибавилъ онъ, инквизиторски оглядѣвъ меня съ головы до ногъ,—знаете, все-таки эти свѣтскіе предрасудки... вѣдь нельзя же совершенно отъ нихъ избавиться. Этого совершенства вы въ нашемъ свѣтѣ долго не найдете, заключилъ онъ, съ удовольствіемъ увидавъ, что у меня есть фракъ.

Мы вышли. Но я оставилъ его на лѣстницѣ, вошелъ въ комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще разъ простился съ нею. Она была ужасно взволнована. Лицо ея посинѣло. Я боялся за нее; мнѣ тяжело было ее оставить.

— Странная эта у васъ служанка, говорилъ мнѣ князь, сходя съ лѣстницы.— Вѣдь эта маленькая дѣвочка ваша служанка?

— Нѣтъ... она такъ... живетъ у меня покамѣстъ.

— Странная дѣвочка. Я увѣренъ, что она сумасшедшая. Представьте себѣ, сначала отвѣчала мнѣ хорошо, но потомъ, когда разглядѣла меня, бросилась ко мнѣ, вскрикнула, задрожала, вцѣпилась въ меня... что-то хочеть сказать,—не можетъ. Признаюсь, я струилъ, хотѣлъ ужъ бѣжать отъ нея, но она, слава Богу, сама отъ меня убѣжала. Я былъ въ изумленіи. Какъ это вы уживаетесь?

— У нея падачая болѣзнь, отвѣчалъ я.

— А, вотъ что! Ну, это не такъ удивительно... если она съ припадками.

Мнѣ тутъ же показалось одно, что вчерашній визитъ ко мнѣ Маслобоева, тогда какъ онъ зналъ, что я не дома; что сегодняшній мой визитъ къ Маслобоеву; что сего-

дняшній рассказъ Маслобоева, который онъ рассказалъ въ пьяномъ видѣ и нехотя; что приглашеніе его быть у него сегодня въ семь часовъ, что его убѣжденія не вѣрить въ его хитрость и, наконецъ, что князь, ожидающій меня полтора часа и, можетъ-быть, знавшій, что я у Маслобоева, такъ какъ Нелли выскочила отъ него на улицу, — что все это имѣло между собою нѣкоторую связь. Было о чемъ задуматься.

У воротъ дожидалась его коляска. Мы сѣли и поѣхали.

ГЛАВА VIII.

Ѣхать было недалеко, къ Торговому мосту. Первую минуту мы молчали. Я все думалъ: какъ-то онъ со мной заговорить? Мнѣ казалось, что онъ будетъ меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но онъ заговорилъ безъ всякихъ изворотовъ и прямо приступилъ къ дѣлу:

— Меня чрезвычайно заботитъ теперь одно обстоятельство, Иванъ Петровичъ, началъ онъ, — о которомъ я хочу прежде всего переговорить съ вами и попросить у васъ совѣта: я уже давно рѣшилъ отказать отъ выиграннаго мною процесса и уступить спорныя десять тысячъ Ихмеву. Какъ поступить?

„Не можетъ быть, чтобъ ты не зналъ какъ поступить“, промелькнуло у меня въ мысляхъ. — „Ужъ не на смѣхъ-ли ты меня поднимаешь?“

— Не знаю, князь, отвѣчалъ я какъ можно просто-душнѣе, — въ чемъ въ другомъ, то-есть, что касается Натальи Николаевны, я готовъ сообщить вамъ необходимыя для васъ и для насъ всѣхъ свѣдѣнія, но въ этомъ дѣлѣ вы, конечно, знаете больше моего.

— Нѣтъ, нѣтъ, конечно, меньше. Вы съ ними знакомы, и, можетъ-быть, даже сама Наталья Николаевна вамъ не разъ передавала свои мысли на этотъ счетъ; а это для меня главное руководство. Вы можете мнѣ много помочь; дѣло же крайне затруднительное. Я готовъ уступить и даже непременно положилъ уступить, какъ бы ни кончились всѣ прочія дѣла; вы понимаете? Но какъ, въ какомъ видѣ сдѣлать эту уступку, — вотъ въ чемъ вопросъ? Старикъ гордъ, упрямъ; пожалуй, меня же обидитъ за мое же добродушіе и швырнетъ мнѣ эти деньги назадъ...

— Но позвольте, вы какъ считаете эти деньги: своими или его?

— Процессъ выигранъ мною, слѣдственно моими.

— Но по совѣсти?

— Разумѣтся, считаю моими, отвѣчалъ онъ, нѣсколько пикированный моею безцеремонностью.— Впрочемъ, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дѣла. Я не виню старика въ умышенномъ обманѣ и, признаюсь вамъ, никогда не винилъ. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Онъ виноватъ въ недосмотрѣ, въ незначительности о ввѣренныхъ ему дѣлахъ, а по бывшему уговору нашему, за нѣкоторыя изъ подобныхъ дѣлъ, онъ долженъ былъ отвѣчать. Но знаете-ли вы, что даже и не въ этомъ дѣло: дѣло въ нашей ссорѣ, во взаимныхъ тогдашнихъ оскорбленіяхъ, однимъ словомъ, въ обоюдномъ уязвленномъ самолюбіи. Я, можетъ-быть, и вниманія не обратилъ бы тогда на эти дрянныя десять тысячъ; но вамъ, разумѣтся, извѣстно, изъ-за чего и какъ началось тогда все это дѣло. Соглашаюсь, я былъ мнителенъ, я былъ, пожалуй, не правъ (то-есть тогда не правъ), но я не замѣчалъ этого и въ досадѣ, оскорбленный его грубостями, не хотѣлъ упустить случая и началъ дѣло. Вамъ все это, пожалуй, покажется съ моей стороны не совсѣмъ благороднымъ. Я не оправдываюсь; замѣчу вамъ только, что гнѣвъ и, главное, раздраженное самолюбіе—еще не есть отсутствіе благородства, а есть дѣло естественное, человѣческое и, признаюсь, повторяю вамъ, я вѣдь почти вовсе не зналъ Ихменева и совершенно вѣрилъ всѣмъ этимъ слухамъ насчетъ Алеши и его дочери, а слѣдственно могъ повѣрить и умышенной кражѣ денегъ... Но это въ сторону. Главное въ томъ: что мнѣ теперь дѣлать? Отказаться отъ денегъ, но если я тутъ же скажу, что считаю и теперь свой искъ правымъ, то вѣдь это значитъ: я ихъ дарю ему. А тутъ прибавьте еще щекотливое положеніе насчетъ Натальи Николаевны... Онъ непременно швырнетъ мнѣ эти деньги назадъ...

— Вотъ видите, сами же вы говорите: *швырнетъ*; слѣдственно считаете его человѣкомъ честнымъ, а поэтому и можете быть совершенно увѣрены, что онъ не красть вашихъ денегъ. А если такъ, почему бы вамъ не пойти къ нему и не объявить прямо, что считаете свой искъ незаконнымъ? Это было бы благородно, и Ихменевъ, можетъ-быть, не затруднился бы тогда взять свои деньги.

— Гм!.. свои деньги; вотъ въ томъ-то и дѣло; что же вы со мной-то дѣлаете? Идти и объявить ему, что считаю свой искъ незаконнымъ. Да зачѣмъ же ты искалъ, коли

зналъ, что ищешь незаконно?—такъ мнѣ всѣ въ глаза скажутъ. А я этого не заслужилъ, потому что искалъ законно; я нигдѣ не говорилъ и не писалъ, что онъ у меня красть, но въ его неосмотрительности, въ легкомыслии, въ неумѣнны вѣсти дѣла и теперь увѣренъ. Эти деньги положительны мои, и потому больно взводить самому на себя поклепъ, и, наконецъ, повторяю вамъ, старикъ самъ взвелъ на себя обиду, а вы меня заставляете въ этой обидѣ у него прощенія просить,—это тяжело.

— Мнѣ кажется, если два человѣка хотятъ помириться, то...

— То это легко, вы думаете?

— Да.

— Нѣтъ, иногда очень нелегко, тѣмъ болѣе...

— Тѣмъ болѣе, если съ этимъ связаны другія обстоятельства. Вотъ въ этомъ я съ вами согласенъ, князь. Дѣло Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрѣшено вами во всѣхъ тѣхъ пунктахъ, которые отъ васъ зависятъ, и разрѣшено вполне удовлетворительно для Ихменевыхъ. Только тогда вы можете объяснить съ Ихменевымъ и о процессѣ совершенно искренно. Теперь же, когда еще ничего не рѣшено, у васъ одинъ только путь: признаться въ несправедливости вашего иска и признаться открыто, а если надо, такъ и публично,—вотъ мое мнѣнiе: говорю вамъ прямо, потому что вы же сами спрашивали моего мнѣнiя и, вѣроятно, не желали, чтобъ я съ вами хитрилъ. Это же даетъ мнѣ смѣлость спросить васъ: для чего вы беспокоитесь объ отдачѣ этихъ денегъ Ихменеву? Если вы считаете себя въ этомъ искѣ правымъ, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это такъ связано съ другими обстоятельствами.

— А какъ вы думаете? спросилъ онъ вдругъ, какъ будто совершенно не слыхавъ моего вопроса.—Увѣрены-ли вы, что старикъ Ихменевъ откажется отъ десяти тысячъ, если-бъ даже вручить ему деньги безо всякихъ отговорокъ и... и... и всякихъ этихъ смягченій!

— Разумѣется, откажется!

Я весь такъ и вспыхнулъ и даже вздрогнулъ отъ негодованiя. Этотъ нагло-скептическiй вопросъ произвелъ на меня такое же впечатлѣнiе, какъ будто князь мнѣ плюнулъ прямо въ глаза. Къ моему оскорбленiю присоединилось и другое: грубая великосвѣтская манера, съ которою онъ, не отвѣчая на мой вопросъ и какъ будто не замѣ-

тивъ его, перебилъ его другимъ, вѣроятно, давая мнѣ замѣтить, что я слишкомъ увлекся и зафамиллярничалъ, осмѣлившись предлагать ему такіе вопросы. Я до ненависти не любилъ этого великосвѣтскаго маневра и всѣми силами еще прежде отучалъ отъ него Алешу.

— Гм!.. Вы слишкомъ пылки, и на свѣтѣ нѣкоторые дѣла не такъ дѣлаются, какъ вы воображаете, спокойно замѣтилъ князь на мое восклицаніе.—Я, впрочемъ, думаю, что объ этомъ могла бы отчасти рѣшить Наталья Николаевна; вы ей передайте это. Она могла бы посовѣтовать.

— Ничуть, отвѣчалъ я грубо.—Вы не изволили выслушать, что я началъ вамъ говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна пойметъ, что если вы возвращаете деньги неискренно и безо всякихъ этихъ, какъ вы говорите, *смяченій*, то, значить, вы платите отцу за дочь, а ей за Алешу, однимъ словомъ, награждаете деньгами..

— Гм!.. вотъ вы какъ меня понимаете, добрѣйшій мой Иванъ Петровичъ!—Князь засмѣялся. Для чего онъ засмѣялся?—А между тѣмъ, продолжалъ онъ,—намъ еще столько, столько надо вмѣстѣ переговорить. Но теперь некогда. Прошу васъ только, поймите *одно*: дѣло касается прямо Натальи Николаевны и всей ея будущности, и все это зависитъ отчасти отъ того, какъ мы съ вами это рѣшимъ и на чемъ остановимся. Вы тутъ необходимы,—сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязаннымъ къ Натальѣ Николаевнѣ, то и не можете отказаться отъ объясненій со мною, какъ бы мало вы ни чувствовали ко мнѣ симпатіи. Но мы пріѣхали... à bientôt.

ГЛАВА IX.

Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусомъ, хотя вовсе не пышно. Все однакоже носило на себѣ характеръ временнаго пребыванія; это была только приличная квартира на время, а не постоянное, утвердившееся жилие богатой фамиліи со всѣмъ размахомъ барства и со всѣми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слухъ, что графиня на лѣто ѣдетъ въ свое имѣніе (разоренное и перезаложенное) въ Симбирскую губернію, и что князь сопровождаетъ ее. Я уже слышалъ про это и съ тоскою подумалъ: какъ поступить Алеша, когда Катя уѣдетъ съ графиней? Съ Наташей я еще не заговаривалъ объ этомъ, боялся; но по

нѣкоторымъ признакамъ успѣлъ замѣтить, что, кажется, и ей этотъ слухъ извѣстенъ. Но она молчала и страдала про себя.

Графиня приняла меня прекрасно, привѣтливо протянула мнѣ руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видѣть. Она сама разливала чай изъ прекраснаго серебрянаго самовара, около котораго мы и успѣлись, я, князь и еще какой-то очень великосвѣтскій господинъ, пожилыхъ лѣтъ, и со звѣздой, нѣсколько накрахмаленный, съ дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь изъ-за границы, не успѣла еще въ эту зиму завести въ Петербургъ большихъ связей и основать свое положеніе, какъ хотѣла и рассчитывала. Кромѣ этого гостя никого не было, и никто не являлся во весь вечеръ. Я искалъ глазами Катерину Федоровну; она была въ другой комнатѣ съ Алешей, но, услышавъ о нашемъ пріѣздѣ, тотчасъ же вышла къ намъ. Князь съ любезностью поцѣловалъ у ней руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчасъ же насъ познакомилъ. Я съ нетерпѣливымъ вниманіемъ въ нее вглядывался: это была нѣжная блондиночка, одѣтая въ бѣлое платье, невысокаго роста, съ тихимъ и спокойнымъ выраженіемъ лица, съ совершенно голубыми глазами, какъ говорилъ Алеша, съ красотой юности, и только. Я ожидалъ встрѣтить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нѣжно очерченный овалъ лица, довольно правильныя черты, густые и дѣйствительно прекрасныя волосы, обыденная домашняя ихъ прическа, тихій, пристальный взглядъ; при встрѣчѣ съ ней гдѣ-нибудь, я бы прошелъ мимо нея, не обративъ на нее никакого особеннаго вниманія; но это было только съ перваго взгляда, и я успѣлъ нѣсколько лучше разглядѣть ее потомъ, въ этотъ вечеръ. Ужъ одно то, какъ она подала мнѣ руку, съ какимъ-то наивно-усиленнымъ вниманіемъ продолжая смотрѣть мнѣ въ глаза и не говоря мнѣ ни слова, поразило меня своею странностью, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчасъ же почувствовалъ передъ собой существо чистое сердцемъ. Графиня пристально слѣдила за нею. Пожалъ мнѣ руку, Катя съ какою-то поспѣшностью отошла отъ меня и сѣла въ другомъ концѣ комнаты, вмѣстѣ съ Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнулъ мнѣ: „я здѣсь только на минутку, но сейчасъ *туда*“.

„Дипломатъ“ — не знаю его фамиліи и называю его ди-

пломатомъ, чтобы какъ-нибудь назвать, говорилъ спокойно и величаво, развивая какую-то идею. Графиня внимательно его слушала. Князь ободрительно и льстиво улыбался; ораторъ часто обращался къ нему, вѣроятно, цѣня въ немъ достойнаго слушателя. Мнѣ дали чаю и оставили меня въ покоѣ, чему я былъ очень радъ. Между тѣмъ я всматривался въ графиню. По первому впечатлѣнiю, она мнѣ какъ-то нехотя понравилась. Можетъ-быть, она была уже не молода, но мнѣ казалось, что ей не болѣе двадцати восьми лѣтъ. Лицо ея было еще свѣже и когда-то, въ первой молодости, должно-быть, было очень красиво. Темнорусые волосы были еще довольно густы; взглядъ былъ чрезвычайно добрый, но какой-то вѣтренный и шаловливо-насмѣшливый. Но теперь она для чего-то видимо себя сдерживала. Въ этомъ взглядѣ выражалось тоже много ума, но болѣе всего доброты и веселости. Мнѣ показалось, что преобладающее ея качество было нѣкоторое легкомысліе, жажда наслажденій и какой-то добродушный эгоизмъ, можетъ-быть, даже и большой. Она была подъ началомъ у князя, который имѣлъ на нее чрезвычайное влiянiе. Я зналъ, что они были въ связи, слышалъ также, что онъ былъ ужъ слишкомъ не ревнивый любовникъ во время ихъ пребыванiя за границей; но мнѣ все казалось, — кажется и теперь, что ихъ связывало, кромѣ бывшихъ отношеній, еще что-то другое, отчасти таинственное, что-нибудь въ родѣ взаимнаго обязательства, основаннаго на какомъ-нибудь расчетѣ... однимъ словомъ, что-то такое должно было быть. Зналъ я тоже, что князь въ настоящее время тяготился ею, а между тѣмъ отношенiя ихъ не прерывались. Можетъ-быть, ихъ тогда особенно связывали виды на Катю, которые, разумѣется, въ инициативѣ своей должны были принадлежать князю. На этомъ основанiи князь и отдѣлался отъ брака съ графиней, которая этого дѣйствительно потребовала, убѣдивъ ее содѣйствовать браку Алеши съ ея падчерицей. Такъ, по крайней мѣрѣ, я заключилъ по прежнимъ простодушнымъ рассказамъ Алеши, который хоть что-нибудь да могъ же замѣтить. Мнѣ все казалось тоже, отчасти изъ тѣхъ же рассказовъ, что князь, несмотря на то, что графиня была въ его полномъ повиновенiи, имѣлъ какую-то причину бояться ея. Даже Алеша это замѣтилъ. Я узналъ потомъ, что князю очень хотѣлось выдать графиню за кого-нибудь замужъ, и что отчасти съ этою цѣлью онъ и отослалъ ее въ Сим-

бирскую губернію, надѣясь прискаты ей приличнаго мужа въ провинціи.

Я сидѣлъ и слушалъ, не зная, какъ бы мнѣ поскорѣе поговорить глазъ-на-глазъ съ Катериной Федоровной. Дипломатъ отвѣчалъ на какой-то вопросъ графини о современномъ положеніи дѣлъ, о начинающихся реформахъ, и о томъ, слѣдуетъ-ли ихъ бояться или нѣтъ? Онъ говорилъ много и долго, спокойно и какъ власть имѣющій. Онъ развивалъ свою идею тонко и умно, но идея была отвратительная. Онъ именно настаивалъ на томъ, что весь этотъ духъ реформъ и исправленій слишкомъ скоро принесетъ извѣстные плоды; что, увидя эти плоды, возмущатся за умъ, и что не только въ обществѣ (разумѣется, въ извѣстной его части) пройдетъ этотъ новый духъ, но увидятъ по опыту ошибку и тогда съ удвоенной энергіей начнутъ поддерживать старое. Что опытъ, хоть бы и печальный, будетъ очень выгоденъ, потому что научить, какъ поддерживать это спасительное старое, принесетъ для этого новыя данныя; а слѣдственно, даже надо желать, чтобъ теперъ поскорѣе дошло до послѣдней степени неосторожности. „Безъ насъ нельзя, заключилъ онъ, безъ насъ ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеряемъ, а, напротивъ, еще выиграемъ; мы всплывемъ, всплывемъ, и девизъ нашъ въ настоящую минуту долженъ быть: „*rigé ça va, mieux ça est!*“ Князь улыбнулся ему съ отвратительнымъ сочувствіемъ. Ораторъ былъ совершенно доволенъ собой. Я былъ такъ глупъ, что хотѣлъ было возражать; сердце кипѣло во мнѣ. Но меня остановилъ ядовитый взглядъ князя; онъ мелькомъ скользнулъ въ мою сторону, и мнѣ показалось, что князь именно ожидаетъ какой-нибудь странной и юношеской выходки съ моей стороны; ему, можетъ-быть, даже хотѣлось этого, чтобъ насладиться тѣмъ, какъ я себя скомпрометирую. вмѣстѣ съ тѣмъ, я былъ твердо увѣренъ, что дипломатъ непременно не замѣтитъ моего возраженія, а, можетъ-быть, даже и самого меня. Мнѣ сверху стало сидѣть съ ними; но выручилъ Алеша.

Онъ тихонько подошелъ ко мнѣ, тронулъ меня за плечо и попросилъ на два слова. Я догадался, что онъ посломъ отъ Кати. Такъ и было. Черезъ минуту я уже сидѣлъ рядомъ съ нею. Сначала она всего меня пристально оглядѣла, какъ будто говоря про себя: „вотъ ты какой“, и въ первую минуту мы оба не находили словъ для на-

чала разговора. Я однакожь былъ увѣренъ, что ей стѣить только заговорить, чтобъ ужъ и не останавливаться, хоть до утра. „Какіе-нибудь пять-шесть часовъ разговора“, о которыхъ рассказывалъ Алеша, мелькнули у меня въ умѣ. Алеша сидѣлъ тутъ же и съ нетерпѣніемъ ждалъ, какъ-то мы начнемъ.

— Что-жь вы ничего не говорите? началъ онъ, съ улыбкой смотря на насъ.—Сошлись и молчатъ.

— Ахъ, Алеша, какой ты... мы сейчасъ, отвѣчала Катя.—Намъ вѣдь такъ много надо переговорить вмѣстѣ, Иванъ Петровичъ, что не знаю съ чего и начать. Мы очень поздно знакомимся, надо бы раньше, хоть я васъ и давнымъ-давно знаю. И такъ мнѣ хотѣлось васъ видѣть. Я даже думала вамъ письмо написать ..

— О чемъ? спросилъ я, невольно улыбаясь.

— Мало-ли о чемъ, отвѣчала она серьезно.—Вотъ хоть бы о томъ, правду-ли онъ рассказываетъ про Наталью Николаевну, что она не оскорбляется, когда онъ ее въ такое время оставляетъ одну? Ну, можно-ли такъ поступать, какъ онъ? Ну, зачѣмъ ты теперь здѣсь, скажи пожалуйста?

— Ахъ, Боже мой, да я сейчасъ и поѣду. Я вѣдь сказалъ, что здѣсь только одну минутку пробуду, на васъ обоихъ посмотрю, какъ вы вмѣстѣ будете говорить, а тамъ и туда.

— Да что мы вмѣстѣ, ну, вотъ и сидимъ,—видѣлъ? И всегда-то онъ такой, прибавила она, слегка краснѣя и указывая мнѣ на него пальчикомъ.—„Одну минутку, говорить, только одну минутку“, а смотришь и до полночи просидѣлъ, а тамъ ужъ и поздно. „Она, говоритъ, не сердится, она добрая“, вотъ какъ онъ разсуждаетъ! Ну, хорошо-ли это, ну, благородно-ли?

— Да я пожалуй поѣду, жалобно отвѣчалъ Алеша,—только мнѣ бы очень хотѣлось побыть съ вами...

— А что тебѣ съ нами? Намъ, напротивъ, надо о многомъ наединѣ переговорить. Да послушай, ты не сердись; это необходимость,—пойми хорошенько.

— Если необходимость, то я сейчасъ же... чего же тутъ сердиться. Я только на минуточку къ Левинькѣ, а тамъ тотчасъ и къ ней. Вотъ что, Иванъ Петровичъ, продолжалъ онъ, взявъ свою шляпу,—вы знаете, что отецъ хочетъ отказаться отъ денегъ, которыя выигралъ по процессу съ Ихменева.

— Знаю; онъ мнѣ говорилъ.

— Какъ благородно онъ это дѣлаетъ. Вотъ Катя не вѣритъ, что онъ дѣлаетъ благородно. Поговорите съ ней объ этомъ. Прощай, Катя, и пожалуйста не сомнѣвайся, что я люблю Наташу. И зачѣмъ вы всѣ навязываете мнѣ эти условія, упрекаете меня, слѣдите за мной, — точно я у васъ подѣ надзоромъ! Она знаетъ, какъ я ее люблю, и увѣрена во мнѣ, и я увѣренъ, что она во мнѣ увѣрена. Я люблю ее безо всего, безо всякихъ обязательствъ. Я не знаю, какъ я ее люблю. Просто люблю. И потому нечего меня допрашивать какъ виноватаго. Вотъ спроси Ивана Петровича, теперь ужъ онъ здѣсь и подтвердитъ тебѣ, что Наташа ревнива и хоть очень любитъ меня, но въ любви ея много эгоизма, потому что она ничѣмъ не хочетъ для меня пожертвовать.

— Какъ это? спросилъ я въ удивленіи, не вѣря ушамъ своимъ.

— Чтò ты это, Алеша? чуть не вскрикнула Катя, всплеснувъ своими руками.

— Ну, да; что-жъ тутъ удивительнаго? Иванъ Петровичъ знаетъ. Она все требуетъ, чтобъ я съ ней былъ. Она хоть и не требуетъ этого, но видно, что ей этого хочется.

— И не стыдно, не стыдно это тебѣ! сказала Катя, вся загорѣвшись отъ гнѣва.

— Да что же стыдно-то? Какая ты, право, Катя! Я вѣдь люблю ее больше, чѣмъ она думаетъ, а если-бъ она любила меня настоящимъ образомъ, такъ, какъ я ее люблю, то навѣрно пожертвовала бы мнѣ своимъ удовольствіемъ. Она, правда, и сама отпускаетъ меня, да вѣдь я вижу по лицу, что это ей тяжело, стало-быть, для меня все равно, что и не отпускаетъ.

— Нѣтъ, это не просто! вскричала Катя, снова обращаясь ко мнѣ съ свергающимъ гнѣвнымъ взглядомъ. — Признавайся, Алеша, признавайся сейчасъ, это все наговорилъ тебѣ отецъ? Сегодня наговорилъ? И пожалуйста не хитри со мной: я тотчасъ узнаю! Такъ или нѣтъ?

— Да, говорилъ, отвѣчалъ смущенный Алеша. — Что-жъ тутъ такого? Онъ говорилъ со мною сегодня такъ ласково, такъ по-дружески, а ее все мнѣ хвалилъ, такъ что я даже удивился: она его такъ оскорбила, а онъ ее же такъ хвалить.

— А вы, вы и повѣрили, сказалъ я, — вы, которому она

отдала все, что могла отдать, и даже теперь, сегодня же все ее беспокойство было об васъ, чтобы вамъ не было какъ-нибудь скучно, чтобы какъ-нибудь не лишить васъ возможности видѣться съ Катериной Федоровной! Она сама мнѣ это говорила сегодня. И вдругъ вы повѣрили этимъ фальшивымъ наговорамъ! Не стыдно-ли вамъ?

— Неблагодарный! Да что, ему никогда ничего не стыдно! проговорила Катя, махнувъ на него рукой, какъ будто на совершенно потеряннаго человѣка.

— Да что вы въ самомъ дѣлѣ! продолжалъ Алеша жалобнымъ голосомъ.—И всегда-то ты такая, Катя! Всегда ты во мнѣ одно худое подозрѣваешь... Ужъ не говорю про Ивана Петровича! Вы думаете, я не люблю Наташу. Я не къ тому сказалъ, что она эгоистка. Я хотѣлъ только сказать, что она меня ужъ слишкомъ любитъ, такъ что ужъ изъ мѣры выходить, а отъ этого и мнѣ, и ей тяжело. А отецъ меня никогда не проведетъ, хоть бы и хотѣлъ. Не дамъ. Онъ вовсе не говорилъ, что она эгоистка, въ дурномъ смыслѣ слова; я вѣдь понялъ. Онъ именно сказалъ точь-въ-точь такъ же, какъ я теперь передалъ: что она до того ужъ слишкомъ меня любитъ, до того сильно, что ужъ это выходитъ просто эгоизмъ, такъ что и мнѣ, и ей тяжело, а впоследствии и еще тяжелѣе мнѣ будетъ. Что-жъ, вѣдь это онъ правду сказалъ, меня любя, и это вовсе не значить, что онъ обижалъ Наташу; напротивъ, онъ видѣлъ въ ней самую сильную любовь, любовь безъ мѣры, до невозможности...

Но Катя прервала его и не дала ему кончить. Она съ жаромъ начала укорять его, доказывать, что отецъ для того только и началъ хвалить Наташу, чтобы обмануть его видимою добротою и все это съ намѣреніемъ расторгнуть ихъ связь, чтобы невидимо и непримѣтно вооружить противъ нея самого Алешу. Она горячо и умно вывела, какъ Наташа любила его, какъ никакая любовь не проститъ того, что онъ съ ней дѣлаетъ, — и что настоящій-то эгоистъ и есть онъ самъ, Алеша. Мало-по-малу Катя довела его до ужасной печали, и до полнаго раскаянія; онъ сидѣлъ подлѣ насъ, смотря въ землю, уже ничего не отвѣчая, совершенно уничтоженный и съ страдальческимъ выраженіемъ въ лицѣ. Но Катя была неумолима. Я съ крайнимъ любопытствомъ всматривался въ нее. Мнѣ хотѣлось поскорѣе узнать эту странную дѣвушку. Она была совершенный ребенокъ, но какой-то

странный, *убѣжденный* ребенокъ, съ твердыми правилами и съ страстной, врожденной любовью къ добру и къ справедливости. Если ее дѣйствительно можно было назвать еще ребенкомъ, то она принадлежала къ разряду *задумывающихся* дѣтей, довольно многочисленному въ нашихъ семействахъ. Видно было, что она уже много разсуждала. Любопытно было бы заглянуть въ эту разсуждающую головку и посмотреть, какъ смѣшивались тамъ совершенно дѣтскія идеи и представленія съ серьезно выжитыми впечатлѣніями и наблюденіями жизни (потому что Катя уже жила), а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ идеями, еще ей незнакомыми, невыжитыми ею, но поразившими ее отвлеченно, внижно, которыхъ уже должно было быть очень много и которыя она, вѣроятно, принимала за выжитыя ею самою. Во весь этотъ вечеръ и впоследствии, мнѣ кажется, я довольно хорошо изучилъ ее. Сердце въ ней было пылкое и воспріимчивое. Она въ иныхъ случаяхъ какъ будто пренебрегала умѣньемъ владѣть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предразсудокъ и, кажется, тщеславилась такимъ убѣжденіемъ, что случается со многими пылкими людьми, даже и не въ очень молодыхъ годахъ. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины, но была до того не педантъ, до того съ ребяческими дѣтскими выходками, что вы съ перваго взгляда начинали любить въ ней всѣ ея оригинальности и мириться съ ними. Я вспомнилъ Левиньку и Бориньку, и мнѣ показалось, что все это совершенно въ порядкѣ вещей. И странно: лицо ея, въ которомъ я не замѣтилъ ничего особенно прекраснаго съ перваго взгляда, въ этотъ же вечеръ, поминутно становилось для меня все прекраснѣе и привлекательнѣе. Это наивное раздвоеніе ребенка и размышляющей женщины; эта дѣтская и въ высшей степени правдивая жажда истины и справедливости, и непоколебимая вѣра въ свои стремленія,—все это освѣщало ея лицо какимъ-то прекраснымъ свѣтомъ искренности, придавало ему какую-то высшую, духовную красоту, и вы начинали понимать, что не такъ скоро можно исчерпать все значеніе этой красоты, которая не поддается вся сразу каждому обыкновенному, безучастному взгляду. И я понялъ, что Алеша долженъ былъ страстно привязаться къ ней. Если онъ не могъ самъ мыслить и разсуждать, то любилъ именно тѣхъ, которые за него

мыслили, и даже желали,—а Катя уже взяла его под опеку. Сердце его было благородно и неотразимо, разомъ покорялось всему, что было честно и прекрасно, а Катя уже много и со всею искренностью дѣтства и симпатіи передъ нимъ высказалась. У него не было ни капли собственной воли; у ней было очень много настойчивой, сильной и пламенно настроенной воли, а Алеша могъ привязаться только къ тому, кто могъ имъ властвовать и даже повелѣвать. Этимъ отчасти привязала его къ себѣ и Наташа, въ началѣ ихъ связи, но въ Катѣ было большое преимущество передъ Наташей,—то, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была остаться ребенкомъ. Эта дѣтскость ея, ея яркій умъ, и въ то же время нѣкоторый недостатокъ разсудка, все это было какъ-то болѣе сродни для Алеши. Онъ чувствовалъ это, и потому Катя влекла его къ себѣ все сильнѣй и сильнѣй. Я увѣренъ, что когда они говорили между собой наединѣ, то рядомъ съ серьезными „пропагандными“ разговорами Кати, дѣло, можетъ-быть, доходило у нихъ и до игрушекъ. И хоть Катя, вѣроятно, очень часто журила Алешу и уже держала его въ рукахъ, но ему, очевидно, было съ ней легче, чѣмъ съ Наташей. Они были болѣе *пара* другъ другу, а это было главное.

— Полно, Катя, полно, довольно; ты всегда права выходишь, а я нѣтъ. Это потому, что въ тебѣ душа чище моей, сказалъ Алеша, вставая и подавая ей на прощанье руку.—Сейчасъ же и къ ней, и къ Левинькѣ не заѣду...

— И нечего тебѣ у Левиньки дѣлать; а что теперь слушаешься и ѣдешь, то въ этомъ ты очень милъ.

— А ты въ тысячу разъ всѣхъ милѣе, отвѣчалъ грустный Алеша.—Иванъ Петровичъ, мнѣ нужно вамъ два слова сказать.

Мы отошли на два шага.

— Я сегодня безстыдно поступилъ, прошепталъ онъ мнѣ,—я низко поступилъ, я виноватъ передъ всѣми на свѣтѣ, а передъ ними обѣими больше всего. Сегодня отецъ послѣ обѣда познакомилъ меня съ Александриной (одна француженка)—очаровательная женщина. Я... увлекся и... ну, ужъ, что тутъ говорить, я не достоинъ быть вмѣстѣ съ ними... Прощайте, Иванъ Петровичъ!

— Онъ добрый, онъ благородный, поспѣшно начала Катя, когда я усѣлся опять подлѣ нея,—но мы объ немъ

потомъ будемъ много говорить, а теперь намъ прежде всего нужно условиться: вы какъ считаете князя?

— Очень нехорошимъ человѣкомъ.

— И я тоже. Слѣдственно, мы въ этомъ согласны, а потому намъ легче будетъ судить. Теперь о Натальѣ Николаевнѣ... Знаете, Иванъ Петровичъ, я теперь какъ впотъмахъ, я васъ ждала какъ свѣта. Вы мнѣ все это разъясните, потому что въ самомъ-то главномъ пунктѣ я сузу по догадкамъ, изъ того, что мнѣ рассказывалъ Алеша. А больше не отъ кого было узнать. Скажите же, во-первыхъ (это главное), какъ по вашему мнѣнію: будутъ Алеша и Наташа вмѣстѣ счастливы или нѣтъ? Это мнѣ прежде всего нужно знать для окончательнаго моего рѣшенія, чтобъ ужъ самой знать, какъ поступать.

— Какъ же можно объ этомъ сказать навѣрно?..

— Да, разумѣется, не навѣрно, перебила она,—а какъ вамъ кажется,—потому что вы очень умный человѣкъ.

— По-моему, они не могутъ быть счастливы.

— Почему же?

— Они не пара.

— Я такъ и думала!

И она сложила ручки, какъ бы въ глубокой тоскѣ.

— Расскажите подробнѣе. Слушайте: я ужасно желаю видѣть Наташу, потому что мнѣ много надо съ ней поговорить, и мнѣ кажется, что мы съ ней все рѣшимъ. А теперь я все ее представляю себѣ въ умѣ: она должна быть ужасно умна, серьезная, правдивая и прекрасная собой. Вѣдь такъ?

— Такъ.

— Такъ и я была увѣрена. Ну, такъ если она такая, какъ же она могла полюбить Алешу, такого мальчика? Объясните мнѣ это; я часто объ этомъ думаю.

— Это нельзя объяснить, Катерина Ѳедоровна; трудно представить, за что и какъ можно полюбить. Да, онъ ребенокъ. Но знаете-ли какъ можно полюбить ребенка? (Сердце мое размягчилось, глядя на нее и на ея глазки, пристально, съ глубокимъ, серьезнымъ и нетерпѣливымъ вниманіемъ устремленные на меня). — И чѣмъ больше Наташа сама не похожа на ребенка, продолжалъ я,—чѣмъ серьезнѣе она, тѣмъ скорѣе она могла полюбить его. Онъ правдивъ, искрененъ, наивенъ ужасно, а иногда граціозно наивенъ. Она, можетъ-быть, полюбила его—какъ бы это сказать?.. Какъ будто изъ какой-то жалости.

Великодушное сердце может полюбить изъ жалости... Впрочемъ, я чувствую, что я вамъ ничего не могу объяснить, но зато спрошу васъ самихъ, вѣдь вы его любите?

Я смѣло задалъ ей этотъ вопросъ и чувствовалъ, что поспѣшностью такого вопроса я не могу смутить безпредѣльной, младенческой чистоты ея ясной души.

— Ей-Богу еще не знаю, тихо отвѣчала она мнѣ, свѣтло смотря мнѣ въ глаза,—но, кажется, очень люблю...

— Ну, вотъ видите. А можете-ли изъяснить, за что его любите?

— Въ немѣ лжи нѣтъ, отвѣчала она подумавъ.—И когда онъ посмотритъ прямо въ глаза и что-нибудь говорить мнѣ при этомъ, то мнѣ это очень нравится... Послушайте, Иванъ Петровичъ, вотъ я съ вами говорю объ этомъ, я дѣвушка, а вы мужчина; хорошо-ли я это дѣлаю или нѣтъ?

— Да что же тутъ такого?

— То-то. Разумѣется, что же тутъ такого? А вотъ они (она указала глазами на группу, сидѣвшую за самоваромъ), они навѣрное сказали бы, что это не хорошо. Правы они или нѣтъ?

— Нѣтъ! Вѣдь вы не чувствуете въ сердцѣ, что поступаете дурно, стало-быть...

— Такъ я и всегда дѣлаю, перебила она, очевидно спѣша какъ можно больше наговориться со мною.—Какъ только я въ чемъ смущаюсь, сейчасъ спрошу свое сердце, и коль оно спокойно, то и я спокойна. Такъ и всегда надо поступать. И я потому съ вами говорю такъ совершенно откровенно, какъ будто сама съ собой, что, во-первыхъ, вы прекрасный человѣкъ и я знаю вашу прежнюю исторію съ Наташей, до Алеши, и я плакала, когда слушала.

— А вамъ кто рассказывалъ?

— Разумѣется, Алеша, и самъ со слезами рассказывалъ: это было очень хорошо съ его стороны и мнѣ очень понравилось. Мнѣ кажется, онъ васъ больше любитъ, чѣмъ вы его, Иванъ Петровичъ. Вотъ этими-то вещами онъ мнѣ и нравится. Ну, а во-вторыхъ, я потому съ вами такъ прямо говорю, какъ сама съ собою, что вы очень умный человѣкъ и много можете мнѣ дать совѣтовъ и научить меня.

— Почему же вы знаете, что я до того уменъ, что могу васъ учить?

— Ну, вотъ, что это вы!

Она задумалась.

— Я вѣдь только такъ объ этомъ заговорила; будемте говорить о самомъ главномъ. Научите меня, Иванъ Петровичъ: вотъ я чувствую теперь, что я Наташина соперница, я вѣдь это знаю, какъ же мнѣ поступать? Я потому и спросила васъ: будутъ-ли они счастливы. Я объ этомъ день и ночь думаю. Положеніе Наташи ужасно, ужасно! Вѣдь онъ совсѣмъ ее пересталъ любить, а меня все больше и больше любить. Вѣдь такъ?

— Кажется, такъ?

— И вѣдь онъ ее не обманываетъ. Онъ самъ не знаетъ, что перестаетъ любить, а она навѣрно это знаетъ. Какое же она мучается!

— Чтò же вы хотите дѣлать, Катерина Ѳедоровна?

— Много у меня проектовъ, отвѣчала она серьезно,— а между тѣмъ я все путаюсь. Потому-то и ждала васъ съ такимъ нетерпѣніемъ, чтобъ вы мнѣ все это разрѣшили. Вы все это гораздо лучше меня знаете. Вѣдь вы для меня теперь какъ будто какой-то богъ. Слушайте, я сначала такъ рассуждала: если они любятъ другъ друга, то надобно, чтобъ они были счастливы, и потому я должна собой пожертвовать и имъ помогать. Вѣдь такъ?

— Я знаю, что вы и пожертвовали собой.

— Да, пожертвовала, а потомъ, какъ онъ началъ прѣзжать ко мнѣ и все больше и больше меня любить, такъ я стала задумываться про себя, и все думаю: пожертвовать или нѣтъ? Вѣдь это очень худо, не правда-ли?

— Это естественно, отвѣчалъ я,—такъ должно быть... и вы не виноваты.

— Не думаю; это вы потому говорите, что очень добры. А я такъ думаю, что у меня сердце не совсѣмъ чистое. Если-бъ было чистое сердце, я бы знала, какъ рѣшить. Но, оставимъ это! Потомъ я узнала побольше объ ихъ отношеніяхъ отъ князя, отъ шатап, отъ самого Алеша, и догадалась, что они неровны; вы вотъ теперь подтвердили. Я и задумалась еще больше: какъ же теперь? Вѣдь если они будутъ несчастливы, такъ вѣдь имъ лучше разойтись; а потомъ и положила: распросить васъ подробнѣе обо всемъ и поѣхать самой къ Наташѣ, а ужъ съ ней и рѣшить все дѣло.

— Но какъ же рѣшить-то, вотъ вопросъ?

— Я такъ и скажу ей: „вѣдь вы его любите больше

всего, а потому и счастье его должны любить больше своего: слѣдственно, должны съ нимъ разстаться“.

— Да, но каково-жъ ей будетъ это слышать? А если она согласится съ вами, то въ силахъ-ли она будетъ это сдѣлать?

— Вотъ объ этомъ-то я и думаю день и ночь и... и... И она вдругъ заплакала.

— Вы не повѣрите, какъ мнѣ жалко Наташу, прошептала она дрожащими отъ слезъ губками.

Нечего было тутъ прибавлять. Я молчалъ и мнѣ самому хотѣлось заплакать, смотря на нее, такъ, отъ любви какой-то. Чтò за милый былъ это ребенокъ! Я ужъ не спрашивалъ ее, почему она считаетъ себя способною сдѣлать счастье Алеши.

— Вы вѣдь любите музыку? спросила она, нѣсколько успокоившись, еще задумчивая отъ недавнихъ слезъ.

— Люблю, отвѣчалъ я съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Если-бъ было время, я бы вамъ сыграла третій концертъ Бетховена. Я его теперь играю. Тамъ всѣ эти чувства... точно такъ же, какъ я теперь чувствую. Такъ мнѣ кажется. Но это въ другой разъ; а теперь надо говорить.

Начались у насъ переговоры о томъ, какъ ей видѣться съ Наташей и какъ это все устроить. Она объявила мнѣ; что за ней присматриваютъ, хотя мачиха ея добрая и любить ее, но ни за что не позволить ей познакомиться съ Натальей Николаевной; а потому она и рѣшилась на хитрость. Поутру она иногда ѣздитъ гулять, но почти всегда съ графиней. Иногда же графиня не ѣздитъ съ нею, а отпускаетъ ее одну съ французенкой, которая теперь больна. Бываетъ же это, когда у графини болитъ голова, а потому и ждаты надо, когда у ней заболитъ голова. А до этого она уговорить свою французенку (что-то въ родѣ компаньони, старушка), потому что французенка очень добра. Въ результатѣ выходило, что никакъ нельзя было опредѣлить заранѣе дня, назначеннаго для визита къ Наташѣ.

— Съ Наташей вы познакомитесь и не будете рассказываться, сказалъ я. — Она васъ сама очень хочетъ узнать, и это нужно, хоть для того только, чтобъ ей знать, кому она передаетъ Алешу. О дѣлѣ же этомъ не тоскуйте очень. Время и безъ вашихъ заботъ рѣшить. Вѣдь вы ѣдете въ деревню?

— Да, скоро, можетъ-быть, черезъ мѣсяцъ, отвѣчала она,—и я знаю, что на этомъ настаиваетъ князь.

— Какъ вы думаете, поѣдетъ съ вами Алеша?

— Вотъ и я объ этомъ думала! проговорила она, пристально смотря на меня.—Вѣдь онъ поѣдетъ?

— Поѣдетъ.

— Боже мой, что изъ этого всего выйдетъ—не знаю. Послушайте, Иванъ Петровичъ, я вамъ обо всемъ буду писать, буду часто писать и много. Ужъ я теперь пошла васъ мучить. Вы часто будете къ намъ приходять?

— Не знаю, Катерина Ѳедоровна, это зависитъ отъ обстоятельствъ. Можетъ-быть, и совсѣмъ не буду ходить.

— Почему же?

— Это будетъ зависѣть отъ разныхъ причинъ, а главное—отъ отношеній моихъ съ княземъ.

— Это нечестный человѣкъ, сказала рѣшительно Катя.— А знаете, Иванъ Петровичъ, что, если-бъ я къ вамъ приѣхала! Это хорошо бы было или не хорошо?

— Какъ вы сами думаете?

— Я думаю, что хорошо. Такъ, навѣстила бы васъ... прибавила она, улыбувшись. — Я вѣдь къ тому говорю, что я кромѣ того, что васъ уважаю, я васъ очень люблю... И у васъ научиться многому можно. А я васъ люблю... И вѣдь это не стыдно, что я вамъ про все это говорю?

— Чего же стыдно? Вы сами мнѣ уже дороги, какъ родная.

— Вѣдь вы хотите быть моимъ другомъ?

— О, да, да! отвѣчалъ я.

— Ну, а они непременно бы сказали, что стыдно и не слѣдуетъ такъ поступать молодой дѣвушкѣ, замѣтила она, снова указавъ мнѣ на собесѣдниковъ у чайнаго стола.

Замѣчу здѣсь, что князь, кажется, нарочно оставилъ насъ однихъ вдоволь наговориться.

— Я знаю вѣдь очень хорошо, прибавила она,—князю хочется моихъ денегъ. Про меня они думаютъ, что я совершенный ребенокъ и даже мнѣ прямо это говорятъ. Я же не думаю этого. Я ужъ не ребенокъ. Странные они люди: сами вѣдь они точно дѣти; ну, изъ чего хлопочуть?

— Катерина Ѳедоровна, я забылъ спросить: кто эти Левинька и Боринька, къ которымъ такъ часто ѣздитъ Алеша?

— Это мнѣ дальняя родня. Они очень умные и очень честные, но ужъ ужасно много говорятъ... Я ихъ знаю...

И она улыбнулась.

— Правда-ли, что вы хотите имъ подарить современемъ миллионъ?

— Ну, вотъ, видите, ну, хоть бы этотъ миллионъ, ужъ они такъ болтають о немъ, что ужъ и несносно становится. Я, конечно, съ радостью пожертвую на все полезное, къ чему вѣдь такія огромныя деньги, не правда-ли? Но вѣдь когда еще я его пожертвую, а они ужъ тамъ теперь дѣляютъ, разсуждаютъ, кричатъ, спорятъ, куда лучше употребить его, даже ссорятся изъ-за этого, такъ что ужъ это и странно. Слишкомъ торопятся. Но все-таки они такіе искренніе и... умные. Учатся. Это все же лучше, чѣмъ какъ другіе живутъ. Вѣдь такъ?

И много еще мы говорили съ ней. Она мнѣ разсказала чуть не всю свою жизнь и съ жадностью слушала мои разсказы. Все требовала, чтобъ я всего болѣе разсказывалъ ей про Наташу и про Алешу. Было уже двѣнадцать часовъ, когда князь подошелъ ко мнѣ и далъ знать, что пора откланиваться. Я простился. Катя горячо пожала мнѣ руку и выразительно на меня взглянула. Графиня просила меня бывать; мы вышли вмѣстѣ съ княземъ.

Не могу удержаться отъ страннаго и, можетъ-быть, совершенно не идущаго къ дѣлу замѣчанія. Изъ трехчасоваго моего разговора съ Катей я вынесъ, между прочимъ, какое-то странное, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубокое убѣжденіе, что она до того еще вполне ребенокъ, что совершенно не знаетъ всей тайны отношеній мужчины и женщины. Это придавало необыкновенную комичность нѣкоторымъ ея разсужденіямъ и вообще серьезному тону, съ которымъ она говорила о многихъ очень важныхъ вещахъ.

ГЛАВА X.

— А знаете-ли что? сказалъ мнѣ князь, садясь вмѣстѣ со мною въ коляску. — Что, если-бъ вамъ теперь поужинать, а? Какъ вы думаете?

— Право, не знаю, князь, отвѣчалъ я, колеблясь. — Я никогда не ужинаю...

— Ну, разумѣется, и поговоримъ за ужиномъ, прибавилъ онъ, пристально и хитро смотря мнѣ прямо въ глаза.

Какъ было не понять! „Онъ хочетъ высказаться“, подумалъ я, „а мнѣ вѣдь того и надо“. Я согласился.

— Дѣло въ шляпѣ. Въ Большую Морскую къ Б.

— Въ ресторанъ? спросилъ я съ нѣкоторымъ замѣшательствомъ.

— Да. А что-жъ? Я вѣдь рѣдко ужинаю дома. Неужели-жъ вы мнѣ не позволите пригласить васъ?

— Но я вамъ сказалъ уже, что я никогда не ужинаю.

— Чтò за дѣло одинъ разъ. Къ тому же вѣдь это я васъ приглашаю...

То-есть заплачу за тебя; я увѣренъ, что онъ прибавилъ это нарочно. Я позволилъ везти себя, но въ ресторанѣ рѣшился платить за себя самъ. Мы приѣхали. Князь взялъ особую комнату и со вкусомъ и знаніемъ дѣла выбралъ два-три блюда. Блюда были дорогія, равно какъ и бутылка тонкаго столоваго вина, которую онъ велѣлъ принести. Все это было не по моему карману. Я посмотрѣлъ на карту и велѣлъ принести себѣ полрябчика и рюмку лафиту. Князь взбунтовался.

— Вы не хотите со мной ужинать! Вѣдь это даже смѣшно. Pardon, mon ami, но вѣдь это... возмутительная щепетильность. Это ужъ самое мелкое самолюбіе. Тутъ замѣшались чуть-ли не сословные интересы и, бьюсь объ закладъ, что это такъ. Увѣряю васъ, что вы меня обижаете.

Но я настоялъ на своемъ.

— Впрочемъ, какъ хотите, прибавилъ онъ. — Я васъ не принуждаю... Скажите, Иванъ Петровичъ, можно мнѣ съ вами говорить вполне дружелюбно?

— Я васъ прошу объ этомъ.

— Ну, такъ, по-моему, такая щепетильность вамъ же вредить. Такъ же точно вредять себѣ и всѣ ваши этимъ же самымъ. Вы литераторъ, вамъ нужно знать свѣтъ, а вы всего чуждаетесь. Я не про рябчиковъ теперь говорю, но вы вѣдь готовы отказываться совершенно отъ всякаго сообщенія съ нашимъ кругомъ, а это положительно вредно. Кромѣ того, что вы много теряете,—ну, однимъ словомъ, карьеру,—кромѣ того, хотъ одно то, что надобно самому узнать, чтò вы описываете, а у насъ тамъ, въ повѣстяхъ, и графы, и князья, и будуары... Впрочемъ, что-жъ я! У васъ тамъ теперь все нищета, и гераннныя шинели, ревизоры, задорные офицеры, чиновники, старые годы и раскольничій бытъ, знаю, знаю...

— Но вы ошибаетесь, князь; если я не хожу въ такъ-называемый вами „высшій кругъ“, то это потому, что

тамъ, во-первыхъ, скучно, а во-вторыхъ, нечего дѣлать! Но и, наконецъ, я все-таки бываю...

— Знаю, у князя Р., разъ въ годъ; я тамъ васъ и встрѣтилъ. А остальное время года вы коснѣете въ демократической гордости и чахнете на вашихъ чердакахъ, хотя и не всѣ такъ поступаютъ изъ вашихъ. Есть такіе искатели приключеній, что даже меня тошнить...

— Я просилъ бы васъ, князь, перемѣнить этотъ разговоръ и не возвращаться къ намъ на чердаки.

— Ахъ, Боже мой, вотъ вы и обидѣлись. Впрочемъ, сами же вы мнѣ позволили говорить съ вами дружелюбно. Но, виноватъ, я ничѣмъ еще не заслужилъ вашей дружбы. Вино порядочное. Попробуйте.

Онъ налилъ мнѣ полстакана изъ своей бутылки.

— Вотъ видите, мой милый Иванъ Петровичъ, я вѣдь очень хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Вѣдь не всѣ же мы грубы и наглы съ вами, какъ вы о насъ воображаете, ну, я тоже очень хорошо понимаю, что вы сидите здѣсь со мной не изъ расположенія ко мнѣ, а оттого, что я общался съ вами *поговорить*. Не правда-ли?

Онъ засмѣялся.

— А такъ какъ вы наблюдаете интересы извѣстной особы, то вамъ и хочется послушать, что я буду говорить. Такъ-ли? прибавилъ онъ съ злою улыбкою.

— Вы не ошиблись, прервалъ я съ нетерпѣніемъ (я видѣлъ, что онъ былъ изъ тѣхъ, которые, видя челоуѣка хоть капельку въ своей власти, сейчасъ же даютъ ему это почувствовать. Я же былъ въ его власти; я не могъ уйти, не выслушавъ всего, что онъ намѣренъ былъ сказать, и онъ зналъ это очень хорошо. Его тонъ вдругъ измѣнился, и все больше и больше переходилъ въ нагло-фамиллярный и насмѣшливый).—Вы не ошиблись, князь, я именно за этимъ и пріѣхалъ, иначе, право, не сталъ бы сидѣть... такъ поздно.

Мнѣ хотѣлось сказать: иначе ни за что бы не остался съ вами, но я не сказалъ и перевернулъ по другому, не изъ боязни, а изъ проклятой моей слабости и деликатности. Ну, какъ, въ самомъ дѣлѣ, сказать челоуѣку грубость прямо въ глаза, хотя онъ и стоилъ того и хотя я именно и хотѣлъ сказать ему грубость? Мнѣ кажется, князь это примѣтилъ, по моимъ глазамъ, и съ насмѣшкою смотрѣлъ на меня во все продолженіе моей фразы, какъ бы наслаж-

даясь моимъ малодушіемъ и точно подзадоривая меня своимъ взглядомъ: „А что, не посмѣлъ, сбрендилъ, то-то, братъ!“ Это навѣрно такъ было, потому что онъ, когда я кончилъ, расхохотался и съ какой-то протезирующей лаской потрепалъ меня по колѣну.

„Смѣшишь же ты, братецъ“, прочиталъ я въ его взглядѣ. „Постой же!“ подумалъ я про себя.

— Мнѣ сегодня очень весело! вскричалъ онъ,—и, право, не знаю почему. Да, да, мой другъ, да! Я именно объ этой особѣ и хотѣлъ говорить. Надо же окончательно высказаться; *договориться* до чего-нибудь, и, надѣюсь, что въ этотъ разъ вы меня совершенно поймете. Давеча я съ вами заговорилъ объ этихъ деньгахъ и объ этомъ колпакѣ-отцѣ, шестидесятилѣтнемъ младенцѣ... Ну! Не стоитъ теперь и поминать. Я вѣдь это такъ говорилъ! Ха-ха-ха, вѣдь вы литераторъ, должны же были догадаться...

Я съ изумленіемъ смотрѣлъ на него. Кажется, онъ былъ еще не пьянъ.

— Ну, а что касается до этой дѣвушки, то, право, я ее уважаю, даже люблю, увѣряю васъ; капризна она немножко, но вѣдь „нѣтъ розы безъ шиповъ“, какъ говорили пятьдесятъ лѣтъ назадъ, и хорошо говорили: шипы колются; но вѣдь это-то и заманчиво, и хотъ мой Алексѣй дуракъ, но я ему отчасти уже простилъ,—за хорошій вкусъ. Короче, мнѣ эти дѣвицы нравятся, и у меня—(онъ многозначительно жаль губы)—даже виды особенные... Ну, да это послѣ...

— Князь! Послушайте, князь! вскричалъ я,—я не понимаю въ васъ этой быстрой переменъ, но... перемените разговоръ, прошу васъ.

— Вы опять горячитесь! Ну, хорошо... переменю, переменю! Только вотъ что хочу спросить у васъ, мой добрый другъ: очень вы ее уважаете?

— Разумѣется, отвѣчалъ я съ грубымъ нетерпѣніемъ.

— Ну, ну и любите? продолжалъ онъ, отвратительно скаля зубы и прищуривъ глаза.

— Вы забываетесь! вскричалъ я.

— Ну, не буду, не буду! Успокойтесь! Въ удивительнѣйшемъ расположеніи духа я сегодня. Мнѣ такъ весело, какъ давно не бывало. Не выпить-ли намъ шампанскаго! Какъ думаете, мой поэтъ?

— Я не буду пить, не хочу!

— И не говорите! Вы непременно должны мнѣ соста-

вить сегодня компанію. Я чувствую себя прекрасно и такъ какъ я добръ до сентиментальности, то и не могу быть счастливъ одинъ. Кто знаетъ, мы, можетъ-быть, еще дойдемъ до того, что выпьемъ на *ты*, ха-ха-ха! Нѣтъ, молодой мой другъ, вы меня еще не знаете! Я увѣренъ, что вы меня полюбите. Я хочу, чтобъ вы раздѣлили сегодня со мною и горе и радость, и веселье и слезы, хотя надѣюсь, что я-то, по крайней мѣрѣ, не заплачу. Ну, какъ же, Иванъ Петровичъ? Вѣдь вы сообразите только, что если не будетъ того, что мнѣ хочется, то все мое вдохновеніе пройдетъ, пропадетъ, улетучится, и вы ничего не услышите; ну, а вѣдь вы здѣсь единственно для того, чтобъ что-нибудь услышать. Не правда-ли? прибавилъ онъ, опять нагло мнѣ подмигивая.—Ну, такъ и выбирайте.

Угроза была важная. Я согласился. Ужь не хочеть-ли онъ меня напоить пьянымъ? подумалъ я. Кстати здѣсь мѣсто упомянуть объ одномъ слухѣ про князя, слухѣ, который уже давно дошелъ до меня. Говорили про него, что онъ—всегда такой приличный и изящный въ обществѣ—любитъ иногда по ночамъ пьянствовать, напиваться какъ стелька, и потаенно развратничать, гадко и таинственно развратничать... Я слыхалъ о немъ ужасные слухи. Говорятъ, Алеша зналъ о томъ, что отецъ иногда пьетъ, и старался скрывать это передъ всѣми и особенно передъ Наташей. Однажды было онъ мнѣ проговорился, но тотчасъ же замыалъ разговоръ и не отвѣчалъ на мои разспросы. Впрочемъ, я не отъ него и слышалъ и, признаюсь, прежде не вѣрилъ; теперъ же ждалъ, что будетъ.

Подали вино; князь налилъ два бокала, себѣ и мнѣ.

— Милая, милая дѣвочка, хотъ и побранила меня! продолжалъ онъ, съ наслажденіемъ смакуя вино,—но эти милыя существа именно тутъ-то и милы, въ такіе именно моменты... А вѣдь она навѣрно думала, что меня пристыдила, помните въ тотъ вечеръ, разбила въ прахъ? Ха-ха-ха! И какъ къ ней идетъ румянецъ! Знатокъ вы въ женщинахъ? Иногда внезапный румянецъ ужасно идетъ къ блѣднымъ щекамъ, замѣтили вы это? Ахъ, Боже мой! Да вы, кажется, опять сердитесь?

— Да, сержусь! вскричалъ я, уже не сдерживая себя,—и не хочу, чтобъ вы говорили теперъ о Натальѣ Николаевнѣ... то-есть говорили въ такомъ тонѣ. Я... я не позволю вамъ этого!

— Ого! Ну, извольте, сдѣлаю вамъ удовольствіе, пере-мѣню тему. Я вѣдь уступчивъ и мягокъ какъ тѣсто. Будемъ говорить о васъ. Я васъ люблю, Иванъ Петровичъ, если-бъ вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру въ васъ участіе.

— Князь, не лучше-ли говорить о дѣлѣ, прервалъ я его.

— То-есть *о нашемъ дѣлѣ*, хотите вы сказать. Я васъ понимаю съ полуслова, поп амі, но вы и не подозреваете, какъ близко мы коснемся къ дѣлу, если заговоримъ теперь о васъ и если, разумѣется, вы меня не прервете. Итакъ, продолжаю: я хотѣлъ вамъ сказать, мой безцѣнный Иванъ Петровичъ, что жить такъ, какъ вы живете, значить, просто губить себя. Ужъ вы позволите мнѣ коснуться этой деликатной матеріи; я изъ дружбы. Вы бѣдны, вы берете у вашего антрепренера впередъ, платите свои долгишки, на остальное питаетесь полгода однимъ чаемъ и дрожите на своемъ чердакѣ въ ожиданіи, когда напишется вашъ романъ въ журналъ вашего антрепренера; вѣдь такъ?

— Хоть и такъ, но все же это...

— Почетнѣе чѣмъ воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну, и проч., и проч. Знаю, знаю, что вы хотите сказать, все это давно напечатано.

— А слѣдственно вамъ нечего и говорить о моихъ дѣлахъ. Неужели я васъ долженъ, князь, учить деликатности.

— Ну, ужъ, конечно, не вы. Только что же дѣлать, если мы именно касаемся этой деликатной струны. Вѣдь не обходить же ее. Ну, да, впрочемъ, оставимъ чердаки въ покоѣ. Я и самъ до нихъ не охотникъ, развѣ въ извѣстныхъ случаяхъ (и онъ отвратительно захохоталъ).— А вотъ что меня удивляетъ: что за охота вамъ играть роли второго лица? Конечно, одинъ вашъ писатель даже, помнится, сказалъ гдѣ-то: что, можетъ-быть, самый великій подвигъ человѣка въ томъ, если онъ сумѣетъ ограничиться въ жизни ролью второго лица... Кажется, что-то этакое! Объ этомъ я еще гдѣ-то разговоръ слышалъ, но вѣдь Алеша отбилъ у васъ невѣсту, а вѣдь это знаю, а вы, какъ какой-нибудь Шиллеръ, за нихъ же распинаетесь, имъ же прислуживаете, и чуть-ли у нихъ не на побѣгушкахъ... Вы ужъ извините меня, мой милый, но вѣдь это какая-то гаденькая игра въ великодушныя чувства...

Какъ это вамъ не надоѣсть, въ самомъ дѣлѣ! Даже стыдно! Я бы, кажется, на вашемъ мѣстѣ умеръ съ досады, а главное: стыдно, стыдно!

— Князь! Вы, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтобъ оскорбить! вскричалъ я, внѣ себя отъ злости.

— О, нѣтъ, мой другъ, нѣтъ, я въ эту минуту просто-за-просто дѣловой человѣкъ, и хочу вашего счастья. Однимъ словомъ, я хочу уладить все дѣло. Но оставимъ на время *все дѣло*, а вы меня дослушайте до конца, постарайтесь не горячиться, хоть двѣ какія-нибудь минутки. Ну, какъ вы думаете, что если-бъ вамъ жениться? Видите, я вѣдь теперь совершенно говорю *о постороннемъ*; что-жъ вы на меня съ такимъ удивленіемъ смотрите?

— Жду, когда вы все кончите, отвѣчалъ я, дѣйствительно смотря на него съ удивленіемъ.

— Да высказывать-то нечего. Мнѣ именно хотѣлось знать, что бы вы сказали, если-бъ вамъ кто-нибудь изъ друзей вашихъ, желающій вамъ основательнаго, истиннаго счастья, не эфемернаго какого-нибудь, предложилъ дѣвушку молоденькую, хорошенькую, но... уже кое-что испытывшую; я говорю аллегорически, но вы меня понимаете, ну, въ родѣ Натальи Николаевны, разумѣется, съ приличнымъ вознагражденіемъ... (Замѣтьте, я говорю *о постороннемъ*, а не *о нашемъ дѣлѣ*); ну, что бы вы сказали?

— Я скажу вамъ, что вы... сошли съ ума.

— Ха-ха-ха. Ба! Да вы чуть-ли не бить меня собираетесь!

Я дѣйствительно готовъ былъ на него броситься. Дальше я не могъ выдержать. Онъ производилъ на меня впечатлѣніе какого-то гада, какого-то огромнаго паука, котораго мнѣ ужасно хотѣлось раздавить. Онъ наслаждался своими насмѣшками надо мною; онъ игралъ со мной, какъ кошка съ мышью, предполагая, что я весь въ его власти. Мнѣ казалось (и я понималъ это), что онъ находилъ какое-то удовольствіе, какое-то, можетъ-быть, даже сладострастіе въ своей наглости, въ этомъ нахальствѣ, въ этомъ цинизмѣ, съ которымъ онъ срывалъ, наконецъ, передо мной свою маску. Онъ хотѣлъ насладиться моимъ удивленіемъ, моимъ ужасомъ. Онъ меня искренно презиралъ и смѣялся надо мною.

Я предчувствовалъ еще съ самаго начала, что все это

предна́мѣренно и къ чему-нибудь клонится; но я былъ въ такомъ положеніи, что во что бы то ни стало долженъ былъ его дослушать. Это было въ интересахъ Наташи, и я долженъ былъ рѣшиться на все и все перенести, потому что въ эту минуту, можетъ-быть, рѣшалось все дѣло. Но какъ можно было слушать эти циническія, подлая выходки на ея счетъ, какъ можно было это переносить хладнокровно? А онъ, вдобавокъ къ тому, самъ очень хорошо понималъ, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. „Впрочемъ, онъ вѣдь самъ нуждается во мнѣ“, подумалъ я, и сталъ отвѣчать ему рѣзко и бранчиво. Онъ понялъ это.

— Вотъ что, молодой мой другъ, началъ онъ, серьезно смотря на меня,—намъ съ вами такъ продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите-ли, намѣренъ былъ вамъ кое-что высказать, ну, а вы ужъ должны быть такъ любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказалъ. Я желаю говорить какъ хочу и какъ мнѣ нравится, да по-настоящему такъ и надо. Ну, такъ какъ же, молодой мой другъ, будете вы терпѣливы?

Я скрѣпился и смолчалъ, несмотря на то, что онъ смотрѣлъ на меня съ такою ѣдкою насмѣшкою, какъ будто самъ вызывалъ меня на самый рѣзкій протестъ. Но онъ понялъ, что я уже согласился не уходить, и продолжалъ:

— Не сердитесь на меня, другъ мой! Вы вѣдь на что разсердились? На одну наружность, не правда-ли? Вѣдь вы отъ меня, въ самой сущности дѣла, ничего другого и не ожидали, какъ бы я ни говорилъ съ вами: съ раздушенною-ли вѣжливостью, или какъ теперь; слѣдовательно смыслъ все-таки былъ бы тотъ же, какъ и теперь. Вы меня презираете, не правда-ли? Видите-ли, сколько во мнѣ этой милой простоты, откровенности, этой bonhomie. Я вамъ во всемъ признаюсь, даже въ моихъ дѣтскихъ капризахъ. Да, mon cher, да, побольше bonhomie и съ вашей стороны, и мы сладимся, сговоримся совершенно и, наконецъ, поймемъ другъ друга окончательно. А на меня не дивитесь; мнѣ до того, наконецъ, надоѣли всѣ эти невинности, всѣ эти Алешины пасторали, вся эта шиллеровщина, всѣ эти возвышенности въ этой проклятой связи съ этой Наташей (впрочемъ, очень миленькой дѣвочкой), что я, такъ сказать, поневолѣ радъ случаю надъ всѣмъ этимъ погримасничать. Ну, случай и вышелъ. Къ тому же я хотѣлъ передъ вами излить мою душу. Ха-ха-ха!

— Вы меня удивляете, князь, и я васъ не узнаю. Вы впадаете въ тонъ полишинеля; эти неожиданныя откровенности...

— Ха-ха-ха! А вѣдь это вѣрно отчасти! Премиленькое сравненіе! Ха-ха-ха! Я *кучу*, мой другъ, я *кучу*, я радъ и доволенъ, ну, а вы, мой поэтъ, должны ужъ оказать мнѣ всевозможное снисхожденіе. Но давайте-ка лучше пить, рѣшилъ онъ, совершенно довольный собою и подливая въ бокаль. — Вотъ чтò, другъ мой, ужъ одинъ тотъ глупый вечеръ, помните, у Наташи, доконалъ меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышелъ оттуда съ ужасной злобой и не хочу этого забыть. Ни забыть, ни скрывать. Конечно, будетъ и наше время и даже быстро приближается, но теперь мы это оставимъ. А между прочимъ я хотѣлъ объяснить вамъ, что у меня именно есть черта въ характерѣ, которую вы еще не знали, — это ненависть ко всѣмъ этимъ пошлымъ и ничего не стѣяющимъ наивностямъ и пасторалямъ; и одно изъ самыхъ пикантныхъ для меня наслажденій всегда было принудиться сначала самому на этотъ ладъ, войти въ этотъ тонъ, обласкать, ободрить какого-нибудь вѣчно-юнаго Шиллера, и потомъ вдругъ, сразу, огоршить его; вдругъ поднять передъ нимъ маску и изъ восторженнаго лица сдѣлать ему гримасу, показать ему языкъ, именно въ ту минуту, когда онъ менѣе всего ожидаетъ этого сюрприза. Чтò? Вы этого не понимаете, вамъ это кажется гадкимъ, недѣльнымъ, неблагороднымъ, можетъ-быть, такъ-ли?

— Разумѣется, такъ.

— Вы откровенны. Ну, да чтò же дѣлать, если самого меня мучаютъ! Глупо и я откровененъ, но ужъ таковъ мой характеръ. Впрочемъ, мнѣ хочется вамъ рассказать кой-какія черты изъ моей жизни. Вы меня поймете лучше, и это будетъ очень любопытно. Да, я дѣйствительно, можетъ-быть, сегодня похожъ на полишинеля, а вѣдь полишинель откровененъ, не правда-ли?

— Послушайте, князь, теперь поздно и, право...

— Чтò? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спѣшить? Ну, посидимъ, поговоримъ по-дружески, искренно, знаете, этакъ за бокаломъ вина, какъ добрые пріатели. Вы думаете, я пьянъ: ничего, это лучше. Ха-ха-ха! Право, эти дружескія сходы всегда такъ долго потомъ памяты, съ такимъ наслажденіемъ о нихъ вспоминается. Вы не-

добрый человекъ, Иванъ Петровичъ! Сентиментальности въ васъ нѣтъ, чувствительности. Ну, что вамъ часикъ-другой для такого друга, какъ я? Къ тому же вѣдь это тоже касается къ дѣлу... Ну, какъ этого не понять? А еще литераторъ; да вы бы должны были случай благословлять. Вѣдь вы можете съ меня типъ писать, ха-ха-ха! Боже, какъ я мило откровененъ сегодня!

Онъ видимо хмелѣлъ. Лицо его измѣнилось и приняло какое-то злобное выраженіе. Ему очевидно хотѣлось язвить, колоть, кусать, насмѣхаться. „Это отчасти и лучше, что онъ пьянъ, подумалъ я,—пьяный всегда разболтаетъ“. Но онъ былъ себѣ на умѣ.

— Другъ мой, началъ онъ, видимо наслаждаясь собою,—я сдѣлалъ вамъ сейчасъ одно признаніе, можетъ-быть, даже и неумѣстное, о томъ, что у меня иногда является непреодолимое желаніе показать кому-нибудь въ извѣстномъ случаѣ языкъ. За эту наивную и простодушную откровенность мою, вы сравнили меня съ полишинелемъ, что меня искренно разсмѣшило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я съ вами теперь грубъ, и, пожалуй, еще неблагопристойнъ, какъ мужикъ, однимъ словомъ, вдругъ переимѣнилъ съ вами тонъ, то вы въ этомъ случаѣ совершенно несправедливы. Во-первыхъ, мнѣ такъ угодно, во-вторыхъ, я не у себя, а съ *вами*... то-есть я хочу сказать, что мы теперь *кутимъ*, какъ добрые пріятели, а въ-третьихъ—я ужасно люблю капризы. Знаете-ли, что когда-то я изъ каприза даже былъ метафизикомъ и филантропомъ и вращался чуть-ли не въ такихъ же идеяхъ какъ вы? Это, впрочемъ, было ужасно давно, въ златые дни моей юности. Помню, я еще тогда пріѣхалъ къ себѣ въ деревню съ гуманными цѣлями и, разумѣется, скучалъ на чемъ свѣтъ стоитъ; и вы не повѣрите, что тогда случилось со мною? Отъ скуки я началъ знакомиться съ хорошенькими дѣвочками... Да ужъ вы не гримасничаете-ли? О, молодой мой другъ! Да вѣдь мы теперь въ дружеской сходкѣ. Когда-жъ и погутить, когда-жъ и распахнуться! Я вѣдь русская натура, неподдѣльная русская натура, патриотъ, люблю распахнуться, да и къ тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умремъ и — что тамъ! Ну, такъ вотъ-съ я и волочился. Помню, еще у одной пастушки былъ мужъ, красивый молодой мужичокъ. Я его больно наказалъ и въ солдаты хотѣлъ отдать (прошляя проказы, мой поэтъ!), да и не

отдалъ въ солдаты. Умеръ онъ у меня въ больницѣ... У меня вѣдь въ селѣ больница была, на двѣнадцать кроватей,—великолѣпно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочемъ, ее давно ужъ уничтожилъ, а тогда гордился ею: филантропомъ былъ; ну, а мужичка чуть не засѣкъ за жену... Ну, что вы опять гримасу состроили? Вамъ отвратительно слушать? Возмущаетъ ваши благородныя чувства? Ну, ну, успокойтесь! Все это прошло. Это я сдѣлалъ когда романтизировалъ, хотѣлъ быть благодѣтелемъ человѣчества, филантропическое общество основать... въ такую тогда колею попалъ. Тогда и сѣкъ. Теперь не высѣку; теперь надо гримасничать; теперь мы всѣ гримасничаемъ, — такое время пришло... Но болѣе всего меня смѣшитъ теперь дуракъ Ихменевъ. Я увѣренъ, что онъ зналъ весь этотъ пассажъ съ мужичкомъ... и что-жъ? Онъ изъ доброты своей души, созданной, кажется, изъ патоки, и оттого, что влюбился тогда въ меня и самъ же захвалилъ меня самому себѣ, — рѣшился ничему не вѣрить и не повѣрилъ; то-есть факту не повѣрилъ и двѣнадцать лѣтъ стоялъ за меня горой, до тѣхъ поръ, пока до самого не коснулось. Ха-ха-ха! Ну, да все это вздоръ! Выпьемъ, мой юный другъ. Послушайте: любите вы женщинъ?

Я ничего не отвѣчалъ. Я только слушалъ его. Онъ ужъ началъ вторую бутылку.

— А я люблю о нихъ говорить за ужиномъ. Познакомилъ бы я васъ послѣ ужина съ одной m-lle Philiberte,— а? Какъ вы думаете? Да что съ вами? Вы и смотрѣть на меня не хотите... гм!

Онъ было задумался. Но вдругъ поднялъ голову, какъ-то значительно взглянулъ на меня и продолжалъ:

— Вотъ что, мой поэтъ, хочу я вамъ открыть одну тайну природы, которая, кажется, вамъ совсѣмъ неизвѣстна. Я увѣренъ, что вы меня называете въ эту минуту грѣшникомъ, можетъ-быть, даже подлецомъ, чудовищемъ разврата и порока. Но вотъ что я вамъ скажу! Если бъ только могло быть (чего, впрочемъ, по человѣческой натурѣ никогда быть не можетъ), если бъ могло быть, чтобъ каждый изъ насъ описалъ всю свою подноготную, но такъ, чтобъ не побоялся изложить не только то, что онъ боится сказать и ни за что не скажетъ людямъ, не только то, что онъ боится сказать своимъ луч-

шимъ друзьямъ, но даже и то, въ чемъ боится подчасъ признаться самому себѣ,—то вѣдь на свѣтѣ поднялся бы тогда такой смрадъ, что намъ бы всѣмъ надо было задохнуться. Вотъ почему, говоря въ скобкахъ, такъ хороши наши свѣтскія условія и приличія. Въ нихъ глубокая мысль,—не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумѣется, еще лучше, потому что нравственность въ сущности тотъ же комфортъ, то-есть изобрѣтена единственно для комфорта. Но о приличіяхъ послѣ, я теперь сбиваюсь, напомните мнѣ о нихъ потомъ. Заключу же такъ: вы меня обвиняете въ пороки, развратъ, безнравственности, а я, можетъ-быть, только тѣмъ и виноватъ теперь, что *откровеннѣе* другихъ, и больше ничего; что не утаиваю того, что другіе скрываютъ даже отъ самихъ себя, какъ сказалъ я прежде... Это я скверно дѣлаю, но я теперь такъ хочу. Впрочемъ, не беспокойтесь, прибавилъ онъ съ насмѣшливою улыбкой,—я сказалъ „виноватъ“, но вѣдь я вовсе не прошу прощенія. Замѣтите себѣ еще: я не конфужу васъ, не спрашиваю о томъ: нѣтъ-ли у васъ у самого какихъ-нибудь такихъ же тайнъ, чтобъ вашими тайнами оправдать и себя... Я поступаю прилично и благородно. Вообще я всегда поступаю благородно...

— Вы просто заговариваетесь, сказалъ я, съ презрѣніемъ смотря на него.

— Заговариваюсь, ха-ха-ха! А сказать, о чемъ вы теперь думаете? Вы думаете: зачѣмъ это я завезъ васъ сюда и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, такъ передъ вами разоткровенничался? Такъ или нѣтъ?

— Такъ.

— Ну, это вы послѣ узнаете.

— А проще всего, выпили чуть не двѣ бутылки и... охмелѣли.

— То-есть просто пьянъ. И это можетъ быть. „Охмелѣли!“ то-есть это понѣжнѣе, чѣмъ пьянъ. О, преисполненный деликатностей человѣкъ! Но... мы, кажется, опять начали браниться, а заговорили было о такомъ интересномъ предметѣ. Да, мой поэтъ, если еще есть на свѣтѣ что-нибудь хорошенькое и сладенькое, такъ это женщины.

— Знаете-ли, князь, я все-таки не понимаю, почему

вамъ вздумалось выбрать именно меня конфидентомъ вашихъ тайнъ и любовныхъ... стремлений.

— Гм!.. Да вѣдь я вамъ сказалъ, что узнаете послѣ. Не безпокойтесь; а, впрочемъ, хоть бы и такъ, безо всякихъ причинъ; вы постъ, вы меня поймете, да я ужъ и говорилъ вамъ объ этомъ. Есть особое сладострастіе въ этомъ внезапномъ срывѣ маски, въ этомъ цинизмѣ, съ которымъ человѣкъ вдругъ выказывается передъ другимъ въ такомъ видѣ, что даже не удостоиваетъ и постыдиться передъ нимъ. Я вамъ расскажу анекдотъ. Былъ въ Парижѣ одинъ сумасшедшій чиновникъ; его потомъ посадили въ сумасшедшій домъ, когда вполнѣ убѣдились, что онъ сумасшедшій. Ну, такъ когда онъ сходилъ съ ума, то вотъ что выдумалъ для своего удовольствія: онъ раздѣвался у себя дома, совершенно, какъ Адамъ, оставлялъ на себѣ одну обувь, накидывалъ на себя широкой плащъ до пятъ, закутывался въ него, и съ важной, величественной миной выходилъ на улицу. Ну, сбоку посмотрѣть, — человѣкъ, какъ и всѣ, прогуливается себѣ въ широкомъ плащѣ для своего удовольствія. Но лишь только случалось ему встрѣтить какого-нибудь прохожаго, гдѣ-нибудь наединѣ, такъ, чтобъ кругомъ никого не было, онъ молча шелъ на него, съ самымъ серьезнымъ и глубокомысленнымъ видомъ, вдругъ останавливался передъ нимъ, развертывалъ свой плащъ и показывалъ себя во всемъ... чистосердечіи. Это продолжалось одну минуту, потомъ онъ завертывался опять и молча, не пошевеливъ ни однимъ мускуломъ лица, проходилъ мимо остолбенѣвшаго отъ изумленія зрителя, важно, плавно, какъ тѣнь въ Гамлетѣ. Такъ онъ поступалъ со всѣми, съ мужчинами, женщинами и дѣтьми, и въ этомъ состояло все его удовольствіе. Вотъ часть-то этого самаго удовольствія и можно находить, внезапно огорошивъ какого-нибудь Шиллера и высунувъ ему языкъ, когда онъ всего менѣе ожидаетъ этого. „Огорошивъ“ — какво словечко? Я его вычиталъ гдѣ-то въ вашей же современной литературѣ!

— Ну, такъ то былъ сумасшедшій, а вы...

— Себѣ на умѣ?

— Да.

Князь захохоталъ.

— Вы справедливо судите, мой милый, прибавилъ онъ съ самымъ наглымъ выраженіемъ лица.

— Князь, сказалъ я, разгорячившись отъ его нахальства, — вы насъ ненавидите, въ томъ числѣ и меня, и мстите мнѣ теперь за все и за всѣхъ. Все это въ васъ изъ самаго мелкаго самолюбія. Вы злы, и мелочно злы. Мы васъ разозлили и, можетъ-быть, больше всего вы сердитесь за тотъ вечеръ. Разумѣется, вы ничѣмъ такъ сильно не могли отплатить мнѣ, какъ этимъ окончательнымъ прервѣніемъ ко мнѣ; вы избавляете себя даже отъ обыденной и всѣмъ обязательной вѣжливости, которою мы всѣ другъ другу обязаны. Вы ясно хотите показать мнѣ, что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной такъ откровенно и такъ неожиданно вашу гадкую маску и выставляясь въ такомъ нравственномъ цинизмѣ...

— Для чего-жъ вы это мнѣ все говорите? спросилъ онъ, грубо и злобно смотря на меня. — Чтобъ показать свою пронипательность?

— Чтобъ показать, что я васъ понимаю, и заявить это передъ вами.

— Quelle idée, mon cher, продолжалъ онъ, вдругъ перемѣнивъ свой тонъ на прежній веселый и болтливо-добродушный. — Вы только отбили меня отъ предмета. Vivons, mon ami, позвольте вамъ налить. А я только-что было хотѣлъ разсказать одно прелестнѣйшее и чрезвычайно любопытное приключеніе. Разскажу его вамъ въ общихъ чертахъ. Былъ я знакомъ когда-то съ одной барыней; была она не первой молодости, а такъ лѣтъ двадцати семи-восьми; красавица первостепенная; что за бюстъ, что за осанка, что за походка. Она глядѣла пронзительно, какъ орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, какъ крещенская зима, и запугивала всѣхъ своею недосягаемою, своею грозною добродѣтелью. Именно грозною. Не было во всемъ ея округѣ такого нетерпимаго судьи, какъ она. Она карала не только пороки, но даже малѣйшую слабость въ другихъ женщинахъ, и карала безвозвратно, безъ апелляціи. Въ своемъ кругу она имѣла огромное значеніе. Самыя гордыя и самыя страшныя по своей добродѣтели старухи почитали ее, даже заискивали въ ней. Она смотрѣла на всѣхъ безстрастно-жестоко, какъ абесса средневѣковаго монастыря. Молодыя женщины трепетали ея взгляда и сужденія. Одно ея замѣчаніе, одинъ намекъ ея уже могли погубить репутацію, — ужъ такъ она

себя поставила въ обществѣ; боялись ея даже мужчины. Наконецъ, она бросилась въ какой-то созерцательный мистицизмъ, впрочемъ, тоже спокойный и величавый... И что-жь? Не было развратницы развратнѣе этой женщины, и я имѣлъ счастье заслужить вполне ея довѣренность. Однимъ словомъ — я былъ ея тайнымъ и таинственнымъ любовникомъ. Сношенія были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто изъ ея домашнихъ не могъ имѣть ни малѣйшаго подозрѣнія; только одна ея прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во всѣ ея тайны; но на эту камеристку можно было вполне положиться; она тоже брала участіе въ дѣлѣ, — какимъ образомъ? — я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что самъ маркизъ де-Садъ могъ бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее въ этомъ наслажденіи — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмѣшка надъ всѣмъ, о чемъ графиня проповѣдывала въ обществѣ какъ о высокомъ, недоступномъ и ненарушимомъ, и, наконецъ, этотъ внутренній, дьявольскій хохоть и сознательное попираніе всего, чего нельзя попирать — и все это безъ предѣловъ, доведенное до самой послѣдней степени, до такой степени, о которой самое горячее воображеніе не смѣло бы и помыслить, — вотъ въ этомъ-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслажденія. Да, это былъ самъ дьяволъ во плоти, но онъ былъ непобѣдимо очарователенъ. Я и теперь не могу припомнить о ней безъ восторга. Въ пылу самыхъ горячихъ наслажденій, она вдругъ хохотала, какъ изступленная, и я понималъ, вполне понималъ этотъ хохоть, и самъ хохоталъ. Я еще и теперь задыхаюсь, при одномъ воспоминаніи, хотя тому уже много лѣтъ. Черезъ годъ она перемѣнила меня. Если бъ я и хотѣлъ, я бы не могъ повредить ей. Ну, кто бы могъ мнѣ повѣрить? Каковъ характеръ? Что скажете, молодой мой другъ?

— Фу, какая пакость, отвѣчалъ я, съ отвращеніемъ выслушавъ это признаніе.

— Вы бы не были молодымъ моимъ другомъ, если бъ отвѣчали иначе! Я такъ и зналъ, что вы это скажете. Ха-ха-ха! Подождите, топ ами, поживете и поймете, а теперь, — теперь вамъ еще нужно пряничка. Нѣтъ, вы не поэтъ послѣ этого: эта женщина понимала жизнь и умѣла ею воспользоваться.

— Да зачѣмъ же доходить до такого звѣрства?

— До какого звѣрства?

— До котораго дошла эта женщина и вы съ нею.

— А, вы называете это звѣрство, — признакъ, что вы все еще на помочахъ и на веревочкѣ. Конечно, я признаю, что самостоятельность можетъ явиться и совершенно въ противоположномъ, но... будемъ говорить попроще, топ ами... согласитесь сами, вѣдь все это вздоръ!

— Что же не вздоръ?

— Не вздоръ—это личность, это я самъ. Все для меня и весь мѣръ для меня созданъ. Послушайте, мой другъ, я еще вѣрю въ то, что на свѣтѣ можно хорошо пожить. А это самая лучшая вѣра, потому что безъ нея даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. Говорятъ, такъ и сдѣлалъ какой-то дуракъ. Онъ зафилософствовался до того, что разрушилъ все, все, даже законность всѣхъ нормальныхъ и естественныхъ обязанностей человѣческихъ, и дошелъ до того, что ничего у него не осталось; остался въ итогѣ нуль, вотъ онъ и провозгласилъ, что въ жизни самое лучшее синильная кислота. Вы скажете: это Гамлетъ, это грозное отчаяніе, однимъ словомъ, что-нибудь такое величавое, что намъ и не приснится никогда. Но вы поэтъ, а я простой человѣкъ, и потому скажу, что надо смотрѣть на дѣло съ самой простой, практической точки зрѣнія. Я, напримѣръ, уже давно освободилъ себя отъ всѣхъ путъ и даже обязанностей. Я считаю себя обязаннымъ только тогда, когда это мнѣ принесетъ какую-нибудь пользу. Вы, разумѣется, не можете такъ смотрѣть на вещи, у васъ ноги спутаны и вкусъ больной. Вы толкуете по идеалу, по добродѣтелямъ. Но, другъ мой, я вѣдь самъ готовъ признать все, что прикажете, но что же мнѣ дѣлать, если я навѣрно знаю, что въ основаніи всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей лежитъ глубочайшій эгоизмъ. И чѣмъ добродѣтельнѣе дѣло, — тѣмъ болѣе тутъ эгоизма. Люби самого себя, — вотъ одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая сдѣлка; даромъ не бросайте денегъ, но, пожалуй, платите за угожденіе, и вы исполните всѣ свои обязанности къ ближнему, — вотъ моя нравственность, если ужъ вамъ ее непременно нужно, хотя признаюсь вамъ, по-моему, лучше и не платить своему ближнему, а сумѣть заставить его дѣлать да-

ромъ. Идеаловъ я не имѣю и не хочу имѣть; тоски по нимъ никогда не чувствовалъ. Въ свѣтѣ можно такъ весело, такъ мило прожить и безъ идеаловъ... и еп сошше, я очень радъ, что могу обойтись безъ синильной кислоты. Вѣдь будь я немного *добродѣтельныѣ*, я бы, можетъ-быть, безъ нея и не обошелся, какъ тотъ дуракъ-философъ (безъ сомнѣнія, нѣмецъ). Нѣтъ! Въ жизни такъ много еще хорошаго! Я люблю значеніе, чинъ, отель, огромную ставку въ карты (ужасно люблю карты). Но главное, главное — женщины... и женщины во всѣхъ видахъ; я даже люблю потаенный, темный развратъ, постраниѣ и оригинальнѣе, даже немножко съ грязнотпой для разнообразія... Ха-ха-ха! Смотрю я на ваше лицо: съ какимъ презрѣніемъ смотрите вы на меня теперь!

— Вы правы, отвѣчалъ я.

— Ну, положимъ, что вы правы, но вѣдь во всякомъ случаѣ лучше грязнотца, чѣмъ синильная кислота. Не правда-ли?

— Нѣтъ, ужъ синильная кислота лучше.

— Я нарочно спросилъ васъ: „не правда-ли?“ чтобъ насладиться вашимъ отвѣтомъ; я его зналъ заранѣе. Нѣтъ, мой другъ, если вы истинный человѣколюбецъ, то пожелайте всѣмъ умнымъ людямъ такого же вкуса, какъ и у меня, даже и съ грязнотпой, иначе вѣдь умному человѣку скоро нечего будетъ дѣлать на свѣтѣ и останутся одни только дураки. То-то имъ счастье будетъ! Да вѣдь и теперь есть пословица: дуракамъ счастье, и, знаете-ли, нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ жить съ дураками и поддакивать имъ: выгодно! Вы не смотрите на меня, что я дорожу предразсудками, держусь извѣстныхъ условій, добиваюсь значенія; вѣдь я вижу, что я живу въ обществѣ пустомъ: но въ немъ покамѣстъ тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случаѣ я первый же его и оставлю. Я вѣдь всѣ ваши новыя идеи знаю, хотя и никогда не страдалъ отъ нихъ, да и не отчего. Угрызеній совѣсти у меня никогда не было ни о чемъ. Я на все согласенъ, было бы мнѣ хорошо, и насъ такихъ легионъ, и намъ дѣйствительно хорошо. Все на свѣтѣ можетъ погибнуть, одни мы никогда не погибнемъ. Мы существуемъ съ тѣхъ поръ, какъ міръ существуетъ. Весь міръ можетъ куда-нибудь провалиться, но мы всплывемъ,

мы всегда всплываемъ наверхъ. Кстати: посмотрите хоть ужъ на одно то, какъ живучи такіе люди, какъ мы. Вѣдь мы, примѣрно, феноменально живучи; поражало васъ это когда-нибудь? Мы доживаемъ до ~~двух~~десяти, до девяноста лѣтъ! Значить, сама природа намъ покровительствуетъ, хе-хе-хе! Я хочу непременно жить до девяноста лѣтъ. Я смерти не люблю и боюсь ее. Вѣдь чертъ знаетъ еще, какъ придется умереть! Но къ чему говорить объ этомъ! Это меня отравившійся философъ раззадорилъ. Къ чорту философію! Vivons, mon cher. Вѣдь мы начали было говорить о хорошенькихъ дѣвушкахъ... Куда это вы?

— Я иду, да и вамъ пора...

— Полноте, полноте! Я, такъ сказать, открылъ передъ вами все мое сердце, а вы даже и не чувствуете такого яркаго доказательства дружбы. Хе-хе-хе! Въ васъ мало любви, моей поэтъ. Но постойте, я хочу еще бутылку...

— Третью?

— Третью. Про добродѣтель, мой юный питомецъ (вы мнѣ позвольте назвать васъ этимъ сладкимъ именемъ: кто знаетъ, можетъ-быть, мои поученія пойдутъ и впрокъ...) Итакъ, мой питомецъ, про добродѣтель я ужъ сказалъ вамъ: „чѣмъ добродѣтель добродѣтельнѣе, тѣмъ больше въ ней эгоизма“. Хочу вамъ рассказать на эту тему одинъ премиленькій анекдотъ: я любилъ однажды одну дѣвушку и любилъ почти искренно. Она даже многимъ для меня пожертвовала...

— Это та, которую вы обокрали? грубо спросилъ я, не желая болѣе сдерживаться.

Князь вздрогнулъ, перемѣнился въ лицѣ и уставился на меня своими воспаленными глазами; въ его взглядѣ было недоумѣніе и бѣшенство.

— Постойте, проговорилъ онъ какъ бы про себя,—постойте, дайте мнѣ сообразить. Я дѣйствительно пьянъ и и мнѣ трудно сообразить...

Онъ замолчалъ и пытливо, съ той же злобой смотрѣлъ на меня, придерживая мою руку своей рукой, какъ бы боясь, чтобъ я не ушелъ. Я увѣренъ, что въ эту минуту онъ соображалъ и доискивался, откуда я могу знать это дѣло, почти никому неизвѣстное, и нѣтъ-ли во всемъ этомъ какой-нибудь опасности. Такъ продолжалось съ ми-

пугу; но вдругъ лицо его быстро измѣнилось; прежнее насмѣшливое, пьяно-веселое выраженіе появилось снова въ его глазахъ. Онъ захохоталъ.

— Ха-ха-ха! Талейранъ да и только! Ну, что-жь, я дѣйствительно стоялъ передъ ней, какъ оплеванный, когда она брякнула мнѣ въ глаза, что я обокралъ ее! Какъ она визжала тогда, какъ ругалась! Бѣшеная была женщина и... безъ всякой выдержки. Но, посудите сами: во-первыхъ, я вовсе не обокралъ ее, какъ вы сейчасъ выразились. Она подарила мнѣ свои деньги сама и онѣ уже были мои. Ну, положимъ, вы мнѣ дарите вашъ лучший фракъ (говоря это, онъ взглянулъ на мой единственный и довольно безобразный фракъ, шитый года три назадъ портнымъ Ивановъ Скорнягинымъ), я вамъ благодаренъ, ношу его, вдругъ черезъ годъ вы поссорились со мной и требуете его назадъ, а я его ужъ износилъ... Это неблагородно; зачѣмъ же дарить? Во-вторыхъ, я, несмотря на то, что деньги были мои, непременно бы возвратилъ ихъ назадъ, но согласитесь сами: гдѣ же я вдругъ могъ собрать такую сумму? А главное, я терпѣть не могу пасторалей и шиллеровщины, я ужъ вамъ говорилъ,—ну это-то и было всему причиною. Вы не повѣрите, какъ она рисовалась передо мною, крича, что дарить мнѣ (впрочемъ, мои же) деньги. Злость взяла меня, и я вдругъ сумѣлъ разсудить совершенно правильно, потому что присутствіе духа никогда не оставляетъ меня: я разсудилъ, что, отдавъ ей деньги, сдѣлаю ее, можетъ-быть, даже несчастною. Я бы отнялъ у ней наслажденіе быть несчастной вполне *изъ-за меня* и проклинать меня за это всю свою жизнь. Повѣрите, мой другъ, въ несчастьи такого рода есть даже какое-то высшее упоеніе сознавать себя вполне правымъ и великодушнымъ и имѣть полное право назвать своего обидчика подлецомъ. Это упоеніе злобы встрѣчается у шиллеровскихъ натуръ, разумѣется;—можетъ-быть, потомъ ей было нечего ѣсть, но я увѣренъ, что она была счастлива. Я и не хотѣлъ лишить ее этого счастья и не отослалъ ей денегъ. Такимъ образомъ и оправдано вполне мое правило, что тѣмъ громче и крупнѣй человѣческое великодушіе, тѣмъ больше въ немъ самага отвратительнаго эгоизма... Неужели вамъ это не ясно... Но... вы хотѣли поддѣть меня, ха-ха-ха!.. Ну, признайтесь, хотѣли поддѣть?.. О, Талейранъ!

— Прощайте! сказалъ я, вставая.

— Минутку! Два заключительныхъ слова! вскричалъ онъ, измѣняя вдругъ свой гадкій тонъ на серьезный. — Выслушайте мое послѣднее: изъ всего, что я сказалъ вамъ, слѣдуетъ ясно и ярко (думаю, что и вы сами это замѣтили), что я никогда и ни для кого не хочу упустать мою выгоду. Я люблю деньги и мнѣ онѣ надобны. У Катерины Федоровны ихъ много; ея отецъ десять лѣтъ содержалъ винный откупъ. У ней три милліона, и эти три милліона мнѣ очень пригодятся. Алеша и Катя—совершенная пара; оба дураки въ послѣдней степени; мнѣ того и надо. И потому я непременно желаю и хочу, чтобъ ихъ бракъ устроился, и какъ можно скорѣе. Не дѣли черезъ двѣ, черезъ три, графиня и Катя ѣдутъ въ деревню. Алеша долженъ сопровождать ихъ. Предупрежьте Наталью Николаевну: чтобъ не было пасторалей, чтобъ не было шиллеровщины, чтобъ противъ меня не возставали. Я мстительнъ и золь; я за свое постою. Ея я не боюсь: все, безъ сомнѣнія, будетъ по-моему, и потому, если предупреждаю теперь, то почти для нея же самой. Смотрите же, чтобъ не было глупостей и чтобъ вела она себя благоразумно. Не то ей будетъ плохо, очень плохо. Ужъ она за то только должна быть мнѣ благодарна, что я не поступилъ съ нею какъ слѣдуетъ, по законамъ. Знайте, мой поэтъ, что законы ограждаютъ семейное спокойствіе; они гарантируютъ отца въ повинности сына и что тѣ, которые отвлекаютъ дѣтей отъ священныхъ обязанностей къ ихъ родителямъ, законами не поощряются. Сообразите, наконецъ, что у меня есть связи, что у ней никакихъ и... неужели вы не понимаете, что я бы могъ съ ней сдѣлать?.. Но я не сдѣлалъ, потому что до сихъ поръ она вела себя благоразумно. Не беспокойтесь: каждую минуту, за каждымъ движеніемъ ихъ присматривали зоркіе глаза всѣ эти полгода, и я зналъ все до послѣдней мелочи. И потому я спокойно ждалъ, пока Алеша самъ ее броситъ, что ужъ и начинается; а покажѣсть ему милое развлеченіе. Я же остался въ его понятіяхъ гуманнѣе отцомъ, а мнѣ надо, чтобъ онъ такъ обо мнѣ думалъ. Ха-ха-ха! Какъ вспомню я, что чуть не комплименты ей дѣлалъ, тогда вечеромъ, что она была такъ великодушна и безкорыстна, что не вышла за него замужъ; желалъ бы я знать, какъ бы она вышла! Что же касается до моего тогдашняго къ ней пріѣзда, то все это было единственно для того, что ужъ пора было

кончить ихъ связь. Но мнѣ надобно было увѣриться во всемъ своими глазами, своимъ собственнымъ опытомъ... Ну, довольно - ли съ васъ? Или вы, можетъ-быть, хотите узнать еще: для чего я завезъ васъ сюда, для чего я передъ вами такъ ломался и такъ просто откровенничалъ, тогда какъ все это можно было высказать безъ всякихъ откровенностей, — да?

— Да.

Я скрѣпился и жадно слушалъ. Мнѣ нечего было отвѣчать ему болѣе.

— Единственно потому, мой другъ, что въ васъ я замѣтилъ нѣсколько болѣе благоразумія и яснаго взгляда на вещи, чѣмъ въ обоихъ нашихъ дурачкахъ. Вы могли и раньше знать, кто я, предугадывать, составлять предположенія обо мнѣ, но я хотѣлъ васъ избавить отъ всего этого труда и рѣшился вамъ наглядно показать, съ кѣмъ вы имѣете дѣло. Дѣйствительное впечатлѣніе — великая вещь. Поймите же меня, *mon ami*. Вы знаете, съ кѣмъ имѣете дѣло, ее вы любите, и потому, я надѣюсь теперь, что вы употребите все свое вліяніе (а вы-таки имѣете на нее вліяніе), чтобъ избавить ее отъ *нѣкоторыхъ* хлопотъ. Иначе будутъ хлопоты, и увѣряю, увѣряю васъ, что не шуточные. Ну-съ, наконецъ, третья причина моихъ съ вами откровенностей это... (да вѣдь вы угадали же, мой милый), да, мнѣ дѣйствительно хотѣлось поплевать немножко на все это дѣло, и поплевать именно въ вашихъ глазахъ...

— И вы достигли вашей цѣли, сказалъ я, дрожа отъ волненія. — Я согласенъ, что ничѣмъ вы не могли такъ выразить передо мной всей вашей злобы и всего презрѣнія вашего ко мнѣ и ко всѣмъ намъ, какъ этими откровенностями. Вы не только не опасались, что ваши откровенности могутъ васъ передо мной компрометтировать, но даже и не стыдились меня... Вы дѣйствительно походили на того сумасшедшаго въ плащѣ. Вы меня за человѣка не считали.

— Вы угадали, мой юный другъ, сказалъ онъ, вставая, — вы все угадали: не даромъ же вы литераторъ. Надѣюсь, что мы расстаемся дружелюбно. Брудершафтъ вѣдь не будемъ пить?

— Вы пьяны, и единственно потому я не отвѣчаю вамъ какъ бы слѣдовало...

— Опять фигура умолчанія, — не договорили, какъ слѣдовало бы отвѣчать, ха-ха-ха! Заплатить за васъ вы мнѣ не позволяете?

— Не безпокойтесь, я самъ заплачу.

— Ну, ужъ безъ сомнѣнья. Вѣдь намъ не по дорогѣ?

— Я съ вами не поѣду.

— Прощайте, мой поэтъ. Надѣюсь, вы меня поняли..

Онъ вышелъ, шагая нѣсколько нетвердо и не обращиваясь ко мнѣ. Лакей усадилъ его на коляску. Я пошелъ своею дорогою. Былъ третій часъ утра. Шелъ дождь, ночь была темная...

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНИЙ

Ф. М. Достоевскаго.

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

*Injury
and
Insult.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

т. 2

Униженные и оскорбленные.

Романъ въ 4-хъ частяхъ съ эпилогомъ.

(Окончаніе).

Вѣчный мужъ.

Разсказъ.



Безплатное приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1894 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1894.

Дозволено цензурою. СПБ. 10 июня 1894 г.

Типографія А. Ф. МАРКСА, Средняя Подъячская, д. № 1.

Униженные и оскорбленные.

Часть четвертая.

ГЛАВА I.

Не стану описывать моего озлобленія. Несмотря на то, что можно было всего ожидать, я былъ пораженъ; точно онъ предсталъ передо мной во всемъ своемъ безобразіи совѣмъ неожиданно. Впрочемъ, помню, ощущенія мои были смутны: какъ будто я былъ чѣмъ-то придавленъ, ушибленъ, и черная тоска все больше и больше сосала мнѣ сердце; я боялся за Наташу. Я предчувствовалъ ей много мукъ впереди и смутно заботился, какъ бы ихъ обойти, какъ бы облегчить эти послѣднія минуты передъ окончательной развязкой всего дѣла. Въ развязкѣ же сомнѣнія не было никакого. Она приближалась, и какъ было не угадать, какова она будетъ.

Я и не замѣтилъ, какъ дошелъ домой, хотя дождь мочилъ меня всю дорогу. Было уже часа три утра. Не успѣлъ я стукнуть въ дверь моей квартиры, какъ послышался стонъ, и дверь торопливо начала отпираться, какъ будто Нелли и не ложила спать, а все время сторожила меня у самаго порога. Свѣчка горѣла. Я взглянулъ въ лицо Нелли и испугался: оно все измѣнилось; глаза горѣли, какъ въ горячкѣ, и смотрѣли какъ-то дико, точно она не узнавала меня. Съ ней былъ сильный жаръ.

— Нелли, что съ тобой, ты больна? спросилъ я, наклоняясь къ ней и обнявъ ее рукой.

Она трепетно прижалась ко мнѣ, какъ будто боялась чего-то, что-то заговорила, скоро, порывисто, какъ будто только и ждала меня, чтобъ поскорѣй мнѣ это рассказать. Но слова ея были безсвязны и странны; я ничего не понималъ, она была въ бреду.

Я повелъ ее поскорѣй на постель. Но она все броса-лась ко мнѣ и прижималась крѣпко, какъ будто въ испугѣ, какъ будто прося защитить себя отъ кого-то, и когда уже легла въ постель, все еще хваталась за мою руку и крѣпко держала ее, боясь, чтобъ я опять не ушелъ. Я былъ до того потрясенъ и разстроенъ нервами, что, глядя на нее, даже заплакалъ. Я самъ былъ боленъ. Увидя мои слезы, она долго и неподвижно вглядывалась въ меня съ усиленнымъ, напряженнымъ вниманіемъ, какъ будто стараясь что-то осмыслить и сообразить. Видно было, что ей стоило это большихъ усилій. Наконецъ, что-то похожее на мысль прояснилось въ лицѣ ея; послѣ сильнаго припадка падучей болѣзни она обыкновенно нѣкоторое время не могла соображать свои мысли и внятно произносить слова. Такъ было и теперь: сдѣлавъ надъ собой чрезвычайное усиліе, чтобъ выговорить мнѣ что-то, и догадавшись, что я не понимаю, она протянула свою ручонку и начала отирать мои слезы, потомъ обхватила мою шею, нагнула меня къ себѣ и поцѣловала.

Было ясно: съ ней безъ меня былъ припадокъ и случился онъ именно въ то мгновеніе, когда она стояла у самой двери. Очнувшись отъ припадка, она, вѣроятно, долго не могла придти въ себя. Въ это время дѣйствительность смѣшивается съ бредомъ и ей вѣрно вообразилось что-нибудь ужасное, какіе-нибудь страхи. Въ то же время она смутно сознавала, что я долженъ воротиться и буду стучаться у дверей, а потому, лежа у самаго порога на полу, чутко ждала моего возвращенія и приподнялась на мой первый стукъ.

„Но для чего-жъ она какъ разъ очутилась у дверей?“ подумалъ я, и вдругъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что она была въ шубейкѣ (я только что купилъ ей у знакомой старухи-торговки, зашедшей ко мнѣ на квартиру и уступавшей мнѣ иногда свой товаръ въ долгъ); слѣдовательно, она собиралась куда-то идти со двора и, вѣроятно, уже отпирала дверь, какъ вдругъ эпилепсія поразила ее. Куда-жъ она хотѣла идти? Ужъ не была-ли она и тогда въ бреду? Между тѣмъ жаръ не проходилъ и она скоро опять впала въ бредъ и безпамятство. Съ ней былъ уже два раза припадокъ на моей квартирѣ, но всегда оканчивался благополучно, а теперь она была точно въ горячкѣ. Посидѣвъ надъ ней съ полчаса, я примостилъ къ дивану стулья и легъ, какъ былъ одѣтый, близъ нея, чтобы ско-

рѣй проснуться, если-бъ она меня позвала. Свѣчки я не тушилъ. Много разъ еще я взглядывалъ на нее, прежде чѣмъ самъ заснулъ. Она была блѣдна; губы запекшіяся отъ жару и окровавленные, вѣроятно, отъ паденія; съ лица не сходило выраженіе страха и какой-то мучительной тоски, которая, казалось, не покидала ее даже во снѣ. Я рѣшился на завтра какъ можно раньше сходить къ доктору, если-бъ ей стало хуже. Боялся я, чтобъ не приключилось настоящей горячки.

„Это ее князь напугалъ!“ подумалъ я съ содроганіемъ, и вспомнилъ разсказъ его о женщинѣ, бросившей ему въ лицо свои деньги.

ГЛАВА II.

...Прошло двѣ недѣли. Нелли выздоравливала. Горячки съ ней не было, но была она сильно больна. Она встала съ постели въ концѣ апрѣля, въ свѣтлый, ясный день. Была Страстная недѣля.

Бѣдное созданіе. Я не могу продолжать моего разсказа въ прежнемъ порядкѣ. Много прошло уже времени до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сихъ поръ, съ такой тяжелой, пронзительной тоской вспоминается мнѣ это блѣдное, худенькое личико, эти пронзительные долгіе взгляды ея черныхъ глазъ, когда, бывало, мы оставались вдвоемъ и она смотритъ на меня съ своей постели, смотритъ, долго смотритъ, какъ бы вызывая меня угадать, чтò у ней на умѣ; но, вида, что я не угадываю и все въ прежнемъ недоумѣніи, тихо и какъ будто про себя улыбнется и вдругъ ласково протянетъ мнѣ свою горячую ручку съ худенькими, высохшими пальчиками. Теперь все прошло, ужъ все извѣстно, а до сихъ поръ я не знаю всей тайны этого больного, измученнаго и оскорбленнаго маленькаго сердца.

Я чувствую, что я отвлекусь отъ разсказа, но въ эту минуту мнѣ хочется думать объ одной только Нелли. Странно теперь, когда я лежу на больничной койкѣ одинъ, оставленный всѣми, кого я такъ много и сильно любилъ, — теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта изъ того времени, тогда часто для меня непримѣтная и скоро забываемая, вдругъ, приходя на память, внезапно получаетъ въ моемъ умѣ совершенно другое значеніе, цѣльное и объясняющее мнѣ теперь то, чего я даже до сихъ поръ не умѣлъ понять.

Первые четыре дня ея болѣзни мы, я и докторъ, ужасно за нее боялись, но на пятый день докторъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ мнѣ, что бояться нечего, и она непременно выздоровѣетъ. Это былъ тотъ самый докторъ, давно знакомый мнѣ старый холостякъ, добрякъ и чудакъ, котораго я призывалъ еще въ первую болѣзнь Нелли и который такъ поразилъ ее своимъ Станиславомъ на шеѣ, чрезвычайныхъ размѣровъ.

— Стало-быть, совсѣмъ нечего бояться! сказалъ я, обрадовавшись.

— Да, она теперь выздоровѣетъ, но потомъ она весьма скоро умретъ!

— Какъ умереть! Да почему же? вскричалъ я, ошеломленный такимъ приговоромъ.

— Да, она непременно весьма скоро умретъ. У пациентки органической порокъ въ сердцѣ, и, при малѣйшихъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, она сляжетъ снова. Можетъ-быть, снова выздоровѣетъ, но потомъ опять сляжетъ снова и, наконецъ, умретъ.

— И неужели-жъ нельзя никакъ спасти ее? Нѣтъ, этого быть не можетъ.

— Но это должно быть. И, однако, при удаленіи неблагоприятныхъ обстоятельствъ, при спокойной и тихой жизни, когда будетъ болѣе удовольствій, пациентка еще можетъ быть отдалена отъ смерти, и даже бывають случаи... неожиданные... ненормальные и странные... однимъ словомъ, пациентка даже можетъ быть спасена, при совокупленіи многихъ благоприятныхъ обстоятельствъ, но радикально спасена—никогда.

— Но, Боже мой, что же теперь дѣлать?

— Слѣдовать совѣтамъ, вести покойную жизнь и исправно принимать порошки. Я замѣтилъ, что эта дѣвица капризна, неровнаго характера и даже насмѣшлива; она очень не любитъ исправно принимать порошки и вотъ сейчасъ рѣшительно отказалась.

— Да, докторъ. Она дѣйствительно странная, но я все приписываю болѣзненному раздраженію. Вчера она была очень послушна; сегодня же, когда я ей подносилъ лѣкарство, она пихнула ложку, какъ будто нечаянно, и все пролилось. Когда же я хотѣлъ развести новый порошокъ, она вырвала у меня всю коробку и ударила ее объ полъ, а потомъ залилась слезами... Только, кажется, не оттого, что ее заставляли принимать порошки, прибавилъ я, подумавъ.

— Гм! Ирритація. Прежнія большія несчастія (я подробно и откровенно разсказалъ доктору многое изъ исторіи Нелли, и разсказъ мой очень поразилъ его), все это въ связи, и вотъ отъ этого и болѣзнь. Покамѣстъ единственное средство — принимать порошки, и она должна принять порошокъ. Я пойду и еще разъ постараюсь внушить ей ея обязанность слушаться медицинскихъ совѣтовъ и... то-есть говоря вообще... принимать порошки.

Мы оба вышли изъ кухни (въ которой и происходило наше свиданіе), и докторъ снова приблизился къ постели больной. Но Нелли, кажется, насъ слышала: по крайней мѣрѣ, она приподняла голову съ подушекъ и, обративъ въ нашу сторону ухо, все время чутко прислушивалась. Я замѣтилъ это въ щель полуотворенной двери; когда же мы пошли къ ней, плутовка юркнула вновь подъ одѣяло и поглядывала на насъ съ насмѣшливой улыбкой. Бѣдняжка очень похудѣла въ эти четыре дня болѣзни: глаза ввалились, жаръ все еще не проходилъ. Тѣмъ страннѣе шель къ ея лицу шаловливый видъ и задорные блестящіе взгляды, очень удивлявшіе доктора, самаго добрѣйшаго изъ всѣхъ нѣмецкихъ людей въ Петербургѣ.

Онъ серьезно, но стараясь какъ можно смягчить свой голосъ, ласковымъ и нѣжнѣйшимъ тономъ изложилъ необходимость и спасительность порошокъ, а слѣдственно и обязанность каждаго больного принимать ихъ. Нелли приподняла было голову, но вдругъ, повидимому, совершенно нечаяннымъ движеніемъ руки, задѣла ложку, и все лѣкарство пролилось опять на полъ. Я увѣренъ, она это сдѣлала нарочно.

— Это очень непріятная неосторожность, спокойно сказала старичокъ, — и я подозреваю, что вы сдѣлали это нарочно, что очень непохвально. Но... можно все исправить и еще развести порошокъ.

Нелли засмѣялась ему прямо въ глаза. Докторъ методически покачалъ головою.

— Это очень нехорошо, сказалъ онъ, разводя новый порошокъ, — очень, очень непохвально.

— Не сердитесь на меня, отвѣчала Нелли, тщетно стараясь не засмѣяться снова, — я непременно приму... А любите вы меня?

— Если вы будете вести себя похвально, то очень буду любить.

— Очень?

— Очень.

— А теперь не любите?

— И теперь люблю.

— А поцѣлуете меня, если я захочу васъ поцѣловать?

— Да, если вы будете того заслуживать.

Тутъ Нелли опять не могла вытерпѣть и снова засмѣялась.

— У пациентки веселый характеръ, но теперь — это нервы и капризъ, прошепталъ мнѣ докторъ съ самымъ серьезнымъ видомъ.

— Ну, хорошо, я выпью порошокъ! вскрикнула вдругъ своимъ слабымъ голосомъ Нелли. — Но когда я вырасту и буду большая, вы возьмете меня за себя замужъ?

Вѣроятно, выдумка этой новой шалости очень ей нравилась; глаза ея такъ и горѣли, а губки такъ и подергивало смѣхомъ, въ ожиданіи отвѣта нѣсколько изумленнаго доктора.

— Ну, да, отвѣчалъ онъ, улыбаясь невольнo этому новому капризу, — ну, да, если вы будете добрая и благовоспитанная дѣвица, будете послушны и будете...

— Принимать порошки? подхватила Нелли.

— Ого! Ну, да, принимать порошки. Добрая дѣвица, шепнулъ онъ мнѣ снова, — въ ней много, много... добраго и умнаго, но, однакожъ... замужъ... какой странный капризъ...

И онъ снова поднесъ ей лѣкарство. Но въ этотъ разъ она даже и не схитрила, а просто снизу вверхъ подтолкнула рукой ложку, и все лѣкарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бѣдному старичку. Нелли громко засмѣялась, но не прежнимъ простодушнымъ и веселымъ смѣхомъ. Въ лицѣ ея промелькнуло что-то жестокое, злое. Во все это время она какъ будто избѣгала моего взгляда, смотрѣла на одного доктора и съ насмѣшкою, сквозь которую проглядывало однакоже безпокойство, ждала, что-то будетъ теперь дѣлать „смѣшной“ старичокъ.

— О! Вы опять!.. Какое несчастье! Но... можно еще развести порошокъ! проговорилъ старикъ, отирая платкомъ лицо и манишку.

Это ужасно поразило Нелли. Она ждала нашего гнѣва, думала, что ее начнутъ бранить, упрекать и, можетъ-быть, ей, безсознательно, того только и хотѣлось въ эту минуту, — чтобъ имѣть предлогъ тотчасъ же заплакать, зарыдать, какъ въ истерикѣ, разбросать опять порошки,

какъ давеча, и даже разбить что-нибудь съ досады, и всѣмъ этимъ утолить свое капризное, наболѣвшее сердечко. Такіе капризы бываютъ и не у однихъ больныхъ, и не у одной Нелли. Какъ часто, бывало, я ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ съ безсознательнымъ желаніемъ, чтобъ поскорѣй меня кто-нибудь обидѣлъ, или сказалъ слово, которое бы можно было принять за обиду, и поскорѣй сорвать на чемъ-нибудь сердце. Женщины же, „срывая“ такимъ образомъ сердце, начинаютъ плакать самыми искренними слезами, а самыя чувствительныя изъ нихъ даже доходятъ до истерики. Дѣло очень простое и самое житейское и бывающее чаще всего, когда есть другая, часто никому неизвѣстная печаль въ сердцѣ и которую хотѣлось бы, да нельзя никому высказать.

Но вдругъ, пораженная ангельской добротою обиженнаго ею старичка и терпѣніемъ, съ которымъ онъ снова разводилъ ей третій порошокъ, не сказавъ ей ни одного слова упрека, Нелли вдругъ притихла. Насмѣшка слетѣла съ ея губокъ, краска ударила ей въ лицо, глаза повлажнѣли: она мелькомъ взглянула на меня и тотчасъ же отворотилась. Докторъ поднесъ ей лѣкарство. Она смирно и робко выпила его, схватила красную, пухлую руку старика и медленно поглядѣла ему въ глаза.

— Вы... сердитесь, что я злая, сказала было она, но не докончила, юркнула подъ одѣяло, накрылась съ головой и громко, истерически зарыдала.

— О, дитя мое, не плачьте... Это ничего... Это нервы; выпейте воды.

Но Нелли не слушала.

— Утѣштесь... не разстраивайте себя, продолжалъ онъ, чуть самъ не хныча надъ нею, потому что былъ очень чувствительный человекъ, — я васъ прощаю, и замужъ возьму, если вы, при хорошемъ поведеніи честной дѣвицы, будете...

— Принимать порошки, послышалось изъ-подъ одѣяла съ тоненькимъ, какъ колокольчикъ, нервическимъ смѣхомъ, прерываемымъ рыданіями — очень мнѣ знакомымъ смѣхомъ.

— Доброе, признательное дитя! сказалъ докторъ торжественно и чуть не со слезами на глазахъ. — Бѣдная дѣвица!

И съ этихъ поръ между нимъ и Нелли началась какая-то странная, удивительная симпатія. Со мной же, на-

противъ, Нелли становилась все угрюмѣе, нервичнѣе и раздражительнѣе. Я не зналъ, чему это приписать и дивился на нее, тѣмъ болѣе, что эта перемена произошла въ ней какъ-то вдругъ. Въ первые дни болѣзни она была со мной чрезвычайно нѣжна и ласкова; казалось, не могла наглядѣться на меня, не отпускала отъ себя, схватывала мою руку своею горячею рукой и сажала меня возлѣ себя, и если замѣчала, что я угрюмъ и встревоженъ, старалась развеселить меня, шутила, играла со мной и улыбалась мнѣ, видимо подавляя свои собственныя страданія. Она не хотѣла, чтобъ я работалъ по ночамъ или сидѣлъ, сторожилъ ее, и печалилась, видя, что я ее не слушаюсь. Иногда я замѣчалъ въ ней озабоченный видъ; она начинала спрашивать и выпытывать отъ меня, почему я печалюсь, что у меня на умѣ; но странно, когда доходило до Наташи, она тотчасъ же умолкала или начинала заговаривать о другомъ. Она какъ будто избѣгала говорить о Наташѣ, и это поразило меня. Когда я приходилъ, она радовалась. Когда же я брался за шляпу, она смотрѣла уныло, и какъ-то странно, какъ будто съ упрекомъ провожала меня глазами.

На четвертый день ея болѣзни я весь вечеръ и даже далеко за полночь просидѣлъ у Наташи. Намъ было тогда о чемъ говорить. Уходя же изъ дому я сказалъ моей больной, что ворочусь очень скоро, на что и самъ рассчитывалъ. Оставшись у Наташи почти нечаянно, я былъ спокоенъ насчетъ Нелли: она оставалась не одна. Съ ней сидѣла Александра Семеновна, узнавшая отъ Маслобоева, зашедшаго ко мнѣ на минуту, что Нелли больна и я въ большихъ хлопотахъ и одинъ-одинѣхонекъ. Боже мой, какъ захлопотала добренькая Александра Семеновна.

— Такъ, стало-быть, онъ и обѣдать къ намъ теперь не придетъ!.. Ахъ, Боже мой! И одинъ-то онъ, бѣдный, одинъ. Ну, такъ покажемъ же мы теперь ему наше радушіе. Вотъ случай выдался, такъ и не надо его упускать.

Тотчасъ же она явилась у насъ, привезя съ собой на извозчикѣ цѣлый узелъ. Объявивъ съ перваго слова, что теперь она и не уйдетъ отъ меня, и пріѣхала, чтобъ помогать мнѣ въ хлопотахъ, она развязала узелъ. Въ немъ были сиропы, варенья для больной, цыплята и курица, въ случаѣ, если больная начнетъ выздоравливать, яблоки для печенья, апельсины, кievскія сухія варенья (на случай, если докторъ позволитъ), наконецъ, бѣлье, простыни,

салфетки, женскія рубашки, бинты, компрессы,—точно на цѣлый лазаретъ.

— Все-то у насъ есть, говорила она мнѣ, скоро и хлопотливо выговаривая каждое слово, какъ будто куда-то торопясь,—ну, а вотъ вы живете по-холостому. У васъ вѣдь этого всего мало. Такъ ужъ позвольте мнѣ... и Филиппъ Филиппычъ такъ приказалъ. Ну, что же теперь... поскорѣй, поскорѣй! Что же теперь надо дѣлать? Что она? Въ памяти? Ахъ, какъ ей не хорошо лежать, надо поправить подушку, чтобъ ниже лежала голова, да знаете-ли... не лучше-ли кожаную подушку? Отъ кожаной-то холодить. Ахъ, какая я дура! И на умъ не пришло привезть. Я поѣду за ней.. Не нужно-ли огонь развести? Я свою старуху вамъ пришлю. У меня есть знакомая старуха. У васъ вѣдь никого нѣтъ изъ женской прислуги... Ну, что же теперь дѣлать? Это что? Трава... докторъ прописалъ? Вѣрно для грудного чаю? Сейчас пойду разведу огонь.

Но я ее успокоилъ, и она очень удивилась и даже опечалилась, что дѣла-то оказывается вовсе не такъ много. Это, впрочемъ, не обезкуражило ее совершенно. Она тотчасъ же подружилась съ Нелли и много помогала мнѣ во все время ея болѣзни; навѣщала насъ почти каждый день, и всегда, бывало, пріѣдетъ съ такимъ видомъ, какъ будто что-нибудь пропало или куда-то уѣхало, и надо поскорѣе ловить. Она всегда прибавляла, что такъ и Филиппъ Филиппычъ приказалъ. Нелли она очень понравилась. Онѣ полюбили одна другую какъ двѣ сестры, и я думаю, что Александра Семеновна во многомъ была такой же точно ребенокъ, какъ и Нелли. Она рассказывала ей разныя исторіи, смѣшила ее и Нелли потомъ часто скучала, когда Александра Семеновна уѣзжала домой. Первое же ея появленіе у насъ удивило мою больную, но она тотчасъ же догадалась, зачѣмъ пріѣхала незваная гостыя и, по обыкновенію своему, даже нахмурилась, сдѣлалась молчалива и не любезна.

— Она зачѣмъ къ намъ пріѣзжала? спросила Нелли, какъ будто съ недовольнымъ видомъ, когда Александра Семеновна уѣхала.

— Помочь тебѣ, Нелли, и ходить за тобой.

— Да что-жь?.. За что же? Вѣдь я ей ничего такого не сдѣлала.

— Добрые люди и не ждутъ, чтобъ имъ прежде дѣлали, Нелли. Они и безъ этого любятъ помогать тѣмъ, кто нуж-

дается. Полю, Нелли: на свѣтѣ очень много добрыхъ людей. Только твоя-то бѣда, что ты ихъ не встрѣчала и не встрѣтила, когда было надо.

Нелли замолчала; я отошелъ отъ нея. Но четверть часа спустя, она сама подозвала меня къ себѣ слабымъ голосомъ, попросила было пить, и вдругъ крѣпко обняла меня, припала къ моей груди и долго не выпускала меня изъ своихъ рукъ. На другой день, когда прѣѣхала Александра Семеновна, она встрѣтила ее съ радостной улыбкой, но какъ будто все еще стыдяся ея отчего-то.

ГЛАВА III.

Вотъ въ этотъ-то день я и былъ у Наташи весь вечеръ. Я пришелъ уже поздно. Нелли спала. Александрѣ Семеновнѣ тоже хотѣлось спать, но она все сидѣла надъ больною и ждала меня. Тотчасъ же торопливымъ шопотомъ начала она мнѣ рассказывать, что Нелли сначала была очень весела, даже много смѣялась, но потомъ стала скучна и, видя, что я не прихожу, замолчала и задумалась. „Потомъ стала жаловаться, что у ней голова болитъ, заплакала и такъ разрыдалась, что ужъ я и не знала, чтò съ нею дѣлать, прибавила Александра Семеновна.—Заговорила было со мной о Натальѣ Николаевнѣ, но я ей ничего не могла сказать; она и перестала спрашивать и все потомъ плакала, такъ и уснула въ слезахъ. Ну, прощайте же, Иванъ Петровичъ; ей все-таки легче, какъ я замѣтила, а мнѣ надо домой, такъ и Филиппъ Филиппычъ приказалъ. Ужъ я признаюсь вамъ, вѣдь онъ меня этотъ разъ только на два часа отпустилъ, а я ужъ сама осталась. Да что, ничего, не беспокойтесь обо мнѣ; не смѣетъ онъ сердиться... Только вотъ развѣ... Ахъ, Боже мой, голубчикъ, Иванъ Петровичъ, чтò мнѣ дѣлать: все-то онъ теперь домой хмельной приходитъ! Занять онъ чѣмъ-то очень, со мной не говорить, тоскуетъ, дѣло у него важное на умѣ; я ужъ это вижу; а вечеромъ все-таки пьянъ... Подумаю только: воротился онъ теперь домой, кто-то его тамъ уложить? Ну, ѣду, ѣду, прощайте. Прощайте, Иванъ Петровичъ. Книги я у васъ тутъ смотрѣла: сколько книгъ-то у васъ, и все должно-быть умныя; а я-то дура, ничего-то я никогда не читала... Ну, до завтра...“

Но на завтра же Нелли проснулась грустная и угрюмая, нехотя отвѣчала мнѣ. Сама же ничего со мной не заговаривала, точно сердилась на меня. Я замѣтилъ только

нѣсколько взглядовъ ея, брошенныхъ на меня вскользь, какъ бы украдкой; въ этихъ взглядахъ было много какой-то затаенной сердечной боли, но все-таки въ нихъ проглядывала нѣжность, которой не было, когда она прямо глядѣла на меня. Въ этотъ-то день и происходила сцена при приемѣ лѣкарства съ докторомъ; я не зналъ, чтó по-думать.

Но Нелли перемѣнилась ко мнѣ омончательно. Ея странности, капризы, иногда чуть не ненависть ко мнѣ,—все это продолжалось вплоть до самаго того дня, когда она перестала жить со мной, вплоть до самой той катастрофы, которая развязала весь нашъ романъ. Но объ этомъ послѣ.

Случалось иногда, впрочемъ, что она вдругъ становилась на какой-нибудь часъ ко мнѣ попрежнему ласкова. Ласки ея, казалось, удваивались въ эти мгновенія; чаще всего въ эти же минуты она горько плакала. Но часы эти проходили скоро, и она впадала опять въ прежнюю тоску и опять враждебно смотрѣла на меня, или капризилась, какъ при докторѣ, или вдругъ, замѣтивъ, что мнѣ не-пріятна какая-нибудь ея новая шалость, начинала хохотать и всегда почти кончала слезами.

Она поссорилась даже разъ съ Александрой Семеновной, сказала ей, что ничего не хочетъ отъ нея. Когда же я сталъ пенять ей, при Александрѣ же Семеновнѣ, она разгорячилась, отвѣчала съ какой-то порывчатой, накопившейся злобой, но вдругъ замолчала и ровно два дня ни одного слова не говорила со мной, не хотѣла принять ни одного лѣкарства, даже не хотѣла пить и ѣсть, и только старичокъ-докторъ съумѣлъ уговорить и усовѣстить ее.

Я сказалъ уже, что между докторомъ и ею, съ самаго дня приема лѣкарства, началась какая-то удивительная симпатія. Нелли очень полюбила его, и всегда встрѣчала его съ веселой улыбкой, какъ бы ни была грустна передъ его приходомъ. Съ своей стороны, старичокъ началъ ѣздить къ намъ каждый день, а иногда и по два раза въ день, даже и тогда, когда Нелли стала ходить и уже со-всѣмъ выздоравливала, и, казалось, она заворожила его такъ, что онъ не могъ прожить дня, не слыжавъ ея смѣху и шутокъ надъ нимъ, нерѣдко очень забавныхъ. Онъ сталъ возить ей книжки съ картинками все назидательнаго свойства. Одну онъ нарочно купилъ для нея. Потомъ сталъ возить ей сласти, конфеты въ хорошенькихъ коробочкахъ. Въ такіе разы онъ входилъ обыкновенно съ торжествен-

нымъ видомъ, какъ будто былъ именинникъ, и Нелли тотчасъ же догадывалась, что онъ пріѣхалъ съ подаркомъ. Но подарка онъ не показывалъ, а только хитро смѣялся, усаживался подлѣ Нелли, намекалъ, что если одна молодая дѣвица умѣла вести себя хорошо и заслужить въ его отсутствіе уваженіе, то такая молодая дѣвица достойна хорошей награды. При этомъ онъ такъ простодушно и добродушно на нее поглядывалъ, что Нелли, хотъ и смѣялась надъ нимъ самымъ откровеннымъ смѣхомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ искренняя, ласкающая привязанность просвѣчивалась въ эту минуту въ ея прояснѣвшихъ глазкахъ. Наконецъ, старикъ торжественно подымался со стула, вынималъ коробочку съ конфетами и, вручая ее Нелли, непрѣменно прибавлялъ: „Моей будущей и любезной супругѣ“. Въ эту минуту онъ самъ былъ навѣрно счастливѣе Нелли. Послѣ этого начинались разговоры, и каждый разъ онъ серьезно и убѣдительно уговаривалъ ее беречь здоровье и давалъ ей убѣдительные медицинскіе совѣты.

— Волѣе всего надо беречь свое здоровье, говорилъ онъ догматическимъ тономъ—и, во-первыхъ, и главное, для того, чтобъ остаться въ живыхъ, а во-вторыхъ, чтобы всегда быть здоровымъ, и такимъ образомъ достигнуть счастья въ жизни. Если вы имѣете, мое милое дитя, какія-нибудь горести, то забывайте ихъ или, лучше всего, старайтесь о нихъ не думать. Если же не имѣете никакихъ горестей, то... также о нихъ не думайте, а старайтесь думать объ удовольствіяхъ... о чемъ-нибудь веселомъ, игривомъ.

— А о чемъ же это веселомъ и игривомъ думать? спрашивала Нелли.

Докторъ немедленно становился втупикъ.

— Ну, тамъ... о какой-нибудь невинной игрѣ, приличной вашему возрасту; или тамъ... ну, что-нибудь этакое...

— Я не хочу играть; я не люблю играть, говорила Нелли.—А вотъ я люблю лучше новыя платья.

— Новыя платья! Гм! Ну, это уже не такъ хорошо. Надо во всемъ удовольствоваться скромною долей въ жизни. А, впрочемъ... пожалуй... можно любить и новыя платья.

— А вы много мнѣ сошьете платьевъ, когда я за васъ замужъ выйду?

— Какая идея! говорилъ докторъ, и ужъ невольно хмурился.—Нелли плутовски улыбалась и даже разъ, забывшись, съ улыбкою взглянула и на меня.—А, впрочемъ...

я вамъ сошью платье, если вы его заслужите своимъ поведениемъ, продолжалъ докторъ.

— А порошки нужно будетъ каждый день принимать, когда я за васъ замужъ выйду?

— Ну, тогда можно будетъ и не всегда принимать порошки.

И докторъ начиналъ улыбаться.

Нелли прерывала разговоръ смѣхомъ. Старичокъ смѣялся вслѣдъ за ней и съ любовью слѣдилъ за ея веселостью.

— Игривый умъ! говорилъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Но все еще виденъ капризъ и нѣкоторая прихотливость и раздражительность.

Онъ былъ правъ. Я рѣшительно не зналъ, что дѣлалось съ нею. Она какъ будто совсѣмъ не хотѣла говорить со мной, точно я передъ ней въ чемъ-нибудь провинился. Мнѣ это было очень горько. Я даже самъ нахмурился и однажды цѣлый день не заговаривалъ съ нею, но на другой день мнѣ стало стыдно. Часто она плакала, и я рѣшительно не зналъ, чѣмъ ее утѣшить. Впрочемъ, она однажды прервала со мной свое молчаніе.

Разъ я воротился домой передъ сумерками и увидѣлъ, что Нелли быстро спрятала подъ подушку книгу. Это былъ мой романъ, который она взяла со стола и читала въ мое отсутствіе. Къ чему же было его прятать отъ меня? Точно она стыдится, подумалъ я, но не показалъ виду, что замѣтилъ что-нибудь. Четверть часа спустя, когда я вышелъ на минутку въ кухню, она быстро вскочила съ постели и положила романъ на прежнее мѣсто; воротясь, я увидалъ уже его на столѣ. Черезъ минуту она позвала меня къ себѣ; въ голосъ ея отзывалось какое-то волненіе. Уже четыре дня какъ она почти не говорила со мной.

— Вы... сегодня... пойдете къ Наташѣ? спросила она меня прерывающимся голосомъ.

— Да, Нелли; мнѣ очень нужно ее видѣть сегодня.

Нелли замолчала.

— Вы... очень... ее любите? спросила она опять слабымъ голосомъ.

— Да, Нелли, очень люблю.

— И я ее люблю, прибавила она тихо.

Затѣмъ опять наступило молчаніе.

— Я хочу къ ней и съ ней буду жить, начала шептать Нелли, робко взглянувъ на меня.

— Это нельзя, Нелли, отвѣчалъ я, нѣсколько удивленный.—Развѣ тебѣ дурно у меня?

— Почему-жъ нельзя? и она вспыхнула.— Вѣдь уговариваете же вы меня, чтобъ я пошла жить къ ея отцу; а я не хочу идти. У ней есть служанка?

— Есть.

— Ну, такъ пусть она отошлетъ свою служанку, а я ей буду служить. Все буду ей дѣлать и ничего съ нея не возьму; я любить ее буду и кушанье буду варить. Вы такъ и скажите ей сегодня.

— Но къ чему же, что за фантазія, Нелли? И какъ же ты о ней судишь: неужели ты думаешь, что она согласится взять тебя вмѣсто кухарки? Ужъ если возьметъ она тебя, то какъ свою ровную, какъ младшую сестру свою.

— Нѣтъ, я не хочу, какъ ровная. Такъ я не хочу...

— Почему же?

Нелли молчала. Губки ея подергивало; ей хотѣлось плакать.

— Вѣдь тотъ, котораго она теперь любитъ, уѣдетъ отъ нея и ее одну броситъ? спросила она наконецъ.

Я удивился.

— Да почему ты знаешь, Нелли?

— Вы и сами говорили мнѣ все, и третьяго дня, когда мужъ Александры Семеновны приходилъ утромъ, я его спрашивала; онъ мнѣ все и сказалъ.

— Да развѣ Маслобоевъ приходилъ утромъ?

— Приходилъ, отвѣчала она, потупивъ глазки.

— А зачѣмъ же ты мнѣ не сказала, что онъ приходилъ?

— Такъ...

Я подумалъ съ минуту. Богъ знаетъ, зачѣмъ этотъ Маслобоевъ шляется, съ своею таинственностью. Что за сношенія завелъ? Надо бы его увидать.

— Ну, такъ что-жъ тебѣ, Нелли, если онъ ее броситъ?

— Вѣдь вы ее любите же очень, отвѣчала Нелли, не подымая на меня глазъ.—А коли любите, стало-быть, замужъ ее возьмете, когда тотъ уѣдетъ.

— Нѣтъ, Нелли, она меня не любитъ такъ, какъ я ее люблю, да и я... Нѣтъ, не будетъ этого, Нелли.

— А я бы вамъ обоимъ служила какъ служанка ваша, а вы бы жили и радовались, проговорила она чуть не шопотомъ, не смотря на меня.

„Что съ ней, что съ ней!“ подумалъ я, и вся душа пе-

ревернулась во мнѣ. Нелли замолчала и болѣе во весь вечеръ не сказала ни слова. Когда же я ушелъ, она заплакала, плакала весь вечеръ, какъ донесла мнѣ Александра Семеновна, и такъ и уснула въ слезахъ. Даже ночью, во снѣ, она плакала и что-то ночью говорила въ бреду.

Но съ этого дня она сдѣлалась еще угрюмѣе и молчаливѣе и совсѣмъ ужъ не говорила со мной. Правда, я замѣтилъ два - три взгляда ея, брошенные на меня украдкой, и въ этихъ взглядахъ было столько нѣжности! Но это проходило вмѣстѣ съ мгновениемъ, вызвавшимъ эту внезапную нѣжность, и какъ бы въ отпоръ этому вызову, Нелли, чуть не съ каждымъ часомъ, дѣлалась все мрачнѣе, даже съ докторомъ, удивлявшимся перемѣнѣ ея характера. Между тѣмъ она уже совсѣмъ почти выздоровѣла, и докторъ позволилъ ей, наконецъ, погулять на свѣжемъ воздухѣ, но только очень немного. Погода стояла свѣтлая, теплая. Была Страстная недѣля, приходившаяся въ этотъ разъ очень поздно; я вышелъ поутру; мнѣ надо было непременно быть у Наташи, но я положилъ раньше воротиться домой, чтобъ взять Нелли и идти съ нею гулять; дома же покажѣсть оставилъ ее одну.

Но не могу выразить, какой ударъ ожидалъ меня дома. Я слѣшилъ домой. Прихожу и вижу, что ключъ торчитъ снаружи у двери. Вхожу: никого нѣтъ. Я обмеръ. Смотрю: на столѣ бумажка и на ней написано карандашомъ, крупнымъ, неровнымъ почеркомъ:

„Я ушла отъ васъ и больше къ вамъ никогда не приду. Но я васъ очень люблю.

Ваша вѣрная Нелли“.

Я вскрикнулъ отъ ужаса и бросился вонъ изъ квартиры.

ГЛАВА IV.

Я еще не успѣлъ выбѣжать на улицу, не успѣлъ сообразить, что и какъ теперь дѣлать, какъ вдругъ увидѣлъ, что у нашихъ воротъ останавливаются дрожки и изъ дрожекъ выходитъ Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крѣпко держала ее, точно боялась, чтобъ она не убѣжала другой разъ. Я такъ и бросился къ нимъ.

— Нелли, что съ тобой! закричалъ я, — куда ты ушла, зачѣмъ?

— Пойдите, не торопитесь; пойдите - ва поскорѣе къ вамъ, тамъ все и узнаете, зашебетала Александра Семе-

новна.—Какія вещи - то я вамъ расскажу, Иванъ Петровичъ, шептала она наскоро дорогою.—Дивитесь только надо... Вотъ пойдете, сейчасъ узнаете.

На лицѣ ея было написано, что у ней были чрезвычайно важныя новости.

— Ступай, Нелли, ступай, прилягъ жемножко, сказала она, когда мы вошли въ комнаты,—вѣдь ты устала; шуткали, сколько обѣгала; а послѣ болѣзни-то тяжело; прилягъ, голубчикъ, прилягъ. А мы съ вами уйдемте - ка пока отсюда, не будемъ ей мѣшать, пусть уснетъ.

И она мигнула мнѣ, чтобъ я вышелъ съ ней въ кухню.

Но Нелли не прилегла, она сѣла на диванъ и закрыла обѣими руками лицо.

Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мнѣ въ чемъ дѣло. Потомъ я узналъ еще болѣе подробностей. Вотъ какъ это все было.

Уйдя отъ меня, часа за два до моего возвращенія, и оставивъ мнѣ записку, Нелли побѣжала сперва къ старичку-доктору. Адресъ его она успѣла вывѣдать еще прежде. Докторъ рассказывалъ мнѣ, что онъ такъ и обмеръ, когда увидѣлъ у себя Нелли, и все время, пока она была у него, „не вѣрилъ глазамъ своимъ“. „Я и теперь не вѣрю, прибавилъ онъ, въ заключеніе своего рассказа,—и никогда этому не повѣрю“. И однакожъ Нелли дѣйствительно была у него. Онъ сидѣлъ спокойно въ своемъ кабинетѣ, въ креслахъ, въ шлафрохѣ и за кофеемъ, когда она вбѣжала и бросилась къ нему на шею, прежде чѣмъ онъ успѣлъ опомниться. Она плакала, обнимала и цѣловала его, цѣловала ему руки и убѣдительно, хотя и безсвязно, просила его, чтобъ онъ взялъ ее жить къ себѣ; говорила, что не хочетъ и не можетъ болѣе жить со мной, потому и ушла отъ меня; что ей тяжело; что она уже не будетъ болѣе смѣяться надъ нимъ и говорить о новыхъ платьяхъ, и будетъ вести себя хорошо, будетъ учиться, выучится „манишки ему стирать и гладить“ (вѣроятно, она сообразила всю свою рѣчь дорогою, а, можетъ-быть, и раньше) и что, наконецъ, будетъ послушна и хоть каждый день будетъ принимать какіе угодно порошки. А что если она говорила тогда, что замужъ хотѣла за него выйти, такъ вѣдь это она шутила, что она и не думаетъ объ этомъ. Старый нѣмецъ былъ такъ ошеломленъ, что сидѣлъ все время разинувъ ротъ, поднявъ свою руку, въ которой держалъ сигару, и забывъ о сигарѣ, такъ что она и потухла.

— Мадмуазель, проговорилъ онъ, наконецъ, получивъ кое-какъ употребленіе языка,—мадмуазель, сколько я васъ понялъ, вы просите, чтобъ я вамъ далъ мѣсто у себя. Но это—невозможно! Вы видите, я очень стѣсненъ и не имѣю значительнаго дохода... И, наконецъ, такъ прямо, не подумавъ... Это ужасно! И, наконецъ, вы, сколько я вижу, бѣжали изъ своего дома. Это очень непохвально и невозможно... И, наконецъ, я вамъ позволилъ только немного гулять, въ ясный день, подъ надзоромъ вашего благодѣтеля, а вы бросаете своего благодѣтеля и бѣжите ко мнѣ, тогда какъ вы должны беречь себя и... и... принимать лѣкарство. И, наконецъ... наконецъ, я ничего не понимаю...

Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичокъ все болѣе и болѣе впадалъ въ изумленіе и все болѣе и болѣе ничего не понималъ. Наконецъ, Нелли бросила его, вскрикнула: „Ахъ, Боже мой!“ и выбѣжала изъ комнаты. „Я былъ боленъ весь этотъ день, прибавилъ докторъ, заключая свой рассказъ,—и на ночь принялъ декоктъ...“

А Нелли бросилась къ Маслобоевымъ. Она запаслась и ихъ адресомъ и отыскала ихъ, хотя и не безъ труда. Маслобоевъ былъ дома. Александра Семеновна такъ и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее къ нимъ. На ея же разспросы: почему ей такъ хочется, что ей, тяжело, что-ли, у меня? Нелли ничего не отвѣчала и бросилась рыдая на стулъ. „Она такъ рыдала, такъ рыдала, рассказывала мнѣ Александра Семеновна,—что я думала, она умретъ отъ этого“. Нелли просилась хоть въ горничныя, хоть въ кухарки, говорила, что будетъ полъ мести и научится бѣлье стирать. (На этомъ мытѣ бѣлья она основывала какія-то особенныя надежды и почему-то считала это самымъ сильнымъ прельщеніемъ, чтобъ ее взяли). Мнѣніе Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъясненія дѣла, а мнѣ дать знать. Но Филиппъ Филиппычъ рѣшительно этому воспротивился и тотчасъ же приказалъ отвезти бѣглянку ко мнѣ. Дорогою Александра Семеновна обнимала и цѣловала ее, отчего Нелли еще больше начала плакать. Смотри на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Такъ обѣ всю дорогу и плакали.

— Да почему же, почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить; чтò онъ, обижаетъ тебя, что-ли? спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна.

— Нѣтъ, не обижаетъ...

— Ну, такъ отчего же?

— Такъ, не хочу у него жить... не могу... я такая съ нимъ все злая... а онъ добрый... а у васъ я не буду злая, я буду работать, проговорила она, рыдая какъ въ истерику.

— Отчего же ты съ нимъ такая злая, Нелли?..

— Такъ...

— И только я отъ нея это: „такъ“ и выпытала, заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы.—Что это она за горемичная такая? Родимецъ, что-ли, это? Какъ вы думаете, Иванъ Петровичъ?

Мы вошли къ Нелли; она лежала, скрывъ лицо въ подушкахъ, и плакала. Я сталъ передъ ней на колѣни, взялъ ея руки и началъ цѣловать ихъ. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнѣе. Я не зналъ, что и говорить. Въ эту минуту вошелъ старикъ Ихменевъ.

— А я къ тебѣ по дѣлу, Иванъ, здравствуй! сказалъ онъ, оглядывая насъ всѣхъ и съ удивленіемъ видя меня на колѣняхъ.

Старикъ былъ боленъ все послѣднее время. Онъ былъ блѣденъ и худъ, но какъ будто храбрясь передъ кѣмъ-то, презиралъ свою болѣзнь, не слушалъ увѣщаній Анны Андреевны, не дожился и продолжалъ ходить по своимъ дѣламъ.

— Прощайте покажѣсть, сказала Александра Семеновна, пристально посматрѣвъ на старика. — Мнѣ Филиппъ Филиппычъ приказалъ какъ можно скорѣе воротиться. Дѣло у насъ есть. А вечеромъ, въ сумерки, прїѣду къ вамъ, часика два посижу.

— Кто такая? шепнулъ мнѣ старикъ, повидимому, думая о другомъ.

Я объяснилъ.

— Гм! А вотъ я по дѣлу, Иванъ...

Я зналъ, по какому онъ дѣлу, и ждалъ его посѣщенія. Онъ пришелъ переговорить со мной и съ Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась, наконецъ, взять въ домъ сиротку. Случилось это вслѣдствіе нашихъ тайныхъ разговоровъ: я убѣдилъ Анну Андреевну и сказалъ ей, что видъ сиротки, которой мать была тоже проклята своимъ отцомъ, можетъ-быть, повернетъ сердце нашего старика на другія мысли. Я такъ ярко разъяснилъ ей свой планъ, что она теперь сама уже стала приста-

вать къ мужу, чтобъ взять сиротку. Старикъ съ готовностью принялся за дѣло: ему хотѣлось, во-первыхъ, угодить своей Аннѣ Андреевнѣ, а во-вторыхъ, у него были свои соображенія... Но все это я объясню потомъ подробнѣе...

Я сказалъ уже, что Нелли не любила старика еще съ перваго его посѣщенія. Потомъ я замѣтилъ, что даже какая-то ненависть проглядывала въ лицѣ ея, когда проносили при ней имя Ихменева. Старикъ началъ дѣло тотчасъ же, безъ околичностей. Онъ прямо подошелъ къ Нелли, которая все еще лежала, скрывъ лицо свое въ подушкахъ, и, взявъ ее за руку, спросилъ: хочеть-ли она перейти къ нему жить вмѣсто дочери?

— У меня была дочь, я ее любилъ больше самого себя, заключилъ старикъ, — но теперь ее нѣтъ со мной. Она умерла. Хочешь-ли ты заступитъ ея мѣсто въ моемъ домѣ и... въ моемъ сердцѣ?

И въ его глазахъ, сухихъ и воспаленныхъ отъ лихорадочнаго жара, накипѣла слеза.

— Нѣтъ, не хочу, отвѣчала Нелли, не подымая головы.

— Почему же, дитя мое? У тебя нѣтъ никого. Иванъ не можетъ держать тебя вѣчно при себѣ, а у меня ты будешь какъ въ родномъ домѣ.

— Не хочу, потому что вы злой. Да, злой, злой, прибавила она, подымая голову и садясь на постели противъ старика. — Я сама злая, и злѣе всѣхъ, но вы еще злѣе меня!..

Говоря это, Нелли поблѣднѣла, глаза ея засверкали; даже дрожавшія губы ея поблѣднѣли и искривились отъ прилива какого-то сильнаго ощущенія. Старикъ въ недоумѣніи смотрѣлъ на нее.

— Да, злѣе меня, потому что вы не хотите простить свою дочь; вы хотите забыть ее совсѣмъ и берете къ себѣ другое дитя, а развѣ можно забыть свое родное дитя? Развѣ вы будете любить меня? Вѣдь какъ только вы на меня взглянете, такъ и вспомните, что я вамъ чужая, и что у васъ была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокой человѣкъ. А я не хочу жить у жестокихъ людей; не хочу, не хочу!..

Нелли всхлипнула и мелькомъ взглянула на меня.

— Послѣзавтра Христосъ воскресъ, всѣ цѣлуются и обнимаются, всѣ мирятся, всѣ вины прощаются... Я вѣдь знаю... Только вы... одинъ вы... у, жестокой! Подите прочь!

Она залилась слезами. Эту рѣчь она, кажется, давно уже сообразила и вытвердила, на случай, если старикъ еще разъ будетъ ее приглашать къ себѣ. Старикъ былъ пораженъ и поблѣднѣлъ. Болѣзненное ощущеніе вырази-лось въ лицѣ его.

— И къ чему, къ чему, зачѣмъ обо мнѣ всѣ такъ без-покоятся? Я не хочу, не хочу! вскрикнула вдругъ Нелли въ какомъ-то изступленіи.—Я милостыню пойду просить!

— Нелли, чтò съ тобой? Нелли, другъ мой! вскрикнулъ я невольно, но восклицаніемъ моимъ только подлил къ огню масла.

— Да, я буду лучше ходить по улицамъ и милостыню просить, а здѣсь не останусь! кричала она, рыдая.—И мать моя милостыню просила, а когда умирала, сама сказала мнѣ: будь бѣдная, и лучше милостыню проси, чѣмъ... Милостыню не стыдно просить: я не у одного человѣка прошу, я у всѣхъ прошу, а всѣ не одинъ человѣкъ; у одного стыдно, а у всѣхъ не стыдно; такъ мнѣ одна нищенка говорила; вѣдь я маленькая, мнѣ негдѣ взять. Я у всѣхъ и прошу, не хочу, не хочу, я злая, я злѣе всѣхъ; вотъ какая я злая!

И Нелли вдругъ совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее объ полъ.

— Вотъ теперь и разбилась, прибавила она, съ какимъ-то вызывающимъ торжествомъ смотря на меня,—чашекъ-то всего двѣ, прибавила она,—я и другую разобью... Тогда изъ чего будете чай-то пить?

Она была какъ взбѣшенная, и какъ будто сама ощу-щала наслажденіе въ этомъ бѣшенствѣ, какъ будто сама сознавала, что это и стыдно, и не хорошо, и въ то же время какъ будто поджигала себя на дальнѣйшія выходки.

— Она больна у тебя, Ваня, вотъ чтò, сказалъ старикъ,—или... или я ужъ и не понимаю чтò это за ребен-окъ. Прощай!

Онъ взялъ свою фуражку и пожалъ мнѣ руку. Онъ былъ какъ убитый; Нелли страшно оскорбила его; все поднялось во мнѣ.

— И не пожалѣла ты его, Нелли! вскричалъ я, когда мы остались одни;—и не стыдно, не стыдно тебѣ! Нѣтъ, ты не добрая, ты и вправду злая!

И какъ былъ безъ шляпы, такъ и побѣжалъ я вслѣдъ за старикомъ. Мнѣ хотѣлось проводить его до воротъ и хоть два слова сказать ему въ утѣшеніе. Сбѣгая съ лѣст-

ницы, я какъ будто еще видѣлъ передъ собой лицо Нелли, страшно поблѣднѣвшее отъ моихъ упрековъ.

Я скоро догналъ моего старика.

— Бѣдная дѣвочка оскорблена, и у ней свое горе, вѣрь мнѣ, Иванъ, а я ей о своемъ сталъ расписывать, сказалъ онъ, горько улыбаясь. — Я растравилъ ее рану. Говорятъ, что сытый голоднаго не разумѣетъ; а я, Ваня, прибавлю, и голодный голоднаго не всегда пойметъ. Ну, прощай!

Я было заговорилъ о чемъ-то постороннемъ; но старикъ только рукой махнулъ.

— Полно меня-то утѣшать; лучше смотри, чтобъ твоя-то не убѣжала отъ тебя; она такъ и смотритъ, прибавилъ онъ съ какимъ-то озлобленіемъ и пошелъ отъ меня скорыми шагами, помахивая и постукивая своей палкой по тротуару.

Онъ и не ожидалъ, что будетъ пророкомъ.

Что сдѣлалось со мной, когда, воротясь къ себѣ, я, къ ужасу моему, опять не нашелъ дома Нелли! Я бросился въ сѣни, искалъ ее на лѣстницѣ, кликалъ, стучался даже у сосѣдей и спрашивалъ о ней; повѣрить я не могъ и не хотѣлъ, что она опять бѣжала. И какъ она могла убѣжать? Ворота въ домъ одни; она должна была пройти мимо насъ, когда я разговаривалъ со старикомъ. Но скоро, къ большому моему унынію, я сообразилъ, что она могла прежде спрятаться гдѣ-нибудь на лѣстницѣ и выждать, пока я пройду обратно домой, а потомъ бѣжать, такъ что я никакъ не могъ ее встрѣтить. Во всякомъ случаѣ она не могла далеко уйти.

Въ сильномъ безпокойствѣ выбѣжалъ я опять на поиски, оставивъ на всякій случай квартиру отпертою.

Прежде всего я отправился къ Маслобоевымъ. Маслобоевыхъ я не засталъ дома, ни его, ни Александры Семеновны. Оставивъ у нихъ записку, въ которой извѣщалъ ихъ о новой бѣдѣ и прося, если къ нимъ придетъ Нелли, немедленно дать мнѣ знать, я пошелъ къ доктору: того тоже не было дома, служанка объявила мнѣ, что кромѣ давешняго посѣщенія, другого не было. Что было дѣлать? Я отправился къ Бубновой и узналъ отъ знакомой мнѣ гробовщицы, что хозяйка со вчерашняго дня сидитъ за что-то въ полиціи, а Нелли тамъ съ *тѣхъ поръ* и не видали. Усталый, измученный, я побѣжалъ опять къ Маслобоевымъ; тотъ же отвѣтъ: никого не было, да и они сами

еще не возвращались. Записка моя лежала на столѣ. Что было мнѣ дѣлать?

Въ смертельной тоскѣ возвращался я къ себѣ домой поздно вечеромъ. Мнѣ надо было въ этотъ вечеръ быть у Наташи; она сама звала меня еще утромъ. Но я даже и не ѣлъ ничего въ этотъ день; мысль о Нелли возмущала всю мою душу.

„Что-же это такое? думалъ я.—Неужели-жъ это такое мудреное слѣдствіе болѣзни? Ужъ не сумасшедшая-ли она или сходитъ съ ума? Но Боже мой,—гдѣ она теперь, гдѣ я сыщу ее!“ Только что я это воскликнулъ, какъ вдругъ увидѣлъ Нелли, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, на В—мъ мосту. Она стояла у фонаря и меня не видала. Я хотѣлъ бѣжать къ ней, но остановился: „Что-жъ это она здѣсь дѣлаетъ?“ подумалъ я въ недоумѣніи и, увѣренный, что теперь ужъ не потеряю ее, рѣшился ждать и наблюдать за ней. Прошло минутъ десять, она все стояла, поглядывая на прохожихъ. Наконецъ, прошелъ одинъ старичокъ, хорошо одѣтый, и Нелли подошла къ нему: тотъ, не останавливаясь, вынулъ что-то изъ кармана и подалъ ей. Она ему поклонилась. Не могу выразить, что почувствовалъ я въ это мгновеніе. Мучительно сжалось мое сердце; какъ будто что-то дорогое, что я любилъ, лелѣялъ и миловалъ, было опозорено и оплевано передо мной въ эту минуту, но вмѣстѣ съ тѣмъ и слезы потекли изъ глазъ моихъ.

Да, слезы о бѣдной Нелли, хотя я въ то же время чувствовалъ непримиримое негодованіе: она не отъ нужды просила; она была не брошенная, не оставленная кѣмъ-нибудь на произволь судьбы; бѣжала не отъ жестокихъ притѣснителей, а отъ друзей своихъ, которые ее любили и лелѣяли. Она какъ будто хотѣла кого-то изумить или испугать своими подвигами; точно она хвасталась передъ кѣмъ-то! Но что-то тайное зрѣло въ ея душѣ... Да, старикъ былъ правъ; она оскорблена, рана ея не могла зажить, и она какъ бы нарочно старалась растравлять свою рану этой таинственностью, этой недовѣрчивостью ко всѣмъ намъ; точно она наслаждалась сама своей болью, этимъ *эпизодомъ страданія*, если такъ можно выразиться. Это растравленіе боли и это наслажденіе ею было мнѣ понятно: это наслажденіе многихъ обиженныхъ и оскорбленныхъ, пригнетенныхъ судьбою и сознающихъ въ себѣ ея несправедливость. Но на какою же несправедливость нашу могла пожаловаться Нелли? Она какъ будто хотѣла насъ

удивить и испугать своими подвигами, своими капризами и дикими выходками, точно она въ самомъ дѣлѣ передъ нами хвалилась... Но нѣтъ! Она теперь одна, никто не видитъ изъ насъ, что она просила милостыню. Неужели-жъ она сама про себя находила въ этомъ наслажденіе? Для чего ей милостыня, для чего ей деньги?

Получивъ подаеніе, она сошла съ моста и подошла къ ярко освѣщеннымъ окнамъ одного магазина. Тутъ она принялась считать свою добычу; я стоялъ въ десяти шагахъ. Денегъ въ рукѣ ея было уже довольно; видно, что она съ самаго утра просила. Зажавъ ихъ въ рукѣ, она перешла черезъ улицу и вошла въ мелочную лавочку. Я тотчасъ же подошелъ къ дверямъ лавочки, отвореннымъ настежь, и смотрѣлъ: что она тамъ будетъ дѣлать?

Я видѣлъ, что она положила на прилавокъ деньги и ей подали чашку, простую чайную чашку, очень похожую на ту, которую она давеча разбила, чтобъ показать мнѣ и Ихменеву, какая она злая. Чашка эта стояла, можетъ-быть, копеекъ пятнадцать, можетъ-быть, даже и меньше. Купецъ завернулъ ее въ бумагу, завязавъ и отдалъ Нелли, которая торопливо, съ довольнымъ видомъ, вышла изъ лавочки.

— Нелли! вскрикнулъ я, когда она поровнялась со мною,—Нелли!

Она вздрогнула, взглянула на меня, чашка выскользнула изъ ея рукъ, упала на мостовую и разбилась. Нелли была блѣдна; но, взглянувъ на меня и увѣрившись, что я все видѣлъ и знаю, вдругъ покраснѣла; этой краской скрывался нестерпимый, мучительный стыдъ. Я взялъ ее за руку и повелъ домой; идти было недалеко. Мы ни слова не промолвили дорогою. Придя домой, я сѣлъ; Нелли стояла передо мной, задумчивая и смущенная, блѣдная попрежнему, опустивъ въ землю глаза. Она не могла смотрѣть на меня.

— Нелли, ты просила милостыню?

— Да! прошептала она и еще больше потупилась.

— Ты хотѣла набрать денегъ, чтобъ купить разбитую давеча чашку?

— Да...

— Но развѣ я попрекалъ тебя, развѣ я бранилъ тебя за эту чашку? Неужели-жъ ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого въ твоёмъ поступкѣ? Хорошо-ли это? Неужели тебѣ не стыдно? Неужели...

— Стыдно... прошептала она чуть слышнымъ голосомъ и слезинка покатилаь по ея щекѣ.

— Стыдно... повторилъ я за нею.—Нелли, милая, если я виноватъ передъ тобой, прости меня и помиримся.

Она взглянула на меня, слезы брызнули изъ ея глазъ, и она бросилась ко мнѣ на грудь.

Въ эту минуту влетѣла Александра Семеновна.

— Что! Она дома? Опять? Ахъ, Нелли, Нелли, что это съ тобой дѣлается? Ну, да хорошо, что, по крайней мѣрѣ, дома... Гдѣ вы отыскали ее, Иванъ Петровичъ?

Я мигнулъ Александрѣ Семеновнѣ, чтобъ она не спрашивала, и она поняла меня. Я нѣжно простился съ Нелли, которая все еще горько плакала, и упробилъ добренькую Александру Семеновну посидѣть съ ней до моего возвращенія, а самъ побѣжалъ къ Наташѣ. Я опоздалъ и торопился.

Въ этотъ вечеръ рѣшалась наша судьба: намъ было много о чемъ говорить съ Наташей, но я все-таки вернулъ словечко о Нелли и рассказалъ все, что случилось, со всѣми подробностями. Разказъ мой очень заинтересовалъ и даже поразилъ Наташу.

— Знаешь что, Ваня, сказала она, подумавъ,—мнѣ кажется, она тебя любить.

— Что... какъ это? спросилъ я въ удивленіи.

— Да, это начало любви, женской любви...

— Что ты, Наташа, полно! Вѣдь она ребенокъ!

— Которому скоро четырнадцать лѣтъ. Это ожесточеніе оттого, что ты не понимаешь ея любви, да и она-то, можетъ-быть, сама не понимаетъ себя; ожесточеніе, въ которомъ много дѣтскаго, но серьезное, мучительное. Главное—она ревнуетъ тебя ко мнѣ. Ты такъ меня любишь, что вѣрно и дома только обо мнѣ одной заботишься, говоришь и думаешь, а потому на нее обращаешь мало вниманія. Она замѣтила это, и ее это уязвило. Она, можетъ-быть, хочетъ говорить съ тобой, чувствуетъ потребность раскрыть передъ тобой свое сердце, не умѣетъ, стыдится, сама не понимаетъ себя, ждетъ случая, а ты, вмѣсто того, чтобъ ускорить этотъ случай, отдаляешься отъ нея, убѣгаешь отъ нея ко мнѣ и даже, когда она была больна, по цѣлымъ днямъ оставлялъ ее одну. Она и плачетъ объ этомъ; ей тебя недостаетъ и пуще всего ей больно, что ты этого не замѣчаешь. Ты вотъ и теперь, въ такую минуту, оставилъ ее одну для себя. Да она

больна будетъ завтра отъ этого. И какъ ты могъ оставить ее? Ступай къ ней скорѣе...

— Я и не оставилъ бы ее, но...

— Ну, да, я сама тебя просила придти. А теперь ступай.

— Пойду, но только, разумѣется, я ничему этому не вѣрю.

— Оттого, что все это на другихъ не похоже. Вспомни ея исторію, сообрази все, и повѣришь. Она росла не такъ, какъ мы съ тобой...

Воротился я все-таки поздно. Александра Семеновна рассказала мнѣ, что Нелли опять, какъ въ тотъ вечеръ, очень много плакала „и такъ и уснула въ слезахъ“, какъ тогда.

— А ужъ теперь я уйду, Иванъ Петровичъ, такъ и Филиппъ Филиппычъ приказаль. Ждетъ онъ меня, бѣдный.

Я поблагодарилъ ее и сѣлъ у изголовья Нелли. Мнѣ самому было тяжело, что я могъ оставить ее въ такую минуту. Долго, до глубокой ночи, сидѣлъ я надъ нею задумавшись... Роковое было это время.

Но надо рассказать, что случилось въ эти двѣ недѣли.

ГЛАВА V.

Послѣ достопамятнаго для меня вечера, проведеннаго мною съ княземъ въ ресторанѣ у Б., я нѣсколько дней сряду былъ въ постоянномъ страхѣ за Наташу. „Чѣмъ грозилъ ей этотъ проклятый князь и чѣмъ именно хотѣлъ отмстить ей?“ спрашивалъ я самъ себя поминутно и терялся въ разныхъ предположеніяхъ. Я пришелъ, наконецъ, къ заключенію, что угрозы его были не вздоръ, не фанфаронство, и что покажеть она живетъ съ Алешей, князь дѣйствительно могъ надѣлать ей много неприятностей. Онъ мелочень, мстителень, золь и расчетливъ; думаль я. Трудно, чтобъ онъ могъ забыть оскорбленіе и не воспользоваться какимъ-нибудь случаемъ къ отмщенію. Во всякомъ случаѣ, онъ указаль мнѣ на одинъ пунктъ во всемъ этомъ дѣлѣ и высказался насчетъ этого пункта довольно ясно: онъ настоятельно требоваль разрыва Алеши съ Наташей и ожидаль отъ меня, чтобъ я приготовилъ ее къ близкой разлукѣ, и такъ приготовилъ, чтобъ не было „сценъ, пасторалей и шиллеровщины“. Разумѣется, онъ хлопоталь всего болѣе о томъ, чтобъ Алеша остался имъ доволенъ и продолжалъ его считать нѣжнымъ отцомъ; а это ему было очень нужно для удобнѣйшаго овладѣнія

впослѣдствіи Катиными деньгами. И такъ, мнѣ предстояло приготовить Наташу къ близкой разлуцѣ. Но въ Наташѣ я замѣтилъ сильную перемену; прежней откровенности ея со мною и помину не было; мало того, она какъ будто стала со мной недоувѣрчива. Утѣшенія мои ея только мучили; мои разспросы все болѣе и болѣе досаждали ей, даже сердили ея. Сижу, бывало, у ней, гляжу на нее. Она ходитъ, скрестивъ руки, по комнатѣ изъ угла въ уголь, мрачная, блѣдная, какъ будто въ забытіи, забывъ даже, что и я тутъ, подлѣ нея. Когда же ей случалось взглянуть на меня (а она даже и взглядовъ моихъ избѣгала), то нетерпѣливая досада вдругъ проглядывала въ ея лицѣ и она быстро отворачивалась. Я понималъ, что она сама обдумывала, можетъ-быть, какой-нибудь свой собственный планъ о близкомъ, предстоящемъ разрывѣ и могла-ли она его безъ боли, безъ горечи обдумывать? А я былъ убѣжденъ, что она уже рѣшилась на разрывъ. Но все-таки меня мучило и пугало ея мрачное отчаяніе. Къ тому же, говорить съ ней, утѣшать ея я иногда и не смѣлъ, а потому со страхомъ ожидалъ, чѣмъ это все разрѣшится.

Что же касается до ея суроваго и неприступнаго вида со мной, то это меня хоть и беспокоило, хоть и мучило, но я былъ увѣренъ въ сердцѣ моей Наташи: я видѣлъ, что ей очень тяжело и что она была слишкомъ разстроена. Всякое постороннее вмѣшательство возбуждало въ ней только досаду, злобу. Въ такомъ случаѣ особенно вмѣшательство близкихъ друзей, знающихъ наши тайны, становится намъ всего досаднѣе. Но я зналъ тоже очень хорошо, что въ послѣднюю минуту Наташа придетъ же ко мнѣ снова и въ моемъ же сердцѣ будетъ искать себѣ облегченія.

О моемъ разговорѣ съ княземъ я, разумѣется, ей умолчалъ: рассказъ мой только бы взволновалъ и разстроилъ ея еще болѣе. Я сказалъ ей только такъ, мимоходомъ, что былъ съ княземъ у графини и убѣдился, что онъ ужасный подлецъ. Но она и не спрашивала про него, чему я былъ очень радъ; зато жадно выслушала все, что я рассказалъ ей о моемъ свиданіи съ Катей. Выслушавъ, она тоже ничего не сказала и о ней, но краска покрыла ея блѣднее лицо, и весь почти этотъ день она была въ особенномъ волненіи. Я не скрылъ ничего о Катѣ и прямо признался, что даже и на меня Катя произвела прекрас-

ное впечатлѣніе. Да и въ чему было скрывать? Вѣдь Наташа угадала бы, что я скрываю, и только [разсердилась бы на меня за это. А потому я нарочно рассказывалъ какъ можно подробнѣе, стараясь предупредить всѣ ея вопросы, тѣмъ болѣе, что ей самой, въ ея положеніи, трудно было меня спрашивать: легко-ли въ самомъ дѣлѣ, подъ видомъ равнодушія, выпытывать о совершенствахъ своей соперницы?

Я думалъ, что она еще не знаетъ, что Алеша, по непремѣнному распоряженію князя, долженъ былъ сопровождать графиню и Катю въ деревню, и затруднился, какъ отереть ей это, чтобъ, по возможности, смягчить ударъ. Но каково же было мое изумленіе, когда Наташа съ первыхъ же словъ остановила меня и сказала, что нечего ее *утѣшать*, что она уже пять дней какъ знаетъ про это.

— Боже мой! всеричалъ я,—да кто же тебѣ сказалъ?

— Алеша.

— Какъ? Онъ уже сказалъ?

— Да, и я на все рѣшилась, Ваня, прибавила она съ такимъ видомъ, который ясно и какъ-то нетерпѣливо предупреждалъ меня, чтобъ я и не продолжалъ этого разговора.

Алеша довольно часто бывалъ у Наташи, но все на минутку; одинъ разъ только просидѣлъ у ней нѣсколько часовъ сряду, но это было безъ меня. Входилъ онъ обыкновенно грустный, смотрѣлъ на нее робко и нѣжно; но Наташа такъ нѣжно, такъ ласково встрѣчала его, что онъ тотчасъ же все забывалъ и развеселялся. Ко мнѣ онъ тоже началъ ходить очень часто, почти каждый день. Правда, онъ очень мучился, но не могъ и минуты пробыть одинъ съ своей тоской и поминутно прибѣгалъ ко мнѣ за утѣшеніемъ.

Что могъ я сказать ему? Онъ упрекалъ меня въ холодности, въ равнодушіи, даже въ злобѣ къ нему; тосковалъ, плакалъ, уходилъ къ Катѣ и ужъ тамъ утѣшался.

Въ тотъ день, когда Наташа объявила мнѣ, что знаетъ про отъѣздъ (это было съ недѣлю послѣ разговора моего съ княземъ), онъ вбѣжалъ ко мнѣ въ отчаяніи, обнялъ меня, упалъ ко мнѣ на грудь и зарыдалъ какъ ребенокъ. Я молчалъ и ждалъ, что онъ скажетъ.

— Я низкій, я подлый человекъ, Ваня, началъ онъ мнѣ, — спаси меня отъ меня самого. Я не оттого плачу, что я низокъ и подлъ, но оттого, что черезъ меня На-

таша будеть несчастна. Вѣдь я оставляю ее на несчастье... Ваня, другъ мой, скажи мнѣ, рѣши за меня, кого я больше люблю изъ нихъ: Катю или Наташу?

— Этого я не могу рѣшить, Алеша, отвѣчалъ я,—тебѣ лучше знать, чѣмъ мнѣ...

— Нѣтъ, Ваня, не то; вѣдь я не такъ глупъ, чтобъ задавать такіе вопросы; но въ томъ-то и дѣло, что я тутъ и самъ ничего не знаю. Я спрашиваю себя и не могу отвѣтить. А ты смотришь со стороны и, можетъ, больше моего знаешь... Ну, хоть и не знаешь, то скажи, какъ тебѣ кажется?

— Мнѣ кажется, что Катю ты больше любишь.

— Тебѣ такъ кажется! Нѣтъ, нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ! Ты совсѣмъ не угадалъ. Я безпредѣльно люблю Наташу. Я ни за что, никогда не могу ее оставить; я это и Катѣ сказалъ, и Катя совершенно со мною согласна. Что-жъ ты молчишь? Вотъ, я видѣлъ, ты сейчасъ улыбнулся. Эхъ, Ваня, ты никогда не утѣшалъ меня, когда мнѣ было слишкомъ тяжело, какъ теперь... Прощай!

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты, оставивъ чрезвычайное впечатлѣніе въ удивленной Нелли, молча выслушавшей нашъ разговоръ. Она тогда была еще больна, лежала въ постели и принимала лѣкарство. Алеша никогда не заговаривалъ съ нею и, при посѣщеніяхъ своихъ, почти не обращалъ на нее никакого вниманія.

Черезъ два часа онъ явился снова и я удивился его радостному лицу. Онъ опять бросился ко мнѣ на шею и обнялъ меня.

— Кончено дѣло! вскричалъ онъ,—всѣ недоумѣнія разрѣшены. Отъ васъ я прямо пошелъ къ Наташѣ: я былъ разстроены, я не могъ быть безъ нея. Войдя, я упалъ передъ ней на колѣни и цѣловалъ ея ноги: мнѣ это нужно было, мнѣ хотѣлось этого; безъ этого я бы умеръ съ тоски. Она молча обняла меня и заплакала. Тутъ я прямо ей сказалъ, что Катю люблю больше ея.

— Что-жъ она?

— Она ничего не отвѣчала, а только ласкала и утѣшала меня,—меня, который ей это сказалъ! Она умѣетъ утѣшать, Иванъ Петровичъ! О, я выплакалъ передъ ней все мое горе, все ей высказалъ. Я прямо сказалъ, что люблю очень Катю, но что какъ бы я ее ни любилъ и кого бы я ни любилъ, а все-таки безъ нея, безъ Наташи, обойтись не могу и умру. Да, Ваня, дня не проживу безъ

нея, я это чувствую, да! И потому мы рѣшили немедленно съ ней обвѣнчаться; а такъ какъ до отъѣзда нельзя этого сдѣлать, потому что теперь Великій постъ и вѣнчать не стануть, то ужъ по прїѣздѣ моемъ, а это будетъ къ первому юня. Отецъ позволить, въ этомъ нѣтъ и сомнѣнїя. Что же касается до Кати, то что-жъ такое! Я вѣдь не могу же жить безъ Наташи... Обвѣнчаемся и тоже туда съ ней поѣдемъ, гдѣ Катя...

Бѣдная Наташа! Какое было ей утѣшать этого мальчика, сидѣть надъ нимъ, выслушать его признанїе и выдумать ему, наивному эгоисту, для спокойствїя его, сказку о скоромъ бракѣ. Алеша дѣйствительно на нѣсколько дней успокоился. Онъ и бѣгалъ къ Наташѣ собственно изъ того, что слабое сердце его не въ силахъ было одно перенести печали. Но все-таки, когда время начало приближаться къ разлукѣ, онъ опять впалъ въ безпокойство, въ слезы, и опять прибѣгалъ ко мнѣ и выплакивалъ свое горе. Въ послѣднее время онъ такъ привязался къ Наташѣ, что не могъ ее оставить и на день, не только на полтора мѣсяца. Онъ вполне былъ однакожъ увѣренъ, до самой послѣдней минуты, что оставляетъ ее только на полтора мѣсяца и что по возвращенїи его будетъ ихъ свадьба. Что же касается до Наташи, то она, въ свою очередь, вполне понимала, что вся судьба ея мѣняется, что Алеша ужъ никогда теперь къ ней не воротится, и что такъ тому и слѣдуетъ быть.

День разлуки ихъ наступилъ. Наташа была больна, — блѣдная, съ воспаленнымъ взглядомъ, съ запекшимися губами, изрѣдка разговаривала сама съ собою, изрѣдка быстро и пронзительно взглядывала на меня, не плакала, не отвѣчала на мои разспросы и вздрагивала какъ листокъ на деревѣ, когда раздавался звонкій голосъ входившаго Алеши. Она вспыхивала какъ зарево и спѣшила къ нему; судорожно обнимала, цѣловала его, смѣялась... Алеша взглядывался въ нее, иногда съ безпокойствомъ разспрашивалъ, здорова-ли она, утѣшалъ, что уѣзжаетъ не надолго, что потомъ ихъ свадьба. Наташа дѣлала видимыя усилїя, перемогала себя и давила свои слезы. Она не плакала передъ нимъ.

Одинъ разъ онъ заговорилъ, что надо оставить ей денегъ на все время его отъѣзда, и чтобъ она не безпокоилась, потому что отецъ обѣщаль ему дать много на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоемъ, я

объявилъ, что у меня есть для нея *сто пятьдесятъ рублей*, на всякій случай. Она не разспрашивала откуда эти деньги. Это было за два дня до отъѣзда Алехи и наканунѣ перваго и послѣдняго свиданія Наташи съ Катей. Катя прислала съ Алешей записку, въ которой просила Наташу позволить посѣтить себя завтра; при чемъ писала и ко мнѣ: она просила и меня присутствовать при ихъ свиданіи.

Я непременно рѣшился быть, въ двѣнадцать часовъ (назначенный Катей часъ), у Наташи, несмотря ни на какія задержки; а хлопотъ и задержекъ было много. Не говоря уже о Нелли, въ послѣднее время мнѣ было много хлопотъ у Ихменевыхъ.

Эти хлопоты начались еще недѣлю назадъ. Анна Андреевна прислала въ одно утро за мною, съ просьбой бросить все и немедленно спѣшить къ ней, по очень важному дѣлу, не терпящему ни малѣйшаго отлагательства. Придя къ ней, я засталъ ее одну: она ходила по комнатѣ, вся въ лихорадкѣ отъ волненія и испуга, съ трепетомъ ожидая возвращенія Николая Сергѣича. По обыновенію, я долго не могъ добиться отъ нея, въ чемъ дѣло и чего она такъ испугалась, а между тѣмъ, очевидно, каждая минута была дорога. Наконецъ, послѣ горячихъ и ненужныхъ дѣлу попрековъ: „зачѣмъ я не хожу и оставляю ихъ, какъ сиротъ, однихъ въ горѣ“, такъ что ужъ „Богъ знаетъ, что безъ меня происходитъ“, — она объявила мнѣ, что Николай Сергѣичъ, въ послѣдніе три дня, былъ въ такомъ волненіи, „что и описать невозможно“.

— Просто на себя не похожъ, говорила она, — въ лихорадкѣ, по ночамъ, тихонько отъ меня, на колѣнкахъ передъ образомъ молится, во снѣ бредитъ, а на-яву какъ полоумный: стали вчера ѣсть щи, а онъ ложку подлѣ себя отыскать не можетъ, спросишь его про одно, а онъ отвѣчаетъ про другое. Изъ дому сталъ поминутно уходить: „все по дѣламъ, говорить, ухожу, адвоката видѣть надо“; наконецъ, сегодня утромъ заперся у себя въ кабинетѣ; „мнѣ, говорить, нужную бумагу по тяжбному дѣлу надо писать“. Ну, какую, думаю про себя, тебѣ бумагу писать, когда ложку подлѣ прибора не могъ отыскать? Однако въ замочную щелку я подсмотрѣла: сидитъ, пишеть, а самъ такъ и заливается-плачетъ. Какую же такую, думаю, дѣловую бумагу такъ пишуть? Али, можетъ, ему ужъ такъ Ихменевку нашу жалко; стало-быть, ужъ

совсѣмъ пропала наша Ихменевка! Вотъ думаю я это, а онъ вдругъ вскочилъ изъ-за стола, да какъ ударить перомъ по столу, раскраснѣлся, глаза сверкають, схватился за фуражку и выходитъ ко мнѣ. „Я, говорить, Анна Андреевна, скоро приду“. Ушелъ онъ, а я тотчасъ же къ его столику письменному; бумага у него по нашей тяжбѣ тамъ пропасть такая лежитъ, что ужъ онъ мнѣ и прикасаться къ нимъ не позволяетъ. Сколько разъ, бывало, прошу: „дай ты мнѣ хоть разъ бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла“. Куды, закричить, замашетъ руками: нетерпѣливый онъ такой сталъ здѣсь въ Петербургѣ, крикунъ. Такъ вотъ я къ столику-то подошла и ищу: которая это бумага, чтò онъ сейчасъ-то писалъ. Потому доподлинно знаю, что онъ ее съ собой не взялъ, а когда вставалъ изъ-за стола, то подъ другія бумаги сунулъ. Ну, вотъ, батюшка Иванъ Петровичъ, чтò я нашла, посмотри-ка.

И она подала мнѣ листъ почтовой бумаги, вполонину исписанный, но съ такими помарками, что въ иныхъ мѣстахъ разобрать было невозможно.

Бѣдный старикъ! Съ первыхъ строкъ можно было догадаться, чтò и къ кому онъ писалъ. Это было письмо къ Наташѣ, къ возлюбленной его Наташѣ. Онъ начиналъ горячо и нѣжно; онъ обращался къ ней съ прощеньемъ и звалъ ее къ себѣ. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и отрывисто, съ безчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первыя, задушевные строки, быстро, послѣ этихъ первыхъ строкъ, переродилось въ другое: старикъ начиналъ укорять дочь, яркими красками описывалъ ей ея преступленіе, съ негодованіемъ напоминалъ ей объ ея упорствѣ, упрекалъ въ безчувственности, въ томъ, что она ни разу, можетъ быть, и не подумала, чтò сдѣлала съ отцомъ и матерью. За ея гордость онъ грозилъ ей наказаніемъ и проклятіемъ и кончалъ требованіемъ, чтобъ она немедленно и покорно возвратилась домой и тогда, только тогда, можетъ-быть, послѣ покорной и примѣрной новой жизни „въ нѣдрахъ семейства“, мы рѣшимся простить тебя, писалъ онъ. Видно было, что первоначальное, великодушное чувство свое, онъ, послѣ нѣсколькихъ строкъ, принялъ за слабость, сталъ стыдиться ея и, наконецъ, почувствовалъ муки оскорбленной гордости, кончилъ гнѣвомъ и угрозами. Старушка стояла

передо мною, сложа руки и въ страхѣ ожидая, что я скажу по прочтеніи письма.

Я высказалъ ей все прямо, какъ мнѣ казалось. Именно: что старикъ не въ силахъ болѣе жить безъ Наташи и что положительно можно сказать о необходимости скорого ихъ примиренія; но что, однакоже, все зависитъ отъ обстоятельствъ. Я объяснилъ при этомъ мою догадку, что, во-первыхъ, вѣроятно, дурной исходъ процесса сильно разстроилъ и потрясъ его, не говоря уже о томъ, насколько было уязвлено его самолюбіе торжествомъ надъ нимъ князя и сколько негодованія возродилось въ немъ при такомъ рѣшеніи дѣла. Въ такія минуты душа не можетъ не искать себѣ сочувствія, и онъ еще сильнѣе вспомнилъ о той, которую всегда любилъ больше всего на свѣтѣ. Наконецъ, можетъ быть и то: онъ навѣрно слышалъ (потому что онъ слѣдитъ и все знаетъ про Наташу), что Алеша скоро оставляетъ ее. Онъ могъ понять, каково было ей теперь, и по себѣ почувствовалъ, какъ необходимо было ей утѣшеніе. Но все-таки онъ не могъ преодолѣть себя, считая себя оскорбленнымъ и униженнымъ дочерью. Ему вѣрно приходило на мысль, что все-таки не она идетъ къ нему первая; что, можетъ-быть, даже она и не думаетъ о нихъ, и потребности не чувствуетъ къ примиренію. Такъ онъ долженъ былъ думать, заключилъ я мое мнѣніе, и вотъ почему не докончилъ письма и, можетъ быть, изъ всего этого произойдутъ еще новыя оскорбленія, которыя еще сильнѣе почувствуются, чѣмъ первыя и, кто знаетъ, примиреніе, можетъ-быть, еще надолго отложится...

Старушка плакала, меня слушая. Наконецъ, когда я сказалъ, что мнѣ необходимо сейчасъ же къ Наташѣ и что я опоздалъ къ ней, она вострепелась и объявила, что и забыла о *главномъ*. Вынимая письмо изъ-подъ бумагъ, она нечаянно опрокинула на него чернильницу. Дѣйствительно дѣльный уголь былъ залитъ чернилами и старушка ужасно боялась, что старикъ, по этому пятну, узнаетъ, что безъ него перерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо къ Наташѣ. Ея страхъ былъ очень основателенъ: ужъ изъ одного того, что мы знаемъ его тайну, онъ со стыда и досады могъ продлить свою злобу и изъ гордости упорствовать въ прощеніи.

Но, разсмотрѣвъ дѣло, я уговорилъ старушку не беспокоиться. Онъ всталъ изъ-за письма въ такомъ волненіи, что могъ и не помнить всѣхъ мелочей и теперь, вѣроят-

но, подумаетъ, что самъ запачкалъ письмо и забылъ объ этомъ. Утѣшивъ такимъ образомъ Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее мѣсто, а я вздумалъ, уходя, поговорить съ нею серьезно о Нелли. Мнѣ казалось, что бѣдная брошенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своимъ отцомъ, могла бы грустнымъ, трагическимъ разсказомъ о прежней своей жизни и о смерти своей матери тронуть старика и подвигнуть его на великодушныя чувства. Все готово, все созрѣло въ его сердцѣ; тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость и оскорбленное самолюбіе. Недоставало только толчка, послѣдняго удобнаго случая, и этотъ удобный случай могла бы замѣнить Нелли. Старушка слушала меня съ чрезвычайнымъ вниманіемъ: все лицо ея оживилось надеждою и восторгомъ. Она тотчасъ же стала меня упрекать: зачѣмъ я давно ей этого не сказалъ; нетерпѣливо начала меня спрашивать о Нелли и кончила торжественнымъ обѣщаніемъ, что сама теперь будетъ просить старика, чтобъ взялъ въ домъ сиротку. Она уже начала искренно любить Нелли, жалѣла о томъ, что она больна, спрашивала о ней, принудила меня взять для Нелли банку варенья, за которымъ сама побѣжала въ чуланъ, принесла мнѣ пять цѣлковыхъ, предполагая, что у меня нѣтъ денегъ для доктора, и, когда я ихъ не взялъ, едва успокоилась и утѣшилась тѣмъ, что Нелли нуждается въ платьѣ и бѣльѣ, и что, стало-быть, можно еще ей быть полезною, вслѣдствіе чего стала тотчасъ же перерывать свой сундукъ и раскладывать всѣ свои платья, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя можно было подарить „сироткѣ“.

А я пошелъ къ Наташѣ. Подымаясь на послѣднюю лѣстницу, которая, какъ я уже сказалъ прежде, шла винтомъ, я замѣтилъ у ея дверей человѣка, который хотѣлъ уже было постучаться, но, слышавъ мои шаги, пріостановился. Наконецъ, вѣроятно, послѣ нѣкотораго колебанія, вдругъ оставилъ свое намѣреніе и пустился внизъ. Я столкнулся съ нимъ на послѣдней забѣжной ступенькѣ, и каково было мое изумленіе, когда я узналъ Ихменева. На лѣстницѣ и днемъ было очень темно. Онъ прислонился къ стѣнѣ, чтобы дать мнѣ пройти, и помню странный блескъ его глазъ, пристально меня разсматривавшихъ. Мнѣ казалось, что онъ ужасно покраснѣлъ; по крайней мѣрѣ, онъ ужасно смѣшался и даже потерялся.

— Эхъ, Ваня, да это ты! проговорилъ онъ неровнымъ

голосомъ.—А я здѣсь къ одному человѣку... къ писарю... все по дѣлу... недавно переѣхалъ... куда-то сюда... да не здѣсь, кажется, живетъ. Я ошибся. Прощай.

И онъ быстро пустился внизъ по лѣстницѣ.

Я рѣшился до времени не говорить Наташѣ объ этой встрѣчѣ, но непременно сказать ей тотчасъ же, когда она останется одна, по отъѣздѣ Алеши. Въ настоящее же время она была такъ разстроена, что хотя бы и поняла и осмыслила вполне всю силу этого факта, но не могла бы его такъ принять и прочувствовать, какъ впоследствии, въ минуту подавляющей послѣдней тоски и отчаянія. Теперь же минута была не та.

Въ тотъ день я-бы могъ сходить къ Ихменевымъ и подмывало меня на это, но я не пошелъ. Мнѣ казалось, что старику тяжело будетъ смотрѣть на меня; онъ даже могъ подумать, что я нарочно прибѣжалъ вслѣдствіе встрѣчи. Пошелъ я къ нимъ уже на третій день; старикъ былъ грустенъ, но встрѣтилъ меня довольно развязно и все говорилъ о дѣлахъ.

— А что, къ кому это ты тогда ходилъ, такъ высоко, вотъ, помнишь, мы встрѣтились, — когда, бишь, это? — третьяго дня, кажется, спросилъ онъ вдругъ довольно небрежно, но все-таки какъ-то отводя отъ меня свои глаза въ сторону.

— Приятель одинъ живетъ, отвѣчалъ я, тоже отводя глаза въ сторону.

— А! А я писаря моего искалъ, Астафьева; на этотъ домъ указали... да ошибся... Ну, такъ вотъ я тебѣ про дѣло-то говорилъ: въ сенатѣ рѣшили... и т. д., и т. д.

Онъ даже покраснѣлъ, когда началъ говорить о *дѣлѣ*.

Я разсказалъ все въ этотъ же день Аннѣ Андреевнѣ, чтобъ обрадовать старушку, умолая ее, между прочимъ, не заглядывать ему теперь въ лицо съ особеннымъ видомъ, не вздыхать, не дѣлать намековъ и, однимъ словомъ, ни подъ какимъ видомъ не показывать, что ей известна эта послѣдняя его выходка. Старушка до того удивилась и обрадовалась, что даже сначала мнѣ не повѣрила. Съ своей стороны, она разсказала мнѣ, что уже намекала Николаю Сергѣичу о сиротѣхъ, но что онъ промолчалъ, тогда какъ прежде самъ все упрашивалъ взять въ домъ дѣвочку. Мы рѣшили, что завтра она попроситъ его объ этомъ прямо, безъ всякихъ предисловіи и наме-

ковъ. Но на завтра оба мы были въ ужасномъ испугѣ и безпокойствѣ.

Дѣло въ томъ, что Ихменевъ видѣлся утромъ съ чиновникомъ, хлопотавшимъ по его дѣлу. Чиновникъ объявилъ ему, что видѣлъ князя и что князь хотѣ и оставляетъ Ихменеву за собой, но, „*вслѣдствіе нѣкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ*“, рѣшается вознаградить старика и выдать ему десять тысячъ. Отъ чиновника старикъ прямо прибѣжалъ ко мнѣ, ужасно разстроенный; глаза его сверкали бѣшенствомъ. Онъ вызвалъ меня, неизвѣстно зачѣмъ, изъ квартиры на лѣстницу и настоятельно сталъ требовать, чтобъ я немедленно шелъ къ князю и передалъ ему вызовъ на дуэль. Я былъ такъ пораженъ, что долго не могъ ничего сообразить. Началъ было его уговаривать. Но старикъ пришелъ въ такое бѣшенство, что съ нимъ сдѣлалось дурно. Я бросился къ себѣ за стаканомъ воды; но, воротясь, уже не засталъ Ихменева на лѣстницѣ.

На другой день я отправился къ нему, но его уже не было дома; онъ исчезъ на цѣлыхъ три дня.

На третій день мы узнали все. Отъ меня онъ кинулся прямо къ князю, не засталъ его дома и оставилъ ему записку; въ запискѣ онъ писалъ, что знаетъ о словахъ его, сказанныхъ чиновнику, что считаетъ ихъ себѣ смертельнымъ оскорбленіемъ, а князя низкимъ челоуѣкомъ, и вслѣдствіе всего этого вызываетъ его на дуэль, предупреждая при этомъ, чтобъ князь не смѣлъ уклоняться отъ вызова, иначе будетъ обезчещенъ публично.

Анна Андреевна рассказывала мнѣ, что онъ воротился домой въ такомъ волненіи и разстройствѣ, что даже слегъ. Съ ней былъ очень нѣженъ, но на разпросы ея отвѣчалъ мало, и видно было, что онъ чего-то ждалъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. На другое утро пришло по городской почтѣ письмо; прочтя его, онъ вскрикнулъ и схватилъ себя за голову. Анна Андреевна обмерла отъ страха. Но онъ тотчасъ же схватилъ шляпу, палку и выбѣжалъ вонъ.

Письмо было отъ князя. Сухо, коротко и вѣжливо онъ извѣщалъ Ихменева, что въ словахъ своихъ, сказанныхъ чиновнику, онъ никому не обязанъ никакимъ отчетомъ. Что хотя онъ очень сожалѣетъ Ихменева за проигранный процессъ, но, при всемъ своемъ сожалѣніи, никакъ не можетъ найти справедливымъ, чтобъ проигравшій въ тяжбѣ

имѣлъ право изъ мщенія вызывать своего соперника на дуэль. Что же касается до „публичнаго безчестія“, которымъ ему грозили, то князь просилъ Ихменева не беспокоиться объ этомъ, потому что никакого публичнаго безчестія не будетъ да и быть не можетъ; что письмо его немедленно будетъ представлено куда слѣдуетъ и что предупреденная полиція навѣрно въ состояніи принять надлежащія мѣры къ обезпеченію порядка и спокойствія.

Ихменевъ съ письмомъ въ рукѣ тотчасъ же бросился къ князю. Князя опять не было дома; но старикъ успѣлъ узнать отъ лакея, что князь теперь вѣрно у графа N. Долго не думая, онъ побѣжалъ къ графу. Графскій швейцаръ остановилъ его, когда онъ подымался на лѣстницу. Взбѣшенный до послѣдней степени, старикъ ударилъ его палкой. Тотчасъ же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейскимъ, которые препроводили его въ часть. Доложили графу. Когда же случившійся тутъ князь объяснилъ сластолюбивому старичку, что это тотъ самый Ихменевъ, отецъ той самой Натальи Николаевны (а князь не разъ прислуживалъ графу по *этимъ дѣламъ*), то вельможный старичокъ только засмѣялся и перемѣнилъ гнѣвъ на милость: сдѣлано было распоряженіе отпустить Ихменева на всѣ четыре стороны; но выпустили его только на третій день, при чемъ (навѣрно по распоряженію князя) объявили старику, что самъ князь упросилъ графа его помиловать.

Старикъ воротился домой, какъ безумный, бросился на постель и цѣлый часъ лежалъ безъ движенія; наконецъ, приподнялся и, къ ужасу Анны Андреевны, объявилъ торжественно, что *навѣки* проклинаетъ свою дочь и лишаетъ ее своего родительскаго благословенія.

Анна Андреевна пришла въ ужасъ, но надо было помогать старику, и она, сама чуть не безъ памяти, весь этотъ день и почти всю ночь ухаживала за нимъ, примачивала ему голову уксусомъ, обкладывала льдомъ. Съ нимъ былъ жаръ и бредъ. Я оставилъ ихъ уже въ третьемъ часу ночи. Но на утро Ихменевъ всталъ и въ тотъ же день пришелъ ко мнѣ, чтобъ окончательно взять къ себѣ Нелли. Но о сценѣ его съ Нелли я уже рассказывалъ; эта сцена потрясла его окончательно. Воротаясь домой, онъ слегъ въ постель. Все это происходило въ Страстную пятницу, когда было назначено свиданіе Кати и Наташи, наканунѣ отъѣзда Алеши и Кати изъ Петербурга. На

этомъ свиданіи я былъ: оно происходило рано утромъ, еще до прихода ко мнѣ старика и до перваго побѣга Нелли.

ГЛАВА VI.

Алеша пріѣхалъ еще за часъ до свиданія предупредить Наташу. Я же пришелъ именно въ то мгновеніе, когда коляска Кати остановилась у нашихъ воротъ. Съ Катей была старушка-француженка, которая, послѣ долгихъ упрасиваній и колебаній, согласилась, наконецъ, сопроводить ее и даже отпустить ее навверхъ къ Наташѣ одну, но не иначе, какъ съ Алешей; сама же осталась дожидаться въ коляскѣ. Катя подозвала меня и, не выходя изъ коляски, попросила вызвать къ ней Алешу. Наташу я засталъ въ слезахъ: и Алеша, и она—оба плакали. Услышавъ, что Катя уже здѣсь, она встала со стула, отерла слезы и съ волненіемъ стала противъ дверей. Одѣта она была въ это утро вся въ бѣломъ. Темнорусые волосы ея были зачесаны гладко и назадъ связывались густымъ узломъ. Эту прическу я очень любилъ. Увидавъ, что я остался съ нею, Наташа попросила и меня пойти тоже навстрѣчу гостямъ.

— До сихъ поръ я не могла быть у Наташи, говорила мнѣ Катя, подымаясь на лѣстницу.—Меня такъ шпионили, что ужасъ. М-me Albert я уговаривала цѣлыхъ двѣ недѣли, наконецъ-то согласилась. А вы, а вы, Иванъ Петровичъ, ни разу ко мнѣ не зашли! Писать я вамъ тоже не могла, да и охоты не было, потому что письмомъ ничего не разъяснишь. А какъ мнѣ надо было васъ видѣть... Боже мой, какъ у меня теперь сердце бьется...

— Лѣстница крутая, отвѣчалъ я.

— Ну, да... и лѣстница... А что, какъ вы думаете: не будетъ сердиться на меня Наташа?

— Нѣтъ, за чтò же?

— Ну да... конечно, за чтò-же; сейчасъ сама увижу; къ чему-же и спрашивать?..

Я велъ ее подъ руку. Она даже поблѣднѣла и, кажется, очень боялась. На послѣднемъ поворотѣ она остановилась перевести духъ, но взглянула на меня и рѣшительно поднялась навверхъ.

Еще разъ она остановилась въ дверяхъ и шепнула мнѣ: „я просто войду и скажу ей, что я такъ въ нее вѣрила, что пріѣхала не опасаясь... впрочемъ, что-жъ я разгова-

риваю, вѣдь я увѣрена, что Наташа благороднѣйшее существо. Не правда-ли?“

Она вошла робко, какъ виноватая, и пристально взглянула на Наташу, которая тотчасъ же улыбнулась ей. Тогда Катя быстро подошла къ ней, схватила ее за руки и прижалась къ ея губамъ своими пухленькими губками. Затѣмъ, еще ни слова не сказавъ Наташѣ, серьезно и даже строго обратилась къ Алешѣ и попросила его оставить насъ на полчаса однихъ.

— Ты не сердись, Алеша, прибавила она,—это я потому, что мнѣ много надо переговорить съ Наташей объ очень важномъ и серьезномъ, чего ты не долженъ слышать. Будь же уменъ, поди. А вы, Иванъ Петровичъ, останьтесь. Вы должны выслушать весь нашъ разговоръ.

— Сядемъ, сказала она Наташѣ по уходѣ Алени,—я такъ, противъ васъ, сяду. Мнѣ хочется сначала на васъ посмотреть.

Она сѣла почти прямо противъ Наташи и нѣсколько мгновений пристально на нее смотрѣла. Наташа отвѣчала ей невольной улыбкой.

— Я уже видѣла вашу фотографію, сказала Катя,—мнѣ показывалъ Алеша.

— Что-жъ, похожа я на портретѣ?

— Вы лучше, отвѣтила Катя рѣшительно и серьезно.— Да я такъ и думала, что вы лучше.

— Право? А я вотъ засматриваюсь на васъ. Какая вы хорошенькая!

— Что вы! Куда мнѣ!.. Голубчикъ вы мой! прибавила она, дрожавшей рукой взявъ руку Наташи, и обѣ опять примолкли, всматриваясь другъ въ друга.—Вотъ что, мой ангелъ, прервала Катя,—намъ всего полчаса быть вмѣстѣ; m-me Albert и на это едва согласилась, а намъ много надо переговорить... Я хочу... я должна... ну, я васъ просто спрошу: очень вы любите Алешу?

— Да, очень.

— А если такъ... если вы очень любите Алешу... то... вы должны любить и его счастье... прибавила она робко и шопотомъ.

— Да, я хочу, чтобъ онъ былъ счастливъ...

— Это такъ... но вотъ въ чемъ вопросъ: составлю-ли я его счастье? Имѣю-ли я право такъ говорить, потому что я его у васъ отнимаю. Если вамъ кажется, и мы рѣшимъ теперъ, что съ вами онъ будетъ счастливѣе, то... то...

— Это уже рѣшено, милая Катя, вѣдь вы же сами видите, что все рѣшено, отвѣчала тихо Наташа и склонила голову. Ей было видимо тяжело продолжать разговоръ.

Катя приготовилась, кажется, на длинное объясненіе на тему: кто лучше составитъ счастье Алеши и кому изъ нихъ придется уступить? Но послѣ отвѣта Наташи тотчасъ же поняла, что все уже давно рѣшено и говорить больше не о чемъ. Полураскрывъ свои хорошенькія губки, она съ недоумѣніемъ и съ печалью смотрѣла на Наташу, все еще держа ея руку въ своей.

— А вы его очень любите? спросила вдругъ Наташа.

— Да; и вотъ я тоже хотѣла васъ спросить и ѣхала съ тѣмъ: скажите мнѣ, за что именно вы его любите?

— Не знаю, отвѣчала Наташа, и какъ будто горькое нетерпѣніе послышалось въ ея отвѣтѣ.

— Умень онъ, какъ вы думаете? спросила Катя.

— Нѣтъ, я такъ его, просто, люблю...

— И я тоже. Мнѣ его все какъ будто жалко.

— И мнѣ тоже, отвѣчала Наташа.

— Что съ нимъ дѣлать теперь! И какъ онъ могъ оставить васъ для меня, не понимаю! воскликнула Катя.— Вотъ, какъ теперь увидѣла васъ и не понимаю!

Наташа не отвѣчала и смотрѣла въ землю. Катя помолчала немного и вдругъ, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обѣ, обнявъ одна другую, заплакали. Катя сѣла на ручку кресель Наташи, не выпуская ее изъ своихъ объятій, и начала цѣловать ея руки.

— Если-бъ вы знали, какъ я васъ люблю! проговорила она, плача.— Будемъ сестрами, будемъ всегда писать другъ другу... а я васъ буду вѣчно любить, я васъ буду такъ любить, такъ любить...

— Онъ вамъ о нашей свадьбѣ, въ іюнѣ мѣсяцѣ, говорилъ? спросила Наташа.

— Говорилъ. Онъ говорилъ, что и вы согласны. Вѣдь это все только такъ, чтобъ его утѣшить, не правда-ли?

— Конечно.

— Я такъ и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вамъ обо всемъ писать. Кажется, онъ будетъ теперь скоро моимъ мужемъ; на то идетъ. И они всѣ такъ говорятъ. Милая Наташечка, вѣдь вы пойдете теперь... въ вашъ домъ?

Наташа не отвѣчала ей, но молча и крѣпко поцѣловала ее.

— Будьте счастливы! сказала она.

— И... и вы... и вы тоже, проговорила Катя.

Въ это мгновеніе отворилась дверь и вошелъ Алеша. Онъ не могъ, онъ не въ силахъ былъ переждать эти полчаса и, увидя ихъ обѣихъ въ объятіяхъ другъ у друга и плакавшихъ, весь изнеможенный, страдающій, упалъ на колѣни передъ Наташей и Катей.

— Чего же ты-то плачешь? сказала ему Наташа.—Что разлучаешься со мной? Да надолго-ли? Къ юню вѣдь приѣдешь?

— И свадьба ваша будетъ тогда, послѣшила, сквозь слезы, проговорить Катя, тоже въ утѣшеніе Алешѣ.

— Но я не могу, я не могу тебя и на день оставить, Наташа. Я умру безъ тебя... ты не знаешь, какъ ты мнѣ теперь дорога! Именно теперь!..

— Ну, такъ вотъ какъ ты сдѣлай, сказала, вдругъ оживляясь, Наташа, — вѣдь графиня останется хоть сколько-нибудь въ Москвѣ?

— Да, почти недѣлю, подхватила Катя.

— Недѣлю! Такъ чего-жъ лучше: ты завтра проводишь ихъ до Москвы, это всего одинъ день, и тотчасъ же приѣзжай сюда. Какъ имъ надо будетъ выѣзжать изъ Москвы, мы ужъ тогда совсѣмъ, на мѣсяцъ, простимся и ты воротишься въ Москву ихъ провожать.

— Ну, такъ, такъ... А вы все-таки лишнихъ четыре дня пробудете вмѣстѣ! вскрикнула восхищенная Катя, обмѣнявшись многозначительнымъ взглядомъ съ Наташей.

Не могу выразить восторга Алеши отъ этого новаго проекта. Онъ вдругъ совершенно утѣшился; его лицо засіяло радостью, онъ обнималъ Наташу, цѣловалъ руки у Кати, обнималъ меня. Наташа съ грустною улыбкою смотрѣла на него, но Катя не могла вынести. Она переглянулась со мной горячимъ, сверкающимъ взглядомъ, обняла Наташу и встала со стула, чтобъ ѣхать. Какъ нарочно въ эту минуту француженка прислала челоуѣка съ просьбою окончить свиданіе поскорѣе, и что условленные полчаса уже прошли.

Наташа встала. Обѣ стояли одна противъ другой, держась за руки, и какъ будто силась передать взглядомъ все, что скопилось въ душѣ.

— Вѣдь мы ужъ больше никогда не увидимся, сказала Катя.

— Никогда, Катя, отвѣчала Наташа.

— Ну, такъ простимся.

Объ обнялись.

— Не проклиняйте меня, прошептала наскоро Катя, — а я... всегда... будьте увѣрены... онъ будетъ счастливъ... Пойдемъ, Алеша, проводи меня! быстро произнесла она, схватывая его руку.

— Ваня! сказала мнѣ Наташа, взволнованная и измученная, когда они выпли, — ступай за ними и ты, и... не приходи назадъ: у меня будетъ Алеша до вечера, до восьми часовъ; а вечеромъ ему нельзя, онъ уйдетъ. Я останусь одна... Приходи часовъ въ девять. Пожалуйста!

Когда въ девять часовъ, оставивъ Нелли (послѣ разбитой чашки) съ Александрой Семеновной, я пришелъ къ Наташѣ, она уже была одна и съ нетерпѣніемъ ждала меня. Мавра подала намъ самоваръ; Наташа налила мнѣ чаю, сѣла на диванъ и подозвала меня поближе къ себѣ.

— Вотъ и кончилось все, сказала она, пристально взглянувъ на меня.

Никогда не забуду я этого взгляда.

— Вотъ и кончилась наша любовь. Полгода жизни! И на всю жизнь, прибавила она, сжимая мнѣ руку.

Ея рука горѣла. Я сталъ уговаривать ее одѣться по-теплѣе и лечь въ постель.

— Сейчасъ, Ваня, сейчасъ, мой добрый другъ. Дай мнѣ поговорить и припомнить немного... Я теперь какъ разбитая... Завтра въ послѣдній разъ его увижу, въ десять часовъ... *въ послѣдній!*

— Наташа, у тебя лихорадка, сейчасъ будетъ ознобъ; пожалѣй себя...

— Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня, эти полчаса какъ онъ ушелъ, и какъ ты думаешь, о чемъ думала, о чемъ себя спрашивала? Спрашивала: любила я его, или не любила, и что это такое была наша любовь? Что, тебѣ смѣшно, Ваня, что я объ этомъ только теперь себя спрашиваю?

— Не тревожь себя, Наташа...

— Видишь, Ваня: вѣдь я рѣшила, что я его не любила какъ ровню, такъ, какъ обыкновенно женщина любитъ мужчину. Я любила его какъ... почти какъ мать. Мнѣ даже кажется, что совсѣмъ и не бываетъ на свѣтѣ такой любви, чтобъ оба другъ друга любили какъ равные, а? Какъ ты думаешь?

Я съ беспокойствомъ смотрѣлъ на нее и боялся, не на-

чинается-ли съ ней горячка. Какъ будто что-то увлекало ее; она чувствовала какую-то особенную потребность говорить; инныя слова ея были какъ будто безъ связи и даже иногда она плохо выговаривала ихъ. Я очень боялся.

— Онъ былъ мой, продолжала она.—Почти съ первой встрѣчи съ нимъ у меня явилось тогда непреодолимое желаніе, чтобъ онъ былъ *мой*, поскорѣй *мой*, и чтобъ онъ ни на кого не глядѣлъ, никого и не зналъ, кромѣ меня, одной меня... Катя, давеча, хорошо сказала; я именно любила его такъ, какъ будто мнѣ все время было отчего-то его жадко... Было у меня всегда непреодолимое желаніе, даже мученіе, когда я оставалась одна, о томъ, чтобъ онъ былъ ужасно и вѣчно счастливъ. На его лицо (ты вѣдь знаешь выраженіе его лица, Ваня) я спокойно смотрѣть не могла: такого выраженія ни *у кого не бываетъ*, а замѣтается онъ, такъ у меня холодъ и дрожь была... Право!..

— Наташа, послушай...

— Вотъ говорили, перебила она,—да и ты, впрочемъ, говорилъ,—что онъ безъ характера и... и умомъ не далеко, какъ ребенокъ. Ну, а я это-то въ немъ и любила больше всего... вѣришь-ли этому? Не знаю, впрочемъ, любила-ли именно одно это: такъ, просто, всего его любила, и будь онъ хоть чѣмъ-нибудь другой, съ характеромъ, иль умнѣе, я бы, можетъ, и не любила его такъ. Знаешь, Ваня, я тебѣ признаюсь въ одномъ; помнишь, у насъ была ссора, три мѣсяца назадъ, когда онъ былъ у той, какъ ее, у этой Минны... Я узнала, выслѣдила, и, вѣришь-ли: мнѣ ужасно было больно, а въ то же время какъ будто и пріятно... не знаю, почему... одна ужъ мысль, что онъ тѣшится... или нѣтъ, не то: что онъ тоже, какъ *большой* какой-нибудь, вмѣстѣ съ другими *большими* по красавицамъ развѣзжаетъ, тоже къ Миннѣ поѣхалъ! Я... Какое наслажденіе было мнѣ тогда въ этой ссорѣ; а потомъ простить его... о, милый!

Она взглянула мнѣ въ лицо и какъ-то странно разсмѣялась. Потомъ какъ будто задумалась, какъ будто все еще припоминала. И долго сидѣла она такъ, съ улыбкой на губахъ, вдумываясь въ прошедшее.

— Я ужасно любила его прощать, Ваня, продолжала она.—Знаешь что: когда онъ оставлялъ меня одну, я хожу, бывало, по комнатѣ, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чѣмъ виноватѣе онъ передо мной, тѣмъ вѣдь лучше... да! И знаешь: мнѣ всегда представлялось, что

онъ какъ будто такой маленькій мальчикъ: я сижу, а онъ положилъ бо мнѣ на колѣни голову, заснулъ, а я его тихонько по головкѣ глажу, ласкаю... Всегда такъ воображала о немъ, когда его со мной не было... Послушай, Ваня, прибавила она вдругъ,—какая это прелесть Катя!

Мнѣ показалось, что она сама нарочно растревляетъ свою рану, чувствуя въ этомъ какую-то потребность,— потребность отчаянія, страданій... И такъ часто бываетъ это съ сердцемъ, много потерявшимъ!

— Катя, мнѣ кажется, можетъ его сдѣлать счастливымъ, продолжала она.—Она съ характеромъ и говоритъ какъ будто такая убѣжденная, и съ нимъ она такая серьезная, важная,— все объ умныхъ вещахъ говоритъ, точно большая. А сама-то, сама-то — настоящій ребенокъ! Милочка, милочка! О! Пусть они будутъ счастливы! Пусть, пусть, пусть!

И слезы, рыданія вдругъ разомъ такъ и хлынули изъ ея сердца. Цѣлыхъ полчаса она не могла придти въ себя и хоть сколько-нибудь успокоиться.

Милый ангелъ Наташа! Еще въ этотъ же вечеръ, несмотря на свое горе, она смогла таки принять участіе и въ моихъ заботахъ, когда я, видя, что она немножко успокоилась, или, лучше сказать, устала, и думая развлечь ее, рассказалъ ей о Нелли... Мы разстались въ этотъ вечеръ поздно, я дождался, пока она заснула, и, уходя, просилъ Мавру не отходить отъ своей больной госпожи всю ночь.

— О, поскорѣе, поскорѣе, восклицалъ я, возвращаясь домой,—поскорѣй конецъ этимъ мукамъ! Хоть-чѣмъ-нибудь, хоть какъ-нибудь, но только скорѣе, скорѣе!

На утро, ровно въ девять часовъ, я уже былъ у нея. Въ одно время со мной прѣхалъ и Алеша... прощаться. Не буду говорить, не хочу вспоминать объ этой сценѣ. Наташа какъ будто дала себѣ слово скрѣпить себя, казаться веселѣе, равнодушнѣе, но не могла. Она обняла Алешу судорожно, вѣрно. Мало говорила съ нимъ, но глядѣла на него долго, пристально, мученическимъ и словно безумнымъ взглядомъ. Жадно вслушивалась въ каждое слово его и, кажется, ничего не понимала изъ того, что онъ ей говорилъ. Помню, онъ просилъ простить ему, простить ему и любовь эту, и все, чѣмъ онъ оскорблялъ ее въ это время, свои измѣны, свою любовь къ Катѣ, отъѣздъ... Онъ говорилъ безсвязно, слезы душили его. Иногда

онъ вдругъ принимался утѣшать ее, говорилъ, что ѣдетъ только на мѣсяцъ, или много что на пять недѣль, что прїѣдетъ лѣтомъ, тогда будетъ ихъ свадьба, и отецъ согласится и, наконецъ, главное, что вѣдь онъ послѣзавтра прїѣдетъ изъ Москвы, и тогда цѣлыхъ четыре дня они еще пробудутъ вмѣстѣ и что, стало-быть, теперь разстанутся на одинъ только день...

Странное дѣло: самъ онъ былъ вполне увѣренъ, что говорить правду и что непременно послѣзавтра воротится изъ Москвы... Чего же самъ онъ такъ плакалъ и мучился?

Наконецъ, часы пробили одиннадцать. Я насилу могъ уговорить его ѣхать. Московскій поѣздъ отправлялся ровно въ двѣнадцать. Оставался одинъ часъ. Наташа мнѣ сама потомъ говорила, что не помнить, какъ послѣдній разъ взглянула на него. Помню, что она перекрестила его, поцѣловала и, закрывъ руками лицо, бросилась назадъ въ комнату. Мнѣ же надо было проводить Алешу до самаго экипажа, иначе онъ непременно бы воротился и никогда бы не сошелъ съ лѣстницы.

— Вся надежда на васъ, говорилъ онъ мнѣ, сходя внизъ.— Другъ мой, Ваня! Я передъ тобой виноватъ и никогда не могъ заслужить твоей любви, но будь мнѣ до конца братомъ: люби ее, не оставляй ее, пиши мнѣ обо всемъ, какъ можно подробнѣе и мельче, какъ можно мельче пиши, чтобъ больше уписалось. Послѣзавтра я здѣсь опять, непременно, непременно! Но потомъ, когда я уѣду, пиши!

Я посадилъ его на дрожки.

— До послѣзавтра! закричалъ онъ мнѣ съ дороги.— Непременно!

Съ замиравшимъ сердцемъ воротился я наверхъ къ Наташѣ. Она стояла посреди комнаты, скрестивъ руки, и въ недоумѣннн на меня посмотрѣла, точно не узнавала меня. Волосы ея сбились какъ-то на сторону; взглядъ былъ мутный и блуждающій. Мавра, какъ потерянная, стояла въ дверяхъ, со страхомъ смотря на нее.

Вдругъ глаза Наташи засверкали.

— А! Это ты! Ты! вскричала она на меня.— Только ты одинъ теперь остался. Ты его ненавидѣлъ! Ты никогда ему не могъ простить, что я его полюбила... Теперь ты опять при мнѣ! Что-жь? Опять *утѣшать* пришелъ меня, уговаривать, чтобъ я шла къ отцу, который меня бросилъ

и прокляла. Я такъ и знала еще вчера, еще за два мѣсяца!.. Не хочу, не хочу! Я сама проклинаю ихъ!... Поди прочь, я не могу тебя видѣть! Прочь, прочь!

Я понялъ, что она въ изступленіи и что мой видъ возбуждаетъ въ ней гнѣвъ до безумія, понялъ, что такъ и должно было быть, и разсудилъ лучше выйти. Я сѣлъ на лѣстницѣ, на первую ступеньку, и—ждалъ. Иногда я подымался, отворялъ дверь, подзывалъ къ себѣ Мавру и спрашивалъ ее; Мавра плакала.

Такъ прошло часа полтора. Не могу изобразить, что я вынесъ въ это время. Сердце замирало во мнѣ и мучилось отъ безпредѣльной боли. Вдругъ дверь отворилась и Наташа выбѣжала на лѣстницу, въ шляпѣ и бурнусѣ. Она была какъ въ безпамятствѣ и сама потомъ говорила мнѣ, что едва помнить это и не знаетъ, куда и съ какимъ намѣреніемъ она хотѣла бѣжать.

Я не успѣлъ еще вскочить съ своего мѣста и куда-нибудь отъ нея спрятаться, какъ вдругъ она меня увидала и, какъ пораженная, остановилась передо мной безъ движенія. „Мнѣ вдругъ припомнилось, говорила она мнѣ потомъ,—что я, безумная, жестокая, могла выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя! И какъ увидала, что ты, бѣдный, обиженный мною, сидишь у меня на лѣстницѣ, не уходишь и ждешь, пока я тебя опять позову. Боже!—если-бъ ты зналъ, Ваня, что тогда со мной случилось! Какъ будто въ сердце мнѣ что-то вонзили..“

— Ваня! Ваня! закричала она, протягивая мнѣ руки.— Ты здѣсь!..

И упала въ мои объятія.

Я подхватилъ ее и понесъ въ комнату. Она была въ обморокѣ. Что дѣлать? думалъ я. Съ ней будетъ горячка, это навѣрно!

Я рѣшился бѣжать къ доктору; надо было захватить болѣзнь. Съѣздить же можно было скоро; до двухъ часовъ мой старикъ-нѣмецъ обыкновенно сидѣлъ дома. Я побѣжалъ къ нему, умоляя Мавру ни на минуту, ни на секунду не уходить отъ Наташи и не пускать ее никуда. Богъ мнѣ помогъ: еще бы немного и я бы не засталъ моего старика дома. Онъ встрѣтился уже мнѣ на улицѣ, когда выходилъ изъ квартиры. Мигомъ я посадилъ его на моего извозчика, такъ что онъ еще не успѣлъ удивиться, и мы пустились обратно къ Наташѣ.

Да, Богъ мнѣ помогъ! Въ полчаса моего отсутствія слу-

чилось у Наташи такое происшествіе, которое бы могло совсѣмъ убить ее, если-бъ мы съ докторомъ не подоспѣли въ-время. Не прошло и четверти часъ послѣ моего отъѣзда, какъ вошелъ князь. Онъ только что проводилъ своихъ и явился къ Наташѣ прямо съ желѣзной дороги. Этотъ визитъ, вѣроятно, уже давно былъ рѣшенъ и обдуманъ имъ. Наташа сама рассказывала мнѣ потомъ, что въ первое мгновеніе она даже и не удивилась князю. „Мой умъ мѣшался“, говорила она.

Онъ сѣлъ противъ нея, глядя на нее ласковымъ, соболѣзующимъ взглядомъ.

— Милая моя, сказала онъ, вздучнувъ, — я понимаю ваше горе; я зналъ, какъ будетъ тяжела вамъ эта минута, и потому положилъ себѣ за долгъ посѣтить васъ. Утѣштесь, если можете, хоть тѣмъ, что, отказавшись отъ Алеши, вы составили его счастье. Но вы лучше меня это понимаете, потому что рѣшились на великодушный подвигъ...

— Я сидѣла и слушала, рассказывала мнѣ Наташа, — но сначала, право, какъ будто не понимала его. Помню только, что пристально-пристально глядѣла на него. Онъ взялъ мою руку и началъ пожимать ее въ своей. Это ему, кажется, было очень пріятно. Я же до того была не въ себѣ, что и не подумала вырвать у него руку.

— Вы поняли, продолжалъ онъ, — что, ставъ женою Алеши, могли возбудить въ немъ въ послѣдствіи къ себѣ ненависть и у васъ достало благородной гордости, чтобъ сознать это и рѣшиться... но, — вѣдь не хвалить же я васъ пріѣхаль. Я хотѣлъ только заявить предъ вами, что никогда и нигдѣ не найдете вы лучшаго друга, какъ я. Я вамъ сочувствую и жалѣю васъ. Во всемъ этомъ дѣлѣ я принималъ невольное участіе, но — я исполнялъ свой долгъ. Ваше прекрасное сердце пойметъ это и примирится съ моимъ... А мнѣ было тяжелѣе вашего; повѣрьте.

— Довольно, князь, сказала Наташа. — Оставьте меня въ покоѣ.

— Непремѣнно, я уйду скоро, отвѣчалъ онъ, — но я люблю васъ, какъ дочь свою, и вы позволите мнѣ посѣщать себя. Смотрите на меня теперь, какъ на вашего отца, и позвольте мнѣ быть вамъ полезнымъ.

— Мнѣ ничего не надо, оставьте меня, прервала опять Наташа.

— Знаю, вы горды... Но я говорю искренно, отъ сердца.

Что намѣрены теперь вы дѣлать? Помириться съ родителями? Доброе бы оно дѣло; но вашъ отецъ несправедливъ, гордъ и деспотъ; простите меня, но это такъ. Въ вашемъ домѣ вы встрѣтите теперь одни попреки и новыя мученья... Но однакоже надо, чтобъ вы были независимы, а моя обязанность, мой священный долгъ—заботиться теперь о васъ и помогать вамъ. Алеша умолялъ меня не оставлять васъ и быть вашимъ другомъ. Но и вромѣ меня есть люди, вамъ глубоко преданные. Вы мнѣ, вѣроятно, позволите представить вамъ графа N. Онъ съ превосходнымъ сердцемъ, родственникъ нашъ и даже, можно сказать, благодѣтель всего нашего семейства; онъ многое сдѣлалъ для Алеши. Алеша очень уважалъ и любилъ его. Онъ очень сильный человекъ, съ большимъ вліяніемъ, уже старичокъ, и принимать его вамъ, дѣвицѣ, можно. Я ужъ говорилъ ему про васъ. Онъ можетъ пристроить васъ и, если захотите, доставить вамъ превосходное мѣсто... у одной изъ своихъ родственницъ. Я давно уже, прямо и откровенно, объяснилъ ему все *наше* дѣло и онъ до того увлекся своимъ добрымъ и благороднѣйшимъ чувствомъ, что даже самъ упрасиваетъ меня теперь какъ можно скорѣе представиться вамъ... Это человекъ, сочувствующій всему прекрасному, повѣрьте мнѣ, — щедрый, почтенный старичокъ, способный цѣнить достоинство и еще даже, недавно, благороднѣйшимъ образомъ обошелся съ вашимъ отцомъ, въ одной исторіи.

Наташа приподнялась, какъ уязвленная. Теперь она уже понимала его.

— Оставьте меня, оставьте сейчасъ же! закричала она.

— Но, мой другъ, вы забываете: графъ можетъ быть полезенъ и вашему отцу...

— Мой отецъ ничего не возьметъ отъ васъ. Оставьте-ли вы меня! закричала еще разъ Наташа.

— О, Боже, какъ вы нетерпѣливы и недовѣрчивы! Чѣмъ заслужилъ я это, произнесъ князь, съ нѣкоторымъ безпокойствомъ осматриваясь кругомъ.—Во всякомъ случаѣ, вы позволите мнѣ, продолжалъ онъ, вынимая большую пачку изъ кармана,—вы позволите мнѣ оставить у васъ это доказательство моего къ вамъ участія и въ особенности участія графа N., побудившаго меня своимъ совѣтомъ. Здѣсь, въ этомъ пакетѣ, десять тысячъ рублей. Подождите, мой другъ, подхватилъ онъ, видя, что Наташа съ гнѣвомъ поднялась со своего мѣста, — выслушайте терпѣ-

ливо все: вы знаете, отецъ вашъ проигралъ мнѣ тяжбу и эти десять тысячъ послужать вознагражденіемъ, которое...

— Прочь! закричала Наташа, — прочь съ этими деньгами! Я васъ вижу насквозь... о, низкій, низкій, низкій человѣкъ!

Князь поднялся со стула, блѣдный отъ злости.

Вѣроятно, онъ пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобъ оглядѣть мѣстность, разузнать положеніе и, вѣроятно, крѣпко рассчитывалъ на дѣйствіе этихъ десяти тысячъ рублей передъ нищею и оставленною всѣми Наташей... Низкій и грубый, онъ не разъ подслуживался графу N., сластолюбивому старику, въ такого рода дѣлахъ. Но онъ ненавидѣлъ Наташу и, догадавшись, что дѣло не пошло на ладъ, тотчасъ перемѣнилъ тонъ и съ злою радостію поспѣшилъ оскорбить ее, чтобъ *не уходить, по крайней мѣрѣ, даромъ*.

— Вотъ ужъ это и не хорошо, моя милая, что вы такъ горячитесь, произнесъ онъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ, отъ нетерпѣливаго наслажденія видѣть поскорѣе эффектъ своей обиды, — вотъ ужъ это и не хорошо. Вамъ предлагаютъ покровительство, а вы поднимаете носикъ... А того и не знаете, что должны быть мнѣ благодарны; уже давно могъ бы я посадить васъ въ смиренный домъ, какъ отецъ развращаемаго вами молодого человѣка, котораго вы обирали, да вѣдь не сдѣлалъ же этого... хе-хе-хе!

Но мы уже входили. Услышавъ еще изъ кухни голоса, я остановилъ на одну секунду доктора и вслушался въ послѣднюю фразу князя. Затѣмъ раздался отвратительный хохотъ его и отчаянное восклицаніе Наташи: „О, Боже мой!“ Въ эту минуту я отворилъ дверь и бросился на князя.

Я плюнулъ ему въ лицо и изо всей силы ударилъ его по щекѣ. Онъ хотѣлъ было броситься на меня, но, увидавъ, что насъ двое, пустился бѣжать, схвативъ сначала со стола свою пачку съ деньгами. Да, онъ сдѣлалъ это; я самъ видѣлъ. Я бросилъ ему вдогонку скалкой, которую схватилъ въ кухнѣ, на столѣ... Вбѣжавъ опять въ комнату, я увидѣлъ, что докторъ удерживалъ Наташу, которая билась и рвалась у него изъ рукъ, какъ въ припадкѣ. Долго мы не могли успокоить ее; наконецъ, намъ удалось уложить ее въ постель; она была какъ въ горячешномъ бреду.

— Докторъ! Чтò съ ней? спросилъ я, замирая отъ страха.

— Подождите, отвѣчалъ онъ,—надо еще приглядѣться къ болѣзни и потомъ уже сообразить... но, вообще говоря, дѣло очень не хорошо. Можетъ кончиться даже горячкой... Впрочемъ, мы примемъ мѣры...

Но меня уже осѣнила другая мысль. Я умолилъ доктора остаться съ Наташей еще на два или на три часа, и взялъ съ него слово не уходить отъ нея ни на одну минуту. Онъ далъ мнѣ слово, и я побѣжалъ домой.

Нелли сидѣла въ углу, угрюмая и встревоженная, и странно поглядѣла на меня. Должно-быть, я и самъ былъ страненъ.

Я схватилъ ее на руки, сѣлъ на диванъ, посадилъ къ себѣ на колѣни и горячо поцѣловалъ ее. Она вспыхнула.

— Нелли, ангелъ! сказалъ я,—хочешь-ли ты быть нашимъ спасеніемъ? Хочешь-ли спасти всѣхъ насъ?

Она съ недоумѣніемъ посмотрѣла на меня.

— Нелли! Вся надежда теперь на тебя! Есть одинъ отецъ: ты его видѣла и знаешь; онъ проклялъ свою дочь и вчера приходилъ просить тебя къ себѣ вмѣсто дочери. Теперь ее, Наташу (а ты говорила, что любишь ее!), оставилъ тотъ, котораго она любила и для котораго ушла отъ отца. Онъ сынъ того князя, который приѣзжалъ, помнишь, вечеромъ ко мнѣ, и засталъ еще тебя одну, а ты убѣжала отъ него и потомъ была больна... Ты вѣдь знаешь его? Онъ злой человѣкъ!

— Знаю, отвѣчала Нелли, вздрогнула и поблѣднѣла.

— Да, онъ злой человѣкъ. Онъ ненавидѣлъ Наташу за то, что его сынъ, Алеша, хотѣлъ на ней жениться. Сегодня уѣхалъ Алеша, а черезъ часъ его отецъ уже былъ у ней и оскорбилъ ее, и грозилъ ее посадить въ смиренный домъ, и смѣялся надъ ней. Понимаешь меня, Нелли?

Черные глаза ея сверкнули, но она тотчасъ же ихъ опустила.

— Понимаю, прошептала она чуть слышно.

— Теперь Наташа одна, больная; я оставилъ ее съ нашимъ докторомъ, а самъ прибѣжалъ къ тебѣ. Слушай, Нелли: пойдемъ къ отцу Наташи; ты его не любишь, ты къ нему не хотѣла идти, но теперь пойдемъ къ нему вмѣстѣ. Мы войдемъ, и я скажу, что ты теперь хочешь быть у нихъ вмѣсто дочери, вмѣсто Наташи. Старикъ теперь боленъ, потому что проклялъ Наташу и потому, что отецъ Алеши еще на-дняхъ смертельно оскорбилъ его.

Онъ не хочетъ и слышать теперь про дочь, но онъ ее любить, любить, Нелли, и хочетъ съ ней примириться; я знаю это, я все это знаю! Это такъ!.. Слышишь-ли, Нелли?..

— Слышу, произнесла она тѣмъ же шопотомъ.

Я говорилъ ей, обливаясь слезами. Она робко взглядывала на меня.

— Вѣришь-ли этому?

— Вѣрю.

— Ну, такъ я войду съ тобой, посажу тебя, и тебя примутъ, обласкаютъ и начнутъ спрашивать. Тогда я самъ такъ подведу разговоръ, что тебя начнутъ спрашивать о томъ, какъ ты жила прежде: о твоей матери и о твоёмъ дѣдушкѣ. Расскажи имъ, Нелли, все такъ, какъ ты мнѣ рассказывала. Все, все расскажи, просто и ничего не утаивая. Расскажи имъ, какъ твою мать оставилъ злой человѣкъ, какъ она умирала въ подвалѣ у Бубновой, какъ вы съ матерью вмѣстѣ ходили по улицамъ и просили милостыню; что говорила она тебѣ и о чемъ просила тебя, умирая... Расскажи тутъ же и про дѣдушку. Расскажи, какъ онъ не хотѣлъ прощать твою мать и какъ она послала тебя къ нему въ свой предсмертный часъ, чтобы онъ пришелъ къ ней простить ее, и какъ онъ не хотѣлъ... и какъ она умерла. Все, все расскажи! И какъ расскажешь все это, то старикъ почувствуетъ все это и въ своемъ сердцѣ. Онъ вѣдь знаетъ, что сегодня бросилъ ее Алеша, и она осталась униженная и поруганная, одна, безъ помощи и безъ защиты, на поруганіе своему врагу. Онъ все это знаетъ... Нелли! Спаси Наташу! Хочешь-ли ѣхать?

— Да, отвѣчала она, тяжело переводя духъ и какимъ-то страннымъ взглядомъ, пристально и долго посматрѣвъ на меня; что-то похожее на укоръ было въ этомъ взглядѣ, и я почувствовалъ это въ моемъ сердцѣ.

Но я не могъ оставить мою мысль. Я слишкомъ вѣрилъ въ нее. Я схватилъ за руку Нелли, и мы вышли. Былъ уже третій часъ пополудни. Находила туча. Все послѣднее время погода стояла жаркая и удушливая, но теперь послышался, гдѣ-то далеко, первый, ранній весенній громъ. Вѣтеръ пронесся по пыльнымъ улицамъ.

Мы сѣли на извозчика. Всю дорогу Нелли молчала, изрѣдка только взглядывала на меня все тѣмъ же страннымъ и загадочнымъ взглядомъ. Грудь ея волновалась, и, придерживая ее на дрожжахъ, я слышалъ, какъ въ моей

ладони колотилось ея маленькое сердечко, какъ будто хотѣло выскочить вонъ.

ГЛАВА VII.

Дорога мнѣ казалась безконечною. Наконецъ, мы пріѣхали, и я вошелъ къ моимъ старикамъ съ замираніемъ сердца. Я не зналъ, какъ выйду изъ ихъ дома, но зналъ, что мнѣ, во что бы то ни стало, надо выйти съ прощеніемъ и примиреніемъ.

Быль уже четвертый часъ. Старики сидѣли одни, по обыкновенію. Николай Сергѣичъ былъ очень разстроены и боленъ и полулежалъ, протянувшись въ своемъ покойномъ креслѣ, блѣдный и изнеможенный, съ головой, обвязанной платкомъ. Анна Андреевна сидѣла возлѣ него, изрѣдка примачивала ему виски уксусомъ и безпрестанно, съ пытливымъ и страдальческимъ видомъ, заглядывала ему въ лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Онъ упорно молчалъ, она не смѣла заговорить. Нашъ внезапный пріѣздъ поразилъ ихъ обоихъ. Анна Андреевна чего-то вдругъ испугалась, увидя меня съ Нелли, и въ первыя минуты смотрѣла на насъ такъ, какъ будто въ чемъ-нибудь вдругъ почувствовала себя виноватою.

— Вотъ я привезъ къ вамъ мою Нелли, сказала я, входя.— Она надумалась, и теперь сама захотѣла къ вамъ. Примите и полюбите...

Старикъ подозрительно взглянулъ на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему все извѣстно, то-есть, что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, можетъ-быть, уже оскорблена. Ему очень хотѣлось проникнуть въ тайну нашего прибытія, и онъ вопросительно смотрѣлъ на меня и на Нелли. Нелли дрожала, крѣпко сжимая своей рукой мою, смотрѣла въ землю и изрѣдка только бросала кругомъ себя пугливый взглядъ, какъ пойманный звѣрокъ. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась: она такъ и кинулась къ Нелли, поцѣловала ее, приласкала, даже заплакала и съ нѣжностью усадила ее возлѣ себя, не выпуская изъ своей руки ея руку. Нелли съ любопытствомъ и съ какимъ-то удивленіемъ оглядѣла ее искоса.

Но, обласкавъ и усадивъ Нелли подлѣ себя, старушка уже и не знала больше, что дѣлать и съ наивнымъ ожиданіемъ стала смотрѣть на меня. Старикъ поморщился,

чуть-ли не догадавшись, для чего я привелъ Нелли. Увидѣвъ, что я замѣчаю его недовольную мину и нахмуренный лобъ, онъ поднесъ къ головѣ свою руку и сказалъ мнѣ отрывисто:

— Голова болить, Ваня.

Мы все еще сидѣли и молчали; я обдумывалъ, что начать. Въ комнатѣ было сумрачно; надвигалась черная туча и вновь послышался отдаленный раскатъ грома.

— Громъ-то какъ рано въ эту весну, сказалъ старикъ.— А вотъ въ тридцать седьмомъ году, помню, въ нашихъ мѣстахъ былъ еще раньше.

Анна Андреевна вздохнула.

— Не поставить-ли самоварчикъ? робко спросила она; но никто ей не отвѣтилъ, и она опять обратилась къ Нелли. — Какъ тебя, моя голубушка, звать? спросила она ее.

Нелли слабымъ голосомъ назвала себя и еще больше потупилась. Старикъ пристально поглядѣлъ на нее.

— Это Елена, что-ли? продолжала, оживляясь, старушка.

— Да, отвѣчала Нелли.

И опять послѣдовало минутное молчаніе.

— У сестрицы Прасковьи Андреевны была племянница Елена, проговорилъ Николай Сергѣичъ, — тоже Нелли звали. Я помню.

— Что-жъ у тебя, голубушка, ни родныхъ, ни отца, ни матери нѣту? спросила опять Анна Андреевна.

— Нѣтъ, отрывисто и пугливо прошептала Нелли.

— Слышала я это, слышала. А давно-ли матушка твоя померла?

— Недавно.

— Голубчикъ ты мой, сироточка, продолжала старушка, жалостливо на нее поглядывая.

Николай Сергѣичъ въ нетерпѣніи барабанилъ по столу пальцами.

— Матушка-то твоя изъ иностранокъ, что-ли, была? Такъ, что-ли, вы рассказывали, Иванъ Петровичъ? продолжались робкіе вопросы старушки.

Нелли бѣгло взглянула на меня своими черными глазами, какъ будто призывая меня на помощь. Она какъ-то неровно и тяжело дышала.

— У ней, Анна Андреевна, началъ я, — мать была дочь англичанина и русской, такъ что скорѣе была русская; Нелли же родилась за границей.

— Какъ же ея матушка - то съ супругомъ своимъ за границу поѣхала?

Нелли вдругъ вся вспыхнула. Старушка мигомъ догадалась, что обмолвилась, и вздрогнула подъ гнѣвнымъ взглядомъ старика. Онъ строго посмотрѣлъ на нее и отворотился было къ окну.

— Ея мать была дурнымъ и подлымъ человѣкомъ обманута, произнесъ онъ, вдругъ обращаясь къ Аннѣ Андреевнѣ. — Она уѣхала съ нимъ отъ отца и передала отцовскія деньги любовнику; а тотъ выманилъ ихъ у нея обманомъ, завезъ за границу, обокралъ и бросилъ. Одинъ добрый человѣкъ ея не оставилъ и помогалъ ей до самой своей смерти. А когда онъ умеръ, она, два года тому назадъ, воротилась назадъ къ отцу. Такъ, что-ли, ты рассказывалъ, Ваня? спросилъ онъ отрывисто.

Нелли въ величайшемъ волненіи встала съ мѣста и хотѣла было идти къ дверямъ.

— Поди сюда, Нелли, сказалъ старикъ, протягивая, наконецъ, ей руку. — Сядь здѣсь, сядь возлѣ меня, вотъ тутъ, — сядь!

Онъ нагнулся, поцѣловалъ ее въ лобъ и тихо началъ гладить ее по головкѣ. Нелли такъ вся и затрепетала... но сдержала себя. Анна Андреевна въ умиленіи, съ радостною надеждою, смотрѣла, какъ ея Николай Сергѣичъ приголубилъ, наконецъ, сиротку.

— Я знаю, Нелли, что твою мать погубилъ злой человѣкъ, злой и безнравственный, но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала, съ волненіемъ произнесъ старикъ, продолжая гладить Нелли по головкѣ и, не стерпѣвъ, чтобъ не бросить намъ въ эту минуту этотъ вызовъ.

Легкая краска покрыла его блѣдныя щеки; но онъ старался не взглядывать на насъ.

— Мамаша любила дѣдушку больше, чѣмъ ее дѣдушка любилъ, робко, но твердо проговорила Нелли, тоже стараясь ни на кого не взглянуть.

— А ты почему знаешь? рѣзко спросилъ старикъ, не выдержавъ, какъ ребенокъ, и какъ будто самъ стыдясь своего нетерпѣнія.

— Знаю, отрывисто отвѣтила Нелли. — Онъ не принялъ матушку и... прогналъ ее...

Я видѣлъ, что Николаю Сергѣичу хотѣлось было что-то сказать, возразить, сказать, напримѣръ, что старикъ

за дѣло не принялъ дочь, но онъ поглядѣлъ на насъ и смолчалъ.

— Какъ же, гдѣ же вы жили-то, когда дѣдушка васъ не принялъ? спросила Анна Андреевна, въ которой вдругъ родилось упорство и желаніе продолжать именно на эту тему.

— Когда мы пріѣхали, то долго отыскивали дѣдушку, отвѣчала Нелли,—но никакъ не могли отыскать. Мамаша мнѣ и сказала тогда, что дѣдушка былъ прежде очень богатый и фабрику хотѣлъ строить, а что теперь онъ очень бѣдный, потому что тотъ, съ кѣмъ мамаша уѣхала, ввзялъ у ней всѣ дѣдушкины деньги и не отдалъ ей. Она мнѣ это сама сказала.

— Гм!.. отозвался старикъ.

— И она говорила мнѣ еще, продолжала Нелли, все болѣе и болѣе оживляясь и какъ будто желая возразить Николаю Сергѣичу, но обращаясь къ Аннѣ Андреевнѣ,—она мнѣ говорила, что дѣдушка на нее очень сердитъ и что она сама во всемъ передъ нимъ виновата, и что нѣтъ у ней теперь на всей землѣ никого кромѣ дѣдушки. И когда говорила мнѣ, то плакала... „Онъ меня не проститъ“, говорила она, еще когда мы сюда ѣхали,—„но, можетъ-быть, тебя увидитъ и тебя полюбитъ, а за тебя и меня проститъ“. Мамаша очень любила меня и когда это говорила, то всегда меня цѣловала, а къ дѣдушкѣ идти очень боялась. Меня же учила молиться за дѣдушку и сама молилась и много мнѣ еще рассказывала, какъ она прежде жила съ дѣдушкой и какъ дѣдушка ее очень любилъ, больше всѣхъ. Она ему на фортепьяно играла и книги читала по вечерамъ, а дѣдушка ее цѣловалъ и много ей дарилъ... все дарилъ, такъ что одинъ разъ они и поссорились, въ мамашины именины; потому что дѣдушка думалъ, что мамаша еще не знаетъ, какой будетъ подарокъ, а мамаша уже давно узнала какой. Мамашѣ хотѣлось серьги, а дѣдушка все нарочно обманывалъ ее и говорилъ, что подарить не серьги, а брошку; и когда онъ принесъ серьги и какъ увидѣлъ, что мамаша ужъ знаетъ, что будутъ серьги, а не брошка, то разсердился за то, что мамаша узнала, и половину дня не говорилъ съ ней, а потомъ самъ пришелъ ее цѣловать и прощенья просить...

Нелли рассказывала съ увлеченіемъ и даже краска заиграла на ея блѣдныхъ, больныхъ щечкахъ.

Видно было, что ея мамаша не разъ говорила съ своей маленькой Нелли о своихъ прежнихъ счастливыхъ дняхъ, сидя въ своемъ углу, въ подвалѣ, обнимая и цѣлуя свою дѣвочку (все, что у ней осталось отраднаго въ жизни) и плача надъ ней, а въ то же время и не подозрѣвая, съ какою силою отзовутся эти рассказы ея въ болѣзненно-впечатлительномъ и рано развившемся сердцѣ больного ребенка.

Но увлекшаяся Нелли какъ будто вдругъ опомнилась, недовѣрчиво осмотрѣлась кругомъ и притихла. Старикъ наморщилъ лобъ и снова забарабанилъ по столу; у Анны Андреевны показалась на глазахъ слезинка и она молча отерла ее платкомъ.

— Мамаша пріѣхала сюда очень больная, прибавила Нелли тихимъ голосомъ.—У ней грудь очень болѣла. Мы долго искали дѣдушку и не могли найти, а сами занимали въ подвалѣ, въ углу.

— Въ углу, больная-то! вскричала Анна Андреевна.

— Да... въ углу... отвѣчала Нелли.—Мамаша была бѣдная. Мамаша мнѣ говорила, прибавила она, оживляясь,— что не грѣхъ быть бѣдной, а что грѣхъ быть богатымъ и обижать... и что ее Богъ наказываетъ.

— Что же вы, на Васильевскомъ занимали? Это тамъ, у Бубновой, что-ли? спросилъ старикъ, обращаясь ко мнѣ и стараясь выказать нѣкоторую небрежность въ своемъ вопросѣ. Спросилъ же, какъ будто ему неловко было сидѣть молча.

— Нѣтъ, не тамъ.. а сперва въ Мѣщанской, отвѣчала Нелли.—Тамъ было очень темно и сыро, продолжала она, помолчавъ,—и матушка очень заболѣла, но еще тогда ходила. Я ей бѣлье мыла, а она плакала. Тамъ тоже жила одна старушка, капитанша, и жилъ отставной чиновникъ и все приходилъ пьяный, и всякую ночь кричалъ и шумѣлъ. Я очень боялась его. Матушка брала меня къ себѣ на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, дрожить, а чиновникъ кричитъ и бранится. Онъ хотѣлъ одинъ разъ прибить капитаншу, а та была старая старушка и ходила съ палочкой. Мамашѣ стало жаль ее, и она за нее заступилась; чиновникъ и ударилъ мамашу, а я чиновника...

Нелли остановилась. Воспоминаніе взволновало ее; глазки ея засверкали.

— Господи Боже мой! вскричала Анна Андреевна, до

послѣдней степени заинтересованная разговоромъ и не спускавшая глазъ съ Нелли, которая преимущественно обращалась къ ней.

— Тогда мамаша вышла, продолжала Нелли, — и меня увела съ собой. Это было днемъ. Мы все ходили по улицамъ, до самаго вечера, и мамаша все плакала и все ходила, а меня вела за руку. Я очень устала; мы и не ѣли этотъ день. А мамаша все сама съ собой говорила и мнѣ все говорила: „будь блѣдная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни къ кому не ходи; будь одна, блѣдная, и работай, а нѣтъ работы, такъ милостыню проси, а къ *нимъ* не ходи“. Только въ сумерки мы переходили черезъ одну большую улицу; вдругъ мамаша закричала: „Азорка! Азорка!“ — и вдругъ большая собака, безъ шерсти, побѣжала къ мамашѣ, завизжала и бросилась къ ней, а мамаша испугалась, стала блѣдная, закричала и бросилась на колѣни передъ высокимъ старикомъ, который шелъ съ палкой и смотрѣлъ въ землю. А этотъ высокій старикъ и былъ дѣдушка, и такой сухошавый, въ дурномъ платьѣ. Тутъ-то я въ первый разъ и увидала дѣдушку. Дѣдушка тоже очень испугался и весь поблѣднѣлъ и какъ увидаль, что мамаша лежитъ подлѣ него и обхватила его ноги, — онъ вырвался, толкнулъ мамашу, ударилъ по камню палкой и пошелъ скоро отъ насъ. Азорка еще остался и все вылъ и лизалъ мамашу, потомъ побѣжалъ къ дѣдушкѣ, схватилъ его за полу и потащилъ назадъ, а дѣдушка его ударилъ палкой. Азорка опять къ намъ было побѣжалъ, да дѣдушка кликнулъ его; онъ и побѣжалъ за дѣдушкой и все вылъ. А мамаша лежала, какъ мертвая, кругомъ народъ собрался, полицейскіе пришли. Я все кричала и подымала мамашу. Она и встала, оглядѣлась кругомъ и пошла за мной. Я ее повела домой. Люди на насъ долго смотрѣли и все головой качали...

Нелли приостановилась перевести духъ и скрѣпить себя. Она была очень блѣдна, но рѣшительность сверкала въ ея взглядѣ. Видно было, что она рѣшилась, наконецъ, *все* говорить. Въ ней было даже что-то вызывающее въ эту минуту.

— Что-жъ, замѣтилъ Николай Сергѣичъ, неровнымъ голосомъ, съ какою-то раздражительною рѣзкостью. — Что-жъ, твоя мать оскорбила своего отца и онъ за дѣло отвергъ ее...

— Матушка мнѣ то же говорила, рѣзко подхватила

Нелли,—и какъ мы шли домой, все говорила: это твой дѣдушка, Нелли, а я виновата передъ нимъ, вотъ онъ и проклялъ меня, за это меня теперь Богъ и наказываетъ, и весь вечеръ этотъ и всѣ слѣдующіе дни все это же говорила. А говорила, какъ будто себя не помнила...

Старикъ смолчалъ.

— А потомъ какъ же вы на другую - то квартиру переехали? спросила Анна Андреевна, продолжавшая тихо плакать.

— Мамаша въ ту же ночь заболѣла, а капитанша отыскала квартиру у Бубновой, а на третій день мы и переѣхали и капитанша съ нами; и какъ переѣхали, мамаша совсѣмъ и слегла, и три недѣли лежала больная, а я ходила за ней. Деньги у насъ совсѣмъ всѣ вышли, и намъ помогла капитанша и Иванъ Александрычъ.

— Гробовщикъ, хозяинъ, сказалъ я въ поясненіе.

— А когда мамаша встала съ постели и стала ходить, тогда мнѣ про Азорку и рассказала.

Нелли приостановилась. Старикъ какъ будто обрадовался, что разговоръ перешелъ на Азорку.

— Что-жъ она про Азорку тебѣ рассказывала? спросилъ онъ, еще болѣе нагнувшись въ своихъ креслахъ, точно чтобъ еще больше скрыть свое лицо и смотрѣть внизъ.

— Она все мнѣ говорила про дѣдушку, отвѣчала Нелли,—и больная все про него говорила, и когда въ бреду была тоже говорила. Вотъ она какъ стала и доравливать, то и начала мнѣ опять рассказывать, какъ она прежде жила... тутъ и про Азорку рассказала, потому что разъ гдѣ-то на рѣкѣ, за городомъ, мальчишки тащили Азорку на веревкѣ топить, а мамаша дала имъ денегъ и купила у нихъ Азорку. Дѣдушка, какъ увидѣлъ Азорку, сталъ надъ нимъ очень смѣяться. Только Азорка и убѣжалъ. Мамаша стала плакать; дѣдушка испугался и сказалъ, что дастъ сто рублей тому, кто приведетъ Азорку. На третій день его и привели; дѣдушка сто рублей отдалъ и съ этихъ поръ сталъ любить Азорку. А мамаша такъ его стала любить, что даже на постель съ собой брала. Она мнѣ рассказывала, что Азорка прежде съ комедіантами по улицамъ ходилъ, и служить умѣлъ, и обезьяну на себѣ возилъ, и ружьемъ умѣлъ дѣлать, и много еще умѣлъ... А когда мамаша уѣхала отъ дѣдушки, то дѣдушка и оставилъ Азорку у себя и все съ нимъ ходилъ, такъ что на улицѣ, какъ только мамаша

увидала Азорку, тотчас же и догадалась, что тутъ же и дѣдушка...

Старикъ видимо ожидалъ не того объ Азоркѣ, и все больше и больше хмурился. Онъ ужъ не спрашивалъ болѣе ничего.

— Такъ какъ же, вы такъ больше и не видали дѣдушку? спросила Анна Андреевна.

— Нѣтъ, когда мамаша стала выздоравливать, тогда я встрѣтила опять дѣдушку. Я ходила въ лавочку за хлѣбомъ: вдругъ увидала человѣка съ Азоркой, посмотрѣла и узнала дѣдушку. Я посторонилась и прижалась къ стѣнѣ. Дѣдушка посмотрѣлъ на меня, долго смотрѣлъ и такой былъ страшный, что я его очень испугалась, и прошелъ мимо; Азорка же меня припомнилъ и началъ скакать подлѣ меня и мнѣ руки лизать. Я поскорѣй пошла домой, посмотрѣла назадъ, а дѣдушка зашелъ въ лавочку. Тутъ я подумала: вѣрно спрашиваетъ, и испугалась еще больше, и когда пришла домой, то мамашѣ ничего не сказала, чтобъ мамаша опять не сдѣлалась больна. Сама же въ лавочку на другой день не ходила; сказала, что у меня голова болитъ; а когда пошла на третій день, то никого не встрѣтила и ужасно боялась, такъ что бѣгомъ бѣжала. А еще черезъ день вдругъ я иду, только что за уголъ зашла, а дѣдушка передо мной и Азорка. Я побѣжала и поворотила въ другую улицу и съ другой стороны въ лавочку зашла; только вдругъ прямо на него опять и наткнулась и такъ испугалась, что тутъ же и остановилась и не могу идти. Дѣдушка сталъ передо мною и опять долго смотрѣлъ на меня, а потомъ погладилъ меня по головкѣ, взялъ за руку и повелъ меня, а Азорка за нами и хвостомъ махаетъ. Тутъ я и увидала, что дѣдушка и ходить прямо ужъ не можетъ и все на палку упирается, а руки у него совсѣмъ дрожать. Онъ меня привелъ къ разносчику, который на углу сидѣлъ и продавалъ пряники и яблоки. Дѣдушка купилъ пряничнаго пѣтушка и рыбку, и одну конфетку, и яблоко, и когда вынималъ деньги изъ кожанаго кошелька, то руки у него очень тряслись и онъ уронилъ пятакъ, а я подняла ему. Онъ мнѣ этотъ пятакъ подарилъ, и пряники отдалъ, и погладилъ меня по головѣ, но опять ничего не сказалъ, а пошелъ отъ меня домой.

Тогда я пришла къ мамашѣ и рассказала ей все про дѣдушку, и какъ я сначала его боялась и пряталась отъ

него. Мамаша мнѣ сперва не повѣрила, а потомъ такъ обрадовалась, что весь вечеръ меня распрашивала, цѣловала и плакала, и когда я ужъ ей все рассказала, то она мнѣ вперёдъ приказала: чтобъ я никогда не боялась дѣдушку, и что, стало-быть, дѣдушка любить меня, коль нарочно приходилъ ко мнѣ. И велѣла, чтобъ я ласкалась къ дѣдушкѣ и говорила съ нимъ. А на другой день все меня высылала нѣсколько разъ поутру, хотя я и сказала ей, что дѣдушка приходилъ всегда только передъ вечеромъ. Сама же она за мной издали шла и за угломъ пряталась и на другой день такъ же, но дѣдушка не пришелъ, а въ эти дни шелъ дождь, и матушка очень простудилась, потому что все со мной выходила за ворота, и опять слегла.

Дѣдушка же пришелъ черезъ недѣлю и опять мнѣ купилъ одну рыбку и яблоко и опять ничего не сказалъ. А когда ужъ онъ пошелъ отъ меня, я тихонько пошла за нимъ, потому что заранѣе такъ вздумала, чтобъ узнать гдѣ живетъ дѣдушка, и сказать мамашѣ. Я шла издали по другой сторонѣ улицы, такъ, чтобъ дѣдушка меня не видалъ. А жилъ онъ очень далеко, не тамъ, гдѣ послѣ жилъ и умеръ, а въ Гороховой, тоже въ большомъ домѣ, въ четвертомъ этажѣ. Я все это узнала и поздно воротилась домой. Мамаша очень испугалась, потому что не знала, гдѣ я была. Когда же я рассказала, то мамаша опять очень обрадовалась, и тотчасъ же хотѣла идти къ дѣдушкѣ, на другой же день; но на другой день стала думать и бояться и все боялась, цѣлыхъ три дня; такъ и не ходила. А потомъ позвала меня и сказала: „вотъ что, Нелли, я теперь больна и не могу идти, а я написала письмо къ твоему дѣдушкѣ, поди къ нему и отдай письмо. И смотри, Нелли, какъ онъ его прочтетъ, и что скажетъ, и что будетъ дѣлать; а ты стань на колѣни, цѣлуй его и проси его, чтобъ онъ простилъ твою мамашу...“ И мамаша очень плакала, и все меня цѣловала и крестила въ дорогу и Богу молилась, и меня съ собой на колѣни передъ образомъ поставила, и хотъ очень была больна, но вышла меня провожать къ воротамъ и когда я оглядывалась, она все стояла и глядѣла на меня, какъ я иду...

Я пришла къ дѣдушкѣ и отворила дверь, а дверь была безъ вѣручка. Дѣдушка сидѣлъ за столомъ и кушалъ хлѣбъ съ картофелемъ, а Азорка стоялъ передъ нимъ, смотрѣлъ, какъ онъ ѣсть, и хвостомъ махалъ. У дѣдушки тоже и

въ той квартирѣ были огна низкія, темныя, и тоже только одинъ столъ и стулъ. А жилъ онъ одинъ. Я вошла, и онъ такъ испугался, что весь поблѣднѣлъ и затрясся. Я тоже испугалась и ничего не сказала, а только подошла къ столу и положила письмо. Дѣдушка какъ увидалъ письмо, то такъ разсердился, что вскочилъ, схватилъ палку и замахнулся на меня, но не ударилъ, а только вывелъ меня въ сѣни и толкнулъ меня. Я еще не успѣла и съ первой лѣстницы сойти, какъ онъ отворилъ опять дверь и выбросилъ мнѣ назадъ письмо, нераспечатанное. Я пришла домой и все рассказала. Тутъ матушка слегла опять...

ГЛАВА VIII.

Въ эту минуту раздался довольно сильный ударъ грома, и дождь крупнымъ ливнемъ застучалъ въ стекла; въ комнатѣ стемнѣло. Старушка словно испугалась и перекрестилась. Мы всѣ вдругъ остановились.

— Сейчасъ пройдетъ, сказалъ старикъ, поглядывая на окна; затѣмъ всталъ и прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

Нелли искоса слѣдила за нимъ взглядомъ. Она была въ чрезвычайномъ, болѣзненномъ волненіи. Я видѣлъ это; но на меня она какъ-то избѣгала глядѣть.

— Ну, что-жь дальше? спросилъ старикъ, снова усѣвшись въ свои кресла.

Нелли пугливо оглядѣлась кругомъ.

— Такъ ты ужъ больше и не видала своего дѣдушку?

— Нѣтъ, видѣла...

— Да, да! Рассказывай, голубчикъ мой, рассказывай, подхватила Анна Андреевна.

— Я его три недѣли не видала, начала Нелли, — до самой зимы. Тутъ зима стала и снѣгъ выпалъ. Когда же я встрѣтила дѣдушку опять, на прежнемъ мѣстѣ, то очень обрадовалась... потому что мамаша тосковала, что онъ не ходитъ. Я какъ увидѣла его, нарочно побѣжала на другую сторону улицы, чтобъ онъ видѣлъ, что я бѣгу отъ него. Только я оглянулась и вижу, что дѣдушка сначала скоро пошелъ за мной, а потомъ и побѣжалъ, чтобъ меня догнать, и сталъ кричать мнѣ: „Нелли, Нелли!“ И Азорка бѣжалъ за нимъ. Мнѣ жалко стало, я и остановилась. Дѣдушка подошелъ и взялъ меня за руку и повелъ, а когда увидѣлъ, что я плачу, остановился, посмотрѣлъ на меня, нагнулся и поцѣловалъ. Тутъ онъ увидалъ, что

у меня башмаки худые и спросилъ: развѣ у меня нѣтъ другихъ. Я тотчасъ же сказала ему поскорѣй, что у мамы совсѣмъ нѣтъ денегъ и что намъ хозяева изъ одной жалости ѣсть дають. Дѣдушка ничего не сказалъ, но повелъ меня на рынокъ и купилъ мнѣ башмаки и велѣлъ тутъ же ихъ надѣть, а потомъ повелъ меня къ себѣ, въ Гороховую, а прежде зашелъ въ лавочку и купилъ пироги и двѣ конфетки и, когда мы пришли, сказалъ, чтобъ я ѣла пироги, и смотрѣлъ на меня, когда я ѣла, а потомъ далъ мнѣ конфетки. А Азорка положилъ лапы на столъ и тоже просилъ пирога, я ему и дала, и дѣдушка засмѣялся. Потомъ взялъ меня, поставилъ подлѣ себя, началъ по головѣ гладить и спрашивать: училась-ли я чему-нибудь и чтò я знаю? Я ему сказала, а онъ велѣлъ мнѣ, какъ только мнѣ можно будетъ, каждый день, въ три часа, ходить къ нему и что онъ самъ будетъ учить меня. Потомъ сказалъ мнѣ, чтобъ я отвернулась и смотрѣла въ окно, покамѣстъ онъ скажетъ, чтобъ я опять повернулась къ нему. Я такъ и стояла, но тихонько обернулась назадъ и увидѣла, что онъ распоролъ свою подушку, съ нижняго угла, и вынулъ четыре цѣлковыхъ. Когда вынулъ, принесъ ихъ мнѣ и сказалъ: „Это тебѣ одной“. Я было взяла, но потомъ подумала и сказала: „Коли мнѣ одной, такъ я не возьму“. Дѣдушка вдругъ разсердился и сказалъ мнѣ: „ну, бери какъ знаешь, ступай“. Я вышла, а онъ и не поцѣловалъ меня.

Какъ я пришла домой, все мамашѣ и рассказала. А мамашѣ все становилось хуже и хуже. Къ гробовщику ходилъ одинъ студентъ; онъ лѣчилъ мамашу и велѣлъ ей лѣкарства принимать.

А я ходила къ дѣдушкѣ часто: мамаша такъ приказывала. Дѣдушка купилъ Новый Завѣтъ и Географію, и сталъ меня учить; а иногда рассказывалъ мнѣ, какія на свѣтѣ есть земли и какіе люди живутъ, и какія моря, и чтò было прежде, и какъ Христосъ насъ всѣхъ простилъ. Когда я его сама спрашивала, то онъ былъ очень радъ; потому я и стала часто его спрашивать, и онъ все рассказывалъ, и про Бога много говорилъ. А иногда мы не учились и съ Азоркой играли: Азорка меня очень сталъ любить, и я его выучила черезъ палку скакать, и дѣдушка смѣялся и все меня по головкѣ гладилъ. Только дѣдушка рѣдко смѣялся. Одинъ разъ много говорить, а то вдругъ замолчить и сидить, какъ будто заснулъ, а

глаза открыты. Такъ и досидитъ до сумерокъ, а въ сумерки онъ такой становится страшный, старый такой... А то, бывало, приду къ нему, а онъ сидитъ на своемъ стулѣ, думаетъ и ничего не слышитъ, и Азорка подлѣ него лежитъ. Я жду, жду и кашляю; дѣдушка все не оглядывается. Я такъ и уйду. А дома мамаша такъ ужъ и ждетъ меня; она лежитъ, а я ей рассказываю все, все, такъ что и ночь придетъ, а я все говорю и она все слушаетъ про дѣдушку: что онъ дѣлалъ сегодня, и что мнѣ рассказывалъ, какія исторіи, и что на урокъ мнѣ задалъ. А какъ начну про Азорку, что я его черезъ палку заставляла скакать и что дѣдушка смѣялся, то и она вдругъ начнетъ смѣяться, и долго, бывало, смѣется и радуется, и опять заставляетъ повторить, а потомъ молится начнетъ. А я все думала: что-жъ мамаша такъ любить дѣдушку, а онъ ее не любитъ, и когда пришла къ дѣдушкѣ, то нарочно стала ему рассказывать, какъ мамаша его любитъ. Онъ все слушалъ, такой сердитый, а все слушалъ и ни слова не говорилъ; тогда я и спросила, отчего мамаша его такъ любитъ, что все о немъ спрашиваетъ, а онъ никогда про мамашу не спрашиваетъ. Дѣдушка разсердился и выгналъ меня за дверь; я немножко постояла за дверью, а онъ вдругъ опять отворилъ и позвалъ меня назадъ, и все сердился и молчалъ. А когда потомъ мы начали Законъ Божій читать, я опять спросила: отчего же Иисусъ Христосъ сказалъ: „любите другъ друга и прощайте обиды“, а онъ не хочетъ простить маму? Тогда онъ вскочилъ и закричалъ, что это мамаша меня научила, вытолкала меня въ другой разъ вонъ и сказалъ, чтобъ я никогда не смѣла теперь къ нему приходиться. А я сказала, что я и сама теперь къ нему не приду и ушла отъ него... А дѣдушка на другой день изъ квартиры переѣхалъ...

— Я сказалъ, что дождь скоро пройдетъ, вотъ и прошелъ, вотъ и солнышко... смотри, Ваня, сказалъ Николай Сергѣичъ, оборотаясь къ окну.

Анна Андреевна поглядѣла на него въ чрезвычайномъ недоумѣніи, и вдругъ негодованіе засверкало въ глазахъ доселѣ смирной и напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила къ себѣ на колѣни.

— Рассказывай мнѣ, ангель мой, сказала она,—я буду тебя слушать. Пусть тѣ, у кого жестокиа сердца...

Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно

взглянула на меня, какъ бы въ недоумѣннн и въ испугѣ. Старикъ посмотрѣлъ на меня, пожалъ было плечами, но тотчасъ же отвернулся.

— Продолжай, Нелли, сказалъ я.

— Я три дня не ходила къ дѣдушкѣ, начала опять Нелли,—а въ это время мамашѣ стало худо. Деньги у насъ всѣ вышли, а лѣкарства не на что было купить, да и не ѣли мы ничего, потому что у хозяевъ тоже ничего не было, и они стали насъ попрекать, что мы на ихъ счетъ живемъ. Тогда я на третій день утромъ встала и начала одѣваться. Мамаша спросила: куда я иду? Я и сказала: къ дѣдушкѣ, просить денегъ, и она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамашѣ все, какъ онъ прогналъ меня отъ себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить къ дѣдушкѣ, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дѣдушка переѣхалъ, и пошла искать его въ новый домъ. Какъ только я пришла къ нему въ новую квартиру, онъ вскопчилъ, бросился на меня и затопалъ ногами, и я ему тотчасъ сказала, что мамаша очень больна, что на лѣкарство надо денегъ, пятьдесятъ копеекъ, а намъ ѣсть нечего. Дѣдушка закричалъ и вытолкалъ меня на лѣстницу и заперъ за мной дверь на крючокъ. Но когда онъ толкалъ меня, я ему сказала, что я на лѣстницѣ буду сидѣть и до тѣхъ поръ не уйду, покамѣстъ онъ денегъ не дастъ. Я и сидѣла на лѣстницѣ. Немного спустя онъ отворилъ дверь и увидѣлъ, что я сижу, и опять затворилъ. Потомъ долго прошло; онъ опять отворилъ, опять увидѣлъ меня и опять затворилъ. И потомъ много разъ отворялъ и смотрѣлъ. Наконецъ, вышелъ съ Азоркой, заперъ дверь и прошелъ мимо меня со двора и ни слова мнѣ не сказалъ. И я ни слова не сказала и такъ и осталась сидѣть, и сидѣла до сумерокъ.

— Голубушка моя, вскричала Анна Андреевна, — да вѣдь холодно, знать, на лѣстницѣ-то было!

— Я была въ шубѣ, отвѣчала Нелли.

— Да что-жъ въ шубѣ... голубчикъ ты мой, сколько ты натерпѣлась! Что-жъ онъ, дѣдушка-то твой?

Губки у Нелли начало было потрогивать, но она сдѣлала чрезвычайное усиліе и скрѣпила себя.

— Онъ пришелъ, какъ уже стало совсѣмъ темно, и входя наткнулся на меня и закричалъ: кто тутъ? Я сказала, что это я. А онъ вѣрно думалъ, что я давно ушла,

и какъ увидаль, что я все еще тутъ, то очень удивился и долго стоялъ передо мной. Вдругъ ударилъ по ступенькамъ палкой, побѣжалъ, отперъ свою дверь и черезъ минуту вынесъ мнѣ мѣдныхъ денегъ, все пятаки, и бросилъ ихъ мнѣ на лѣстницу.— „Вотъ тебѣ, закричалъ,—возьми, это у меня все, что было, и скажи твоей матери, что я ее проклинаю“,—а самъ захлопнулъ дверь. А пятаки покатались по лѣстницѣ. Я начала подбирать ихъ въ темнотѣ, и дѣдушка видно догадался, что онъ разбросалъ пятаки и что въ темнотѣ мнѣ ихъ трудно собрать, отворилъ дверь и вынесъ свѣчку, и при свѣчкѣ я скоро ихъ собрала. И дѣдушка самъ собиралъ вмѣстѣ со мной и сказалъ мнѣ, что тутъ всего должно быть семь гривенъ, и самъ ушелъ. Когда я пришла домой, я отдала деньги и все рассказала мамашѣ, и мамашѣ сдѣлалось хуже, а сама я всю ночь была больна и на другой день тоже вся въ жару была, но я только объ одномъ думала, потому что сердилась на дѣдушку, и когда мамаша заснула, пошла на улицу, къ дѣдушкиной квартирѣ, и не доходя, стала на мосту. Тутъ и прошель тотъ...

— Это Архиповъ, сказалъ я, — тотъ, о которомъ я говорилъ, Николай Сергѣичъ,—вотъ, что съ купцомъ у Бубновой былъ и котораго тамъ отколотили. Это въ первый разъ Нелли его тогда увидала... Продолжай, Нелли.

— Я остановила его и попросила денегъ, рубль серебромъ. Онъ посмотрѣлъ на меня и спросилъ: „рубль серебромъ?“ Я сказала: „да“. Тогда онъ засмѣялся и сказалъ мнѣ: пойдемъ со мной. Я не знала, идти-ли; вдругъ подошелъ одинъ старичокъ, въ золотыхъ очкахъ, а онъ слышалъ, какъ я спрашивала рубль серебромъ, нагнулся ко мнѣ и спросилъ: для чего я непременно столько хочу. Я сказала ему, что мамаша больна и что нужно столько на лѣкарство. Онъ спросилъ: гдѣ мы живемъ, и записалъ, и далъ мнѣ бумажку рубль серебромъ. А тотъ, какъ увидаль старика въ очкахъ, ушелъ и не звалъ меня больше съ собой. Я пошла въ лавочку и размѣняла рубль на мѣдныя; тридцать копеекъ завернула въ бумажку и отложила мамашѣ, а семь гривенъ не завернула въ бумажку, а нарочно зажала въ рукахъ и пошла къ дѣдушкѣ. Какъ пришла къ нему, то отворила дверь, стала на порогѣ, размахнулась и бросила ему съ размаха всѣ деньги, такъ онъ и покатались по полу. „Вотъ возьмите ваши деньги!“ сказала я ему.—Не надо ихъ отъ васъ мамашѣ, потому

что вы ее проклинаете“. хлопнула дверью и тотчас же убѣжала прочь.

Ея глаза засверкали, и она съ наивно-вызывающимъ видомъ взглянула на старика.

— Такъ и надо, сказала Анна Андреевна, не смотря на Николая Сергѣича и крѣпко прижимая къ себѣ Нелли.— Такъ и надо съ нимъ; твой дѣдушка былъ злой и жестокосердый...

— Гм! отозвался Николай Сергѣичъ.

— Ну, такъ какъ же, какъ же? съ нетерпѣніемъ спрашивала Анна Андреевна.

— Я перестала ходить больше къ дѣдушкѣ и онъ пересталъ ходить ко мнѣ, отвѣчала Нелли.

— Что-жь, какъ же вы остались съ мамашей-то? Охъ, бѣдныя вы, бѣдныя!

— А мамашѣ стало еще хуже, и она уже рѣдко вставала съ постели, продолжала Нелли, и голосъ ея задрожалъ и прервался.— Денегъ у насъ ужъ ничего больше не было, я и стала ходить съ капитаншей. А капитанша по домамъ ходила, тоже и на улицѣ людей хорошихъ останавливала и просила, тѣмъ и жила. Она говорила мнѣ, что она не нищая, а что у ней бумаги есть, гдѣ ея чинъ написанъ и написано тоже, что она бѣдная. Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали. Она и говорила мнѣ, что у всѣхъ просить не стыдно. Я и ходила съ ней, и намъ подавали, тѣмъ мы и жили. Мамаша узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она нищая, а Бубнова сама приходила къ мамашѣ и говорила, что лучше-бъ она меня къ ней отпустила, а не просить милостыню. Она и прежде къ мамашѣ приходила и ей денегъ носила; а когда мамаша не брала отъ нея, то Бубнова говорила: зачѣмъ вы такія гордыя, и кушанье присылала. А какъ сказала она это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Бубнова начала ее бранить, потому что была пьяна, и сказала, что я и безъ того нищая и съ капитаншей хожу, и въ тотъ же вечеръ выгнала капитаншу изъ дому. Мамаша, какъ узнала про все, то стала плакать, потомъ вдругъ встала съ постели, одѣлась, схватила меня за руку и повела за собой. Иванъ Александрычъ сталъ ее останавливать, но она не слушала, и мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту садилась на улицѣ, а я ее придерживала. Мамаша все говорила, что идетъ

къ дѣдушѣ и чтобъ я вела ее, а ужъ давно стала ночь. Вдругъ мы пришли въ большую улицу; тутъ передъ однимъ домомъ останавливались кареты и много выходило народу, а въ окнахъ вездѣ былъ свѣтъ и слышна была музыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мнѣ тогда: „Нелли, будь бѣдная, будь всю жизнь бѣдная, не ходи къ нимъ, кто бы тебя ни позвалъ, кто бы ни пришелъ. И ты бы могла тамъ быть, богатая и въ хорошемъ платьѣ, да я этого не хочу. Они злые и жестоки, и вотъ тебѣ мое приказаніе: оставайся бѣдной, работай и милостыню проси, а если кто придетъ за тобой, скажи: не хочу къ вамъ!..“ Это мнѣ говорила мамаша, когда больна была, и я всю жизнь хочу ее слушаться, прибавила Нелли, дрожа отъ волненія, съ разгорѣвшимся личиемъ,—и всю жизнь буду служить и работать, и къ вамъ пришла тоже служить и работать, а не хочу быть, какъ дочь...

— Полно, полно, голубка моя, полно! вскрикнула старушка, крѣпко обнимая Нелли.—Вѣдь, матушка твоя была въ это время больна, когда говорила.

— Безумная была! рѣзко замѣтилъ старикъ.

— Пусть безумная! подхватила Нелли, рѣзко обращаясь къ нему.—Пусть безумная, но она мнѣ такъ приказала, такъ я и буду всю жизнь. И когда она мнѣ это сказала, то даже въ обморокъ упала.

— Господи Боже! вскрикнула Анна Андреевна.—Больная-то, на улицѣ, зимой!..

— Насъ хотѣли взять въ полицію, но одинъ господинъ вступился, разспросилъ у меня квартиру, далъ мнѣ десять рублей и велѣлъ отвезти мамашу къ намъ домой на своихъ лошадяхъ. Послѣ этого мамаша ужъ и не вставала, а черезъ три недѣли умерла...

— А отецъ-то что-жь? Такъ и не простилъ? вскрикнула Анна Андреевна.

— Не простилъ! отвѣчала Нелли, съ мученіемъ пересиливая себя.—За недѣлю до смерти, мамаша подозвала меня и сказала: „Нелли, сходи еще разъ къ дѣдушѣ, въ послѣдній разъ, и попроси, чтобъ онъ пришелъ ко мнѣ и простилъ меня; скажи ему, что я черезъ нѣсколько дней умру и тебя одну на свѣтъ оставляю. И скажи ему еще, что мнѣ тяжело умирать“... Я и пошла, постучалась къ дѣдушкѣ, онъ отворилъ, и какъ увидѣлъ меня, тотчасъ хотѣлъ было передо мной дверь затворить, но я

ухватилась за дверь обѣими руками и закричала ему: „мамаша умираетъ, васъ зоветъ, идите!..“ Но онъ оттолкнулъ меня и захлопнулъ дверь. Я воротилась къ мамашѣ, легла подлѣ нея, обняла ее и ничего не сказала... Мамаша тоже обняла меня и ничего не спрашивала...

Тутъ Николай Сергѣичъ тяжело оперся рукой на столъ и всталъ, но, обведя насъ всѣхъ какимъ-то страннымъ, мутнымъ взглядомъ, какъ бы въ безсиліи опустился въ кресла. Анна Андреевна уже не глядѣла на него, но, рыдая, обнимала Нелли...

— Вотъ въ послѣдній день, передъ тѣмъ, какъ ей умереть, передъ вечеромъ, мамаша подозвала меня къ себѣ, взяла меня за руку и сказала: „Я сегодня умру, Нелли“, хотѣла было еще говорить, но ужъ не могла. Я смотрю на нее, а она ужъ какъ будто меня и не видитъ, только въ рукахъ мою руку крѣпко держитъ. Я тихонько вынула руку и побѣжала изъ дому, и всю дорогу бѣжала бѣгомъ и прибѣжала къ дѣдушкѣ. Какъ онъ увидѣлъ меня, то вскочилъ со стула и смотреть, и такъ испугался, что совсѣмъ сталъ такой блѣдный и весь задрожалъ. Я схватила его за руку и только одно и выговорила: „сейчасъ умереть“. Тутъ онъ вдругъ такъ и заметался; схватилъ свою палку и побѣжалъ за мной; даже и шляпу забылъ, а было холодно. Я схватила шляпу и надѣла ее ему, и мы вмѣстѣ выбѣжали. Я торопила его и говорила, чтобъ онъ нанялъ извозчика, потому что мамаша сейчасъ умереть; но у дѣдушки было только семь копеекъ всѣхъ денегъ. Онъ останавливалъ извозчиковъ, торговался, но они только смѣялись, и надъ Азоркой смѣялись, а Азорка съ нами бѣжалъ, и мы все дальше и дальше бѣжали. Дѣдушка усталъ и дышалъ трудно, но все торопился и бѣжалъ. Вдругъ онъ упалъ и шляпа съ него соскочила. Я подняла его, надѣла ему опять шляпу и стала его рукой вести, и только передъ самой ночью мы пришли домой... Но матушка уже лежала мертвая. Какъ увидѣлъ ее дѣдушка, всплеснулъ руками, задрожалъ и сталъ надъ ней, а самъ ничего не говорить. Тогда я подошла къ мертвой мамашѣ, схватила дѣдушку за руку и закричала ему: „вотъ, жестокой и злой чловѣкъ, вотъ, смотри!.. Смотри!“ Тутъ дѣдушка закричалъ и упалъ на полъ, какъ мертвый...

Нелли вскочила, высвободилась изъ объятій Анны Андреевны и стала посреди насъ, блѣдная, измученная и

испуганная. Но Анна Андреевна бросилась къ ней, и снова обнявъ ее, закричала, какъ будто въ какомъ-то вдохновеніи:

— Я, я буду тебѣ мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдемъ, бросимъ ихъ всѣхъ, жестокихъ и злыхъ! Пусть потѣшаются надъ людьми, Богъ, Богъ зачтетъ имъ... Пойдемъ, Нелли, пойдемъ отсюда, пойдемъ!..

Я никогда, ни прежде, ни послѣ, не видалъ ее въ такомъ состояніи, да и не думалъ, чтобъ она могла быть когда-нибудь такъ взволнована. Николай Сергѣичъ выпрямился въ креслахъ, приподнялся и прерывающимся голосомъ спросилъ:

— Куда ты, Анна Андреевна?

— Къ ней, къ дочери, къ Наташѣ! закричала она и потащила Нелли за собою къ дверямъ.

— Пстой, постой, подожди!

— Нечего ждать, жестокосердый и злой человекъ! Я долга ждала и она долго ждала, а теперь прощай!..

Отвѣтивъ это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенѣла. Николай Сергѣичъ стоялъ передъ ней, захвативъ свою шляпу, и дрожавшими, безсильными руками торопливо натягивалъ на себя свое пальто.

— И ты... и ты со мной! вскрикнула она, съ мольбою сложивъ руки и недовѣрчиво смотря на него, какъ будто не смѣя и повѣрить такому счастью.

— Наташа, гдѣ моя Наташа? Гдѣ она? Гдѣ дочь-моя? вырвалось, наконецъ, изъ груди старика. — Отдайте мнѣ мою Наташу! Гдѣ, гдѣ она?

И, схвативъ костыль, который я ему подаль, онъ бросился къ дверямъ.

— Простилъ! Простилъ! вскричала Анна Андреевна.

Но старикъ не дошелъ до порога. Дверь быстро отворилась, и въ комнату вбѣжала Наташа, блѣдная, съ сверкающими глазами, какъ будто въ горячкѣ. Платье ея было измято и смочено дождемъ. Платочекъ, которымъ она накрыла голову, сбился у ней на затылокъ и на разбившихся густыхъ прядяхъ ея волосъ сверкали крупныя капли дождя. Она вбѣжала, увидала отца и съ крикомъ бросилась передъ нимъ на колѣни, простирая къ нему руки.

ГЛАВА IX.

Но онъ уже держалъ ее въ своихъ объятіяхъ!..

Онъ схватилъ ее и, поднявъ какъ ребенка, отнесъ въ

свои кресла, посадилъ ее, а самъ упалъ передъ ней на колѣни. Онъ цѣловалъ ея руки, ноги, онъ торопился цѣловать ее, торопился наглядѣться на нее, какъ будто еще не вѣря, что она опять вмѣстѣ съ нимъ, что онъ опять ее видитъ и слышитъ,—ее, свою дочь, свою Наташу. Анна Андреевна, рыдая, схватила ее, прижала голову ея къ своей груди и такъ и замерла въ этомъ объятіи, не въ силахъ произнести слова.

— Другъ мой!.. Жизнь моя!.. Радость моя!.. безсвязно восклицалъ старикъ, схвативъ руки Наташи и, какъ влюбленный, смотря въ блѣдное, худенькое, но прекрасное личико ея, въ глаза ея, въ которыхъ блистали слезы.— Радость моя, дитя мое! повторялъ онъ, и опять смолкалъ и съ благоговѣйнымъ упоеніемъ глядѣлъ на нее.—Что же, что же мнѣ сказали, что она похудѣла! проговорилъ онъ съ торопливою, какъ будто дѣтскою улыбкою, обращаясь къ намъ и все еще стоя передъ ней на колѣняхъ.—Худенькая, правда, блѣдненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая! Еще лучше, чѣмъ прежде была, да, лучше! прибавилъ онъ, невольно умолкая подъ душевной болью, радостною болью, отъ которой какъ будто душу ломить на-двое.

— Встаньте, папаша! Да встаньте же, говорила Наташа.—Вѣдь, мнѣ тоже хочется васъ цѣловать...

— О, милая! Слышишь, слышишь, Аннушка, какъ она это хорошо сказала.

И онъ судорожно обнялъ ее.

— Нѣтъ, Наташа, мнѣ, мнѣ надо у твоихъ ногъ лежать до тѣхъ поръ, пока сердце мое услышитъ, что ты простила меня, потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь отъ тебя прощенія! Я отвергъ тебя, я проклиналъ тебя, слышишь, Наташа, я проклиналъ тебя,—и я могъ это сдѣлать!.. А ты, а ты, Наташа: я могла ты повѣрить, что я тебя проклялъ! И повѣрила—вѣдь, повѣрила! Не надо было вѣрить! Не вѣрила бы, просто бы не вѣрила! Жестокое сердечко! Что же ты не шла ко мнѣ? Вѣдь ты знала, какъ я приму тебя... О, Наташа, вѣдь, ты помнишь, какъ я прежде тебя любилъ: ну, а теперь, и во все это время я тебя вдвое, въ тысячу разъ больше любилъ, чѣмъ прежде! Я тебя съ кровью любилъ! Душу бы изъ себя съ кровью вынулъ, сердце свое располосовалъ, да къ ногамъ твоимъ положилъ бы!.. О, радость моя!

— Да поцѣлуйте же меня, жестокой вы человекъ, въ губы, въ лицо поцѣлуйте, какъ мамаша цѣлуетъ! воскликнула Наташа больнымъ, расслабленнымъ, полнымъ слезами радости голосомъ.

— И въ глазки тоже! И въ глазки тоже! Помнишь, какъ прежде, повторялъ старикъ, послѣ долгаго, сладкаго объятія съ дочерью.—О, Наташа! Снилось-ли тебѣ когда про насъ? А мнѣ ты снилась чуть не каждую ночь и каждую ночь ты ко мнѣ приходила, и я надъ тобой плакалъ, а одинъ разъ ты какъ маленькая пришла, помнишь, когда еще тебѣ только десять лѣтъ было, и ты на фортецяно только что начинала учиться,—пришла въ коротенькомъ платьицѣ, въ хорошенъкихъ башмачкахъ и съ ручками красненькими... вѣдь, у ней красненькія такія ручки были тогда, помнишь, Аннушка?—пришла ко мнѣ, на колѣни сѣла и обняла меня... И ты, и ты, дѣвочка ты злая! И ты могла думать, что я проеялялъ тебя, что я не приму тебя, если-бъ ты пришла!.. Да вѣдь я... слушаю Наташа: да вѣдь я часто къ тебѣ ходилъ, и мать не знала, и никто не зналъ; то подъ окнами у тебя стою, то жду: полсутки иной разъ жду, гдѣ-нибудь на тротуарѣ у твоихъ воротъ! Не выйдешь-ли ты, чтобъ издали только посмотрѣть на тебя! А то у тебя по вечерамъ свѣча на оконкѣ часто горѣла; такъ сколько разъ я, Наташа, по вечерамъ къ тебѣ ходилъ, хоть на свѣчку твою посмотрѣть, хоть тѣнь твою въ окнѣ увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла-ли меня на ночь? Думала-ли обо мнѣ! Слышало-ли твое сердечко, что я тутъ подъ оконкомъ? А сколько разъ, зимой, я поздно ночью на твою лѣстницу подымусь и въ темныхъ сѣняхъ стою, сквозь дверь прислушиваюсь: не услышу-ли твоего голоса. Не засмѣешься-ли ты? Проеялъ? Да вѣдь я въ этотъ вечеръ къ тебѣ приходилъ, простить тебя хотѣлъ и только отъ дверей воротился... О, Наташа!

Онъ всталъ, приподнялъ ее изъ кресель и крѣпко крѣпко прижалъ ее къ сердцу.

— Она здѣсь, опять у моего сердца! вскричалъ онъ.— О благодарю Тебя, Боже, за все, за все, и за гнѣвъ Твой, и за милость Твою!.. И за солнце Твое, которое просіяло теперь, послѣ грозы, на насъ! За всю эту минуту благодарю! О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вмѣстѣ, и пусть, пусть теперь торжествуютъ эти гордые и надменные, унижившіе и оскорбившіе насъ!

Пусть они бросать въ насъ камень! Не бойся, Наташа.. Мы пойдемъ рука въ руку, и я скажу имъ: это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя, это безгрѣшная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я, я люблю, и которую благословляю во вѣки вѣковъ!

— Ваня! Ваня!.. слабымъ голосомъ проговорила Наташа, протягивая мнѣ изъ объятий отца свою руку.

О, никогда я не забуду, что въ эту минуту она вспомнила обо мнѣ и позвала меня!

— Гдѣ же Нелли? спросилъ старикъ, озираясь.

— Ахъ, гдѣ же она? вскрикнула старушка.—Голубчикъ мой! Вѣдь, мы такъ ее и оставили!

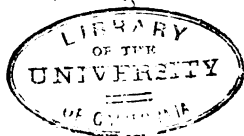
Но ея не было въ комнатѣ; она незамѣтно проскочила въ спальню. Всѣ пошли туда. Нелли стояла въ углу за дверью, и пугливо пряталась отъ насъ.

— Нелли, что съ тобой, дитя мое! воскликнулъ старикъ, желая обнять ее.

Но она какъ-то долго на него посмотрѣла...

— Мамаша, гдѣ мамаша? проговорила она, какъ въ безпамятствѣ.— Гдѣ моя мамаша? вскрикнула она еще разъ, протягивая свои дрожащія руки къ намъ.

И вдругъ, страшный, ужасный крикъ вырвался изъ ея груди; судороги пробѣжали по лицу ея и она въ страшномъ припадкѣ упала на полъ...



Э п и л о г ъ .

Послѣднія воспоминанія.

Половина іюня. День жаркій и удушливый; въ городѣ невозможно оставаться: пыль, известь, перестройки, раскаленные камни, отравленный испареніями воздухъ... Но вотъ—о, радость!—загремѣлъ гдѣ-то громъ; мало-по-малу небо нахмурилось; повѣялъ вѣтеръ, гоня передъ собою клубы городской пыли. Нѣсколько крупныхъ капель тяжело упало на землю, а за ними вдругъ—какъ будто разверзлось все небо и цѣлая рѣка воды пролилась надъ городомъ. Когда черезъ полчаса снова просіяло солнце, я отворилъ окно моей каморки и жадно, всею усталой грудью, дохнулъ свѣжимъ воздухомъ. Въ упоеніи я было хотѣлъ уже бросить перо и всѣ дѣла мои, и самого антрепренера, и бѣжать къ нашимъ на Васильевскій. Но коть и великъ былъ соблазнъ, я—таки успѣлъ побороть себя и съ какою-то яростью снова напалъ на бумагу: во что бы то ни стало нужно было кончить! Антрепренеръ велить и иначе не дастъ денегъ. Меня тамъ ждуть, но зато я вечеромъ буду свободенъ, совершенно свободенъ, какъ вѣтеръ, и сегодняшній вечеръ вознаградитъ меня за эти послѣдніе два дня и двѣ ночи, въ которые я написалъ три печатныхъ листа съ половиною.

И вотъ, наконецъ, кончена и работа, бросаю перо и поднимаюсь, ощущаю боль въ спинѣ и въ груди и дурманъ въ головѣ. Знаю, что въ эту минуту нервы мои разстроены въ сильной степени и какъ будто слышу послѣднія слова, сказанныя мнѣ моимъ старичкомъ-докторомъ: „Нѣтъ, никакое здоровье не выдержитъ подобныхъ напряженій, по-

тому что это невозможно!" Однакожь, покамѣсть это возможно! Голова моя кружится, я едва стою на ногахъ; но радость, безпредѣльная радость наполняетъ мое сердце. Повѣсть моя совершенно кончена, и антрепренеръ, хотя я ему и много теперь долженъ, все-таки дастъ мнѣ хоть сколько-нибудь, увидя въ своихъ рукахъ добычу, — хоть пятьдесятъ рублей, а я давнымъ-давно не видалъ у себя въ рукахъ такихъ денегъ. Свобода и деньги!.. Въ восторгѣ я схватилъ шляпу, рукопись подъ мышку и бѣгу стремглавъ, чтобъ застать дома нашего драгоцѣннѣйшаго Александра Петровича.

Я застаю его, но уже на выходѣ. Онъ, въ свою очередь, только что кончилъ одну нелитературную, но за то очень выгодную спекуляцію, и, выпроводивъ, наконецъ, какого-то черномазенькаго жидка, съ которымъ просидѣлъ два часа сряду въ своемъ кабинетѣ, привѣтливо подаетъ мнѣ руку и своимъ мягкимъ, милымъ баскомъ, спрашиваетъ о моемъ здоровьѣ. Это добрѣйшій человекъ, и я, безъ шутокъ, многимъ ему обязанъ. Чѣмъ же онъ виновать, что въ литературѣ онъ всю жизнь былъ *только* антрепренеромъ? Онъ смекнулъ, что литературѣ надо антрепренера, и смекнулъ очень въ-время, честь ему и слава за это, — антрепренерская, разумѣется.

Онъ съ пріятной улыбкой узнаетъ, что повѣсть кончена и что слѣдующій номеръ книжки такимъ образомъ обезпеченъ въ главномъ отдѣлѣ, и удивляется, какъ это я могъ хоть что-нибудь *кончить*, и при этомъ премило острить. Затѣмъ идетъ къ своему желѣзному сундуку, чтобъ выдать мнѣ обѣщанные пятьдесятъ рублей, а мнѣ между тѣмъ протягиваетъ другой враждебный толстый журналъ, и указываетъ на нѣсколько строкъ, въ отдѣлѣ критики, гдѣ говорится два слова и о послѣдней моей повѣсти.

Смотрю: это статья „Переписчика“. Меня не то чтобъ ругаютъ, но и не то чтобъ хвалятъ, и я очень доволенъ. Но „Переписчикъ“ говоритъ, между прочимъ, что отъ сочиненій моихъ вообще „пахнетъ потомъ“, то-есть я до того надъ ними потѣю, тружусь, до того ихъ обдѣлываю и отдѣлываю, что становится приторно.

Мы съ антрепренеромъ хохочемъ. Я докладываю ему, что прошлая повѣсть моя была написана въ двѣ ночи, а теперь въ два дня и двѣ ночи написано мною три съ половиной печатныхъ листа, и если бъ зналъ это „Пере-

писчикъ“, упрекающій меня въ излишней копотливости и въ тугой медленности моей работы!

— Однакожъ, вы сами виноваты, Иванъ Петровичъ. Зачѣмъ же вы такъ запаздываете, что приходится вотъ работать по ночамъ?

Александръ Петровичъ, конечно, милѣйшій человекъ, хотя у него есть особенная слабость—похвастаться своимъ литературнымъ сужденіемъ именно передъ тѣми, которые, какъ и самъ онъ подозрѣваетъ, понимаютъ его насеквозъ. Но мнѣ не хочется разсуждать съ нимъ о литературѣ, я получаю деньги и берусь за шляпу. Александръ Петровичъ ѣдетъ на Острова на свою дачу и услышавъ, что я на Васильевскій, благодушно предлагаетъ довести меня въ своей каретѣ.

— У меня, вѣдь, новая каретка; вы не видали? Премиленъкая.

Мы сходимъ къ подѣзду. Карета дѣйствительно премиленъкая, и Александръ Петровичъ на первыхъ порахъ своего владѣнія ею ощущаетъ чрезвычайное удовольствіе и даже нѣкоторую душевную потребность *подвозитъ* въ ней своихъ знакомыхъ.

Въ каретѣ Александръ Петровичъ опять нѣсколько разъ пускается въ разсужденія о современной литературѣ. При мнѣ онъ не конфузится и преспокойно повторяетъ разныя чужія мысли, слышанныя имъ на-дняхъ отъ кого-нибудь изъ литераторовъ, которымъ онъ вѣрить и чье сужденіе уважаетъ. При этомъ ему случается иногда уважать удивительныя вещи. Случается ему тоже перевернуть чужое мнѣніе или вставлять его не туда, куда слѣдуетъ, такъ что выходитъ бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразію и прихотливости страстей человѣческихъ. „Ну, вотъ человекъ, думаю я про себя,—сколачивалъ бы себѣ деньги, да сколачивалъ; нѣтъ, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошаго издателя, критика!“

Въ настоящую минуту онъ силится подробно изложить мнѣ одну литературную мысль, слышанную имъ дня три тому назадъ отъ меня же, и противъ которой онъ, три дня тому назадъ, со мной же спорилъ, а теперь выдаетъ ее за свою. Но съ Александромъ Петровичемъ такая забычивость поминутно случается, и онъ извѣстенъ этой невинной слабостью между всѣми своими знакомыми. Какъ онъ радъ теперь, ораторствуя въ *своей* каретѣ, какъ до-

волень судьбой, какъ благодунень! Онъ ведетъ учено-литературный разговоръ и даже мягкій, приличный его басокъ отзывается ученостью. Мало-по-малу, онъ *замбериачался*, и переходитъ къ невинно-скептическому убѣжденію, что въ литературѣ нашей, да и вообще ни въ какой и никогда, не можетъ быть ни у кого честности и скромности, а есть только одно „взаимное битье другъ друга по мордасамъ“—особенно при началѣ подписки. Я думаю про себя, что Александръ Петровичъ наклоненъ даже всякаго честнаго и искренняго литератора, за его честность и искренность, считать, если не дуракомъ, то, по крайней мѣрѣ, простофилей. Разумѣется, такое сужденіе прямо выходитъ изъ чрезвычайной невинности Александра Петровича.

Но я уже его не слушаю. На Васильевскомъ островѣ онъ выпускаетъ меня изъ кареты, и я бѣгу къ нашимъ. Вотъ и тринадцатая линія, вотъ и ихъ домикъ. Анна Андреевна, увидя меня, грозитъ мнѣ пальцемъ, махаетъ на меня руками и *шикаетъ* на меня, чтобъ я не шумѣлъ.

— Нелли только что заснула, бѣдняжка! шепчетъ она мнѣ поскорѣе. — Ради Бога, не разбудите! Только ужъ очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Докторъ говоритъ, что это покамѣстъ ничего. Да что отъ него путнаго - то добьешся, отъ *вашего* доктора! И не грѣхъ вамъ это, Иванъ Петровичъ! Ждали васъ, ждали къ обѣду-то... вѣдь, двое сутокъ не были!..

— Но вѣдь я объявилъ еще третьяго дня, что не буду двое сутокъ, шепчу я Аннѣ Андреевнѣ.—Надо было работу кончать...

— Да вѣдь къ обѣду сегодня обѣщался же придти! Что-жъ не приходилъ? Нелли нарочно съ постельки встала, ангельчикъ мой, въ кресло покойное ее усадили, да и вывезли къ обѣду. „Хочу, дескать, съ вами вмѣстѣ Ваню ждать“, а нашъ Ваня и не бывалъ. Вѣдь шесть часовъ скоро! Гдѣ протаскался-то? Грѣховодники вы этикіе! Вѣдь ее вы такъ разстроили, что ужъ я не знала, какъ и говорить... благо заснула, голубушка. А Николай Сергѣичъ къ тому же въ городъ ушелъ (къ чаю - то будетъ): одна и бьюсь... Мѣсто-то ему, Иванъ Петровичъ, выходить; только какъ подумаю, что въ Перми, такъ и захолонеть у меня на душѣ...

— А гдѣ Наташа?

— Въ садикѣ, голубка, въ садикѣ! Сходите къ ней...

Что-то она тоже у меня такая... какая-то и не сообразу... Охъ, Иванъ Петровичъ, тяжело мнѣ душой! Увѣряеть, что весела и довольна, да не вѣрю я ей... Сходи-ка къ ней, Ваня, да мнѣ и разскажи уже потихоньку, что съ ней... Слышишь?

Но я уже не слушаю Анну Андреевну, а бѣгу въ садикъ. Этотъ садикъ принадлежитъ къ дому; онъ шаговъ въ двадцать пять длиною и столько же въ ширину, и весь заросъ зеленью. Въ немъ три высокихъ, старыхъ, раскидистыхъ дерева, нѣсколько молодыхъ березокъ, нѣсколько кустовъ сирени, жимолости, есть уголокъ малиника, двѣ грядки съ клубникой и двѣ узенькихъ, извилистыхъ дорожки, вдоль и поперекъ садика. Старикъ отъ него въ восторгѣ и увѣряеть, что въ немъ скоро будутъ расти грибы. Главное же въ томъ, что Нелли полюбила этотъ садикъ, и ее часто вывозятъ въ креслахъ на садовую дорожку, а Нелли теперь идолъ всего дома. Но вотъ и Наташа; она съ радостью встрѣчаетъ меня и протягиваетъ мнѣ руку. Какъ она худа, какъ она блѣдна! Она тоже едва оправилась отъ болѣзни.

— Совсѣмъ-ли кончилъ, Ваня? спрашиваетъ она меня.

— Совсѣмъ, совсѣмъ! И на весь вечеръ совершенно свободенъ.

— Ну, слава Богу! Торопился? Портить?

— Что-жъ дѣлать! Впрочемъ, это ничего. У меня выработывается, въ такую напряженную работу, какое-то особенное раздраженіе нервовъ; я яснѣе соображаю, живѣе и глубже чувствую и даже слогъ мнѣ вполнѣ подчиняется, такъ что въ напряженной-то работѣ и лучше выходитъ. Все хорошо...

— Эхъ, Ваня, Ваня!

Я замѣчаю, что Наташа въ послѣднее время стала страшно ревнива къ моимъ литературнымъ успѣхамъ, къ моей славѣ. Она перечитываетъ все, что я въ послѣдній годъ напечаталъ, поминутно разспрашиваетъ о дальнѣйшихъ планахъ моихъ, интересуется каждой критикой, на меня написанной, сердится на инья и непременно хочетъ, чтобъ я высоко поставилъ себя въ литературѣ. Желанія ея выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ея направленію.

— Ты только испишешься, Ваня, говорить она мнѣ, — изнасилуешь себя и испишешься; а кромѣ того и здоровье погубишь. Вонъ С***, тотъ въ два года по одной повѣсти

пишетъ, а N* въ десять лѣтъ всего только одинъ романъ написалъ. Зато какъ у нихъ отчеканено, отдѣлано! Ни одной небрежности не найдешь.

— Да, но они обезпечены и пишутъ не на срокъ, а я—почтовая кляча! Ну, да это все вздоръ! Оставимъ это, другъ мой. Чтò, нѣтъ-ли новаго?

— Много. Во-первыхъ, отъ него письмо.

— Еще?

— Еще.

И она подала мнѣ письмо отъ Алеши. Это уже третье послѣ разлуки. Первое онъ написалъ еще изъ Москвы и написалъ точно въ какомъ-то припадкѣ. Онъ увѣдомлялъ, что обстоятельства такъ сошлись, что ему никакъ нельзя воротиться изъ Москвы въ Петербургъ, какъ было проектировано при разлукѣ. Во второмъ письмѣ онъ спѣшилъ извѣстить, что прѣзжаетъ къ намъ на-дняхъ, чтобъ поскорѣй обвѣнчаться съ Наташей, что это рѣшено и никакими силами не можетъ быть остановлено. А между тѣмъ, по тону всего письма было ясно, что онъ въ отчаяніи, что постороннія вліянія уже вполне отяготѣли надъ нимъ, и что онъ уже самъ себя не вѣрилъ. Онъ упоминалъ, между прочимъ, что Катя—его провидѣніе и что она одна утѣшаетъ и поддерживаеетъ его. Я съ жадностью раскрылъ его теперешнее, *третье*, письмо.

Оно было на двухъ листахъ, написано отрывочно, безпорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тѣмъ, что Алеша отрекался отъ Наташи и уговаривалъ ее забыть его. Онъ силился доказать, что союзъ ихъ невозможенъ, что постороннія, враждебныя вліянія сильнѣе всего, и что, наконецъ, такъ и должно быть: и онъ, и Наташа вмѣстѣ будутъ несчастны, потому что они не ровня. Но онъ не выдержалъ и вдругъ, бросивъ свои разсужденія и доказательства, тутъ же, прямо, не разорвавъ и не отбросивъ первой половины письма, признавался, что онъ преступникъ передъ Наташей, что онъ погибшій человѣкъ, и не въ силахъ возстать противъ желаній отца, прѣхавшаго въ деревню. Писалъ онъ, что не въ силахъ выразить своихъ мученій; признавался, между прочимъ, что вполне сознаетъ въ себѣ возможность составить счастье Наташи, начиналъ вдругъ доказывать, что они вполне ровня; съ упорствомъ, со злобою опровергалъ доводы отца; въ отчаяніи рисовалъ картину блаженства всей жизни, которое готовилось бы имъ обоимъ,

ему и Наташѣ, въ случаѣ ихъ брака, проклиналъ себя за свое малодушіе и—прощался навѣки! Письмо было написано съ мученіемъ; онъ, видимо, писалъ внѣ себя, у меня навернулись слезы... Наташа подала мнѣ другое письмо, отъ Кати. Это письмо пришло въ одномъ конвертѣ съ Алешинымъ, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, въ нѣсколькихъ строкахъ, увѣдомляла, что Алеша дѣйствительно очень груститъ, много плачетъ и какъ будто въ отчаяніи, даже боленъ немного, но что она съ нимъ и что онъ будетъ счастливъ. Между прочимъ, Катя силилась растолковать Наташѣ, чтобъ она не подумала, что Алеша такъ скоро могъ утѣшиться и что будто грусть его не серьезна. „Онъ васъ не забудетъ никогда“, прибавила Катя, „да и не можетъ забыть никогда, потому что у него не такое сердце; любить онъ васъ безпредѣльно, будетъ всегда любить, такъ что если разлюбить васъ, хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанетъ тосковать при воспоминаніи о васъ, то я сама разлюблю его за это тотчасъ же“...

Я возвратилъ Наташѣ оба письма: мы переглянулись съ ней и не сказали ни слова. Такъ было и при первыхъ двухъ письмахъ, да и вообще о прошломъ мы теперь избѣгали говорить, какъ будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видѣлъ, но не хотѣла высказываться даже и передо мною. Послѣ возвращенія въ родительскій домъ, она три недѣли вылежала въ горячкѣ и теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой переменѣ нашей, хотя она и знала, что старикъ получаетъ мѣсто и что намъ придется скоро разстаться. Несмотря на то, она до того была ко мнѣ нѣжна, внимательна, до того занималась всѣмъ, что касалось до меня, во все это время; съ такимъ настойчивымъ, упорнымъ вниманіемъ выслушивала все, что я долженъ былъ ей рассказывать о себѣ, что сначала мнѣ это было даже тяжело: мнѣ казалось, что она хотѣла меня вознаграждать за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла: я понялъ, что въ ней совсѣмъ другое желаніе, что она *просто* любитъ меня, любить безконечно, не можетъ жить безъ меня и не заботиться о всемъ, что до меня касается, и я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, какъ Наташа любила меня. Я очень хорошо зналъ, что предстоявшая наша разлука давила ей сердце, что Наташа мучилась; она знала тоже, что и я не могу

безъ нея жить; но мы объ этомъ не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящихъ событіяхъ...

Я спросилъ о Николаѣ Сергѣичѣ.

— Онъ скоро, я думаю, воротится, отвѣчала Наташа.— Обѣщаль къ чаю.

— Это онъ все о мѣстѣ хлопочетъ?

— Да; впрочемъ, мѣсто ужъ теперь, безъ сомнѣнія, будетъ; да и уходить ему былъ осегодня, кажется, не зачѣмъ, прибавила она въ раздумѣ.— Могъ бы и завтра.

— Зачѣмъ же онъ ушелъ?

— А потому, что я письмо получила...

— Онъ до того *болень* мной, прибавила Наташа, помолчавъ,—что мнѣ это даже тяжело, Ваня. Онъ, кажется, и во снѣ только одну меня видитъ. Я увѣрена, что онъ кромѣ того: чтѣ со мной, какъ живу я, о чемъ теперь думаю?—ни о чемъ болѣе и не помышляетъ. Всякая тоска моя отзывается въ немъ. Я вѣдь вижу, какъ онъ неловко иногда старается пересилить себя и показать видъ, что обо мнѣ не тоскуетъ, напускаетъ на себя веселость, старается смѣяться и насъ смѣшить. Маменька тоже въ эти минуты сама не своя и тоже не вѣрить его смѣху, и вздыхаетъ... Такая она неловкая... Прямая душа! прибавила она со смѣхомъ.— Вотъ, какъ я получила сегодня письма, ему и понадобилось сейчасъ убѣжать, чтобъ не встрѣчаться со мной глазами... Я его больше себя, больше всѣхъ на свѣтѣ люблю, Ваня, прибавила она, потупивъ голову и сжавъ мою руку,—даже больше тебя...

Мы прошли два раза по саду, прежде чѣмъ она начала говорить.

— У насъ сегодня Маслобоевъ былъ, и вчера тоже былъ, сказала она.

— Да, онъ въ послѣднее время очень часто повадился къ вамъ.

— И знаешь-ли, зачѣмъ онъ здѣсь? Маменька въ него вѣруетъ, какъ не знаю во чтѣ. Она думаетъ, что онъ до того все это знаетъ (ну, тамъ законы и все это), что всякое дѣло можетъ обдѣлать. Какъ ты думаешь, какаѣ у ней теперь мысли бродить? Ей, про себя, очень больно и жаль, что я не сдѣлалась княгиней. Эта мысль ей жить не даетъ, и, кажется, она вполне открылась Маслобоеву. Съ отцомъ она боится говорить объ этомъ и думаетъ: не поможетъ-ли ей въ чемъ-нибудь Маслобоевъ, нельзя-ли какъ хоть по законамъ? Маслобоевъ, кажется, ей не про-

творѣчить, а она его виномъ потчуетъ, прибавила съ усмѣшкой Наташа.

— Отъ этого проказника станется. Да почему же ты знаешь?

— Да вѣдь маменька мнѣ сама проговорила... намеками...

— Что Нелли? Какъ она? спросилъ я.

— Я даже удивляюсь тебѣ, Ваня: до сихъ поръ ты о ней не спросилъ? съ упрекомъ сказала Наташа.

Нелли была идоломъ у всѣхъ въ этомъ домѣ. Наташа ужасно полюбила ее и Нелли отдалась ей, наконецъ, всѣмъ своимъ сердцемъ. Бѣдное дитя! Она и не ждала, что същегъ когда-нибудь такихъ людей, что найдеть столько любви къ себѣ, и я съ радостью видѣлъ, что озлобленное сердце размягчилось и душа отворилась для насъ всѣхъ. Она съ какимъ-то болѣзненнымъ жаромъ откликнулась на всеобщую любовь, которою была окружена, въ противоположность всему своему прежнему, развившему въ ней недовѣріе, злобу и упорство. Впрочемъ, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намѣренно таила отъ насъ слезы примиренія, накопившія въ ней, и, наконецъ, отдалась намъ совсѣмъ. Она сильно полюбила Наташу, затѣмъ старика. Я же сдѣлался ей чѣмъ-то до того необходимымъ, что болѣзнь ея усиливалась, если я долго не приходилъ. Въ послѣдній разъ, разставаясь на два дня, чтобъ кончить, наконецъ, запущенную мною работу, я долженъ былъ много уговаривать ее... конечно, обиняками. Нелли все еще стыдилась слишкомъ прямого, слишкомъ беззавѣтнаго проявленія своего чувства...

Она всѣхъ насъ очень беспокоила. Молча и безо всякихъ разговоровъ рѣшено было, что она останется навѣки въ домѣ Николая Сергѣича, а между тѣмъ отъѣздъ приближался, а ей становилось все хуже и хуже. Она заболѣла съ того самаго дня, какъ мы пришли съ ней тогда къ старикамъ, въ день примиренія ихъ съ Наташей. Впрочемъ, что-жъ я? Она и всегда была больна. Болѣзнь постепенно росла въ ней и прежде, но теперь начала усиливаться съ необычайною быстротою. Я не знаю и не могу опредѣлить въ точности ея болѣзни. Припадки, правда, повторялись съ ней нѣсколько чаще прежняго; но, главное, какое-то изнуреніе и упадокъ всѣхъ силъ, непрерывное лихорадочное и напряженное состояніе, — это довело ее въ послѣдніе дни до того, что она уже не

вставала съ постели. И странно: чѣмъ болѣе одолѣвала ее болѣзнь, тѣмъ мягче, тѣмъ ласковѣе, тѣмъ открытѣе къ намъ становилась Нелли. Три дня тому назадъ она поймала меня за руку, когда я проходилъ мимо ея кровати, и потянула меня къ себѣ. Въ комнатѣ никого не было. Лицо ея было въ жару (она ужасно похудѣла), глаза сверкали огнемъ. Она судорожно-страстно потянулась ко мнѣ, и когда я наклонился къ ней, она крѣпко обхватила мою шею своими смуглыми худенькими ручками и крѣпко поцѣловала меня, а потомъ тотчасъ же потребовала къ себѣ Наташу; я позвалъ ее; Нелли непремѣнно хотѣлось, чтобъ Наташа присѣла къ ней на кровать и смотрѣла на нее...

— Мнѣ самой на васъ смотрѣть хочется, сказала она.— Я васъ вчера во снѣ видѣла и сегодня ночью увижу... вы мнѣ часто снитесь... всякую ночь...

Ей, очевидно, хотѣлось что-то высказать, чувство давило ее; но она и сама не понимала своихъ чувствъ и не знала, какъ ихъ выразить...

Николая Сергѣича она любила почти болѣе всѣхъ, кромѣ меня. Надо сказать, что и Николай Сергѣичъ чуть-ли не такъ же любилъ ее, какъ и Наташу. Онъ имѣлъ удивительное свойство развеселять и смѣшить Нелли. Только что онъ, бывало, придетъ къ ней, тотчасъ же и начинается смѣхъ и даже шалости. Больная дѣвочка развеселялась, какъ ребенокъ, кокетничала со старикомъ, подсмѣивалась надъ нимъ, рассказывала ему свои сны и всегда что-нибудь выдумывала, заставляла рассказывать и его, и старикъ до того былъ радъ, до того былъ доволенъ, смотря на свою „маленькую дочку Нелли“, что каждый день все болѣе и болѣе приходилъ отъ нея въ восторгъ.

— Ее намъ всѣмъ Богъ послалъ, въ награду за наши страданія, сказалъ онъ мнѣ разъ, уходя отъ Нелли и перекрестивъ ее, по обыкновенію,* на ночь.

Каждый день, по вечерамъ, когда мы всѣ собирались вмѣстѣ (Маслобоевъ тоже приходилъ почти каждый вечеръ), пріѣзжалъ иногда и старикъ-докторъ, привязавшійся всею душою къ Ихменевымъ; вывозили и Нелли въ ея креслѣ, къ намъ, за круглый столъ. Дверь на балконъ отворялась. Зеленый садикъ, освѣщенный заходящимъ солнцемъ, былъ весь на виду. Изъ него пахло свѣжей зеленью и только что распустившеюся сиренью. Нелли сидѣла въ своемъ креслѣ, ласково на всѣхъ насъ посма-

тривала и прислушивалась къ нашему разговору. Иногда же оживлялась и сама непримѣтно начинала тоже что-нибудь говорить... Но въ такія минуты мы всё слушали ее обыкновенно даже съ безпокойствомъ, потому что въ ея воспоминаніяхъ были темы, которыхъ нельзя было касаться. И я, и Наташа, и Ихменевы чувствовали и признавали всю нашу вину передъ ней, въ тотъ день, когда она, трепещущая и измученная, *должна* была рассказать намъ свою исторію. Докторъ особенно былъ противъ этихъ воспоминаній и разговоръ обыкновенно старались переменить. Въ такихъ случаяхъ Нелли старалась не показать намъ, что понимаетъ наши усилія и начинала смѣяться съ докторомъ или съ Николаемъ Сергѣичемъ.

И однакожь ей дѣлалось все хуже и хуже. Она стала чрезвычайно впечатлительна. Сердце ея билось неправильно. Докторъ сказалъ мнѣ даже, что она можетъ умереть очень скоро.

Я не говорилъ этого Ихменевымъ, чтобъ не растревожить ихъ. Николай Сергѣичъ былъ вполне увѣренъ, что она выздоровѣетъ къ дорогѣ.

— Вотъ и папенька воротился, сказала Наташа, слышавъ его голосъ.— Пойдемъ, Ваня.

Николай Сергѣичъ, едва переступивъ за порогъ, по обыкновенію своему, громко заговорилъ. Анна Андреевна такъ и замахала на него руками. Старикъ тотчасъ же присмирѣлъ, и, увидя меня и Наташу, шопотомъ и съ утормоленнымъ видомъ сталъ намъ рассказывать о результатахъ своихъ походовъ: мѣсто, о которомъ онъ хлопоталъ, было за нимъ, и онъ очень былъ радъ.

— Черезъ двѣ недѣли можно и ѣхать, сказалъ онъ, потирая руки и заботливо, искоса, взглянулъ на Наташу.

Но та отвѣтила ему улыбкой и обняла его, такъ что сомнѣнія его мигомъ разсѣялись.

— Поѣдемъ, поѣдемъ, друзья мои, поѣдемъ! заговорилъ онъ, обрадовавшись.— Вотъ только ты, Ваня, только съ тобой разставаться больно... (Замѣчу, что онъ ни разу не предложилъ мнѣ ѣхать съ ними вмѣстѣ, что, судя по его характеру, непременно бы сдѣлалъ... при другихъ обстоятельствахъ, то-есть, если бъ не зналъ моей любви къ Наташѣ).

— Ну, что-жь дѣлать, друзья, что-жь дѣлать! Больно мнѣ, Ваня; но перемена мѣста насъ всѣхъ оживить... Пе-

ремѣна мѣста—значить, переменѣна *всего!* прибавилъ онъ, еще разъ взглянувъ на дочь.

Онъ вѣрилъ въ это и былъ радъ своей вѣрѣ.

— А Нелли? сказала Анна Андреевна.

— Нелли? Что-жь... она, голубчикъ мой, больна немножко, но къ тому-то времени ужъ навѣрно выздоровѣетъ. Ей и теперь лучше: какъ ты думаешь, Ваня? проговорилъ онъ, какъ бы испугавшись, и съ безпокойствомъ смотрѣлъ на меня, точно я-то и долженъ былъ разрѣшить его недоумѣнiя.

— Что она? Какъ спала? Не было-ли съ ней чего? Не проснулась-ли она теперь? Знаешь что, Анна Андреевна: мы столикъ-то придвинемъ поскорѣй на террасу, принесутъ самоваръ, придутъ наши, мы всѣ усядемся и Нелли къ намъ выйдетъ... Вотъ и прекрасно. Да ужъ не проснулась-ли она? Пойду я къ ней. Только посмотрю на нее... не разбуду, не безпокойся! прибавилъ онъ, видя, что Анна Андреевна снова замахала на него руками.

Но Нелли уже проснулась. Черезъ четверть часа мы всѣ по обыновенiю сидѣли вокругъ стола за вечернимъ самоваромъ.

Нелли вывели въ креслахъ. Явился докторъ, явился и Маслобоевъ. Онъ принесъ для Нелли большой букетъ сирени, но самъ былъ чѣмъ-то озабоченъ и какъ будто раздосадованъ.

Кстати: Маслобоевъ ходилъ чуть не каждый день. Я уже говорилъ, что всѣ, и особенно Анна Андреевна, чрезвычайнаго его полюбили, но никогда ни слова не упоминалось у насъ вслужъ объ Александрѣ Семеновнѣ; не упоминалъ о ней и самъ Маслобоевъ. Анна Андреевна, узнавъ отъ меня, что Александра Семеновна еще не успѣла сдѣлаться его *законной* супругой, рѣшила про себя, что и принимать ее, и говорить о ней въ домѣ нельзя. Такъ и наблюдалось, и этимъ очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочемъ, не будь у ней Наташи и, главное, не случись того, что случилось, она бы, можетъ-быть, и не была такъ разборчива.

Нелли въ этотъ вечеръ была какъ-то особенно грустна и даже чѣмъ-то озабочена. Какъ будто она видѣла дурной сонъ и задумалась о немъ. Но подарку Маслобоева она очень обрадовалась и съ наслажденiемъ поглядывала на цвѣты, которые поставили передъ ней въ стаканѣ.

— Такъ ты очень любишь цвѣточки, Нелли? сказалъ

старикъ.—Постой же! прибавилъ онъ съ одушевленіемъ,—завтра же... ну, да вотъ увидишь сама!..

— Люблю, отвѣчала Нелли,—и помню, какъ мы мамашу съ цвѣтами встрѣчали. Мамаша, еще когда мы были тамъ (*тамъ* значило теперь за границей), была одинъ разъ цѣлый мѣсяцъ очень больна. Я и Генрихъ сговорились, что когда она встанетъ и первый разъ выйдетъ изъ своей спальни, откуда она цѣлый мѣсяцъ не выходила, то мы и уберемъ всѣ комнаты цвѣтами. Вотъ мы такъ и сдѣлали. Мамаша сказала съ вечера, что завтра утромъ она непременно выйдетъ вмѣстѣ съ нами завтракать. Мы встали рано-рано. Генрихъ принесъ много цвѣтовъ, и мы всю комнату убрали зелеными листьями и гирляндами. И плющъ былъ, и еще такіе широкіе листья—ужъ не знаю какъ они называются, и еще другіе листья, которые за все цѣпляются, и бѣлые цвѣты большіе были, и нарцисы были, а я ихъ больше всѣхъ цвѣтовъ люблю, и розы были, такіе славные розы, и много-много было цвѣтовъ. Мы ихъ всѣ развѣсили въ гирляндахъ и въ горшкахъ разставили, и такіе цвѣты тутъ были, что какъ цѣлыя деревья, въ большихъ кадкахъ; ихъ мы по угламъ разставили и у креселъ мамашы, и какъ мамаша вышла, то удивилась и очень обрадовалась, а Генрихъ былъ радъ... Я это теперь помню...

Въ этотъ вечеръ Нелли была какъ-то особенно слаба и слабонервна. Докторъ съ безпокойствомъ взглядывалъ на нее. Но ей очень хотѣлось говорить. И долго, до самыхъ сумерокъ рассказывала она о своей прежней жизни тамъ; мы ее не прерывали. Тамъ съ мамашей и съ Генрихомъ они много ѣздили, и прежнія воспоминанія ярко возставали въ ея памяти. Она съ волненіемъ рассказывала о голубыхъ небесахъ, о высокихъ горахъ, со снѣгомъ и льдами, которыя она видѣла и проѣзжала, о горныхъ водопадахъ; потомъ объ озерахъ и долинахъ Италіи, о цвѣтахъ и деревьяхъ, о сельскихъ жителяхъ, объ ихъ одеждѣ и объ ихъ смуглыхъ лицахъ и черныхъ глазахъ; рассказывала про разныя встрѣчи и случаи, бывшіе съ ними. Потомъ о большихъ городахъ и дворцахъ, о высокой церкви съ куполомъ, который весь вдругъ иллюминировался разноцвѣтными огнями; потомъ о жаркомъ, южномъ городѣ съ голубыми небесами и съ голубымъ моремъ... Никогда еще Нелли не рассказывала намъ такъ подробно воспоминаній своихъ. Мы слушали ее съ напряженнымъ вниманіемъ. Мы всѣ

знали только до сихъ поръ другія ея воспоминанія—въ мрачномъ, угрюмомъ городѣ, съ давящей, одуряющей атмосферой, съ зараженнымъ воздухомъ, съ драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; съ тусклымъ, блѣднымъ солнцемъ и съ злыми, полусумасшедшими людьми, отъ которыхъ такъ много и она, и мамаша ея вытерпѣли. И мнѣ представилось, какъ онѣ обѣ, въ грязномъ подвалѣ, въ сырой сумрачный вечеръ, обнявшись на бѣдной постели своей, вспоминали о своемъ прошедшемъ, о покойномъ Генрихѣ и о чудесахъ другихъ земель... Представилась мнѣ и Нелли, вспоминая все это уже одна, безъ мамы своей, когда Бубнова побоями и звѣрскою жестокостью хотѣла сломить ее и принудить на недоброе дѣло...

Но, наконецъ, съ Нелли сдѣлалось дурно, и ее отнесли назадъ. Старикъ очень испугался и досадовалъ, что ей дали такъ много говорить. Съ ней былъ какой-то припадокъ, въ родѣ обмиранія. Этотъ припадокъ повторялся съ нею уже нѣсколько разъ. Когда онъ кончился, Нелли настоятельно потребовала меня видѣть. Ей надо было что-то сказать мнѣ одному. Она такъ упрашивала объ этомъ, что въ этотъ разъ докторъ самъ настоялъ, чтобъ исполнили ея желаніе, и всѣ вышли изъ комнаты.

— Вотъ что, Ваня, сказала Нелли, когда мы остались вдвоемъ,—я знаю, они думаютъ, что я съ ними поѣду; но я не поѣду, потому что не могу, и останусь пока у тебя, и мнѣ это надо было сказать тебѣ.

Я сталъ было ее уговаривать; сказалъ, что у Ихменевыхъ ее всѣ такъ любятъ, что ее за родную дочь почитаютъ. Что всѣ будутъ очень жалѣть о ней. Что у меня, напротивъ, ей тяжело будетъ жить, и что хоть я и очень ее люблю, но что, нечего дѣлать, разстаться надо.

— Нѣтъ, нельзя! настойчиво отвѣтила Нелли,—потому что я вижу часто мамашу во снѣ, и она говоритъ мнѣ, чтобъ я не ѣздила съ ними и осталась здѣсь; она говоритъ, что я очень много согрѣшила, что дѣдушку одного оставила, и все плачетъ, когда это говорить. Я хочу остаться здѣсь и ходить за дѣдушкой, Ваня.

— Но вѣдь твой дѣдушка ужъ умеръ, Нелли, сказалъ я, выслушавъ ее съ удивленіемъ.

Она подумала и пристально посмотрѣла на меня.

— Расскажи мнѣ, Ваня, еще разъ, сказала она,—какъ дѣдушка умеръ. Все расскажи и ничего не пропускай.

Я былъ изумленъ ея требованіемъ, но однакожъ при-

нялся рассказывать во всей подробности. Я подозрѣвалъ, что съ нею бредъ, или, по крайней мѣрѣ, что послѣ припадка голова ея еще не совсѣмъ свѣжа.

Она внимательно выслушала мой рассказъ, и, помню, какъ ея черные, сверкающіе больнымъ, лихорадочнымъ блескомъ глаза пристально и неотступно слѣдили за мной во все продолженіе разсказа. Въ комнатѣ было уже темно.

— Нѣтъ, Ваня, онъ не умеръ! сказала она рѣшительно, все выслушавъ и еще разъ подумавъ.—Мамаша мнѣ часто говоритъ о дѣдушкѣ, и когда я вчера сказала ей: „да вѣдь дѣдушка умеръ“, она очень огорчилась, заплакала и сказала мнѣ, что нѣтъ, что мнѣ нарочно такъ сказали, а что онъ ходитъ теперь и милостыню проситъ, „такъ же какъ мы съ тобой прежде просили, говорила мамаша;—и все ходитъ по тому мѣсту, гдѣ мы съ тобой его въ первый разъ встрѣтили, когда я упала передъ нимъ и Азорка узналъ меня“...

— Это сонъ, Нелли, сонъ больной, потому что ты сама больна, сказалъ я ей.

— Я и сама все думала, что это только сонъ, сказала Нелли,—и не говорила никому. Только тебѣ одному рассказать хотѣла. Но сегодня, когда я заснула послѣ того, какъ ты не пришелъ, то увидѣла во снѣ и самого дѣдушку. Онъ сидѣлъ у себя дома и ждалъ меня и былъ такой страшный, худой, и сказалъ, что онъ два дня ничего не ѣлъ и Азорка тоже, и очень на меня сердился и упрекалъ меня. Онъ мнѣ тоже сказалъ, что у него совсѣмъ нѣтъ нюхательнаго табаку, а что безъ этого табаку онъ и жить не можетъ. Онъ и въ самомъ дѣлѣ, Ваня, мнѣ прежде это одинъ разъ говорилъ, ужъ послѣ того какъ мамаша умерла, когда я приходила къ нему. Тогда онъ былъ совсѣмъ больной и почти ничего ужъ не понималъ. Вотъ, какъ я услышала это отъ него сегодня, и думаю: пойду я, стану на мосту и буду милостыню просить, попрошу и куплю ему хлѣба, и варенаго картофеля, и табаку. Вотъ будто я стою, прошу и вижу, что дѣдушка около ходитъ, помедлить немного и подойдетъ ко мнѣ и смотреть, сколько я набрала, и возьметъ себѣ. Это, говорить, на хлѣбъ, теперь на табакъ собирай. Я собираю, а онъ подойдетъ и отниметъ у меня. Я ему и говорю, что и безъ того все отдамъ ему и ничего себѣ не спрячу. Нѣтъ, говорить, ты у меня воруетъ; мнѣ и Бубнова го-

ворила, что ты воровка, оттого-то я тебя къ себѣ никогда и не возьму. Куда ты еще пятакъ дѣла?“ Я заплакала тому, что онъ мнѣ не вѣрить, а онъ меня не слушаетъ и все кричить: „ты украла одинъ пятакъ!“ И сталъ бить меня, тутъ же на мосту, и больно билъ. И я очень плакала... Вотъ я и подумала теперь, Ваня, что онъ непременно живъ и гдѣ-нибудь одинъ ходитъ и ждетъ, чтобъ я къ нему пришла...

Я снова началъ ее уговаривать и разувѣрять и, наконецъ, кажется, разувѣрилъ. Она отвѣчала, что боится теперь заснуть, потому что дѣдушку увидитъ. Наконецъ, крѣпко обняла меня...

— А все-таки я не могу тебя покинуть, Ваня! сказала она мнѣ, прижимаясь къ моему лицу своимъ личикомъ. — Если бъ и дѣдушки не было, я все съ тобой не разстанусь.

Въ домѣ всѣ были испуганы припадкомъ Нелли. Я тихоньку пересказала доктору всѣ ея грѣзы и спросилъ у него окончательно, какъ онъ думаетъ объ ея болѣзни.

— Ничего еще не извѣстно, отвѣчалъ онъ, соображая, — я покаместъ догадываюсь, размышляю, наблюдаю, — но... ничего не извѣстно. Вообще выздоровленіе невозможно. Она умретъ. Я имъ не говорю, потому что вы такъ просили, но мнѣ жаль, и я предложу завтра же консилиумъ. Можетъ-быть, болѣзнь приметъ послѣ консилиума другой оборотъ. Но мнѣ очень жаль эту дѣвочку, какъ дочь мою... Милая, милая дѣвочка! И съ такимъ игривымъ умомъ!

Николай Сергѣичъ былъ въ особенномъ волненіи.

— Вотъ что, Ваня, я придумалъ, сказалъ онъ, — она очень любитъ цвѣты. Знаешь что? Устроимъ-ка ей завтра, какъ она проснется, такой же пріемъ, съ цвѣтами, какъ она съ этимъ Генрихомъ для свой мамы устроила, вотъ что сегодня рассказывала... Она это съ такимъ волненіемъ рассказывала...

— То-то съ волненіемъ, отвѣчалъ я. — Волненія-то ей теперь вредны...

— Да, но пріятныя волненія — другое дѣло! Ужъ повѣрь, голубчикъ, опытности моей повѣрь: пріятныя волненія ничего; пріятныя волненія даже излѣчить могутъ, на здорově подѣйствовать...

Однимъ словомъ, выдумка старика до того прельщала его самого, что онъ уже пришелъ отъ нея въ восторгъ. Невозможно было и возражать ему. Я спросилъ совѣта

у доктора, но прежде чѣмъ тотъ собрался сообразить, старикъ уже схватилъ свой картузь и побѣжалъ обдѣлывать дѣло.

— Вотъ что, сказалъ онъ мнѣ, уходя,—тутъ, неподалеку, есть одна оранжерея; богатая оранжерея. Садовники распродаютъ цвѣты, можно достать, и предешево. Удивительно даже какъ дешево!.. Ты внуши это Аннѣ Андреевнѣ, а то она сейчасъ разсердится за расходы... Ну, такъ вотъ... Да! Вотъ что еще, дружище: куда ты теперь? Вѣдь отдѣлался, кончилъ работу, такъ чего-жъ тебѣ домой-то спѣшить? Ночуй у насъ, наверху, въ свѣтелкѣ: помнишь, какъ прежде бывало. И тюфякъ твой, и кровать—все тамъ на прежнемъ мѣстѣ стоитъ и не тронута. Заснешь, какъ французскій король. А? останься-ка. Завтра проснемся пораньше, принесутъ цвѣты и къ восьми часамъ мы вмѣстѣ всю комнату уберемъ. И Наташа поможетъ: у ней вкуса-то вѣдь больше, чѣмъ у насъ съ тобой... Ну, соглашаешься? Ночуешь?

Рѣшили, что я останусь ночевать. Старикъ обдѣлалъ дѣло. Докторъ и Маслобоевъ простились и ушли. У Ихменевыхъ ложились спать рано, въ одиннадцать часовъ. Уходя, Маслобоевъ былъ въ задумчивости и хотѣлъ мнѣ что-то сказать, но отложилъ до другого раза. Когда же я, простясь со стариками, поднялся въ свою свѣтелку, то, къ удивленію моему, увидѣлъ его опять. Онъ сидѣлъ въ ожиданіи меня за столикомъ и перелистывалъ какую-то книгу.

— Воротился съ дороги, Ваня, потому лучше ужъ теперь рассказать. Садись-ка. Видишь, дѣло-то все такое глупое, досадно даже...

— Да что такое?

— Да подлець твой князь разозлилъ, еще двѣ недѣли тому назадъ; да такъ разозлилъ, что я до сихъ поръ злюсь.

— Что, что такое? Развѣ ты все еще съ княземъ въ сношеніяхъ?

— Ну, вотъ ужъ ты сейчасъ „что, что такое?“ точно и Богъ знаетъ что случилось. Ты, братъ, Ваня, ни дать, ни взять, моя Александра Семеновна и вообще все это несносное бабье!.. Терпѣть не могу бабья!.. Ворона каркнетъ—сейчасъ и „что, что такое?“

— Да ты не сердись.

— Да я вовсе не сержусь, а на всякое дѣло надо

смотреть обыкновенными глазами, не преувеличивая... Вотъ что.

Онъ немного помолчалъ, какъ будто все еще сердясь на меня. Я не прерывалъ его.

— Видишь, братъ, началъ онъ опять, — попалъ я на одинъ слѣдъ... то-есть въ сущности вовсе не попалъ, и не было никакого слѣда, а такъ мнѣ показалось... то-есть изъ нѣкоторыхъ соображеній я было вывелъ, что Нелли... можетъ-быть... Ну, однимъ словомъ, князева законная дочь.

— Что ты!

— Ну, и заревѣлъ сейчасъ: „что ты!“ То-есть ровно ничего говорить нельзя съ этими людьми! вскричалъ онъ, неистово махнувъ рукой. — Я развѣ говорилъ тебѣ что-нибудь положительно, легкомысленная ты голова? Говорилъ я тебѣ, что она *доказанная законная князева дочь*? Говорилъ или нѣтъ?..

— Послушай, душа моя, прервалъ я его въ сильномъ волненіи, — ради Бога не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-Богу пойму тебя. Пойми, до какой степени это важное дѣло и какія послѣдствія...

— То-то послѣдствія, а изъ чего? Гдѣ доказательства? Дѣла не такъ дѣлаются, и я тебѣ подъ секретомъ теперь говорю. А зачѣмъ я объ этомъ съ тобой заговорилъ—потомъ объясню. Значить, такъ надо было. Молчи и слушай, и знай, что все это секретъ... Видишь, какъ было дѣло. Еще зимой, еще прежде, чѣмъ Смитъ умеръ, только что князь воротился изъ Варшавы, и началъ онъ это дѣло. То-есть, начато оно было и гораздо раньше, еще въ прошломъ году. Но тогда онъ одно разыскивалъ, а теперь началъ разыскивать другое. Главное дѣло въ томъ, что онъ нитку потерялъ. Тринадцать лѣтъ какъ онъ разстался въ Парижѣ со Смитихой и бросилъ ее, но всѣ эти тринадцать лѣтъ онъ неуклонно слѣдилъ за нею, зналъ, что она живетъ съ Генрихомъ, про котораго сегодня рассказывали, зналъ, что у ней Нелли, зналъ, что сама она больна; ну, однимъ словомъ, все зналъ, только вдругъ и потерялъ нитку. А случилось это, кажется, вскорѣ по смерти Генриха, когда Смитиха собралась въ Петербургъ. Въ Петербургѣ онъ, разумѣется, скоро бы ее отыскалъ, подъ какимъ бы именемъ она ни воротилась въ Россію; да дѣло въ томъ, что заграничные его агенты его ложнымъ свидѣтельствомъ обманули; увѣрили его, что она живетъ въ одномъ какомъ-то заброшенномъ городишкѣ въ

южной Германіи; сами они обманулись по небрежности: одну приняли за другую. Такъ и продолжалось годъ или больше. По прошествіи года, князь началъ сомнѣваться: по нѣкоторымъ фактамъ ему еще прежде стало казаться, что это не та. Теперь вопросъ: куда дѣлась настоящая Смитиха. И пришло ему въ голову (такъ, даже безо всякихъ данныхъ): не въ Петербургѣ-ли она? Покамѣстъ за границей шла одна справка, онъ уже здѣсь затѣялъ другую, но видно не хотѣлъ употреблять слишкомъ officialнаго пути и познакомился со мной. Ему меня рекомендовали: такъ и такъ, дескать, занимается дѣлами, любитель,—ну, и такъ далѣе, и такъ далѣе...

— Ну, такъ вотъ и разъяснилъ онъ мнѣ дѣло; только темно, чортовъ сынъ, разъяснилъ, темно и двусмысленно. Ошибокъ было много, повторялся нѣсколько разъ, факты въ различныхъ видахъ въ одно и то же время передавалъ... Ну, извѣстно, какъ ни хитри, всѣхъ нитокъ не спрячешь. Я, разумѣется, началъ съ подобострастія и простоты душевной, словомъ, рабски преданъ; а по правилу, разъ навсегда мною принятому, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по закону природы (потому что это законъ природы) сообразилъ, во-первыхъ: ту-ли надобность мнѣ высказали? Во-вторыхъ: не скрывается-ли подъ высказанной надобностью какой-нибудь другой, недосказанной? Ибо въ послѣднемъ случаѣ, какъ вѣроятно и ты, милый сынъ, можешь понять поэтической своей головой,—онъ меня обкрадывалъ: ибо одна надобность, положимъ, рубль стодить, а другая вчетверо стодить; такъ дуракъ же я буду, если за рубль передамъ ему то, что четырехъ стодить. Началъ я вникать и догадываться, и мало-по-малу сталъ нападать на слѣды; одно у него самого выпыталъ, другое—кой отъ кого изъ постороннихъ, насчетъ третьяго своимъ умомъ дошелъ. Спросишь ты неравно: почему именно я такъ вздумалъ дѣйствовать? Отвѣчу: хотъ бы по тому одному, что князь слишкомъ ужъ что-то захопоталъ, чего-то ужъ очень испугался. Потому, въ сущности, чего бы, кажется, пугаться? Увезъ отъ отца любовницу, она забеременѣла, а онъ ее бросилъ. Ну, что тутъ удивительнаго? Милая, пріятная шалость и больше ничего. Не такому человѣку, какъ князь, этого бояться! Ну, а онъ боялся... Вотъ мнѣ и сомнительно стало. Я, братъ, на нѣкоторые прелюбопытные слѣды напалъ, между прочимъ, черезъ Генриха. Онъ, конечно, умеръ, но отъ одной изъ кузинъ его (те-

перъ за однимъ булочникомъ здѣсь, въ Петербургѣ), страстно влюбленной въ него прежде и продолжавшей любить его лѣтъ пятнадцать сряду, несмотря на толстаго фатера-булочника, съ которымъ невзначай прижила восьмерыхъ дѣтей,—отъ этой-то кузины, говорю, я и успѣлъ, черезъ посредство разныхъ многосложныхъ маневровъ, узнать важную вещь. Генрихъ писалъ ей, по нѣмецкому обыкновенію, письма и дневники, а передъ смертью прислалъ ей кой-какія свои бумаги. Она, дура, важнаго-то въ этихъ письмахъ не понимала, а понимала въ нихъ только тѣ мѣста, гдѣ говорится о лунѣ, о мейнѣ либерѣ Августинѣ и о Виландѣ еще, кажется. Но я-то свѣдѣнія нужныя получилъ и черезъ эти письма на новый слѣдъ попалъ. Узналъ я, наприимѣръ, о господинѣ Смитѣ, о капиталѣ, у него похищенномъ дочкой, о князѣ, забравшемъ въ свои руки капиталъ; наконецъ, среди разныхъ восклицаній, обиняковъ и аллегорій, проглянула мнѣ въ письмахъ и настоящая суть: то-есть, Ваня, понимаешь! Ничего положительнаго. Дурачина-Генрихъ нарочно объ этомъ скрывалъ и только намекалъ, ну, а изъ этихъ намековъ, изъ всего-то вмѣстѣ взятаго стала выходить для меня небесная гармонія: князь-то вѣдь былъ на Смитихѣ-то женатъ! Гдѣ женился, какъ, когда именно, за границей или здѣсь, гдѣ документы?—ничего неизвѣстно. То-есть, братъ Ваня, я волосы рвалъ съ досады и отыскивалъ-отыскивалъ, то-есть дни и ночи разыскивалъ?

Разыскалъ я, наконецъ, и Смита, а онъ вдругъ и умри. Я даже на него живого-то и не успѣлъ посмотрѣть. Тутъ, по одному случаю, узнаю я вдругъ, что умерла одна подозрительная для меня женщина на Васильевскомъ островѣ, справляюсь — и нападаю на слѣдъ. Стремлюсь на Васильевскій и, помнишь, мы тогда встрѣтились. Много я тогда дочерпнулъ. Однимъ словомъ, помогла мнѣ тутъ во многомъ и Нелли...

— Послушай, прервалъ я его, — неужели ты думаешь, что Нелли знаетъ...

— Что?

— Что она дочь князя?

— Да вѣдь ты самъ знаешь, что она дочь князя, отвѣчалъ онъ, глядя на меня съ какою-то злобною укоризною.—Ну, къ чему такіе праздные вопросы дѣлать, пустой ты человекъ? Главное не въ этомъ, а въ томъ, что она не просто дочь князя, а законная дочь князя,—понимаешь ты это?

— Быть не может! вскричалъ я.

— Я и самъ говорилъ себѣ „быть не можетъ“ сначала, даже и теперъ иногда говорю себѣ „быть не можетъ!“ Но въ томъ-то и дѣло, что это *быть можетъ*, и по всей вѣроятности *есть*.

— Нѣтъ, Маслобоевъ, это не такъ, ты увлекся! вскричалъ я. — Она не только не знаетъ этого, но она и въ самомъ дѣлѣ незаконная дочь. Неужели мать, имѣя хоть какіе-нибудь документы въ рукахъ, могла выносить такую злую долю, какъ здѣсь въ Петербургѣ, и, кромѣ того, оставить свое дитя на такое сиротство? Полно! Этого быть не можетъ.

— Я и самъ это думалъ, то-есть, это даже до сихъ поръ стоитъ передо мной недоумѣніемъ. Но опять-таки дѣло въ томъ, что вѣдь Смитиха была сама по себѣ безумнѣйшая и сумасброднѣйшая женщина въ мірѣ. Не обыкновенная она женщина была; ты сообрази только всѣ обстоятельства: вѣдь это романтизмъ,— все это надзвѣздныя глупости въ самомъ дикомъ и сумасшедшемъ размѣрѣ. Возьми одно: съ самаго начала она мечтала только о чемъ-то въ родѣ неба на землѣ и объ ангелахъ, влюбилась беззавѣтно, повѣрила безгранично и, я увѣренъ, съ ума сошла потомъ не оттого, что онъ ее разлюбилъ и бросилъ, а оттого, что въ немъ она обманулась, что онъ *способенъ былъ* ее обмануть и бросить; оттого, что ея ангелъ превратился въ грязь, оплевалъ и унизилъ ее. Ея романтическая и безумная душа не вынесла этого превращенія. А сверхъ того и обида: понимаешь, какая обида? Въ ужасѣ и, главное, въ гордости, она отшатнулась отъ него съ безграничнымъ презрѣніемъ. Она разорвала всѣ связи, всѣ документы; плюнула на деньги, даже забыла, что онъ не ея, а отцовы, и отказалась отъ нихъ, какъ отъ грязи, какъ отъ пыли, чтобъ подавить своего обманщика душевнымъ величіемъ, чтобъ считать его своимъ воромъ и имѣть право всю жизнь презирать его, и тутъ же, вѣроятно, сказала, что безчестіемъ себѣ почитаетъ называться и женой его. У насъ развода нѣтъ, но *de facto* они развелись, и ей-ли было послѣ умолять его о помощи! Вспомни, что она, сумасшедшая, говорила Нелли уже на смертномъ одрѣ: не ходи къ нимъ, работай, погибни, но не ходи къ нимъ, кто бы *ни звалъ тебя* (то-есть она и тутъ мечтала еще, что ее *позовутъ*, а слѣдовательно будетъ случай отмстить еще разъ, подавить презрѣніемъ зо-

вущаго, однимъ словомъ, кормила себя вмѣсто хлѣба злобной мечтой). Много, братъ, я выпыталъ и у Нелли; даже и теперь иногда выпытываю. Конечно, мать ея была больна, въ чахоткѣ; эта болѣзнь особенно развиваетъ озлобленіе и всякаго рода раздраженія; но однакожь я навѣрно знаю, черезъ одну куму у Бубновой, что она писала къ князю: да, къ князю, къ самому князю...

— Писала! И дошло письмо? вскричалъ я съ нетерпѣніемъ.

— Вотъ то-то и есть, не знаю, дошло-ли оно. Разъ Смитиха сошлась съ этой кумой (помнишь, у Бубновой, дѣвка-то набѣлена!)? Теперь она въ смирительномъ домѣ), ну и послала съ ней это письмо, и написала ужъ его, да и не отдала, назадъ взяла; это было за три недѣли до ея смерти... Фактъ значительный: если разъ ужъ рѣшилась послать, такъ все равно, хоть и взяла обратно, могла другой разъ посылать. И такъ, посылала-ли она письмо или не посылала,—не знаю; но есть одно основаніе предположить, что не посылала, потому что князь узналъ *навѣрно*, что она въ Петербургѣ и гдѣ именно, кажется, уже послѣ смерти ея. То-то, должно-быть, обрадовался!

— Да, я помню, Алеша говорилъ о какомъ-то письмѣ, которое его очень обрадовало, но это было очень недавно, всего какихъ-нибудь два мѣсяца. Ну, что-жь дальше, дальше; какъ же ты-то съ княземъ?

— Да чтò я-то съ княземъ? Пойми: полнѣйшая нравственная увѣренность и ни одного положительнаго доказательства,—*ни одного*, какъ я ни бился. Положеніе критическое! Надо было за границей справки дѣлать, а гдѣ за границей? — неизвѣстно. Я, разумѣется, понялъ, что предстоитъ мнѣ бой, что я только могу его испугать намеками, прикинуться, что знаю больше, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ знаю...

— Ну, и что-жь?

— Не дался въ обманъ, а, впрочемъ, струсилъ, до того струсилъ, что трусить и теперь. У насъ было нѣсколько сходовъ: какимъ онъ лазаремъ было прикинулся! Разъ, по дружбѣ, самъ мнѣ все принялся рассказывать. Это когда думалъ, что я *все* знаю. Хорошо рассказывалъ, съ чувствомъ, откровенно,—разумѣется, безсовѣстно лгалъ. Вотъ тутъ я и измѣрилъ, до какой степени онъ меня боялся. Прикидывался я передъ нимъ одно время ужаснѣйшимъ

простофилей, а наружу показывалъ, что хитрю. Неловко его запугивалъ, то-есть нарочно неловко; грубостей ему нарочно надѣлалъ, грозить ему было началъ,—ну, все для того, чтобъ онъ меня за простофилю принялъ и какъ-нибудь да проговорился. Догадался, подлець! Другой разъ я пьянымъ прикинулся, тоже толку не вышло,—хитерь! Ты, братъ, можешь-ли это понять, Ваня: мнѣ все надо было узнать, въ какой степени онъ меня опасается, и второе: представить ему, что я больше знаю, чѣмъ знаю въ самомъ дѣлѣ...

— Ну, что-жъ наконецъ-то?

— Да ничего не вышло. Надо было доказательствъ, а ихъ у меня не было. Одно только онъ понялъ, что я все-таки могу сдѣлать скандалъ. Конечно, онъ только скандала одного и боялся, тѣмъ болѣе, что здѣсь связи началъ заводить. Вѣдь ты знаешь, что онъ женится?

— Нѣтъ...

— Въ будущемъ году! Невѣсту онъ себѣ еще въ прошломъ году приглядѣлъ; ей было тогда всего четырнадцать лѣтъ, теперь ей ужъ пятнадцать, кажется, еще въ фартучкѣ ходитъ, бѣдняжка. Родители рады! Понимаешь, какъ ему надо было, чтобъ жена умерла? Генеральская дочка, денежная дѣвочка—много денегъ! Мы, братъ Ваня, съ тобой никогда такъ не женимся... Только чего я себѣ во всю жизнь не прощу, вскричалъ Маслобоевъ, крѣпко стукнувъ кулакомъ по столу,—это—что онъ оплелъ меня, двѣ недѣли назадъ... подлець!

— Какъ такъ?

— Да такъ. Я вижу, онъ понялъ, что у меня нѣтъ ничего *положительнаго*, и, наконецъ, чувствую про себя, что чѣмъ больше дѣло тянуть, тѣмъ скорѣе, значить, пойметъ онъ мое безсиліе. Ну, и согласился принять отъ него двѣ тысячи.

— Ты взялъ двѣ тысячи!..

— Серебромъ, Ваня; скрѣпя сердце взялъ. Ну, двухъ-ли тысячъ такое дѣло могло стоить! Съ униженіемъ взялъ. Стою передъ нимъ, какъ оплеванный; онъ говоритъ: „я вамъ, Маслобоевъ, за ваши прежніе труды еще не заплатилъ (а за прежніе онъ давно заплатилъ сто пятьдесятъ рублей, по условію), ну, такъ вотъ я ѣду; тутъ двѣ тысячи, и потому, надѣюсь, *все наше* дѣло совершенно теперь кончено“. Ну, я и отвѣчалъ ему: „совершенно кончено, князь“, а самъ и взглянуть въ его рожу не смѣю;

думаю: такъ и написано теперь на ней: „что, много взялъ? Такъ только, изъ благодушія одного дураку даю!“ Не помню, какъ отъ него и вышелъ!

— Да вѣдь это подло, Маслобоевъ! вскричалъ я, — что-жь ты сдѣлалъ съ Нелли?

— Это не просто подло, это каторжно, это пакостно... Это... это... да тутъ и словъ нѣтъ, чтобъ выразить!

— Боже мой! Да вѣдь онъ, по крайней мѣрѣ, долженъ бы хотъ обезпечить Нелли!

— То-то долженъ. А чѣмъ принудить? Запугать? Небось, не испугается: вѣдь я деньги взялъ. Самъ, самъ передъ нимъ признался, что всего страху-то у меня на двѣ тысячи рублей серебромъ, самъ себя оцѣнилъ въ эту сумму! Чѣмъ его теперь напугаешь?

— И неужели, неужели дѣло Нелли такъ и пропало? вскричалъ я почти въ отчаяніи.

— Ни за что! вскричалъ съ жаромъ Маслобоевъ, и даже какъ-то весь встрепенулся.—Нѣтъ, я ему этого не спущу! Я опять начну новое дѣло, Ваня: я ужъ рѣшился! Что-жь, что я взялъ двѣ тысячи? Наплевать. Я, выходитъ, за обиду взялъ, потому что онъ, бездѣльникъ, меня надулъ, стало-быть, насмѣялся надо мною. Надулъ, да еще насмѣялся! Нѣтъ, я не позволю надъ собой смѣяться... Теперь я, Ваня, ужъ съ самой Нелли начну. По нѣкоторымъ наблюденіямъ я вполне увѣренъ, что въ ней заключается вся развязка этого дѣла. Она *все* знаетъ, *все*... Ей сама мать рассказала. Въ горячкѣ, въ тоскѣ могла рассказать. Некому было жаловаться, подвернулась Нелли, она ей и рассказала. А, можетъ-быть, и на документики какіе-нибудь попадемъ, прибавилъ онъ въ сладкомъ восторгѣ, потирая руки.—Понимаешь теперь, Ваня, зачѣмъ я сюда шляюсь? Во-первыхъ, изъ дружбы къ тебѣ, это само собою; но главное—наблюдаю Нелли, а въ-третьихъ, другъ Ваня, хочешь не хочешь, а ты долженъ мнѣ помогать, потому что ты имѣешь вліяніе на Нелли!..

— Непремѣнно, клянусь тебѣ, вскричалъ я,—и надѣюсь, Маслобоевъ, что ты, главное, для Нелли будешь стараться, — для бѣдной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды...

— Да тебѣ-то какое дѣло, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человѣкъ? Только бы сдѣлать,—вотъ что главное! Конечно, главное для сиротки, это и человѣколюбіе велить. Но ты, Ванюша, не осуждай меня

безвозвратно, если я и о себѣ позабочусь. Я человекъ бѣдный, а онъ бѣдныхъ людей не смѣи обижать. Онъ у меня мое отнимаетъ, да еще и надулъ подлець вдобавокъ. Такъ я, по-твоему, такому мошеннику долженъ въ зубы смотрѣть? Моргенъ-фри!

Но цвѣточный праздникъ нашъ на другой день не удался. Нелли сдѣлалось хуже и она уже не могла выйти изъ комнаты.

И ужъ никогда больше она не выходила изъ этой комнаты.

Она умерла двѣ недѣли спустя. Въ эти двѣ недѣли своей агоніи она уже ни разу не могла совершенно придти въ себя и избавиться отъ своихъ странныхъ фантазій. Разсудокъ ея какъ будто помутился. Она твердо была увѣрена, до самой смерти своей, что дѣдушка зоветъ ее къ себѣ и сердится на нее, что она не приходитъ, стучить на нее палкой и велитъ ей идти просить у добрыхъ людей на хлѣбъ и на табакъ. Часто она начинала плакать во снѣ и, просыпаясь, рассказывала, что видѣла мамашу.

Иногда только разсудокъ какъ будто возвращался къ ней вполнѣ. Однажды мы оставались одни; она потянулась ко мнѣ и схватила мою руку своей худенькой, воспаленной отъ горячечнаго жару ручкой.

— Ваня, сказала она мнѣ, — когда я умру, женись на Наташѣ!

Это, кажется, была постоянная и давнишняя ея идея. Я молча улыбнулся ей. Увидя мою улыбку, она улыбнулась сама, съ шаловливымъ видомъ погрозила мнѣ своимъ худенькимъ пальчикомъ и тотчасъ же начала меня цѣловать.

За три дня до своей смерти, въ прелестный лѣтній вечеръ, она попросила, чтобъ подняли штору и открыли окно въ ея спальнѣ. Окно выходило въ садикъ; она долго смотрѣла на густую зелень, на заходящее солнце и вдругъ попросила, чтобъ насъ оставили однихъ.

— Ваня, сказала она едва слышнымъ голосомъ, потому что была уже очень слаба, — я скоро умру. Очень скоро, и хочу тебѣ сказать, чтобъ ты меня помнилъ. На память я тебѣ оставляю вотъ это (и она показала мнѣ большую ладонку, которая висѣла у ней на груди, вмѣстѣ съ крестомъ). Это мнѣ мамаша оставила, умирая. Такъ вотъ, когда я умру, ты и сними эту ладонку, возьми себѣ и

прочти, что въ ней есть. Я и всѣмъ имъ сегодня скажу, чтобъ они одному тебѣ отдали эту ладонку. И когда ты прочтешь, что въ ней написано, то поди къ нему и скажи, что я умерла, а *его* не простила. Скажи ему тоже, что я Евангеліе недавно читала. Тамъ сказано: прощайте всѣмъ врагамъ своимъ. Ну, такъ я это читала, а *его* все-таки не простила, потому что, когда мамаша умирала и еще могла говорить, то послѣднее, что она сказала, было: *проклинаю его*, ну, такъ и я *его* проклинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю... Расскажи же ему, какъ умирала мамаша, какъ я осталась одна у Бубновой; расскажи, какъ ты видѣлъ меня у Бубновой,—все, все расскажи, и скажи тутъ же, что я лучше хотѣла быть у Бубновой, а къ нему не пошла...

Говоря это, Нелли поблѣднѣла, глаза ея засверкали и сердце начало стучать такъ сильно, что она опустила на подушки и минуты двѣ не могла проговорить слова.

— Позови ихъ, Ваня, сказала она, наконецъ, слабымъ голосомъ, я хочу съ ними со всѣми проститься. Прощай, Ваня!..

Она крѣпко-крѣпко обняла меня въ послѣдній разъ. Вошли всѣ наши. Старикъ не могъ понять, что она умираетъ; допустить этой мысли не могъ. Онъ до послѣдняго времени спорилъ со всѣми нами и увѣрялъ, что она выздоровѣетъ непременно. Онъ весь высохъ отъ заботы, онъ просиживалъ у кровати Нелли по цѣлымъ днямъ и даже ночамъ. Послѣднія ночи онъ буквально не спалъ. Онъ старался предупредить малѣйшее желаніе Нелли, и, выходя отъ нея къ намъ, горько плакалъ, но черезъ минуту опять начиналъ надѣяться и увѣрять насъ, что она выздоровѣетъ. Онъ заставилъ цвѣтами всю ея комнату. Одинъ разъ купилъ онъ цѣлый букетъ прелестнѣйшихъ розъ, бѣлыхъ и красныхъ, куда-то далеко ходилъ за ними и принесъ своей Нелличкѣ... Всѣмъ этимъ онъ очень волновалъ ее. Она не могла не отзываться всѣмъ сердцемъ своимъ на такую всеобщую любовь. Въ этотъ вечеръ, въ вечеръ прощанья ея съ нами, старикъ никакъ не хотѣлъ прощаться съ ней навсегда. Нелли улыбнулась ему и весь вечеръ старалась казаться веселою, шутила съ нимъ, даже смѣялась... Мы всѣ вышли отъ нея почти въ надеждѣ, но на другой день она уже не могла говорить. Черезъ два дня она умерла.

Помню, какъ старикъ убиралъ ея гробикъ цвѣтами и

съ отчаяніемъ смотрѣлъ на ея исхудалое мертвое личико, на ея мертвую улыбку, на руки ея, сложенные крестомъ на груди. Онъ плакалъ надъ ней, какъ надъ своимъ роднымъ ребенкомъ, Наташа, я, мы всѣ утѣшали его, но онъ былъ неутѣшенъ и серьезно заболѣлъ послѣ похоронъ Нелли.

Анна Андреевна сама отдала мнѣ ладонку, которую сняла съ ея груди. Въ этой ладонкѣ было письмо матери Нелли къ князю. Я прочиталъ его въ день смерти Нелли. Она обращалась къ князю съ проклятіемъ, говорила, что не можетъ простить ему, описывала всю послѣднюю жизнь свою, всѣ ужасы, на которые оставляетъ Нелли, и умоляла его сдѣлать хоть что-нибудь для ребенка. „Онъ вашъ, писала она,—это дочь *ваша* и *вы сами знаете*, что она *ваша настоящая* дочь. Я велѣла ей идти къ вамъ, когда я умру, и отдать вамъ въ руки это письмо. Если вы не отвергнете Нелли, то, можетъ-быть, *тамъ* я прошу васъ, и въ день суда сама стану передъ престоломъ Божиимъ и буду умолять Судію простить вамъ ~~и~~ *и* ваши. Нелли знаетъ содержаніе письма моего; я читала его ей; я разъяснила ей *все*, она знаетъ *все, все*“...

Но Нелли не исполнила завѣщанія; она знала все, но не пошла къ князю и умерла непримиренная.

Когда мы воротились съ похоронъ Нелли, мы съ Наташей вышли въ садъ. День былъ жаркій, сіяющій свѣтомъ. Черезъ недѣлю они уѣзжали. Наташа взглянула на меня долгимъ, страннымъ взглядомъ.

— Ваня, сказала она,—Ваня, вѣдь это былъ сонъ.

— Что было сонъ? спросилъ я.

— Все, все, отвѣчала она, — все, за весь этотъ годъ. Ваня, зачѣмъ я разрушила твое счастье?

И въ глазахъ ея я прочелъ:

„Мы бы могли быть навѣки счастливы вмѣстѣ!“



ВѢЧНЫЙ МУЖЪ. *)

Разсказъ.

I.

Вельчаниновъ.

Пришло лѣто—и Вельчаниновъ, сверхъ ожиданія, остался въ Петербургѣ. Поѣздка его на югъ Россіи разстроилась, а дѣлу и конца не предвидѣлось. Это дѣло—тяжба по имѣнію—принимало предурной оборотъ. Еще три мѣсяца тому назадъ оно имѣло видъ весьма несложный, чуть не безспорный; но какъ-то вдругъ все измѣнилось. „Да и вообще все стало измѣняться къ худшему!“—эту фразу Вельчаниновъ съ злорадствомъ и часто сталъ повторять про себя. Онъ употреблялъ адвоката ловкаго, дорогого, извѣстнаго, и денегъ не жалѣлъ; но въ нетерпѣннѣи и отъ мнительности повадился заниматься дѣломъ и самъ: читалъ и писалъ бумаги, которыя сплошь браковалъ адвокатъ, бѣгалъ по присутственнымъ мѣстамъ, наводилъ справки и, вѣроятно, очень мѣшалъ всему; по крайней мѣрѣ, адвокатъ жаловался и гналъ его на дачу. Но онъ даже и на дачу выѣхать не рѣшился. Пыль, духота, бѣлыя петербургскія ночи, раздражающія нервы,—вотъ чѣмъ наслаждался онъ въ Петербургѣ. Квартира его была гдѣ-то у Большого театра, недавно нанятая имъ, и тоже не удалась; „все не удавалось!“ Ипохондрія его росла съ каждымъ днемъ; но къ ипохондріи онъ ужъ былъ склоненъ давно.

Это былъ человѣкъ много и широко пожившій, уже далеко не молодой, лѣтъ тридцати восьми или даже тридцати девяти, и вся эта „старость“—какъ онъ самъ выражался—

*) Въ первый разъ напечатана въ журналѣ „Заря“ 1870 г., I, II.

пришла къ нему „совсѣмъ почти неожиданно“; но онъ самъ понималъ, что состарѣлся скорѣе не количествомъ, а, такъ сказать, качествомъ лѣтъ, и что если ужъ и начались его немощи, то скорѣе изнутри, чѣмъ снаружи. На взглядъ онъ и до сихъ поръ смотрѣлъ молодцомъ. Это былъ парень высокій и плотный, свѣтлорусъ, густоволосъ и безъ единой сѣдинки въ головѣ и въ длинной, чуть не до половины груди, русой бородѣ; съ перваго взгляда какъ бы нѣсколько неуклюжій и опустившійся, но взглядывшись пристальнѣе, вы тотчасъ же отличили бы въ немъ господина, выдержаннаго отлично и когда-то получившаго воспитаніе самое великосвѣтское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, смѣлы и даже граціозны, несмотря на всю благопріобрѣтенную имъ брюзгливость и мѣшкватость. И даже до сихъ поръ онъ былъ полонъ самой непоколебимой, самой великосвѣтски-нахальной самоувѣренности, которой размѣра, можетъ-быть, и самъ не подозрѣвалъ въ себѣ, несмотря на то, что былъ человѣкъ не только умный, но даже иногда толковый, почти образованный и съ несомнѣнными дарованіями. Цвѣтъ лица его, открытаго и румянаго, отличался встарину женственною нѣжностью и обращалъ на него вниманіе женщинъ; да и теперь иной, взглянувъ на него, говорилъ: „экой здоровенный, кровь съ молокомъ!“ И однакожъ этотъ „здоровенный“ былъ жестоко зараженъ ипохондріей. Глаза его, большіе и голубые, лѣтъ десять назадъ, имѣли тоже много въ себѣ побѣдительнаго; это были такіе свѣтлые, такіе веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли къ себѣ каждаго, съ кѣмъ только онъ ни сходилъ. Теперь, къ сороковымъ годамъ, ясность и доброта почти погасли въ этихъ глазахъ, уже обрुжившихся легкими морщинками, въ нихъ появились, напротивъ, цинизмъ не совсѣмъ нравственнаго и уставшаго человѣка, хитрость, всего чаще насмѣшка и еще новый оттѣнокъ, котораго не было прежде: оттѣнокъ грусти и боли, —какой-то разсѣянной грусти, какъ бы безпредметной, но сильной. Особенно проявлялась эта грусть, когда онъ оставался одинъ. И странно, этотъ шумливый, веселый и разсѣянный всего еще года два тому назадъ человѣкъ, такъ славно рассказывавшій такіе смѣшные рассказы, —ничего такъ не любилъ теперь, какъ оставаться совершенно одинъ. Онъ намѣренно оставилъ множество знакомствъ, которыхъ даже и теперь могъ бы не оставлять, несмотря на окон-

чательное разстройство своихъ денежныхъ обстоятельствъ. Правда, тутъ помогло и тщеславіе: съ его мнительностью и тщеславіемъ нельзя было вынести прежнихъ знакомствъ. Но и тщеславіе его, мало-по-малу, стало измѣняться въ уединеніи. Оно не уменьшилось, даже—напротивъ; но оно стало вырождаться въ какое-то особаго рода тщеславіе, котораго прежде не было: стало иногда страдать уже со-всѣмъ отъ другихъ причинъ, чѣмъ обыкновенно прежде,—отъ причинъ неожиданныхъ и совершенно прежде немыслимыхъ, отъ причинъ „болѣе высихъ“, чѣмъ до сихъ поръ,—„если только можно такъ выразиться, если дѣйствительно есть причины высшія и низшія“... Это уже прибавлялъ онъ самъ.

Да, онъ дошелъ и до этого; онъ бился теперь съ какими-то причинами *высшими*, о которыхъ прежде и не задумался бы. Въ сознаніи своемъ и по совѣсти онъ называлъ высшими всѣ „причины“, надъ которыми (къ удивленію своему) никакъ не могъ про себя засмѣяться,—чего до сихъ поръ еще не бывало,—про себя разумѣется; о, въ обществѣ дѣло другое! Онъ превосходно зналъ, что сойдись только обстоятельства—и на завтра же онъ, вслухъ, несмотря на всѣ таинственныя и благоговѣйныя рѣшенія своей совѣсти, преспокойно отречется отъ всѣхъ этихъ „высшихъ причинъ“ и самъ, первый, подыметъ ихъ на смѣхъ, разумѣется, не признаваясь ни въ чемъ. И это было дѣйствительно такъ, несмотря на нѣкоторую, весьма даже значительную долю независимости мысли, отвоеванную имъ въ послѣднее время у обладавшихъ имъ до сихъ поръ „низшихъ причинъ“. Да и сколько разъ самъ онъ, вставая на утро съ постели, начиналъ стыдиться своихъ мыслей и чувствъ, пережитыхъ въ ночную бессонницу! (А онъ сплошь, все послѣднее время, страдалъ бессонницей). Давно уже онъ замѣтилъ, что становится чрезвычайно мнителенъ во всемъ, и въ важномъ, и въ мелочахъ, а потому и положилъ было довѣрять себѣ какъ можно меньше. Но выдавались однакоже факты, которыхъ ужъ никакъ нельзя было не признать дѣйствительно существующими. Въ послѣднее время, иногда по ночамъ, его мысли и ощущенія почти совсѣмъ перемѣнялись, въ сравненіи съ всегдашними, и большею частью отнюдь не походили на тѣ, которыя выпадали ему на первую половину дня. Это его поразило—и онъ даже посоветовался съ извѣстнымъ докторомъ, правда, человѣкомъ ему знакомымъ; разумѣется,

заговорилъ съ нимъ шутя. Онъ получилъ въ отвѣтъ, что фактъ измѣненія и даже раздвоенія мыслей и ощущеній по ночамъ во время бессонницы, и вообще по ночамъ,— есть фактъ всеобщій между людьми „сильно мыслящими и сильно чувствующими“, что убѣжденія всей жизни иногда внезапно мѣнялись подъ меланхолическимъ вліяніемъ ночи и бессонницы; вдругъ, ни съ того, ни съ сего, самыя роковыя рѣшенія предпринимались; но что, конечно, все до извѣстной мѣры—и если, наконецъ, субъектъ уже слишкомъ ощущаетъ на себѣ эту раздвоенность, такъ что дѣло доходитъ до страданія, то бесспорно это признакъ, что уже образовалась болѣзнь; а, стало-быть, надо немедленно что-нибудь предпринять. Лучше же всего измѣнить радикально образъ жизни, измѣнить діету, или даже предпринять путешествіе. Полезно, конечно, слабительное.

Вельчаниновъ дальше слушать не сталъ; но болѣзнь была ему совершенно доказана.

„Итакъ, все это только болѣзнь, все это „высшее“ одна болѣзнь и больше ничего!“ язвительно восклицалъ онъ иногда про себя. Очень ужъ ему не хотѣлось съ этимъ согласиться.

Скоро, впрочемъ, и по утрамъ стало повторяться то же, что происходило въ исключительные ночные часы, но только съ большею желчью, чѣмъ по ночамъ, со злостью вмѣсто раскаянія, съ насмѣшкой вмѣсто умиленія. Въ сущности это были, все чаще и чаще приходившія ему на память, „внезапно и Богъ знаетъ почему“, иныя происшествія изъ его прошедшей, и давно прошедшей, жизни, но приходившія какимъ-то особеннымъ образомъ. Вельчаниновъ давно уже, напримѣръ, жаловался на потерю памяти: онъ забывалъ лица знакомыхъ людей, которые при встрѣчахъ за это на него обижались; книга, прочитанная имъ полгода назадъ, забывалась въ этотъ срокъ иногда совершенно. И что жъ?—несмотря на эту очевидную ежедневную утрату памяти (о чемъ онъ очень беспокоился)—все, что касалось давно прошедшаго, все, что по десяти, по пятнадцати лѣтъ бывало даже совсѣмъ забыто,—все это вдругъ иногда приходило теперь на память, но съ такою изумительною точностью впечатлѣній и подробностей, что какъ будто бы онъ вновь ихъ переживалъ. Нѣкоторые изъ припоминавшихся фактовъ были до того забыты, что ему уже одно то казалось чудомъ, что они могли припомниться. Но это еще было не все; да и у

кого изъ широко пожившихъ людей нѣтъ своего рода воспоминаній? Но дѣло въ томъ, что все это припоминавшееся возвращалось теперь какъ бы съ заготовленной еѣмъ-то, совершенно новой, неожиданной и прежде совсѣмъ немислимой точкой зрѣнія на фактъ. Почему иныя воспоминанія казались ему теперь совсѣмъ преступленіями? И не въ однихъ приговорахъ его ума было дѣло: своему мрачному, одиночному и больному уму онъ бы и не повѣрилъ; но доходило до проклятій и чуть-ли не до слезъ, если и не наружныхъ, такъ внутреннихъ. Да, онъ еще два года тому назадъ не повѣрилъ бы, если-бъ ему сказали, что онъ когда-нибудь заплачетъ! Сначала, впрочемъ, припоминалось больше не изъ чувствительнаго, а изъ язвительнаго: припоминались иныя свѣтскія неудачи, униженія; вспоминалось о томъ, напримѣръ, какъ его „оклеветалъ одинъ интриганъ“, вслѣдствіе чего его перестали принимать въ одномъ домѣ,—какъ, напримѣръ, и даже не такъ давно, онъ былъ положительно и публично обиженъ, а на дуэль не вызвалъ,—какъ осадили его разъ одной преostroумной эпиграммой въ кругу самыхъ хорошенькихъ женщинъ, а онъ не нашелся что отвѣчать. Припомнились даже два-три неуплаченные долга, правда, пустяшные, но долги чести и такимъ людямъ, съ которыми онъ пересталъ водиться и о которыхъ уже говорилъ дурно. Мучило его тоже (но только въ самыя злыя минуты) воспоминаніе о двухъ глупѣйшимъ образомъ промотанныхъ состояніяхъ, изъ которыхъ каждое было значительное. Но скоро стало припоминаться и изъ „высшаго“.

Вдругъ, напримѣръ, „ни съ того, ни съ сего“, припомнилась ему забытая, и въ высочайшей степени забытая имъ, фигура добренькаго одного старичка-чиновника, сѣденькаго и смѣшного, оскорбленнаго имъ когда-то, давнымъ-давно, публично и безнаказанно, и единственно изъ одного фанфаронства: изъ-за того только, чтобъ не пропалъ даромъ одинъ смѣшной и удачный каламбуръ, доставившій ему славу, и который потомъ повторяли. Фактъ былъ до того имъ забытъ, что даже фамиліи этого старичка онъ не могъ припомнить, хотя сразу представилась вся обстановка приключенія въ непостижимой ясности. Онъ ярко припомнилъ, что старичекъ тогда заступался за дочь, жившую съ нимъ вмѣстѣ и засидѣвшуюся въ дѣвкахъ, и про которую въ городѣ стали ходить какіе-то слухи. Старичокъ сталъ было отвѣчать и сердиться, но

вдругъ заплакалъ навзрыдъ при всемъ обществѣ, что произвело даже нѣкоторое впечатлѣніе. Кончили тѣмъ, что для смѣха его напоили тогда шампанскимъ и вдоволь насмѣялись. И когда теперь припомнилъ, „ни съ того, ни съ сего“, Вельчаниновъ о томъ, какъ старикашка рыдалъ и закрывался руками, какъ ребенокъ, то ему вдругъ показалось, что какъ будто онъ никогда и не забывалъ этого. И странно: ему все это казалось тогда очень смѣшнымъ; теперь же — напротивъ, и именно подробности, именно закрываніе лица руками. Потомъ онъ припомнилъ, какъ, единственно для шутки, оклеветалъ одну прехорошенькую жену одного школьнаго учителя, и клевета дошла до мужа. Вельчаниновъ скоро уѣхалъ изъ этого городка и не зналъ, чѣмъ тогда кончились слѣдствія его клеветы, но теперь онъ сталъ вдругъ воображать, чѣмъ кончились эти слѣдствія,—и Богъ знаетъ до чего бы дошло его воображеніе, если бъ вдругъ не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминаніе объ одной дѣвушкѣ изъ простыхъ мѣщанокъ, которая даже и не нравилась ему, и которой, признаться, онъ и стыдился, но съ которой, самъ не зная для чего, прижилъ ребенка, да такъ и бросилъ ее вмѣстѣ съ ребенкомъ, даже не простившись (правда, некогда было), когда уѣхалъ изъ Петербурга. Эту дѣвушку онъ разыскивалъ потомъ цѣлый годъ, но уже никакъ не могъ отыскать. Впрочемъ, такихъ воспоминаній оказывались чуть не сотни — и такъ даже, что какъ будто каждое воспоминаніе тащило за собою десятки другихъ. Мало-по-малу стало страдать и его тщеславіе.

Мы сказали уже, что тщеславіе его выродилось въ какое-то особенное. Это было справедливо. Минутами (рѣдкими, впрочемъ) онъ доходилъ иногда до такого самозабвенія, что не стыдился даже того, что не имѣетъ своего экипажа, что слоняется пѣшкомъ по присутственнымъ мѣстамъ, что сталъ нѣсколько небреженъ въ костюмѣ,—и случись, что кто-нибудь изъ старыхъ знакомыхъ обмѣрилъ бы его насмѣшливымъ взглядомъ на улицѣ или просто вздумалъ бы не узнать, то, право, у него достало бы настолько высокоумія, чтобъ даже и не поморщиться. Серьезно не поморщиться, правду, а не то что для одного виду. Разумѣется, это бывало рѣдко; это были только минуты самозабвенія и раздраженія, но все-таки тщеславіе его стало мало-по-малу удаляться отъ прежнихъ

поводовъ и сосредоточиваться около одного вопроса, безпрерывно приходившаго ему на умъ.

„Вотъ вѣдь, начиналъ онъ думать иногда сатирически (а онъ всегда почти, думая о себѣ, начиналъ съ сатирическаго),—вотъ вѣдь кто-то тамъ заботится же объ исправленіи моей нравственности и посылаетъ мнѣ эти проклятыя воспоминанія и „слезы раскаянія“. Пусть, да вѣдь попусту! Вѣдь все стрѣльба холостыми зарядами! Ну, не знаю-ли я навѣрно, вѣрнѣе чѣмъ навѣрно, что, несмотря на эти слезныя раскаянія и самоосужденія, во мнѣ нѣтъ ни капельки самостоятельности, несмотря на всѣ мои глупѣйшія сорокъ лѣтъ! Вѣдь случись завтра же такое же искушеніе, ну, сойдишь, напримѣръ, опять обстоятельства такъ, что мнѣ выгодно будетъ слухъ распустить, будто бы учительша отъ меня подарки принимала,—и я вѣдь навѣрно распущу, не дрогну,—и еще хуже, пакостнѣе чѣмъ въ первый разъ дѣло выйдетъ, потому что этотъ разъ будетъ уже второй разъ, а не первый. Ну, оскорби меня опять, сейчасъ, этотъ князекъ, единственный сынъ у матери, и которому я одиннадцать лѣтъ тому назадъ ногу отстрѣлилъ,—и я тотчасъ же его вызову и посажу опять на деревяжку. Ну, не холостые-ли, стало-быть, заряды, и что въ нихъ толку! И для чего напоминать, когда я хоть сколько-нибудь развязаться съ собой прилично не умѣю!“

И хоть не повторялось опять факта съ учительшей, хоть не сажалъ онъ никого на деревяжку, но одна мысль о томъ, что это непременно должно было бы повториться, если-бъ сошлись обстоятельства, почти убивала его... иногда. Не всегда же, въ самомъ дѣлѣ, страдать воспоминаніями; можно отдохнуть и погулять—въ антрактахъ.

Такъ Вельчаниновъ и дѣлалъ: онъ готовъ былъ погулять въ антрактахъ; но все-таки, чѣмъ дальше, тѣмъ неприятели становилось его житіе въ Петербургѣ. Подходилъ ужъ и іюль. Мелькала въ немъ иногда рѣшимость бросить все, и самую тяжбу, и уѣхать куда-нибудь не оглядываясь, какъ-нибудь вдругъ, нечаянно, хоть туда же въ Крымъ, напримѣръ. Но черезъ часъ, обыкновенно, онъ уже презиралъ свою мысль и смѣялся надъ ней: „эти скверныя мысли ни на какомъ югѣ не прекратятся, если ужъ разъ начались и если я хоть сколько-нибудь порядочный человѣкъ, а, стало-быть, нечего и бѣжать отъ нихъ, да и не зачѣмъ“.

„Да и къ чему бѣжать“, продолжалъ онъ философствовать съ горя, — „здѣсь такъ пыльно, такъ душно, въ этомъ домѣ такъ все запачкано, въ этихъ присутствіяхъ, по которымъ я слоняюсь, между всѣми этими дѣловыми людьми—столько самой мышиной суеты, столько самой толкучей заботы; во всемъ этомъ народѣ, оставшемся въ городѣ, на всѣхъ этихъ лицахъ, мельбающихъ съ утра до вечера,—такъ наивно и откровенно рассказано все ихъ себялюбіе, все ихъ простодушное нахальство, вся трусливость ихъ душонокъ, вся куриность ихъ сердчишекъ, — что, право, тутъ рай ипохондрику, самымъ серьезнымъ образомъ говоря! Все откровенно, все ясно, все не считаетъ даже нужнымъ и прикрываться, какъ гдѣ-нибудь у нашихъ барынь на дачахъ, или на водахъ за границей,—а, стало-быть, все гораздо достойнѣе полнѣйшаго уваженія за одну только откровенность и простоту!.. Никуда не уѣду! Лопну здѣсь, а никуда не уѣду!“

II.

Господинъ съ крепомъ на шляпѣ.

Было третье іюля. Духота и жаръ стояли нестерпимые. День для Вельчанинова выдался самы хлопотливый: все утро пришлось ходить и разбѣзжать, а въ перспективѣ предстояла непремѣнная надобность сегодня же вечеромъ посѣтить одного нужнаго господина, одного дѣльца и статскаго совѣтника на его дачѣ, гдѣ-то на Черной рѣчкѣ, и захватить его неожиданно дома. Часу въ шестомъ Вельчаниновъ вошелъ, наконецъ, въ одинъ ресторанъ (весьма сомнительный, но французскій) на Невскомъ проспектѣ у Полицейскаго моста, сѣлъ въ своемъ обычномъ углу за свой столикъ и спросилъ свой ежедневный обѣдъ.

Онъ сѣдалъ ежедневно обѣдъ въ рубль и за вино платилъ особенно, что и считалъ жертвой, благоразумно имъ приносимой разстроенымъ своимъ обстоятельствамъ. Удивляясь, какъ можно ѣсть такую дрянь, онъ уничтожалъ, однакоже, все до послѣдней крошки—и каждый разъ съ такимъ аппетитомъ, какъ будто передъ тѣмъ не ѣлъ трое сутокъ. „Это что-то болѣзненное“, бормоталъ онъ про себя, замѣчая иногда свой аппетитъ. Но въ этотъ разъ онъ усѣлся за свой столикъ въ самомъ севернѣйшемъ расположеніи духа, съ сердцемъ отбросилъ куда-то

шляпу, облокотился и задумался. Завозись теперь какъ-нибудь обѣдавшій съ нимъ рядомъ сосѣдъ, или не пойми его съ перваго раза прислуживавшій ему мальчишка—и онъ, такъ умѣвшій быть вѣжливымъ и, когда надо, такъ свысока-невозмутимымъ, навѣрно бы расшумѣлся какъ юнкеръ и, пожалуй, сдѣлалъ бы исторію.

Подали ему супъ, онъ взялъ ложку, но, вдругъ, не успѣвъ зачерпнуть, бросилъ ложку на столъ и чуть не вскочилъ со стула. Одна неожиданная мысль внезапно осянила его: въ это мгновеніе онъ—и Богъ знаетъ какимъ процессомъ—вдругъ вполнѣ осмыслилъ причину своей тоски, своей особенной, отдѣльной тоски, которая мучила его уже нѣсколько дней сряду, все послѣднее время, Богъ знаетъ какъ привязалась и Богъ знаетъ почему не хотѣла никакъ отвязаться; теперь же онъ сразу все разглядѣлъ и понялъ какъ свои пять пальцевъ.

— Это все эта шляпа! пробормоталъ онъ какъ бы вдохновенный. — Единственно одна только эта проклятая круглая шляпа, съ этимъ мерзкимъ траурнымъ крепомъ, *всему* причиною!

Онъ сталъ думать—и чѣмъ далѣе вдумывался, тѣмъ становился угрюмѣе, и тѣмъ удивительнѣе становилось въ его глазахъ „все происшествіе“.

„Но... но какое же тутъ однако происшествіе? протестовалъ было онъ, не довѣряя себѣ.—Есть-ли тутъ хоть что-нибудь похожее на происшествіе?“

Все дѣло состояло вотъ въ чемъ: почти уже тому двѣ недѣли (по-настоящему, онъ не помнилъ, но, кажется, было двѣ недѣли), какъ встрѣтилъ онъ въ первый разъ, на улицѣ, гдѣ-то на углу Подъяческой и Мѣщанской, одного господина съ крепомъ на шляпѣ. Господинъ былъ какъ и всѣ, ничего въ немъ не было такого особеннаго, прошелъ онъ скоро, но посмотрѣлъ на Вельчанинова какъ-то слишкомъ ужъ пристально, и почему-то сразу обратилъ на себя его вниманіе до чрезвычайности. По крайней мѣрѣ, фізіономія его показалась знакомою Вельчанинову. Онъ, очевидно, когда-то и гдѣ-то встрѣчалъ ее. „А, впрочемъ, мало-ли тысячъ фізіономій встрѣчалъ я въ жизни—всѣхъ не упомнишь!“ Пройдя шаговъ двадцать, онъ уже, казалось, и забылъ про встрѣчу, несмотря на все первое впечатлѣніе. А впечатлѣніе, однако, осталось на цѣлый день—и довольно оригинальное, въ видѣ какой-то безпредметной, особенной злобы. Онъ теперь,

чрезъ двѣ недѣли, все это припоминалъ ясно; припоминалъ тоже, что совершенно не понималъ тогда: откуда въ немъ эта злоба,—и не понималъ до того, что ни разу даже не сблизилъ и не сопоставилъ свое скверное расположение духа во весь тотъ вечеръ съ утренней встрѣчей. Но господинъ самъ послѣдшилъ о себѣ напомнить, и на другой день опять столкнулся съ Вельчаниновымъ на Невскомъ проспектѣ и опять какъ-то странно посмотрѣлъ на него. Вельчаниновъ плюнулъ, но, плюнувъ, тотчасъ же удивился своему плевку. Правда, есть физиономіи, возбуждающія сразу безпредметное и безцѣльное отвращеніе. „Да, я дѣйствительно его гдѣ-то встрѣчалъ“, пробормоталъ онъ задумчиво, уже полчаса спустя послѣ встрѣчи. Затѣмъ опять весь вечеръ пробылъ въ сквернѣйшемъ расположеніи духа; даже дурной сонъ какой-то приснился ночью, и все-таки не пришло ему въ голову, что вся причина этой новой и особенной хандры его—одинъ только давешній траурный господинъ, хотя въ этотъ вечеръ онъ не разъ вспоминалъ его. Даже разозлился мимоходомъ, что „такая дрянь“ смѣетъ такъ долго ему вспоминаться; приписать же ему все свое волненіе навѣрно почелъ бы даже унизительнымъ, если бъ только мысль объ этомъ пришла ему въ голову. Два дня спустя опять встрѣтились, въ толпѣ, при выходѣ съ одного невскаго парохода. Въ этотъ, третій разъ Вельчаниновъ готовъ былъ поклясться, что господинъ въ траурной шляпѣ узналъ его и рванулся къ нему, отвлекаемый и тѣснимый толпой; кажется, даже „осмѣлился“ протянуть къ нему руку; можетъ-быть, даже вскрикнулъ и окликнулъ его по имени. Послѣдняго, впрочемъ, Вельчаниновъ не слышалъ ясно, но...—„кто же, однако, эта каналья и почему онъ не подходитъ ко мнѣ, если въ самомъ дѣлѣ узнаетъ и если такъ ему хочется подойти?“—злбно подумалъ онъ, садясь на извозчика и отправляясь къ Смольному монастырю. Черезъ полчаса онъ уже спорилъ и шумѣлъ со своимъ адвокатомъ, но вечеромъ и ночью былъ опять въ мерзвѣйшей и самой фантастической тоскѣ. „Ужъ не разливается-ли желчь?“ мнительно спрашивалъ онъ себя, глядясь въ зеркало.

Это была третья встрѣча. Потомъ дней пять сряду рѣшительно „никто“ не встрѣчался, а о „канальѣ“ и слухъ замеръ. А между тѣмъ, нѣтъ-нѣтъ да и вспомнится господинъ съ крепомъ на шляпѣ. Съ нѣкоторымъ уди-

влениемъ ловилъ себя на этомъ Вельчаниновъ: „Что мнѣ, тошно по немъ, что-ли? Гм!.. А тоже, должно-быть, у него много дѣла въ Петербургѣ,—и по комъ это у него крепь? Онъ, очевидно, узнавалъ меня, а я его не узнаю. И зачѣмъ эти люди надѣваютъ крепь? Къ нимъ какъ-то неидеть... Мнѣ кажется, если я поближе всмотрюсь въ него, я его узнаю“...

И что-то какъ будто начинало шевелиться въ его воспоминаніяхъ, какъ какое-нибудь извѣстное, но вдругъ почему-то забытое слово, которое изъ всѣхъ силъ стараешься припомнить; знаешь его очень хорошо—и знаешь про то, что знаешь его; знаешь, что именно оно означаетъ, около того ходишь, но вотъ никакъ не хочетъ слово припомниться, какъ ни бейся надъ нимъ!

„Это было... Это было давно... и это было гдѣ-то... Тутъ было... тутъ было...—ну, да чортъ съ нимъ совсѣмъ, что тутъ было и не было!..“ злобно вскричалъ онъ вдругъ; „и стоить-ли объ эту каналью такъ пакоститься и унижаться?..“

Онъ рассердился ужасно; но вечеромъ, когда ему вдругъ припомнилось, что онъ давеча рассердился и „ужасно“,—ему стало чрезвычайно непріятно; кто-то какъ будто поймалъ его въ чемъ-нибудь. Онъ смутился и удивился:

„Есть же, стало-быть, причины, по которымъ я такъ злюсь... ни съ того, ни съ сего... при одномъ воспоминаніи“... Онъ не докончилъ своей мысли.

А на другой день рассердился еще пуще, но въ этотъ разъ ему показалось, что есть за что, и что онъ совершенно правъ; „дерзость была неслыханная“: дѣло въ томъ, что произошла четвертая встрѣча. Господинъ съ крепомъ явился опять, какъ будто изъ-подъ земли. Вельчаниновъ только что поймалъ на улицѣ того самаго статскаго совѣтника и нужнаго господина, котораго онъ и теперь ловилъ, чтобы захватить хоть на дачѣ нечаянно, потому что этотъ чиновникъ, едва знакомый Вельчанинову, но нужный по дѣлу, и тогда, какъ и теперь, не давался въ руки и, очевидно, прятался, всѣми силами не желая съ своей стороны встрѣтиться съ Вельчаниновымъ; обрадовавшись, что наконецъ-таки съ нимъ столкнулся, Вельчаниновъ пошелъ съ нимъ рядомъ, спѣша, заглядывая ему въ глаза и напрягая всѣ силы, чтобы навести сѣдого хитреца на одну тему, на одинъ разговоръ, въ которомъ тотъ, можетъ-быть, и проговорился бы и выро-

нилъ бы какъ-нибудь одно искомоо и давно ожидаемое словечко; но сѣдой хитрецъ былъ тоже себѣ на умѣ, отсмѣивался и отмадывался,—и вотъ именно въ эту, чрезвычайно хлопотливую минуту, взглядъ Вельчанинова вдругъ отличилъ на противоположномъ тротуарѣ улицы господина съ крпомъ на шляпѣ. Онъ стоялъ и пристально смотрѣлъ оттуда на нихъ обоихъ; онъ слѣдилъ за ними, это было очевидно, и, кажется, даже подсмѣивался.

„Чортъ возьми!“ взбѣсился Вельчаниновъ, уже проводивъ чиновника и приписывая всю свою съ нимъ неудачу внезапному появленію этого „нахала“. — „Чортъ возьми, шпионъ онъ, что-ли, за мной! Онъ, очевидно, слѣдитъ за мной! Навяты, что-ли, кѣмъ-нибудь и... и... и ей-Богу же онъ подсмѣивался! Я ей-Богу исколочу его... Жаль только, что я хожу безъ палки! Я куплю палку! Я этого такъ не оставлю! Кто онъ такой? Я непременно хочу знать, кто онъ такой?“

Наконецъ, ровно три дня спустя послѣ этой (четвертой) встрѣчи, мы застаемъ Вельчанинова въ его ресторанѣ, какъ мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованнаго и даже нѣсколько потерявшагося. Не сознаться въ этомъ не могъ даже и самъ онъ, несмотря на всю гордость свою. Принужденъ же былъ онъ, наконецъ, догадаться, сопоставивъ всѣ обстоятельства, что всей хандры его, всей этой *особенной* тоски его и всѣхъ его двухнедѣльныхъ волненій—причиною былъ не кто иной, какъ этотъ самый траурный господинъ, „несмотря на всю его ничтожность“.

„Пусть я ипохондриеъ“, думалъ Вельчаниновъ, — „и, стало-быть, изъ мухи готовъ слона сдѣлать, но, однакоже, легче-ль мнѣ отъ того, что все это, *можетъ-быть*, только одна фантазія? Вѣдь если каждая подобная шельма въ состояніи будетъ совершенно перевернуть человѣка, то вѣдь это... вѣдь это...“

Дѣйствительно, въ этой сегодняшней (пятой) встрѣчѣ, которая такъ взволновала Вельчанинова, слонъ явился совсѣмъ почти мухой: господинъ этотъ, какъ и прежде, юркнулъ мимо, но въ этотъ разъ уже не разглядывая Вельчанинова и не показывая, какъ прежде, вида, что его узнаетъ, а, напротивъ, опустивъ глаза и, кажется, очень желая, чтобъ его самого не замѣтили. Вельчаниновъ оборотился и закричалъ ему во все горло:

— Эй, вы, крепъ на шляпѣ! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой?

Вопросъ (и весь крикъ) былъ очень безтолковъ. Но Вельчаниновъ догадался объ этомъ, уже прокричавъ. На крикъ этотъ господинъ оборотился, на минутку приостановился, потерялся, улыбнулся, хотѣлъ было что-то проговорить, что-то сдѣлать,—съ минутой, очевидно, былъ въ ужаснѣйшей нерѣшимости, и вдругъ повернулся и побѣжалъ прочь безъ оглядки. Вельчаниновъ съ удивленіемъ смотрѣлъ ему вслѣдъ.

„А что?“ подумалъ онъ,—„что, если и въ самомъ дѣлѣ не онъ ко мнѣ, а я, напротивъ, къ нему пристаю, и вся штука въ этомъ?“

Пообѣдавъ, онъ поскорѣе отправился на дачу къ чиновнику. Чиновника не засталъ; отвѣтили, что „съ утра не возвращались, да врядъ-ли и возвратятся сегодня раньше третьяго или четвертаго часу ночи, потому что остались въ городѣ у именинника“. Ужъ это было до того „обидно“, что, въ первой ярости, Вельчаниновъ положилъ было отправиться къ имениннику и даже въ самомъ дѣлѣ поѣхалъ; но, сообразивъ на пути, что заходить далеко, отпустилъ среди дороги извозчика и потащился къ себѣ пѣшкомъ, къ Большому театру. Онъ чувствовалъ потребность моціона. Чтобъ успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться, во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу; а чтобъ заснуть, надо было, по крайней мѣрѣ, хоть устать. Такимъ образомъ, онъ добрался къ себѣ уже въ половинѣ одиннадцатаго, ибо путь былъ очень не малый,—и дѣйствительно очень усталъ.

Нанятая имъ въ мартѣ мѣсяцѣ квартира его, которую онъ такъ злорадно браковалъ и ругалъ, извиняясь самъ передъ собою, что „все это на походѣ“, и что онъ „застрялъ“ въ Петербургѣ нечаянно, черезъ эту „проклятую тягбу“,—эта квартира его была вовсе не такъ дурна и неприлична, какъ онъ самъ отзывался о ней. Входъ былъ дѣйствительно нѣсколько темноватъ и „запачканъ“, изъподъ воротъ; но самая квартира, во второмъ этажѣ, состояла изъ двухъ большихъ, свѣтлыхъ и высокихъ комнатъ, отдѣленныхъ одна отъ другой темною переднею и выходившихъ, такимъ образомъ, одна на улицу, другая во дворъ. Къ той, которая выходила окнами во дворъ, прилегалъ сбоку небольшой кабинетъ, назначавшійся служить спальней; но у Вельчанинова валялись въ немъ въ беспорядкѣ книги и бумаги; спалъ же онъ въ одной изъ большихъ комнатъ, той самой, которая окнами выхо-

дила на улицу. Стали ему на диванѣ. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержаная, и находились, кромѣ того, нѣкоторыя даже дорогія вещи—осколки прежняго благосостоянія: фарфоровыя и бронзовыя игрушки, большіе и настоящіе бухарскіе ковры; уцѣлѣли даже двѣ недурныя картины; но все было въ явномъ безпорядкѣ, не на своемъ мѣстѣ и даже запылено, съ тѣхъ поръ, какъ прислуживавшая ему дѣвушка, Пелагея, уѣхала на побывку къ своимъ роднымъ въ Новгородъ и оставила его одного. Этотъ странный фактъ одиночной и дѣвичьей прислуги у холостого и свѣтскаго человѣка, все еще желавшаго соблюдать джентльменство, заставлялъ почти краснѣть Вельчанинова, хотя этой Пелагеей онъ былъ очень доволенъ. Эта дѣвушка опредѣлилась къ нему въ ту минуту, какъ онъ занялъ эту квартиру весной, изъ знакомаго семейнаго дома, отбывшаго за границу, и завела у него порядокъ. Но съ отъѣздомъ ея онъ уже другой женской прислуги нанять не рѣшился; нанимать же лакея, на короткій срокъ, не стоило, да онъ и не любилъ лакеевъ. Такимъ образомъ и устроилось, что комнаты его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которой онъ и ключъ оставлялъ, выходя со двора, и которая ровно ничего не дѣлала, деньги брала и, кажется, воровала. Но онъ уже на все махнулъ рукой и даже былъ тѣмъ доволенъ, что дома остается теперь совершенно одинъ. Но все до извѣстной мѣры—и нервы его рѣшительно не соглашались иногда, въ инныя желчныя минуты, выносить всю эту „пакость“, и, возвращаясь къ себѣ домой, онъ почти каждый разъ съ отвращеніемъ входилъ въ свои комнаты.

Но въ этотъ разъ онъ едва далъ себѣ время раздѣться, бросился на кровать и раздражительно рѣшилъ ни о чемъ не думать, и во что бы то ни стало „сію же минуту“ заснуть. И странно, онъ вдругъ заснулъ, только что голова успѣла дотронуться до подушки; этого не бывало съ нимъ почти уже съ мѣсяць.

Онъ проспалъ около трехъ часовъ, но сномъ тревожнымъ; ему снились какіе-то странные сны, какіе сняты въ лихорадкѣ. Дѣло шло о какомъ-то преступленіи, которое онъ будто бы совершилъ и утайлъ, и въ которомъ обвиняли его въ одинъ голосъ непрерывно входившіе къ нему откуда-то люди. Толпа собралась ужасная, но люди все еще не переставали входить, такъ что и

дверь не затворялась, а стояла настежь. Но весь интерес сосредоточивался, наконецъ, на одномъ странномъ человѣкѣ, какомъ-то очень ему когда-то близкомъ и знакомомъ, который уже умеръ, а теперь, почему-то, вдругъ тоже вошелъ къ нему. Всего мучительнѣе было то, что Вельчаниновъ не зналъ, что это за человѣкъ, позабылъ его имя и никакъ не могъ вспомнить; онъ зналъ только, что когда-то его очень любилъ. Отъ этого человѣка какъ будто и всѣ прочіе вошедшіе люди ждали самаго главнаго слова: или обвиненія, или оправданія Вельчанинова, и всѣ были въ нетерпѣніи. Но онъ сидѣлъ неподвижно за столомъ, молчалъ и не хотѣлъ говорить. Шумъ не умолкалъ, раздраженіе усиливалось, и вдругъ Вельчаниновъ, въ бѣшенствѣ, ударилъ этого человѣка, за то, что онъ не хотѣлъ говорить, и почувствовалъ отъ этого страшное наслажденіе. Сердце его замерло отъ ужаса и отъ страданія за свой поступокъ, но въ этомъ-то замираніи и заключалось наслажденіе. Совсѣмъ остервенясь, онъ ударилъ въ другой и въ третій разъ, и въ какомъ-то ослѣпленіи отъ ярости и отъ страху, дошедшемъ до помѣшательства, но заключавшемъ тоже въ себѣ безконечное наслажденіе, онъ уже не считалъ своихъ ударовъ, но билъ не останавливаясь. Онъ хотѣлъ все, все *это* разрушить. Вдругъ, что-то случилось: всѣ страшно закричали и обратились, выжидая, къ дверямъ, и въ это мгновеніе раздались звонкіе три удара въ колокольчикъ, но съ такой силой, какъ будто его хотѣли сорвать съ дверей. Вельчаниновъ проснулся, очнулся въ одинъ мигъ, стремглавъ вскочилъ съ постели и бросился къ дверямъ; онъ былъ совершенно убѣжденъ, что ударъ въ колокольчикъ— не сонъ, и что дѣйствительно кто-то позвонилъ къ нему сію минуту. „Было бы слишкомъ неестественно, если-бъ такой ясный, такой дѣйствительный, осязательный звонъ приснился мнѣ только во снѣ!“

Но, къ удивленію его, и звонъ колокольчика оказался тоже сномъ. Онъ отворилъ дверь и вышелъ въ сѣни, заглянулъ даже на лѣстницу—никого рѣшительно не было. Колокольчикъ висѣлъ неподвижно. Подивившись, но и обрадовавшись, онъ воротился въ комнату. Зажигая свѣчу, онъ вспомнилъ, что дверь стояла только припертая, а не запертая на замкъ и на крюкъ. Онъ и прежде, возвращаясь домой, часто забывалъ запирать дверь на ночь, не придавая дѣлу особенной важности. Пелагея нѣсколько

разъ за это ему выговаривала. Онъ воротился въ переднюю запереть двери, еще разъ отворилъ ихъ и посмотрѣлъ въ сѣняхъ, и наложилъ только изнутри крючокъ, а ключъ въ дверяхъ повернуть все-таки полѣнился. Часы ударили половину третьяго; стало-быть, онъ спалъ три часа.

Сонъ до того взволновалъ его, что онъ уже не захотѣлъ лечь сію минуту опять и рѣшилъ съ полчаса походить по комнатѣ — „время выкурить сигару“. Наскоро одѣвшись, онъ подошелъ къ окну, приподнял толстую штофную гардину, а за ней бѣлую штору. На улицѣ уже совсѣмъ разсвѣло. Свѣтлыя, лѣтнія петербургскія ночи всегда производили въ немъ нервное раздраженіе и въ послѣднее время только помогали его безсонницѣ, такъ что онъ, недѣли двѣ назадъ, нарочно завелъ у себя на окнахъ эти толстыя штофныя гардины, не пропускавшія свѣту, когда ихъ совсѣмъ опускали. Впустивъ свѣтъ и забывъ на столѣ зажженую свѣчку, онъ сталъ рассказывать взадъ и впередъ все еще съ какимъ-то тяжелымъ и больнымъ чувствомъ. Впечатлѣніе сна еще дѣйствовало. Серьезное страданіе о томъ, что онъ могъ поднять руку на этого человѣка и бить его, продолжалось.

— А вѣдь этого и человѣка-то нѣтъ, и никогда не бывало, все сонъ, чего же я ною?

Съ ожесточеніемъ, и какъ будто въ этомъ совокуплялись всѣ заботы его, онъ сталъ думать о томъ, что рѣшительно становится боленъ, „больнымъ человѣкомъ“.

Ему всегда было тяжело сознаваться, что онъ старѣетъ или хилѣетъ, и со злости онъ въ дурныя минуты преувеличивалъ и то, и другое, нарочно, чтобъ подразнить себя.

— Старчество! Совсѣмъ старѣюсь, бормоталъ онъ, прохаживаясь, — память теряю, привидѣнія вижу, сны, звенять колокольчики... Чортъ возьми! Я по опыту знаю, что такіе сны всегда лихорадку во мнѣ означали... Я убѣжденъ, что и вся эта исторія съ этимъ крепомъ—тоже, можетъ-быть, сонъ. Рѣшительно я вчера правду подумалъ: я, я къ нему пристаю, а не онъ ко мнѣ? Я поэму изъ него сочинилъ, а самъ подъ столъ отъ страху залѣзъ. И почему я его канальей зову? Человѣкъ, можетъ-быть, очень порядочный. Лицо, правда, непріятное, хотя ничего особенно некрасиваго нѣтъ; одѣтъ какъ и всѣ. Взглядъ только какой-то... Опять я за свое! Я опять о немъ!! И какого чорта мнѣ въ его взглядѣ? Жить, что-ли, я не могу безъ этого... висѣльника!

Между прочими, вскаквивавшими въ его голову мыслями, одна тоже больно уязвила его: онъ вдругъ какъ бы убѣдился, что этотъ господинъ съ крепомъ былъ когда-то съ нимъ знакомъ по-пріятельски, и теперь, встрѣчая его, надъ нимъ смѣется, потому что знаетъ какой-нибудь его прежній большой секретъ, и видитъ его теперь въ такомъ унижительномъ положеніи. Машинально подошелъ онъ къ окну, чтобъ отворить его и дохнуть ночнымъ воздухомъ, и—и вдругъ весь вздрогнулъ: ему показалось, что передъ нимъ внезапно совершилось что-то неслыханное и необычайное.

Окна онъ еще не успѣлъ отворить, но поскорѣй скользнулъ за уголъ оконнаго отвеса и притаился: на пустынномъ противоположномъ тротуарѣ онъ вдругъ увидѣлъ, прямо передъ домомъ, господина съ крепомъ на шляпѣ. Господинъ стоялъ на тротуарѣ лицомъ къ его окнамъ, но очевидно не замѣчая его, и любопытно, какъ бы что-то соображая, выглядывалъ домъ. Казалось, онъ что-то обдумывалъ и какъ бы на что-то рѣшался: приподнялъ руку и, какъ будто, приставилъ палецъ ко лбу. Наконецъ, рѣшился: бѣгло оглядѣлся кругомъ, и на цыпочкахъ, фрадучись, сталъ поспѣшно переходить черезъ улицу. Такъ и есть: онъ прошелъ въ ихъ ворота, въ калитку (которая лѣтомъ иной разъ до трехъ часовъ не запиралась засовомъ). „Онъ ко мнѣ идетъ“, быстро промелькнуло у Вельчанинова, и вдругъ, стремглавъ и точно такъ же на цыпочкахъ, пробѣжалъ онъ въ переднюю къ дверямъ и—затихъ передъ ними, замеръ въ ожиданіи, чуть-чуть наложивъ вздрагивавшую правую руку на заложенный имъ давеча дверной крюкъ и прислушиваясь изо всей силы къ шороху ожидаемыхъ шаговъ на лѣстницѣ.

Сердце его до того билось, что онъ боялся прослушать, когда взойдетъ на цыпочкахъ незнакомецъ. Факта онъ не понималъ, но ощущалъ все въ какой-то удесатеренной полнотѣ. Какъ будто давешній сонъ слился съ дѣйствительностью. Вельчаниновъ отъ природы былъ смѣлъ. Онъ любилъ иногда доводить до какого-то щегольства свое безстрашіе въ ожиданіи опасности—даже если на него и никто не глядѣлъ, а только любясь самъ собою. Но теперь было еще и что-то другое. Давешній ипохондрикъ и мнительный вытикъ преобразился совершенно; это былъ уже вовсе не тотъ человекъ. Нервный, неслышный смѣхъ

порывался изъ его груди. Изъ-за затворенной двери онъ угадывалъ каждое движеніе незнакомца.

„А! Вотъ онъ всходитъ, взошелъ, осматривается; прислушивается внизъ на лѣстницу; чуть дышитъ, крадется... а! Взятся за ручку, тянетъ, пробуетъ! Разсчитывалъ, что у меня не заперто! Значить, зналъ, что я иногда запереть забываю! Опять за ручку тянетъ; что-жъ онъ думаетъ, что крючокъ соскочить? Разстаться жаль! Уйти жаль попусту?“

И дѣйствительно, все такъ навѣрно и должно было происходить, какъ ему представлялось: кто-то дѣйствительно стоялъ за дверьми и тихо, неслышно пробовалъ замѣкъ и потягивалъ за ручку, и—„ужъ разумѣется, имѣлъ свою цѣль“. Но у Вельчанинова уже было готово рѣшеніе задачи, и онъ, съ какимъ-то восторгомъ, выжидалъ мгновенія, изловчался и примѣривался: ему неотразимо захотѣлось вдругъ снять крюкъ, вдругъ отворить настежь дверь и очутиться глазъ-на-глазъ съ „страшилищемъ“.

„А что, дескать, вы здѣсь дѣлаете, милостивый государь?“ Такъ и случилось: улучивъ мгновеніе, онъ вдругъ снялъ крюкъ, толкнулъ дверь, и—почти наткнулся на господина съ крепомъ на шляпѣ.

III.

Павель Павловичъ Трусоцкій.

Тотъ какъ-бы онѣмѣлъ на мѣстѣ. Оба стояли другъ противъ друга, на порогѣ, и оба неподвижно смотрѣли другъ другу въ глаза. Такъ прошло нѣсколько мгновеній, и вдругъ—Вельчаниновъ узналъ своего гостя!

Въ то же время и гость видимо догадался, что Вельчаниновъ совершенно узналъ его: это блеснуло въ его взглядѣ. Въ одинъ мигъ все лицо его какъ бы растаяло въ сладчайшей улыбкѣ..

— Я, навѣрное, имѣю удовольствіе говорить съ Алексѣемъ Ивановичемъ? почти пропѣлъ онъ нѣжнѣйшимъ и до комизма неподходящимъ къ обстоятельствамъ голосомъ.

— Да неужели-же вы Павель Павловичъ Трусоцкій? выговорилъ, наконецъ, и Вельчаниновъ съ озадаченнымъ видомъ.

— Мы были съ вами знакомы лѣтъ девять назадъ въ Т., и—если только позволите мнѣ припомнить—были знакомы дружески.

— Да-съ... положимъ-съ... но—теперь три часа, и вы цѣ-
лыхъ десять минутъ пробовали, заперто у меня или нѣтъ...

— Три часа! вскрикнулъ гость, вынимая часы и даже
горестно удивившись,—такъ точно: три! Извините, Але-
ксѣй Ивановичъ, я-бы долженъ былъ входя сообразить;
даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на-дняхъ, а теперь...

— Э, нѣтъ! Ужъ если объясняться, такъ не угодно-ли
сію-же минуту! спохватился Вельчаниновъ,—милости про-
симъ сюда, черезъ порогъ; въ комнаты-съ.—Вы вѣдь, ко-
нечно, сами въ комнаты намѣревались войти, а не для
того только явились ночью, чтобъ замки пробовать...

Онъ былъ и взволнованъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-бы
опѣшенъ и чувствовалъ, что не можетъ сообразиться. Даже
стыдно стало: ни тайны, ни опасности—ничего не оказа-
лось изъ всей фантазмагоріи; явилась только глупая фи-
гура какого-то Павла Павловича. Но, впрочемъ, ему со-
всѣмъ не вѣрилось, что это такъ просто; онъ что-то смутно
и со страхомъ предчувствовалъ. Усадивъ гостя въ кресла,
онъ нетерпѣливо усѣлся на своей постели, на шагъ отъ
кресель, приагнулся, уперся ладонями въ свои колѣни
и раздражительно ждалъ, когда тотъ заговорить. Онъ
жадно его разглядывалъ и припоминалъ. Но странно: тотъ
молчалъ, совсѣмъ, кажется, и не понимая, что немедленно
„обязанъ“ заговорить; напротивъ того, самъ какъ-бы вы-
жидавшимъ чего-то взглядомъ смотрѣлъ на хозяина. Могло
быть, что онъ просто робѣлъ, ощущая спервоначалу
нѣкоторую неловкость, какъ мышъ въ мышеловкѣ; но
Вельчаниновъ разозлился:

— Что-жъ вы! вскричалъ онъ,—вѣдь вы, я думаю, не
фантазія и не сонъ! Въ мертвецы, что-ли, вы играть по-
жаловали? Объяснитесь, батюшка!

Гость зашевелился, улыбнулся и началъ осторожно:

— Сколько я вижу, васъ, прежде всего, даже поражаетъ,
что я пришелъ въ такой часъ, и—при особенныхъ такихъ
обстоятельствахъ-съ... Такъ что, помня все прежнее и то,
какъ мы разстались-съ—мнѣ даже теперь странно-съ... А,
впрочемъ, я даже и не намѣренъ былъ заходить-съ и,
если ужъ такъ вышло,—то нечаянно-съ...

— Какъ нечаянно! Да я васъ изъ окна видѣлъ, какъ
вы на цыпочкахъ черезъ улицу перебѣгали!

— Ахъ, вы видѣли! Ну, такъ вы, пожалуй, теперь
больше моего про все это знаете-съ! Но я васъ только
раздражаю... Вотъ тутъ что-съ: я приѣхалъ сюда уже не-

дѣли съ три, по своему дѣлу... Я вѣдь Павелъ Павловичъ Трусоцкій, вы вѣдь меня сами признали-съ. Дѣло мое въ томъ, что я хлопочу о моемъ перемѣщеніи въ другую губернію и въ другую службу-съ, и на мѣсто съ значительнымъ повышеніемъ... Но, впрочемъ, все это тоже не то-съ!.. Главное, если хотите, въ томъ, что я здѣсь слоняюсь, вотъ уже третью недѣлю, и, кажется, самъ затягиваю мое дѣло нарочно, то-есть о перемѣщеніи-то-съ, и, право, если даже оно и выйдетъ, то я, чего добраго, и самъ забуду, что оно вышло-съ, и не выѣду изъ вашего Петербурга въ моемъ настроеніи. Слоняюсь, какъ бы потерявъ свою цѣль и какъ бы даже радуясь, что ее потерялъ—въ моемъ настроеніи-съ!..

— Въ какомъ это настроеніи? хмурился Вельчаниновъ.

Гость поднялъ на него глаза, поднялъ шляпу и уже съ твердымъ достоинствомъ указалъ на крепъ.

— Да, вотъ-съ въ какомъ настроеніи!

Вельчаниновъ тупо смотрѣлъ то на крепъ, то въ лицо гостю. Вдругъ румянецъ залилъ мгновенно его щеки и онъ взволновался ужасно:

— Неужели Наталья Васильевна!

— Она-съ! Наталья Васильевна! Въ нынѣшнемъ мартѣ... Чаятка и почти вдругъ-съ, въ какіе-нибудь два-три мѣсяца! И я остался—какъ вы видите!

Проговоривъ это, гость въ сильномъ чувствѣ развелъ руки въ обѣ стороны, держа въ лѣвой на отлетѣ свою шляпу съ крепомъ, и глубоко наклонивъ свою лысую голову, секундъ, по крайней мѣрѣ, на десять.

Этотъ видъ и этотъ жестъ вдругъ какъ бы освѣжили Вельчанинова; насмѣшливая и даже задирающая улыбка скользнула по его губамъ,—но покамѣстъ на одно только мгновеніе: извѣстіе о смерти этой дамы (съ которой онъ былъ такъ давно знакомъ и такъ давно уже успѣлъ позабыть ее) произвело на него теперь до неожиданности потрясающее впечатлѣніе.

— Возможно-ли это! бормоталъ онъ первыя поавшіяся на языкъ слова,—и почему же вы прямо не зашли и не объявили?

— Благодарю васъ за участіе, вижу и цѣню его, не смотря...

— Несмотря?

— Несмотря на столько лѣтъ разлуки, вы отнеслись сейчасъ къ моему горю, и даже ко мнѣ, съ такимъ совер-

шеннымъ участіемъ, что я, разумѣется, ощущаю благодарность. Вотъ это только я и хотѣлъ заявить-съ. И не то чтобы я сомнѣвался въ друзьяхъ моихъ, я и здѣсь, даже сейчасъ, могу отыскать самыхъ искреннихъ друзей-съ (взять только одного Степана Михайловича Багаутова), но вѣдь нашему съ вами, Алексѣй Ивановичъ, знакомству— (пожалуй, дружбѣ, ибо съ признательностью вспоминаю)— прошло девять лѣтъ-съ, къ намъ вы не возвращались; писемъ обоюдно не было...

Гость пѣлъ какъ по нотамъ, но все время, пока изъяснялся, глядѣлъ въ землю, хотя, конечно, все видѣлъ и сверху. Но и хозяинъ уже успѣлъ немного сообразиться.

Съ нѣкоторымъ весьма страннымъ впечатлѣніемъ, все болѣе и болѣе усиливавшимся, прислушивался и приглядывался онъ къ Павлу Павловичу, и вдругъ, когда тотъ пріостановился,—самыя пестрыя и неожиданныя мысли неожиданно хлынули въ его голову.

— Да отчего же я васъ все не узнавалъ до сихъ поръ! вскричалъ онъ, оживляясь.—Вѣдь мы разъ пять на улицѣ сталкивались!

— Да; и я это помню; вы мнѣ все попадались-съ,— раза два, даже, пожалуй, и три...

— То-есть—это вы мнѣ все попадались, а не я вамъ!

Вельчаниновъ всталъ и вдругъ громко и совсѣмъ неожиданно засмѣялся. Павелъ Павловичъ пріостановился, посмотрѣлъ внимательно, но тотчасъ же опять сталъ продолжать:

— А что вы меня не признали, то, во-первыхъ, могли позабыть-съ и, наконецъ, у меня даже оспа была, въ этотъ срокъ, и оставила нѣкоторые слѣды на лицѣ.

— Оспа? Да вѣдь и въ самомъ же дѣлѣ у него оспа была! Да какъ это васъ...

— Угораздило? Мало-ли чего не бываетъ, Алексѣй Ивановичъ; нѣтъ-нѣтъ да и угораздить!

— Только все-таки это ужасно смѣшно. Ну, продолжайте, продолжайте, другъ дорогой!

— Я же хотъ и встрѣчалъ тоже васъ-съ...

— Стойте! Почему вы сказали сейчасъ: „угораздило?“ Я хотѣлъ гораздо вѣжливей выразиться. Ну, продолжайте, продолжайте!

Почему-то ему все веселѣе и веселѣе становилось. Потрясающее впечатлѣніе совсѣмъ замѣнилось другимъ.

Онъ быстрыми шагами ходилъ по комнатѣ взадъ и впереди.

— Я же хотъ и встрѣчалъ тоже васъ-съ, и даже, отправляясь сюда, въ Петербургъ, намѣренъ былъ непременно васъ здѣсь поискать, но, повторяю, я теперь въ такомъ настроеніи духа... и такъ умственно разбитъ съ самаго съ марта мѣсяца...

— Ахъ, да! Разбитъ съ марта мѣсяца... Постоите, вы не курите?

— Я вѣдь, вы знаете, при Натальѣ Васильевнѣ...

— Ну, да, ну, да; а съ марта-то мѣсяца?

— Папиросочку развѣ.

— Вотъ папироска; закуривайте и—продолжайте! Продолжайте, вы ужасно меня...

И, закуривъ ситару, Вельчаниновъ быстро усѣлся опять на постель. Павелъ Павловичъ приостановился.

— Но въ какомъ вы сами-то однакоже волненіи, здоровы-ли вы-съ?

— Э, къ чорту о моемъ здоровьѣ! обозлился вдругъ Вельчаниновъ.—Продолжайте!

Съ своей стороны гость, смотря на волненіе хозяина, становился довольнѣе и самоувѣреннѣе.

— Да что продолжать-то-съ? началъ онъ опять.—Представьте вы себѣ, Алексѣй Ивановичъ, во-первыхъ, человѣка убитаго, то-есть не просто убитаго, а, такъ сказать, радикально; человѣка, послѣ двадцатилѣтняго супружества перемѣняющаго жизнь и слоняющагося по пыльнымъ улицамъ безъ соотвѣтственной цѣли, какъ бы въ степи, чуть не въ самозабвеніи, и въ этомъ самозабвеніи находящаго даже нѣкоторое упоеніе. Естественно послѣ того, что я и встрѣчу иной разъ знакомаго или даже истиннаго друга, да и обойду нарочно, чтобъ не подходить къ нему въ такую минуту, самозабвенія-то то-есть. А въ другую минуту—такъ все припомнишь и такъ возжаждешь видѣть хоть какого-нибудь свидѣтеля и соучастника того недавняго, но невозвратимаго прошлаго, и такъ забьется при этомъ сердце, что не только днемъ, но и ночью рискнешь броситься въ объятія друга, хотя бы даже и нарочно пришлось его для этого разбудить въ четвертомъ часу-съ. Я вотъ только въ часъ ошибся, но не въ дружбѣ; ибо въ сію минуту слишкомъ вознагражденъ-съ. А насчетъ часу, право, думалъ, что лишь только двѣнадцатый, будучи въ настроеніи. Пьешь собственную грусть и какъ бы

упиваешься ею. И даже не грусть, а именно ново-состояніе-то это и бьетъ по мнѣ...

— Какъ вы однакоже выражаетесь! какъ-то мрачно замѣтилъ Вельчаниновъ, ставшій вдругъ опять ужасно серьезнымъ.

— Да-съ, странно и выражаюсь-съ...

— А вы... не шутите?

— Шучу! воскликнулъ Павелъ Павловичъ въ скорбномъ недоумѣніи, — и въ ту минуту, когда возвѣщаю...

— Ахъ, замолчите объ этомъ, прошу васъ!

Вельчаниновъ всталъ и опять зашагалъ по комнатѣ.

Такъ и прошло минутъ пять. Гость тоже хотѣлъ было привстать, но Вельчаниновъ крикнулъ: „Сидите, сидите!“ и тотъ тотчасъ же послушно опустился въ кресла.

— А какъ однакоже вы перемѣнились! заговорилъ опять Вельчаниновъ, вдругъ останавливаясь передъ нимъ, точно какъ бы внезапно пораженный этою мыслью.—Ужасно перемѣнились! Чрезвычайно! Совсѣмъ другой человекъ!

— Не мудрено-съ: девять лѣтъ-съ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, не въ годахъ дѣло! Вы наружностію еще не Богъ знаетъ какъ измѣнились, вы другимъ измѣнились!

— Тоже, можетъ-быть, девять лѣтъ-съ.

— Или съ марта мѣсяца!

— Хе-хе, лукаво усмѣхнулся Павелъ Павловичъ, — у васъ игривая мысль какая-то... Но, если осмѣлюсь, — въ чемъ же собственно измѣненіе-то?

— Да чего тутъ! Прежде былъ такой солидный и приличный Павелъ Павловичъ, такой умникъ Павелъ Павловичъ, а теперь—совсѣмъ vaugien Павелъ Павловичъ!

Онъ былъ въ такой степени раздраженія, въ которой самые выдержанные люди начинаютъ иногда говорить лишнее.

— Vaugien! Вы находите? И ужъ больше не „умникъ“? Не умникъ? съ наслажденіемъ хихикалъ Павелъ Павловичъ.

— Какой чортъ „умникъ“! Теперь, пожалуй, и совсѣмъ *умный*.

„Я наглъ, а эта каналья еще наглѣе! И... и какая у него цѣль?“ все думалъ Вельчаниновъ.

— Ахъ, дражайшій, ахъ, безцѣннѣйшій Алексѣй Ивановичъ! заволновался вдругъ чрезвычайно гость и заворочался въ креслахъ. — Да вѣдь намъ что? Вѣдь не въ

свѣтъ мы теперь, не въ великосвѣтскомъ блистательномъ обществѣ! Мы — два бывшіе искреннѣйшіе и стариннѣйшіе пріятели, и, такъ сказать, въ полнѣйшей искренности сошлись и вспоминаемъ обоудно ту драгоцѣнную связь, въ которой покойница составляла такое драгоцѣннѣйшее звено нашей дружбы!

И онъ какъ бы до того увлекся восторгомъ своихъ чувствъ, что склонилъ опять, по-давешнему, голову, лицо же закрылъ теперь шляпой. Вельчаниновъ съ отвращеніемъ и безпокойствомъ приглядывался.

„А что если это просто, шутъ?“ мелькнуло въ его головѣ, — „но н-нѣтъ, н-нѣтъ! Кажется, онъ не пьянъ — впрочемъ, можетъ-быть, и пьянъ: красное лицо. Да хотя бы и пьянъ, — все на одно выйдетъ. Съ чѣмъ онъ подѣвжаетъ? Чего хочется этой канальѣ?“

— Помните, помните, выкрикивалъ Павелъ Павловичъ, помаленьку отнимая шляпу и какъ бы все сильнѣе и сильнѣе увлекался воспоминаніями, — помните-ли вы наши загородныя поѣздки, наши вечера и вечеринки съ танцами и невинными играми у его превосходительства, гостепріимнѣйшаго Семена Семеновича? А наши вечернія чтенія втроемъ? А наше первое съ вами знакомство, когда вы вошли ко мнѣ утромъ, для справокъ по вашему дѣлу, и стали даже кричать-съ, и вдругъ вышла Наталья Васильевна, и черезъ десять минутъ вы уже стали нашимъ искреннѣйшимъ другомъ дома ровно на цѣлый годъ-съ, — точь-въ-точь какъ въ „Провинціалкѣ“, пьесѣ господина Тургенева...

Вельчаниновъ медленно прохаживался, смотрѣлъ въ землю, слушалъ съ нетерпѣніемъ и отвращеніемъ, но — сильно слушалъ.

— Мнѣ и въ голову не приходила „Провинціалка“, перебилъ онъ, нѣсколько теряясь, — и никогда вы прежде не говорили такимъ писеливымъ голосомъ и такимъ... не своимъ слогомъ. Къ чему это?

— Я дѣйствительно прежде больше молчалъ-съ, то-есть былъ молчаливѣе-съ, поспѣшно подхватилъ Павелъ Павловичъ. — Вы знаете, я прежде больше любилъ слушать, когда заговаривала покойница. Вы помните, какъ она разговаривала, съ какимъ остроуміемъ-съ... А насчетъ „Провинціалки“ и собственно насчетъ „Ступендьева“ — то вы и тутъ правы, потому что мы это сами, потомъ, съ безцѣнной покойницей, въ иныя тихія минуты вспоминая

о вась-съ, когда вы уже уѣхали,—приравнивали къ этой театральной пьесѣ нашу первую встрѣчу... потому что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ было похоже-съ. А собственно ужъ насчетъ „Ступендьева“...

— Какого это „Ступендьева“, чортъ возьми! закричалъ Вельчаниновъ и даже топнулъ ногой, совершенно уже смутившись при словѣ „Ступендьева“, по поводу нѣкотораго безпокойнаго воспоминаія, замелькавшаго въ немъ при этомъ словѣ.

— А „Ступендьева“ это роль-съ, театральная роль, роль „мужа“ въ пьесѣ „Провинціалка“, пропищаль сладчайшимъ голоскомъ Павелъ Павловичъ,—но это ужъ относится къ другому разряду дорогихъ и прекрасныхъ нашихъ воспоминаній, уже послѣ вашего отъѣзда, когда Степанъ Михайловичъ Багаутовъ подарилъ насъ своею дружбою, совершенно какъ вы-съ, и уже на цѣлыхъ пять лѣтъ.

— Багаутовъ? Чтò такое? Какой Багаутовъ? какъ вкопанный остановился вдругъ Вельчаниновъ.

— Багаутовъ, Степанъ Михайловичъ, подарившій насъ своей дружбой, ровно черезъ годъ послѣ вась и... подобно вамъ-съ.

— Ахъ, Боже мой, вѣдь я же это знаю! вскричалъ Вельчаниновъ, сообразивъ, наконецъ.—Багаутовъ! Да вѣдь онъ же служилъ у вась...

— Служилъ, служилъ! При губернаторѣ! Изъ Петербурга, самаго высшаго общества изящнѣйшій молодой человекъ! въ рѣшительномъ восторгѣ выкрикивалъ Павелъ Павловичъ.

— Да, да, да! Что-жъ я! Вѣдь и онъ тоже...

— И онъ тоже, и онъ тоже! въ томъ же восторгѣ вторилъ Павелъ Павловичъ, подхвативъ неосторожное слово хозяина,—и онъ тоже! И вотъ тутъ-то мы и играли „Провинціалку“, на домашнемъ театрѣ, у его превосходительства, гостеприимнѣйшаго Семена Семеновича, — Степанъ Михайловичъ „графа“, я „мужа“, а покойница „Провинціалку“,—но только у меня отняли роль „мужа“, по настоянію покойницы, такъ что я и не игралъ „мужа“ — будто бы по неспособности-съ...

— Да какой чортъ вы Ступендьева! Вы прежде всего Павелъ Павловичъ Трусоцкій, а не Ступендьева, грубо, не церемонясь и чуть не дрожа отъ раздраженія проговорилъ Вельчаниновъ.—Только позвольте: этотъ Багаутовъ

здѣсь, въ Петербургѣ, я самъ его видѣлъ, весной видѣлъ! Что-жъ вы къ нему-то тоже не идете?

— Каждый Божій день захожу, вотъ уже три недѣли-съ. Не принимаютъ! Боленъ, не можетъ принять! И, представьте, изъ первѣйшихъ источниковъ узналъ, что вѣдь и вправду чрезвычайно опасно боленъ! Этакой-то шестилѣтній другъ! Ахъ, Алексѣй Ивановичъ, говорю же вамъ и повторяю, что въ такомъ настроеніи иногда провалиться съвозъ землю желаешь, даже вправду-съ; а въ другую минуту такъ бы, кажется, взялъ да и обнялъ, и именно кого-нибудь вотъ изъ прежнихъ-то этихъ, какъ сказать, очевидцевъ и соучастниковъ, и единственно для того только, чтобъ заплакать, то-есть совершенно больше ни для чего, какъ чтобъ только заплакать!..

— Ну, однакоже, довольно съ васъ на сегодня, вѣдь такъ? рѣзко проговорилъ Вельчаниновъ.

— Слишкомъ, слишкомъ довольно! тотчасъ же поднялся съ мѣста Павелъ Павловичъ.— Четыре часа и, главное, я васъ такъ эгоистически потревожилъ...

— Слушайте же, я къ вамъ самъ зайду, непременно, и тогда ужъ надѣюсь... Скажите мнѣ прямо, откровенно скажите: вы не пьяны сегодня?

— Пьянъ? Ни въ одномъ глазу...

— Не пили передъ приходомъ, или раньше?

— Знаете, Алексѣй Ивановичъ, у васъ совершенная лихорадка-съ.

— Завтра же зайду, утромъ, до часу...

— И давно уже замѣчаю, что вы почти какъ въ бреду-съ, съ наслажденіемъ перебивалъ и налегалъ на эту тему Павелъ Павловичъ.— Мнѣ такъ, право, совѣстно, что я моею неловкостію... но иду, иду! А вы лягте-ка и засните-ка!

— А что-жъ вы не сказали, гдѣ живете? спохватился и закричалъ ему вдогонку Вельчаниновъ.

— А развѣ не сказалъ-съ? Въ Покровской гостиницѣ.

— Въ какой еще Покровской гостиницѣ?

— Да у самаго Покрова, тутъ, въ переулкѣ-съ — вотъ забылъ въ какомъ переулкѣ, да и номеръ забылъ, только близъ самаго Покрова...

— Отыщу!

— Милости просимъ дорогого гостя.

Онъ уже выходилъ на лѣстницу.

— Стойте! крикнулъ опять Вельчаниновъ,—вы не удете?

— То-есть какъ: „удерете“? вытаращилъ глаза Павелъ Павловичъ, поворачиваясь и улыбаясь съ третьей ступеньки.

Вмѣсто отвѣта Вельчаниновъ шумно захлопнулъ дверь, тщательно заперъ ее и насадилъ въ петлю крюкъ. Воротясь въ комнату, онъ плюнулъ, какъ бы чѣмъ-нибудь опоганившись.

Простоявъ минутъ пять неподвижно среди комнаты, онъ бросился на постель, совсѣмъ уже не раздѣваясь, и въ одинъ мигъ заснулъ. Забытая свѣчка такъ и догорѣла до конца на столѣ.

IV.

Жена, мунъ и любовникъ.

Онъ спалъ очень крѣпко и проснулся ровно въ половинѣ десятаго; мигомъ приподнялся, сѣлъ на постель и тотчасъ же началъ думать о смерти „этой женщины“.

Потрясающее вчерашнее впечатлѣніе при внезапномъ извѣстіи объ этой смерти оставило въ немъ какое-то смятеніе и даже боль. Это смятеніе и боль были только заглушены въ немъ на время одной странной идеей вчера, при Павлѣ Павловичѣ. Но теперь, при пробужденіи, все, что было девять лѣтъ назадъ, предстало вдругъ передъ нимъ съ необычайною яркостью.

Эту женщину, покойную Наталью Васильевну, жену „этого Трусоцкаго“, онъ любилъ и былъ ея любовникомъ, когда, по своему дѣлу (и тоже по поводу процесса объ одномъ наслѣдствѣ), онъ оставался въ Т. цѣлый годъ, хотя собственно дѣло и не требовало такого долгаго срока его присутствія; настоящей же причиной была эта связь. Связь и любовь эта до того сильно владѣли имъ, что онъ былъ какъ бы въ рабствѣ у Натальи Васильевны, и навѣрно рѣшился бы тотчасъ на что-нибудь даже изъ самаго чудовищнаго и безсмысленнаго, если-бъ этого потребовалъ одинъ только малѣйшій капризъ этой женщины. Ни прежде, ни потомъ никогда не было съ нимъ ничего подобнаго. Въ концѣ года, когда разлука была уже неминуема, Вельчаниновъ былъ въ такомъ отчаяніи при приближеніи рокового срока,—въ отчаяніи, несмотря на то, что разлука предполагалась на самое короткое время,—что предложилъ Натальѣ Васильевнѣ похитить ее, увести отъ мужа, бросить все и уѣхать съ нимъ за границу на-

всегда. Только насмѣшки и твердая настойчивость этой дамы (вполнѣ одобрявшей этотъ проектъ вначалѣ, но, вѣроятно, только отъ скуки или чтобы посмѣяться) могли остановить его и понудить уѣхать одного. И что же? Не прошло еще двухъ мѣсяцевъ послѣ разлуки, какъ онъ въ Петербургѣ уже задавалъ себѣ тотъ вопросъ, который такъ и остался для него навсегда неразрѣшеннымъ: любилъ-ли въ самомъ дѣлѣ онъ эту женщину, или все это было только однимъ „наважденіемъ?“ И вовсе не отъ легкомыслія, или подъ вліяніемъ начавшейся въ немъ новой страсти, зародился въ немъ этотъ вопросъ: въ эти первые два мѣсяца въ Петербургѣ онъ былъ въ какомъ-то изступленіи и врядъ-ли замѣтилъ хоть одну женщину, хотя тотчасъ же присталъ къ прежнему обществу и успѣлъ увидѣть сотню женщинъ. Впрочемъ, онъ отлично хорошо зналъ, что очутись онъ тотчасъ опять въ Т., то немедленно подпадетъ снова подъ все гнетущее обаяніе этой женщины, несмотря на всѣ зародившіеся вопросы. Даже пять лѣтъ спустя онъ былъ въ томъ же самомъ убѣжденіи. Но пять лѣтъ спустя онъ уже признавался въ этомъ себѣ съ негодованіемъ и даже о самой „женщинѣ этой“ вспоминалъ съ ненавистью. Онъ стыдился своего Т—скаго года; онъ не могъ понять даже возможности такой „глупой“ страсти для него, Вельчанинова! Всѣ воспоминанія объ этой страсти обратились для него въ позоръ; онъ краснѣлъ до слезъ и мучился угрызеніями. Правда, еще черезъ нѣсколько лѣтъ онъ уже нѣсколько успѣлъ себя успокоить; онъ постарался все это забыть—и почти успѣлъ. И вотъ вдругъ, девять лѣтъ спустя, все это такъ внезапно и странно воскресаетъ передъ нимъ опять послѣ вчерашняго извѣстія о смерти Натальи Васильевны.

Теперь, сидя на своей постели, съ смутными мыслями, беспорядочно толпившимися въ его головѣ, онъ чувствовалъ и сознавалъ ясно только одно,—что, несмотря на все вчерашнее „потрясающее впечатлѣніе“ при этомъ извѣстіи, онъ все-таки очень спокоенъ насчетъ того, что она умерла. „Неужели я о ней даже и не пожалѣю?“ спрашивалъ онъ себя. Правда, онъ уже не ощущалъ къ ней теперь ненависти и могъ безпристрастно, справедливо судить о ней. По его мнѣнію, уже давно, впрочемъ, сформировавшемся въ этотъ девятилѣтній срокъ разлуки, Наталья Васильевна принадлежала къ числу самыхъ обыкновенныхъ провинціальныхъ дамъ изъ „хорошаго“ про-

винціального общества и— „кто знает, можетъ, такъ оно и было, и только я одинъ составилъ изъ нея такую фантазію?“ Онъ, впрочемъ, всегда подозрѣвалъ, что въ этомъ мнѣніи могла быть и ошибка; почувствовалъ это и теперь. Да и факты противорѣчили; этотъ Багаутовъ былъ нѣсколько лѣтъ тоже съ нею въ связи, и, кажется, тоже „подъ всѣмъ обаяніемъ“. Багаутовъ дѣйствительно былъ молодой человѣкъ изъ лучшаго петербургскаго общества, и такъ какъ онъ „человѣкъ пустѣйшій“ (говорилъ о немъ Вельчаниновъ), то, стало-быть, могъ сдѣлать свою карьеру только въ одномъ Петербургѣ. Но вотъ однакоже онъ пренебрегъ Петербургомъ, то-есть главнѣйшею своею выгодною, и потерялъ же пять лѣтъ въ Т— единственно для этой женщины! Да и воротился, наконецъ, въ Петербургъ, можетъ, потому только, что и его тоже выбросили какъ „старый и изношенный башмакъ“. Значитъ, было же въ этой женщинѣ что-то такое необыкновенное—даръ прिवлеченія, порабощенія и владычества!

А между тѣмъ, казалось бы, она и средствъ не имѣла, чтобы привлекать и порабощать: „собой была даже и не такъ чтобы хороша; а, можетъ-быть, и просто нехороша“. Вельчаниновъ засталъ ее уже двадцати восьми лѣтъ. Не совсѣмъ красивое ея лицо могло иногда пріятно оживляться, но глаза были нехороши: какая-то излишняя твердость была въ ея взглядѣ. Она была очень худа. Умственное образованіе ея было слабое; умъ былъ безспорный и пронизательный, но почти всегда односторонній. Манеры свѣтской провинціальной дамы и при этомъ, правда, много такту; изящный вкусъ, но преимущественно въ одномъ только умѣннѣ одѣться. Характеръ рѣшительный и владычествующій; примиренія наполовину съ нею быть не могло ни въ чемъ: „или все, или ничего“. Въ дѣлахъ затруднительныхъ твердость и стойкость удивительныя. Даръ великодушія и почти всегда съ нимъ же рядомъ— безмѣрная несправедливость. Спорить съ этой барыней было невозможно: дважды два для нея никогда ничего не значили. Никогда ни въ чемъ не считала она себя несправедливою или виноватою. Постоянныя и безчисленныя измѣны ея мужу нисколько не тяготили ея совѣсти. По сравненію самого Вельчанинова, она была какъ „хлыстовская богородица“, которая въ высшей степени сама вѣруетъ въ то, что она и въ самомъ дѣлѣ богородица,—въ высшей степени вѣровала и Наталья Васильевна въ каж-

дый изъ своихъ поступковъ. Любовнику она была вѣрна, впрочемъ, только до тѣхъ поръ, пока онъ не наскучилъ. Она любила мучить любовника, но любила и награждать. Типъ былъ страстный, жестокой и чувственный. Она ненавидѣла развратъ, осуждала его съ неимовѣрнымъ ожесточеніемъ и—сама была развратна. Никакіе факты не могли бы никогда привести ее къ сознанию въ своемъ собственномъ развратѣ. „Она навѣрно *искренно* не знаетъ объ этомъ“, думалъ Вельчаниновъ о ней еще въ Т. (Замѣтимъ мимоходомъ, самъ участвуя въ ея развратѣ). „Это одна изъ тѣхъ женщинъ, думалъ онъ,—которыя какъ будто для того и рождаются, чтобы быть невѣрными женами. Эти женщины никогда не падаютъ въ дѣвствахъ: законъ природы ихъ—непремѣнно быть для этого замужемъ. Мужъ—первый любовникъ, но не иначе, какъ послѣ вѣнца. Никто ловче и легче ихъ не выходитъ замужъ. Въ первомъ любовникѣ всегда мужъ виноватъ. И все происходитъ въ высшей степени искренно: онѣ до конца чувствуютъ себя въ высшей степени справедливыми и, конечно, совершенно невинными“.

Вельчаниновъ былъ убѣжденъ, что дѣйствительно существуетъ такой типъ такихъ женщинъ; но зато былъ убѣжденъ, что существуетъ и соотвѣтственный этимъ женщинамъ типъ мужей, которыхъ единое назначеніе заключается только въ томъ, чтобы соотвѣтствовать этому женскому типу. По его мнѣнію, сущность такихъ мужей состоитъ въ томъ, чтобы быть, такъ сказать, „вѣчными мужьями“ или, лучше сказать, быть въ жизни *только* мужьями и болѣе ужъ ничѣмъ. „Такой человекъ рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись—немедленно обратиться въ придаточное своей жены, даже и въ томъ случаѣ, если бъ у него случился и свой собственный, неоспоримый характеръ. Главный признакъ такого мужа—извѣстное украшеніе. Не быть рогаосцемъ онъ не можетъ, точно такъ же какъ не можетъ солнце не свѣтить; но онъ объ этомъ не только никогда не знаетъ, но даже и никогда не можетъ узнать по самымъ законамъ природы“. Вельчаниновъ глубоко вѣрилъ, что существуютъ эти два типа и что Павелъ Павловичъ Трусоцкій въ Т. былъ совершеннымъ представителемъ одного изъ нихъ. Вчерашній Павелъ Павловичъ, разумѣется, былъ не тотъ Павелъ Павловичъ, который былъ ему извѣстенъ въ Т. Онъ нашелъ, что онъ до невѣроят-

ности измѣнился, но Вельчаниновъ зналъ, что онъ и не могъ не измѣниться и что все это было совершенно естественно; господинъ Трусоцкій могъ быть всѣмъ тѣмъ, чѣмъ былъ прежде, только при жизни жены, а теперь это была только часть цѣлаго, выпущенная вдругъ на волю, то-есть что-то удивительное и ни на что не похожее.

Что же касается до Т—скаго Павла Павловича, то вотъ что упомянулъ о немъ и припомнилъ теперь Вельчаниновъ:

„Конечно, Павелъ Павловичъ въ Т. былъ только мужъ“ и ничего болѣе. Если, напримѣръ, онъ былъ сверхъ того и чиновникъ, то единственно потому, что для него и служба обращалась, такъ сказать, въ одну изъ обязанностей его супружества; онъ служилъ для жены и для ея свѣтскаго положенія въ Т., хотя и самъ по себѣ былъ весьма усерднымъ чиновникомъ. Ему было тогда тридцать пять лѣтъ и обладалъ онъ нѣкоторымъ состояніемъ, даже и не совсѣмъ маленькимъ. На службѣ особенныхъ способностей не выказывалъ, но не выказывалъ и неспособности. Водился со всѣмъ, что было высшаго въ губерніи, и слылъ на прекрасной ногѣ. Наталью Васильевну въ Т. совершенно уважали; она, впрочемъ, и не очень это цѣнила, принимая какъ должное, но у себя умѣла всегда принять превосходно, при чемъ Павелъ Павловичъ былъ такъ ею вышколенъ, что могъ имѣть облагороженные манеры даже и при приѣмѣ самыхъ высшихъ губернскихъ властей. Можетъ-быть (казалось Вельчанинову), у него былъ и умъ: но такъ какъ Наталья Васильевна не очень любила, когда супругъ ея много говорилъ; то ума и нельзя было очень замѣтить. Можетъ-быть, онъ имѣлъ много прирожденныхъ хорошихъ качествъ, равно какъ и дурныхъ. Но хорошія качества были какъ бы подъ чехломъ, а дурныя поползновенія были заглушены почти окончательно. Вельчаниновъ помнилъ, напримѣръ, что у господина Трусоцкаго рождалось иногда поползновеніе посмѣяться надъ своимъ ближнимъ; но это ему было строго запрещено. Любилъ онъ тоже иногда что-нибудь рассказать; но и надъ этимъ наблюдалось: рассказать позволялось только что-нибудь понезначительнѣе и покороче. Онъ склоненъ былъ къ пріятельскому кружку внѣ дома и даже выпить съ пріятелемъ; но послѣднее даже въ корень было истреблено. И при этомъ черта: взглянувъ

снаружи, никто не могъ бы сказать, что это мужъ подъ башмакомъ; Наталья Васильевна казалась совершенно послушною женой, и даже, можетъ-быть, сама была въ этомъ увѣрена. Могло быть, что Павелъ Павловичъ любилъ Наталью Васильевну безъ памяти; но замѣтить этого не могъ никто, и даже было невозможно, вѣроятно, тоже по домашнему распоряженію самой Натальи Васильевны. Нѣсколько разъ въ продолженіе своей Т—ской жизни спрашивалъ себя Вельчаниновъ: подозрѣваетъ-ли его этотъ мужъ, хоть сколько-нибудь, въ связи съ своей женой. Нѣсколько разъ онъ спрашивалъ объ этомъ серьезно Наталью Васильевну и всегда получалъ отвѣтъ, высказанный съ нѣкоторой досадою, что мужъ ничего не знаетъ и никогда ничего не можетъ узнать, и что „все, что есть—совсѣмъ не его дѣло“. Еще черта съ ея стороны: надъ Павломъ Павловичемъ она никогда не смѣялась и ни въ чемъ не находила его ни смѣшнымъ, ни очень дурнымъ, и даже очень бы заступилась за него, если бы кто осмѣлился оказать ему какую-нибудь неучтивость. Не имѣя дѣтей, она естественно должна была обратиться преимущественно въ свѣтскую женщину; но и свой домъ былъ ей необходимъ. Свѣтскія удовольствія никогда не царили надъ нею вполне, и дома она очень любила заниматься хозяйствомъ и рукодѣльями. Павелъ Павловичъ вспомнилъ вчера объ ихъ семейныхъ чтеніяхъ въ Т. по вечерамъ; это бывало: читалъ Вельчаниновъ, читалъ и Павелъ Павловичъ; къ удивленію Вельчанинова, онъ очень хорошо умѣлъ читать вслухъ. Наталья Васильевна при этомъ что-нибудь вышивала и выслушивала чтеніе всегда спокойно и ровно. Читались романы Диккенса, что-нибудь изъ русскихъ журналовъ, а иногда что-нибудь и изъ „серьезнаго“. Наталья Васильевна высоко цѣнила образованность Вельчанинова, но молчаливо, какъ дѣло поконченное и рѣшенное, о которомъ уже нечего больше и говорить; вообще же ко всему книжному и ученому относилась равнодушно, какъ совершенно къ чему-то постороннему, хотя, можетъ-быть, и полезному; Павелъ же Павловичъ иногда съ нѣкоторымъ жаромъ.

Т—ская связь порвалась вдругъ, достигнувъ со стороны Вельчанинова самага полного верха и даже почти безумія. Его просто и вдругъ прогнали, хотя все устроилось такъ, что онъ уѣхалъ, совершенно не вѣдая, что уже выброшенъ, „какъ старый негодный башмакъ“. Тутъ, въ Т.,

мѣсяца за полтора до его отбытія, появился одинъ молодой артиллерійскій офицерикъ, только что выпущенный изъ корпуса, и повалился ѣздить къ Трусоцкимъ; вмѣсто троихъ очутилось четверо. Наталья Васильевна принимала мальчика благосклонно, но обращалась съ нимъ какъ съ мальчикомъ. Вельчанинову было рѣшительно ничего невдомекъ, да и не до того ему было тогда, такъ какъ ему вдругъ объявили о необходимости разлуки. Одною изъ сотни причинъ для непремѣннаго и скорѣйшаго его отъѣзда, выставленныхъ Натальей Васильевной, была и та, что ей показалось, будто она беременна; а потому и естественно, что ему надо непремѣнно и сейчасъ же скрыться, хоть мѣсяца на три или на четыре, чтобы черезъ девять мѣсяцевъ мужу труднѣе было въ чемъ-нибудь усомниться, если-бъ и вышла потомъ какая-нибудь клевета. Аргументъ былъ довольно натянутый. Послѣ бурнаго предложенія Вельчанинова бѣжать въ Парижъ или въ Америку, онъ уѣхалъ одинъ въ Петербургъ, „безъ сомнѣнія, на одну только минутку“, то-есть не болѣе какъ на три мѣсяца, иначе онъ не уѣхалъ бы ни за что, не смотря ни на какія причины и аргументы. Ровно черезъ два мѣсяца онъ получилъ въ Петербургѣ отъ Натальи Васильевны письмо съ просьбою не пріѣзжать никогда, потому что она уже любила другого; про беременность же свою увѣдомляла, что она ошиблась. Увѣдомленіе объ ошибкѣ было лишнее, ему все уже было ясно: онъ вспомнилъ про офицерика. Тѣмъ дѣло и кончилось навсегда. Слышалъ какъ-то онъ потомъ, уже нѣсколько лѣтъ спустя, что тамъ очутился Багаутовъ и пробылъ цѣлыя пять лѣтъ. Такую безмѣрную продолжительность связи онъ объяснилъ себѣ, между прочимъ, и тѣмъ, что Наталья Васильевна вѣрно уже сильно постарѣла, а потому и сама стала привязчивѣе.

Онъ просидѣлъ на своей кровати почти часъ; наконецъ, опомнился, позвонилъ Мавру съ кофеемъ, выпилъ наскоро, одѣлся, и ровно въ одиннадцать часовъ отправился къ Покрову отыскивать Покровскую гостиницу. Насчетъ собственно Покровской гостиницы въ немъ сформировалось теперь особое, уже утрешнее впечатлѣніе. Между прочимъ, ему было даже нѣсколько совѣстно за вчерашнее свое обращеніе съ Павломъ Павловичемъ и это надо было теперь разрѣшить.

Всю вчерашнюю фантазмагорію съ замкомъ у дверей

онъ объяснялъ случайностью, пьянымъ видомъ Павла Павловича и, пожалуй, еще кое-чѣмъ, но въ сущности не совсѣмъ точно зналъ, зачѣмъ онъ идетъ теперь завязывать какія-то новыя отношенія съ прежнимъ мужемъ, тогда какъ все такъ естественно и само собою между ними покончилось. Его что-то влекло; было тутъ какое-то особое впечатлѣніе, и вслѣдствіе этого впечатлѣнія его влекло...

У.

Л и з а .

Павелъ Павловичъ „удирать“ и не думалъ, да и Богъ знаетъ, для чего Вельчаниновъ ему сдѣлалъ вчера этотъ вопросъ; подлинно самъ былъ въ затмѣніи. По первому спросу въ мелочной лавочкѣ у Покрова, ему указали Покровскую гостиницу, въ двухъ шагахъ, въ переулкѣ. Въ гостиницѣ объяснили, что господинъ Трусоцкій „стали“ теперь тутъ же на дворѣ, во флигелѣ, въ меблированныхъ комнатахъ у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лѣстницѣ флигеля во второй этажъ, гдѣ были эти комнаты, онъ вдругъ услышалъ плачь. Плакалъ какъ будто ребенокъ, лѣтъ семи-восьми; плачь былъ тяжелый, слышались заглушаемые, но прорывающіяся рыданія, а вмѣстѣ съ ними топанье ногами и тоже какъ бы заглушаемые, но яростные окрики, какой-то силой фистулой, но уже взрослога человѣка. Этотъ взрослый человѣкъ, казалось, унималъ ребенка и очень не желалъ, чтобы плачь слышали, но шумѣлъ больше его. Окрики были безжалостныя, а ребенокъ точно какъ бы умолялъ о прощеніи. Вступивъ въ небольшой коридоръ, по обѣимъ сторонамъ котораго было по двѣ двери, Вельчаниновъ встрѣтилъ одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросилъ ее о Павлѣ Павловичѣ. Она ткнула пальцемъ на дверь, изъ-за которой слышенъ былъ плачь. Толстое и багровое лицо этой сорокалѣтней бабы было въ нѣкоторомъ негодованіи.

— Вишь, вѣдь потѣха ему! пробасила она вполголоса и прошла на лѣстницу.

Вельчаниновъ хотѣлъ было постучаться, но раздумалъ и прямо отворилъ дверь къ Павлу Павловичу. Въ небольшой комнатѣ, грубо, но обильно меблированной простой

крашеной мебелью, посрединѣ, стоялъ Павелъ Павловичъ, одѣтый лишь до половины, безъ сюртука и безъ жилета, и съ раздраженнымъ краснымъ лицомъ унималъ крикомъ, жестами, а, можетъ-быть (показалось Вельчанинову), и пинками, маленькую дѣвочку, лѣтъ восьми, одѣтую бѣдно, хотя и барышней, въ черномъ шерстяномъ, коротенькомъ платьицѣ. Она, казалось, была въ настоящей истерикѣ, истерически всхлипывала и тянулась руками къ Павлу Павловичу, какъ бы желая обхватить его, обнять его, умолить и упросить его о чемъ-то. Въ одно мгновение все измѣнилось: увидѣвъ гостя, дѣвочка вскрикнула и стрѣльнула въ сосѣднюю крошечную комнатку, а Павелъ Павловичъ, на мгновение озадаченный, тотчасъ же весь растаялъ въ улыбки, точь-въ-точь какъ вчера, когда Вельчаниновъ вдругъ отворилъ дверь къ нему на лѣстницу.

— Алексѣй Ивановичъ! вскричалъ онъ въ рѣшительномъ удивленіи. — Никоимъ образомъ не могъ ожидать... но вотъ сюда, сюда! Вотъ здѣсь, на диванъ, или сюда въ кресла, а я...

И онъ бросился одѣвать сюртукъ, забывъ надѣть жилетъ.

— Не церемоньтесь, оставайтесь въ чемъ вы есть.

Вельчаниновъ усѣлся на стулъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте-съ поцеремониться; вотъ я теперь и поприличнѣе. Да куда-жъ вы усѣлись въ углу? Вотъ сюда, въ кресла, къ столу бы... Ну, не ожидалъ, не ожидалъ!

Онъ тоже усѣлся на краешекъ плетенаго стула, но не рядомъ съ „неожиданнымъ“ гостемъ, а поворотивъ стулъ угломъ, чтобы сѣсть болѣе лицомъ къ Вельчанинову.

— Почему-жъ не ожидали? Вѣдь я именно назначилъ вчера, что приду къ вамъ въ это время.

— Думалъ, что не придете-съ; и какъ сообразилъ все вчерашнее, проснувшись, такъ рѣшительно ужъ отчаялся васъ увидѣть, даже навсегда-съ.

Вельчаниновъ межъ тѣмъ осмотрѣлся кругомъ. Комната была въ беспорядкѣ, кровать не убрана, платье раскидано, на столѣ стаканы съ выпитымъ кофеемъ, крошки хлѣба и бутылка шампанскаго, до половины не допитая, безъ пробки и со стаканомъ подлѣ. Онъ накопился взглядомъ въ сосѣднюю комнату, но тамъ все было тихо; дѣвочка притаилась и замерла.

— Неужто вы пьете это теперь? указалъ Вельчаниновъ на шампанское.

— Остатки-съ... сконфузился Павелъ Павловичъ.

— Ну, перемѣнились же вы!

— Дурныя привычки и вдругъ-съ. Право, съ того срока, не лгу-съ! Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексѣй Ивановичъ, я теперь не пьянъ и не стану нести околесины, какъ вчера у васъ-съ, но вѣрно вамъ говорю, все съ того срока-съ! И скажи мнѣ кто-нибудь еще полгода назадъ, что я вдругъ такъ распатаюсь, какъ вотъ теперь-съ, покажи мнѣ тогда меня самого въ зеркалѣ—не повѣрилъ бы!

— Стало-быть, вы были же вчера пьяны?

— Былъ-съ, вполголоса признался Павелъ Павловичъ, конфузиво опуская глаза.—И видите-ли-съ: не то что пьянъ, а ужъ нѣсколько позже-съ. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-съ: хмелю ужъ немного, а жестокость какая-то и безразсудство остаются, да и горе сильнѣе ощущаю. Для горя-то, можетъ, я пью-съ. Тутъ-то я и накурлесить могу, совсѣмъ даже глупо-съ и обидѣть лѣзу. Должно-быть, себя очень странно вамъ представилъ вчера?

— Вы развѣ не помните?

— Какъ не помнить, все помню-съ...

— Видите, Павелъ Павловичъ, я совершенно такъ же подумалъ и объяснилъ себѣ, примирительно сказала Вельчаниновъ.—Сверхъ того, я самъ вчера былъ съ вами нѣсколько раздражителенъ и... излишне нетерпѣливъ, въ семь сознаюсь охотно. Я не совсѣмъ иногда хорошо себя чувствую и нечаянный приходъ вашъ ночью...

— Да, ночью, ночью! закачалъ головой Павелъ Павловичъ, какъ бы удивляясь и осуждая.—И какъ это меня натолкнуло! Ни за что бы я къ вамъ не зашелъ, если-бы вы только сами не отворили-съ; отъ дверей бы ушелъ-съ. Я къ вамъ, Алексѣй Ивановичъ, съ недѣлю тому назадъ заходилъ и васъ не засталъ, но потомъ, можетъ-быть, и никогда не зашелъ бы въ другой разъ-съ. Все-таки и я немножко гордъ тоже, Алексѣй Ивановичъ, хоть и сознаю себя... въ такомъ состояніи. Мы и на улицѣ встрѣчались, да все думаю: „а ну, какъ не узнаеть, а ну, какъ отвернется, девять лѣтъ не шутка“,—и не рѣшался подойти. А вчера съ Петербургской стороны брелъ, да и часъ забылъ-съ. Все отъ этого (онъ указалъ на бутылку), да отъ чувства-съ. Глупо! Очень-съ! И будь человекъ не таковъ, какъ вы,—потому что вѣдь пришли же вы ко мнѣ даже

послѣ вчерашняго, вспомня старое,—такъ я бы даже надежду потерялъ знакомство возобновить!

Вельчаниновъ слушалъ со вниманіемъ. Человѣкъ этотъ говорилъ, кажется, искренно и съ нѣкоторымъ даже достоинствомъ; а между тѣмъ, онъ ничему не вѣрилъ съ самой той минуты, какъ вошелъ къ нему.

— Скажите, Павелъ Павловичъ, вы здѣсь, стало-быть, не одинъ? Чья это дѣвочка, которую я засталъ при васъ давеча?

Павелъ Павловичъ даже удивился и поднялъ брови, но ясно и пріятно посмотрѣлъ на Вельчанинова.

— Какъ чья дѣвочка? Да вѣдь это Лиза! протговорилъ онъ, привѣтливо улыбаясь.

— Какая Лиза? пробормоталъ Вельчаниновъ, и что-то вдругъ какъ бы дрогнуло въ немъ. Впечатлѣніе было слишкомъ внезапное. Давеча, войдя и увидѣвъ Лизу, онъ хотъ и подивился, но не ощутилъ въ себѣ рѣшительно никакого предчувствія, никакой особенной мысли.

— Да наша Лиза, дочь наша Лиза! улыбался Павелъ Павловичъ.

— Какъ дочь? Да развѣ у васъ съ Натальей... съ покойной Натальей Васильевной были дѣти? недовѣрчиво и робко спросилъ Вельчаниновъ какимъ-то ужъ очень тихимъ голосомъ.

— Да какъ же-съ? Ахъ, Боже мой, да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, отъ кого же вы могли знать? Что-жъ это я? Это ужъ послѣ васъ намъ Богъ даровалъ!

Павелъ Павловичъ привскочилъ даже со стула отъ нѣкотораго волненія, впрочемъ, тоже какъ бы пріятнаго.

— Я ничего не слыхалъ, сказалъ Вельчаниновъ и поблѣднѣлъ.

— Дѣйствительно, дѣйствительно, отъ кого же вамъ было и узнать-съ! повторилъ Павелъ Павловичъ разслабленно-умиленнымъ голосомъ.—Мы вѣдь и надежду съ покойницей потеряли, сами вѣдь вы помните, и вдругъ благословляетъ Господь, и чтó со мной тогда было,—это Ему только одному извѣстно! Ровно, кажется, черезъ годъ послѣ васъ! Или, нѣтъ, не черезъ годъ, далеко нѣтъ, стойте-съ: вы вѣдь отъ насъ тогда, если не ошибаюсь памятью, въ октябрѣ или даже въ ноябрѣ выѣхали?

— Я уѣхалъ изъ Т. въ началѣ сентября, двѣнадцатаго сентября; я хорошо помню...

— Неужели въ сентябрѣ? Гм!.. что-жъ это я? очень

удивился Павелъ Павловичъ.—Ну, такъ если такъ, то позвольте же: вы выѣхали сентября двѣнадцатаго-съ, а Лиза родилась мая восьмого, это, стало-быть, сентябрь—октябрь—ноябрь—декабрь—январь—февраль—мартъ—апрѣль—черезъ восемь мѣсяцевъ съ чѣмъ-то-съ, вотъ-съ! И если-бъ вы только знали, какъ покойница...

— Покажите же мнѣ... позовите же ее... кажимъ-то срывающимся голосомъ пролепеталъ Вельчаниновъ.

— Непремѣнно-съ! захопоталъ Павелъ Павловичъ, тотчасъ-же прерывая то, что хотѣлъ сказать, какъ вовсе ненужное.—Сейчасъ, сейчасъ вамъ представлю-съ!

И торопливо отправился въ комнату къ Лизѣ.

Прошло, можетъ-быть, цѣлыхъ три или четыре минуты; въ комнатѣ скоро и быстро шептались и чуть-чуть слышались звуки голоса Лизы;—„она проситъ, чтобы ее не выводили“, думалъ Вельчаниновъ. Наконецъ, вышли.

— Вотъ-съ, все конфузится, сказалъ Павелъ Павловичъ,—стыдливая такая, гордая-съ... и вся-то въ покойницу!

Лиза вышла уже безъ слезъ, съ опущенными глазами; отецъ велъ ее за руку. Это была высокенькая, тоненькая и очень хорошенькая дѣвочка. Она быстро подняла свои большіе голубые глаза на гостя, съ любопытствомъ, но угрюмо посмотрѣла на него и тотчасъ же опять опустила. Во взглядѣ ея была та дѣтская важность, когда дѣти, оставшись одни съ незнакомымъ, уйдутъ въ уголъ и оттуда важно и недоувѣрчиво поглядываютъ на новаго, никогда еще не бывавшаго гостя; но была, можетъ-быть, и другая, какъ бы ужъ и не дѣтская, мысль,—такъ показалось Вельчанинову. Отецъ подвелъ ее къ нему вплотъ:

— Вотъ, этотъ дяденька мамашу зналъ прежде, другъ нашъ былъ, ты не дичись, протяни ручку-то.

Дѣвочка слегка наклонилась и робко протянула руку.

— У насъ Наталья Васильевна-съ не хотѣла учить ее присѣдать въ знакъ привѣтствія, а такъ, на англійскій манеръ, слегка наклониться и протянуть гостю руку, прибавилъ онъ въ объясненіе Вельчанинову, пристально въ него всматриваясь.

Вельчаниновъ зналъ, что онъ всматривается, но совсѣмъ уже не заботился скрывать свое волненіе; онъ сидѣлъ на стулѣ, не шевелясь, держалъ руку Лизы въ своей рукѣ и пристально вглядывался въ ребенка. Но Лиза была чѣмъ-то очень озабочена и, забывъ свою руку въ рукѣ гостя,

не сводила глазъ съ отца. Она боязливо прислушивалась ко всему, что онъ говорилъ. Вельчаниновъ тотчасъ же призналъ эти большіе голубые глаза, но всего болѣе поразили его удивительная, необычайно нѣжная бѣлизна ея лица и цвѣтъ волосъ; эти признаки были слишкомъ для него значительны. Окладъ лица и складъ губъ, напротивъ того, рѣзко напоминалъ Наталью Васильевну. Павелъ Павловичъ межъ тѣмъ давно уже началъ что-то рассказывать, казалось, съ чрезвычайнымъ жаромъ и чувствомъ, но Вельчаниновъ совсѣмъ не слыхалъ его. Онъ захватилъ только послѣднюю фразу.

— ... такъ что вы, Алексѣй Ивановичъ, даже и вообразить не можете нашей радости при этомъ дарѣ Господнемъ-съ! Для меня она все составила своимъ появленіемъ, такъ что если-бъ и исчезло, по волѣ Божьей, мое тихое счастье, — такъ вотъ, думаю, останется мнѣ Лиза; вотъ что, по крайней мѣрѣ, я твердо зналъ-съ!

— А Наталья Васильевна? спросилъ Вельчаниновъ.

— Наталья Васильевна? покривился Павелъ Павловичъ. — Вѣдь вы ее знаете, помните-съ, она много высказывать не любила, но зато какъ прощалась съ нею на смертномъ одрѣ... тутъ-то вотъ все и высказалось-съ! И вотъ я вамъ сказалъ сейчасъ „на смертномъ одрѣ-съ“, а межъ тѣмъ вдругъ, за день уже до смерти, волнуется, сердится, говоритъ, что ее лѣкарствами залѣчить хотятъ, что у ней одна только простая лихорадка, и оба наши доктора ничего не смыслятъ, и какъ только вернется Кохъ (помните, штабъ-лекаръ-то нашъ, старичокъ), такъ она черезъ двѣ недѣли встанетъ съ постели! Да куда, уже за пять часовъ только до отхода, вспоминала, что черезъ три недѣли непременно надо тетку-именинницу посѣтить, въ имѣніи ея, Лизину крестную мать-съ...

Вельчаниновъ вдругъ поднялся со стула, все еще не выпуская ручку Лизы. Ему, между прочимъ, показалось, что въ горячемъ взглядѣ дѣвочки, устремленномъ на отца, было что-то укорительное.

— Она не больна? какъ-то странно, торопливо спросилъ онъ.

— Кажется бы нѣтъ-съ, но... обстоятельства-то вотъ наши такъ здѣсь сошлись, проговорилъ Павелъ Павловичъ съ горестною заботливостью, — ребенокъ странный и безъ того-съ, нервный, послѣ смерти матери больна была двѣ недѣли, истерическая-съ. Давеча вѣдь какой у насъ

плачь былъ, какъ вы вошли-съ, — слышишь, Лиза, слышишь?—А вѣдь изъ-за чего-съ? Все въ томъ, что я ухожу и ее оставляю, значить, дескать, что ужъ и не люблю больше такъ, какъ ее при мамашѣ любилъ, — вотъ въ чемъ обвиняетъ меня. И забредетъ же въ голову такая фантазія такому еще ребенку-съ, которому бы только въ игрушки играть. А здѣсь и поиграть-то ей не съ кѣмъ.

— Такъ какъ же вы... вы здѣсь развѣ совсѣмъ только вдвоемъ?

— Совсѣмъ одинокіе-съ; служанка только развѣ придетъ, разъ на день.

— А уходите, ее одну такъ и оставляете?

— А то какъ же-съ? А вчера уходилъ, такъ даже заперъ ее, вотъ въ той комнатѣ, изъ-за того у насъ и слезы вышли сегодня. Да вѣдь, что же было дѣлать, посудите сами: третьяго дня сошла она внизъ безъ меня, а мальчикъ на дворѣ ей въ голову камнемъ пустилъ. А то заплачетъ, да и бросится у всѣхъ на дворѣ разспрашивать, куда я ушелъ? А вѣдь это не хорошо-съ. Да и я-то хорошъ: уйду на часъ, а приду на другой день поутру, такъ и вчера сошлось. Хорошо еще, что хозяйка безъ меня отперла ей, слесаря призывала замокъ отворить, — даже срамъ-съ, — подлинно самъ себя извергомъ чувствую-съ. Все отъ затменія-съ. Все отъ затменія-съ...

— Папаша! робко и безпокойно проговорила дѣвочка.

— Ну, вотъ и опять! Опять ты за то же! Что я давеча говорилъ?

— Я не буду, я не буду, въ страхѣ, торопливо складывая передъ нимъ руки, повторила Лиза.

— Такъ не можетъ продолжаться у васъ, при такой обстановкѣ, нетерпѣливо заговорилъ вдругъ Вельчаниновъ, голосомъ власть имѣющаго. — Вѣдь вы... вѣдь вы человекъ съ состояніемъ же; какъ же вы такъ — во-первыхъ, въ этомъ флигелѣ и при такой обстановкѣ?

— Во флигелѣ-то-съ? Да вѣдь черезъ недѣлю, можетъ, уже и уѣдемъ-съ, а денегъ и безъ того много потратили, хотя бы и съ состояніемъ-съ...

— Ну, довольно, довольно, прервалъ его Вельчаниновъ все съ болѣе и болѣе возрастающимъ нетерпѣніемъ, какъ бы явно говоря: „нечего говорить, все знаю, что ты скажешь, и знаю, съ какимъ нетерпѣніемъ ты говоришь!“ — Слушайте, я вамъ дѣлаю предложеніе: вы сейчасъ сказали, что останетесь недѣлю, пожалуй, можетъ, и двѣ. У

меня здѣсь есть одинъ домъ, то-есть такое семейство, гдѣ я какъ въ родномъ своемъ углу, — вотъ уже двадцать лѣтъ. Это семейство однихъ Погорѣльцевыхъ. Погорѣльцевъ Александръ Павловичъ, тайный совѣтникъ; даже вамъ, пожалуй, пригодится по вашему дѣлу. Они теперь на дачѣ. У нихъ богатѣйшая своя дача. Клавдія Петровна Погорѣльцева мнѣ какъ сестра, какъ мать. У нихъ восемь человѣкъ дѣтей. Дайте, я сейчасъ же свезу къ нимъ Лизу... я для того, чтобъ времени не терять. Они съ радостью примутъ, на все это время, обласкаютъ, какъ родную дочь, какъ родную дочь!

Онъ былъ въ ужасномъ нетерпѣннн и не скрывалъ этого.

— Это какъ-то ужъ невозможно-съ, проговорилъ Павелъ Павловичъ съ ужимкою и хитро, какъ показалось Вельчанинову, засматривая ему въ глаза.

— Почему? Почему невозможно?

— Да какъ же-съ, отпустить такъ ребенка, и вдругъ-съ, — положимъ, съ такимъ искреннимъ благопріятелемъ, какъ вы, — я не про то-съ, но все-таки въ домъ незнакомый, и такого ужъ высшаго общества-съ, гдѣ я еще и не знаю, какъ примутъ.

— Да я же сказалъ вамъ, что я у нихъ какъ родной! почти въ гнѣвъ закричалъ Вельчаниновъ. — Клавдія Петровна за счастье почтетъ по одному моему слову. Какъ бы мою дочь... да чортъ возьми, вѣдь вы сами же знаете, что вы только такъ, чтобы болтать... чего же ужъ тутъ говорить!

Онъ даже топнулъ ногой.

— Я къ тому, что не странно-ли очень ужъ будетъ-съ? Все-таки надо бы и мнѣ хоть разъ-другой въ ней навѣдаться, а то какъ же совсѣмъ безъ отца-то-съ? Хе-хе... и въ такой важный домъ-съ.

— Да это простѣйшій домъ, а вовсе не „важный“! кричалъ Вельчаниновъ. — Говорю вамъ, тамъ дѣтей много. Она тамъ воскреснетъ, все для этого... А васъ я самъ завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будетъ вамъ съѣздить поблагодарить; каждый день будемъ ѣздить, если хотите...

— Все какъ-то-съ...

— Вадорь! Главное въ томъ, что вы сами это знаете! Слушайте, заходите ко мнѣ сегодня съ вечера, и ночуйте, пожалуй, а поутру пораньше и поѣдемъ, чтобы въ двѣнадцать тамъ быть.

— Благодаритель вы мой! Даже и почевать у васъ... съ умилениемъ согласился вдругъ Павелъ Павловичъ. — Подлинно благодаряніе оказываете... а гдѣ ихняя дача-съ?

— Дача ихъ въ Лѣсномъ.

— Только вотъ какъ же ея костюмъ-съ? Потому-съ, въ такой знатный домъ, да еще на дачѣ-съ, сами знаете... Сердце отпа-съ!

— А какой ея костюмъ? Она въ траурѣ. Развѣ можетъ быть у ней другой костюмъ? Самый приличный, какой только можно вообразить! Только вотъ бѣлье бы почище, косыночку...

Косыночка и выглядывавшее бѣлье были дѣйствительно очень грязны.

— Сейчасъ же, непременно переодѣться, захопоталъ Павелъ Павловичъ, — а прочее необходимое бѣлье мы ей тоже сейчасъ соберемъ; оно у Марьи Сысоевны въ стиркѣ-съ.

— Такъ велѣтъ бы послать за коляской, перебилъ Вельчаниновъ, — и скорѣй, если бѣ возможно.

Но оказалось препятствіе: Лиза рѣшительно воспротивилась: все время она со страхомъ прислушивалась и если бы Вельчаниновъ, уговаривая Павла Павловича, имѣлъ время пристально къ ней приглядѣться, то увидѣлъ бы совершенное отчаяніе на ея личикѣ.

— Я не побѣду, сказала она твердо и тихо.

— Вотъ, вотъ видите-съ, вся въ мамашу!

— Я не въ мамашу, я не въ мамашу! выкрикивала Лиза, въ отчаяніи ломая свои маленькія руки и какъ бы оправдываясь передъ отцомъ въ страшномъ упрекѣ, что она въ мамашу. — Папаша, папаша, если вы меня кинете...

Она вдругъ накинулась на испугавшагося Вельчанинова.

— Если вы возьмете меня, такъ я...

Но она не успѣла ничего выговорить далѣе; Павелъ Павловичъ схватилъ ее за руку, чуть не за шиворотъ, и уже съ нескрываемымъ озлобленіемъ потащилъ ее въ маленькую комнату. Тамъ опять нѣсколько минутъ происходило шептанье; слышался заглушенный плачь. Вельчаниновъ хотѣлъ было уже идти туда самъ, но Павелъ Павловичъ вышелъ къ нему и съ искривленной улыбкой объявилъ, что сейчасъ она выйдетъ-съ. Вельчаниновъ старался не глядѣть на него и смотрѣлъ въ сторону.

Явилась и Марья Сысоевна, та самая баба, которую встрѣтилъ онъ; входя давеча въ коридоръ, и стала укла-

дывать въ хорошенькій маленькій сакъ, принадлежавшій Лизѣ, принесенное для нея бѣлье.

— Вы, что-ли, батюшка, дѣвочку-то отвезете? обратилась она къ Вельчанинову. — Семейство, что-ли, у васъ? Хорошо, батюшка, сдѣлаете: ребенка смирный, отъ содома избавите.

— Ужъ вы, Марья Сысоевна, пробормоталъ было Павелъ Павловичъ.

— Что, Марья Сысоевна! Меня и всѣ такъ величаютъ. Аль у тебя не содомъ? Прилично-ли ребеночку съ понятіемъ на такой срамъ смотрѣть? Коляску-то привели вамъ, батюшка, — до Лѣснаго, что-ли?

— Да, да.

— Ну, и въ добрый часъ!

Лиза вышла блѣдненькая, съ потупленными глазами, и взяла сакъ. Ни одного взгляда въ сторону Вельчанинова; она сдержала себя и не бросилась, какъ давеча, обнимать отца, даже при прощаньи; видимо даже не хотѣла поглядѣть на него. Отецъ прилично поцѣловалъ ее въ головку и погладилъ; у ней закривилась при этомъ губка и задрожалъ подбородокъ, но глазъ она на отца все-таки не подняла. Павелъ Павловичъ былъ какъ будто блѣденъ и руки у него дрожали—это ясно замѣтилъ Вельчаниновъ, хотя всѣми силами старался не смотрѣть на него. Одного ему хотѣлось—поскорѣй ужъ уѣхать.

„А тамъ что-жъ, чѣмъ же я виновать?“ думалъ онъ, — „такъ должно было быть“.

Сошли внизъ, тутъ расцѣловалась съ Лизой Марья Сысоевна, и только уже усѣвшись въ коляску, Лиза подняла глаза на отца—и вдругъ всплеснула руками и вскрикнула; еще мигъ, и она бы бросилась къ нему изъ коляски, но лошади уже тронулись.

VI.

Новая фантазія празднаго человѣка.

— Ужъ не дурно-ли вамъ? испугался Вельчаниновъ. — Я велю остановить, я велю вынести воды...

Она вскинула на него глазами и горячо, уворительно поглядѣла.

— Куда вы меня везете? проговорила она рѣзко и отрывисто.

— Это прекрасный домъ, Лиза. Они теперь на пре-

красной дачѣ; тамъ много дѣтей, они васъ тамъ будутъ любить, они добрые... Не сердитесь на меня, Лиза, я вамъ добра хочу...

Страненъ бы показался онъ въ эту минуту кому-нибудь изъ знавшихъ его, если бы кто изъ нихъ могъ его видѣть.

— Какъ вы,—какъ вы,—какъ вы... у, какіе вы злые! сказала Лиза, задыхаясь отъ подавляемыхъ слезъ и за-сверкавъ на него озлобленными прекрасными глазками.

— Лиза, я...

— Вы злые, злые, злые, злые!

Она ломала свои руки. Вельчаниновъ совсѣмъ потерялся.

— Лиза, милая, если-бъ вы знали, въ какое отчаяніе вы меня приводите!

— Это правда, что онъ завтра пріѣдетъ? Правда? спросила она повелительно.

— Правда, правда! Я его самъ привезу; я его возьму и привезу.

— Онъ обманетъ, прошептала Лиза, опуская глаза въ землю.

— Развѣ онъ васъ не любитъ, Лиза?

— Не любитъ.

— Онъ васъ обижалъ? Обижалъ?

Лиза мрачно посмотрѣла на него и промолчала. Она опять отвернулась отъ него и сидѣла упорно потупившись. Онъ началъ ее уговаривать, онъ говорилъ ей съ жаромъ, онъ былъ самъ въ лихорадѣѣ. Лиза слушала недовѣрчиво, враждебно, но слушала. Вниманіе ея обрадовало его чрезвычайно: онъ даже сталъ объяснять ей, что такое пьющій человекъ. Онъ говорилъ, что самъ ее любить и будетъ наблюдать за отцомъ. Лиза подняла, наконецъ, глаза и пристально на него поглядѣла. Онъ сталъ рассказывать, какъ онъ зналъ еще ея мамашу, и видѣлъ, что увлекаетъ ее рассказами. Мало-по-малу она начала понемногу отвѣчать на его вопросы, но осторожно и односложно, съ упорствомъ. На главные вопросы она все-таки ничего не отвѣтила: она упорно молчала обо всемъ, что касалось прежнихъ ея отношеній къ отцу. Говоря съ нею, Вельчаниновъ взялъ ея ручку въ свою, какъ давеча, и не выпускалъ ее; она не отнимала. Дѣвочка, впрочемъ, не все молчала; она все-таки проговорила въ неясныхъ отвѣтахъ, что отца она больше любила, чѣмъ мамашу, потому что онъ всегда прежде ее больше любилъ, а мамаша прежде ее меньше любила, но что когда мамаша

умирала, то очень ее цѣловала и плакала, когда всѣ вышли изъ комнаты и онѣ остались вдвоемъ... и что она теперь ее больше всѣхъ любить, больше всѣхъ, всѣхъ на свѣтѣ, и каждую ночь больше всѣхъ любить ее. Но дѣвочка была дѣйствительно гордая: спохватившись о томъ, что она проговорила, она вдругъ опять замкнулась и примолкла; даже съ ненавистью взглянула на Вельчанинова, заставившаго ее проговориться. Подъ конецъ пути истерическое состояніе ея почти прошло, но она стала ужасно задумчива и смотрѣла какъ дикарка, угрюмо, съ мрачнымъ, предрѣшеннымъ упорствомъ. Чтò же касается до того, что ее везутъ теперь въ незнакомый домъ, въ которомъ она никогда не бывала, то это, кажется, мало ее покажѣсть смущало. Мучило ее другое, это видѣлъ Вельчаниновъ; онъ угадывалъ, что ей стыдно его, что ей именно стыдно того, что отецъ такъ легко ее съ нимъ отпустилъ, какъ будто бросилъ ему на руки.

„Она больна“, думалъ онъ, — „можетъ-быть, очень; ее измучили... О, пьяная, подлая тварь! Я теперь понимаю его!“

Онъ торопилъ кучера: онъ надѣялся на дачу, на воздухъ, на садъ, на дѣтей, на новую, незнакомую ей жизнь, а тамъ, потомъ... Но въ томъ, чтò будетъ послѣ, онъ уже не сомнѣвался нисколько; тамъ были полныя, ясныя надежды. Объ одномъ только онъ зналъ совершенно: что никогда еще онъ не испытывалъ того, чтò ощущаетъ теперь, и что это останется при немъ на всю его жизнь!

„Вотъ цѣль, вотъ жизнь!“ думалъ онъ восторженно.

Много мелькало въ немъ теперь мыслей, но онъ не останавливался на нихъ и упорно избѣгалъ подробностей: безъ подробностей все становилось ясно, все было нерушимо. Главный планъ его сложился самъ собою:

„Можно будетъ подѣйствовать на этого мерзавца“, мечталъ онъ, — „соединенными силами, и онъ оставитъ въ Петербургѣ у Погорѣльцевыхъ Лизу, хотъ сначала только на время, на срокъ, и уѣдетъ одинъ; а Лиза останется мнѣ; вотъ и все, чего же тутъ болѣе? И... и конечно онъ самъ этого желаетъ; иначе зачѣмъ бы ему ее мучить“.

Наконецъ, пріѣхали. Дача Погорѣльцевыхъ была дѣйствительно прелестное мѣстечко; встрѣтила ихъ прежде всѣхъ шумная ватага дѣтей, высыпавшая на крыльцо дачи. Вельчаниновъ уже слишкомъ давно тутъ не былъ, и радость дѣтей была неистовая: его любили. Постарше

тотчасъ же закричали ему, прежде чѣмъ онъ вышелъ изъ коляски:

— А что процессъ, что вашъ процессъ?

Это подхватили и самые маленькіе и со смѣхомъ визжали вслѣдъ за старшими. Его здѣсь дразнили процесомъ. Но, увидѣвъ Лизу, тотчасъ же окружили ее и стали ее разсматривать съ молчаливымъ и пристальнымъ дѣтскимъ любопытствомъ. Вышла Клавдія Петровна, а за нею ея мужъ. И она, и мужъ ея тоже начали съ перваго слова и смѣясь вопросомъ о процессѣ.

Клавдія Петровна была дама лѣтъ тридцати семи, полная и еще красивая брюнетка, съ свѣжимъ и румянымъ лицомъ. Мужъ ея былъ лѣтъ пятидесяти пяти, человѣкъ умный и хитрый, но добрякъ прежде всего. Ихъ домъ былъ въ полномъ смыслѣ „родной уголь“ для Вельчанинова, какъ самъ онъ выражался. Но тутъ скрывалось еще особое обстоятельство: лѣтъ двадцать назадъ эта Клавдія Петровна чуть было не вышла замужъ за Вельчанинова, тогда еще почти мальчика, еще студента. Любовь была первая, пылкая, смѣшная и прекрасная. Кончилось однакоже тѣмъ, что она вышла за Погорѣльцева. Лѣтъ черезъ пять опять встрѣтились, и все кончилось ясною и тихою дружбой. Осталась навсегда какая-то теплота въ ихъ отношеніяхъ, какой-то особенный свѣтъ, озарявшій эти отношенія. Тутъ все было чисто и безупречно въ воспоминаніяхъ Вельчанинова и тѣмъ дороже для него, что, можетъ-быть, единственно только тутъ это и было. Здѣсь, въ этой семьѣ, онъ былъ простъ, наивенъ, добръ, нянчилъ дѣтей, не ломался никогда, сознавался во всемъ и исповѣдывался во всемъ. Онъ клялся не разъ Погорѣльцевымъ, что поживетъ еще немного въ свѣтѣ, а тамъ переѣдетъ къ нимъ совсѣмъ и станетъ жить съ ними уже не разлучаясь. Про себя онъ думалъ объ этомъ намѣреніи вовсе не шутя.

Онъ довольно подробно изложилъ имъ о Лизѣ все, что было надо; но достаточно было одной его просьбы, безо всякихъ особенныхъ изложеній. Клавдія Петровна расцѣловала „сиротку“ и обѣщала сдѣлать все съ своей стороны. Дѣти подхватили Лизу и увели играть въ садъ. Черезъ полчаса живого разговора Вельчаниновъ всталъ и сталъ прощаться. Онъ былъ въ такомъ нетерпѣніи, что всѣмъ это стало замѣтно. Всѣ удивились: не былъ ли недѣли и теперь уѣзжаетъ черезъ полчаса. Онъ смѣялся

и клялся, что прїдетъ завтра. Ему замѣтили, что онъ въ слишкомъ сильномъ волненїи; онъ вдругъ взялъ за руки Клавдію Петровну и подѣ предлогомъ, что забылъ сказать что-то очень важное, отвелъ ее въ другую комнату.

— Помните вы, что я вамъ говорилъ, — вамъ одной, и чего даже мужъ вашъ не знаетъ, — о Т—скомъ годѣ моей жизни?

— Слишкомъ помню; вы часто объ этомъ говорили.

— Я не говорилъ, а я исповѣдывался, и вамъ одной, вамъ одной! Я никогда не называлъ вамъ фамилии этой женщины: она — Трусоцкая, жена этого Трусоцкаго. Это она умерла, а Лиза ея дочь — моя дочь!

— Это навѣрно? Вы не ошибаетесь? спросила Клавдія Петровна съ нѣкоторымъ волненїемъ.

— Совершенно, совершенно не ошибаюсь! восторженно проговорилъ Вельчаниновъ.

И онъ разсказалъ сколько могъ вкратцѣ, слыша и волнуясь ужасно, — все. Клавдія Петровна и прежде знала это все, но фамилии этой дамы не знала. Вельчанинову до того становилось всегда страшно при одной мысли, что кто-нибудь изъ знающихъ его встрѣтитъ когда-нибудь *m-me* Трусоцкую и подумаетъ, что онъ могъ такъ любить эту женщину, что даже Клавдіи Петровнѣ, единственному своему другу, онъ не посмѣлъ открыть до сихъ поръ имени „той женщины“.

— И отецъ ничего не знаетъ? спросила та, выслушавъ разсказъ.

— Н-нѣтъ, онъ знаетъ... Это-то меня и мучить, что я еще не разглядѣлъ тутъ всего! горячо продолжалъ Вельчаниновъ. — Онъ знаетъ, знаетъ; я это замѣтилъ сегодня и вчера. Но мнѣ надо знать, сколько именно онъ тутъ знаетъ? Я потому и слышу теперь. Сегодня вечеромъ онъ придетъ. Недоумѣваю, впрочемъ, откуда бы ему знать, — то-есть *все-то* знать? Про Багаутова онъ знаетъ все, въ этомъ нѣтъ сомнѣнїя. Но про меня? Вы знаете, какъ въ этомъ случаѣ жены умѣютъ завѣрять своихъ мужей! Сойди самъ ангелъ съ небеси — мужъ и тому не повѣритъ, а повѣритъ ей! Не качайте головой, не осуждайте меня, я самъ себя осуждаю и осудилъ во всемъ, давно, давно!.. Видите, давеча у него я до того былъ увѣренъ, что онъ знаетъ все, что компрометировалъ передъ нимъ себя самъ. Вѣрите-ли: мнѣ такъ стыдно и тяжело, что я его вчера

такъ грубо встрѣтилъ. (Я вамъ потомъ все еще подробнѣе расскажу). Онъ и зашелъ вчера ко мнѣ изъ непобѣдимаго злобнаго желанія дать мнѣ знать, что онъ знаетъ свою обиду, и что ему извѣстенъ обидчикъ! Вотъ вся причина его глупаго прихода въ пьяномъ видѣ. Но это такъ естественно съ его стороны! Онъ именно зашелъ укорить! Вообще я слишкомъ горячо велъ это давеча и вчера! Неосторожно глупо! Самъ себя ему выдалъ! Зачѣмъ онъ въ такую разстроенную минуту подѣхалъ? Говорю же вамъ, что онъ даже Лизу мучилъ, мучилъ ребенка, и навѣрно тоже, чтобъ укорить, чтобъ зло сорвать, хоть на ребенкѣ! Да, онъ озлобленъ, — какъ онъ ни ничтоженъ, но онъ озлобленъ; очень даже. Само собою это не болѣе какъ шутъ, хотя прежде, ей-Богу, онъ имѣлъ видъ порядочнаго человѣка, насколько могъ, но вѣдь—это такъ естественно, что онъ пошелъ безпутничать! Тутъ, другъ мой, по-христіански надо взглянуть! И знаете, милая, добрая моя,—я хочу къ нему совсѣмъ переимѣниться: я хочу обласкать его. Это будетъ даже „доброе дѣло“ съ моей стороны. Потому что вѣдь все-таки я же передъ нимъ виноватъ! Послушайте, знаете, я вамъ еще скажу: мнѣ разъ въ Т. вдругъ четыре тысячи рублей понадобились, и онъ мнѣ выдалъ ихъ въ одну минуту, безо всякаго документа, съ искреннею радостью, что могъ угодить, и вѣдь я же взялъ тогда, я вѣдь изъ рукъ его взялъ, я деньги бралъ отъ него, слышите, бралъ, какъ у друга!

— Только будьте осторожнѣе, съ безпокойствомъ замѣтила на все это Клавдія Петровна,—и какъ вы восторженны, я, право, боюсь за васъ! Конечно, Лиза теперь и моя дочь, но тутъ такъ много, такъ много еще неразрѣшеннаго! А главное, будьте теперь осмотрительнѣе; вамъ непременно надо быть осмотрительнѣе, когда вы въ счастья или въ такомъ восторгѣ; вы слишкомъ великодушны, когда вы въ счастья, прибавила она съ улыбкою.

Всѣ вышли провожать Вельчанинова; дѣти привели Лизу, съ которой играли въ саду. Они смотрѣли на нее теперь, казалось, еще съ болѣшимъ недоумѣніемъ, чѣмъ давеча. Лиза задичилась совсѣмъ, когда Вельчаниновъ поцѣловалъ ее при всѣхъ, прощаясь, и съ жаромъ повторилъ обѣщаніе пріѣхать завтра съ отцомъ. До послѣдней минуты она молчала и на него не смотрѣла, но тутъ вдругъ схватила его за рукавъ и потянула куда-то въ сторону, устремивъ на него умоляющій взглядъ; ей хо-

тѣлось что-то сказать ему. Онъ тотчасъ отвелъ ее въ другую комнату.

— Что такое, Лиза? нѣжно и ободрительно спросилъ онъ, но она, все еще боязливо оглядываясь, потащила его дальше въ уголъ; ей хотѣлось отъ всѣхъ спрятаться.

— Что такое, Лиза, что такое?

Она молчала и не рѣшалась; неподвижно глядѣла въ его глаза своими голубыми глазами и во всѣхъ чертахъ ея личика выражался одинъ только безумный страхъ.

— Онъ... повѣсится! прошептала она какъ въ бреду.

— Кто повѣсится? спросилъ Вельчаниновъ въ испугѣ.

— Онъ, онъ! Онъ ночью хотѣлъ на петлѣ повѣситься! торопясь и задыхаясь говорила дѣвочка, — я сама видѣла! Онъ давеча хотѣлъ на петлѣ повѣситься, онъ мнѣ говорилъ, говорилъ! Онъ и прежде хотѣлъ, всегда хотѣлъ... Я видѣла ночью...

— Не можетъ быть! прошепталъ Вельчаниновъ въ недоумѣннн.

Она вдругъ бросилась цѣловать ему руки; она плакала, едва переводя дыханіе отъ рыданій, просила и умоляла его, но онъ ничего не могъ понять изъ ея истерическаго лепета. И навсегда потомъ остался ему памятенъ, мерещился на-яву и снился во снѣ этотъ измученный взглядъ замученнаго ребенка, въ безумномъ страхѣ и съ послѣдней надеждой смотрѣвшій на него.

„И неужели, неужели она такъ его любитъ?“ ревниво и завистливо думалъ онъ, съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ возвращаясь въ городъ. — „Она давеча сама сказала, что мать больше любитъ... можетъ-быть, она его ненавидитъ, а во-все не любитъ!..“

„И что такое: повѣсится? Что такое она говорила? Ему, дураку, повѣсится?.. Надо узнать; надо непременно узнать! Надо все какъ можно скорѣе рѣшить,—рѣшить окончательно!“

VII.

Мунъ и любовникъ цѣлуются.

Онъ ужасно снѣшилъ „узнать“. „Давеча меня ошеломило; давеча некогда было соображать“, думалъ онъ, вспоминая первую встрѣчу свою съ Лизой, — „ну, а теперь—надо узнать“. Чтобы поскорѣе узнать, онъ въ нетерпѣнн велѣлъ было прямо везти себя къ Трусоцкому, но тотчасъ

одумался: „нѣтъ, пусть лучше онъ самъ ко мнѣ придетъ, а я тѣмъ временемъ поскорѣе съ этими проклятыми дѣлами покончу“.

За дѣла онъ принялся лихорадочно; но въ этотъ разъ самъ почувствовалъ, что очень разсѣянъ и что ему нельзя сегодня заниматься дѣлами. Въ пять часовъ, когда уже онъ отправился обѣдать, вдругъ, въ первый разъ, пришла ему въ голову смѣшная мысль: что вѣдь и въ самомъ дѣлѣ онъ, можетъ-быть, только мѣшаетъ дѣло дѣлать, вмѣшиваясь самъ въ эту тяжбу, самъ суетась и толкаясь по присутственнымъ мѣстамъ и лоя своего адвоката, который сталъ уже отъ него прятаться. Онъ весело разсмѣялся надъ своимъ предположеніемъ. „А вѣдь приди вчера мнѣ въ голову эта мысль, я бы ужасно огорчился“, прибавилъ онъ еще веселѣе. Несмотря на веселость, онъ становился все разсѣяннѣе и нетерпѣливѣе: сталъ, наконецъ, задумчивъ; и хоть за многое цѣплялась его спокойная мысль, въ цѣломъ ничего не выходило изъ того, что ему было нужно.

„Мнѣ его нужно, этого человѣка!“ рѣшилъ онъ, наконецъ,—„его надо разгадать, а ужъ потомъ и рѣшать. Тутъ—дуэль!“

Воротаясь домой въ семь часовъ, онъ Павла Павловича у себя не засталъ и пришелъ отъ того въ крайнее удивленіе, потомъ въ гнѣвъ, потомъ даже въ уныніе; наконецъ, сталъ и бояться: „Богъ знаетъ, Богъ знаетъ, чѣмъ это кончится!“ повторялъ онъ, то рассказывая по комнатѣ, то протягиваясь на диванѣ, и все смотря на часы. Наконецъ, уже около девяти часовъ появился и Павелъ Павловичъ. „Если бы этотъ человѣкъ хитрилъ, то никогда бы лучше не подсидѣлъ меня, какъ теперь,—до того я въ эту минуту разстроены“, подумалъ онъ, вдругъ совершенно ободрившись и ужасно повеселѣвъ.

На бойкій и веселый вопросъ: зачѣмъ долго не приходилъ,—Павелъ Павловичъ криво улыбнулся, развязно, не по-вчерашнему, усѣлся и какъ-то небрежно отбросилъ на другой стулъ свою шляпу съ крепомъ. Вельчаниновъ тотчасъ замѣтилъ эту развязность и принялъ къ свѣдѣнію.

Спокойно и безъ лишнихъ словъ, безъ давешняго волненія, рассказалъ онъ, въ видѣ отчета, какъ онъ отвезъ Лизу, какъ ее мило тамъ приняли, какъ это ей будетъ полезно и, мало-по-малу, какъ бы совсѣмъ и забывъ о Лизѣ, незамѣтно свелъ рѣчь исключительно только на По-

горѣльцевыхъ,—то-есть, какіе это милые люди, какъ онъ съ ними давно знакомъ, какой хорошей и даже вліятельный человѣкъ Погорѣльцевъ, и тому подобное. Павелъ Павловичъ слушалъ разсѣянно и изрѣдка, исподлобья, съ брюзгливой и плутоватой усмѣшкой поглядывалъ на разсказчика.

— Пылкій вы человѣкъ, пробормоталъ онъ, какъ-то особенно скверно улыбаясь.

— Однако, вы сегодня какой-то злой, съ досадою замѣтилъ Вельчаниновъ.

— А отчего же бы мнѣ злымъ не быть-съ, подобно всѣмъ другимъ! вскинулся вдругъ Павелъ Павловичъ, точно выскочилъ изъ-за угла; даже точно того только и ждалъ, чтобы выскочить.

— Полная ваша воля, усмѣхнулся Вельчаниновъ.—Я подумалъ, не случилось-ли съ вами чего.

— И случилось! воскликнулъ тотъ, точно хвастаясь, что случилось.

— Что-жъ это такое?

Павелъ Павловичъ нѣсколько подождать отвѣчать.

— Да вотъ-съ все нашъ Степанъ Михайловичъ чудасить... Багаутовъ, изящнѣйшій петербургскій молодой человѣкъ-съ, высшаго общества-съ.

— Не приняли васъ опять, что-ли?

— Н-нѣтъ, именно въ этотъ-то разъ и приняли, въ первый разъ допустили-съ, и черты созерцалъ... только ужъ у покойника!..

— Что-о-о! Багаутовъ умеръ? ужасно удивился Вельчаниновъ, хотя, казалось, и нечему было ему-то такъ удивиться.

— Онъ-съ! Неизмѣнный и шестилѣтній другъ! Еще вчера чуть не въ полдень померъ, а я и не зналъ! Я, можетъ, въ самую-то эту минуту и заходилъ тогда о здоровьи навѣдаться. Завтра выносъ и погребеніе, ужъ въ гробикѣ лежитъ-съ. Гробъ обить бархатомъ цвѣту масака, позументъ золотой... отъ нервной горячки померъ-съ. Допустили, допустили, созерцалъ черты! Объявилъ я при входѣ, что истиннымъ другомъ считался, потому и допустили. Что-жъ онъ со мной изволилъ теперь сотворить, истинный-то и шестилѣтній другъ,—я васъ спрашиваю? Я, можетъ, единственно для него одного и въ Петербургъ ѣхалъ!

— Да за что же вы на него-то сердитесь? засмѣялся Вельчаниновъ.—Вѣдь онъ не нарочно же умеръ!

— Да вѣдь и я сожалѣя говорю; другъ-то драгоценный; вѣдь онъ вотъ что для меня значилъ-съ.

И Павелъ Павловичъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно, сдѣлалъ двумя пальцами рога надъ своимъ лысымъ лбомъ и тихо, продолжительно захихикалъ. Онъ просидѣлъ такъ, съ рогами и хихикая, цѣлыя полминуты, съ какимъ-то упоеніемъ самой ехидной наглости смотря въ глаза Вельчанинову. Тотъ остолбенѣлъ, какъ бы при видѣ какого-то призрака. Но столбнякъ его продолжался лишь одно только самое маленькое мгновеніе; насмѣшливая и до наглости спокойная улыбка неторопливо появилась на его губахъ.

— Это что-жъ такое означало? спросилъ онъ небрежно, растягивая слова.

— Это означало рога-съ! отрѣзалъ Павелъ Павловичъ, отнимая, наконецъ, свои пальцы отъ лба.

— То-есть... ваши рога?

— Мои собственные, благопріобрѣтенные! ужасно скверно скривился опять Павелъ Павловичъ.

Оба помолчали.

— Храбрый вы однакоже человѣкъ! проговорилъ Вельчаниновъ.

— Это оттого, что я рога-то вамъ показалъ? Знаете-ли-что, Алексѣй Ивановичъ, вы бы меня лучше чѣмъ-нибудь угостили! Вѣдь угощалъ же я васъ въ Т., цѣлый годъ-съ, каждый Божій день-съ... Пошлите-ка за бутылочкой, въ горлѣ пересохло.

— Съ удовольствіемъ; вы бы давно сказали.— Вамъ чего?

— Да что: *вамъ*, говорите: *намъ*; вмѣстѣ вѣдь выпьемъ, неужто нѣтъ? съ вызовомъ, но въ то же время и съ страннымъ какимъ-то безпокойствомъ засматривалъ ему въ глаза Павелъ Павловичъ.

— Шампанскаго?

— А то чего же? До водки еще чередъ не дошелъ-съ...

Вельчаниновъ неторопливо всталъ, позвонилъ внизъ Мавру и распорядился.

— На радость веселой встрѣчи-съ, послѣ девятилѣтней разлуки, ненужно и неудачно подхихикивалъ Павелъ Павловичъ. Теперь вы, и одинъ ужъ только вы у меня и остались истиннымъ другомъ-съ! Нѣтъ Степана Михайловича Багаутова! Это какъ у поэта:

«Нѣтъ великаго Патрокла
Живъ презрительный Өерситъ!»

И при словѣ „Ѳерситъ“ онъ пальцемъ ткнулъ себѣ въ грудь.

„Да ты, свинья, объяснился бы скорѣе, а намековъ я не люблю“, думалъ про себя Вельчаниновъ. Злоба кипѣла въ немъ и онъ давно уже едва себя сдерживалъ.

— Вы мнѣ вотъ что скажите, началъ онъ досадливо,— если вы такъ прямо обвиняете Степана Михайловича (онъ уже теперь не назвалъ его просто Багаутовымъ),—то вѣдь вамъ же, кажется, радость, что обидчикъ вашъ умеръ; чего-жъ вы злитесь?

— Какая же радость-съ? Почему же радость?

— Я по вашимъ чувствамъ сужу.

— Хе-хе, на этотъ счетъ вы въ моихъ чувствахъ ошибаетесь-съ, по изреченію одного мудреца: „хорошъ врагъ мертвый, но еще лучше живой“, хи-хи!

— Да вы живого-то лѣтъ пять, я думаю, каждый день видѣли, было время наглядѣться, злобно и нагло замѣтилъ Вельчаниновъ.

— А развѣ тогда... развѣ я тогда зналъ-съ? вскинулся вдругъ Павелъ Павловичъ, опять точно изъ-за угла высючилъ, даже какъ бы съ какой-то радостью, что ему, наконецъ, сдѣлали вопросъ, котораго онъ такъ давно ожидалъ.—За кого же вы меня, Алексѣй Ивановичъ, стало быть, почитаете?

И во взглядѣ его блеснуло вдругъ какое-то совершенно новое и неожиданное выраженіе, какъ бы преобразившее совсѣмъ въ другой видъ злобное и доселѣ только подло кривлявшееся его лицо.

— Такъ неужели же вы ничего не знали! проговорилъ озадаченный Вельчаниновъ съ самымъ внезапнымъ удивленіемъ.

— Такъ неужто же зналъ-съ? Неужто зналъ! О, порода— Юпитеровъ нашихъ! У васъ человѣкъ все равно что собака, и вы всѣхъ по своей собственной натуршкѣ судите! Вотъ вамъ-съ! Проглотите-ка!—и онъ съ бѣшенствомъ стукнулъ по столу кулакомъ, но тотчасъ же самъ испугался своего стука и уже поглядѣлъ боязливо.

Вельчаниновъ приосанился.

— Послушайте, Павелъ Павловичъ, мнѣ рѣшительно вѣдь все равно, согласитесь сами, знали вы тамъ или не знали. Если вы не знали, то это дѣлаетъ вамъ во всякомъ случаѣ честь, хотя... впрочемъ, я даже не понимаю, почему вы меня выбрали своимъ конфидентомъ?...

— Я не объ вась... не сердитесь, не объ вась... бормоталъ Павелъ Павловичъ, смотря въ землю.

Мавра вошла съ шампанскимъ.

— Вотъ и оно! закричалъ Павелъ Павловичъ, видимо обрадовавшись исходу.—Ставанчиковъ, матушка, ставанчиковъ; чудесно! Больше ничего отъ васъ, милая, не требуется. И ужъ откупорено? Честь вамъ и слава, милое существо! Ну, отправляйтесь!

И вновь ободрившись, онъ опять съ дерзостью посмотрѣлъ на Вельчанинова.

— А признайтесь, хихикнулъ онъ вдругъ,—что вамъ ужасно все это любопытно-съ, а вовсе не „рѣшительно все равно“, какъ вы изволили выговорить, такъ что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту всталъ и ушелъ-съ, ничего вамъ не объяснивши.

— Право, не огорчился бы.

„Ой, лжешь!“ говорила улыбка Павла Павловича.

— Ну-съ, приступимъ!—И онъ разлилъ вино въ стаканы.

— Выпьемъ тостъ! провозгласилъ онъ, поднимая стаканъ.—За здоровье въ Бозѣ почившаго друга Степана Михайловича!

Онъ поднялъ стаканъ и выпилъ.

— Я такого тоста не стану пить, поставилъ свой стаканъ Вельчаниновъ.

— Почему же? Тостикъ пріятный.

— Вотъ что: вы, войдя теперь, пьяны не были?

— Пилъ немного. А что-съ?

— Ничего особеннаго, но мнѣ показалось, что вчера и особенно сегодня утромъ вы искренно сожалѣли о покойной Натальѣ Васильевнѣ.

— А кто вамъ сказалъ, что я неискренно сожалѣю о ней и теперь? тотчасъ же выскочилъ опять Павелъ Павловичъ, точно опять дернули его за пружинку.

— Я и не къ тому; но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчетъ Степана Михайловича, а это — дѣло важное.

Павелъ Павловичъ хитро улыбнулся и подмигнулъ.

— А ужъ какъ бы вамъ хотѣлось узнать про то, какъ самъ-то я узналъ про Степана Михайловича!

Вельчаниновъ покраснѣлъ.

— Повторяю вамъ опять, что мнѣ все равно. „А не вышвырнуть-ли его сейчасъ вонъ, вмѣстѣ съ бутылкой?“ яростно подумалъ онъ и покраснѣлъ еще больше.

— Ничего-съ! какъ бы ободря его, проговорилъ Павелъ Павловичъ и налилъ себѣ еще стаканъ.

— Я вамъ сейчасъ объясню, какъ я „все“ узналъ-съ, и тѣмъ удовлетворю ваши пламенные желанія... потому что пламенный вы человекъ, Алексѣй Ивановичъ, страшно пламенный человекъ-съ! Хе-хе! Дайте только мнѣ папирочку, потому что я съ марта мѣсяца...

— Вотъ вамъ папироска.

— Развратился я съ марта мѣсяца, Алексѣй Ивановичъ, и вотъ какъ все это произошло-съ,—прислушайте-ка-съ. Чахотка, какъ вы сами знаете, милѣйшій другъ, фамильяричалъ онъ все больше и больше, — есть болѣзнь любопытная-съ. Сплошь да рядомъ чахоточный человекъ умираетъ, почти и не подозрѣвая, что онъ завтра умретъ-съ. Говорю вамъ, что за пять еще часовъ Наталья Васильевна располагалась недѣли черезъ двѣ къ своей тетенькѣ верстъ за сорокъ отправиться. Кромѣ того, вѣроятно, извѣстна вамъ привычка, или, лучше сказать, повадка, общая многимъ дамамъ, а, можетъ, и кавалерамъ-съ: сохранять у себя старый хламъ по части переписки любовной-съ... Всего вѣрнѣе бы въ печь, не такъ-ли-съ? Нѣтъ, всякій-то лоскуточекъ бумажки у нихъ въ ящичкахъ и въ несессерахъ бережно сохраняется; даже поднумеровано по годамъ, по числамъ и по разрядамъ. Утѣшаетъ это что-ли ужъ очень—не знаю-съ; а должно-быть для пріятныхъ воспоминаній. Располагаясь за пять часовъ до кончины ѣхать на праздникъ къ тетенькѣ, Наталья Васильевна естественно и мысли о смерти не имѣла, даже до самаго послѣдняго часу-съ, и все Коха ждала. Такъ и случилось-съ, что померла Наталья Васильевна, а ящичекъ черного дерева, съ перламутровой инкрустаціей и съ серебромъ-съ, остался у ней въ бюро. И красивенькій такой ящичекъ, съ ключекомъ-съ, фамильный, отъ бабушки ей достался. Ну-съ, въ этомъ вотъ ящичкѣ все и открылось-съ, то-есть все-съ; безо всякаго исключенія, по днямъ и по годамъ, за все двадцатилѣтіе. А такъ какъ Степанъ Михайловичъ рѣшительную склонность къ литературѣ имѣлъ, даже страстную повѣсть одну въ журналъ отослалъ, то его произведеній въ шкапулочкѣ чуть не до сотни нумеровъ оказалось, — правда, что за пять лѣтъ-съ. Иные нумера такъ съ собственноручными помѣтками Натальи Васильевны. Пріятно супругу, какъ вы думаете-съ?

Вельчаниновъ быстро сообразилъ и припомнилъ, что онъ

никогда ни одного письма, ни одной записки не писалъ къ Натальѣ Васильевнѣ. А изъ Петербурга хотя и написалъ два письма, но на имя обоихъ супруговъ, какъ и было условлено. На послѣднее же письмо Натальи Васильевны, въ которомъ ему предписывалась отставка, онъ и не отвѣчалъ.

Кончивъ рассказъ, Павелъ Павловичъ молчалъ цѣлую минуту, назойливо улыбаясь и напрашиваясь.

— Что же вы ничего мнѣ не отвѣтили на вопросикъ-то-съ? проговорилъ онъ, наконецъ, съ явнымъ мученіемъ.

— На какой это вопросикъ?

— Да вотъ о пріятныхъ-то чувствахъ супруга-съ, отерывающаго шкатулочку.

— Э, какое мнѣ дѣло! желчно махнулъ рукой Вельчаниновъ, всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— И бьюсь объ закладъ, вы теперь думаете: „свинья же ты, что самъ на рога свои указалъ“, хе-хе! Брезгливѣйшій человѣкъ... вы-съ.

— Ничего я про это не думаю. Напротивъ, вы слишкомъ раздражены смертью вашего оскорбителя и къ тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всемъ этомъ необыкновеннаго; слишкомъ понимаю, для чего вамъ нуженъ былъ живой Багаутовъ, и готовъ уважать вашу досаду: но...

— А для чего нуженъ былъ мнѣ Багаутовъ, по вашему мнѣнію-съ?

— Это ваше дѣло.

— Бьюсь объ закладъ, что вы дуэль подразумѣвали-съ!

— Чортъ возьми! все болѣе и болѣе не сдерживался Вельчаниновъ. — Я думалъ, что какъ всякій порядочный человѣкъ... въ подобныхъ случаяхъ не унижается до комической болтовни, до глупыхъ кривляній, до смѣшныхъ жалобъ и гадкихъ намековъ, которыми самъ себя еще больше мараешь, а дѣйствуетъ явно, прямо, открыто — какъ порядочный человѣкъ!

— Хе-хе, да, можетъ, я и непорядочный человѣкъ-съ?

— Это опять-таки ваше дѣло... а, впрочемъ, на какой же чортъ послѣ этого надо было вамъ живого Багаутова?

— Да хоть бы только поглядѣть на дружка-съ. Вотъ бы взяли съ нимъ бутылочку да и выпили вмѣстѣ.

— Онъ бы съ вами и пить не сталъ.

— Почему? Noblesse oblige! Вѣдь вотъ пьете же вы со мной-съ; чѣмъ онъ васъ лучше?

— Я съ вами не пилъ.

— Почему же такая вдругъ гордость-съ?

Вельчаниновъ вдругъ нервно и раздражительно расхохотался.

— Фу, чортъ! Да вы рѣшительно „хищный типъ“ какой-то! Я думалъ, что вы только „вѣчный мужъ“ и больше ничего!

— Это какъ же такъ „вѣчный мужъ“, что такое? насторожилъ вдругъ уши Павелъ Павловичъ.

— Такъ, одинъ типъ мужей... долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вамъ; надоѣли вы мнѣ!

— А хищно-то что-жь? Вы сказали хищно!

— Я сказалъ, что вы „хищный типъ“; въ насмѣшку вамъ сказалъ.

— Какой-такой „хищный типъ“-съ? Расскажите, пожалуйста, Алексѣй Ивановичъ, ради Бога-съ, или ради Христа-съ.

— Ну, да довольно же, довольно! ужасно вдругъ опять разсердился и закричалъ Вельчаниновъ. — Пора вамъ, убирайтесь!

— Нѣтъ, не довольно-съ! вскочилъ и Павелъ Павловичъ. — Даже хоть и надоѣлъ я вамъ, такъ и тутъ не довольно, потому что мы еще прежде должны съ вами выпить и чокнуться! Выпьемъ, тогда я уйду-съ, а теперь не довольно!

— Павелъ Павловичъ, можете вы сегодня убраться къ чорту, или нѣтъ?

— Я могу убраться къ чорту-съ, но сперва мы выпьемъ! Вы сказали, что не хотите пить именно *со мной*; ну, а я *хочу*, чтобы вы именно со мной-то и выпили!

Онъ уже не кривлялся болѣе, онъ уже не подхихикивалъ. Все въ немъ опять вдругъ какъ бы преобразилось и до того стало противоположно всей фигурѣ и всему тону еще сейчашняго Павла Павловича, что Вельчаниновъ былъ рѣшительно озадаченъ.

— Эй, выпьемъ, Алексѣй Ивановичъ! Эй, не отказывайте! продолжалъ Павелъ Павловичъ, схвативъ крѣпко его за руку и странно смотря ему въ лицо.

Очевидно, дѣло шло не объ одной только выпивкѣ.

— Да, пожалуй, пробормоталъ тотъ. — Гдѣ же?.. Тутъ бурда...

— Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-съ, но мы выпьемъ и чокнемся-съ! Вотъ-съ, извольте принять вашъ стаканъ.

Они чокнулись и выпили.

— Ну, а коли такъ, коли такъ... Ахъ!

Павель Павловичъ вдругъ схватился за лобъ рукой и нѣсколько мгновений оставался въ такомъ положеніи. Вельчанинову померещилось, что онъ вотъ-вотъ да и выговорить сейчасъ самое *послѣднее* слово. Но Павель Павловичъ ничего ему не выговорилъ; онъ только посмотрѣлъ на него и тихо, во весь ротъ, улыбнулся опять давешней хитрой и подмигивающей улыбкой.

— Чего вы отъ меня хотите, пьяный вы человѣкъ! Дурачите вы меня! неистово закричалъ Вельчаниновъ, затопавъ ногами.

— Не кричите, не кричите, зачѣмъ кричать? торопливо замахалъ рукой Павель Павловичъ. — Не дурачу, не дурачу! Вы знаете-ли, что вы теперь—вотъ чѣмъ для меня стали!

И вдругъ онъ схватилъ его руку и поцѣловалъ. Вельчаниновъ не успѣлъ опомниться.

— Вотъ вы мнѣ теперь кто-сь! А теперь—я ко всѣмъ чертямъ!

— Подождите, постоитъ! закричалъ опомнившійся Вельчаниновъ.—Я забылъ вамъ сказать...

Павель Павловичъ повернулся отъ дверей.

— Видите, забормоталъ Вельчаниновъ чрезвычайно скоро, краснѣя и смотря совсѣмъ въ сторону,—вамъ бы слѣдовало завтра непременно быть у Погорѣльцевыхъ... познакомиться и поблагодарить; непременно...

— Непременно, непременно, ужъ какъ и не понять-сь! съ чрезвычайною готовностью подхватилъ Павель Павловичъ, быстро махая рукой, въ знакъ того, что и напоминать бы не надо.

— И къ тому же, васъ и Лиза очень ждетъ. Я общалъ...

— Лиза, вернулся вдругъ опять Павель Павловичъ, — Лиза? Знаете-ли вы, что такое была для меня Лиза-сь, была и есть-сь? Была и есть! закричалъ онъ вдругъ почти въ изступленіи. — Но... Хе! Это послѣ-сь, все будетъ послѣ-сь... А теперь мнѣ мало ужъ того, что мы съ вами выпили, Алексѣй Ивановичъ, мнѣ другое удовлетвореніе необходимо-сь...

Онъ положилъ на стулъ шляпу и, какъ давеча, задыхаясь немного, смотрѣлъ на него.

— Поцѣлуйте меня, Алексѣй Ивановичъ, предложилъ онъ вдругъ.

— Вы пьяны! закричалъ тотъ и отшатнулся.

— Пьянъ-съ, а вы все-таки поцѣлуйте меня, Алексѣй Ивановичъ. Эй, поцѣлуйте! Вѣдь поцѣловаль же я вамъ сейчасъ ручку!

Алексѣй Ивановичъ нѣсколько мгновений молчалъ, какъ будто отъ удара дубиной по лбу. Но вдругъ онъ наклонился къ бывшему ему по плечо Павлу Павловичу и поцѣловаль его въ губы, отъ которыхъ очень пахло виномъ. Онъ не совсѣмъ, впрочемъ, былъ увѣренъ, что поцѣловаль его.

— Ну, уже теперь, теперь... опять въ пьяномъ изступленіи кривнуль Павелъ Павловичъ, засверкавъ своими пьяными глазами,—теперь вотъ что-съ: я тогда подумаль— „неужто и этотъ? Ужъ если этотъ, думаю, если ужъ и онъ тоже, такъ кому же послѣ этого и вѣрить!“

Павелъ Павловичъ вдругъ залился слезами.

— Такъ понимаете-ли, какой вы теперь другъ для меня остались?!

И онъ выбѣжалъ со своей шляпой изъ комнаты. Вельчаниновъ опять простоялъ нѣсколько минутъ на одномъ мѣстѣ, какъ и послѣ перваго посѣщенія Павла Павловича.

„Э, пьяный шутъ и больше ничего!“ махнуль онъ рукой.

„Рѣшительно больше ничего!“ энергически подтвердилъ онъ, когда уже раздѣлся и легъ въ постель.

VIII.

Лиза больна.

На другой день поутру, въ ожиданіи Павла Павловича, общавшаго не запоздать, чтобы ѣхать къ Погорѣльцевымъ, Вельчаниновъ ходилъ по комнатѣ, прихлебываль свой кофе, курилъ и каждую минуту сознавалъ себѣ, что онъ похожъ на человѣка, проснувагося утромъ и каждый мигъ вспоминающаго о томъ, какъ онъ получилъ наканунѣ пощечину. „Гм!.. онъ слишкомъ понимаетъ въ чемъ дѣло и отмитить мнѣ Лизой!“ думаль онъ въ страхѣ.

Милый образъ бѣднаго ребенка грустно мелькнуль передъ нимъ. Сердце его забилося сильнѣе отъ мысли, что онъ сегодня же, скоро, черезъ два часа, опять увидить свою Лизу. „Э, что тутъ говорить!“ рѣшилъ онъ съ жаромъ,—„теперь въ этомъ вся жизнь и вся моя цѣль! Что тамъ всѣ эти пощечины и воспоминанія!.. И для чего я

только жилъ до сихъ поръ? Безпорядокъ и грусть... а теперь—все другое, все по другому!”

Но, несмотря на свой восторгъ, онъ задумывался все болѣе и болѣе.

„Онъ замучаетъ меня Лизой—это ясно! И Лизу замучаетъ. Вотъ на этомъ-то онъ меня и дождетъ за *все*. Гм!.. безъ сомнѣнiя, я не могу же позволить вчерашнихъ выходовъ съ его стороны“, покраснѣлъ онъ вдругъ,—„и... и вотъ однакоже онъ не идетъ, а ужъ двѣнадцатый часъ!”

Онъ ждалъ долго, до половины перваго, и тоска его возрастала все болѣе и болѣе. Павелъ Павловичъ не являлся. Наконецъ, давно ужъ шевелившаяся мысль о томъ, что тотъ не придетъ нарочно, единственно для того, чтобы выкинуть еще выходку, по-вчерашнему, раздражила его въ конецъ: „онъ знаетъ, что я отъ него завишу, и что будетъ теперь съ Лизой! И какъ я явлюсь къ ней безъ него!”

Наконецъ, онъ не выдержалъ и ровно въ часъ пополудни поскакалъ самъ къ Покрову. Въ номерахъ ему объявили, что Павелъ Павловичъ дома и не ночевалъ, а пришелъ лишь поутру, въ девятомъ часу, побылъ всего четверть часика, да и опять отправился. Вельчаниновъ стоялъ у двери Павла Павловичева номера, слушалъ говорившую ему служанку и машинально вертѣлъ ручку запертой двери и потягивалъ ее взадъ и впередъ. Опомнившись, онъ плюнулъ, оставилъ замокъ и попросилъ сводить его къ Марьѣ Сысоевнѣ. Но та, услыхавъ о немъ, и сама охотно вышла.

Это была добрая баба, „баба съ благородными чувствами“, какъ выразился о ней Вельчаниновъ, когда передавалъ потомъ свой разговоръ съ нею Клавді Петровнѣ. Разспросивъ коротко о томъ, какъ онъ отвезъ вчера „дѣвочку“, Марья Сысоевна тотчасъ же пустилась въ рассказы о Павлѣ Павловичѣ. По ея словамъ, „не будь только робѣночка, давно бы она его выжила. Его и изъ гостиницы сюда выжили потому, что очень ужъ безобразничалъ. Ну, не грѣхъ ли, съ собой дѣвку ночью привелъ, когда тутъ же робѣночекъ съ понятіемъ! Кричить: „это вотъ тебѣ будетъ мать, коли я того захочу!“ Такъ вѣрите ли, чего ужъ дѣвка, а и та ему плюнула въ харю. Кричить: „ты, говорить, мнѣ не дочь, а в...докъ“.

— Что вы? испугался Вельчаниновъ.

— Сама слышала. Оно хоть и пьяный человекъ, ровно

какъ въ безчувствіи, да все же при робѣнкѣ не годится: хоть и малолѣтокъ, а все умомъ про себя дойдетъ! Плачетъ дѣвочка, совсѣмъ, вижу, замучилась. А намедни тутъ на дворѣ у насъ грѣхъ вышелъ: комиссаръ, что-ли, люди сказывали, номеръ въ гостиницѣ съ вечера занялъ, къ утру и повѣсился. Сказывали, деньги прогулялъ. Народъ сбѣжался, Павла-то Павловича самого дома нѣтъ, а робѣнокъ безъ призору ходитъ; гляжу и она тамъ въ коридорѣ межъ народомъ, да изъ-за другихъ и выглядываетъ, чудно такъ на висѣльника-то глядитъ. Я ее поскорѣе сюда отвела. Что-жь ты думаешь,—вся дрожью дрожить, почернѣла вся, и только что привела—она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчикъ, что-ли, а съ того часу и хворать начала. Узналъ онъ, пришелъ—исщипалъ ее всю, — потому, онъ не то чтобы драться, а все больше щипится, а потомъ нахлестался винища-то, пришелъ, да и пугаетъ ее: „я, говоритъ, тоже повѣшусь, отъ тебя повѣшусь; вотъ на этомъ самомъ, говоритъ, шнуркѣ, на шторѣ повѣшусь“; и петлю при ней дѣлаетъ. А та-то себя не помнитъ—кричитъ, ручонками его обхватила: „не буду, кричитъ, никогда не буду“. Жалость!

Вельчаниновъ хотя и ожидалъ кой-чего очень страннаго, но эти рассказы его такъ поразили, что онъ даже и не повѣрилъ. Марья Сысоевна много еще рассказывала; былъ, напримѣръ, одинъ случай, что если бы не Марья Сысоевна, то Лиза изъ окна бы, можетъ, выбросилась. Онъ вышелъ изъ номера самъ точно пьяный: „я убью его палкой, какъ собаку, по головѣ!“ мерещилось ему. И онъ долго повторялъ это про себя.

Онъ нанялъ коляску и отправился къ Погорѣльцевымъ. Еще не выѣзжая изъ города, коляска принуждена была остановиться на перекресткѣ, у мостика черезъ канаву, черезъ который пробиралась большая похоронная процессія. И съ той, и съ другой стороны моста стѣснилось нѣсколько поджидавшихъ экипажей; останавливался и народъ. Похороны были богатыя и поѣздъ провожавшихъ каретъ былъ очень длиненъ, и вотъ въ окошкѣ одной изъ этихъ провожавшихъ каретъ мелькнуло вдругъ передъ Вельчаниновымъ лицо Павла Павловича. Онъ не повѣрилъ бы, если бы Павелъ Павловичъ не выставился самъ изъ окна и не закивалъ ему, улыбаясь. Повидимому, онъ ужасно былъ радъ, что узналъ Вельчанинова; даже началъ дѣлать изъ кареты ручкой. Вельчаниновъ выскочилъ изъ коляски

и, несмотря на тѣсноту, на городовыхъ и на то, что карета Павла Павловича вѣзжала уже на мостъ, подбѣжалъ къ самому окошку. Павелъ Павловичъ сидѣлъ одинъ.

— Что съ вами, закричалъ Вельчаниновъ, — зачѣмъ вы не пришли? Какъ вы здѣсь?

— Долгъ отдаю-сь, не кричите, не кричите, — долгъ отдаю, захихикалъ Павелъ Павловичъ, весело прищуриваясь. — Бренные останки истиннаго друга провожаю, Степана Михайловича.

— Нелѣпость это все, пьяный вы, безумный человѣкъ, еще сильнѣй прокричалъ озадаченный было на мигъ Вельчаниновъ. — Выходите сейчасъ и садитесь со мной; сейчасъ!

— Не могу-сь, долгъ-сь...

— Я васъ вытащу! вопилъ Вельчаниновъ.

— А я закричу-сь! А я закричу-сь! все такъ же весело подхихикивалъ Павелъ Павловичъ, точно съ нимъ играютъ, прячась, впрочемъ, въ задній уголокъ кареты..

— Берегись, берегись, задавать! закричалъ городской.

Дѣйствительно, при спускѣ съ моста, чья-то посторонняя карета, прорвавшая поѣздъ, надѣлала тревоги. Вельчаниновъ принужденъ былъ отскочить; другіе экипажи и народъ тотчасъ же отгѣснили его далѣе. Онъ плюнулъ и пробрался къ своей коляскѣ.

„Все равно, такого и безъ того нельзя съ собой везти!“ подумалъ онъ съ продолжавшимся тревожнымъ изумленіемъ.

Когда онъ передалъ Клавдіи Петровнѣ рассказъ Марьи Сысоевны и странную встрѣчу на похоронахъ, та сильно задумалась.

— Я за васъ боюсь, сказала она ему, — вы должны прервать съ нимъ всякія отношенія, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше“.

— Шутъ онъ пьяный, и больше ничего! запальчиво вскричалъ Вельчаниновъ, — стану я его бояться! И какъ я прерву отношенія, когда тутъ Лиза. Вспомните про Лизу!

Между тѣмъ Лиза лежала больная; вчера вечеромъ съ нею началась лихорадка, и изъ города ждали одного извѣстнаго доктора, за которымъ чуть свѣтъ послали нарочнаго. Все это окончательно разстроило Вельчанинова. Клавдія Петровна повела его къ больной.

— Я вчера къ ней очень присматривалась, замѣтила она, остановившись передъ комнатою Лизы. — Это гордый

и угрюмый ребенокъ; ей стыдно, что она у насъ и что отецъ ее такъ бросилъ; вотъ въ чемъ вся болѣзнь, по-моему.

— Какъ бросилъ? Почему вы думаете, что бросилъ?

— Ужъ одно то, какъ онъ отпустилъ ее сюда, совсѣмъ въ незнакомый домъ и съ человѣкомъ... тоже почти незнакомымъ, или въ такихъ отношеніяхъ...

— Да я ее самъ взялъ, силой взялъ; я не нахожу...

— Ахъ, Боже мой, это ужъ Лиза, ребенокъ, находить! По-моему, онъ просто никогда не прійдетъ.

Увидѣвъ Вельчанинова одного, Лиза не изумилась: она только скорбно улыбнулась и отвернула свою горѣвшую въ жару головку къ стѣнѣ. Она ничего не отвѣчала на робкія утѣшенія и на горячія обѣщанія Вельчанинова завтра же навѣрно привезти ей отца. Выйдя отъ нея, онъ вдругъ заплакалъ.

Докторъ пріѣхалъ только къ вечеру. Осмотрѣвъ больную, онъ съ перваго слова всѣхъ напугалъ, замѣтивъ, что напрасно его не призвали раньше. Когда ему объявили что больная заболѣла всего только вчера вечеромъ, онъ сначала не повѣрилъ. „Все зависитъ отъ того, какъ пройдетъ эта ночь“, рѣшилъ онъ наконецъ и, сдѣлавъ свои распоряженія, уѣхалъ, обѣщавъ прибыть завтра какъ можно раньше. Вельчаниновъ хотѣлъ было непременно остаться ночевать; но Клавдія Петровна сама упросила его еще разъ „попробовать привезти сюда этого изверга“.

— Еще разъ? въ изступленіи переговорилъ Вельчаниновъ,—да я его теперь свяжу и въ своихъ рукахъ привезу!

Мысль связать и привезти Павла Павловича въ рукахъ, овладѣла имъ вдругъ до крайняго нетерпѣнія.— „Ничѣмъ, ничѣмъ не чувствую я теперь себя предъ нимъ виноватымъ!“ говорилъ онъ Клавдіи Петровнѣ, прощаясь съ нею,—„отрекаюсь отъ всѣхъ моихъ вчерашнихъ низкихъ, плаксивыхъ словъ, которыя здѣсь говорилъ“, прибавилъ онъ въ негодованіи.

Лиза лежала съ закрытыми глазами и, повидимому, спала; казалось, ей стало лучше. Когда Вельчаниновъ нагнулся осторожно къ ея головкѣ, чтобы, прощаясь, поцѣловать хотъ краешекъ ея платья, она вдругъ открыла глаза, точно поджидала его, и прошептала ему:

— Увезите меня.

Это была тихая, скорбная просьба, безо всякаго отгѣнка вчерашней раздражительности, но вмѣстѣ съ тѣмъ послы-

палось и что-то такое, какъ будто она и сама была вполне увѣрена, что просьбу ея ни за что не исполнять. Чуть только Вельчаниновъ, совсѣмъ въ отчаяніи, сталъ увѣрять ее, что это невозможно, она молча закрыла глаза и ни слова болѣе не проговорила, какъ будто не слышала и не видѣла его.

Вѣхавъ въ городъ, онъ прямо велѣлъ везти себя къ Покрову. Было уже десять часовъ; Павла Павловича въ номерахъ не было. Вельчаниновъ прождалъ его цѣлые полчаса, расказывая по коридору въ болѣзненномъ нетерпѣніи. Марья Сысоевна увѣрила его, наконецъ, что Павелъ Павловичъ вернется развѣ только къ утру, чѣмъ свѣтъ. „Ну, такъ и я приѣду чѣмъ свѣтъ“, рѣшилъ Вельчаниновъ и видѣ себя отправился домой.

Но каково же было его изумленіе, когда онъ, еще не входя къ себѣ, услышалъ отъ Мавры, что вчерашній гость уже съ десятаго часу его ожидаетъ.

И чай изволили у насъ кушать, и за виномъ опять посылали, за тѣмъ самымъ, синюю бумажку выдали.

IX.

Привидѣніе.

Павелъ Павловичъ расположился чрезвычайно комфортно. Онъ сидѣлъ на вчерашнемъ стулѣ, курилъ папироски и только что налилъ себѣ четвертый, послѣдній стаканъ изъ бутылки. Чайникъ и стаканъ съ недопитымъ чаемъ стояли тутъ же подлѣ него на столѣ. Раскраснѣвшееся лицо его сіяло благодушіемъ. Онъ даже снялъ съ себя фракъ, по-лѣтнему, и сидѣлъ въ одномъ жилетѣ.

— Извините, вѣрнѣйшій другъ! вскричалъ онъ, за-видѣвъ Вельчанинова и схватываясь съ мѣста, чтобъ надѣть фракъ,—снялъ для пуцаго наслажденія минутой...

Вельчаниновъ грозно къ нему приблизился.

— Вы не совершенно еще пьяны? Можно еще съ вами поговорить?

Павелъ Павловичъ нѣсколько оторопѣлъ.

— Нѣтъ, не совершенно... Помянулъ усопшаго, но—не совершенно-съ...

— Поймете вы меня?

— Съ тѣмъ и явился, чтобъ васъ понимать-съ.

— Ну, такъ я же вамъ прямо начинаю съ того, что вы — негодяй! закричалъ Вельчаниновъ сорвавшимся голосомъ.

— Если съ этого начинаете-сь, то чѣмъ кончите-сь? чуть-чуть протестоваль было Павелъ Павловичъ, видимо сильно струсившій, но Вельчаниновъ кричалъ, не слушая:

— Ваша дочь умираетъ, она больна; бросили вы ее или нѣтъ?

— Неужто ужъ умираетъ-сь?

— Она больна, больна, чрезвычайно опасно больна!

— Можетъ, припадочки-сь...

— Не говорите вздору! Она чрез-вы-чай-но опасно больна! Вамъ слѣдовало ѣхать ужъ изъ того одного...

— Чтوبъ возблагодарить-сь, за гостепрїимство возблагодарить! Слишкомъ понимаю-сь! Алексѣй Ивановичъ, дорогой, совершенный, ухватилъ онъ его вдругъ за руку обѣими своими руками, и съ пьянымъ чувствомъ, чуть не со слезами, какъ бы испрашивая прощенія, выкрикиваль:— Алексѣй Ивановичъ, не кричите, не кричите! Умри я, провались я сейчасъ пьяный въ Неву,—что-жъ изъ того-сь, при настоящемъ значенїи дѣль-сь? А къ господину Погорѣльцеву и всегда поспѣемъ-сь...

Вельчаниновъ спохватился и капельку сдержалъ себя.

— Вы пьяны, а потому я не понимаю, въ какомъ смыслѣ вы говорите, замѣтилъ онъ строго,—я объясниться всегда съ вами готовъ, даже радъ поскорѣй... Я и ѣхаль... Но прежде всего знайте, что я принимаю мѣры: вы сегодня должны у меня ночевать! Завтра утромъ я васъ беру и мы ѣдемъ. Я васъ не выпущу! завопилъ онъ опять.—Я васъ скручу и въ рукахъ привезу!.. Удобенъ вамъ этотъ диванъ? указаль онъ ему, задыхаясь, на широкій и мягкій диванъ, стоявшій напротивъ того дивана, на которомъ спаль онъ самъ, у другой стѣны.

— Помилуйте, да я вездѣ-сь...

— Не вездѣ, а на этомъ диванѣ! Берите, вотъ вамъ простыня, одѣяло, подушка (все это Вельчаниновъ вытащилъ изъ шкафа и торопясь выбрасываль Павлу Павловичу, покорно подставившему руку),—стелите сейчасъ, сте-ли-те же!

Навьюченный Павелъ Павловичъ стоялъ среди комнаты какъ бы въ нерѣшимости, съ длинной, пьяной улыбкой на пьяномъ лицѣ; но при вторичномъ грозномъ окриѣ Вельчанинова вдругъ, со всѣхъ ногъ, бросился хлопотать: отставилъ столъ и пыхтя сталъ расправлять и настилать простыню. Вельчаниновъ подошелъ ему помочь; онъ былъ отчасти доволенъ покорностїю и испугомъ своего гостя.

— Допивайте вашъ стаканъ и ложитесь, скомандоваль онъ опять; онъ чувствовалъ, что не могъ не командовать.— Это вы сами за виномъ распорядились послать?

— Самъ-съ, за виномъ... Я, Алексѣй Ивановичъ, зналъ, что вы уже болѣе не пошлете-съ.

— Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтобъ вы еще больше узнали. Объявляю вамъ еще разъ, что я теперь принялъ мѣры: кривляній вашихъ больше не потерплю, пьяныхъ вчерашнихъ поцѣлуевъ не потерплю!

— Я вѣдь и самъ, Алексѣй Ивановичъ, понимаю, что это всего одинъ только разъ было возможно-съ, ухмыльнулся Павелъ Павловичъ.

Услышавъ отвѣтъ, Вельчаниновъ, шагавшій по комнатѣ, почти торжественно остановился вдругъ передъ Павломъ Павловичемъ.

— Павелъ Павловичъ, говорите прямо! Вы умны, я опять сознаюсь въ этомъ, но увѣряю васъ, что вы на ложной дорогѣ! Говорите прямо, дѣйствуйте прямо и, честное слово даю вамъ, я отвѣчу на все, что угодно.

Павелъ Павловичъ ухмыльнулся снова своей длинной улыбкой, которая одна ужъ такъ бѣсила Вельчанинова.

— Стойте! закричалъ тотъ опять. — Не прикидывайтесь, я насквозь васъ вижу! Повторяю: даю вамъ честное слово, что я готовъ вамъ отвѣтить на *все*, и вы получите всякое возможное удовлетвореніе, то-есть всякое, даже и невозможное! О, какъ бы я желалъ, чтобъ вы меня поняли!..

— Если ужъ вы такъ добры-съ, осторожно придвинулся къ нему Павелъ Павловичъ, — то вотъ-съ, очень меня заинтересовало то, что вы вчера упомянули про хищный типъ-съ!..

Вельчаниновъ плюнулъ и пустился опять, еще скорѣе, шагать по комнатѣ.

— Нѣтъ-съ, Алексѣй Ивановичъ, вы не плюйтесь, потому что я очень заинтересованъ и именно пришелъ провѣрить-съ... У меня языкъ плохо вяжется, но вы простите-съ. Я вѣдь о „хищномъ“ этомъ типѣ, и о „смирномъ-съ“, самъ въ журналъ читалъ, въ отдѣленіи критики-съ, припомнилъ сегодня по-утру... только забль-съ, а по правдѣ, тогда и не понялъ-съ. Я вотъ именно желалъ разъяснить: Степанъ Михайловичъ Багаутовъ, покойникъ-съ, — что онъ „хищный“ былъ или „смирный-съ“? Какъ причислить-съ?

Вельчаниновъ все еще молчалъ, не переставая шагать.

— Хищный типъ это тотъ, остановился онъ вдругъ въ ярости,—это тотъ человекъ, который скорѣй бы отравилъ въ стаканѣ Багаутова, когда сталъ бы съ нимъ „шампанское пить“ во имя пріятной съ нимъ встрѣчи, какъ вы со мной вчера пили, а не поѣхалъ бы его гробъ на кладбище провожать, какъ вы давеча поѣхали, чертъ знаетъ изъ какихъ вашихъ сокрытыхъ, подпольныхъ, гадкихъ стремлений и марающихъ васъ самихъ кривляній! Васъ самихъ!

— Это точно, что не поѣхалъ бы-съ, подтвердилъ Павелъ Павловичъ, — только какъ ужъ вы однако на меня-то-съ...

— Это не тотъ человекъ, горячился и кричалъ Вельчаниновъ, не слушая,—не тотъ, который напредставить самъ себя Богъ знаетъ чего, итоги справедливости и юстиціи подвести, обиду свою какъ урокъ заучить, ноетъ, кривляется, ломается, на шеѣ у людей виснетъ—и глядь—на то все и время свое употребилъ! Правда, что вы хотѣли повѣситься? Правда?

— Въ хмелю, можетъ, сбредилъ что,—не помню-съ. Намъ, Алексѣй Ивановичъ, какъ-то и неприлично ужъ ядъ-то подсыпать. Кромѣ того, что чиновникъ на хорошемъ счету, у меня и капиталъ вѣдь найдется-съ, а, можетъ, къ тому жениться опять захочу-съ.

— Да и въ каторгу сошлютъ.

— Ну, да-съ, и эта вотъ непріятность тоже-съ, хотя нынче, въ судахъ, много облегчающихъ обстоятельствъ подводятъ. А я вамъ, Алексѣй Ивановичъ, одинъ анекдотикъ преуморительный, давеча въ каретѣ вспомнилъ-съ, хотѣлъ сообщить-съ. Вотъ вы сказали сейчасъ: „У людей на шеѣ виснетъ“. Семена Петровича Ливцова, можетъ, припомните-съ, къ намъ въ Т. при васъ заѣзжалъ; ну, такъ братъ его младшій, тоже петербургскій молодой человекъ считается, въ В—омъ при губернаторѣ служилъ и тоже блисталъ-съ разными качествами-съ. Пospорилъ онъ разъ съ Голубенко, полковникомъ, въ собраніи, въ присутствіи дамъ и дамы своего сердца, и счелъ себя оскорбленнымъ, но обиду скушалъ и затаилъ; а Голубенко тѣмъ временемъ даму сердца его отбилъ и руку ей предложилъ. Что-жъ вы думаете? Этотъ Ливцовъ—даже искренно вѣдь въ дружбу съ Голубенкой вошелъ, совсѣмъ помирился, да мало того-съ—въ шафера къ нему самъ на-

просился, вѣнецъ держалъ, а какъ прѣехали изъ-подъ вѣнца, онъ подошелъ поздравлять и цѣловать Голубенку, да при всемъ-то благородномъ обществѣ и при губернаторѣ, самъ во фракѣ и завитой-сѣ, какъ пырнетъ его въ животъ ножомъ—такъ Голубенко и поватился! Это собственнѣйшій-то шаферъ, стыдъ-то какой-сѣ! Да это еще что-сѣ! Главное, что ножомъ-то пырнулъ, да и бросился кругомъ: „Ахъ, что я сдѣлалъ! Ахъ, что такое я сдѣлалъ!“ слезы льются, трясется, всѣмъ на шею кидается, даже къ дамамъ-сѣ: „Ахъ, что я сдѣлалъ! Ахъ, что, дескать, такое я теперь сдѣлалъ!“ Хе-хе-хе! Уморилъ-сѣ. Вотъ только развѣ жаль Голубенку; да и то выздоровѣлъ-сѣ.

— Я не вижу, для чего вы мнѣ рассказали, строго нахмурился Вельчаниновъ.

— Да все къ тому же-сѣ, что пырнулъ же вѣдь ножомъ-сѣ, захихикалъ Павелъ Павловичъ,—вѣдь ужъ видно, что не типъ-сѣ, а сопля человѣкъ, когда ужъ самое приличіе отъ страху забылъ и къ дамамъ на шею кидается въ присутствіи губернатора-сѣ,—а вѣдь пырнулъ же-сѣ, достигъ своего! Вотъ я только про это-сѣ.

— Убир-райтесь вы къ чорту! завопилъ вдругъ не своимъ голосомъ Вельчаниновъ, точно какъ бы что сорвалось въ немъ.—Убир-райтесь съ вашею подпольною дрянью, самъ вы подпольная дрянь,—пугать меня вздумалъ,—мучитель ребенка, низкій человѣкъ; подлець, подлець, подлець! выкрикивалъ онъ, себя не помня и задыхаясь на каждомъ словѣ.

Павла Павловича всего передернуло, даже хмель соскочилъ; губы его задрожали.

— Это меня-то вы, Алексѣй Ивановичъ, подлецомъ называете, *вы-сѣ* и *меня-сѣ*?

Но Вельчаниновъ уже очнулся.

— Я готовъ извиниться, отвѣтилъ онъ, помолчавъ и въ мрачномъ раздумьи,—но въ такомъ только случаѣ, если вы сами и сейчасъ же захотите дѣйствовать прямо.

— А я бы и во всякомъ случаѣ извинился на вашемъ мѣстѣ, Алексѣй Ивановичъ.

— Хорошо, пусть такъ, помолчалъ еще немного Вельчаниновъ,—извиняюсь передъ вами; но, согласитесь сами, Павелъ Павловичъ, что, послѣ всего этого, я уже ничѣмъ болѣе не считаю себя передъ вами обязаннымъ, то-есть я въ отношеніи *всего* дѣла говорю, а не про одинъ теперешній случай.

— Ничего-съ, что считается! ухмыльнулся Павелъ Павловичъ, смотря, впрочемъ, въ землю.

— А если такъ, то тѣмъ лучше, тѣмъ лучше! Допивайте ваше вино и ложитесь, потому что я все-таки васъ не пушу...

— Да что-жъ вино-съ... немного какъ бы смутился Павелъ Павловичъ, однако подошелъ къ столу и сталъ допивать свой давно уже налитый послѣдній стаканъ.

Можетъ, онъ уже и много пилъ передъ этимъ, такъ что рука его дрожала и онъ расплескалъ часть вина на полъ, на рубашку и на жилетъ, но все-таки допилъ до дна, точно какъ будто и не могъ оставить невыпитымъ, и, почтительно поставивъ опорожненный стаканъ на столъ, покорно пошелъ къ своей постели раздѣваться.

— А не лучше-ли... не ночевать? проговорилъ онъ вдругъ съ чего-то, уже снявъ одинъ сапогъ и держа его въ рукахъ.

— Нѣтъ, не лучше! гнѣвливо отвѣтилъ Вельчаниновъ, неустанно шагавшій по комнатѣ, не взглядывая на него.

Тотъ раздѣлся и легъ. Черезъ четверть часа улегся и Вельчаниновъ и потушилъ свѣчу.

Онъ засыпалъ безпокойно. Что-то новое, еще болѣе спутавшее *дѣло*, вдругъ откуда-то появившееся, тревожило его теперь, и онъ чувствовалъ въ то же время, что ему почему-то стыдно было этой тревоги. Онъ уже сталъ было забываться, но какой-то шорохъ вдругъ его разбудилъ. Онъ тотчасъ же оглянулся на постель Павла Павловича. Въ комнатѣ было темно (гардины были совсѣмъ спущены), но ему показалось, что Павелъ Павловичъ не лежитъ, а привсталъ и сидитъ на постели.

— Чего вы! окликнулъ Вельчаниновъ.

— Тѣнь-съ, ожидавъ немного, чуть слышно выговорилъ Павелъ Павловичъ.

— Чтò такое, какая тѣнь?

— Тамъ, въ той комнатѣ, въ дверь, какъ бы тѣнь видѣль-съ.

— Чью тѣнь? спросилъ, помолчавъ немного, Вельчаниновъ.

— Натальи Васильевны-съ.

Вельчаниновъ привсталъ на коверъ и самъ заглянулъ черезъ переднюю, въ ту комнату, двери въ которую всегда стояли отперты. Тамъ на окнахъ гардинъ не было, а были только шторы и потому было гораздо свѣтлѣе.

— Въ той комнатѣ нѣтъ ничего, а вы пьяны, ложитесь! сказалъ Вельчаниновъ, легъ и завернулся въ одѣяло.

Павель Павловичъ не сказалъ ни слова и улегся тоже.

— А прежде вы никогда не видали тѣни? спросилъ вдругъ Вельчаниновъ, минутъ ужъ десять спустя.

— Однажды какъ бы и видѣлъ-сь, слабо и тоже помедливъ, откликнулся Павель Павловичъ.

Затѣмъ опять наступило молчаніе.

Вельчаниновъ не могъ бы сказать навѣрно, спалъ-ли онъ или нѣтъ, но прошло уже съ часъ — и вдругъ онъ опять обернулся: шорохъ-ли какой его опять разбудилъ — онъ тоже не зналъ, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло надъ нимъ, бѣлое, еще не доходя до него, но уже посрединѣ комнаты. Онъ присѣлъ на постели и цѣлую минуту всматривался.

— Это вы, Павель Павловичъ? проговорилъ онъ ослабѣвшимъ голосомъ.

Этотъ собственный голосъ его, раздавшійся вдругъ въ тишинѣ и въ темнотѣ, показался ему какъ-то страннымъ.

Отвѣта не послѣдовало, но въ томъ, что стоялъ кто-то, уже не было никакого сомнѣнія.

— Это вы... Павель Павловичъ? повторилъ онъ громче и даже такъ громко, что если-бъ Павель Павловичъ спокойно спалъ на своей постели, то непременно бы проснулся и далъ отвѣтъ.

Но отвѣта опять не послѣдовало, зато показалось ему, что эта бѣлая и чуть различаемая фигура еще ближе къ нему придвинулась. Затѣмъ произошло нѣчто странное: что-то вдругъ въ немъ какъ бы сорвалось, точь-въ-точь какъ давеча, и онъ закричалъ изъ всѣхъ силъ, самымъ нелѣпымъ, бѣшеннымъ голосомъ, задыхаясь чуть не на каждомъ словѣ:

— Если вы... пьяный шутъ... осмѣлитесь только подумать... что вы можете... меня испугать, то я обернусь къ стѣнѣ, завернусь съ головой и ни разу ни обернусь во всю ночь... чтобы тебѣ доказать, во что я цѣню... хоть бы вы простояли до утра... шутомъ... и на васъ плюю!..

И онъ, яростно плюнувъ въ сторону предполагаемаго Павла Павловича, вдругъ обернулся къ стѣнѣ, завернулся, какъ сказалъ, въ одѣяло и какъ бы замеръ въ этомъ положеніи, не шевелясь. Настала мертвая тишина. Придвигалась-ли тѣнь или стояла на мѣстѣ — онъ не могъ узнать, но сердце его билось, билось, билось. Прошло, по крайней

мѣрѣ, полныхъ минутъ пять, и вдругъ, въ двухъ шагахъ отъ него, раздался слабый, совсѣмъ жалобный голосъ Павла Павловича.

— Я, Алексѣй Ивановичъ, всталъ поискать... (и онъ назвалъ одинъ необходимѣйшій домашній предметъ) — я тамъ не нашель у себя-сь... хотѣлъ потихоньку подлѣ васъ посмотрѣть-сь, у постели-сь.

— Что же вы молчали... когда я кричалъ! прерывающимся голосомъ спросилъ Вельчаниновъ, переждавъ съ полминуты.

— Испугался - съ. Вы такъ закричали... я и испугался-сь.

— Тамъ, въ углу налѣво, къ дверямъ, въ шкапикѣ, зажгите свѣчу...

— Да я и безъ свѣчки-сь... смиренно промолвилъ Павелъ Павловичъ, направляясь въ уголь. — Вы ужъ простите, Алексѣй Ивановичъ, что васъ такъ потревожилъ-сь... совсѣмъ вдругъ такъ охмелѣлъ-сь...

Но тотъ уже ничего не отвѣчалъ. Онъ все продолжалъ лежать лицомъ къ стѣнѣ и пролежалъ такъ всю ночь, ни разу не обернувшись. Ужъ хотѣлось-ли ему такъ исполнить слово и показать презрѣнiе, — онъ самъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается; нервное расстройство его перешло, наконецъ, почти въ бредъ, и онъ долго не засыпалъ. Проснувшись на другое утро, въ десятомъ часу, онъ вдругъ вскочилъ и присѣлъ на постели, точно его подтолкнули, — но Павла Павловича уже не было въ комнатѣ, — оставалась одна только пустая, неубранная постель, а самъ онъ улизнулъ чѣмъ свѣтъ.

— Я такъ и зналъ! хлопнулъ себя Вельчаниновъ ладонью по лбу.

Х.

На кладбищѣ.

Опасенiя доктора оправдались и Лизѣ вдругъ сдѣлалось хуже, — такъ худо, какъ и не воображали накануне Вельчаниновъ и Клавдiя Петровна. Вельчаниновъ поутру засталъ больную еще въ памяти, хотя она вся горѣла въ жару; онъ увѣрялъ потомъ, что она ему улыбнулась и даже протянула ему свою горячую ручку. Правда-ли это было, или только онъ самъ выдумалъ себѣ это невольно, въ утѣшенiе, — провѣрить ему было некогда; къ ночи больная была уже безъ памяти, и такъ продолжалось во все

время болѣзни. На десятый день своего переѣзда на дачу она умерла.

Это было скорбное время для Вельчанинова; Погорѣльцевы даже боялись за него. Большую часть этихъ тяжелыхъ дней онъ прожилъ у нихъ. Въ самые послѣдніе дни болѣзни Лизы онъ по цѣлымъ часамъ просиживалъ одинъ, гдѣ-нибудь въ углу, и, повидимому, ни о чемъ не думалъ; Клавдія Петровна подходила его развлекать, но онъ отвѣчалъ мало, иногда видимо тяготясь съ нею разговаривать. Клавдія Петровна даже не ожидала, что на него „все это произведетъ такое впечатлѣніе“. Всего больше развлекали его дѣти; онъ съ ними даже иногда смѣялся; но каждый почти часъ вставалъ со стула и на цыпочкахъ шелъ взглянуть на больную. Иногда ему казалось, что она его узнаетъ. Надежды на выздоровленіе онъ не имѣлъ никакой, какъ и всѣ, но отъ комнаты, въ которой умирала Лиза, не отходилъ и обыкновенно сидѣлъ въ комнатѣ рядомъ.

Раза два, впрочемъ, и въ эти дни онъ вдругъ обнаруживалъ чрезвычайную дѣятельность: вдругъ подымался, бросался въ Петербургъ къ докторамъ, приглашалъ самыхъ извѣстнѣйшихъ и составлялъ консилиумы. Второй, послѣдній, консилиумъ былъ наканунѣ смерти больной. Дня за три до этого Клавдія Петровна заговорила съ Вельчаниновымъ настойчиво о необходимости отыскать гдѣ-нибудь, наконецъ, господина Трусоцкаго: „въ случаѣ несчастія Лизу и похоронить безъ него нельзя было“. Вельчаниновъ промямлилъ, что онъ ему напишетъ. Тогда старикъ Погорѣльцевъ объявилъ, что онъ самъ разыщетъ его черезъ полицію. Вельчаниновъ написалъ, наконецъ, увѣдомленіе въ двухъ строчкахъ и отвезъ его въ Покровскую гостиницу. Павла Павловича, по обыкновенію, не было дома, и онъ вручилъ письмо для передачи Марьѣ Сысоевнѣ.

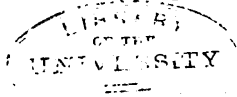
Наконецъ, умерла Лиза, въ прекрасный лѣтній вечеръ, вмѣстѣ съ закатомъ солнца, и тутъ только какъ бы очнулся Вельчаниновъ. Когда мертвую убрали, нарядивъ ее въ праздничное бѣлое платье одной изъ дочерей Клавдіи Петровны, и положили въ залъ на столъ съ цвѣтами въ сложенныхъ ручкахъ,—онъ подошелъ къ Клавдіи Петровнѣ и, сверкая глазами, объявилъ ей, что онъ сейчасъ же привезетъ и „убійцу“. Не слушая совѣтовъ повременить до завтра, онъ немедленно отправился въ городъ.

Онъ зналъ, гдѣ застать Павла Павловича; не за одними

докторами отправлялся онъ въ Петербургъ. Иногда въ эти дни ему казалось, что привези онъ къ умиравшей Лизѣ отца—и она, услыхавъ его голосъ, очнется; тогда онъ, какъ отчаянный, пускался его разыскивать. Павелъ Павловичъ квартировалъ, попрежнему, въ номерахъ, но въ номерахъ и спрашивать было нечего: „по три дня не ночуетъ и не приходитъ“, рапортовала Марья Сысоевна,— „а придетъ невзначай пьяный, часу не пробудетъ и опять потащится; совсѣмъ растрепался“. Половой Покровской гостиницы сообщил Вельчанинову, между прочимъ, что Павелъ Павловичъ, еще прежде, посѣщалъ какихъ-то дѣвицъ на Вознесенскомъ проспектѣ. Вельчаниновъ немедленно разыскалъ дѣвицъ. Задаренныя и угощенныя особы припомнили тотчасъ своего гостя, главное, по его шляпѣ съ крепомъ, при чемъ тутъ же его обругали, конечно, за то, что онъ къ нимъ больше не ходилъ. Одна изъ нихъ, Катя, взялась „во всякое время Павла Павловича разыскать, потому что онъ отъ Машки Простаковой теперь не выходитъ, а денегъ у него и дна нѣтъ, а Машка эта — не Простакова, а Прохвостова, и въ больницѣ лежала, и захоти она только, такъ сейчасъ же ее въ Сибирь упрячетъ, всего одно слово скажетъ“. Катя однакоже не разыскала въ тотъ разъ, но зато крѣпко общалась въ другой. Вотъ на ея-то содѣйствіе и надѣялся теперь Вельчаниновъ.

Прибывъ въ городъ уже въ десять часовъ, онъ немедленно ее вытребовалъ, заплативъ кому слѣдовало за ея отсутствіе, и отправился съ нею на поиски. Онъ еще и самъ не зналъ, что собственно онъ теперь сдѣлаетъ съ Павломъ Павловичемъ: убьетъ-ли его за что-то, или просто ищетъ его, чтобы сообщить о смерти дочери и о необходимости его содѣйствія при погребеніи? На первый разъ вышла неудача: оказалось, что Машка Прохвостова разодралась съ Павломъ Павловичемъ еще третьяго дня, и что какой-то казначей „Павлу Павловичу голову скамейкой прошибъ“. Однимъ словомъ, долго онъ не отыскивался, и, наконецъ, ужъ только въ два часа пополночи Вельчаниновъ, при выходѣ изъ одного указанного ему заведенія, вдругъ и неожиданно самъ на него натолкнулся.

Павла Павловича подводили къ этому заведенію двѣ дамы совершенно пьянаго; одна изъ дамъ придерживала его подъ руку, а сзади сопутствовалъ имъ одинъ рослый



и размашистый претендентъ, кричавшій во все горло и страшно грозившій Павлу Павловичу какими-то ужасами. Онъ кричалъ, между прочимъ, что тотъ его „эксплоатировалъ и отравилъ ему жизнь“. Дѣло, кажется, шло о какихъ-то деньгахъ; дамы очень трусили и спѣшили. Завидѣвъ Вельчанинова, Павелъ Павловичъ кинулся къ нему съ распростертыми руками и закричалъ, точно его рѣзали:

— Братецъ родной, защиты!

При видѣ атлетической фигуры Вельчанинова, претендентъ мигомъ ступевался; торжествующій Павелъ Павловичъ простеръ ему вслѣдъ свой кулакъ и завопилъ въ знакъ побѣды; тутъ Вельчаниновъ яростно схватилъ его за плечи и, самъ не зная для чего, сталъ трясти обѣими руками, такъ что у того зубы застучали. Павелъ Павловичъ тотчасъ же пересталъ кричать и съ тупоумнымъ пьянымъ испугомъ смотрѣлъ на своего истязателя. Вѣроятно, не зная, что съ нимъ дѣлать далѣе, Вельчаниновъ крѣпко нагнулъ его и посадилъ на тротуарную тумбу.

— Лиза умерла! проговорилъ онъ ему.

Павелъ Павловичъ, все еще не спуская съ него глазъ, сидѣлъ на тумбѣ, поддерживаемый одною изъ дамъ. Онъ понялъ, наконецъ, и лицо его какъ-то вдругъ осунулось.

— Умерла... какъ-то странно прошептала онъ. Усмѣхнулся-ли онъ съ-пьяна своею скверною длинною улыбкой, или у него скривилось что-то въ лицѣ, — Вельчаниновъ не могъ разобрать, но мгновеніе спустя, Павелъ Павловичъ поднимая съ усиліемъ свою дрожавшую правую руку, чтобы перекреститься; крестъ, однакожъ, не сложился, и дрожавшая рука опустилась. Немного погодя онъ медленно привсталъ съ тумбы, схватился за свою даму и, опираясь на нее, пошелъ своей дорогою далѣе, какъ бы въ забытіи, — точно и не было тутъ Вельчанинова. Но тотъ ухватилъ его опять за плечо.

— Понимаешь-ли ты, пьяный извергъ, что безъ тебя ее и похоронить нельзя будетъ! прокричалъ онъ, задыхаясь. Тотъ повернулъ къ нему голову.

— Артиллеріи... прапорщика... помните? промямлилъ онъ тупо ворочавшимся языкомъ.

— Что-о-о? завопилъ Вельчаниновъ; болѣзненно вздрогнувъ.

— Вотъ тебѣ и отецъ! Ищи его... хоронить...

— Лжешь! закричалъ Вельчаниновъ, какъ потерянный, —

ты со злости... я такъ и зналъ, что ты это мнѣ пригото-
водишь!

Не помня себя, онъ занесъ свой страшный кулакъ надъ головою Павла Павловича. Еще мгновеніе—и онъ, можетъ-быть, убилъ бы его однимъ ударомъ; дамы взвизгнули и отлетѣли прочь, но Павелъ Павловичъ не смигнулъ даже глазомъ. Какое-то изступленіе самой звѣрской злобы исказило ему все лицо.

— А знаешь ты, произнесъ онъ тораздо тверже, почти какъ не пьяный, нашу русскую?.. (И онъ проговорилъ самое невозможное въ печати ругательство).—Ну, такъ и убирайся къ ней!

Затѣмъ съ силою рванулъ изъ рукъ Вельчанинова, осту-пилъ и чуть не упалъ. Дамы подхватили его и въ этотъ разъ уже побѣжали, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчаниновъ не преслѣдовалъ.

На завтра, въ часъ пополудни, на дачу Погорѣльцевыхъ явился одинъ весьма приличный чиновникъ, среднихъ лѣтъ, въ вицмундирѣ, и вѣжливо вручилъ Клавдію Петровицѣ адресованный на ея имя пакетъ, отъ имени Павла Павловича Трусоцкаго. Въ пакетѣ заключалось письмо со вложеніемъ трехсотъ рублей и съ необходимыми свидѣтельствами о Лизѣ. Павелъ Павловичъ писалъ коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Онъ весьма благодарилъ ея превосходительство Клавдію Петровну за ея добродѣтельное участіе къ сиротѣ, за которое можетъ ей воздать только одинъ Богъ. Неясно упоминалъ, что крайнее нездоровье не позволитъ ему явиться лично похоронить нѣжно имъ любимую и несчастную дочь, и возлагалъ въ этомъ всѣ надежды на ангельскую доброту души ея превосходительства. Триста же рублей назначались, какъ разъяснилъ онъ далѣе въ письмѣ,—на похороны и вообще на расходы, причиненные болѣзнію. Если же бы и осталось что изъ этой суммы, то покорнѣйше и почтительнѣйше просить употребить ихъ на вѣчное поминовеніе за упокой души усопшей Лизы. Чиновникъ, доставившій письмо, не могъ ничего болѣе объяснить; даже оказалось изъ нѣкоторыхъ его словъ, что онъ только по усиленной просьбѣ Павла Павловича взялся доставить лично пакетъ ея превосходительству. Погорѣлецъ почти обидѣлся выраженіемъ „о расходахъ, причиненныхъ болѣзнію“ и опредѣлилъ, оставивъ пятьдесятъ рублей на погребеніе,—такъ какъ нельзя же было воспре-

тить отцу хоронить свое дитя,—остальные двѣсти пятьдесятъ рублей возвратитъ немедленно господину Трусоцкому. Клавдія Петровна рѣшила окончательно возвратитъ не двѣсти пятьдесятъ рублей, а расписку изъ кладбищенской церкви въ полученіи этихъ денегъ на вѣчное поминовеніе души усопшей отроковицы Елизаветы. Расписка была выдана потомъ Вельчанинову для врученія немедленно; онъ отослалъ ее по почтѣ въ номеръ.

Послѣ похоронъ онъ исчезъ съ дачи. Цѣлыя двѣ недѣли слонялся онъ по городу, безо всякой цѣли, одинъ, и натыкался на людей въ задумчивости. Иногда же по цѣлымъ днямъ лежалъ, протянувшись у себя на диванѣ, забывая о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ. Погорѣльцевы много разъ прислали звать его къ себѣ; онъ обѣщалъ и тотчасъ же забывалъ. Клавдія Петровна даже пріѣзжала къ нему сама, но не застала его дома. То же случилось и съ его адвокатомъ; а между тѣмъ адвокату было что сообщить: тяжбное дѣло было имъ весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую съ вознагражденіемъ весьма незначительной долею оспариваемаго ими наслѣдства. Оставалось получить только согласіе самого Вельчанинова. Заставъ его, наконецъ, у себя, адвокатъ былъ удивленъ чрезвычайною вялостью и равнодушіемъ, съ которыми онъ, еще недавно такой безпокойный клиентъ, его выслушалъ.

Настали самые жаркіе іюльскіе дни, но Вельчаниновъ забывалъ самое время. Его горе наболѣло въ его душѣ, какъ созрѣвшій нарывъ, и выяснялось ему поминутно въ мучительно-сознательной мысли. Главное страданіе его состояло въ томъ, что Лиза не успѣла узнать его и умерла, не зная, какъ онъ мучительно любилъ ее! Вся цѣль его жизни, мелькнувшая передъ нимъ въ такомъ радостномъ свѣтѣ, вдругъ померкла въ вѣчной тѣмѣ. Эта цѣль состояла бы именно въ томъ,—поминутно думалъ онъ объ этомъ теперь,—чтобы Лиза каждый день, каждый часъ и всю жизнь непрерывно ощущала его любовь на себѣ. „Выше нѣтъ никакой цѣли ни у кого изъ людей и не можетъ быть!“ задумывался онъ иногда въ мрачномъ восторгѣ.—„Если и есть другія цѣли, то ни одна изъ нихъ не можетъ быть святѣ этой!“ Любовью Лизы,—мечталъ онъ,—очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь; замѣнь меня, празднаго, порочнаго и отжившаго, я взлелѣвалъ бы для жизни чистое

и прекрасное существо, и за это существо все было бы мнѣ прощено, и все бы я самъ простилъ себѣ.

Всѣ эти *сознательныя* мысли представлялись ему всегда нераздѣльно, съ яркимъ, всегда близкимъ и всегда поражающимъ его душу воспоминаніемъ объ умершемъ ребенкѣ. Онъ воссоздавалъ себѣ ея блѣдное личико, припоминалъ каждое выраженіе его: онъ вспоминалъ ее и въ гробу, въ цвѣтахъ, и прежде безчувственную въ жару, съ открытыми и неподвижными глазами. Онъ вспоминалъ вдругъ, что когда она лежала уже на столѣ, онъ замѣтилъ у ней одинъ, Богъ знаетъ отчего, почернѣвшій въ болѣзни пальчикъ; это такъ его поразило тогда, и такъ жалко ему стало этотъ бѣдный пальчикъ, что тутъ и вошло ему тогда въ голову, въ первый разъ, отыскать сейчасъ же и убить Павла Павловича, до того же времени онъ „былъ какъ безчувственный“. Гордость-ли оскорбленная замучила это дѣтское сердечко, три-ли мѣсяца страданій отъ отца, перемѣнившего вдругъ любовь на ненависть и оскорбившаго ее позорнымъ словомъ, смѣявшагося надъ ея испугомъ и выбросившаго ее, наконецъ, къ чужимъ людямъ? Все это онъ представлялъ себѣ непрерывно и варьировалъ на тысячу ладовъ. „Знаете-ли что такое была для меня Лиза?“ припомнилъ онъ вдругъ восклицаніе пьянаго Трусоцкаго и чувствовалъ, что это восклицаніе было уже не кривлянье, а правда, и что тутъ была любовь. „Какъ же могъ быть такъ жестокъ этотъ извергъ къ ребенку, котораго такъ любилъ, и вѣроятно-ли это?“ Но каждый разъ онъ поскорѣе бросалъ этотъ вопросъ и какъ бы отмахивался отъ него; что-то ужасное было въ этомъ вопросѣ, что-то невыносимое для него и нерѣшенное.

Въ одинъ день, и почти самъ не помня какъ, онъ забрелъ на кладбище, на которомъ похоронили Лизу, и отыскалъ ея могилку. Ни разу съ самыхъ похоронъ онъ не былъ на кладбищѣ; ему все казалось, что будетъ уже слишкомъ много мучки, и онъ не смѣлъ пойти. Но странно, когда онъ приникъ на ея могилку и поцѣловалъ ее, ему вдругъ стало легче. Былъ ясный вечеръ, солнце закатывалось; кругомъ, около могилъ, росла сочная, зеленая трава; недалеко въ шиповникѣ жужжала пчела; цвѣты и вѣнки, оставленные на могилкѣ Лизы послѣ погребенія дѣтьми и Клавдіей Петровной, лежали тутъ же, съ облетѣвшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда въ первый разъ послѣ долгаго времени освѣжила ему сердце.

„Какъ легко!“ подумалъ онъ, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо.

Приливъ какой-то чистой, безмятежной вѣры во что-то наполнилъ ему душу.

„Это Лиза послала мнѣ, это она говорить со мной“, подумалось ему.

Совсѣмъ уже смеркалось, когда онъ пошелъ съ кладбища обратно домой. Не такъ далеко отъ кладбищенскихъ воротъ, по дорогѣ, въ низенькомъ деревянномъ домикѣ, помѣщалось что-то въ родѣ харчевни или распивочной; въ отворенныхъ окнахъ видѣлись посѣтители, сидѣвшіе за столами. Ему вдругъ показалось, что одинъ изъ нихъ, помѣщавшійся у самаго окна,—Павель Павловичъ, и что онъ тоже видитъ его и любопытно его высматриваетъ изъ окошка. Онъ пошелъ далѣе и вскорѣ услышалъ, что его догоняютъ; за нимъ бѣжалъ и въ самомъ дѣлѣ Павель Павловичъ; должно-быть, примирительное выраженіе въ лицѣ Вельчанинова привлекло и ободрило его, когда онъ наблюдалъ изъ окошка. Поровнявшись, онъ, робѣя, улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой; онъ даже и совсѣмъ не былъ пьянъ.

— Здравствуйте, сказалъ онъ.

— Здравствуйте, отвѣчалъ Вельчаниновъ.

XI.

Павель Павловичъ женится.

Отвѣтивъ это „здравствуйте“, онъ самъ себя удивился. Ужасно странно показалось ему, что встрѣчаетъ теперь этого человѣка вовсе безъ злобы и что въ его чувствахъ къ нему, въ эту минуту, что-то совсѣмъ другое и даже какой-то позывъ къ чему-то новому.

— Вечеръ какой пріятный, проговорилъ, засматривая ему въ глаза, Павель Павловичъ.

— Вы еще не уѣхали? промолвилъ Вельчаниновъ, какъ бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти.

— Затянулось у меня, но — мѣсто я получилъ-съ, съ повышеніемъ-съ. Отъѣзжаю послѣзавтра навѣрно.

— Получили мѣсто? на этотъ разъ уже спросилъ онъ.

— Почему же бы и нѣтъ-съ? покривился вдругъ Павель Павловичъ.

— Я только такъ сказалъ... отговорился Вельчаниновъ и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича.

Къ его удивленію, одежда, шляпа съ крепомъ и весь видъ господина Трусоцкаго были несравненно приличнѣе, чѣмъ двѣ недѣли назадъ.

„Зачѣмъ онъ сидѣлъ въ этой распивочной?“ все думалось ему.

— Я вамъ, Алексѣй Ивановичъ, намѣревался и про другую мою радость сообщить, началъ опять Павелъ Павловичъ.

— Радость?

— Я женюсь-съ.

— Какъ?

— Послѣ скорби и радость-съ, такъ всегда въ жизни-съ; я, Алексѣй Ивановичъ, очень бы желалъ-съ... но—не знаю, можетъ, вы теперь спѣшите, потому что у васъ такой видъ-съ...

— Да, я спѣшу и... да, я нездоровъ.

Ему ужасно вдругъ захотѣлось отдѣлаться; готовность къ какому-то новому чувству вмигъ исчезла.

— А я бы желалъ-съ...

Павелъ Павловичъ не договорилъ, чего онъ желалъ; Вельчаниновъ промолчалъ.

— Въ такомъ случаѣ уже послѣ-съ, если только повстрѣчаемся...

— Да, да, послѣ, скороговоркой бормоталъ Вельчаниновъ, не глядя на него и не останавливаясь.

Еще помолчали съ минуту; Павелъ Павловичъ все еще продолжалъ идти подлѣ.

— Въ такомъ случаѣ до свиданья-съ, вымолвилъ онъ, наконецъ.

— До свиданья; желаю...

Вельчаниновъ воротился домой опять совсѣмъ разстроенный. Столкновеніе съ „этимъ человѣкомъ“ было ему не подъ силу. Ложась спать, онъ опять подумалъ:

„Зачѣмъ онъ былъ у кладбища?“

На другой день поутру онъ рѣшился, наконецъ, съѣздить къ Погорѣльцевымъ, рѣшился неохотно; ему слишкомъ тяжело было теперь чье-нибудь участіе, даже и отъ Погорѣльцевыхъ. Но они такъ о немъ беспокоились, что непременно надо было поѣхать. Ему вдругъ представилось, что ему станеть почему-то очень стыдно при первой съ ними встрѣчѣ.

„Ѣхать или не Ѣхать?“ думалъ онъ. спѣша окончить

завтракъ, какъ вдругъ, въ чрезвычайному его изумленію, къ нему вошелъ Павелъ Павловичъ.

Несмотря на вчерашнюю встрѣчу, Вельчаниновъ и представить не могъ, что этотъ человекъ когда-нибудь опять зайдетъ къ нему, и былъ такъ озадаченъ, что глядѣлъ на него и не зналъ, что сказать. Но Павелъ Павловичъ распорядился самъ, поздоровался и усѣлся на томъ же самомъ стулѣ, на которомъ сидѣлъ три недѣли назадъ въ послѣднее свое посѣщеніе. Вельчанинову вдругъ особенно ярко припомнилось то посѣщеніе. Безпокойно и съ отвращеніемъ смотрѣлъ онъ на гостя.

— Удивляетесь-съ? началъ Павелъ Павловичъ, угадавшій взглядъ Вельчанинова.

Вообще, онъ казался гораздо развязнѣе чѣмъ вчера и въ то же время проглядывало, что онъ и робѣлъ еще больше вчерашняго. Наружный видъ его былъ особенно любопытенъ. Господинъ Трусоцкій былъ не только прилично, но и франтовски одѣтъ—въ легкомъ лѣтнемъ пиджакѣ, въ свѣтлыхъ брюкахъ въ обтяжку, въ свѣтломъ жилетѣ; перчатки, золотой лорнетъ, для чего-то вдругъ появившійся, бѣлье—были безукоризненны; отъ него даже пахло духами. Во всей фигурѣ его было что-то и смѣшное, и въ то же время наводившее на какую-то странную и неприятную мысль.

— Конечно, Алексѣй Ивановичъ, продолжалъ онъ, корясь,—я васъ удивилъ приходомъ-съ, и — чувствую-съ. Но между людьми, я такъ думаю-съ, всегда сохраняется,— а по-моему, такъ и должно храниться-съ, нѣчто высшее, такъ-ли-съ? То-есть высшее относительно всѣхъ условій и даже самыхъ неприятностей, могущихъ выйти... такъ-ли-съ?

— Павелъ Павловичъ, скажите все поскорѣе и безъ церемоній, нахмурился Вельчаниновъ.

— Въ двухъ словахъ-съ, заспѣшилъ Павелъ Павловичъ,—я женюсь и отправляюсь теперь къ невѣстѣ, сейчасъ-съ. Они тоже на дачѣ-съ. Я желалъ бы получить глубокую честь, чтобы осмѣлиться познакомиться васъ съ этимъ домомъ-съ, и пришелъ-съ съ необычайною просьбою (Павелъ Павловичъ покорно нагнулъ голову) просить васъ, чтобы мнѣ сопутствовать-съ...

— Куда сопутствовать?

Вельчаниновъ вытаращилъ глаза.

— Къ нимъ-съ, то-есть, на дачу-съ. Простите, я какъ

въ лихорадеѣ говорю и, можетъ, спуталъ; но я такъ ужъ вашего отказа боюсь-сь.

И онъ плачевно посмотрѣлъ на Вельчанинова.

— Вы хотите, чтобы я съ вами ѣхалъ теперь къ вашей невѣстѣ? переговорилъ Вельчаниновъ, быстро его оглядывая и не вѣря ни ушамъ, ни глазамъ своимъ.

— Да-съ, ужасно оробѣлъ вдругъ Павелъ Павловичъ.— Вы не разсердитесь, Алексѣй Ивановичъ, тутъ не дерзость-сь; я только покорнѣйше и необычайно прошу. Я помечталъ, что, можетъ-быть, вы и не захотѣли бы при этомъ отказать...

— Во-первыхъ, это вовсе невозможно, безпокойно заворочался Вельчаниновъ.

— Это только мое чрезмѣрное желаніе и не болѣе-сь, продолжалъ тотъ умолять, — я не скрою тоже, что есть тутъ и причина-сь. Но о причинѣ этой хотѣлъ бы открыть лишь послѣ-сь, а теперь лишь необычайно прошу-сь...

И онъ даже всталъ со стула отъ почтенія.

— Но во всякомъ случаѣ это невозможно же, согласитесь сами...

Вельчаниновъ тоже всталъ съ мѣста.

— Это очень возможно-сь, Алексѣй Ивановичъ,—я при этомъ васъ располагалъ познакомить-сь, такъ, какъ пріятеля-сь; а во-вторыхъ, вы вѣдь и безъ того тамъ знакомы-сь; вѣдь это къ Захлебнину, на дачу. Статскій совѣтникъ Захлебнинъ-сь.

— Какъ такъ? вскричалъ Вельчаниновъ.

Это былъ тотъ самый статскій совѣтникъ, котораго онъ съ мѣсяцъ назадъ все искалъ и не заставлялъ дома, дѣйствовавшій, какъ оказалось, въ пользу противной стороны въ его тяжбѣ.

— Ну, да, ну, да, улыбался Павелъ Павловичъ, какъ бы ободренный чрезвычайнымъ удивленіемъ Вельчанинова,— тотъ самый, вотъ еще помните, когда вы тогда шли съ нимъ и разговаривали, а я глядѣлъ на васъ и стоялъ напротивъ; я тогда выжидалъ, чтобы къ нему подойти послѣ васъ. Назадъ лѣтъ двадцать вмѣстѣ даже служили-сь, а тогда, когда я подойти хотѣлъ послѣ васъ-сь, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла, съ недѣлю назадъ-сь.

— Но, послушайте, вѣдь это, кажется, весьма порядочное семейство? наивно удивился Вельчаниновъ.

— Такъ почему же-съ, если порядочное? покривился Павелъ Павловичъ.

— Нѣтъ, разувѣтся, я не про то... но сколько я замѣтилъ тамъ бывши...

— Они помнятъ, они помнятъ-съ, какъ вы были, радостно подхватилъ Павелъ Павловичъ,—только вы семейства не могли тогда увидѣть-съ; а самъ онъ помнитъ-съ, и васъ уважаетъ. Я имъ почтительно о васъ говорилъ.

— Но какъ же, если вы только три мѣсяца вдовѣете?

— Да вѣдь не сейчасъ свадьба-то-съ; свадьба черезъ девять или черезъ десять мѣсяцевъ будетъ, такъ что ровно годъ траура и пройдетъ-съ. Повѣрите, что все хорошо-съ. Во-первыхъ, Ѳедосѣй Петровичъ меня даже съ малолѣтства знаетъ, зналъ покойную супругу мою, знаетъ, какъ я жилъ, на какомъ счету-съ, и, наконецъ, у меня есть состояніе, а теперь вотъ и мѣсто съ повышеніемъ получаю,—такъ это все и на вѣсу-съ.

— Что-жь, это дочь его?

— Я вамъ все это расскажу въ подробности-съ, пріятно съезжился Павелъ Павловичъ,—позвольте папирочку закурю. Къ тому же, вы сами сегодня увидите. Во-первыхъ, такіе дѣльцы, какъ Ѳедосѣй Петровичъ, здѣсь, въ Петербургѣ, иногда очень на службѣ цѣнятся, если успѣютъ обратить вниманіе-съ. Но вѣдь кромѣ жалованья и пуце того—прибавочныхъ, наградныхъ, дополнительныхъ, столовыхъ, или тамъ единовременныхъ пособій-съ—ничего вѣдь и нѣтъ-съ, то-есть основного-то-съ, составляющаго капиталъ. Живутъ хорошо, а скопить никакъ невозможно, если при семействѣ-съ. Сообразите сами: восемь дѣвицъ у Ѳедосѣя Петровича и одинъ только сынъ-малолѣтковъ. Умри онъ сейчасъ—останется вѣдь только пенсія жиденькая-съ. А тутъ восемь дѣвицъ,—нѣтъ, вы только сообразите-съ, сообразите-съ: вѣдь это если каждой по башмакамъ, такъ и тутъ что составить! Изъ восьми дѣвицъ пять ужъ невѣсть-съ, старшей-то двадцать четыре года—(прелестнѣйшая дѣвица, сами увидите-съ!)—а шестой—пятнадцать лѣтъ, еще въ гимназій учится. Вѣдь для пяти-то старшихъ дѣвицъ надо жениховъ приискать, что по возможности заблаговременнѣе дѣлать слѣдуетъ, отцу-съ надо, стало-быть, вывозить-съ,—чего же это стѣитъ, я васъ спрошу-съ? И вдругъ я появляюсь, еще первый женихъ у нихъ въ домѣ-съ, и имъ извѣстенъ завѣдомо, то-есть

въ томъ смыслѣ, что при дѣйствительномъ состояніи-сѣ. Ну, вотъ и все-сѣ.

Павель Павловичъ объяснялъ съ упоеніемъ.

— Вы къ старшей посватались?

— Н-нѣтъ-сѣ, я... не къ старшей; я вотъ къ этой шестой посватался, вотъ которая еще продолжаетъ ученіе въ гимназій.

— Какъ? невольно усмѣхнулся Вельчаниновъ, — да вѣдь вы же говорите, ей пятнадцать лѣтъ!

— Пятнадцать-сѣ теперь; но черезъ девять мѣсяцевъ ей будетъ шестнадцать, шестнадцать лѣтъ и три мѣсяца, такъ почему же-сѣ? А такъ какъ теперь все это неприлично-сѣ, то гласнато покамѣстъ и нѣтъ ничего, а только съ родителями... Повѣрьте, что все хорошъ-сѣ!

— Стало-быть, еще не рѣшено?

— Нѣтъ, рѣшено, все рѣшено-сѣ. Повѣрьте, что все хорошо-сѣ.

— А она знаетъ?

— То-есть это только видъ такой, для приличія, что будто и не говорятъ; а вѣдь какъ же не знать-сѣ, пріятно прищурился Павель Павловичъ.—Что же, осчастливите, Алексѣй Ивановичъ? ужасно робко закончилъ онъ.

— Да зачѣмъ мнѣ-то туда? Впрочемъ, прибавилъ онъ торопливо, — такъ какъ я во всякомъ случаѣ не поѣду, то и не выставляйте мнѣ никакихъ причинъ.

— Алексѣй Ивановичъ...

— Да неужели же я съ вами рядомъ сяду и поѣду, подумайте!

Отвратительное и непріязненное ощущеніе возвратилось опять къ нему послѣ минутнаго развлеченія болтовней Павла Павловича о невѣстѣ. Еще бы, кажется, минута, и онъ прогналъ бы его вовсе. Онъ злился даже на себя за что-то.

— Сядьте, Алексѣй Ивановичъ, сядьте рядомъ и не раскаетесь! проникнутымъ голосомъ умолялъ Павель Павловичъ.—Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! замахалъ онъ руками, поймавъ нетерпѣливый и рѣшительный жестъ Вельчанинова.— Алексѣй Ивановичъ, Алексѣй Ивановичъ, подождите предрѣшать-сѣ! Я вижу, что вы, можетъ-быть, превратно меня поняли: вѣдь я слишкомъ хорошо понимаю, что ни вы мнѣ, ни я вамъ—мы не товарищи-сѣ; я вѣдь не до того ужъ нелѣпъ-сѣ, чтобъ ужъ этого не понять-сѣ. И что теперешняя услуга, о которой прошу, ни къ чему въ даль-

нѣйшемъ вамъ не вмѣняется. Да и самъ я послѣзавтра уѣду совсѣмъ-съ, совершенно-съ; значитъ, какъ бы и не было ничего. Пусть этотъ день будетъ одинъ только случай-съ. Я къ вамъ шелъ и надежду основалъ на благородствѣ особенныхъ чувствъ вашего сердца, Алексѣй Ивановичъ,—именно на тѣхъ самыхъ чувствахъ, которыя въ послѣднее время могли быть въ вашемъ сердцѣ возбуждены-съ... Ясно вѣдь, кажется, я говорю, или еще нѣтъ-съ?

Волненіе Павла Павловича возросло до чрезвычайности. Вельчаниновъ странно глядѣлъ на него.

— Вы просите о какой-то услугѣ съ моей стороны? спросилъ онъ, задумываясь,—и ужасно настаиваете,—это мнѣ подозрительно; я хочу больше знать.

— Вся услуга лишь въ томъ, что вы со мной поѣдете. А потомъ, когда прійдемъ обратно, я все разверну передъ вами какъ на исповѣди. Алексѣй Ивановичъ, довѣрьтесь!

Но Вельчаниновъ все еще отказывался, и тѣмъ упорнѣе, что ощущалъ въ себѣ одну какую-то тяжелую, злобную мысль. Эта злая мысль уже давно зашевелилась въ немъ, съ самаго начала, какъ только Павелъ Павловичъ возвѣстилъ о невѣстѣ: простое-ли это было любопытство, или какое-то совершенно еще неясное влеченіе, но его тянуло согласиться. И чѣмъ больше тянуло, тѣмъ болѣе онъ оборонялся. Онъ сидѣлъ, облокотясь на руку, и раздумывалъ. Павелъ Павловичъ юлилъ около него и упрашивалъ.

— Хорошо, поѣду, согласился онъ вдругъ безпокойно и почти тревожно, вставая съ мѣста.

Павелъ Павловичъ обрадовался чрезмѣрно.

— Нѣтъ, ужъ вы, Алексѣй Ивановичъ, теперь пріодѣньтесь, юлилъ онъ радостно вокругъ одѣвавшагося Вельчанинова,—получше, по-вашему одѣньтесь.

„И чего онъ самъ туда лѣзетъ, странный человѣкъ?“ думалъ про себя Вельчаниновъ.

— А вѣдь я не одной этой услуги отъ васъ, Алексѣй Ивановичъ, ожидаю-съ. Ужъ коли дали согласіе, такъ ужъ будьте и руководителемъ-съ.

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, большой вопросъ: крепъ-съ? Чтò приличнѣе: снять или съ крепомъ остаться?

— Какъ хотите.

— Нѣтъ, я вашего рѣшенія желаю-съ, какъ бы вы поступили сами, то-есть если бы имѣли крепъ-съ? Моя собственная мысль была, что если сохранить, такъ это на

постоянство чувствъ-съ укажетъ-съ, а, стало-быть, лестно отрекомендовать.

— Разумѣтся, снимите.

— Неужто ужъ и разумѣтся?—Павель Павловичъ задумался.—Нѣтъ, ужъ я бы лучше сохранилъ-съ...

— Какъ хотите.—„Однако онъ мнѣ не довѣряетъ, это хорошо“, подумалъ Вельчаниновъ.

Они вышли; Павель Павловичъ съ довольствомъ приглядывался къ принарядившемуся Вельчанинову; даже какъ будто больше почтенія и важности проявилось въ его лицѣ! Вельчаниновъ дивился на него, и еще больше на себя самого. У воротъ стояла поджидавшая ихъ превосходная коляска.

— А у васъ уже и коляска была готова? Стало-быть, вы были увѣрены, что я поѣду?

— Коляску я взялъ для себя-съ, но почти увѣренъ былъ, что вы согласитесь поѣхать, отвѣтилъ Павель Павловичъ съ видомъ совершенно счастливаго человѣка.

— Эй, Павель Павловичъ, какъ-то раздражительно засмѣялся Вельчаниновъ, когда уже усѣлись и тронулись,— не слишкомъ-ли вы во мнѣ увѣрены?

— Но вѣдь не вамъ же, Алексѣй Ивановичъ, не вамъ же сказать мнѣ за это, что я дуракъ? твердо и проникнутымъ голосомъ отвѣтилъ Павель Павловичъ.

„А Лиза?“ подумалъ Вельчаниновъ, и тотчасъ же бросилъ объ этомъ думать, какъ бы испугавшись какого-то кошунства. И вдругъ ему показалось, что онъ самъ такъ мелко, такъ ничтоженъ въ эту минуту; показалось, что мысль, его соблазнявшая—такая маленькая, такая сверленькая мысль... и во что бы то ни стало захотѣлось ему опять все бросить и хоть сейчасъ выйти изъ коляски, даже если-бъ надо было для этого прибить Павла Павловича. Но тотъ заговорилъ, и соблазнъ опять охватилъ его сердце.

— Алексѣй Ивановичъ, знаете вы толкъ въ драгоценныхъ вещахъ-съ?

— Въ какихъ драгоценныхъ-съ?

— Въ бриллантовыхъ-съ.

— Знаю.

— Я бы хотѣлъ подарочекъ свезти. Руководите, надо или нѣтъ?

— По-моему—не надо.

— А я такъ бы очень хотѣлъ-съ, заворочался Павель

Павловичъ,—только вотъ что же бы купить-съ? Весь-ли приборъ, то-есть брошь, серьги, браслетъ, или одну только вещицу?

— Вы сколько хотите заплатить?

— Да ужъ рублей четыреста или пятьсотъ-съ.

— Ухъ!

— Много, что-ли? встрепенулся Павелъ Павловичъ.

— Купите одинъ браслетъ, во сто рублей.

Павелъ Павловичъ даже огорчился. Ему ужасно какъ хотѣлось заплатить дороже и купить „весь“ приборъ. Онъ настаивалъ. Заѣхали въ магазинъ. Кончилось тѣмъ однако, что купили только одинъ браслетъ, и не тотъ, который хотѣлось Павлу Павловичу, а тотъ, на который указалъ Вельчаниновъ. Павлу Павловичу хотѣлось взять оба. Когда купецъ, запросившій сто семьдесятъ пять рублей за браслетъ, спустилъ за сто пятьдесятъ,—то ему стало даже досадно; онъ съ пріятностью заплатилъ бы и двѣсти, если бы съ него запросили, такъ ужъ хотѣлось ему заплатить подороже.

— Это ничего, что я такъ подарками сиѣшу, изливался онъ въ упоеніи, когда опять поѣхали,— тамъ вѣдь не высшій свѣтъ, тамъ просто-съ. Невинность любить подарочки, хитро и весело улыбнулся онъ.— Вы вотъ усмѣхнулись давеча, Алексѣй Ивановичъ, на то, что пятнадцать лѣтъ; а вѣдь мнѣ это-то и въ голову стукнуло,— именно, что вотъ въ гимназію еще ходить, съ мѣшечкомъ на рукѣ, въ которомъ тетради и перышки, хе-хе! Мѣшечекъ-то и плѣнилъ мои мысли! Я собственно для невинности, Алексѣй Ивановичъ. Дѣло для меня не столько въ красотѣ лица, сколько въ этомъ-съ. Хихикаютъ тамъ съ подружкой въ уголку, и какъ смѣются, и Боже мой! А чему-съ? Весь-то смѣхъ изъ того, что кошечка съ комода на постельку соскочила и клубочкомъ свернулась... Такъ тутъ вѣдь свѣжимъ яблочкомъ пахнетъ-съ! Аль снять ужъ крепъ?

— Какъ хотите.

— Сниму!

Онъ снялъ шляпу, сорвалъ крепъ и выбросилъ на дорогу. Вельчаниновъ видѣлъ, что лицо его засіяло самой ясной надеждой, когда онъ надѣлъ опять шляпу на свою лысую голову.

„Да неужто онъ и въ самомъ дѣлѣ такой?“ подумалъ онъ въ настоящей уже злобѣ, — „неужто тутъ нѣтъ ни-

какой *штуки* въ томъ, что онъ меня пригласилъ? Неужто и въ самомъ дѣлѣ на благородство мое рассчитываетъ?" продолжалъ онъ, почти обидѣвшись послѣднимъ предположеніемъ.— „Что это—шутъ, дуракъ или „вѣчный мужъ"? Да невозможно же, наконецъ!..“

ХП.

У Захлебининыхъ.

Захлебнины были дѣйствительно „очень порядочное семейство“, какъ выразился давеча Вельчаниновъ, а самъ Захлебнинъ былъ весьма солидный чиновникъ и на виду. Правда была и все то, что говорилъ Павелъ Павловичъ насчетъ ихъ доходовъ: „жить, кажется, хорошо, а умри человѣкъ, и ничего не останется“.

Старикъ Захлебнинъ прекрасно и дружески встрѣтилъ Вельчанинова, и изъ прежняго „врага“ совершенно обратился въ пріятеля.

— Поздравляю, такъ-то лучше, заговорилъ онъ съ перваго слова, съ пріятнымъ и осанистымъ видомъ,—я самъ на мировой настаивалъ, а Петръ Карловичъ (адвокатъ Вельчанинова) золотой на этотъ счетъ человѣкъ. Что-жь? Тысячъ шестьдесятъ получите и безъ хлопотъ, безъ проволочекъ, безъ ссоры! А на три года могло затянуться дѣло!

Вельчаниновъ тотчасъ былъ представленъ и *м-ше* Захлебниной, весьма расплывшейся пожилой дамѣ, съ простоватымъ и усталымъ лицомъ. Стали выплывать и дѣвицы, одна за другой или парами. Но что-то очень ужъ много явилось дѣвицъ; мало-по-малу собралось ихъ до десяти или до двѣнадцати—Вельчаниновъ и сосчитать не могъ; однѣ входили, другія выходили. Но въ числѣ ихъ было много дачныхъ сосѣдокъ-подружекъ. Дача Захлебниныхъ—большой деревянный домъ, въ неизвѣстномъ, но причудливомъ вкусѣ, съ разновременными пристройками—пользовалась большимъ садомъ; но въ этотъ садъ выходили еще три или четыре другія дачи съ разныхъ сторонъ, такъ что большой садъ былъ общій, что естественно и способствовало сближенію дѣвицъ съ дачными сосѣдками. Вельчаниновъ съ первыхъ же словъ разговора замѣтилъ, что его уже здѣсь ожидали и что пріѣздъ его, въ качествѣ Павла Павловичева друга, желающаго познакомиться, былъ чуть-ли не торжественно возвѣщенъ. Зоркій и опытный въ этихъ дѣлахъ его взглядъ скоро отли-

чиль тутъ даже нѣчто особенное: по слишкомъ лѣбезному приему родителей, по нѣкоторому особенному виду дѣвицы и ихъ наряду (хотя, впрочемъ, день былъ праздничный), у него замелькало подозрѣніе, что Павелъ Павловичъ схитрилъ и, очень могло быть, что внушилъ здѣсь, не говоря, разумѣется, прямыхъ словъ, нѣчто въ родѣ предположенія о немъ, какъ о скучающемъ холостякѣ, „хорошаго общества“, съ состояніемъ и который, очень и очень можетъ быть, наконецъ, вдругъ рѣшится „положить предѣлъ“ и устроиться, „тѣмъ болѣе, что и наслѣдство получилъ“. Кажется, старшая м-ше Захлебниина, Катерина Ѳедосѣевна, именно та, которой было двадцать четыре года и о которой Павелъ Павловичъ выразился какъ о прелестной особѣ, была нѣсколько настроена на этотъ тонъ. Она особенно выдавалась передъ сестрами своимъ костюмомъ и какою-то оригинальною уборкою своихъ пышныхъ волосъ. Сестры же и всѣ другія дѣвицы глядѣли такъ, какъ будто и имъ уже было твердо извѣстно, что Вельчаниновъ знакомится „для Кати“ и пріѣхалъ ее „посмотрѣть“. Ихъ взгляды и нѣкоторыя даже словечки, промелькнувшія невзначай въ продолженіе дня, подтвердили ему потомъ эту догадку. Катерина Ѳедосѣевна была высокая, полная до роскоши блондинка, съ чрезвычайно милымъ лицомъ, характера, очевидно, тихаго и не предпримчиваго, даже сонливаго. „Странно, что такая засидѣлась“, невольно подумалъ Вельчаниновъ, съ удовольствіемъ къ ней приглядываясь, — „пусть безъ приданаго и скоро совсѣмъ расплывется, но покамѣстъ на это столько любителей“... Всѣ остальные сестры были тоже не совсѣмъ дурны собой, а между подружками мелькало нѣсколько забавныхъ и даже хорошенькихъ личикъ. Это стало его забавлять; а, впрочемъ, онъ и вошелъ съ особенными мыслями.

Надежда Ѳедосѣевна, шестая, гимназистка и предполагаемая невѣста Павла Павловича, заставила себя подождать. Вельчаниновъ ждалъ ее съ нетерпѣніемъ, чему самъ дивился и усмѣхался про себя. Наконецъ, она показалась, и не безъ эффекта, въ сопровожденіи одной бойкой и вострой подружки, Марьи Никитичны, брюнетки съ смѣшнымъ лицомъ, и которой, какъ оказалось сейчасъ же, чрезвычайно боялся Павелъ Павловичъ. Эта Марья Никитична, дѣвушка лѣтъ уже двадцати трехъ, зубоскалка и даже умница, была гувернанткой маленькихъ

дѣтей въ одномъ сосѣднемъ и знакомомъ семействѣ, и давно уже считалась какъ родная у Захлебининыхъ, а дѣвцами цѣнилась ужасно. Видно было, что она особенно необходима теперь и Надѣ. Съ перваго взгляда разглядѣлъ Вельчаниновъ, что дѣвицы были все противъ Павла Павловича, даже и подружки, а во вторую минуту послѣ выхода Нади онъ рѣшилъ, что и она его *ненавидитъ*. Замятилъ тоже, что Павелъ Павловичъ совершенно этого не примѣчаетъ, или не хочетъ примѣчать. Безспорно, Надя была лучше всѣхъ сестеръ — маленькая брюнетка, съ видомъ дикарки и съ смѣлостью нигилистки; вороватый бѣсенокъ съ огненными глазами, съ прелестной улыбкой, хотя часто и злой, съ удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, съ зачинавшеюся мыслью въ горячемъ выраженіи лица, въ то же время почти совсѣмъ еще дѣтскаго. Пятнадцать лѣтъ сказывались въ каждомъ ея шагѣ, въ каждомъ словѣ. Оказалось потомъ, что и дѣйствительно Павелъ Павловичъ увидалъ ее въ первый разъ съ клеенчатымъ мѣшечкомъ въ рукахъ, но теперь уже она его не носила.

Подарокъ браслета совершенно не удался и произвелъ впечатлѣніе даже непріятное. Павелъ Павловичъ, только лишь завидѣлъ вошедшую невѣсту, тотчасъ же подошелъ къ ней, ухмыляясь. Дарилъ онъ подъ предлогомъ „пріятнаго удовольствія, ощущеннаго имъ въ предыдущій разъ по поводу спѣтаго Надеждой Ѳедосѣевной пріятнаго романа за фортепьянами“... Онъ сбился, не докончилъ и стоялъ какъ потерянный, протягивая и втыкая въ руку Надежды Ѳедосѣевны футляръ съ браслетомъ, который та не хотѣла брать, и, покраснѣвъ отъ стыда и гнѣва, отводила свои руки назадъ. Дерзко оборотилась она къ мамашѣ, на лицѣ которой выражалось замѣшательство, и громко сказала:

— Я не хочу брать, маман!

— Возьми и поблагодари, промолвилъ отецъ съ покойною строгостью, но и онъ былъ тоже недоволенъ. — Лишнее, лишнее! пробормоталъ онъ назидательно Павлу Павловичу.

Надя, нечего дѣлать, футляръ взяла и, опустивъ глазки, присѣла, какъ присѣдаютъ маленькія дѣвочки, то-есть вдругъ бултыхнулась внизъ и вдругъ тотчасъ же привскочила, какъ на пружинкѣ. Одна изъ сестеръ подошла посмотреть, и Надя передала ей футляръ еще и не раскры-

тѣй, тѣмъ показывая, что сама и глядѣть не хочетъ. Браслетъ вынули и онъ сталъ обходить всѣхъ изъ рукъ въ руки; но всѣ смотрѣли молча, а инныя такъ и насмѣшливо. Одна только мамаша промямлила, что браслетъ очень милъ. Павелъ Павловичъ готовъ былъ провалиться сквозь землю.

Выручилъ Вельчаниновъ.

Онъ вдругъ громко и охотно заговорилъ, схвативъ первую попавшуюся мысль, и не прошло еще пяти минутъ, какъ онъ уже овладѣлъ вниманіемъ всѣхъ бывшихъ въ гостиной. Онъ великолѣпно изучилъ искусство болтать въ свѣтскомъ обществѣ, то-есть искусство казаться совершенно простодушнымъ и показывать въ то же время видъ, что и слушателей своихъ считаетъ за такихъ же простодушныхъ, какъ самъ, людей. Чрезвычайно натурально могъ прикинуться онъ, когда надо, веселѣйшимъ и счастливейшимъ человѣкомъ. Очень ловко умѣлъ тоже вставить между словами острое и задирающее слово, веселый намекъ, смѣшной каламбуръ, но совершенно какъ бы невзначай, какъ бы и не замѣчая — тогда какъ и острога, и каламбуръ, и самый-то разговоръ, можетъ-быть, давнымъ-давно уже были заготовлены и заучены и уже не разъ употреблялись. Но въ настоящую минуту къ его искусству присоединилась и сама природа: онъ чувствовалъ, что настроенъ, что его что-то влечетъ; чувствовалъ въ себѣ полнѣйшую и побѣдительную увѣренность, что черезъ нѣсколько минутъ всѣ эти глаза будутъ обращены на него, всѣ эти люди будутъ слушать только его одного, говорить только съ нимъ однимъ, смѣяться только тому, что онъ скажетъ. И дѣйствительно, вскорѣ послышался смѣхъ, мало-по-малу въ разговоръ ввязались и другіе, — а онъ въ совершенствѣ владѣлъ умѣніемъ затягивать въ разговоръ и другихъ, — раздавались уже по три и по четыре говорившіе голоса разомъ. Скучное и усталое лицо госпожи Захлебниной озарилось почти радостью; то же было и съ Катериной Федосѣвной, которая слушала и смотрѣла какъ очарованная. Надя зорко вглядывалась въ него исподлобья; замѣтно было, что она противъ него уже предубѣждена. Это еще болѣе подошло Вельчанинова. „Злая“ Марья Никитична сумѣла-таки вернуть въ разговоръ одну довольно чувствительную колкость на его счетъ; она выдумала и утверждала, что будто бы Павелъ Павловичъ откомендовалъ его здѣсь вчера своимъ другомъ дѣтства,

и такимъ образомъ прибавляла къ его годамъ, ясно намекнувъ на это, цѣлыхъ семь лѣтъ лишнихъ. Но и злой Марья Никитичнѣ онъ понравился. Павелъ Павловичъ рѣшительно былъ озадаченъ. Онъ, конечно, имѣлъ понятіе о средствахъ, которыми обладаетъ его другъ, и вначалѣ даже былъ радъ его успѣху, самъ подхихкивалъ и вмѣшивался въ разговоръ; но почему-то онъ мало-по-малу сталъ впадать какъ бы въ раздумье, даже, наконецъ, въ уныніе, что ясно выразалось въ его встревоженной физиономіи.

— Ну, вы такой гость, котораго и занимать не надо, весело порѣшилъ, наконецъ, старикъ Захлебенинъ, вставая со стула, чтобы отправиться къ себѣ наверхъ, гдѣ у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было нѣсколько дѣловыхъ бумагъ для просмотра, — а вѣдь представьте, я васъ считалъ самымъ мрачнымъ ипохондрикомъ изъ всѣхъ молодыхъ людей. Вотъ какъ ошибаешься!

Въ залѣ стоялъ рояль; Вельчаниновъ спросилъ, кто занимается музыкой, и вдругъ обратился къ Надѣ:

— А вы, кажется, поете?

— Кто вамъ сказалъ? отрѣзала Надя.

— Павелъ Павловичъ говорилъ давеча.

— Неправда; я только на-смѣхъ пою; у меня и голоса нѣтъ.

— Да и у меня голоса нѣтъ, а пою же.

— Такъ вы споете намъ? Ну, такъ и я вамъ спою, сверкнула глазками Надя, — только не теперь, а послѣ обѣда. Я терпѣть не могу музыки, прибавила она, — надобли эти фортепяны; у насъ вѣдь съ утра до ночи всѣ играютъ и поютъ, — одна Катя чего стоитъ.

Вельчаниновъ тотчасъ привязался къ слову и оказалось, что Катерина Федосѣевна одна изъ всѣхъ серьезно занимается на фортепiano. Онъ тотчасъ къ ней обратился съ просьбой сыграть. Всѣмъ видимо стало пріятно, что онъ обратился къ Катѣ, а маманъ такъ даже покраснѣла отъ удовольствія. Катерина Федосѣевна встала, улыбаясь, и пошла къ роялю, и вдругъ, себѣ неожиданно, тоже вся покраснѣлась, и ужасно ей вдругъ стало стыдно, что вотъ она такая большая и уже двадцати четырехъ лѣтъ, и такая полная, а краснѣетъ какъ дѣвочка, — и все это было написано на ея лицѣ, когда она садилась играть. Сыграла она что-то изъ Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и безъ выраженія; но она оробѣла. Когда она кончила, Вельча-

ниновъ сталъ ужасно хвалить ей не ее, а Гайдна и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла, — и ей видимо стало такъ пріятно и она такъ благодарно и счастливо слушала похвалы не себѣ, а Гайдну, что Вельчаниновъ невольно посмотрѣлъ на нее и ласковѣе, и внимательнѣе: „Э, да ты славная!“ засвѣтилось, въ его взглядѣ — и всѣ какъ бы разомъ поняли этотъ взглядъ, а особенно сама Катерина Федосѣвна.

— У васъ славный садъ, обратился онъ вдругъ ко всѣмъ, смотря на стеклянныя двери балкона, — знаете, — пойдемте-ка всѣ въ садъ.

— Пойдемте, пойдемте! раздались радостные взвизги, точно онъ угадалъ самое главное всеобщее желаніе.

Въ саду прогуляли до обѣда. Госпожа Захлебниина, которой уже давно хотѣлось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всѣми, но благоразумно осталась посидѣть и отдохнуть на балконѣ, гдѣ тотчасъ и задремала. Въ саду взаимныя отношенія Вельчанинова и всѣхъ дѣвицъ стали еще дружественнѣе. Онъ замѣтилъ, что съ сосѣднихъ дачъ присоединились два-три очень молодыхъ человѣка; одинъ былъ студентъ, а другой и просто гимназистъ. Эти тотчасъ же подскочили каждый къ своей дѣвицѣ и видно было, что и пришли для нихъ; третій же „молодой человѣкъ“, очень мрачный и взерошенный двадцатилѣтній мальчикъ, въ огромныхъ синихъ очкахъ, сталъ торопливо и нахмуренно шептаться о чемъ-то съ Марьей Никитичной и Надей. Онъ строго осматривалъ Вельчанинова и, казалось, считалъ себя обязаннымъ относиться къ нему съ необыкновеннымъ презрѣніемъ. Нѣкоторыя дѣвицы предлагали поскорѣе начать играть. На вопросъ Вельчанинова, во что они играютъ, отвѣчали, что во всѣ игры, и въ горѣлки, но что вечеромъ будутъ играть въ пословицы, то-есть всѣ садятся и одинъ на время отходить: всѣ же сидящіе выбираютъ пословицу, напримѣръ: „Тише ѣдешь, дальше будешь“, и когда того призовутъ, то каждый или каждая по порядку должны приготовить и сказать ему по одной фразѣ. Первый непременно говорить такую фразу, въ которой есть слово „тише“, второй такую, въ которой есть слово „ѣдешь“ и т. д. А тотъ долженъ непременно подхватить всѣ эти словечки и по нимъ угадать пословицу.

— Это должно быть очень забавно, замѣтилъ Вельчаниновъ.

— Ахъ, нѣтъ, прескучно, отвѣтили два-три голоса разомъ.

— А то мы въ театрѣ тоже играемъ, замѣтила вдругъ Надя, обращаясь къ нему.—Вотъ видите это толстое дерево, около котораго скамьей обведено: тамъ, за деревомъ, будто бы кулисы и тамъ актеры сидятъ, ну, тамъ король, королева, принцесса, молодой человѣкъ—какъ кто захочетъ; каждый выходитъ, когда ему вздумается, и говорить, что на умъ придетъ, ну, что-нибудь и выходитъ.

— Да это славно! похвалили еще разъ Вельчаниновъ.

— Ахъ, нѣтъ, прескучно! Сначала каждый разъ весело выходитъ, а подъ конецъ каждый разъ безтолково, потому что никто не умѣетъ кончить; развѣ вотъ съ вами будетъ занимательнѣе. А то мы думали про васъ, что вы другъ Павла Павловича, а выходитъ, что онъ просто нахвасталъ. Я очень рада, что вы пріѣхали... по одному случаю...

Весьма серьезно и внушительно посмотрѣла она на Вельчанинова и тотчасъ же отошла къ Марьѣ Никитичнѣ.

— Въ пословицы вечеромъ будутъ играть, вдругъ конфиденціально шепнула Вельчанинову одна подружка, которую онъ до сихъ поръ едва даже замѣтилъ и ни слова еще съ нею не выговорилъ.—Вечеромъ надъ Павломъ Павловичемъ всѣ станутъ смѣяться, такъ и вы тоже.

— Ахъ, какъ хорошо, что вы пріѣхали, а то у насъ все такъ скучно, дружески проговорила ему другая подружка, которую онъ уже и совсѣмъ до сихъ поръ не замѣтилъ, Богъ знаетъ вдругъ откуда явившаяся, рыженькая, съ веснушками и съ ужасно смѣшно разгорѣвшимся отъ ходьбы и отъ жару лицомъ.

Безпокойство Павла Павловича возрастало все болѣе и болѣе. Въ саду, подъ конецъ, Вельчаниновъ совершенно уже успѣлъ сойтись съ Надей; она уже не выглядывала какъ давеча исподлобья и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнѣе, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку; она была счастлива ужасно, на Павла же Павловича продолжала не обращать ни малѣйшаго вниманія, какъ бы не замѣчая его. Вельчаниновъ убѣдился, что существуетъ положительный заговоръ противъ Павла Павловича; Надя съ толпой дѣвушекъ отвлекала Вельчанинова въ одну сторону, а другія подружки подъ разными предлогами заманивали Павла Павловича въ другую; но тотъ вырывался и тотчасъ же опроретью прибѣгалъ прямо къ нимъ, то-есть

къ Вельчанинову и Надѣ, и вдругъ вставлялъ свою лису и безпокойно подслушивающую голову между ними. Подъ конецъ онъ уже даже и не стѣснялся; наивность его жестовъ и движеній была иногда удивительная. Не могъ не обратить еще разъ особеннаго вниманія Вельчаниновъ и на Катерину Ѳедосѣвну; ей, конечно, уже стало ясно теперь, что онъ вовсе не для нея пріѣхалъ, а слишкомъ уже заинтересовался Надей; но лицо ея было такъ же мило и благодушно, какъ давеча. Она, казалось, уже тѣмъ однимъ была счастлива, что находится тоже подлѣ нихъ и слушаетъ то, что говоритъ новый гость; сама же, бѣдненькая, нивакъ не умѣла ловко вмѣшаться въ разговоръ.

— А какая славная у васъ сестрица Катерина Ѳедосѣвна! сказалъ Вельчаниновъ вдругъ потихоньку Надѣ.

— Катя-то! Да добрѣе развѣ можетъ быть душа, какъ у ней? Нашъ общій ангель, я въ нее влюблена, отвѣчала та восторженно.

Насталъ, наконецъ, и обѣдъ, въ пять часовъ, и тоже очень замѣтно было, что обѣдъ устроенъ не по-обыкновенному, а нарочно для гостя. Явилось два-три кушанья, очевидно, прибавочныя къ обычному столу, довольно мудренныя, а одно изъ нихъ такъ и совсѣмъ какое-то странное, таеъ что его и назвать никто бы не могъ. Кромѣ обыкновенныхъ столовыхъ винъ, появилась, тоже очевидно придуманная для гостя, бутылка токайскаго; подъ конецъ обѣда для чего-то подали и шампанское. Старикъ Захлебенинъ, выпивъ лишнюю рюмку, былъ въ самомъ благодушномъ настроеніи и готовъ былъ смѣяться всему, что говорилъ Вельчаниновъ. Кончилось тѣмъ, что Павелъ Павловичъ, наконецъ, не выдержалъ: увлекшись соревнованіемъ, онъ вдругъ задумалъ тоже сказать какой-нибудь каламбуръ и сказалъ; на концѣ стола, гдѣ онъ сидѣлъ подлѣ м-ме Захлебениной, послышался вдругъ громкій смѣхъ обрадовавшихся дѣвицъ.

— Папаша, папаша! Павелъ Павловичъ тоже каламбуръ сказалъ, кричали двѣ среднія Захлебенины въ одинъ голосъ.—Онъ говоритъ, что мы „дѣвицы, на которыхъ нужно дивиться...“

— А, и онъ каламбуритъ! Ну, какой же онъ сказалъ каламбуръ? степеннымъ голосомъ отозвался старикъ, покровительственно обращаясь къ Павлу Павловичу и заранѣе улыбаясь ожидаемому каламбуру.

— Да вот же онъ и говорить, что мы „дѣвицы, на которыхъ нужно дивиться“.

— Д-да! Ну, такъ что-жь?

Старикъ все еще не понималъ и еще добродушнѣе улыбался въ ожиданіи.

— Ахъ, папаша, какой вы, не понимаете! Ну, дѣвицы и потомъ дивиться; дѣвицы похоже на дивиться, дѣвицы, на которыхъ нужно дивиться...

— А-а-а! озадаченно протянулъ старикъ.—Гм! Ну, онъ въ другой разъ лучше скажетъ!

И старикъ весело разсмѣялся.

— Павелъ Павловичъ, нельзя же имѣть всѣ совершенства разомъ! громко поддразнила Марья Никитична.— Ахъ, Боже мой, онъ костью подавился! воскликнула она и вскочила со стула.

Поднялась даже суматоха, но Марья Никитичнѣ только того и хотѣлось. Павелъ Павловичъ только захлебнулся виномъ, за которое онъ схватился, чтобы скрыть свой конфузъ, но Марья Никитична увѣряла и влялась на всѣ стороны, что это „рыбья кость, что она сама видѣла и что отъ этого умирають“.

— Постучать по затылку! крикнулъ кто-то.

— Въ самомъ дѣлѣ и самое лучшее! громко одобрилъ Захлебнинъ.

Но уже явились и охотницы: Марья Никитична, рыженькая подружка (тоже приглашенная къ обѣду), и, наконецъ, сама мать семейства, ужасно перепугавшаяся; всѣ хотѣли стукать Павла Павловича по затылку. Выскочившій изъ-за стола Павелъ Павловичъ отвергивался и цѣлую минуту долженъ былъ увѣрять, что онъ только поперхнулся виномъ, и что кашель сейчасъ пройдетъ,— пока, наконецъ-то, догадались, что все это — проказы Марьи Никитичны.

— Ну, однако, ужъ ты, забѣлка!.. строго замѣтила-было м-ше Захлебнина Марья Никитичнѣ, но тотчасъ не выдержала и расхохоталась такъ, какъ съ нею рѣдко случалось, что тоже произвело своего рода эффектъ.

Послѣ обѣда всѣ вышли на балконъ пить кофе.

— И какіе славные стоять дни! благосклонно похвалилъ природу старикъ, съ удовольствіемъ смотря въ садъ.—Только бы вотъ дожда... Ну, а я пойду отдохнуть. Съ Богомъ, съ Богомъ, веселитесь! И ты веселись! стукнулъ онъ, выходя, по плечу Павла Павловича.

Когда всё опять сошли въ садъ, Павелъ Павловичъ вдругъ подбѣжалъ къ Вельчанинову и дернулъ его за рукавъ.

— На одну минутку-съ, прошепталъ онъ въ нетерпѣннѣи.

Они вышли въ боковую, уединенную дорожку сада.

— Нѣтъ, ужъ здѣсь извините-съ, нѣтъ, ужъ здѣсь я не дамъ-съ... яростно захлебываясь прошепталъ онъ, ухвативъ Вельчанинова за рукавъ.

— Чтò? Чего? спрашивалъ Вельчаниновъ, сдѣлавъ большіе глаза.

Павелъ Павловичъ молча смотрѣлъ на него, шевелилъ губами и яростно улыбался.

— Куда же вы? Гдѣ же вы тутъ? Все ужъ готово, слышались зовущіе и нетерпѣливые голоса дѣвиць.

Вельчаниновъ пожалъ плечами и воротился къ обществу. Павелъ Павловичъ тоже бѣжалъ за нимъ.

— Бьюсь объ закладъ, что онъ у васъ платка носового просилъ, сказала Марья Никитична,—прошлый разъ онъ тоже забылъ.

— Вѣчно забудеть! подхватила средняя Захлебниина.

— Платокъ забылъ! Павелъ Павловичъ платокъ забылъ! Мамап, Павелъ Павловичъ опять платокъ носовой забылъ,—тамап, у Павла Павловича опять насморкъ! раздавались голоса.

— Такъ чего же онъ не скажетъ! Какой вы, Павелъ Павловичъ, щепетильный! нараспѣвъ протянула m-ше Захлебниина.—Съ насморкомъ опасно шутить; я вамъ сейчасъ пришлю платокъ. И съ чего у него все насморкъ? прибавила она уходя, обрадовавшись случаю воротиться домой.

— У меня два платка-съ, и нѣтъ насморка-съ! прокричалъ ей вслѣдъ Павелъ Павловичъ, но та видно не разобрала, и черезъ минуту, когда Павелъ Павловичъ трусилъ вслѣдъ за всѣми и все поближе къ Надѣ и Вельчанинову, запыхавшаяся горничная догнала его и принесла-таки ему платокъ.

— Играть, играть, въ пословицы играть! кричали со всѣхъ сторонъ, точно и Богъ знаетъ чего ждали отъ „пословиць“.

Выбрали мѣсто и усѣлись на скамейкахъ; досталось отгадывать Марьѣ Никитичнѣ; потребовали, чтобъ она ушла какъ можно дальше и не подслушивала; въ отсутствіе ея выбрали пословицу и роздали слова. Марья Ни-

китична воротилась и мигомъ отгадала. Пословица была:

„Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ“.

За Марьей Никитичной послѣдовалъ взъерошенный молодой человѣкъ въ синихъ очкахъ. Отъ него потребовали еще больше предосторожности,—чтобы онъ сталъ у бесѣдки и оборотился лицомъ совсѣмъ къ забору. Мрачный молодой человѣкъ исполнилъ свою должность съ презрѣніемъ и даже какъ будто ощущалъ нѣкоторое нравственное униженіе. Когда его кликнули, онъ ничего не могъ угадать, обошелъ всѣхъ и выслушалъ, что ему говорили по два раза, долго и мрачно соображалъ, но ничего не выходило. Его пристыдили. Пословица была:

„За Богомъ молитва, а за царемъ служба не пропадаютъ“.

— И пословица-то мерзость! съ негодованіемъ проговорилъ уязвленный юноша, ретируясь на свое мѣсто.

— Ахъ, какъ скучно! слышались голоса.

Пошелъ Вельчаниновъ; его спрятали еще дальше всѣхъ; онъ тоже не угадалъ.

— Ахъ, какъ скучно! слышалось еще больше голосовъ.

— Ну, теперь я пойду, сказала Надя.

— Нѣтъ, нѣтъ, теперь Павелъ Павловичъ пойдетъ, очередь Павлу Павловичу, закричали всѣ и оживились немножко.

Павла Павловича отвели къ самому забору, въ уголь, и поставили туда лицомъ, а чтобы онъ не оглянулся, приставили за нимъ смотрѣть рыженькую. Павелъ Павловичъ, уже ободрившійся и почти снова развеселившійся, намѣренъ былъ свято исполнить свой долгъ и стоялъ какъ пень, смотря на заборъ и не смѣя обернуться. Рыженькая сторожила его въ двадцати шагахъ позади, ближе къ обществу, у бесѣдки, и о чемъ-то перемигивалась въ волненіи съ дѣвками; видно было, что и всѣ чего-то ожидали съ нѣкоторымъ даже безпокойствомъ; что-то приговорялось. Вдругъ рыженькая замахала изъ-за бесѣдки руками. Мигомъ всѣ вскочили и бросились бѣжать куда-то сломя голову.

— Бѣгите, бѣгите и вы! шептали Вельчанинову десять голосовъ чуть не въ ужасѣ отъ того, что онъ не бѣжитъ.

— Что такое? Что случилось? спрашивалъ онъ, поспѣвая за всѣми.

— Тихе, не кричите! Пусть онъ тамъ стоитъ и смотритъ на заборъ, а мы всѣ убѣжимъ. Вотъ и Настя бѣжитъ.

Рыженькая (Настя) бѣжала сломя голову, точно Богъ знаетъ что случилось, и махала руками. Прибѣжали, наконецъ, всѣ за прудъ, совсѣмъ на другой конецъ сада. Когда дошелъ сюда и Вельчаниновъ, то увидѣлъ, что Катерина Федосѣевна сильно спорила со всѣми дѣвицами и особенно съ Надеей и съ Марьей Никитичной.

— Катя, голубчикъ, не сердись! цѣловала ее Надя.

— Ну, хорошо, я мамашѣ не скажу, но сама уйду, потому что это очень не хорошо. Что онъ, бѣдный, долженъ тамъ у забора почувствовать.

Она ушла—изъ жалости, но всѣ остальные пребыли неумолимы и безжалостны попрежнему. Отъ Вельчанинова строго потребовали, чтобы и онъ, когда воротится Павелъ Павловичъ, не обращалъ на него никакого вниманія, какъ будто ничего и не случилось.

— А мы всѣ давайте играть въ горѣлки! прокричала въ упоеніи рыженькая.

Павелъ Павловичъ присоединился къ обществу, по крайней мѣрѣ, только черезъ четверть часа. Двѣ трети этого времени онъ навѣрно простоялъ у забора. Горѣлки были въ полномъ ходу и удались отлично,—всѣ кричали и веселились. Обезумѣвъ отъ ярости, Павелъ Павловичъ прямо подскочилъ къ Вельчанинову и опять схватилъ его за рукавъ.

— На одну минуточку-съ!

— О, Господи, что онъ все съ своими минуточками!

— Опять платокъ просить, прокричали имъ вслѣдъ.

— Ну, ужъ этотъ разъ это вы-съ; тутъ ужъ теперь вы-съ, вы причиной-съ!..

Павелъ Павловичъ даже стучалъ зубами, выговаривая это.

Вельчаниновъ прервалъ его и мирно посовѣтовалъ ему быть веселѣе, а то его совсѣмъ задразнять: „оттого васъ и дразнятъ, что вы злитесь, когда всѣмъ весело“. Къ его удивленію, слова и совѣтъ ужасно поразили Павла Павловича; онъ тотчасъ притихъ, до того даже, что воротился къ обществу, какъ виноватый, и покорно принялъ участіе въ общихъ играхъ; затѣмъ его нѣсколько времени не беспокоили и играли съ нимъ, какъ со всѣми,—и не прошло получаса, какъ онъ опять почти что развеселился. Во всѣхъ играхъ онъ ангажировалъ себѣ въ пару, когда надо было, преимущественно измѣнницу рыженькую или одну изъ сестеръ Захлебниныхъ. Но, къ еще нущему

своему удивленію, Вельчаниновъ замѣтилъ, что Павелъ Павловичъ ни разу почти не осмѣлился самъ заговорить съ Надей, хотя непрерывно юлилъ подлѣ или невдалекѣ отъ нея; по крайней мѣрѣ, свое положеніе непримѣчаемаго и презираемаго ею онъ принималъ какъ бы такъ и должное, натуральное. Но подъ конецъ съ нимъ все-таки опять сыграли штучку.

Игра была „прятаться“. Спрятавшійся могъ, впрочемъ, перебѣгать по всему тому мѣсту, гдѣ позволено было ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влѣзши въ густой кустъ, вдругъ вздумалось, перебѣгая, вскочить въ домъ. Раздались крики, его увидѣли; онъ по лѣстницѣ поспѣшно улизнулъ въ антресоли, зная тамъ одно мѣстечко за комодомъ, гдѣ хотѣлъ притаиться. Но рыженькая взлетѣла вслѣдъ за нимъ, подкралась на цыпочкахъ къ двери и защелкнула ее на замокъ. Всѣ тотчасъ, какъ давеча, перестали играть и опять убѣжали за прудъ, на другой конецъ сада. Минуть черезъ десять, Павелъ Павловичъ, почувствовавъ, что его никто не ищетъ, выглянулъ изъ окошка. Никого не было. Кричатъ онъ не смѣлъ, чтобы не разбудить родителей; горничной и служанкѣ дано было строгое приказаніе не являться и не отзываться на зовъ Павла Павловича. Могла бы отпереть ему Катерина Ѳедосѣвна, но она, возвратясь въ свою комнату и сѣвъ помечтать, неожиданно тоже заснула. Онъ просидѣлъ такимъ образомъ около часу. Наконецъ, стали появляться, какъ бы невзначай, проходя по двѣ и по три, дѣвицы.

— Павелъ Павловичъ, что вы къ намъ не идете? Ахъ, какъ тамъ весело! Мы въ театръ играемъ. Алексѣй Ивановичъ „молодого человѣка“ представлялъ.

— Павелъ Павловичъ, что же вы неидете, на васъ нужно дивиться! замѣчали проходившія другія дѣвицы.

— Чему опять дивиться? раздался вдругъ голосъ м-ше Захлебниной, только-что проснувшейся и рѣшившейся, наконецъ, пройтись по саду и взглянуть на „дѣтскія“ игры въ ожиданіи чаю.

— Да вотъ Павелъ Павловичъ, указали ей на окно, въ которое выглядывало, искаженно улыбаясь, поблѣднѣвшее отъ злости лицо Павла Павловича.

— И охота человѣку сидѣть одному, когда всѣмъ такъ весело! покачала головою мать семейства.

Тѣмъ временемъ Вельчаниновъ удостоился, наконецъ,

получить отъ Нади объясненіе ея давешнихъ словъ о томъ, что она „рада его прїѣзду по одному случаю“. Объясненіе произошло въ уединенной аллеѣ. Марья Никитична нарочно вызвала Вельчанинова, участвовавшаго въ какихъ-то играхъ и уже начинавшаго сильно тосковать, и привела его въ эту аллею, гдѣ и оставила его одного съ Надей.

— Я совершенно убѣдилась, затрещала она смѣлой и быстрой скороговоркой, — что вы вовсе не такой другъ Павла Павловича, какъ онъ о васъ нахвасталъ. Я рассчитала, что только вы одинъ можете оказать мнѣ одну чрезвычайно важную услугу; вотъ его давешній сверный браслетъ, — вынула она футляръ изъ карманка, — я васъ покорнѣйше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда не заговорю съ нимъ теперь во всю жизнь. Впрочемъ, можете сказать ему, что отъ моего имени, и прибавьте, чтобъ онъ не смѣлъ впередъ соваться съ подарками. Объ остальномъ я уже дамъ ему знать черезъ другихъ. Угодно вамъ сдѣлать мнѣ удовольствіе, исполнить мое желаніе?

— Ахъ, ради Бога, избавьте! почти вскричалъ Вельчаниновъ, замахавъ руками.

— Какъ! Какъ избавьте? неимовѣрно удивилась Надя его отказу, и вытаращила на него глаза.

Весь подготовленный тонъ ея порвался въ одинъ мигъ, и она чуть ужъ не плакала. Вельчаниновъ размѣлся.

— Я не то чтобы... я очень бы радъ... но у меня съ нимъ свои счеты...

— Я знала, что вы ему не другъ и что онъ налгал! пылко и скоро перебила его Надя. — Я никогда не выйду за него замужъ, знайте это! Никогда! Я не понимаю даже, какъ онъ осмѣлился... Только вы все-таки должны передать ему его гадкій браслетъ, а то какъ же мнѣ быть? Я непремѣнно, непремѣнно хочу, чтобъ онъ сегодня же, въ тотъ же день, получилъ обратно и грибокъ съѣлъ. А если онъ нафискалитъ папашѣ, то увидитъ, какъ ему достанется.

Изъ-за куста вдругъ и совсѣмъ неожиданно высочилъ взъерошенный молодой человекъ въ синихъ очкахъ.

— Вы должны передать браслетъ, неистово накинулся онъ на Вельчанинова, — уже во имя однихъ только правъ женщины, если вы сами стоите на высотѣ вопроса.

Но онъ не успѣлъ докончить; Надя рванула его

изо всей силы за рукавъ и оттащила отъ Вельчанинова.

— Господи, какъ вы глупы, Предпосыловъ! закричала она.—Ступайте вонъ! Ступайте вонъ, ступайте вонъ и не смѣйте подслушивать, я вамъ приказала далеко стоять!.. затопала она на него ножками, и когда уже тотъ улизнулъ опять въ свои кусты, она все-таки продолжала ходить поперекъ дорожки, какъ бы внѣ себя, взадъ и впередъ, сверкая глазками и сложивъ передъ собою обѣ руки ладошками.

— Вы не повѣрите, какъ они глупы! остановилась она вдругъ передъ Вельчаниновымъ. — Вамъ вотъ смѣшно, а мнѣ-то какво!

— Это вѣдь не *онъ*, не *онъ*? смѣялся Вельчаниновъ.

— Разумѣется, не *онъ*, и какъ только вы могли это подумать! улыбнулась и покраснѣлась Надя.—Это только его другъ. Но какихъ онъ выбираетъ друзей, я не понимаю; они всѣ тамъ говорятъ, что это „будущій двигатель“, а я ничего не понимаю... Алексѣй Ивановичъ, мнѣ не къ кому обратиться; послѣднее слово: отдадите вы или нѣтъ?

— Ну, хорошо, отдамъ, давайте.

— Ахъ вы милый, ахъ вы добрый! обрадовалась вдругъ она, передавая ему футляръ.—Я вамъ за это цѣлый вечеръ пѣть буду, потому что я прекрасно пою; знайте это, а я давеча нагала, что музыки не люблю. Ахъ, кабы вы еще хоть разочекъ пріѣхали, какъ бы я была рада, я бы вамъ все, все, все рассказала, и много бы кромѣ того, потому что вы такой добрый, такой добрый, какъ—какъ Катя!

И дѣйствительно, когда воротились домой къ чаю, она ему спѣла два романса, голосомъ совсѣмъ еще необработаннымъ и только что начинавшимся, но довольно пріятнымъ и съ силой. Павелъ Павловичъ, когда всѣ воротились изъ сада, солидно сидѣлъ съ родителями за чайнымъ столомъ, на которомъ уже кипѣлъ большой семейный самоваръ и разставлены были фамильныя чайныя чашки северскаго фарфора. Вѣроятно, онъ разсуждалъ со стариками о весьма серьезныхъ вещахъ, такъ какъ послѣзавтра онъ уѣзжалъ на цѣлые девять мѣсяцевъ. На вошедшихъ изъ сада, и преимущественно на Вельчанинова, онъ даже и не поглядѣлъ; очевидно было тоже, что онъ не „нафискалил“, и что все покамѣстъ было спокойно.

Но когда Надя стала пѣть, явился тотчасъ и онъ.

Надя нарочно не отвѣтила на одинъ его прямой вопросъ, но Павла Павловича это не смутило и не поколебало; онъ сталъ за спинкой ея стула, и весь видъ его показывалъ, что это его мѣсто и что онъ его никому не уступитъ.

— Алексѣю Ивановичу пѣть, папап, Алексѣй Ивановичъ хочетъ спѣть! закричали почти всѣ дѣвицы, тѣснясь къ роялю, за который самоувѣренно усаживался Вельчаниновъ, располагаясь самъ себѣ аккомпанировать. Вышли и старики, и Катерина Федосѣевна, сидѣвшая съ ними и разливавшая чай.

Вельчаниновъ выбралъ одинъ, почти никому теперь неизвѣстный романсъ Глинки:

Когда, въ часъ веселый, откроешь ты губки
И мнѣ заворкуешь вѣжнѣ голубки..“

Онъ спѣлъ его, обращаясь къ одной только Надѣ, стоявшей у самаго его локтя и всѣхъ къ нему ближе. Голосу у него давно уже не было, но видно было по остаткамъ, что прежде былъ не дурной. Этотъ романсъ Вельчанинову удалось слышать въ первый разъ лѣтъ двадцать передъ этимъ, когда онъ былъ еще студентомъ, отъ самаго Глинки, въ домѣ одного пріятеля покойнаго композитора, на литературно-артистической холостой вечеринкѣ. Расходившійся Глинка сыгралъ и спѣлъ всѣ свои любимыя вещи изъ своихъ сочиненій, въ томъ числѣ этотъ романсъ. У него тоже не оставалось тогда голоса, но Вельчаниновъ помнилъ чрезвычайное впечатлѣніе, произведенное тогда именно этимъ романсомъ. Какой-нибудь искусникъ, салонный пѣвецъ никогда бы не достигъ такого эффекта. Въ этомъ романсѣ напряженіе страсти идетъ, возвышаясь и увеличиваясь съ каждымъ стихомъ, съ каждымъ словомъ; именно отъ силы этого необычайнаго напряженія, малѣйшая фальшь, малѣйшая утрировка и неправда,—которыя такъ легко сходятъ съ рукъ въ оперѣ,—тутъ погубили и исказили бы весь смыслъ. Чтобы пропѣть эту маленькую, но необыкновенную вещицу,—нужна была непременно—правда, непременно настоящее, полное вдохновеніе, настоящая страсть или полное поэтическое ея усвоеніе. Иначе романсъ не только совсѣмъ бы не удался, но могъ даже показаться безобразнымъ и чуть-ли не какимъ-то безстыднымъ: невозможно было бы выказать такую силу напряженія страстнаго чувства, не возбудивъ отвращенія, а правда и *простодушіе* спасали все. Вельчаниновъ помнилъ; что этотъ романсъ ему и самому когда-

то удавался. Онъ почти усвоилъ манеру пѣнія Глинки; но теперь, съ перваго же звука, съ перваго стиха и настоящее вдохновеніе зажглось въ его душѣ и дрогнуло въ голосѣ. Съ каждымъ словомъ романса все сильнѣй и смѣлѣе прорывалось и обнажалось чувство, въ послѣднихъ стихахъ послышались крики страсти, и когда онъ допѣлъ, сверкающимъ взглядомъ обращаясь къ Надѣ, послѣднія слова романса:

Теперь я смѣлѣе гляжу тебѣ въ очи,
Уста приближаю и слушать нѣтъ мочи,
Хочу цѣловать, цѣловать, цѣловать!
Хочу цѣловать, цѣловать, цѣловать!

то Надя вздрогнула почти отъ испуга, даже капельку отшатнулась назадъ; румянецъ залилъ ей щеки и въ то же мгновеніе какъ бы что-то отзывчивое промелькнуло Вельчанинову въ застыдившемся и почти оробѣвшемъ ея личикѣ. Очарованіе, а въ то же время и недоумѣніе проглядывали и на лицахъ всѣхъ слушательницъ: всѣмъ какъ бы казалось, что невозможно и стыдно такъ пѣть, а въ то же время всѣ эти личики и глазки горѣли и сверкали и какъ будто ждали и еще чего-то. Особенно между этими лицами промелькнуло передъ Вельчаниновымъ лицо Катерины Федосѣевны, сдѣлавшееся чуть не прекраснымъ.

— Ну, романсъ! пробормоталъ нѣсколько опѣшенный старикъ Захлебенинъ, — но... не слишкомъ-ли сильно? Приятно, но сильно...

— Сильно... отозвалась было и м-ме Захлебенина, но Павелъ Павловичъ ей не далъ докончить: онъ вдругъ выскочилъ впередъ и, какъ помѣшанный, забывшись до того, что самъ своей рукой схватилъ за руку Надю и отвелъ ее отъ Вельчанинова, подскочилъ къ нему и потерянно смотрѣлъ на него, шевели трясущимися губами.

— На одну минутку-съ, едва выговорилъ онъ, наконецъ. Вельчаниновъ ясно видѣлъ, что еще минута—и этотъ господинъ можетъ рѣшиться на что-нибудь въ десять разъ еще нелѣпѣе; онъ взялъ его поскорѣе за руку и, не обращая вниманія на всеобщее недоумѣніе, вывелъ на балконъ и даже сошелъ съ нимъ нѣсколько шаговъ въ садъ, въ которомъ уже почти совсѣмъ стемнѣло.

— Понимаете-ли, что вы должны сейчасъ же, сію же минуту со мною уѣхать! проговорилъ Павелъ Павловичъ.

— Нѣтъ, не понимаю...

— Помните-ли, продолжалъ Павелъ Павловичъ своимъ

изступленнымъ шопотомъ,—помните, какъ вы потребовали отъ меня тогда, чтобы я сказалъ вамъ все, все-съ, откровенно-съ, „самое послѣднее слово...“ помните-ли-съ? Ну, такъ пришло время сказать это слово-съ... поѣдемте-съ!

Вельчаниновъ подумалъ, взглянулъ еще разъ на Павла Павловича и согласился уѣхать.

Внезапно возвѣщенный ихъ отъѣздъ взволновалъ родителей и возмутилъ всѣхъ дѣвицъ ужасно.

— Хотя бы по другой чашкѣ чаю... жалобно простонала m-me Захлебенина.

— Ну, ужъ, ты, чего взволновался? съ строгимъ и недовольнымъ тономъ обратился старикъ къ ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу Павловичу.

— Павелъ Павловичъ, зачѣмъ вы увозите Алексѣя Ивановича? жалобно заворковали дѣвицы, въ то же время ожесточенно на него посматривая.

Надя же такъ злобно на него поглядѣла, что онъ весь покраснѣлъ, но—не сдался.

— А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ, Павелъ Павловичъ—спасибо ему—напомнилъ мнѣ о чрезвычайно важномъ дѣлѣ, которое я могъ упустить, смѣялся Вельчаниновъ, пожимая руку хозяину, откланиваясь хозяйкѣ и дѣвицамъ и какъ бы особенно передъ всѣми ими Катеринѣ Федосѣевнѣ, что было опять всѣми замѣчено.

— Мы вамъ благодарны за посѣщеніе и вамъ всегда рады: всѣ, вѣско заключилъ Захлебенинъ.

— Ахъ, мы такъ рады... съ чувствомъ подхватила мать семейства.

— Приѣзжайте, Алексѣй Ивановичъ, приѣзжайте! слышались многочисленные голоса съ балкона, когда онъ уже уѣхалъ съ Павломъ Павловичемъ въ коляску; чуть-ли не было одного голоска, проговорившаго потише другихъ: „приѣзжайте, милый, милый Алексѣй Ивановичъ!“

„Это рыженькая!“ подумалъ Вельчаниновъ.

XIII.

На чемъ краю больше.

Онъ могъ подумать о рыженькой, а между тѣмъ досада и раскаяніе давно уже томили его душу. Да и во весь этотъ день, казалось бы, такъ забавно проведенный, тоска почти не оставляла его. Передъ тѣмъ, какъ пѣть романсъ, онъ уже не зналъ, куда отъ нея дѣваться; можетъ, оттого и процѣлъ съ такимъ увлеченіемъ.

„И я могъ такъ унизиться... оторваться отъ всего“, началъ было онъ упрекать себя, но поспѣшно прервалъ свои мысли. Да и унижительно показалось ему плакаться; гораздо пріятнѣе было на кого-нибудь поскорѣй разсердиться.

„Дур-ракъ!“ злобно прошепталъ онъ, нажившись на сидѣвшаго съ нимъ рядомъ въ коляскѣ и примолешаго Павла Павловича.

Павель Павловичъ упорно молчалъ, можетъ-быть, сосредоточиваясь и приготовляясь. Съ нетерпѣливымъ жестомъ снималъ онъ иногда съ себя шляпу и вытиралъ себѣ лобъ платкомъ.

„Потѣветъ!“ злобился Вельчаниновъ.

Однажды только Павель Павловичъ отнесся съ вопросомъ къ кучеру: будетъ гроза или нѣтъ?

— И-и какая! Непремѣнно будетъ; весь день парило.

Дѣйствительно, небо темнѣло и вспыхивали отдаленныя молніи. Въ городъ вѣхали уже въ половинѣ одиннадцатаго.

— Я вѣдь къ вамъ-съ, предупредительно обратился Павель Павловичъ къ Вельчанинову, уже неподалеку отъ дома.

— Понимаю; но я васъ увѣдомляю, что чувствую себя серьезно нездоровымъ.

— Не засижусь, не засижусь!

Когда стали входить въ ворота, Павель Павловичъ забѣжалъ на минутку въ дворницкую къ Маврѣ.

— Чего вы туда забѣгали? строго спросилъ Вельчаниновъ, когда тотъ догналъ его и вошли въ комнаты.

— Ничего-съ, такъ-съ... извозчикъ-съ...

— Я вамъ пить не дамъ!

Отвѣта не послѣдовало. Вельчаниновъ зажегъ свѣчи, а Павель Павловичъ тотчасъ же усѣлся въ кресло. Вельчаниновъ нахмуренно остановился передъ нимъ.

— Я вамъ тоже обѣщалъ сказать и мое „последнее“ слово, началъ онъ съ внутреннимъ, еще подавляемымъ раздраженіемъ.— Вотъ оно, это слово: считаю по совѣсти, что всѣ дѣла между нами обоюдно покончены, такъ что намъ не о чемъ даже и говорить, слышите—не о чемъ; а потому не лучше-ли вамъ сейчасъ уйти, а я за вами дверь запру.

— Поживитесь, Алексѣй Ивановичъ! проговорилъ Павель Павловичъ, но какъ-то особенно крѣтко смотря ему въ глаза.

— По-кви-таемтесь! удивился ужасно Вельчаниновъ.—
Странное слово вы выговорили! Въ чемъ же „покви-таем-
тесь?“ Ба! Да это ужъ не то-ли ваше „последнее слово“,
которое вы мнѣ давеча обѣщали... открыть?

— Оно самое-съ.

— Не въ чемъ намъ болѣе сквитываться, мы—давно
сквитались! гордо произнесъ Вельчаниновъ.

— Неужели вы такъ думаете-съ? проникнутымъ голо-
сомъ проговорилъ Павелъ Павловичъ, какъ-то странно сло-
живъ передъ собою руки, пальцы въ пальцы, и держа ихъ
передъ грудью.

Вельчаниновъ не отвѣтилъ ему и пошелъ шагать по
комнатѣ. „Лиза! Лиза!“ стонало въ его сердцѣ.

— А, впрочемъ, чѣмъ же вы хотѣли сквитаться? на-
хмуренно обратился онъ къ нему послѣ довольно продол-
жительнаго молчанія.

Тотъ все это время провожалъ его по комнатѣ глазами,
держа передъ собою попрежнему сложенные руки.

— Не ѣздите туда болѣе-съ, почти прошепталъ онъ
умоляющимъ голосомъ, и вдругъ всталъ со стула.

— Какъ! Такъ вы только про это?—Вельчаниновъ злобно
разсмѣялся.—Однакожъ, дивили вы меня цѣлый день се-
годня! началъ было онъ ядовито, но вдругъ все лицо его
измѣнилось.—Слушайте меня, грустно и съ глубокимъ, от-
кровеннымъ чувствомъ проговорилъ онъ,—я считаю, что
никогда и ничѣмъ я не унижалъ себя такъ, какъ сегодня,—
во-первыхъ, согласившись ѣхать съ вами и потомъ—тѣмъ,
что было тамъ... Это было такъ мелко, такъ жалко... я
опоганилъ и оподлилъ себя, связавшись... и позабылъ... Ну,
да что! спохватился онъ вдругъ.—Слушайте, вы напали
на меня сегодня невзначай, на раздраженнаго и больнаго...
ну, да нечего оправдываться! Туда я болѣе не поѣду и,
увѣрю васъ, что не имѣю никакихъ тамъ интересовъ,
заклучилъ онъ рѣшительно.

— Неужели, неужели? не скрывая своего радостнаго
волненія вскричалъ Па ль Павловичъ.

Вельчаниновъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на него и опять
пошелъ расхаживать по комнатѣ.

— Вы, кажется, во что бы то ни стало рѣшились быть
счастливымъ? не утерпѣлъ онъ, наконецъ, не замѣтить.

— Да-съ, тихо и наивно подтвердилъ Павелъ Павло-
вичъ.

„Что мнѣ въ томъ, думалъ Вельчаниновъ,—что онъ шутъ

и золь только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидѣть, хотя бы онъ и не стоилъ того!“

— Я—„вѣчный мужъ-сь!“ проговорилъ Павелъ Павловичъ съ приниженно-покорною усмѣшкой надъ самимъ собой.—Я это словечко давно уже зналъ отъ васъ, Алексѣй Ивановичъ, еще когда вы жили съ нами тамъ-сь: Я много вашихъ словъ тогда запомнилъ, въ тотъ годъ. Въ прошлый разъ, когда вы сказали здѣсь: „вѣчный мужъ“, я и сообразилъ-сь.

Мавра вошла съ бутылкой шампанскаго и съ двумя стаканами.

— Простите, Алексѣй Ивановичъ, вы знаете, что безъ этого я не могу-сь. Не считите за дерзость, посмотрите какъ на посторонняго и васъ нестоящаго-сь.

— Да... съ отвращеніемъ позволилъ Вельчаниновъ, — но увѣряю васъ, что я чувствую себя нездоровымъ...

— Скоро... скоро... сейчасъ, въ одну минуту! захлопталъ Павелъ Павловичъ, — всего одинъ только стаканчикъ, потому что горло...

Онъ съ жадностью и залпомъ выпилъ стаканъ и сѣлъ, чуть не съ нѣжностью посматривая на Вельчанинова.

Мавра ушла.

— Экая мерзость! шепталъ Вельчаниновъ.

— Это только подружки-сь, бодро проговорилъ вдругъ Павелъ Павловичъ, совершенно оживившись.

— Какъ? Чтò? Ахъ, да, вы все про то...

— Только подружки-сь! И притомъ такъ еще молодо; изъ граціозности куражимся, вотъ-сь! Даже прелестно. А тамъ—тамъ вы знаете: рабомъ ея стану; увидить почетъ, общество... совершенно перевоспитается-сь.

„Однакожь ему надо браслетъ отдаты!“ нахмурился Вельчаниновъ, ощупывая футляръ въ карманъ своего пальто.

— Вы вотъ говорите-сь, что вотъ я рѣшилъ быть счастливымъ? Мнѣ надо жениться, Алексѣй Ивановичъ, конфиденціально и почти трогательно продолжалъ Павелъ Павловичъ, — иначе чтò же изъ меня выйдетъ? Сами видите-сь!—указалъ онъ на бутылку, — а это лишь одна сотая — качество-сь. Я совсѣмъ не могу безъ женитьбы-сь и—безъ новой вѣры-сь; увѣрую и воскресну-сь.

— Да мнѣ-то для чего вы это сообщаете? чуть не фыркнулъ со смѣха Вельчаниновъ.

Дико, впрочемъ, все это казалось ему.

— Да скажите же мнѣ, наконецъ, вскричалъ онъ,—для

чего вы меня туда таскали? Я-то на что вамъ тамъ надобился?

— Чтобы испытать-съ... какъ-то вдругъ смутился Павелъ Павловичъ.

— Что испытать?

— Эффектъ-съ... Я, вотъ видите-ли, Алексѣй Ивановичъ, всего только недѣлю какъ... тамъ ищу-съ (онъ конфузился все болѣе и болѣе). Вчера встрѣтилъ васъ и подумалъ: „я вѣдь никогда еще ее не видалъ въ постороннемъ, такъ сказать, обществѣ-съ, то-есть въ мужскомъ-съ, кромѣ моего-съ“... Глупая мысль-съ, самъ теперь чувствую; излишняя-съ. Слишкомъ ужъ захотѣлось-съ, отъ сквернаго моего характера-съ...

Онъ вдругъ поднялъ голову и покраснѣлъ.

„Неужели онъ всю правду говорить?“ дивился Вельчаниновъ до столбняка.

— Ну и что-жь? спросилъ онъ.

Павелъ Павловичъ сладко и какъ-то хитро улыбнулся.

— Одно лишь прелестное дѣтство-съ! Все подружки-съ! Простите меня только за мое глупое поведение сегодня передъ вами, Алексѣй Ивановичъ; никогда не буду-съ; да и болѣе никогда этого не будетъ.

— Да и меня тамъ не будетъ, усмѣхнулся Вельчаниновъ.

— Я отчасти на этотъ счетъ и говорю-съ.

Вельчаниновъ немножко покоробился.

— Однакожь, вѣдь не одинъ я на свѣтѣ, раздражительно замѣтилъ онъ.

Павелъ Павловичъ опять покраснѣлъ.

— Мнѣ это грустно слышать, Алексѣй Ивановичъ, и я такъ, повѣрьте, уважаю Надежду Федосѣевну...

— Извините, извините, я ничего не хотѣлъ,—мнѣ вотъ только странно немного, что вы такъ преувеличенно оцѣнили мои средства... и... такъ искренно на меня понадѣялись...

— Именно потому и понадѣялся-съ, что это было послѣ всего-съ... что уже было-съ.

— Стало-быть, вы и теперь считаете меня, коли такъ, за благороднѣйшаго человѣка? остановился вдругъ Вельчаниновъ.

Онъ бы самъ, въ другую минуту, ужаснулся наивности своего внезапнаго вопроса.

— Всегда и считаль-съ, опустилъ глаза Павелъ Павловичъ.

— Ну, да, разумѣется... я не про то, то-есть не въ томъ смыслѣ, — я хотѣлъ только сказать, что, несмотря ни на какія... предубѣжденія-сь!

— Да-сь, несмотря и на предубѣжденія-сь.

— А когда въ Петербургъ ѣхали? не могъ уже сдержаться Вельчаниновъ, самъ чувствуя всю чудовищность своего любопытства.

— И когда въ Петербургъ ѣхалъ, за наиблагороднѣйшаго человѣка считалъ васъ-сь. Я всегда уважалъ васъ, Алексѣй Ивановичъ.

Павель Павловичъ поднялъ глаза и ясно, уже нисколько не конфузясь, глядѣлъ на своего противника. Вельчаниновъ вдругъ струсилъ: ему рѣшительно не хотѣлось, чтобы что-нибудь случилось, или чтобы что-нибудь перешло за черту, тѣмъ болѣе, что самъ вызвалъ.

— Я васъ любилъ, Алексѣй Ивановичъ, произнесъ Павель Павловичъ, какъ бы вдругъ рѣшившись, — и весь тотъ годъ въ Т. любилъ-сь. Вы не замѣтили-сь, продолжалъ онъ немного вздрагивавшимъ голосомъ, къ рѣшительному ужасу Вельчанинова, — я стоялъ слишкомъ мелко въ сравненіи съ вами-сь, чтобы дать вамъ замѣтить. Да и не нужно, можетъ-быть, было-сь. И во всѣ эти девять лѣтъ я о васъ запомнилъ-сь, потому что я такого года не зналъ въ моей жизни, какъ тотъ. (Глаза Павла Павловича какъ-то особенно заблистали). Я многія ваши слова и изреченія запомнилъ-сь, ваши мысли-сь. Я о васъ, какъ о пылкомъ къ доброму чувству и образованномъ человѣкѣ всегда вспоминалъ-сь, высокообразованномъ-сь и съ мыслями-сь. „Великія мысли происходятъ не столько отъ великаго ума, сколько отъ великаго чувства-сь“, — вы сами это сказали, можетъ, забыли, а я запомнилъ-сь. Я на васъ всегда какъ на человѣка съ великимъ чувствомъ, стало-быть, и разчитывалъ-сь... а, стало-быть, и вѣрилъ-сь — несмотря ни на что-сь...

Подбородокъ его вдругъ затрясся. Вельчаниновъ былъ въ совершенномъ испугѣ; этотъ неожиданный тонъ надо было прекратить во что бы ни стало.

— Довольно, пожалуйста, Павель Павловичъ, пробормоталъ онъ, краснѣя и въ раздраженномъ нетерпѣніи, — и зачѣмъ, зачѣмъ, вскричалъ онъ вдругъ, — зачѣмъ привязываетесь вы къ больному, раздраженному человѣку, чуть не въ бреду человѣку, и тащите его въ эту тьму... тогда какъ... тогда какъ — все призракъ и миражъ, и ложь,

и стыдъ, и неестественность, и—не въ мѣру,—а это главное, это всего стыднѣе, что не въ мѣру! И все вздоръ: оба мы порочные, подпольные, гадкіе люди... И хотите, хотите я сейчасъ докажу вамъ, что вы меня не только не любите, а ненавидите, изо всѣхъ силъ, и что вы лжете, сами не зная того: вы взяли меня и повезли туда вовсе не для смѣшной этой цѣли, чтобы невѣсту испытать (придетъ же въ голову!), а просто увидѣли меня вчера и *озмисль* и повезли меня, чтобы мнѣ показать и сказать: „видишь какая! Моя будетъ; ну-ка, попробуй тутъ теперь!“ Вы вызовъ мнѣ сдѣлали! Вы, можетъ-быть, сами не знали, а это было такъ, потому что вы все это чувствовали... А безъ ненависти такого вызова сдѣлать нельзя; стало-быть, вы меня ненавидѣли!

Онъ бѣгалъ по комнатѣ, выкрикивая это, и всего болѣе мучило и обижало его унижительное сознаніе, что онъ самъ до такой степени снисходить до Павла Павловича.

— Я помирится съ вами желалъ, Алексѣй Ивановичъ! вдругъ рѣшительно произнесъ тотъ скорымъ шопотомъ, и подбородокъ его снова запрыгалъ.

Неистовая ярость овладѣла Вельчаниновымъ, какъ будто никогда и никто еще не наносилъ ему подобной обиды!

— Говорю же вамъ еще разъ, завопилъ онъ, — что вы на больного и раздраженнаго человѣка... повисли, чтобы вырвать у него какое-нибудь несбыточное слово, въ бреду! Мы... да, мы люди разныхъ мировъ, поймите же это, и... и... между нами одна могила легла! неистово прошептала онъ, и вдругъ опомнился...

— А почему вы знаете, исказилось вдругъ и поблѣднѣло лицо Павла Павловича,—почему вы знаете, что значить эта могила здѣсь... у меня-съ! вскричалъ онъ, подступая къ Вельчанинову, и съ смѣшнымъ, но ужаснымъ жестомъ ударяя себя кулакомъ въ сердце.— Я знаю эту здѣшнюю могилку-съ, и мы оба по краямъ этой могилы стоимъ, только на моемъ краю больше, чѣмъ на вашемъ, больше-съ... шептала онъ какъ въ бреду, все продолжая себя бить въ сердце,—больше-съ, больше-съ, больше-съ...

Вдругъ необыкновенный ударъ въ дверной колокольчикъ заставилъ очнуться обоихъ. Позвонили такъ сильно, что, казалось, кто-то далъ себѣ слово сорвать съ перваго удара звонокъ.

— Ко мнѣ такъ не звонять, въ замѣшательствѣ проговорилъ Вельчаниновъ.

— Да вѣдь и не ко мнѣ же-сь, робко прошепталъ Павелъ Павловичъ, тоже очнувшійся и мигомъ обратившійся въ прежняго Павла Павловича.

Вельчаниновъ нахмурился и пошелъ отворить дверь.

— Господинъ Вельчаниновъ, если не ошибаюсь? послышался молодой, звонкій и необыкновенно самоувѣренный голосъ изъ передней.

— Чего вамъ?

— Я имѣю точное свѣдѣнiе, продолжалъ звонкій голосъ,—что нѣкто Трусоцкiй находится въ настоящую минуту у васъ. Я долженъ непременно его сейчасъ видѣть.

Вельчанинову, конечно, было бы прiятно сейчасъ же выпихнуть хорошимъ пинкомъ этого самоувѣреннаго господина на лѣстницу. Но онъ подумалъ, посторонился и пропустилъ его:

— Вотъ господинъ Трусоцкiй, войдите...

XIV.

Сашеньна и Наденьна.

Въ комнату вошелъ очень молодой человекъ, лѣтъ девятнадцати, даже, можетъ-быть, и нѣсколько менѣе,—такъ ужъ моложаво казалось его красивое, самоувѣренно вздернутое лицо. Онъ былъ недурно одѣтъ, по крайней мѣрѣ, все на немъ хорошо сидѣло; ростомъ повыше средняго; черные, густые, разбитые космами волосы и большiе, смѣлые, темные глаза особенно выдавались въ его физиономiи. Только носъ былъ немного широкъ и вздернуть къверху; не будь этого, былъ бы совсѣмъ красавчикъ. Вошелъ онъ важно.

— Я, кажется, имѣю случай говорить съ господиномъ Трусоцкимъ, произнесъ онъ размѣренно и съ особеннымъ удовольствiемъ отмѣчая слово „случай“, — то-есть тѣмъ давая знать, что никакой чести и никакого удовольствiя въ разговорѣ съ господиномъ Трусоцкимъ для него быть не можетъ.

Вельчаниновъ начиналъ понимать; кажется, и Павлу Павловичу что-то уже мерещилось. Въ лицѣ его выразилось безпокойство; онъ, впрочемъ, себя поддержалъ.

— Не имѣя чести васъ знать, осанисто отвѣчалъ онъ,—полагаю, что не могу имѣть съ вами и никакого дѣла-сь.

— Вы сперва выслушаете, а потомъ уже скажете ваше мнѣнiе, самоувѣренно и назидательно произнесъ молодой

человѣкъ и, вынувъ черепаховый лорнетъ, висѣвшій у него на шнурѣ, сталъ разглядывать въ него бутылку шампанскаго, стоявшую на столѣ.—Спокойно кончивъ осмотръ бутылки, онъ сложилъ лорнетъ и, обращаясь снова къ Павлу Павловичу, произнесъ:

— Александръ Любовь.

— А чтѣ такое это Александръ Любовь-съ?

— Это я. Не слышали?

— Нѣтъ-съ

— Впрочемъ, гдѣ же вамъ знать. Я съ важнымъ дѣломъ, собственно до васъ касающимся; позвольте однакожь сѣсть, я усталъ...

— Садитесь, пригласилъ Вельчаниновъ, но молодой человѣкъ успѣлъ усѣсться еще и до приглашенія.

Несмотря на возрастающую боль въ груди, Вельчаниновъ интересовался этимъ маленькимъ нахаломъ. Въ хорошенькомъ, дѣтскомъ и румяномъ его личиѣ померещилось ему какое-то отдаленное сходство съ Надеей.

— Садитесь и вы, предложилъ юноша Павлу Павловичу, указывая ему небрежнымъ кивкомъ головы мѣсто напротивъ.

— Ничего-съ, постою.

— Устанете. Вы, господинъ Вельчаниновъ, можете, пожалуйста и не уходить.

— Мнѣ и некуда уходить, я у себя.

— Какъ хотите. Я, признаюсь, даже желаю, чтобы вы присутствовали при моемъ объясненіи съ этимъ господиномъ. Надежда Федосѣвна довольно лестно васъ мнѣ отрекомендовала.

— Ба! Когда это она успѣла?

— Да сейчасъ послѣ васъ же, я вѣдь тоже оттуда. Вотъ что, господинъ Трусоцкій, повернулся онъ къ стоявшему Павлу Павловичу,—мы, то-есть я и Надежда Федосѣвна, цѣдилъ онъ сквозь зубы, небрежно разваливаясь въ креслахъ,—давно уже любимъ другъ друга и дали другъ другу слово. Вы теперь между нами помѣха; я пришелъ вамъ предложить, чтобы вы очистили мѣсто. Угодно вамъ будетъ согласиться на мое предложеніе?

Павелъ Павловичъ даже покачнулся; онъ поблѣднѣлъ, но ехидная улыбка тотчасъ же выдавилась на его губахъ.

— Нѣтъ-съ, нимало не угодно-съ, отрѣзалъ онъ лаконически.

— Вотъ какъ! повернулся въ креслахъ юноша, заломивъ нога за ногу.

— Даже не знаю, съ кѣмъ и говорю-сь, прибавилъ Павелъ Павловичъ,—думаю даже, что не о чемъ намъ и продолжать.

Высказавъ это, онъ тоже нашелъ нужнымъ присѣсть.

— Я сказалъ, что устанете, небрежно замѣтилъ юноша.—Я имѣлъ сейчасъ случай извѣстить васъ, что мое имя Любовь, и что я и Надежда Ѳедосѣевна, мы дали другъ другу слово,—слѣдовательно вы не можете говорить, какъ сейчасъ сказали, что не знаете съ кѣмъ имѣете дѣло; не можете тоже думать, что намъ не о чемъ съ вами продолжать разговоръ: не говоря уже обо мнѣ,—дѣло касается Надежды Ѳедосѣевны, къ которой вы такъ нагло пристааете. А ужъ одно это составляетъ достаточную причину для объясненій.

Все это онъ процѣдилъ сквозь зубы, какъ фать, чуть-чуть даже удостоивая выговаривать слова; даже опять вынулъ лорнетъ и на минутку на что-то направилъ его, пока говорилъ.

— Позвольте, молодой человѣкъ!.. раздражительно воскликнулъ было Павелъ Павловичъ; но „молодой человѣкъ“ тотчасъ же осадилъ его.

— Во всякое другое время я конечно бы запретилъ вамъ называть меня „молодымъ человѣкомъ“, но теперь, сами согласитесь, что моя молодость есть мое главное передъ вами преимущество и что вамъ и очень бы хотѣлось, на примѣръ сегодня, когда вы дарили вашъ браслетъ, быть при этомъ хоть капельку помоложе.

„Ахъ ты пискарь!“ прошепталъ Вельчаниновъ.

— Во всякомъ случаѣ, милостивый государь, съ достоинствомъ поправился Павелъ Павловичъ,—я все-таки не нахожу выставленныхъ вами причинъ,—причинъ неприличныхъ и весьма сомнительныхъ,—достаточными, чтобы продолжать о нихъ преніе-сь. Вижу, что все это дѣло дѣтское и пустое; завтра же справлюсь у почтеннѣйшаго Ѳедосѣя Семеновича, а теперь прошу васъ уволить-сь.

— Видите-ли вы складъ этого человѣка! вскричалъ тотчасъ же, не выдержавъ тона, юноша, горячо обращаясь къ Вельчанинову.—Мало того, что его оттуда гонять, выставляя ему языкъ,—онъ еще хочетъ завтра на насъ доносить старику! Не доказываете-ли вы этимъ, упрямый человѣкъ, что вы хотите взять дѣвушку насильно, покупаете ее у выжившихъ изъ ума людей, которые вслѣдствіе общественнаго варварства сохраняютъ надъ нею

власть? Вѣдь ужь достаточно, кажется, она показала вамъ, что васъ презираетъ; вѣдь вамъ возвратили же вашъ сегоднѣшній неприличный подарокъ, вашъ браслетъ? Чего же вамъ больше?

— Никакого браслета никто мнѣ не возвращалъ, да и не можетъ этого быть! вздрогнулъ Павелъ Павловичъ.

— Какъ не можетъ? Развѣ господинъ Вельчаниновъ вамъ не передалъ?

„Ахъ чортъ бы тебя взялъ!“ подумалъ Вельчаниновъ.

— Мнѣ дѣйствительно, проговорилъ онъ, хмурясь,— Надежда Ѳедосѣевна поручила давеча передать вамъ, Павелъ Павловичъ, этотъ футляръ. Я не бралъ, но она—просила... вотъ онъ... мнѣ досадно...

Онъ вынулъ футляръ и положилъ его въ смущеніи передъ оцѣпенѣвшимъ Павломъ Павловичемъ.

— Почему же вы до сихъ поръ не передали? строго обратился молодой человекъ къ Вельчанинову.

— Не успѣлъ, стало-быть, нахмурился тотъ.

— Это странно.

— Что-о-о?

— Ужъ по крайней мѣрѣ странно, согласитесь сами. Впрочемъ, я согласенъ признать, что тутъ—недоразумѣніе.

Вельчанинову ужасно захотѣлось сейчасъ же встать и выдрать мальчишку за уши, но онъ не могъ удержаться и вдругъ фыркнулъ на него отъ смѣха; мальчикъ тотчасъ же и самъ засмѣялся. Не то было съ Павломъ Павловичемъ; если бы Вельчаниновъ могъ замѣтить его ужасный взглядъ на себѣ, когда онъ расхохотался надъ Лобовымъ,—то онъ понялъ бы, что этотъ человекъ въ это мгновение переходитъ за одну роковую черту... Но Вельчаниновъ хотя взгляда и не видалъ, но понялъ, что надо поддерживать Павла Павловича.

— Послушайте, господинъ Лобовъ, началъ онъ дружественнымъ тономъ,—не входя въ разсужденіе о прочихъ причинахъ, которыхъ я не хочу касаться, я бы замѣтилъ вамъ только то, что Павелъ Павловичъ все-таки приносить съ собою, сватаясь къ Надеждѣ Ѳедосѣевнѣ,—во-первыхъ, полную о себѣ извѣстность въ этомъ почтенномъ семействѣ; во-вторыхъ, отличное и почтенное свое положеніе, наконецъ, состояніе, а слѣдовательно онъ естественно долженъ удивляться, смотря на такого соперника, какъ вы,—человѣка, можетъ-быть, и съ большими достоинствами, но до того уже молодого, что васъ онъ никакъ не можетъ

принять за соперника серьезнаго... а потому и правъ, просил васъ окончить.

— Что это такое значить: „до того молодого?“ Мнѣ ужъ мѣсяць какъ минуло девятнадцать лѣтъ. По закону я давно могу жениться. Вотъ вамъ и все.

— Но какой же отецъ рѣшится отдать за васъ свою дочь теперь—будь вы хоть размилліонеръ въ будущемъ, или тамъ какой-нибудь будущій благодѣтель человѣчества? Человѣкъ девятнадцати лѣтъ даже и за себя самого отвѣчать не можетъ, а вы рѣшаетесь еще брать на совѣсть чужую будущность, то-есть будущность такого же ребенка какъ вы! Вѣдь это не совсѣмъ тоже благородно, какъ вы думаете? Я позволилъ себѣ высказать потому, что вы сами давеча обратились ко мнѣ, какъ къ посреднику между вами и Павломъ Павловичемъ.

— Ахъ, да, кстати, вѣдь его зовутъ Павломъ Павловичемъ! замѣтилъ юноша,—какъ же это мнѣ все мерещилось, что Васильемъ Петровичемъ? Вотъ что-съ, обратился онъ къ Вельчанинову,—вы меня не удивили нисколько; я зналъ, что вы всѣ такіе! Странно однакожь, что о васъ мнѣ говорили, какъ о человѣкѣ даже нѣсколько новомъ. Впрочемъ, это все пустяки, а дѣло въ томъ, что тутъ не только нѣтъ ничего неблагороднаго съ моей стороны, какъ вы позволили себѣ выразиться, но даже совершенно напротивъ, что и надѣюсь вамъ растолковать: мы, во-первыхъ, дали другъ другу слово и, кромѣ того, я прямо ей обѣщался, при двухъ свидѣтеляхъ, въ томъ, что если она когда полюбитъ другого, или просто раскается, что за меня вышла и захочетъ со мной развестись, то я тотчасъ же выдаю ей актъ въ моемъ прелюбодѣяннѣ,—и тѣмъ поддерживаю, стало-быть, гдѣ слѣдуетъ, ея просьбу о разводѣ. Мало того: въ случаѣ, если бы я впоследствии захотѣлъ на попятный дворъ и отказался бы выдать этотъ актъ, то для обезпеченія, въ самый день нашей свадьбы, я выдаю ей вексель въ сто тысячъ рублей на себя, такъ что въ случаѣ моего упорства насчетъ выдачи акта, она сейчасъ же можетъ передать мой вексель—и меня подъ сюркупъ! Такимъ образомъ все обезпечено и ничьей будущностью я не рискую. Ну-съ, это во-первыхъ.

— Бьюсь объ закладъ, что это тотъ, какъ его, Предпосыловъ вамъ выдумалъ! вскричалъ Вельчаниновъ.

— Хи-хи-хи! ядовито захихикалъ Павелъ Павловичъ.

— Чего этотъ господинъ хихикаетъ? Вы угадали,—это

мысль Предпосылова; и, согласитесь, что хитро. Нелѣпный законъ совершенно парализированъ. Разумѣется, я намѣренъ любить ее всегда, а она ужасно хохочетъ,—но вѣдь все-таки ловко и, согласитесь, что ужь благородно, что этакъ не всякій рѣшится сдѣлать?

— По-моему, не только не благородно, но даже гадко. Молодой человѣкъ вскинулъ плечами.

— Опять-таки вы меня не удивляете, замѣтилъ онъ послѣ этого нѣкотораго молчанія,—все это слишкомъ давно перестало меня удивлять. Предпосыловъ, такъ тотъ прямо бы вамъ отрѣзалъ, что подобное ваше непониманіе вещей самыхъ естественныхъ происходитъ отъ извращенія самыхъ обыкновенныхъ чувствъ и понятій вашихъ,—во-первыхъ, долгою нелѣпою жизнію, а во-вторыхъ, долгою праздноствіемъ. Впрочемъ, мы, можетъ-быть, еще не понимаемъ другъ друга; мнѣ все-таки о васъ говорили хорошо... Лѣтъ пятьдесятъ вамъ однако уже есть?

— Перейдите пожалуйста къ дѣлу.

— Извините за нескромность и не досадуйте; я безъ намѣренія. Продолжаю: я вовсе не будущій размилліонеръ, какъ вы изволили выразиться (и что у васъ за идея была!). Я весь тутъ, какъ видите, но зато въ будущности моей я совершенно увѣренъ. Героемъ и благодѣтелемъ ничѣмъ не буду, а себя и жену обезпечу. Конечно, у меня теперь ничего нѣтъ, я даже воспитывался въ ихъ домѣ, съ самаго дѣтства...

— Какъ такъ?

— А такъ, что я сынъ одного отдаленнаго родственника жены этого Захлебнина, и когда всѣ мои померли и оставили меня восьми лѣтъ, то старикъ меня взялъ къ себѣ и потомъ отдалъ въ гимназію. Этотъ человѣкъ даже добрый, если хотите знать...

— Я это знаю-съ.

— Да; но слишкомъ ужь древняя голова. Впрочемъ, добрый. Теперь, конечно, я давно уже вышелъ изъ-подъ его опеки, желая самъ зарабатывать жизнь и быть одному себѣ обязаннымъ.

— Когда вы вышли? полюбопытствовалъ Вельчаниновъ.

— Да ужь мѣсяца съ четыре будетъ.

— А, ну, такъ это все теперь и понятно: друзья съ дѣтства! Что же, вы мѣсто имѣете?

— Да, частное, въ конторѣ одного нотаріуса, на двадцати пяти въ мѣсяцъ. Конечно, только покамѣстъ, но

когда я дѣлалъ тамъ предложеніе, то и того не имѣлъ. Я тогда служилъ на желѣзной дорогѣ, на десяти рубляхъ, но все это только покажѣсть.

— А развѣ вы дѣлали и предложеніе?

— Формальное предложеніе, и давно уже, недѣли съ три.

— Ну, и что-жь?

— Старикъ очень разсмѣялся, а потомъ очень рассердился, а ее такъ заперли наверху въ антресоляхъ. Но Надя геройски выдержала. Впрочемъ, вся неудача была оттого, что онъ еще прежде на меня зубъ точилъ за то, что я въ департаментъ мѣсто бросилъ, куда онъ меня опредѣлилъ четыре мѣсяца назадъ, еще до желѣзной дороги. Онъ старикъ славный, я опять повторю, дома простой и веселый, но чуть въ департаментъ, вы и представить не можете! Это Юпитеръ какой-то сидитъ! Я, естественно, далъ ему знать, что его манеры мнѣ перестаютъ нравиться, но тутъ главное все вышло изъ-за помощника столоначальника: этотъ господинъ вздумалъ нажаловаться, что я будто бы ему „нагрубилъ“, а я ему всего только и сказалъ, что онъ неразвитъ. Я бросилъ ихъ всѣхъ, и теперъ у нотариуса.

— А въ департаментъ много получали?

— Э, сверхштатнымъ! Старикъ же и давалъ на содержаніе,—я говорю вамъ, онъ добрый, но мы все-таки не уступимъ. Конечно, двадцать пять рублей не обезпеченіе, но я въ скорости надѣюсь принять участіе въ управленіи разстроенными имѣніями графа Завилейскаго, тогда прямо на три тысячи; не то въ присяжные повѣренные. Нынче людей ищутъ... Ба! Какой громъ, гроза будетъ; хорошо, что я до грозы успѣлъ; я вѣдь пѣшкомъ оттуда, почти все бѣжалъ.

— Но, позвольте, когда же вы успѣли, коли такъ, переговорить съ Надеждой Федосѣевной, если, къ тому же, васъ и не принимаютъ.

— Ахъ, да вѣдь черезъ заборъ можно! Рыженькую-то замѣтили давеча? засмѣялся онъ. — Ну, вотъ и она тутъ хлопочетъ, и Марья Никитична; только змѣя эта Марья Никитична!.. Чего морщитесь? Не боитесь-ли грому?

— Нѣтъ, я нездоровъ, очень нездоровъ...

Вельчаниновъ, дѣйствительно, мучаясь отъ своей вне-

запной боли въ груди, привсталъ съ кресла и попробовалъ походить по комнатѣ.

— Ахъ, такъ я вамъ, разумѣется, мѣшаю... Не беспокойтесь, сейчасъ!

И юноша вскочилъ съ мѣста.

— Не мѣшаете, ничего, поделикатничалъ Вельчаниновъ.

— Какое ничего, „когда у Кобыльникова животъ болить“... помните у Щедрина? Вы любите Щедрина?

— Да.

— И я тоже. Ну-съ, Василій... ахъ, да, бишь, Павелъ Павловичъ, кончимте-съ! почти смѣясь обратился онъ къ Павлу Павловичу.—Формулирую для вашего пониманія еще разъ вопросъ: согласны-ли вы завтра же отказаться официально, передъ стариками, и въ моемъ присутствіи, отъ всякихъ претензій вашихъ насчетъ Надежды Федосѣевны.

— Не согласенъ ни мало-съ, съ нетерпѣливымъ и ожесточеннымъ видомъ поднялся съ мѣста и Павелъ Павловичъ,—и къ тому же еще разъ прошу меня избавить-съ... потому что все это дѣтство, и глупости-съ.

— Смотрите, погрозилъ ему пальцемъ юноша съ высокоумной улыбкой,—не ошибитесь въ расчетѣ! Знаете-ли, къ чему ведетъ подобная ошибка въ расчетѣ? А я такъ предупреждаю васъ, что черезъ девять мѣсяцевъ, когда вы уже тамъ израсходуетесь, измучаетесь и сюда воротитесь, вы здѣсь сами отъ Надежды Федосѣевны принуждены будете отказаться, а не откажетесь, такъ вамъ же хуже будетъ; вотъ до чего вы дѣло доведете! Я васъ долженъ предупредить, что вы теперь, какъ собака на снѣгѣ,—извините, это только сравненіе,—ни себѣ, ни другимъ. По гуманности повторяю: размыслите, принудьте себя хоть разъ въ жизни основательно размыслить.

— Прошу васъ избавить меня отъ морали! яростно вскричалъ Павелъ Павловичъ,—а насчетъ вашихъ скверныхъ намековъ, я завтра же приму свои мѣры-съ, строгія мѣры-съ!

— Скверныхъ намековъ? Да вы про что-жь это? Сами вы скверный, если это у васъ въ головѣ. Впрочемъ, я согласенъ подождать до завтра, но если... Ахъ, опять этотъ громъ! До свиданья, очень радъ знакомству, кивнулъ онъ Вельчанинову и побѣжалъ, видимо спѣша предупредить грозу и не попасть подъ дождь.

XV.

Снвитались.

— Видѣли-съ? Видѣли-съ? подскочилъ Павелъ Павловичъ къ Вельчанинову, едва только вышелъ юноша.

— Да, не везетъ вамъ! невзначай проговорился Вельчаниновъ.

Онъ бы не сказалъ этихъ словъ, если-бъ не мучила и злила его такъ эта возрастающая боль въ груди. Павелъ Павловичъ вздрогнулъ какъ отъ обжога.

— Ну-съ, а вы-съ, знать меня жалѣючи, браслета не возвращали—хе?

— Я не успѣлъ...

— Отъ сердца жалѣючи, какъ истинный другъ истиннаго друга?

— Ну, да, жалѣлъ, озлобился Вельчаниновъ.

Онъ однакоже рассказалъ ему вкратцѣ о томъ, какъ получилъ давеча браслетъ обратно, и какъ Надежда Федосѣевна почти насильно заставила его принять участіе...

— Понимаете, что я ни за что бы не взялъ; столько и безъ того неприятностей!

— Увлеклись и взяли-съ! прохихикалъ Павелъ Павловичъ.

— Глупо это съ вашей стороны; впрочемъ, васъ извинить надо. Сами вѣдь видѣли сейчасъ, что не я въ дѣлѣ главный, а другіе!

— Все-таки увлеклись-съ.

Павелъ Павловичъ сѣлъ и налилъ свой стаканъ.

— Вы полагаете, что я мальчишкѣ-то уступлю-съ? Въ бараній рогъ согну, вотъ что-съ! Завтра же поѣду и все согну. Мы душою этотъ выкуримъ, изъ дѣтской-то-съ...

Онъ выпилъ почти залпомъ стаканъ и налилъ еще; вообще сталъ дѣйствовать съ необычной до сихъ поръ развязностью.

— Ишь, Наденька съ Сашенькой, милыя дѣточки, — хи-хи-хи!

Онъ не помнилъ себя отъ злости. Раздался опять сильнѣйшій ударъ грома, ослѣпительно свергнула молнія, и дождь пролился какъ изъ ведра. Павелъ Павловичъ всталъ и заперъ отворенное окно.

— Давеча онъ васъ спрашиваетъ: „не боитесь-ли грому?“ — хи-хи! Вельчаниновъ грому боится! У Кобыльни-

кова—какъ это—у Кобыльникова... А про пятьдесятъ-то лѣтъ, а? Помните-съ? ехидничаль Павелъ Павловичъ.

— Вы однакоже здѣсь расположились! замѣтилъ Вельчаниновъ, едва выговаривая отъ боли слова. — Я лягу... вы какъ хотите.

— Да и собаку въ такую погоду не выгонять! обидчиво подхватилъ Павелъ Павловичъ, впрочемъ, почти радуясь, что имѣеть право обидѣться.

— Ну, да, сидите, пейте... хоть почитайте! промямлилъ Вельчаниновъ, протянулся на диванъ и слегка застоналъ.

— Ночевать-съ? А вы не побойтесь-съ?

— Чего? приподнялъ вдругъ голову Вельчаниновъ.

— Ничего-съ, такъ-съ. Въ прошлый разъ вы какъ бы испугались-съ, али мнѣ только померещилось...

— Вы глупы! не выдержалъ Вельчаниновъ и злобно повернулся къ стѣнѣ.

— Ничего-съ, отозвался Павелъ Павловичъ.

Больной какъ-то вдругъ заснулъ, черезъ минуту какъ легъ. Все неестественное напряженіе его въ этотъ день и безъ того уже при сильномъ разстройствѣ здоровья за послѣднее время какъ-то вдругъ порвалось и онъ обезси-лѣлъ какъ ребенокъ. Но боль взяла-таки свое и побѣдила усталость и сонъ; черезъ часъ онъ проснулся и съ страданіемъ приподнялся съ дивана. Гроза утихла; въ комнатѣ было накурено, бутылка стояла пустая, а Павелъ Павловичъ спалъ на другомъ диванѣ. Онъ лежалъ на-взничъ, головой на диванной подушкѣ, совсѣмъ не раздѣтый и въ сапогахъ. Его давешній лорнетъ, выскользнувъ изъ кармана, тянулся на шнурѣ чуть не до полу. Шляпа валялась подлѣ, на полу же. Вельчаниновъ угрюмо поглядѣлъ на него и не сталъ будить. Скрючившись и шагая по комнатѣ, потому что лежать силъ уже не было, онъ стоналъ и раздумывалъ о своей боли.

Онъ боялся этой боли въ груди, и не безъ причины. Припадки эти зародились въ немъ уже давно, но посѣщали его очень рѣдко — черезъ годъ, черезъ два. Онъ зналъ, что это отъ печени. Сначала какъ бы скоплялось въ какой-нибудь точкѣ груди, подъ ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавненіе. Непрестанно увеличиваясь въ продолженіе иногда десяти часовъ сряду, боль доходила, наконецъ, до такой силы, давленіе становилось до того невыносимымъ, что больному начинала мерещиться смерть. Въ послѣдній, бывший съ

нимъ назадъ тому съ годъ припадокъ, послѣ десятичасовой и, наконецъ, унявшейся боли, онъ до того вдругъ обезсилѣлъ, что, лежа въ постели, едва могъ двигать рукой, и докторъ позволилъ ему въ цѣлый день всего только нѣсколько чайныхъ ложекъ слабаго чаю и щепоточку размоченнаго въ бульонѣ хлѣба, какъ грудному ребенку. Появлялась эта боль отъ разныхъ случайностей, но всегда при разстроенныхъ уже прежде нервахъ. Странно то же и проходила: иногда случалось захватывать ее въ самомъ началѣ, въ первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разомъ; иногда же, какъ въ послѣдній припадокъ, ничто не помогало, и боль унялась отъ многочисленныхъ и постепенныхъ приѣмовъ рвотнаго. Докторъ признался потомъ, что былъ увѣренъ въ отравѣ. Теперь до утра еще было далеко, за докторомъ ему не хотѣлось посылать ночью; да и не любилъ онъ докторовъ. Наконецъ, онъ не выдержалъ и сталъ громко стонать. Стоны разбудили Павла Павловича; онъ приподнялся на диванѣ и нѣкоторое время сидѣлъ, прислушиваясь со страхомъ и въ недоумѣннн слѣдя глазами за Вельчаниновымъ, чуть не бѣгавшимъ по обѣимъ комнатамъ. Выпитая бутылка, видно то же не по-всегдашнему, сильно на него подѣйствовала, и долго онъ не могъ сообразиться; наконецъ, понялъ и бросился къ Вельчанинову; тотъ что-то промямлилъ ему въ отвѣтъ.

— Это у васъ отъ печени-съ, я это знаю! оживился вдругъ ужасно Павелъ Павловичъ. — Это у Петра Кузьмича у Полосухина-съ точно такъ же бывало, отъ печени-съ. Это припарками бы-съ. Петръ Кузьмичъ всегда припарками... Умереть вѣдь можно-съ! Сбѣгаю-ка я къ Маврѣ, а?

— Не надо, не надо! раздражительно отмахивался Вельчаниновъ. — Ничего не надо.

Но Павелъ Павловичъ, Богъ знаетъ почему, былъ почти внѣ себя, какъ будто дѣло шло о спасеніи родного сына. Онъ не слушался и изо всѣхъ силъ настаивалъ на необходимости припарокъ и, сверхъ того, двухъ-трехъ чашекъ слабаго чаю, выпитыхъ вдругъ, — „но не просто горячихъ-съ, а кипятку-съ!“ Онъ побѣждалъ-таки къ Маврѣ, не дождавшись позволенія, вмѣстѣ съ нею разложилъ въ кухнѣ, всегда стоявшей пустою, огонь, вздулъ самоваръ; тѣмъ временемъ успѣлъ и уложить больного, снялъ съ него верхнее платье, укуталъ въ одѣяло, и всего въ ка-

кихъ-нибудь двадцать минутъ состряпаль и чай, и первую припарку.

— Это грѣтъя тарелки-сь, раскаленные-сь! говорилъ онъ чуть не въ восторгѣ, накладывая разгоряченную и обернутую въ салфетку тарелку на большую грудь Вельчанинова.— Другихъ припарокъ нѣтъ-сь, и доставать долго-сь, а тарелки, честью влянусь вамъ-сь, даже и всего лучше будутъ-сь: испытано на Петрѣ Кузьмичѣ-сь, собственными глазами и руками-сь. Умереть вѣдь можно-сь. Пейте чай, глотайте; нужды нѣтъ, что обожжетесь; жизнь дороже... щегольства-сь.

Онъ затормошилъ совсѣмъ полусонную Мавру; тарелки переменялись каждыя три-четыре минуты. Послѣ третьей тарелки и второй чашки чаю-випята, выпитаго залпомъ, Вельчаниновъ вдругъ почувствовалъ облегченіе.

— А ужъ если разъ пошатнули боль, то и слава Богу-сь, и добрый знакъ-сь! вскричалъ Павелъ Павловичъ и радостно побѣжалъ за новой тарелкой и за новымъ чаемъ.

— Только бы боль-то сломить! Боль-то бы намъ только назадъ повернуть! повторялъ онъ поминутно.

Черезъ полчаса боль совсѣмъ ослабѣла, но больной былъ уже до того измученъ, что, какъ ни умолялъ Павелъ Павловичъ, не согласился выдержать „еще тарелочку-сь“. Глаза его смыкались отъ слабости.

— Спать, спать, повторялъ онъ слабымъ голосомъ.

— И то! согласился Павелъ Павловичъ.

— Вы ночуйте... Который часъ?

— Скоро два, безъ четверти-сь.

— Ночуйте.

— Ночую, ночую.

Черезъ минуту больной опять кликнулъ Павла Павловича.

— Вы, вы, пробормоталъ онъ, когда тотъ подбѣжалъ и наклонился надъ нимъ,—вы лучше меня! Я понимаю все, все... благодарю.

— Спите, спите, прошепталъ Павелъ Павловичъ и поскорѣй, на цыпочкахъ, отправился къ своему дивану.

Больной, засыпая, слышалъ еще, какъ Павелъ Павловичъ потихоньку стлалъ себѣ на-скоро постель, снималъ съ себя платье и, наконецъ, загасивъ свѣчи и чуть дыша, чтобъ не зашумѣть, протянулся на своемъ диванѣ.

Безъ сомнѣнія, Вельчаниновъ спалъ и заснулъ очень скоро послѣ того, какъ потушили свѣчи; онъ ясно при-

помнилъ это потомъ. Но во все время своего сна, до самой той минуты, когда онъ проснулся, онъ видѣлъ во снѣ, что онъ не спалъ, и что будто бы никакъ не можетъ заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконецъ, приснилось ему, что съ нимъ будто бы начинается бредъ наяву, и что онъ никакъ не можетъ разогнать толпящихся около него видѣній, несмотря на полное сознание, что это одинъ только бредъ, а не дѣйствительность. Видѣнія все были знакомыя; комната его была будто бы вся наполнена людьми, а дверь въ сѣни стояла отпертою; люди входили толпами и тѣснились на лѣстницѣ. За столомъ, выставленнымъ на середину комнаты, сидѣлъ одинъ человекъ—точь-въ-точь какъ тогда, въ приснившемся ему съ мѣсяцъ назадъ такомъ же снѣ. Какъ и тогда, этотъ человекъ сидѣлъ облокотясь на столъ и не хотѣлъ говорить; но теперь онъ былъ въ круглой шляпѣ съ крепомъ. „Какъ? Неужели это былъ и тогда Павелъ Павловичъ?“ подумалъ Вельчаниновъ, но, заглянувъ въ лицо молчавшаго человека, онъ убѣдился, что этотъ кто-то совсѣмъ другой. „Зачѣмъ же у него крепъ?“ недоумѣвалъ Вельчаниновъ. Шумъ, говоръ и крикъ людей, тѣснившихся у стола, были ужасны. Казалось, эти люди еще сильнѣе были озлоблены на Вельчанинова, чѣмъ тогда въ томъ снѣ; они грозили ему руками и о чемъ-то изо всѣхъ силъ кричали ему, но о чемъ именно—онъ никакъ не могъ разобрать. „Да вѣдь это бредъ, вѣдь я знаю! думалось ему, — я знаю, что я не могъ заснуть и всталъ теперь, потому что не могъ лежать отъ тоски!..“ Но однакоже крики и люди, и жесты ихъ, и все — было такъ явственно, такъ дѣйствительно, что иногда его брало сомнѣние: „Неужели же это и въ самомъ дѣлѣ бредъ? Чего хотятъ отъ меня эти люди, Боже мой? Но... если-бъ это былъ не бредъ, то возможно-ли, чтобъ такой крикъ не разбудилъ до сихъ поръ Павла Павловича? Вѣдь вотъ онъ спитъ же, вотъ тутъ на диванѣ!“ Наконецъ, вдругъ что-то случилось, опять какъ и тогда въ томъ снѣ; всѣ устремились на лѣстницу и ужасно стѣснились въ дверяхъ, потому что съ лѣстницы валила въ комнату новая толпа. Эти люди что-то съ собой несли, что-то большое и тяжелое; слышно было, какъ тяжело отдавались шаги носильщиковъ по ступенькамъ лѣстницы и торопливо перекливались ихъ запыхавшіеся голоса. Въ комнатѣ всѣ закричали: „Несутъ, несутъ!“, всѣ глаза за-сверкали и устремились на Вельчанинова; всѣ, грозя и

торжествуя, указывали ему на лѣстницу. Уже нисколько не сомнѣваясь болѣе въ томъ, что все это не бредъ, а правда, онъ сталъ на цыпочки, чтобъ разглядѣть поскорѣе, черезъ головы людей,—что они такое несутъ? Сердце его билось-билось-билось и вдругъ, точь-въ-точь какъ тогда въ томъ снѣ, раздались три сильнѣйшіе удара въ колокольчикъ. И опять-таки это былъ до того ясный, до того дѣйствительный до осязанія звонъ, что ужъ, конечно, такой звонъ не могъ присниться только во снѣ!.. Онъ закричалъ и проснулся.

Но онъ не бросился, какъ тогда, бѣжать къ дверямъ. Какая мысль направила его первое движеніе, и была-ли у него въ то мгновеніе хоть какая-нибудь мысль, — но какъ будто кто-то подсказалъ ему, что надо дѣлать: онъ схватился съ постели, бросился съ простертыми впередъ руками, какъ бы обороняясь и останавливая нападеніе, прямо въ ту сторону, гдѣ спалъ Павелъ Павловичъ. Руки его разомъ столкнулись съ другими, уже распростертыми надъ нимъ руками, и онъ крѣпко схватилъ ихъ; кто-то, стало-быть, уже стоялъ надъ нимъ, нагнувшись. Гардины были спущены, но было не совершенно темно, потому что изъ другой комнаты, въ которой не было такихъ гардинъ, уже проходилъ слабый свѣтъ. Вдругъ что-то ужасно больно обрѣзало ему ладонь и пальцы лѣвой руки, и онъ мгновенно понялъ, что схватился за лезвие ножа или бритвы и крѣпко сжалъ его рукой.. Въ тотъ же мигъ что-то вѣско и однозвучно шлепнулось на полъ.

Вельчаниновъ былъ, можетъ-быть, втрое сильнѣе Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полныхъ. Онъ скоро пригнулъ его къ полу и вывернулъ ему назадъ руки, но для чего-то ему непремѣнно захотѣлось связать эти вывернутыя назадъ руки. Онъ сталъ искать ощупью, правой рукой, придерживая раненой лѣвой убійцу, шнура съ оконной занавѣски и долго не могъ найти, но, наконецъ, захватилъ и сорвалъ съ окна. Самъ онъ удивлялся потомъ неестественной силѣ, которая для того потребовалась. Во всѣ эти три минуты, ни тотъ, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было ихъ тяжелое дыханіе и глухіе звуки борьбы. Наконецъ, скрутивъ и связавъ Павлу Павловичу руки назадъ, Вельчаниновъ бросилъ его на полу, всталъ, отдернулъ съ окна занавѣску и поднялъ штору. На уединенной улицѣ было уже свѣтло.

Отворивъ окно, онъ простоялъ нѣсколько мгновеній, глубоко вдыхая воздухъ. Былъ уже пятый часъ въ началѣ. Затворивъ окно, онъ торопливо пошелъ къ шкафу, досталъ чистое полотенце и туго-на-туго обвилъ имъ свою лѣвую руку, чтобъ унять текущую изъ нея кровь. Подъ ноги ему попалась развернутая бритва, лежавшая на коврѣ; онъ поднялъ ее, свернулъ, уложилъ въ бритвенный ящикъ, забытый съ утра на маленькомъ столикѣ, подлѣ самага дивана, на которомъ спалъ Павелъ Павловичъ, и заперъ ящикъ въ бюро на ключъ. И уже исполнивъ все это, онъ подошелъ къ Павлу Павловичу и сталъ его разсматривать.

Тѣмъ временемъ тотъ ужъ успѣлъ привстать съ усилемъ съ ковра и усѣсться къ кресло. Онъ былъ не одѣтъ, въ одномъ бѣльѣ, даже безъ сапогъ. Рубашка его на спинѣ и на рукавахъ была смочена кровью; но кровь была не его, а изъ порѣзанной руки Вельчанинова. Конечно, это былъ Павелъ Павловичъ, но почти можно было не узнать его, въ первую минуту, если-бъ встрѣтить такого нечаянно,—до того измѣнилась его физиономія. Онъ сидѣлъ, неловко выпрямляясь въ креслахъ отъ связанныхъ назадъ рукъ, съ искажившимся и измученнымъ, позеленѣвшимъ лицомъ, и изрѣдка вздрагивалъ. Пристально, но какимъ-то темнымъ, какъ бы еще не различающимъ всего взглядомъ, посмотрѣлъ онъ на Вельчанинова. Вдругъ онъ тупо улыбнулся и, кивнувъ на графинъ съ водой, стоявшій на столѣ, проговорилъ короткимъ полушопотомъ:

— Водицы бы-съ.

Вельчаниновъ налилъ ему и сталъ его поить изъ своихъ рукъ. Павелъ Павловичъ накинудся съ жадностью на воду; глотнувъ раза три, онъ приподнялъ голову, очень пристально посмотрѣлъ въ лицо стоявшему передъ нимъ со стаканомъ въ рукѣ Вельчанинову, но не сказалъ ничего и принялся допивать. Напившись, онъ глубоко вздохнулъ. Вельчаниновъ взялъ свою подушку, захватилъ свое верхнее платье и отправился въ другую комнату, заперевъ Павла Павловича въ первой комнатѣ на замокъ.

Давешняя его боль прошла совсѣмъ, но слабость онъ вновь ощутилъ чрезвычайную послѣ теперешняго, мгновеннаго напряженія. Богъ знаетъ откуда пришедшей къ нему силы. Онъ попытался было сообразить происшествіе, но мысли его еще плохо вязались; толчокъ былъ слишкомъ силенъ. Глаза его то смыкались, иногда даже ми-

нуть на десять, то вдругъ онъ вздрагиваль, просыпался, вспоминаль все, припоминаль свою болѣвшую и обернутую въ мокрое отъ крови полотенце руку и принимался жадно и лихорадочно думать. Онъ рѣшилъ ясно только одно: что Павелъ Павловичъ дѣйствительно хотѣлъ его зарѣзать, но что, можетъ-быть, еще за четверть часа самъ не зналь, что зарѣжетъ. Бритвенный ящикъ, можетъ, только съ вечера скользнулъ мимо его глазъ, не возбуждивъ никакой при этомъ мысли, и остался лишь у него въ памяти. (Бритвы же и всегда лежали въ бюро, на замкѣ, и только во вчерашнее утро Вельчаниновъ ихъ вынулъ, чтобы подбрить лишніе волосы около усовъ и бакенбардъ, что иногда дѣлываль).

„Если-бъ онъ давно уже намѣревался меня убить, то навѣрно бы приготовилъ заранѣе ножъ или пистолеть, а не рассчитываль бы на мои бритвы, которыхъ никогда и не видалъ до вчерашняго вечера“, придумалось ему, между прочимъ.

Пробило, наконецъ, шесть часовъ утра; Вельчаниновъ очнулся, одѣлся и пошелъ къ Павлу Павловичу. Отпирая двери, онъ не могъ понять: для чего онъ запираль Павла Павловича и зачѣмъ не выпустиль его тогда же изъ дому? Къ удивленію его, арестантъ былъ уже совсѣмъ одѣтъ; вѣроятно, нашель какъ-нибудь случай распутаться. Онъ сидѣль въ креслахъ, но тотчасъ же всталъ, какъ вошелъ Вельчаниновъ. Шляпа была уже у него въ рукахъ. Тревожный взглядъ его, какъ бы спѣша, проговорилъ:

„Не начинай говорить; нечего начинать; не зачѣмъ говорить“...

— Ступайте! сказалъ Вельчаниновъ. — Возьмите вашъ футляръ, прибавилъ онъ ему вслѣдъ.

Павелъ Павловичъ воротился уже отъ дверей, захватилъ со стола футляръ съ браслетомъ, сунулъ его въ карманъ и вышелъ на лѣстницу. Вельчаниновъ стояль въ дверяхъ, чтобъ запереть за нимъ. Взгляды ихъ въ послѣдній разъ встрѣтились; Павелъ Павловичъ вдругъ приостановился, оба секундъ съ пять поглядѣли другъ другу въ глаза—точно колебались; наконецъ Вельчаниновъ слабо махнулъ на него рукой.

— Ну, ступайте! сказалъ онъ вполголоса и заперъ дверь на замокъ.

XVI.

А н а л и з ъ.

Чувство необычайной, огромной радости овладѣло имъ; что-то кончилось, развязалось; какая-то ужасная тоска отошла и разсѣялась совсѣмъ. Такъ ему казалось. Пять недѣль продолжалась она. Онъ поднималъ руку, смотрѣлъ на смоченное кровью полотенце и бормоталъ про себя: „Нѣтъ, уже теперь совершенно все кончилось!“ И во все это утро, въ первый разъ въ эти три недѣли, онъ почти и не подумалъ о Лизѣ,—какъ будто эта кровь, изъ порѣзанныхъ пальцевъ, могла „похвитать“ его даже и съ этой тоской.

Онъ созналъ ясно, что миновалъ страшную опасность. „Эти люди“, думалось ему,—„вотъ эти-то самые люди, которые еще за минуту не знаютъ, зарѣжутъ они или нѣтъ,—ужь какъ возьмутъ разъ ножъ въ свои дрожащія руки и какъ почувствуютъ первый брызгъ горячей крови на своихъ пальцахъ, то мало того что зарѣжутъ,—голову совсѣмъ отрѣжутъ, „на-прочъ“,—какъ выражаются каторжные. Это такъ“.

Онъ не могъ оставаться дома и вышелъ на улицу въ убѣжденіи, что необходимо сейчасъ что-то сдѣлать, или что непременно, сейчасъ, что-то съ нимъ само собой сдѣлается; онъ ходилъ по улицамъ и ждалъ. Ужасно захотѣлось ему съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, съ кѣмъ-нибудь заговорить, хоть съ незнакомымъ, и только это навело его, наконецъ, на мысль о докторѣ и о томъ, что руку надо бы перевязать какъ слѣдуетъ. Докторъ, прежній его знакомый, осмотрѣвъ рану, съ любопытствомъ спросилъ: „какъ это могло случиться?“ Вельчаниновъ отшучивался, хохоталъ и чуть-чуть не рассказалъ всего, но удержался. Докторъ принужденъ былъ пощупать ему пульсъ и, узнавъ о вчерашнемъ припадкѣ ночью, уговорилъ его принять теперь же какого-то, бывшаго подъ рукой, успокоительнаго лѣкарства. Насчетъ порѣза онъ тоже его успокоилъ: „особенно дурныхъ послѣдствій быть не могло“. Вельчаниновъ захохоталъ и сталъ увѣрять его, что уже оказались превосходныя послѣдствія. Неудержимое желаніе рассказать *все* повторилось съ нимъ въ этотъ день еще два раза, однажды даже съ совсѣмъ незнакомымъ человекомъ, съ которымъ самъ онъ первый завелъ разговоръ

въ кондитерской. Онъ терпѣть не могъ, до сихъ поръ, заводить разговоры съ людьми незнакомыми въ публичныхъ мѣстахъ.

Онъ заходилъ въ магазины, купилъ газету, зашелъ въ своему портному и заказалъ себѣ платье. Мысль посѣтить Погорѣльцевыхъ продолжала быть ему неприятною, и онъ не думалъ о нихъ, да и не могъ онъ ѣхать на дачу: онъ какъ бы все чего-то ожидалъ здѣсь въ городѣ. Обѣдалъ съ наслажденіемъ, заговорилъ съ слугой и съ обѣдавшимъ сосѣдомъ, и выпилъ полбутылки вина. О возможности возвращенія вчерашняго припадка онъ и не думалъ; онъ былъ убѣжденъ, что болѣзнь прошла совершенно въ ту самую минуту, когда онъ, заснувъ вчера въ такомъ безсиліи, черезъ полтора часа вскочилъ съ постели и съ такою силою бросилъ своего убійцу объ полъ. Къ вечеру однакоже голова его стала кружиться и какъ будто что-то похожее на вчерашній бредъ во снѣ стало овладѣвать имъ мгновеніями. Онъ воротился домой уже въ сумерки и почти испугался своей комнаты, войдя въ нее. Страшно и жутко показалось ему въ его квартирѣ. Нѣсколько разъ прошелся онъ по ней и даже зашелъ въ свою кухню, куда никогда почти не заходилъ. „Здѣсь они вчера грѣли тарелки“, подумалось ему. Двери онъ на-крѣпико заперъ, и раньше обыкновеннаго зажегъ свѣчи. Запирая двери, онъ вспомнилъ, что полчаса тому, проходя мимо дворницкой, онъ вызвалъ Мавру и спросилъ ее: „Не заходилъ-ли безъ него Павелъ Павловичъ?“ точно и въ самомъ дѣлѣ тотъ могъ зайти.

Запершись тщательно, онъ отперъ бюро, вынулъ ящикъ съ бритвами и развернулъ „вчерашнюю“ бритву, чтобъ посмотрѣть на нее. На бѣломъ костяномъ черенкѣ остались чуточные слѣды крови. Онъ положилъ бритву опять въ ящикъ и опять заперъ его въ бюро. Ему хотѣлось спать; онъ чувствовалъ, что необходимо сейчасъ же лечь— иначе, „онъ на завтра никуда не будетъ годиться“. Завтрашній день представлялся ему почему-то какъ роковой и „окончательный“ день. Но все тѣ же мысли, которыя его и на улицѣ, весь день, ни на мгновение не покидали,— толпились и стучали въ его больной головѣ и теперь, неустанно и неотразимо, и онъ все думалъ, думалъ, думалъ, и долго еще ему не пришлось заснуть...

„Если ужъ рѣшено, что онъ сталъ меня рѣзать *нечаянно*, все думалъ и думалъ онъ,—то вспадала-ли ему эта

мысль на умъ хоть разъ прежде, хотя бы только въ видѣ мечты въ злобную минуту?“

Онъ рѣшилъ вопросъ странно,—тѣмъ, что „Павель Павловичъ хотѣлъ его убить, но что мысль объ убійствѣ ни разу не впадала будущему убійцѣ на умъ“. Короче: „Павель Павловичъ хотѣлъ убить, но не зналъ, что хочетъ убить. Это бессмысленно, но это такъ“, думалъ Вельчаниновъ.—„Не мѣста искать и не для Багаутова онъ пріѣхалъ сюда—хотя и искалъ здѣсь мѣста и забѣгалъ къ Багаутову, и взбѣсилъ, когда тотъ померъ;—Багаутова онъ презиралъ какъ щепку. Онъ для меня сюда поѣхалъ и пріѣхалъ съ Лизой...“

„А ожидалъ-ли я самъ, что онъ... зарѣжетъ меня?“ Онъ рѣшилъ, что да, ожидалъ именно съ той самой минуты, какъ увидѣлъ его въ каретѣ, за гробомъ Багаутова, „я чего-то какъ бы сталъ ожидать... но, разумѣется, не этого; разумѣется, не того, что зарѣжетъ!..“

„И неужели, неужели правда была все то, восклицалъ онъ опять, вдругъ подымая голову съ подушки и раскрывая глаза,—все то, что этотъ... сумасшедшій натолковалъ мнѣ вчера о своей ко мнѣ любви, когда задрожалъ у него подбородокъ, и онъ стучалъ въ грудь кулакомъ?“

„Совершенная правда“, рѣшалъ онъ, неустанно углубляясь и анализируя,—„этотъ Квазимодо изъ Т. слишкомъ достаточно былъ глупъ и благороденъ для того, чтобъ влюбиться въ любовника своей жены, въ которой онъ въ двадцать лѣтъ *ничего* не примѣтилъ! Онъ уважалъ меня девять лѣтъ, чтилъ память мою и мои „изреченія“ запомнилъ—Господи, а я-то не вѣдалъ ни о чемъ! Не могъ онъ лгать вчера! Но любилъ-ли онъ меня вчера, когда изъяснялся въ любви и сказалъ: „поквитаемтесь?“ Да, *со злобы* любилъ; эта любовь самая сильная“..

„А вѣдь могло быть, а вѣдь было навѣрно такъ, что я произвелъ на него колоссальное впечатлѣніе въ Т.,—именно колоссальное и „отрадное“, и именно съ такимъ Шиллеромъ, въ образѣ Квазимодо, и могло это произойти! Онъ преувеличилъ меня во сто разъ, потому что я слишкомъ ужъ поразилъ его въ его философскомъ уединеніи... Любопытно бы знать, чѣмъ именно поразилъ? Право, можетъ-быть, свѣжими перчатками и умѣніемъ ихъ надѣвать. Квазимоды любятъ эстетику, ухъ, любятъ! Перчатокъ слишкомъ достаточно для иной благороднѣйшей души, да еще изъ „вѣчныхъ мужей“. Остальное они сами дополняютъ разъ

въ тысячу, и подерутся даже за васъ, если вы того захотите. Средства-то обольщенія мои какъ высоко онъ ставитъ! Можетъ-быть, именно средства обольщенія и поразили его всего болѣе. А крикъ-то его тогда: „Если ужъ и этотъ, такъ въ кого же послѣ этого вѣрять!“ Послѣ такого крика звѣремъ сдѣлаешься!..“

„Гм! Онъ пріѣхалъ сюда, чтобъ „обняться со мной и заплакать“, какъ онъ самъ подлѣйшимъ образомъ выразился, то-есть онъ ѣхалъ, чтобъ зарѣзать меня, а думалъ, что ѣдетъ „обняться и заплакать“... Онъ и Лизу привезъ. А что: если-бъ я съ нимъ заплакалъ, онъ, можетъ, и въ самомъ бы дѣлѣ простилъ бы меня, потому что ужасно ему хотѣлось простить!.. Все это обратилось, при первомъ столкновеніи, въ пьяное ломаніе и въ карикатуру, и въ гадкое бабье вытье объ обидѣ. (Рога-то, рога-то надъ лбомъ себѣ сдѣлалъ!). Для того и пьяный приходилъ, чтобъ хоть ломаясь да высказать; не пьяный и онъ бы не смогъ... А любилъ-таки поломаться, ухъ, любилъ! Ухъ, какъ былъ радъ, когда заставилъ поцѣловаться съ собой! Только не зналъ тогда, чѣмъ онъ кончитъ: обнимется или зарѣжетъ? Вышло, конечно, что всего лучше и то, и другое вмѣстѣ. Самое естественное рѣшеніе!—Да-съ, природа не любитъ уродовъ и добиваетъ ихъ „естественными рѣшеніями“. Самый уродливый уродъ—это уродъ съ благородными чувствами; я это по собственному опыту знаю, Павелъ Павловичъ! Природа для урода не нѣжная мать, а мачиха. Природа родитъ урода, да вмѣсто того, чтобъ пожалѣть его, его-жъ и казнить,—да и дѣльно. Объятія и слезы всепрощенія даже и порядочнымъ людямъ, въ нашъ вѣкъ, даромъ съ рукъ не сходятъ, а не то что ужъ такимъ, какъ мы съ вами, Павелъ Павловичъ!“

„Да, онъ былъ достаточно глупъ, чтобъ повезти меня и къ невѣстѣ,—Господи! Невѣста! Только у такого Квазимодо и могла зародиться мысль о „воскресеніи въ новую жизнь“—посредствомъ невинности мадемуазель Захлебниной! Но вы не виноваты, Павелъ Павловичъ, не виноваты: вы—уродъ, а потому и все у васъ должно быть уродливо—и мечты, и надежды ваши. Но хоть и уродъ, а усомнился же въ мечтѣ, почему и потребовалась высокая санкція Вельчанинова, съ благоговѣніемъ уважаемаго. Надо было одобреніе Вельчанинова, подтвержденіе отъ него, что мечта не мечта, а настоящая вещь. Онъ меня изъ благоговѣйнаго уваженія ко мнѣ повезъ и въ благо-

родство чувствъ моихъ вѣруя,—вѣруя, можетъ-быть, что мы тамъ, подъ кустомъ, обнимемся и заплачемъ, неподалеку отъ невинности. Да! Долженъ же былъ, обязанъ же былъ, наконецъ, этотъ „вѣчный мужъ“ хоть когда-нибудь да наказать себя за все, окончательно, и чтобъ наказать себя, онъ и схватился за бритву,—правда, нечаянно, но все-таки схватился! „Все-таки пырнулъ же ножомъ, все-таки вѣдь кончилъ же тѣмъ, что пырнулъ, въ присутствіи губернатора!“ А встати, была-ли у него хоть какая-нибудь мысль, въ этомъ родѣ, когда онъ мнѣ рассказывалъ свой анекдотъ про шафера? А было-ли въ самомъ дѣлѣ что-нибудь тогда ночью, когда онъ вставалъ съ постели и стоялъ среди комнаты? Гм!.. Нѣтъ, онъ съ *шутку* тогда стоялъ. Онъ всталъ за своимъ дѣломъ, а какъ увидѣлъ, что я его струсилъ, онъ и не отвѣчалъ мнѣ десять минутъ, потому что очень ужъ пріятно было ему, что я струсилъ его... Тутъ-то, можетъ-быть, ему и въ самомъ дѣлѣ что-нибудь въ первый разъ померещилось, когда онъ стоялъ тогда въ темнотѣ“...

„А все-таки, не забудь я вчера на столѣ эти бритвы,—ничего бы, пожалуй, и не было. Такъ-ли? Такъ-ли? Вѣдь избѣгалъ же онъ меня прежде, вѣдь не ходилъ же ко мнѣ по двѣ недѣли; вѣдь прятался же онъ отъ меня, меня *жалючи*. Вѣдь выбралъ же вначалѣ Багаутова, а не меня! Вѣдь вскочилъ же ночью тарелки грѣть, думая сдѣлать диверсію—отъ ножа къ умиленію!.. И себя, и меня спасти хотѣлъ—грѣтвыми тарелками!..“

И долго еще работала въ этомъ родѣ больная голова этого бывшаго „свѣтскаго человѣка“, пересыпая изъ пустого въ порожнее, пока онъ успокоился. Онъ проснулся на другой день съ тою же больною головою, но съ совершенно *новымъ* и уже совершенно неожиданнымъ ужасомъ...

Этотъ новый ужасъ происходилъ отъ непремѣннаго убѣжденія, въ немъ неожиданно укрѣпившагося, въ томъ, что онъ, Вельчаниновъ (и свѣтскій человѣкъ), сегодня же, самъ, своей волей, кончитъ все тѣмъ, что пойдетъ къ Павлу Павловичу—зачѣмъ? Для чего?—Ничего онъ этого не зналъ и съ отвращеніемъ знать не хотѣлъ, а зналъ только то, что зачѣмъ-то потащится.

Сумасшествіе это—иначе онъ и назвать не могъ—развилось, однакоже, до того, что получило, насколько можно, разумный видъ и довольно законный предлогъ:

ему еще вчера какъ бы грезилось, что Павелъ Павловичъ воротится въ свой номеръ, запрется на-крѣпко и—повѣсится, какъ тотъ казначей, про котораго рассказывала Марья Сысоевна. Эта вчерашняя мечта перешла въ немъ, мало-по-малу, въ бессмысленное, но неотразимое убѣжденіе.—„Зачѣмъ этому дураку вѣшаться?“ перебивалъ онъ себя поминутно. Ему вспомнились давнишнія слова Лизы... „А, впрочемъ, я на его мѣстѣ, можетъ, и повѣсился бы“... придумалось ему одинъ разъ.

Кончилось тѣмъ, что онъ, вмѣсто того, чтобъ идти обѣдать, направился—таки къ Павлу Павловичу.—„Я только у Марьи Сысоевны спрошу“, рѣшилъ онъ. Но еще не успѣвъ выйти на улицу, онъ вдругъ остановился подъ воротами:

— Неужели-жъ, неужели-жъ! вскрикнулъ онъ, побагровѣвъ отъ стыда.—Неужели-жъ я плетусь туда, чтобъ „обняться и заплакать?“ Неужели только этой бессмысленной мерзости недоставало ко всему сраму!

Но отъ „бессмысленной мерзости“ спасло его providѣніе всѣхъ порядочныхъ и приличныхъ людей. Только что онъ вышелъ на улицу, съ нимъ вдругъ столкнулся Александръ Лобовъ. Юноша былъ впопыхахъ и въ волненіи.

— А я къ вамъ! Пріятель-то нашъ, Павелъ Павловичъ, каково?

— Повѣсился! дико пробормоталъ Вельчаниновъ.

— Кто повѣсился? Зачѣмъ? вытаращилъ глаза Лобовъ.

— Ничего... я такъ;—продолжайте!

— Фу, чортъ, какой однакоже у васъ смѣшной оборотъ мыслей! Совсѣмъ таки не повѣсился (почему повѣсился?). Напротивъ—уѣхалъ. Я только что сейчасъ его въ вагонъ посадилъ и отправилъ. Фу, какъ онъ пьетъ, я вамъ скажу! Мы три бутылки выпили. Предпосыловъ тоже,—но какъ онъ пьетъ, какъ онъ пьетъ! Пѣсни пѣлъ въ вагонѣ, васъ вспоминалъ, ручкой дѣлалъ, кланяться вамъ велѣлъ. А подлецъ онъ, какъ вы думаете,—а?

Молодой человѣкъ былъ дѣйствительно хмельнъ; раскраснѣвшееся лицо, блиставшіе глаза и плохо слушавшійся языкъ сильно объ этомъ свидѣтельствовали. Вельчаниновъ захохоталъ во все горло.

— Такъ они кончили таки, наконецъ, брудершафтомъ! Ха-ха! Обнялись и заплакали! Ахъ, вы, Шиллеры-поэты!

— Не ругайтесь, пожалуйста. Знаете, онъ тамъ со-

всѣмъ отказался. Вчера тамъ былъ и сегодня былъ. На-
фискалилъ ужасно. Надю заперли,—сидить въ антресоляхъ.
Крикъ, слезы, но мы не уступимъ! Но какъ онъ пьетъ, я
вамъ скажу, какъ онъ пьетъ! И знаете, какой онъ моветонъ,
то-есть не моветонъ, а какъ это?.. И все про васъ вспо-
миналъ, но какое сравненіе съ вами! Вы все-таки порядочный
человѣкъ и въ самомъ дѣлѣ принадлежали когда-то къ
высшему обществу и только теперь принуждены уклони-
ться,—по бѣдности, что-ли... Чортъ знаетъ, я его плохо
разобралъ.

— А, такъ это онъ вамъ, въ такихъ выраженіяхъ, про
меня рассказывалъ?

— Онъ, онъ, не сердитесь. Быть гражданиномъ—лучше
высшаго общества. Я къ тому, что въ нашъ вѣкъ въ
Россіи не знаешь кого уважать. Согласитесь, что это
сильная болѣзнь вѣка, когда не знаешь кого уважать,—не
правда-ли?

— Правда, правда, что-жь онъ?

— Онъ? Кто! Ахъ, да! Почему онъ все говорилъ:
пятидесятилѣтній, *но* промотавшійся Вельчаниновъ? По-
чему: *но* промотавшійся, а не *и* промотавшійся! Смѣется,
тысячу разъ повторилъ. Въ вагонъ сѣлъ, пѣсню запѣлъ и
заплакалъ—просто отвратительно; такъ даже жалко,—съ-
пьяну. Ахъ, не люблю дураковъ! Нищимъ пустился деньги
раскидывать, за упокой души Лизаветы—жена что-ль его?

— Дочь.

— Что это у васъ рука?

— Порѣзалъ.

— Ничего, пройдетъ. Знаете, чортъ съ нимъ, хорошо
что уѣхалъ, но бьюсь объ закладъ, что онъ тамъ, куда
пріѣдетъ, тотчасъ же опять женится,—не правда-ли?

— Да вѣдь и вы хотите жениться?

— Я? Я—другое дѣло. Какой вы, право! Если вы
пятидесятилѣтній, такъ ужъ онъ навѣрно шестидесяти-
лѣтній: тутъ нужна логика, батюшка! И знаете, прежде,
давно уже, я былъ чистый славянофилъ по убѣжденіямъ,
но теперь мы ждемъ зари съ запада... Ну, до свиданія;
хорошо, что столкнулся съ вами не заходя; не зайду, не
просите, некогда!..

И онъ бросился было бѣжать.

— Ахъ, да что-жь я, воротился онъ вдругъ,—вѣдь онъ
меня съ письмомъ къ вамъ прислалъ! Вотъ письмо. Зачѣмъ
вы не пришли провожать?

Вельчаниновъ воротился домой и распечаталъ адресованный на его имя конвертъ.

Въ конвертѣ ни одной строчки не было отъ Павла Павловича, но находилось какое-то другое письмо. Вельчаниновъ узналъ эту руку. Письмо было старое, на пожелтѣвшей отъ времени бумагѣ, съ выцвѣтшими чернилами, писанное лѣтъ десять назадъ къ нему въ Петербургъ, два мѣсяца спустя послѣ того, какъ онъ выѣхалъ тогда изъ Т. Но письмо это не пошло къ нему; вмѣсто него онъ получилъ тогда другое; это ясно было по смыслу пожелтѣвшаго письма. Въ этомъ письмѣ Наталья Васильевна, прощаясь съ ними навѣки, — точно такъ же какъ и въ полученномъ тогда письмѣ, — и, признаваясь ему, что любить другого, не скрывала, однакоже, о своей беременности. Напротивъ, въ утѣшеніе ему, сулила, что она найдетъ случай передать ему будущаго ребенка, увѣряла, что отнынѣ у нихъ другія обязанности, что дружба ихъ теперь навѣки закрѣплена, — однимъ словомъ, логики было мало, но цѣль была все та же: — чтобъ онъ избавилъ ее отъ любви своей. Она даже позволяла ему заѣхать въ Т. черезъ годъ взглянуть на дитя. Богъ знаетъ, почему она раздумала и выслала другое письмо вмѣсто этого.

Вельчаниновъ, читая, былъ блѣденъ, но представилъ себѣ и Павла Павловича, нашедшаго это письмо и читавшаго его въ первый разъ передъ раскрытымъ фамильнымъ ящичкомъ чернаго дерева, съ перламутровой инкрустаціей.

„Должно-быть, тоже поблѣднѣлъ, какъ мертвецъ, подумалъ онъ, замѣтивъ свое лицо нечаянно въ зеркалѣ, — должно-быть, читалъ и закрывалъ глаза, и вдругъ опять открывалъ, въ надеждѣ, что письмо обратится въ простую бѣлую бумагу... Навѣрно раза три повторилъ опыт!..“

XVII.

Вѣчный мунъ.

Прошло почти ровно два года послѣ описаннаго нами приключенія. Мы встрѣчаемъ господина Вельчанинова, въ одинъ прекрасный лѣтній день, въ вагонѣ одной изъ вновь открывшихся нашихъ желѣзныхъ дорогъ. Онъ ѣхалъ въ Одессу, чтобъ повидаться, для развлечения, съ однимъ пріятелемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по другому, тоже довольно пріятному обстоятельству; черезъ этого пріятеля онъ надѣялся уладить себѣ встрѣчу съ одною изъ чрезвычайно

интересныхъ женщинъ, съ которою ему давно уже желалось поближе познакомиться. Не вдаваясь въ подробности, ограничимся лишь замѣчаніемъ, что онъ сильно переродился, или, лучше сказать, исправился въ эти послѣдніе два года. Отъ прежней ипохондріи почти и слѣдовъ не осталось. Отъ разныхъ „воспоминаній“ и тревогъ, — послѣдствій болѣзни, — начавшихъ было осаждать его два года назадъ въ Петербургѣ, во время неудавшагося процесса, — уцѣлѣлъ въ немъ лишь нѣкоторый потаенный стыдъ отъ признанія бывшаго малодушія. Его вознаграждала отчасти увѣренность, что этого уже больше не будетъ и что объ этомъ никто и никогда не узнаетъ. Правда, онъ тогда бросилъ общество, сталъ даже плохо одѣваться, куда-то отъ всѣхъ спрятался, — и это конечно было *всѣм* замѣчено. Но онъ такъ скоро явился съ повинною, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ такимъ вновь возрожденнымъ и самоувѣреннымъ видомъ, что „всѣ“ тотчасъ же ему простили его минутное отпаденіе; даже тѣ изъ нихъ, съ которыми онъ пересталъ было кланяться, первые же и узнали его и протянули ему руку, и притомъ безъ всякихъ докучныхъ вопросовъ, — какъ будто онъ все время былъ гдѣ-то далеко въ отлучкѣ по своимъ домашнимъ дѣламъ, до которыхъ никому изъ нихъ нѣтъ дѣла, и только что сейчасъ воротился. Причиною всѣхъ этихъ выгодныхъ и здравыхъ переменъ къ лучшему былъ, разумѣется, выигранный процессъ. Вельчанинову досталось всего шестьдесятъ тысячъ рублей, — дѣло, безспорно, невеликое, но для него очень важное; во-первыхъ, онъ тотчасъ же почувствовалъ себя опять на твердой почвѣ, стало-быть, утолился нравственно; онъ зналъ теперь уже навѣрно, что этихъ послѣднихъ денегъ своихъ не промотаетъ „какъ дуракъ“, какъ промоталъ свои первыя два состоянія, и что ему хватитъ на всю жизнь. „Какъ бы тамъ ни трещало у нихъ общественное зданіе и что бы они тамъ ни трубили“ думалъ онъ иногда, приглядываясь и прислушиваясь ко всему чудесному и невѣроятному, совершающемуся кругомъ него и по всей Россіи, — „во что бы тамъ ни перерождались люди и мысли, у меня все-таки всегда будетъ вотъ хоть этотъ тонкій и вкусный обѣдъ, за который я теперь сажусь, а, стало-быть, я ко всему приготовленъ“. Эта нѣжная до сладострастія мысль, мало-по-малу, овладѣвала имъ совершенно и произвела въ немъ переворотъ даже физическій, не говоря уже о нравственномъ: онъ смотрѣлъ теперь совсѣмъ дру-

гимъ человѣкомъ, въ сравненіи съ тѣмъ „хомякомъ“, котораго мы описывали за два года назадъ, и съ которымъ уже начинали случаться такія неприличныя исторіи,—смотрѣлъ весело, ясно, важно. Даже злокачественныя морщинки, начинавшія скопляться около его глазъ и на лбу, почти разгладились; даже цвѣтъ его лица измѣнился, — онъ сталъ бѣлѣе, румянѣе. Въ настоящую минуту онъ сидѣлъ на комфортномъ мѣстѣ въ вагонѣ перваго класса, и въ умѣ его наелевывалась одна милая мысль: на слѣдующей станціи предстояло развѣтвленіе пути и шла новая дорога вправо. „Если-бъ бросить, на минутку, прямую дорогу и увлечься вправо, то не болѣе какъ черезъ двѣ станціи можно бы было посѣтить еще одну знакомую даму, только что возвратившуюся изъ-за границы и находившуюся теперь въ пріятномъ для него, но весьма скучномъ для нея уѣздномъ уединеніи; а, стало-быть, являлась возможность употребить время не менѣе интересно, чѣмъ и въ Одессѣ, тѣмъ болѣе, что и тамъ не уйдетъ“... Но онъ все еще колебался и не рѣшался окончательно; онъ „ждалъ толчка“. Между тѣмъ станція приближалась; толчокъ тоже не замедлилъ.

На этой станціи поѣздъ останавливался на сорокъ минутъ, и предлагался обѣдъ пассажирамъ. У самаго входа въ залу для пассажировъ перваго и втораго классовъ столпилось, какъ водится, множество нетерпѣливой и торопившейся публики и, — можетъ-быть, тоже какъ водится, — произошла скандалъ. Одна дама, вышедшая изъ вагона втораго класса и замѣчательно хорошенькая, но что-то ужъ слишкомъ пышно разодѣтая для путешественницы, почти тащила обѣими руками за собою улана, очень молоденькаго и красиваго офицерику, который вырывался у нея изъ рукъ. Молоденькій офицерикъ былъ сильно хмельнъ, а дама, по всей вѣроятности, его старшая родственница, не отпускала его отъ себя, должно-быть, изъ опасенія, что онъ прямо такъ и бросится къ буфету съ напитками. Между тѣмъ съ уланомъ, въ тѣсотѣ, столкнулся купчикъ, тоже закутившій, и даже до безобразія. Этотъ купчикъ застрялъ на станціи второй уже день, пилъ и сыпалъ деньгами, окруженный товариществомъ, и все не успѣвалъ попасть въ поѣздъ, чтобъ отправиться далѣе. Вышла ссора, офицеръ кричалъ, купчикъ бранился, дама была въ отчаяніи и, увлекая улана отъ ссоры, восклицала ему умоляющимъ голосомъ: „Митинька! Митинька!“ Купчику

показалось это слишкомъ уже скандальнымъ; правда, и всѣ смѣялись, но купчикъ обидѣлся еще болѣе за оскорбленную, какъ показалось ему почему-то, нравственность.

— Вишь: „Митинька!“ произнесъ онъ укорительно, передразнивъ тоненькій голосокъ барыни.— „И въ публикѣ уже не стыдятся!“

И подойдя, качаясь, къ бросившейся на первый стулъ дамѣ, успѣвшей усадить рядомъ съ собой и улана, онъ презрительно осмотрѣлъ обоихъ и протянулъ нараспѣвъ:

— Шлюха ты, шлюха, хвостъ отшлепала!

Дама взвизгнула и жалостно осматривалась, ожидая извѣщенія. Ей и стыдно-то было, и боялась-то она, а къ довершенію всего офицеръ сорвался со стула и, завопивъ, ринулся было на купчика, но поскользнулся и шлепнулся назадъ на стулъ. Хохотъ кругомъ усиливался, а помочь никто и не думалъ; но помогъ Вельчаниновъ; онъ вдругъ схватилъ купчика за шиворотъ и, повернувъ, оттолкнулъ его шаговъ на пять отъ испуганной женщины. Тѣмъ скандалъ и кончился; купчикъ былъ сильно опѣшенъ и толчкомъ, и внушительной фигурой Вельчанинова; его тотчасъ же увели товарищи. Осанистая физіономія изящно одѣтаго барина возымѣла внушительное вліяніе и на насмѣшниковъ: смѣхъ прекратился. Дама, краснѣя и чуть не со слезами, начала изливаться въ увѣреніяхъ о своей благодарности. Уланъ бормоталъ: „балдарю, балдарю!“ и хотѣлъ было протянуть Вельчанинову руку, но, вмѣсто того, вдругъ вздумалъ улечься на стульяхъ и протянулся на нихъ съ ногами.

— Митинька! укоризненно простионала дама, всплеснувъ руками.

Вельчаниновъ былъ доволенъ и приключеніемъ, и его обстановкой. Дама интересовала его; это была, какъ видно, богатенькая провинціалочка, хотя и пышно, но безвкусно одѣтая, и съ манерами нѣсколько смѣшными,—именно соединяла въ себѣ все, гарантирующее успѣхъ столичному фату, при извѣстныхъ цѣляхъ на женщину. Завязался разговоръ; дама горячо рассказывала и жаловалась на своего мужа, который „вдругъ изъ вагона куда-то скрылся и отъ этого все и произошло, потому что онъ вѣчно, когда надо тутъ быть, куда-то и скроется“.

— По надобности... пробормоталъ уланъ.

— Ахъ, Митинька! всплеснула опять она руками.

„Ну, достанется же мужу!“ подумалъ Вельчаниновъ.

— Какъ его зовуть? Я пойду и отыщу его, предложилъ онъ.

— Паль-Палычъ, отозвался уланъ.

— Вашего супруга зовуть Павломъ Павловичемъ? съ любопытствомъ спросилъ Вельчаниновъ, и вдругъ знакомя ему лысая голова просунулась между нимъ и дамой. Въ одно мгновеніе представился ему садъ у Захлебининыхъ, невинныя игры и докучливая лысая голова, непрерывно просовывавшаяся между нимъ и Надеждой Федосѣвной.

— Вотъ вы, наконецъ! истерически вскрикнула супруга.

Это былъ самъ Павелъ Павловичъ; въ удивленіи и страхѣ глядѣлъ онъ на Вельчанинова, оторопѣвъ передъ нимъ, какъ передъ привидѣніемъ. Столбнякъ его былъ таковъ, что нѣкоторое время онъ, повидимому, не понималъ ничего изъ того, что толковала ему раздражительной и быстрой скороговоркой оскорбленная супруга. Наконецъ, онъ вздрогнулъ и сообразилъ разомъ весь свой ужасъ: и свою вину, и о Митинькѣ, и о томъ, что этотъ „мсье“—дама почему-то такъ называла Вельчанинова— „былъ для насъ ангеломъ-хранителемъ и спасителемъ, а вы—вы вѣчно уйдете, когда вамъ надо тутъ быть...“

Вельчаниновъ вдругъ захохоталъ.

— Да вѣдь мы съ нимъ друзья, друзья съ дѣтства! восклицалъ онъ удивленной дамѣ, фамиллярно и покровительственно обхвативъ правой рукой плечи улыбавагося блѣдной улыбкой Павла Павловича,—не говорилъ онъ вамъ о Вельчаниновѣ?

— Нѣтъ, никогда не говорилъ, оторопѣла нѣсколько супруга.

— Такъ представьте же меня, вѣроломный другъ, вашей супругѣ!

— Это, Липочка, дѣйствительно господинъ Вельчаниновъ-съ, вотъ-съ... началъ было и постыдно оборвался Павелъ Павловичъ.

Супруга вспыхнула и злобно свергнула на него глазами, очевидно, за „Липочку“.

— И представьте, и не увѣдомилъ, что женился, и на свадьбу не позвалъ, но вы, Олимпиада...

— Семеновна, подсказалъ Павелъ Павловичъ.

— Семеновна! отозвался вдругъ заснувшій было уланъ.

— Вы ужъ простите его, Олимпиада Семеновна, для меня, ради встрѣчи друзей... Онъ—добрый мужъ!

И Вельчаниновъ дружески хлопнулъ Павла Павловича по плечу.

— Я, душенька, я только на минутку... отсталъ... началъ было оправдываться Павелъ Павловичъ.

— И бросили жену на позоръ! тотчасъ же подхватила Липочка, — когда надо, васъ нѣтъ, гдѣ не надо — вы тутъ...

— Гдѣ не надо — тутъ, гдѣ не надо... гдѣ не надо... поддакивалъ уланъ.

Липочка почти задыхалась отъ волненія; она и сама знала, что это не хорошо при Вельчаниновѣ, и краснѣла, но не могла совладать.

— Гдѣ не надо, вы слишкомъ ужъ осторожны, слишкомъ осторожны! вырвалось у ней.

— Подъ кроватью... любовниковъ ищеть... подъ кроватью — гдѣ не надо... гдѣ не надо... ужасно разгорячился вдругъ и Митинька.

Но съ Митинькой уже нечего было дѣлать. Все кончилось, впрочемъ, пріятно; послѣдовало и полное знакомство. Павла Павловича услали за кофеемъ и за бульономъ. Олимпиада Семеновна объяснила Вельчанинову, что они ѣдутъ теперь изъ О., гдѣ служить ея мужъ, на два мѣсяца въ ихъ деревню, что это недалеко, отъ этой станціи всего сорокъ верстъ, что у нихъ тамъ прекрасный домъ и садъ, что къ нимъ пріѣдутъ гости, что у нихъ есть и сосѣди, и если-бъ Алексѣй Ивановичъ былъ такъ добръ и захотѣлъ ихъ посѣтить „въ ихъ уединеніи“, то она бы встрѣтила его „какъ ангела-хранителя“, потому что она не можетъ вспомнить безъ ужаса, что бы было, если-бъ... и такъ далѣе, и такъ далѣе, — однимъ словомъ, „какъ ангела-хранителя...“

— И спасителя, и спасителя, съ жаромъ настаивалъ уланъ.

Вельчаниновъ вѣжливо поблагодарилъ и отвѣтилъ, что онъ всегда готовъ, что онъ совершенно праздный и незанятой человекъ, и что приглашеніе Олимпиады Семеновны ему слишкомъ лестно. Затѣмъ, тотчасъ же завелъ веселенькій разговоръ, въ который удачно вставилъ два или три комплимента. Липочка покраснѣла отъ удовольствія, и только что воротился Павелъ Павловичъ, восторженно объявила ему, что Алексѣй Ивановичъ такъ добръ, что принялъ ея приглашеніе прогостить у нихъ въ деревнѣ весь мѣсяцъ и обѣщался пріѣхать черезъ недѣлю. Павелъ Павловичъ улыбнулся потерянно и промолчалъ. Олимпиада Семеновна вскинула на него плечиками и возвела

глаза къ небу. Наконецъ, разстались: еще разъ благодарность, опять „ангель-хранитель“, опять „Митинька“ и Павелъ Павловичъ увелъ, наконецъ, усаживать супругу и улана въ вагонъ. Вельчаниновъ закурилъ сигару и сталъ прохаживаться по галлерей передъ вокзаломъ; онъ зналъ, что Павелъ Павловичъ сейчасъ опять прибѣжить къ нему поговорить до звонка. Такъ и случилось. Павелъ Павловичъ немедленно явился передъ нимъ съ тревожнымъ вопросомъ въ глазахъ и во всей физиономіи. Вельчаниновъ засмѣялся, „дружески“ взялъ его за локоть и, притянувъ къ ближайшей скамейкѣ, сѣлъ и усадилъ его съ собой рядомъ. Самъ онъ молчалъ; ему хотѣлось, чтобъ заговорилъ Павелъ Павловичъ первый.

— Такъ вы къ намъ-съ? пролепеталъ тотъ, совершенно откровенно приступая къ дѣлу.

— Такъ я и зналъ! Не перемѣнился нисколько! расхохотался Вельчаниновъ.—Ну, неужели же вы, хлопнуль онъ его опять по плечу,—неужели же вы хоть минуту могли подумать серьезно, что я въ самомъ дѣлѣ могу къ вамъ пріѣхать въ гости, да еще на мѣсяць—ха-ха!

Павелъ Павловичъ весь такъ и встрепенулся.

— Такъ вы—не пріѣдете-съ! вскричалъ онъ, нисколько не скрывая своей радости.

— Не пріѣду, не пріѣду! самодовольно смѣялся Вельчаниновъ.

Впрочемъ, онъ и самъ не понималъ, почему ему такъ ужъ особенно смѣшно, но чѣмъ дальше, тѣмъ ему становилось смѣшнѣе.

— Неужели... неужели вы въ самомъ дѣлѣ говорите-съ?

И, сказавъ это, Павелъ Павловичъ даже привскочилъ съ мѣста, въ трепетномъ ожиданіи.

— Да ужъ сказалъ, что не пріѣду,—ну, чудакъ же вы человекъ.

— Какъ же мнѣ... если такъ-съ, какъ же сказать-то Олимпіадѣ Семеновнѣ, когда вы черезъ недѣлю не пожадете, а она будетъ ждать-съ?

— Экая трудность! Скажите, что я ногу сломалъ, или въ этомъ родѣ.

— Не повѣрятъ-съ, жалостнымъ голоскомъ протянулъ Павелъ Павловичъ.

— И вамъ достанется? все смѣялся Вельчаниновъ.— Но я замѣчаю, мой бѣдный другъ, что вы-таки трепещете передъ вашей прекрасной супругой—а?

Павель Павловичъ попробовалъ улыбнуться, но не вышло. Что Вельчаниновъ отказывался прїѣхать—это, конечно, было хорошо, но что онъ фамиллярничаетъ насчетъ супруги—это было уже дурно. Павель Павловичъ покоробился; Вельчаниновъ это замѣтилъ. Между тѣмъ прозвонилъ уже второй звонокъ; въ отдѣленіи послышался тонкій голосокъ изъ вагона, тревожно вызывавшій Павла Павловича. Тотъ засуетился на мѣстѣ, но не побѣжалъ на призывъ, видимо ожидая еще чего-то отъ Вельчанинова,— конечно, еще разъ завѣренія, что онъ къ нимъ не прїѣдетъ.

— Какъ бывшая фамилія вашей супруги? освѣдомился Вельчаниновъ, какъ бы не замѣчая совсѣмъ тревоги Павла Павловича.

— У нашего благочиннаго взялъ-съ, отвѣтилъ тотъ, въ смятеніи посматривая на вагоны и прислушиваясь.

— А, понимаю, за красоту.

Павель Павловичъ опять покоробился.

— А кто же у васъ этотъ Митинька?

— А это такъ-съ; дальній нашъ родственникъ одинъ, то-есть мой-съ, сынъ двоюродной сестры, покойницы-съ, Голубчиковъ-съ, за непорядки разжаловали, а теперь опять произведепъ; мы его и экипировали... Несчастный молодой человѣкъ-съ...

„Ну, такъ-такъ, все въ порядкѣ; полная обстановка!“ подумалъ Вельчаниновъ.

— Павель Павловичъ! раздался опять отдаленный призывъ изъ вагона, и уже съ слишкомъ раздражительной ноткой въ голосѣ.

— Паль Палычъ! послышался другой, сильный голосъ.

Павель Павловичъ опять засуетился и заметался, но Вельчаниновъ крѣпко прихватилъ его за локоть и оставилъ.

— А хотите я сейчасъ пойду и расскажу вашей супругѣ, какъ вы меня зарѣзать хотѣли—а?

— Чтò вы, чтò вы-съ! испугался ужасно Павель Павловичъ,— да Боже васъ сохрани-съ!

— Павель Павловичъ! Павель Павловичъ! послышались опять голоса.

— Ну, ужъ ступайте? выпустилъ его, наконецъ, Вельчаниновъ, продолжая благодушно смѣяться.

— Такъ не прїѣдете-съ? чуть не въ отчаяніи въ послѣдній разъ шепталъ Павель Павловичъ, и даже руки сложилъ передъ нимъ, какъ встарину, ладошками.

— Да клянусь же вамъ, не прїѣду! Бѣгите, бѣда вѣдь будетъ!

И онъ размахисто протянулъ ему руку,—протянулъ и вздрогнулъ: Павелъ Павловичъ не взялъ руки, даже отдернулъ свою.

Раздался третій звонокъ.

Въ одно мгновеніе произошло что-то странное съ обоими: оба точно преобразились. Что-то какъ бы дрогнуло и вдругъ порвалось въ Вельчаниновѣ, еще только за минуту такъ смѣявшемся. Онъ крѣпко и яростно схватилъ Павла Павловича за плечо.

— Ужь если я, я протягиваю вамъ вотъ эту руку, показалъ онъ ему ладонь своей лѣвой руки, на которой явственно остался крупный шрамъ отъ порѣза,—такъ ужъ вы-то могли бы взять ее! прошепталъ онъ дрожащими и поблѣднѣвшими губами.

Павелъ Павловичъ тоже поблѣднѣлъ и у него тоже губы дрогнули. Какія-то конвульсіи вдругъ пробѣжали по лицу его.

— А Лиза-то-съ? пролепеталъ онъ быстрымъ шепотомъ, и вдругъ запрыгали его губы, щеки и подбородокъ, и слезы хлынули изъ глазъ.

Вельчаниновъ стоялъ передъ нимъ, какъ столбъ.

— Павелъ Павловичъ! Павелъ Павловичъ! вопили изъ вагона, точно тамъ кого рѣзали,—и вдругъ раздался свистокъ.

Павелъ Павловичъ очнулся, всплеснулъ руками и бросился бѣжать сломя голову; поѣздъ уже тронулся, но онъ какъ-то успѣлъ уцѣпиться, и вскочилъ-таки въ свой вагонъ, на-лету. Вельчаниновъ остался на станціи и только къ вечеру отправился въ дорогу, дождавшись новаго поѣзда и по прежнему пути. Вправо, къ уѣздной знакомѣ, онъ не поѣхалъ—слишкомъ ужъ былъ не въ духѣ. И какъ жалѣлъ потомъ!



ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Униженные и оскорбленные. Романъ въ четырехъ частяхъ съ эпилогомъ.

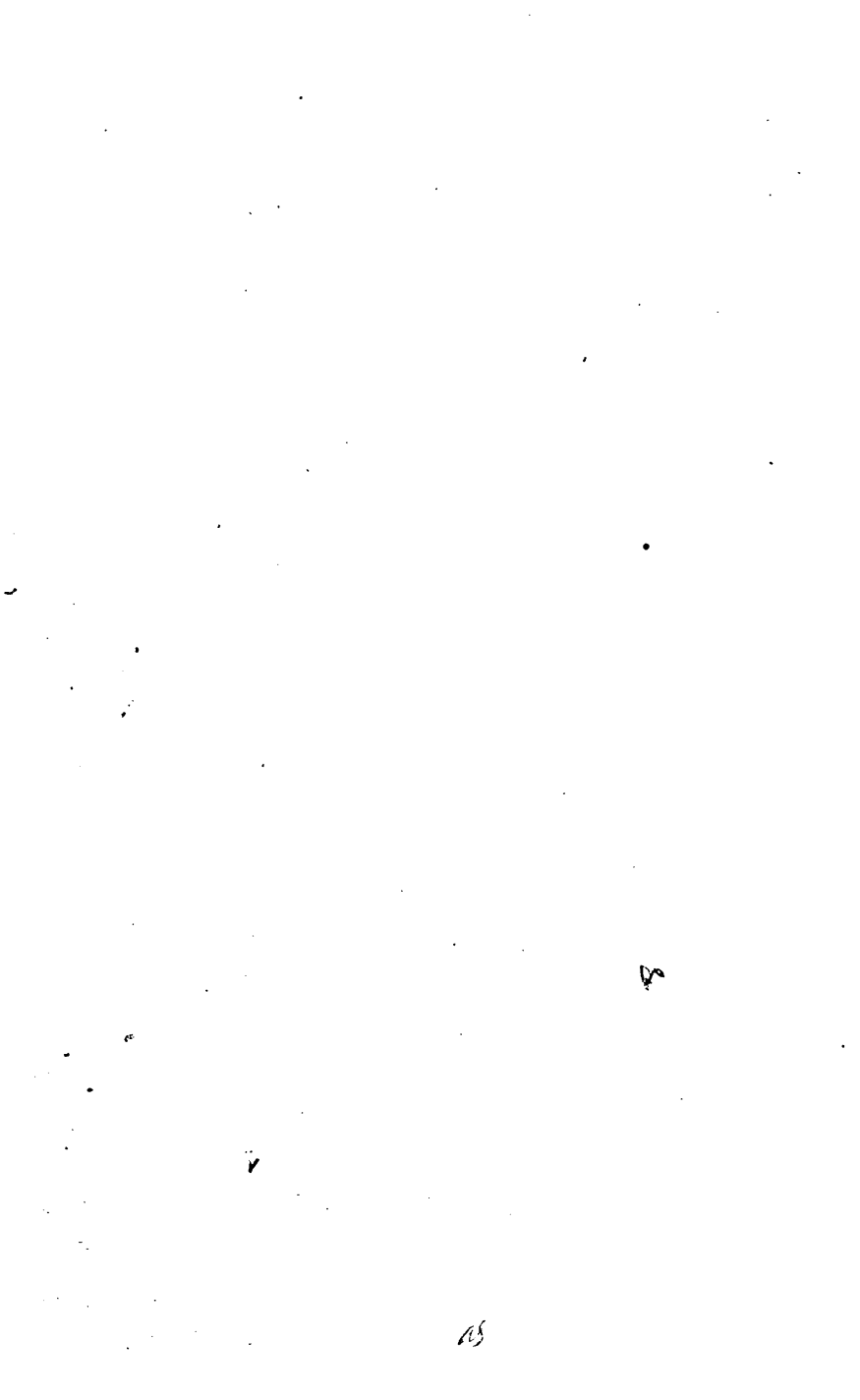
Часть первая	3
Часть вторая	90
Часть третья	175
Часть четвертая	267
Эпилогъ	338

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Вѣчный мужъ. Разсказъ.

Глава	I. Вельчаниновъ	365
"	II. Господинъ съ крепомъ на шлягѣ	372
"	III. Павелъ Павловичъ Трусоцкій	382
"	IV. Жена, мужъ и любовникъ	391
"	V. Лиза.	398
"	VI. Новая фантазія празднаго человѣка	407
"	VII. Мужъ и любовникъ пѣлуются	413
"	VIII. Лиза больна.	423
"	IX. Привидѣніе	428
"	X. На кладбищѣ	435
"	XI. Павелъ Павловичъ женится	442
"	XII. У Захлебниныхъ	451
"	XIII. На чьемъ краю больше	468
"	XIV. Сашенька и Наденька	475
"	XV. Сквитались	483
"	XVI. Анализъ	491
"	XVII. Вѣчный мужъ	498









GENERAL LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA—BERKELEY

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

2 Feb 5 5BP

FEB 28 1967 28

MAY 26 1955 LU

20 Jan '55 VV

MAR 16 67 -6PM

JAN 8 1955 LU

RENEWED

11 Mar '58 TS

AUTO DISC CIRC 128 08 '94

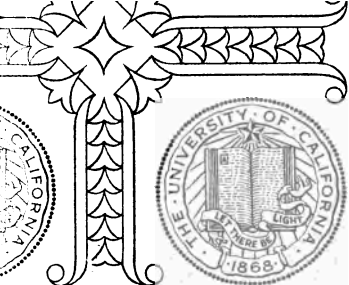
REC'D LD

JUN 5 1953

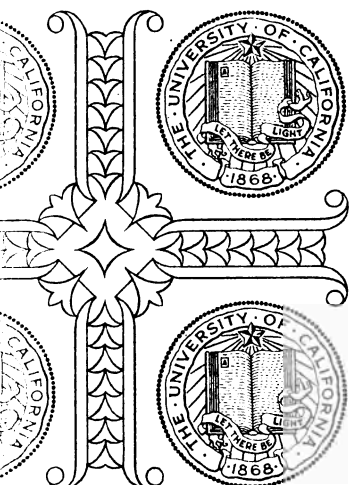
15 Feb '63 WA

REC'D LD

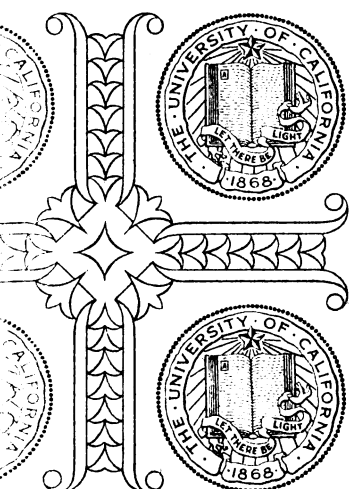
JUN 3 1963



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

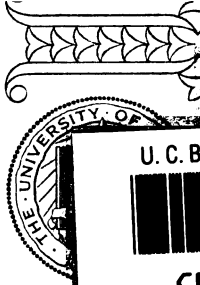


THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY OF THE UNIVERSITY



LIBRARY

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA


LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

YB 55717

U. C. BERKELEY LIBRARIES



C042091592

